

Анатолий АНАНЬЕВ Лики бессмертной власти

Анатолий
АНАНЬЕВ

ЛИКИ
БЕССМЕРТНОЙ
ВЛАСТИ

НОВОСТИ

НОВОСТИ



**Анатолий
АНАНЬЕВ**

**ЛИКИ
БЕССМЕРТНОЙ
ВЛАСТИ**

Царь Иоанн Грозный

Новости

Москва, 1993

ББК 84Р7
А64

Два обращения к читателю

1. *С позиций более общих*

Мне кажется, нет на земле человека, который хотя бы раз не оглянулся на свое прошлое, прошлое страны, народа, на историю человечества вообще, историю земли и жизни на ней. Одни старались познать явления природы и закономерности их, другие — явления общественной жизни, чтобы (для определенных и разных целей) управлять ими, и каждый в согласии со своими взглядами на мир, своими убеждениями, своим уровнем культуры и пониманием ценностей выстраивал единственно будто бы верную схему движения (от простого к сложному), вернее, схему мирового процесса развития, из которого затем выводилось не только прошлое (для объяснения и утверждения настоящего), но и будущее, в которое, как в отстроенную кошару, должно было входить человечество и обитать в ней. Все эти (и в дохристианские, и в новейшие времена) отстроенные кошары, то есть общественные формации, названные (историками, и в целях периодизации) первобытнообщинным, рабовладельческим, феодальным и прочими укладами жизни, как бы ни облегчали наш исследовательский взгляд и ни упрощали до скелетной обнаженности всю неохватную сложность исторического процесса и сил, противоборствовавших в нем, и как бы ни претендовали на истину, в которой ни убавить ни прибавить и которую следует только принять как единственно верную трактовку минувшего, — они, в сущности, лишь констатируют, но мало что могут объяснить в минувшем.

2. С позиций более частных

О благе правления в народе обычно судят не по словам правителей, а по их деяниям и по тому, какими людьми они сумеют окружить себя, то есть по тем советникам и сатрапам, через которых и осуществляется ими власть; и как ни скрыта бывает при этом придворная жизнь, но та жестокая, не допускающая пощады, иначе не назовешь, борьба, постоянно, как и теперь, происходящая у тронов и за трон, — борьба эта, в которой главной и безвинно страдающей стороной был и остается народ, так ли, иначе ли, с той ли, иной ли степенью достоверности, но выплескивается за стены дворцовых палат и, упрощаясь (в народной молве) до однозначных и ясных сюжетов, обретает совершенно свою и на столетия иногда затем сохраняющуюся (в памяти народной) жизнь.

I

Властитель подобен человеку, в детстве прикоснувшемуся к раскаленному железу, и только не на теле, а на душе его пожизненно остается неизгладимый след. Действия таких людей, их мысли, их видение мира всегда, в любых обстоятельствах несут на себе печать этого ожога и бывают направлены лишь на то, чтобы (как зеленка на язву) если не заживлять, то хотя бы утихомиривать боль от постоянно сочащейся раны. В то время как усилия людей простых обычно сводятся к тому, чтобы поддержать благополучие свое и общее, которое, по их понятиям, может строиться только на принципах добра и справедливости, то есть на изначальном равенстве вступления в жизнь (человек — глава всему, и все вокруг зависимо от него и подчинено ему), поступки власть имущих или помазанников божьих, венценосцев, как их титуловали еще, так как за единицу измерения ими принимается не человек, а народ, суть (для них) стадо, которое следует пасти и из которого для подавления, усмирения и выравнивания под общую усредненность всегда можно отправить энное количество особей на убой (сколько возьмет рука или охватит глаз), — поступки их по корням и целям имеют совсем другую, противоположную человеческому разуму природу. Венценосцев не может заботить благополучие свое, которое у них есть, тем более благополучие общее, которое должно (по «реализму» их) разумеется само собой; сводили же как-то граждане отечества концы с концами прежде, сведут и теперь; устраивались, перебивались — устроятся и перебьются теперь; цель коронованных особ всегда состояла и будет, видимо, состоять в том, чтобы древо власти, на котором (из поколения в поколение) произрастает их будущее, не только не старело, не засыхало,

но укреплялось в своем неодолимом могуществе, затемняя и подавляя вокруг себя все, что только (в пределах досягаемости и недосыгаемости) можно обесмыслить и подавить; и в этом плане черта примиримости, какую всякий раз при сменах формаций усиленно пытаются положить между народом и властью, — черта эта есть лишь иллюзия, лишь видимость единства корней и целей; там, где сталкиваются интересы народа и интересы власти, именно на этой черте соприкосновения и возникают те исторические (чаще кровавые, чем бескровные) события, по которым, как по верстовым столбам в нашей прежней России, и меряется тот — к совершенству без совершенства — путь, по которому, двинувшись в седой старине, человечество продолжает идти, мучаясь, истекая потом и кровью и не находя сил остановиться и оглядеться.

Ученые-историки, как и ученые-философы и политики, утверждают (по тысячелетней преемственности взглядов), что вполне изучили все и всякие институты власти и могут не только объяснить, но и предсказать, по какой схеме начнут развиваться те или иные события общественной жизни; они же, эти историки, философы и политики (так как власть без теоретических обоснований — это не власть, от Бога ли она или приобретена мечом и интригами), работающие, как правило, на государство, получающие от него, а потому и зависимые от него, с еще большей как будто убежденностью берутся утверждать, что, как и институты власти, они изучили и знают народ, который, впрочем, в трудах их предстает то осмысленной, творящей историю массой, то безликой (для оправдания каких-либо иных, новых версий), полной стихийных побуждений толпой, способной лишь разрушать и не способной без вождя или сильной личности ни на какие созидания; и, хотя здравый смысл подсказывает, что даже в самых противоположных проявлениях своих народ всегда остается единым, и происходящее в нем и с ним возникает от одной и той же побуждающей причины, все же неправомерно будет, наверное, полагать, что утверждения ученых нереалистичны или беспочвенны, — уже потому, что (а) история и в самом деле дает немало примеров для подобного двойственного толкования и (б) за тысячелетия наблюдений и обобщений невозможно было не приблизиться хоть к

какой-то истине. Но с каким бы уважением мы ни относились к науке (и уж никак не желая, разумеется, опровергать ее) и как бы ни преклонялись перед тем исчерпывающим будто бы сводом знаний, при посредстве которых так легко ныне, привычно (и удобно!) оцениваются всевозможные явления жизни, — суть этих явлений, их причинная связь, из глубин столетий восходящая к современности, позволяет при определенном и непредвзятом подходе усомниться в полноте и непогрешимости преподносимых нам философских канонов; в действиях народа, как и в действиях самодержцев да и всяких иных правителей, как бы они ни именовались и ни рядились в тогу добродетели, происходят иногда столь необъяснимые (с точки зрения общепринятых и естественных как будто законов жизни) явления, столь странные и противоречащие (на первый взгляд) даже простому человеческому разумению, что невольно возникает вопрос: да это ли следует принимать за логику жизни, что принимаем и от чего отталкиваемся, или нечто другое, что нетронутой целиной лежит перед нами и ждет своего пахаря?

II

Так уж повелось, хотя и неправильно говорить, что повелось, потому что нет в мире ничего, что не имело бы целенаправленности и не являло бы собой определенную и всесторонне продуманную (на будущее) идею, но, однако, — так уж, видимо, повелось, что самым бесспорным и неопровержимым эталоном для выяснения истин всегда охотно брались и берутся учеными разных стран примеры либо из греческой, либо из римской истории, либо даже сюжеты из античной (или библейской) мифологии, переносимые прежде, для убедительности, на почву реализма; ну а если по примеру Карамзина обратить взгляд на историю отечественную, то не откроется ли нам яснее та суть нашего бытия (вычлененная из общего и ошаблоненного бытия народов), по которой, изучив ее, мы только и смогли бы до конца понять и осознать себя, и не предстанут ли тогда перед нами в некотором единстве — и по действиям правителей, и по действиям народа — столь, казалось бы, отстоящие друг от друга

эпохи, как сталинская, Иоанна Грозного или Николая I? Могут сказать: да в чем же тут новизна вопроса? Правители есть правители, и деятельность их ясна (да так ли уж и ясна, и не обманывались ли мы, и не повторяли в этом своем обмане одну и ту же ошибку?), равно как и народ есть народ, и что же о нем говорить (как будто мы и в самом деле знаем, что такое народ и почему он в одних случаях противится и бунтует, а в других — смиренно идет на плаху, содействуя своей гибели). Мыслители прошлого, те, на которых так охотно готова теперь опереться некоторая и довольно значительная часть нашей интеллигенции, увидели в смирении народа так называемый русский путь, с которого нельзя и губительно как будто сворачивать; но было ли смирение вообще как таковое, или оно насаждалось, во-первых, путем устрашения духовного, что отводилось церкви, и, во-вторых, устрашения физического, то есть казни, казни, казни, что отводилось палачам и относилось к явлениям тоже далеко не разового порядка?

Теперь, по прошествии лет, одни историки, обращаясь к годам царствования Иоанна Грозного, оценивают деятельность этого кровавого самодержца как созидательную, будто и в самом деле только полуопустошив огнем и мечом и обезлюдив Россию, можно было объединить ее, и что с отдаления веков нельзя не оценить по достоинству сей государственный шаг; иные же, положившие себе более реалистично посмотреть на дело, приходят к другой и, может быть, не менее ошибочной крайности и весь период этого страшного правления делят лишь на эпохи казней: первая — расправа с Адашевым и Сильвестром и искоренение их родов и родов всех, кто хоть как-то был близок к ним или связан с ними, вторая — создание опричнины и земства и все зло, проистекавшее уже от этого государева новшества, третья, опять ознаменовавшаяся изничтожением мужей знаменитейших, о которых (переводя на современный язык) можно сказать, что это были передовые для своего времени мыслящие люди, тогдашняя, если хотите, интеллигенция, чьим умом и волей история наша могла бы получить совсем иное и, может быть, более европейское развитие, четвертая и самая ужасающая (как говорят те же историки) эпоха мучительства, когда подруба-

лись под корень не только интеллигенция, но и народ — во время известного (1569 г.) зимнего похода самодержца с опричниками на Тверь, Новгород; словно Мамай прошелся по Руси, говорили тогда, настолько опустошены и обезлюдены были районы центральной России; потом эпоха пятая, шестая, седьмая: на кол, на виселицу, на плаху... Но так как в задачу этой книги не входит нагнетание ужасов, то есть описание злодеяний, коими до краев (и через край!) переполнены наша, и дальняя, и новейшая история и один перечень которых мог бы составить сотни тысяч томов, то не пора ли от рассуждений общего характера, столь непривычных для жанра, за что, полагаю, и без того уже несдобровать автору от упреков читателей и критики, — не пора ли перейти к конкретному изложению тех исторических событий, которые для уяснения вопроса представляют наибольший интерес и могут быть положены в основу повествования.

III

Знает ли кто, сколько нераскрытых тайн хранится в музейном безмолвии кремлевских соборов, безмолвии бывших государевых и иных палат, потерявших значение бывшее, но успевших обрести новое (в роли все тех же каменных могильников с обманною позолотой и росписью стен), в залах дворцов, где в мнимом величии проштамповывалось все, что нестираемой тенью затем накладывалось на жизнь бесправного, безголосого (в веках!) разнообразнейшего российского люда? Как и теперь, так и в те ушедшие от нас летописные, как можно было бы назвать их, времена, взоры русских людей всегда были обращены к Кремлю, и при малейшем непривычном движении за его могучими зубчатыми стенами или неурочном, оповещающем колокольном звоне толпы мещан, холопов, бояр и боярских детей сейчас же начинали стекаться к башенным воротам, готовые (в смутной взвинченности своей) на любое правое и неправое — под видом правого — дело. Именно таким, неурочным, набатным звоном кремлевских церквей была разбужена Москва в декабрьское утро 1564 года, не ведавшая пока ни сном ни духом, каким незаживающим рубцом обозначится

сим звоном их историческая судьба. Вместо ровного, как в других странах, последовательного восхождения к просвещению и прогрессу в основу русского пути будет брошен первый челночный ход, коим и определится затем вся последующая в государственном развитии челочность, когда при видимости движения вперед мы будем (по тронной, так сказать, милости) метаться от самодурства к послаблениям и обратно, не успевая в короткие просветы передышек не то чтобы социально или нравственно оглядеться и привести в порядок себя и страну, но не успевая даже осознать, что челочность есть вовсе не движение вперед, а топтание (в данном случае слона со всеми его телесами и мышцами) на одном и том же пяточке жизни. Теперь говорят, что подобный выбор пути есть выбор народа и что, будь на месте русского какой-либо иной европейский народ, он не допустил бы, чтобы его с пути восхождения свернули на путь топтания; не знаю, не знаю, но в этом ужасном, наклеенном своими руками и на себя же ярлыке есть что-то безысходно-роковое, против чего не может не подниматься и не восставать нормальная человеческая душа; признание предопределенности — это ведь не что иное, как добровольные кандалы, которые (пусть с позолотой!) остаются, увы, кандалами, сковывающими движение, и можно ли поверить (тем более принять), чтобы люди, рождающиеся для свободы и жизни, к какой бы национальности они ни относились, могли добровольно избрать для себя путь холопства и крепостничества. В противоборстве двух сил, как известно, одерживает верх обычно та, к которой присоединяется третья, дающая перевес; и эта третья, в разные периоды жизни окрашивающаяся в разные цвета и, как правило, большей частью выпадающая из поля зрения исследователей, — сила эта, между тем, имеющая и своих носителей, и свою вековую историю, и догмы, затрагивающие самые сокровенные чувства людей, несмотря на хамелеонность — по сути, а не внешнюю — и несоединимость будто бы ее протянувшихся через столетия сегментов, являет собой тот тяжелый для подавления монолит, который, если всерьез говорить о нем, чаще играл даже не второстепенную, не вспомогательную, а определяющую роль в исторических судьбах народов. Но, оказавшись труднораспознаваемой, скажем так, даже с

отдаления веков и высот научных кафедр, могла ли сила эта быть очевидной современникам и распознаться ими, особенно тем простым людом, у которого и всего-то (упоминаю не в унижение ему) только и забот на уме, чтобы прокормить себя и чадо. Не умевший под тяжестью догм и забот даже просто воображением выйти за рамки существующих условностей жизни (а догмы на то и догмы, чтобы утверждать незыблемость мира), люд этот, в сущности, не мог видеть дальше версты от своих ног и в то декабрьское утро, разбуженный набатным звоном колоколов, стягивался к кремлевской площади с предчувствием более сиюминутной, чем исторической беды России.

Били в колокола по всем церквам, и в морозном воздухе над столицей стоял такой гул (уносимый за городскую черту и достигавший окрестных деревень и монастырей), что казалось, не иначе как сам крымский хан с несметной по тем временам силой или иной какой недоброжелатель России, позвавший под свою хоругвь Литву и Польшу, вот-вот должны были наступить к Москве и пожечь и разграбить ее. Но ни поляки, ни крымцы в тот год не думали двигаться на Россию, и перед московским людом, стекавшимся на кремлевскую площадь, открывалась та странная и приводившая всех в недоумение картина, которой не то чтобы никто не мог дать верного толкования, но, глядя на которую, умолкали даже самые говорливые, любившие обычно похваляться тем, что ни боярская плеть, ни царский гнев им не указ. В центре площади, в окружении все прибывавшей и прибывавшей толпы, стояло множество запряженных саней, и государевы кучера и холопы выносили из дворца и укладывали в сани царские драгоценности: казну, святые иконы, при виде которых все сейчас же начинали креститься, золотые и серебряные сосуды, меха, одежды и весь прочий и прочий династический скарб, нажитый, если так можно сказать, за столетия и поражавший теперь баснословным богатством и роскошью. Создавалось впечатление, будто царь Иоанн не просто (и не на время) отъезжал из столицы, что было бы и естественным, и понятным, но словно бы по принуждению (и для кого-то!) освобождал свой кремлевский дворец и, ни с кем не объяснившись, собирался навсегда покинуть Моск-

вѹ. Бояре, духовенство, стоявшие по обе стороны крыльца на снегу, с затаенным безмолвием смотрели на происходившее, не осмеливаясь ни спросить, ни помешать сему совершавшемуся на их глазах царскому делу, и столь же безмолвно взирал на все народ, теснясь и греясь в этой тесноте и более удивляясь пока несметности богатств, выносившихся из палат, чем государевой причуде — покинуть дворец, столицу и, по первопутку проложив след, отправиться неведомо куда и неведомо зачем. Перед народом, тесня его от саней, воинственно гарцевали на откормленных лошадях ближайшие сподвижники царя: боярин Алексей Басманов с сыном, кравчим Федором, Афанасий Вяземский, Михайло Салтыков, Василий Грязной, Малюта Скуратов-Бельский. Сии сатрапы, еще не опричники, но успевшие уже запятнаться интригами и кровью, казалось, одни только знали суть происходившего; с надменностью тех высших государевых холопов, коих во все времена и в различных обличьях всегда предостаточно вьется у тронов (и без которых, как видно, вернее, как подсказывает история, не может обойтись ни одна власть), они не только с плетями и криком набрасывались на народ, но насакивали и на бояр, и даже на духовенство, стараясь со всей своей молодецкой наивностью показать, сколь (после Адашева и Сильвестра, чьи места, оклеветав их и войдя в доверие к царю, теперь занимали) бесконтрольна и могущественна была их вседозволенность. Особенно усердствовали в этом Алексей Басманов с сыном и князь Афанасий Вяземский. В богатых одеждах и с заломленными шалками они словно бы вырастали то на одном, то на другом краю площади, то будто по уговору съезжались к шеренгам ратников, выстроенных для сопровождения царя, то вдруг устремлялись к парадному, откуда вот-вот должен был появиться самодержец.

IV

Но царь Иоанн медлил и не выходил пока. Он стоял в своей сводчатой палате, чуть отдалившись от окна, чтобы с площади нельзя было различить его, и привычно суровым взглядом смотрел на происходившее. Холопы, сновавшие между саней, сбившееся в

стаю духовенство: епископы, архиепископы во главе с митрополитом Афанасием в торжественных церковных облачениях, бояре, боярские дети, шеренги ратников, дьяки, подьячие и тот простой (и торговый) московский люд, продолжавший прибывать и прибывать толпами, — сознавал ли Иоанн, что все это, собранное теперь перед дворцом, жило и двигалось лишь по его воле и что стоит ему поднять руку (или насупить бровь, как делал он, когда хоть что-либо начинало раздражать или возмущать его), как сейчас же все примет иное направление и иной смысл, или, не исчерпав еще до конца тех человеческих чувств, которые говорят всякому из нас, что все мы одинаково смертны и что человеку простому столь же дорога своя жизнь, как и царю царская, снисходил пока еще (делами и помыслами) до этого мирского, что и всегда-то, как и теперь, требовало сочувствия и забот? Душа царская есть еще бóльшие потемки, чем любая иная, особенно когда речь заходит о такой, как Иоаннова, не знавшей предела ни гневу, ни жестокости. Даже те из бояр, кого он пригревал у трона, вряд ли знали или догадывались об истинных причинах его столь безграничной, приведшей к сыноубийству нетерпимости и вспыльчивости. Но всякая видимая непродуманность поступков еще не означает, что в том или ином человеке все отдано стихии, то есть, иначе говоря, разнузданности, хотя и царской, не имеющей направления и цели, и уж по крайней мере ни одного из самодержцев России (взять хоть из дальней, хоть из ближней истории) невозможно отнести к подобным — без руля и ветрил — натурам; нет, в действиях их так ли, иначе ли просматривается та всегда работающая на подавление народа страшная черта тиранства, за которой или, вернее, возле которой не щадится ничто, способное хоть как-то противостоять трону. Если есть дерево народной жизни, а оно действительно-таки есть, то следует признать, что существует и дерево власти, берущее начало столь же из былинных времен, и развивалось и развивается это дерево по своим и, может быть, тоже естественным (для себя) законам устройства и приспособления. Корни у этого дерева, видимо, так же неподрезаемы, как неподрезаемы они у дерева народной жизни (во всяком случае, за историю человечества еще ни одному народу не удавалось сделать этого), и

всякий новый властитель, из какой бы среды ни являлся миру, — как лист из почки не может, укрепившись на стволе, не питаться соками этого ствола и соответственно не заботиться об укреплении и неистощимости своего источника жизни и власти. То, что питало духовно Иоанна, в полной мере, если представить образно, приравненно к дереву и сокам, наливающим плод, и, может быть, именно в этот день и час, когда, стоя у окна и глядя на запруженную людьми и санями площадь, он испытывал еще колебание, совершать или не совершать задуманное им переустройство российской жизни, должное затем на столетия свергнуть державу в челночный и потому бессмысленный, обеспокоенный, означенный лишь самоистощением ход развития, то есть когда действительно от его воли зависело, остановиться или все же предпринять этот шаг, — может быть, именно тогда перед ним впервые во всей зловещей полноте начало приоткрываться то, что неминуемо открывается перед каждым тираном: пустота, отделяющая трон от народа. И народ, и бояре, и даже сам дух их жизни — все, все вдруг предстало перед ним в той истинной враждебности, всегда жившей и живущей в людях по отношению к власти, то есть к насилью над личностью и проявлением ее, которая (если не держать постоянно эту «враждебность» в узде) может, сообразовавшись, подобно стихии смести и трон, и самодержца, и само это злоносное дерево, вывернув его из земли с его бессмертными корнями, чтобы и в помине не осталось места, где могло бы гнездиться сие ужасающее насилие. Разумеется, если Иоанну все же представлялось все это, то, надо полагать, отнюдь не в такой ясности; нас учили, что исторические личности всегда думают лишь историческими категориями: объединение Руси, подавление княжеско-боярских междоусобий и пр., и т. д., и т. п., тогда как Иоанн, несмотря на оставленный им грозный след, был всего лишь человеком с пороками и слабостями, какие лишь в разной степени проявления присущи всем, но, получив в царской его особе стократное усиление, видятся иногда великими, низменно великими, можно было бы уточнить, или, по крайней мере, чем-то особенным, ставящим Иоанна в разряд натур незауряднейших и неповторимых. В мире все возможно; возможен и такой взгляд, вернее, преувеличение, но, думаю, то про-

стое, присущее человеку, что определяло и двигало царскими помыслами, — простое, человеческое куда более могло бы объяснить нам мотивы и самую суть тиранства, всегда более основывающееся на страхе (за плоть и древо), чем на фундаменте государственных нужд (как подаются затем факты истории для обоснования и подкрепления идей и концепций), и — великая по учебникам, не предстанет ли нам тогда душа Иоанна в тщедушии и мелочной своей уязвленности, лишь облаченной в царское благолепие, какой она только и была на самом деле и какой, оставаясь наедине с собой, Иоанн сознавал и видел ее. На мгновенье, да, только на одно, может быть, мгновенье почувствовав себя в это утро у окна беззащитным и уязвимым и вздрогнув и заледенев душой, он до конца жизни уже не смог избавиться от этого охватившего его мгновенного — именно за плоть и древо — страха и готов был за саму возможность в нем этого унижительного чувства мстить и мстить: персонально ли, то есть по фамилиям, изводя на нет тот или иной вызвавший подозрение княжеский или боярский род, или городам — Твери, Новгороду — за то лишь, что люди в них, как, впрочем, и по всей России, посмели хотеть для себя нормальной человеческой жизни.

V

Колокола уже не гудели, и с площади сквозь прихваченные морозцем оконные стекла различимо доносились конское ржание, голоса бояр, покрикивавших то на холопов, то на народ, и глухой, словно накатывающийся ропот толпы, особенно заставлявший Иоанна прислушиваться и как раз и вызывавший в нем тяжелые мысли. Нет, он не восклицал, глядя на эту однородную, серо шевелившуюся перед ним зипунную массу и плавающие над ней шапки бояр, — «Ужо вам!» Вся непрерывная цепь убийств и казней, какую означит его царствование, — цепь эта (какой она будет?) со всей ее бессмыслицей и пагубностью именно для державы, которую, как увещавательно продолжают говорить нам, Иоанн хотел только объединить и усилить, еще отдаленно не представлялась ни в продолжительности и тягости мучений народа, ни в размерах выпу-

щенной из людей крови; думая вроде о будущем (в тех смутных очертаниях защиты плоти и древа, как только оно пока и могло представляться ему), он в то же время был весь в страстях сиюминутных, поглощавших и его царское внимание и волю. Он знал, что, покидая Москву, бросал вызов не только боярам, служившим (правдой ли, неправдой ли, как полагал) ему, и не просто народу, которого никогда не понимал, не хотел и не мог понять, но бросал вызов всей своей царской судьбе, словно мало было ему власти, какой обладал, мало было унижений и трепета, с каким все и вся преклонялось перед ним, и требовалось достичь чего-то еще более могущественного, что поставило бы его особу в ряд хотя и земных, но недостижимых людям величин; он, в сущности, бросал вызов всей той враждебности, что была за окном, на площади, одновременно и чувствуя над ней свою силу, и трепеща перед ней, и ему попеременно хотелось то поскорее и решительно покончить с начатым, то есть осуществить угрозу, с какою (выразив ее именно этим своим отъездом) готовился оставить Кремль и столицу, то, напротив, чтобы кто-то бесстрашно, как когда-то иерей Сильвестр, кинулся теперь к его ногам и каким-либо новым вразумительным словом остановил его. В памяти Иоанна живо возникало то тринадцатилетней давности событие, когда в испепеленной пожаром Москве народ, «несчастьем расположенный к иступлению злобы и мятежу», восстав наконец против боярской деспотии Глинских и Пронских, действовавших в своих интересах и поборах именем юного самодержца, растерзал в церкви Успения князя Юрия Глинского и, наглумившись над его телом, вынесенным на лобное место перед Кремлем, и разграбив имения сих бояр и умертвив многих слуг и детей их, явился затем толпой в Воробьеве и, окружив царский дворец, требовал, чтобы Иоанн выдал на самосуд им свою бабу княгиню Анну, колдовством будто бы учинившую пожар в Москве, и ее сына Михаила. Вот так же стоя у окна, Иоанн смотрел тогда на ту разъяренную толпу, в которой, он отчетливо это понимал, были и те чело-битчики на Глинских и Пронских, которым накануне в гнев, что осмелились прийти к нему, он самолично палил бороды и волосы, лил на них горящее вино и, велел под конец раздеть донага, положил на землю

перед собой... Они были в толпе, да, он видел, и — выдай он тогда им княгиню Анну с сыном, кто мог поручиться, что уже через час толпа не потребовала бы и его самого к ответу? Он приказал стрелять по толпе, и в те самые минуты, когда перед фасадом и вокруг дворца загремели выстрелы, и люди, падая от пуль, с выкриками проклятий и ужасом кинулись прочь, чтобы спастись от сей государевой «милости», и когда в царских палатах зловеще запахло пороховым дымом, гарью и кровью, — пробившись через охрану, выламывавшую ему руки, в комнату к Иоанну ворвался в то время безвестный еще как будто иерей Сильвестр (правда, некоторые историки утверждают, что не совсем безвестный, так как числился уже тогда одним из служителей придворного Благовещенского собора) и с «угрожающе поднятым перстом», как свидетельствуют современники, и с «видом пророка» и столь же пророчески поставленным голосом возвестил Иоанну, что «суд божий гремит над головою царя легкомысленного и злострастного; что огонь небесный испепелил Москву; что сила вышнего волнует народ и лиет фиял гнева в сердца людей!». В руках у Сильвестра было Святое писание, из которого иерей и принялся читать наставления Иоанну. Так ли все было на самом деле или сопровождалось иными и более выразительными подробностями, но — кто может теперь, приподняв плиту истории, выложить перед нами с достоверностью, что и как было тогда; важно, что было, что нашелся служитель, готовый вступить за правое дело, и что внушения его (может быть, даже сама дерзость поступка!) возымели действие, и не на час, не на день, а на десятилетие воцарилось спокойствие в государстве; важно, что Иоанн внял и запомнил и в минуту новых испытаний чувствовал, что ему недоставало Сильвестра, и, глядявываясь в толпу, искал лицо его среди сотен других незнакомых ему лиц. Но Сильвестра не было. Оклеветанный и сосланный в уединенную Соловецкую обитель, он был затем тихо (и с ведома и согласия Иоаннова) помещен в келью молчальников, а вместе с ним (как только и можно предположить) задавлена была и сама возможность подобного проявления духа, так что — чего же было искать и ждать самодержцу от им же самим униженного и запуганного народа? Вместо Сильвестра взгляд его то и дело

натякался на шапки и лица бояр, и оттого лишь сильнее натягивалась в нем струна гнева и ненависти.

Он вздрогнул, но не обернулся, когда, громяхая в дверях своими воинскими доспехами, вошли к нему князь Вяземский и боярин Басманов с сыном Федором и объявили:

— Государь, все готово к отъезду!

VI

— Царица?.. — спросил Иоанн, все так же не обращиваясь.

— На выходе, Государь!

— Хорошо, оставьте меня, — сказал Иоанн тем (хотя и без раздражения пока еще) тоном, значение которого не нужно было разъяснять ни князю Вяземскому, ни Басмановым.

Они сейчас же, пятясь, вышли из палаты, удивленные и озадаченные холодностью к ним Иоанна, но — что было самодержцу до холопов, в какой бы знатности они ни пребывали, если вместо того державного, что, казалось, только и могло в эту минуту занимать его, мысли его были сосредоточены лишь на себе и Сильвестре, который в образе нового иерея или чернеца должен был вот-вот, явившись, удержать и спасти его; ему не хотелось прерывать этой минуты ожидания, когда все могло еще измениться и образумиться (перед той бездной, в какую он ввергал Россию), и желание это настолько сильно охватывало Иоанна, что он несколько раз невольно и нервно оборачивался на дверь, за которой, впрочем, было столь же глухо и напряженно (ни Вяземский, ни Басмановы, ожидавшие выхода царя, не смели даже пошевелиться), как глухо и напряженно было и в палате, и в самой вскипавшей (царскою многогранностью) Иоанновой душе.

Трудно сказать, сколько в этом смятенном состоянии простоял бы Иоанн у окна, борясь с охватившим его сомнением, и что в противоборстве душевных сил одержало бы верх, может быть, действительно-таки разумное, что отвернуло бы Россию от пути мучительств и казней, если бы вдруг не послышался или не прозвучал на самом деле тот одиночный удар колокола, который и вывел самодержца из задумчивости и

отрезвил его. Разумеется, было бы нелепо теперь утверждать, что сей одиночный колокольный звон решил судьбу России и что все дело в том, что запутавшийся в концах веревок звонарь сделал по неосторожности ли, по неосмотрительности ли не то движение, какое надо было сделать ему; к тому же и в свидетельствах очевидцев почти не упоминается об этом роковом будто бы для России сигнале, настолько несущественным показалось всем сие событие в общей суматохе сборов; не исключено, что никакого удара и вовсе не было, то есть не было вины звонаря, а все произошло лишь в воспаленном воображении Иоанна, и сколько бы мы ни брались толковать сейчас, опускаясь к обыденности (чем только и сопровождается всякое даже великое дело), несомненным остается одно, что тот внутренний спор, какой Иоанн вел в эти минуты в себе, не мог решиться иначе, чем он решился; все, что не подкрепляло древо власти, — было отброшено как ничтожное и враждебное, и в наступившем единстве цели и действий уже не находилось места для сомнений; где прозвучал одиночный удар колокола: над площадью ли, в сознании ли Иоанна, было неважно, а важно было лишь, что прозвучал, положив черту между тем, что было достоинством всех, и тем, что было достоинством одного, столь же, впрочем (да и всего лишь!), смертного, как и все, и перешагнувший эту черту Иоанн никогда уже не позволял себе обратного хода; заледенев лицом и душой, он резко повернулся и направился к выходу.

Не знаю, насколько есть предчувствия у слуг (иногда кажется, что они способны видеть сквозь стену), но едва Иоанн приблизился к дверям, как они распахнулись, пропуская его; потом распахнулись следующие, еще следующие, и полный духовных и физических сил тридцатилетний самодержец России, выглядевший моложаво и стройно (несмотря на некоторую сутулость, происходившую от высокого роста), прошагал мимо придворной челяди тем твердым, державным шагом, каким более чем умел, как и множеством других, впитанных им из царского арсенала приемов, выказать свое превосходство и власть. За царем, стремясь подражать его державности и отеснив бояр именитых и думных, двинулись его любимцы: и те, что только что были с докладом, то есть

Вяземский и Басмановы отец с сыном, и успевшие подойти Салтыков, Грязной, Чеботов и Малюта Скуратов-Бельский, уже тогда своим усердием и преданностью Иоанну начавший заметно выдвигаться среди липнувшей к трону блестящей молодежи. Пройдет время, и среди страшных имен истории зловеще зазвучит и имя этого человека, поставленное рядом с именем самодержца (как, впрочем, и имена этих, с кем он, сияя доспехами, шел вслед за Иоанном и для которых даже мученическая смерть их не сможет послужить оправданием перед историей), но коль скоро служба властителю всегда подменяется понятием службы отечеству, то и деяния сих ретивых во все времена служак столь же пропитываются украшательством и ложью, что совершающий их вряд ли до конца осознает, что и во имя чего совершается им; и дело тут не просто в обмане, который так ли, иначе ли, но с прошествием лет открывается перед миром, а в том, что, открываясь, не учит, что, несмотря на всю очевидность лжи, предстает, в сущности (в пространстве столетий), неистребимым, и каждое новое поколение искателей службы и славы даже не замечает, как оказывается все в тех же сетях. Действительно ли знали эти именные холопы о замысле Иоанна, думали ли о судьбе России, за которую, как это казалось им, готовы были не пожалеть живота, или всего лишь, отдавшись течению, в какое (по знатности рождения) судьба определила их, плыли теперь, не понимая, куда и зачем, — все говорило в них об этой бездумности, которая только и могла одухотворять их, и это видно было и по их сиявшим беззаботностью лицам, их одежде, парадно кричавшей о знатности и близости к трону, наконец, высокомерию, с каким взирали они на тех, кто еще вчера, казалось, стоял выше их и помыкал ими. То, что затевалось Иоанном, для них было скорее лишь очередным увеселительным делом, в котором можно было, во-первых, вдоволь натешиться и, проявив ревность к службе, плотнее приблизиться к трону, и, во-вторых, получить или выпросить за эту свою «ревность» еще вотчин на кормление, и — чего же было не веселиться им, идя за самодержцем?

VII

У слуг — своя жизнь, своя психология, с подносом ли в руках они стоят перед властителем или с готовностью занести палаческий топор над народом. Разница лишь в том, что одним платят обедами со стола, другим — известностью и славой. Нет, я не хочу сказать, что история не знает иных примеров; примеры были, но они — как мгновенные озарения на фоне постоянно мрачного неба или как исключения, подтверждающие, что смена формаций есть лишь смена вывесок над одной и той же глубинной неизменностью жизни. До абсолютизма, при абсолютизме, как свидетельствуют источники, и после него — все та же основа, тот же один стержень: держатель власти, как бы ни называли его, двор при нем (думных ли бояр, министров ли, иных ли чинов и званий) и та же извечная, полная интриг и борений придворная жизнь, которая, как поток через валуны, несется через века, не меняя ни русла, ни скорости и обращая каждого, кто попадает в него, в силовую частицу своего давления. Князь Вяземский, князь Михайло Салтыков, боярин Алексей Басманов с сыном, Чеботов, Грязной, Малюта Скуратов-Бельский — как ни казалось им, что они лишь подчинялись самодержцу, за которым, возглавляя свиту, весело вышагивали теперь, и как ни казалось Иоанну, что все, что совершал он и совершалось вокруг него, зависело от его желания и воли, на самом деле все было и сложнее и проще, поток одинаково увлекал как властителя, так и слуг, и если бы можно было колебания Иоанна представить в виде безмена с чашами добра и зла, то вся (в знатности и роскоши) придворная челядь кинулась бы, давя друг друга, к чаше зла, из которой кормилась, и никакой воли самодержца не хватило бы остановить это движение; и захоти Иоанн что-либо изменить теперь, он не смог бы сделать этого; он был в потоке, и свита, хвостом растянувшаяся за ним, словно на гребне выносила его к его зловещим замыслам и делам.

На другой половине дворца, женской, приближался к выходу свой (и столь же растянувшийся меж дверей и палат) шлейф из знатных особ, прислужниц и слуг с величественно выступавшей впереди молодой супру-

гой Иоанна царицей Марией. Летописцы, как и люди вообще, коим не чуждо поперебивать косточки ближнему, обычно любят, когда нет иных и нужных аргументов, прибегать к так называемому влиянию жен на ход государственных событий; история не оставила нам точных свидетельств, насколько дочь черкесского князя Темрюка, названная в христианстве Марией, могла влиять на Иоанна, особенно в этом его пагубном (для России) предприятии, когда он, желая бросить вызов боярам и народу, решил на оставление столицы, но настороженность к ней, как к чужеземке, способной действовать не в пользу державы, — настороженность эта чувствовалась в то утро и среди знати, и среди народа и, соединяясь с именем венценосца, выливалась в настороженность и недоверие к нему. Настроение ближних, как и настроение толпы, не всегда выражается в речах и криках; гнетущее молчание иногда говорит куда больше, чем любые самые грозные слова; и потому, наверное, чем могильней было молчание за спиной царицы, то есть чем яснее ощущала она недоверие и недоброжелательность к себе, тем горделивей и царственной поднимала голову и тем сильнее тот гнев, какого могло бы и не быть в иных обстоятельствах, возникал в ней и сближал ее с Иоанном.

У выхода из дворца эти два потока соединились. Иоанн чуть приостановился, испытывая, видимо, потребность что-то сказать царице или спросить у нее, но — лишь молча, наклоном головы отдав почтение, вместе с ней затем вышел на крыльцо перед народом.

VIII

Человек не в силах поставить себя вне природы, вне общества; даже монарх, отождествляемый с Богом, хоть на минуту, но бывает подвержен влиянию красоты, когда душа и тело его, гармонируя с окружающим его миром, вдруг опускаются до простого, земного восприятия жизни. С него, как одежды с плеч, спадают оковы божества, и в облегченном этом состоянии (облегченном душевно) он становится способным и на доброту, и на раскаяние, и на улыбку, слезы, на сочувствие к ближнему, без чего невозможна была бы сама

мысль о людском сообществе; и не в этот ли момент возникает сознание вины и потребность искупления, заглушаемые во все прочее время приливами дворцовой жизни с ее так называемой безустанной заботой о благе отечества? В исторических источниках (несмотря на всю информационную скупость их) сказано, что в день отъезда из Москвы Иоанн, войдя в церковь Успения, «молился с усердием» и что, «приняв благословение от Афанасия, милостиво дал целовать руку боярам, чиновникам, купцам; сел в сани с царицею и, провожаемый целым полком вооруженных всадников, уехал в село Коломенское, где жил две недели за распутьем: ибо сделалась необыкновенная оттепель, шли дожди, и реки вскрылись». Не очевидно ли, сколь спокойное повествование разбивается словами «молился с усердием», и не говорит ли нам это о состоянии Иоанна, в каком, приняв ужасающее свое решение, он покидал столицу? Нет, с какой бы убежденностью ни утверждали философы, что не личностями, а законами, то есть противоборством раз и навсегда установленных сил движется история, — ничто не властно над чувством и разумом человека, кроме разве самого человека и обстоятельств, вынуждающих к действию. Иоанн не был в вакууме, и ему не чуждо было душевное расслабление. Увидев совсем по-иному, чем из окна дворца, площадь, через которую вместе с царицей прошествовал затем к церкви Успения в сопровождении любимцев и слуг, увидев народ, в покорстве обнаживший перед ним головы и тысячами глаз с надеждой и верой устремившийся на него, увидев и, главное, ощутив глубину и первозданность мира, сотни раз представавшего и теперь вновь, как перед великим событием, представшего перед ним куполами церквей, снегом и небом с его вечной и таинственной безграничностью, Иоанн не мог не расслабиться и не осознать (хоть отдаленно, хоть намеком), что и он, как и все, есть лишь частица этого великого целого, что не подвластно ни земному разуму, ни земной воле, и что — не пора ли остановиться человеку в своих желаниях перед этим пределом умиротворенности, красоты и величия.

Говорят, лик самодержца был светел, когда, входя в церковь Успения, он поверх толпы и позолоченных куполов соборов еще раз посмотрел в морозную глу-

бину неба. Но, поддавшись сему соблазну умиротворенности, мог ли он в полной мере, как это свойственно всякому простому человеку, признать главенство жизни над всеми другими потребностями души и тела? Мог ли подняться до этой высоты и простоты восприятия, не выдвинув впереди жизни как высшее (и доступное лишь избранным) проявление ее — силу и власть? Потому-то, наверное, и молился с «усердием», что просил у Всевышнего крепости духа для себя против расслабления — хотя бы и минутного, но столь (в монаршем понимании его) отравительно-пагубного для государя России. «Только в силе народного повиновения заключена сила государственная, и только волею властителя может удерживаться коленопреклоненным народ. Укрепи, Господи, нас в мужестве, и нашей земной славою да будет воздано тебе на небесах!» Разумеется, ни этих, ни подобных им (и схожих по смыслу) слов Иоанн не произносил; усердие его было скрытым, мысленным, и лишь по той пугающей жесткости, которая, проступая, словно бы затвердевала на его молодом, сухощавом, горбоносом лице, можно было судить о происходившей в нем душевной работе. Когда он вышел из церкви, он был уже иным, словно весь аскетизм святых, с росписей и икон (в соборе) смотревших на него, их мученичество и отреченность от благ земных во имя благ вечных, соединившись, наполняли теперь душу и тело Иоанна и, трансформируясь в нем в тяготы властью, являли толпе и миру грозного самодержца.

В царских своих одеяниях (и сопровождаемый царицею с ликом столь же погасшим и отяжелевшим) Иоанн подошел к саням. Обернувшись к толпе, он милостиво, как утверждали очевидцы, протянул руку, но подходившие с поклоном и целовавшие ее не интересовали Иоанна. Взгляд его, скользя по поверхности согбенных спин и голов, был устремлен в пространство — ту бездонную глубину неба, открывавшуюся между куполами, в которой, как полагал он, только и можно было найти ответ на вопросы о незыблемости и вечности бытия. Ведь как раньше, так и теперь для властителей не существует проблемы отдельных человеческих личностей; для них все слито в понятиях «народ», «благо народа» и «благо отечества», то есть того «блага», которое, пообещав всем, можно не да-

вать никому; и — сколько же поколений людей, поддавшись на сей легковесный обман, было перемолото затем тронными жерновами за минувшие тысячелетия? Мне могут бросить упрек: дескать, не слишком ли автор осовременивает Иоанна? Возможно, что и так, если человеческую мудрость, наработанную историей, отнести лишь к разряду подростковых шалостей перед лицом ныне столь «возмужалого» (до амбициозных высот!) сознания; но разве происходящее теперь с народами и правителями не повторялось прежде (читайте, читайте историю!), и разве не обращаемся мы в поисках новых догм к догмам прежним и не мастерим для них своих, созвучных времени одежд? Иоанн не мог не знать о силе и притягательности идей общего характера, бросаемых в народ, перед желаниями (или запросами) частными, и если в чем и можно тут усомниться, то лишь в степени понимания Иоанном существа дела, а не в самой той сути, о которой идет речь. Он точно так же, молча и глядя поверх митрополита, осенявшего его крестом, принял благословение, затем уместился в санях рядом с царицей, и весь монарший обоз в окружении бояр, холопов и ратников, скрипнув полозьями, двинулся к Троицким воротам Кремля.

По мере того как обоз, вытягиваясь, освобождал площадь, — прежде разделенная, как разрез на теле, толпа смыкалась, стягивая рану, и по мере того как рана заживлялась, глуше и напряженнее становилось в толпе, словно не царь, не грозный (и кровавый) самодержец России, а кормилец, поилец, отец родной уходил из отчего дома, оставляя несмышленных и осиротелых чад своих на произвол и поругание. Люди не понимали, что произошло, и были (по состоянию растерянности) похожи на тех животных, всю жизнь просидевших в клетках и вдруг получивших свободу, которые, страшась этой открывшейся им свободы, боятся выйти из своих привычных жилищ; и как только последние сани монаршего обоза скрылись за кремлевскими воротами, толпа, топча и сдавливая друг друга, хлынула к церкви Успения, к митрополиту Афанасию, стоявшему на паперти и продолжавшему осенять крестом то ли пространство, то ли народ, как это можно было понять, готовый пасть на колени перед ним, то ли все еще — царский поезд, рассекавший уже московс-

кие улицы и головными санями своими выходивший из города. «За что? Почему? Что будет с нами?» — было в отчаявшихся взглядах людей. Но что мог ответить им митрополит Афанасий? Он только попросил освободить ему дорогу и сквозь образовавшийся проход, сопровождаемый духовенством, прошел в опустелый, безжизненный царский дворец. Он ходил по гулким (в пустоте и безжизненности своей) царским палатам, ища объяснения и не находя его, и, не имея уже сил вновь появиться на народе, в муках тяжелейших предчувствий прислонился к косяку окна, возле которого только что, казалось, стоял Иоанн, и столь же вдумчивым взглядом принялся смотреть на продолжавшую кипеть людской толчеею площадь.

IX

У каждого из нас есть два состояния жизни: когда мы предоставлены сами себе, то есть находимся в тишине и одиночестве, и когда оказываемся втянутыми в водоворот общих событий, то есть в толпе, в массе, захваченные ее интересами и неотторжимые от нее. В одиночестве у нас и думы ясней, и происходящее вокруг мы соизмеряем прежде всего со своей жизнью, жизнью семьи, ближних, и мир, предстающий перед нами, предстает в конкретном объеме и измерении; в массе же, когда в действие вступают совершенно иные параметры восприятия, исторические, назовем их так, все окружающее настолько гиперболизируется, что обретает если не эпохальное, то уж, во всяком случае, общенациональное значение, и тогда, как водится, — у страха глаза велики! Соединенные вместе, чувства людей оборачиваются равно как всеобщим и безудержным ликованием, так и безудержной и всеохватной паникой (в согласии, разумеется, с изначальной заданностью), разум уступает стихии, и совершаются безумства, на столетие, а иногда и больше накладывающие затем свой страшный отпечаток на сознание людей. Я не берусь утверждать (да это было бы и против моих правил), что все подобного рода исторические события, в кои бывают вовлечены народные массы, развиваются по одному и тому же раз написанному сценарию; но вместе с тем, если внимательней и без пред-

взятости, то есть без желания заранее что-либо подтвердить или доказать, взглянуть на них, то можно заметить и некую проявляющуюся общность, по которой они роднятся между собой, преподнося нам и человечеству определенный и не воспринятый пока еще поколениями урок. В самом деле, могли ли у тогдашних обывателей Москвы возникнуть при виде покидавшего их царя чувства иные, чем сомнение, недоумение, растерянность и страх перед свободой, вдруг и столь упрощенно даровавшейся им? Ведь событие то можно представить и так (очистив его прежде от ненужных наслоений), что России давался, в сущности, шанс выбора: быть ей вечно под десницею самодержцев и захлебываться в нищете, бедствиях, крови и стогах или пойти путем другим, европейским, как сказали бы теперь, то есть путем раскрепощения труда, инициативы и обретения истинной, а не мнимой, сдобренной лишь некоей иллюзорной русской идеей самобытности? Царь оставлял народ, бросал его на произвол судьбы, так чего же еще, о чем размышлять? Но история не донесла до нас ни мыслей митрополита Афанасия, человека наверняка незаурядного, сумевшего из монахов (Чудова монастыря) подняться до государева духовника, а затем получить высший духовный сан России, ни князей, бояр, окольных и разного рода прочих приказных людей, среди которых было немало и мужей именитых, умных, умевших постоять и за себя, и за народ, и за отечество (они затем с гордой покорностью положат свои головы на плаху под обгащенный кровью Иоаннов топор), ни тем более кого-либо из народа, о ком можно было бы рассказать теперь. Известно лишь, что и духовенство, и князья, и бояре, и народ, — все находились в недоумении и паническом ужасе, словно безначалие и впрямь, как замечает историк, было для них страшнее тиранства (что, впрочем, лишь констатирует, а не объясняет явление); но может ли сегодня удовлетворить нас даже столь, казалось бы, емкая и правдивая констатация, и не возникает ли потребности заглянуть поглубже — если не в самый корень вопроса, то по крайней мере в те пределы, с которых можно было бы начать уяснять истину. Нам говорят, что человечество развивается и совершенствуется по одному и тому же естественному закону жизни, а наличие ступенчатости в уровне раз-

вития народов преподносится как результат неких складывающихся (?) обстоятельств или, точнее, неких возникающих (?) общественных сил, которые в разные эпохи и по-своему либо тормозят, либо способствуют ускорению процесса, и что, следовательно, воздействие этих общественных сил или обстоятельств нельзя рассматривать в последовательном единстве, то есть вне контекста с эпохой, и тем более выводить по ним какую-либо параллельную с основным законом столь же естественную закономерность. Может быть, подобное деление жизни на естественный ее ход и на привносимые в него элементы торможения или ускорения с точки зрения науки имеет свою логику и по-своему оправданно и правомерно; но простая народная рассудительность подсказывает мне, что все, что происходит с человеком и человечеством, — все, все неразрывно связано между собой, имеет одни корни, одно начало и продолжение, а потому и рассматриваться должно в единстве, а не в отрыве неких естественных будто бы сил, направляющих течение, от привносимых. Привносимое может привноситься только либо властью, либо религией, которая, впрочем, всегда являлась служанкой власти (нескольких или одной, как церковь православная, так и не сумевшая за тысячелетие отделиться от Кремля), и если уж от чего-то, и зависит ход истории, то зависимость эту следует искать в существовании той власти и той религии, какие тот или иной народ позволил принять и возвести над собой. В то время как среди европейских народов, получивших (уже в те средние века) во владение землю и обрабатывавших ее, укреплялось свободолюбие и достоинство, безземельный, закрепощенный россиянин, одновременно угнетавшийся и властью, и церковью, призывавшей его к терпению и внушавшей ему, что он всего лишь Божья овечка, предводимая пастырями, то есть царем и церковью, — россиянин (разумеется, в общей своей массе) не мог даже помыслить о каком-либо ином устройстве жизни, чем то, в котором пребывал, свыкнувшись с нищетой, бесправием, терпящий тяготы и заботы. Нет, как бы ни хотелось нам иметь другую историю, мы имеем эту, в которой, к сожалению, и формировался наш народный характер, наши нравственность и социальное смирение, столь и ныне (по незнанию или зломыслию) провозглашаемые

самобытностью; мы, в сущности, движемся по замкнутому кругу, нищета гонит нас в церковь за справедливостью и надеждой, а с амвона снова и снова глаголят нам о вечных овцах, пастырях и терпении, через которое только и можно будто бы прийти к общему благу, и — будет ли когда-либо разорван этот злоеший замкнутый круг, извлечем ли, наконец, урок из собственной истории или нет — вот вопрос, который давно и болезненно преследует меня, и лишь в поисках ответа на него я и позволил себе это столь неправомерное (с точки зрения канонов жанра) отступление.

Но вернемся к повествованию.

Х

После отъезда Иоанна люди долго не расходились с площади и, топчась перед кремлевским дворцом, ожидали, что вот-вот митрополит Афанасий выйдет к ним и объяснит все. Но митрополит не появлялся, и за глухими дверями не было слышно ни его голоса, ни шуршания его расшитых золотом и камнями церковных облачений. Между дворцом и церковью Успения лишь молчаливо сновали озабоченные монахи, для чего-то (и заранее, видимо) вызванные сюда, да оставленные Иоанном при дворце холопы и стражники, которые, выходя на крыльцо, покрикивали на народ и разгоняли его. Их угрожающий вид, равно как и молчаливая и непонятная беготня монахов только усиливали общую тревогу и озабоченность. К полудню настроение толпы выплеснулось за кремлевские стены и вместе с людским потоком начало разливаться по улицам и переулкам Москвы. Одни спешили в дома в предчувствии чуть ли не конца света, другие, желая поговорить, скапливались возле церквей, кабаков и харчевен, и, как обычно в таких случаях, когда народ пребывает в неведении, по городу поползли разные пугающие слухи. С наступлением темноты из кабаков и харчевен вывалились подгулявшие, «воровские», как их называли тогда, люди, требуя воеводу, оружие и грозясь подпалить Москву. Они учиняли драки, пытались громить лавки, их разгоняли, ловили, били, и эти маленькие (в целях наведения порядка) побоища только еще сильнее накаляли общую обстановку. Когда на

колокольнях ударили к вечерне, город опять встрепенулся, словно от набата; сей привычный, малиновый (по отношению народа к нему) перезвон сорока сороков златоглавых московских церквей, всегда вызывавший лишь чувства доброты и умиротворенности, был воспринят теперь как предвестник беды, гулко, раскатисто разрубавший морозную синь. Остававшиеся, как и народ, в неведении, сидели по домам и бояре, держа совет. Близкие к князю Дмитрию Бельскому собрались у него — в своих длиннополых боярских шубах и с седыми, расчесанными бородами; близкие к другому князю, Ивану Мстиславскому, — в хоромах его, рассевшись столь же чинно, рядком, на лавках; они не то чтобы намечали план действий, но не знали даже, о чем было говорить им, и лишь посылали на улицу холопов за сведениями и дожидались их. Не бездействовал, пожалуй, только митрополит Афанасий. Обеспокоенный теперь не столько отъездом Иоанна, сколько — возможностью беспорядков и бесчинств в городе, он глубоко за полночь позвал к себе писца и диктовал ему послания к именитым, которых почитал близкими, духовным отцам, увещевая их прибыть к нему для дел важных, угодных Господу и Государю.

— Епископам: Никандру Ростовскому, Елевферию Суздальскому, Филофею Рязанскому, Матфею Крутицкому, — произносил он усталым, больным, старческим голосом. — Архимандритам: Троицкому, Симоновскому, Спасскому, Андрониковскому...

Не знаю, как у кого, но у меня и теперь, когда смотрю на наше высшее православное духовенство (особенно, когда отцы церкви облачены в парадные свои одеяния), возникает ощущение, будто у них никогда не было ни детства, ни молодости, ни жизни вообще, как она протекает у людей простых или, скажем, знатных, будто они так и рождаются — в седых волосах, с бородой и в рясах, и будто на их челе никогда не возникало и не может возникнуть ничего, кроме той мрачной святости, какую по извечному будто бы предназначению им только и положено осенять каждое произносимое слово. Думал ли так дьяк-писец, отрываясь от работы и обращая свой молодой взгляд на митрополита, сидевшего с больными, закутанными в меха ногами, или возникали иные, более возвышенные или приземленные мысли, теперь трудно

установить; но нам, отстоящим столь далеко от той эпохи, не может не быть очевидным, что за внешним впечатлением святости, какое должен был производить да и производил, видимо, на всех митрополит Афанасий, скрыты были все те же простые человеческие чувства, те же понятные нам и сегодня страдания и надежды, какие испытывает всякий умеющий (или способный, как было бы точнее) в трудную минуту жизни соединить воедино свою судьбу с судьбой народа и государства.

Были у митрополита (по крайней мере он-то все знал о себе) и детство, и юность, и послушание, когда его подростком еще привезли в Чудов монастырь и оставили там; были и пострижение, и служба, и учение грамоте, и ночи, проведенные в монастырской читальне, где он, знавший жизнь крестьянскую, то есть народную, от самых ее основ, познавал, сопоставлял и соединял ее (в своем весьма проворном, как он говорил о себе, мужицком умишке) со всеми теми постулатами церкви (добавим: и власти, так как цели этих двух начал по отношению к народу всегда были и остаются одинаковыми), с помощью которых только и мог подддерживаться раз и навсегда будто установленный в мире порядок, когда — деньги к деньгам, власть к власти, нищета к нищете. Он особенно помнил это теперь, с высоты прожитого и пережитого, оглядываясь на прошлое и видя его (как только могут видеть люди, находящиеся у края могилы, то есть в последнем для себя откровении, не смея перед небытием ни слукавить, ни солгать) не в той умиленной святости покорства и смирения, к чему, по возложенной на него духовной миссии, он в молитвах и служении призывал себя и народ, а в столкновении (и несовместимости!) интересов людей труда с интересами власти. Хотя и туманно, но он помнил еще Ивана III, деда нынешнего самодержца, и царицу Софью, племянницу последнего византийского императора Константина Палеолога, которая за шестьдесят соболиных шкур и великокняжескую грамоту с золотой печатью была сосватана и привезена из Рима в Москву — со всем своим «греческим» двором и атрибутами (или титулами) византийской императорской династии и двуглавым орлом, ставшим затем символом России; помнил и Василия Иоанновича, умершего вдруг, в одночасье (от какой-то

«с булавочную головку болячки», вскочившей во время охоты на ногу), и оставившего нынешнего венценосца в трехлетнем возрасте на попечение матери и опекунов-бояр Глинских, Пронских, Шуйских, Захарьиных, Воронцовых, Кубенских; помнил и правление сих бояр, и царицу Елену, в сговоре с ними разорявшую вотчины и народ, и молодого, подраставшего Иоанна, его первый брак, Адашева и Сильвестра при нем, и затем, после смерти царицы Анастасии, — кутежи, прелюбодеяния, казни, брак второй и опять казни, казни, казни. Чего добивался Иоанн, чего хотел? Разве мало было ему того, что имел? И какое новое бедствие задумал обрушить на Россию этим своим отъездом?

Сии, казалось бы, простые, но отмеченные глубиной и смыслом вопросы, которые, наверное, не один только митрополит Афанасий в этот вечер задавал себе, мучительно теперь занимали его. Старый, больной, ничего уже как будто не должный желать от жизни кроме успокоения, он старался еще собраться с силами, чтобы хоть в конце этого, отягченного страданиями ближних пути, исполнить свое отнюдь не божественное, но человеческое предназначение. Он готовился, если так можно сказать, к подвигу, чувствуя, как никогда, может быть, подъем и величие духа в своем дряхлом, немощем, плохо подчинявшемся ему теле, и если на лице и отражалось замечаемое дьяком-писцом страдальческое выражение, то оно происходило не от физической (в ногах) боли, но от боли иной, душевной, от того извечного для всякой старости драматизма — несоизмеримости возможностей духа с возможностями тела, который делает нас беспомощными и в противоборстве с которым еще никому из смертных не удавалось одержать верх. Да и что, если откровенно, мог сделать митрополит Афанасий? Разве что чуть замедлить ход развивающихся событий? Но и на это, чтобы замедлить, он понимал, недостаточно было лишь его старческих усилий; единомыслию во зле люди должны противопоставить единомыслие в добре, и на разъяснение этой истины (и сплочения вокруг нее) и намеревался потратить остаток сил возвеличившийся духом митрополит. В какую-то минуту мысль эта настолько поглотила его, что он не заметил, как перестал диктовать и как дьяк-писец, удивленный его молчанием, обеспокоенно смотрел на него.

— Господи, Господи, — тоекратно и торопливо перекрестясь, проговорил митрополит, стараясь как бы встряхнуться и выйти из своего задумчивого состояния. — Не отними, Господи, прежде времени у нас сил наших!

Словно предчувствуя, что дни его сочтены (спустя два года, уже совершенно больной, потерявший способность ходить, он вынужден будет передать свой духовный сан архиепископу казанскому Гермогену, так, в сущности, и не сумев ничего сделать, кроме как выпросить помилование и отвести от казни, то есть опечаловать, как говорили тогда, боярина Яковлева и князя Воротынского), он еще и еще раз молитвенно попросил для себя у Бога жизни и времени, так необходимых ему теперь для исполнения замысла; взгляд его невольно упал на меха, которыми были укутаны ноги (как если бы и в самом деле от пола или окна тянуло пронизывающим холодом), и лицо несколько смягчилось и пошлое, едва дьяк-писец, уловив его страдальческое желание, поднялся и потянулся помочь ему.

XI

— Надо бы еще архимандриту Левкию, — подал голос дьяк-писец, когда все нужные послания были уже завершены им. — Не случилось бы, чаем, обиды какой, — добавил он, зная о благосклонности Иоанна к этому духовному пастырю и желая предостеречь митрополита Афанасия от неприятностей.

Но Афанасий только поморщился всем своим испитым старческим лицом и ничего не ответил дьяку-писцу.

— Иди, — затем сказал он. — Да смотри, чтобы все немедля было отправлено.

Дьяк вышел, а митрополит Афанасий долго еще продолжал неподвижно сидеть в своем не очень удобном, с высокой прямой спинкой, кресле, откинувшись головой к этой спинке и прикрыв ладонью глаза. На столике перед ним горели восковые свечи, вставленные в тяжелый медный подсвечник, и в ритм незаметному и неслышному, будто с хрипотцой, дыханию митрополита язычки пламени на них то вздрагивали, то успокаивались и замирали, то словно бы оживляя, оду-

хотворяя все вокруг, — лицо митрополита, одежду, спинку кресла, стены, ларцы и ризы икон, сверкавшие позолотой, то кладя на все печать неподвижности, вечности, как бывает только в могильных склепах, куда не проникает никто. Но, как и всякий человек, углубленный в размышления, митрополит не видел и не чувствовал этих перемен; в сознании его возникала другая разделительная черта, но не с противостоянием царя народу, царя боярам или духовенства и народа боярам и царю, как можно было бы предположить (и что вполне вытекало бы из логики обстоятельств); нет, он хотел понять не это, что стоит за властью, богатством и бедностью (и на чем основаны почти все социальные философии мира), а иное, что вообще руководит человеком, приходящим в жизнь, и почему возвращенные на той же земле и среди тех же нравственных постулатов — одни затем облачаются в корысть и зависть, а другие страдают от этой корысти, не умея по доброте своей противостоять ей. «Воля Божья? Но для чего же тогда эта воля?» — думал митрополит, мысленно крестясь и произнося: «Господи, прости, Господи, прости мя грешного». Сколь ни велика была в нем вера, но он все чаще теперь приходил к заключению, что в поступках своих человек не всегда и не во всем подвластен Богу, а что прежде Бога (и помимо него) в нем поселяются страсти, которые и руководят действием. «Левкий?.. — как будто вдруг вспомнил он только что произнесенное вышедшим дьяком имя. — Левкий, Левкий?..» — затем повторил со старческой медлительностью, в то время как в воображении ясно и с живостью, вызывавшей отвращение, возникали события и давние и недавние, которые были связаны (или митрополит полагал, что были связаны) с этим придворным, из священнослужителей, угодником.

Говорят, что ушедшее из жизни незафиксированным — невоспроизводимо, особенно когда дело касается чувств и мыслей исторических личностей. Митрополит Афанасий как лицо духовное, возможно, и не обладал светским мышлением (в той мере, как обладали им государственные мужи), но коль скоро объектом внимания церкви, как и объектом внимания властей всегда являлся народ с уймой своих социальных и нравственных проблем, то нетрудно пред-

положить, что как и за государственной (или государевой, как по-тогдашнему) стилистикой, так и за церковной, если отбросить ее, обнажится одна и та же по целенаправленности объединяющая их суть. Митрополит думал о возможных волнениях, о державе, об Иоанновой политике вообще, к чему могли привести вспыльчивость и жестокость самодержца (возбуждаемые в нем, конечно же, лишь сонмом прихвостней и угодников), но, как это и свойственно не только простым, но и высокопоставленным людям в минуты душевных волнений, он искал предмет, на котором можно было бы без боязни сосредоточить все свое это теперешнее беспокойство, вернее, требовался объект ненависти, на котором соединились бы все узлы, и дьяк-писец, не подозревая того, а желая лишь оградить митрополита от возможных неприятностей, как раз и указал ему (и в нужный момент) на этот объект. На архимандрите Левкии и в самом деле сходилось многое, что характерно было для тогдашней придворной жизни, хотя история донесла до нас и другие, более громкие — все в том же, низменном толковании — имена; но Левкий для митрополита Афанасия имел еще и то значение, что был настоятелем Чудова монастыря и, пороча своими придворными интригами духовное звание, порочил и монастырь, с которым Афанасий связывал свою святость; и эта личная, хотя и косвенная, оскорбленность придавала сейчас воспоминаниям особую остроту и мрачность. Митрополит сидел неподвижно, горели свечи, он был один, и никто не мог видеть его лица; но именно в этой неподвижности происходила та работа души, то вторичное, но, может быть, еще более важное движение жизни — в звуках, красках, картинах, переживаниях, — которое как раз и делает окружающий нас мир материально осмысленным и одухотворенным.

Когда зло распределено на всех, то есть творится множеством людей, оно однолико (и материально) лишь в своих страшных последствиях; но когда собрано в одном человеке, — все вокруг обретает иную ясность и значение, и напрасно полагать, что вступающий на стезю служения Богу не мечтает, хотя бы и в глубочайшей тайне и скрытно от себя, о месте Первосвяtitеля. Архимандрит Чудова монастыря Левкий, может быть, так бы и остался безвестным в истории и

тлел бы (своими «святыми» мощами) на прицерковном монастырском кладбище, отпетый лишь монастырской братией и затем забытый ею же, если бы, приглашенный митрополитом Макарием, не явился бы в числе прочего (и знатного) духовенства и бояр к удрученному после похорон царицы Анастасии Иоанну (случилось это на восьмой день после ее смерти) и не увещевал бы, разумеется, вместе со всем посольством овдовевшего самодержца оставить печали и, встряхнувшись, подумать о новом сватовстве и женитьбе. Афанасий, к тому времени переведенный уже из благовещенских протоиереев в духовники царя, был обойден Макарием и не участвовал в посольстве; но подробности и особенно последствия сего памятного посольства были более чем известны ему, и, высвечивая теперь для себя роль Левкия в тех ужасающих последствиях, о которых без содрогания нельзя было ни думать, ни вспоминать, невольно сводил именно на нем все нити преступных деяний. Он не осуждал целиком посольство, но осуждал ту его половину, которая, воспользовавшись церковным послаблением, начала вовлекать Иоанна в кутежи и прелюбодеяния и в которой (для придания благопристойности и согласия Божьего) место главенствующего духовника как раз и предпочел занять архимандрит Левкий. Архимандрит не то чтобы не пропускал ни одного из застолий, на которых веселились и развратничали молодые княжичи и боярские отпрыски, сумевшие уже войти в доверие к царю и суетившиеся возле его трона, но, как доносила молва, был чуть ли не устроителем их, пороча этим и свой сан священнослужителя, и самую церковь, не запятнанную дотоле, как считал Афанасий, подобными противными Богу и человеку деяниями. Для митрополита все это было, с одной стороны, вполне очевидным, а с другой — недоказуемым, так как опиралось именно лишь на молву, на слухи, распускавшиеся вокруг и не имевшие достаточных подтверждений; одни (очевидцы застолий и кутежей) боялись, другие не хотели выдавать правду, сам Афанасий никогда не бывал на сих княжеско-боярско-царских увеселениях и, не имея достоверных подробностей, не решался ни на разговор с Макарием, ни тем более на разговор с Иоанном. Он переживал молча, нося в себе эту тяжесть позора, ложившегося на церковь, и, вспоминая теперь

о тех днях, видел не столько Левкия в его греховных — «Господи, прости, Господи, прости» — устремлениях, сколько себя с тем мучительным комком тяжести на душе, который и теперь, придавив с новою, казалось, силой, как раз и не позволял ему ни подняться, ни пошевелить бесчувственно стынущими в мехах ногами.

ХII

Кутежи эти, ставшие затем (по разнузданности, развращенности и вседозволенности) своего рода знаменитыми в истории русских самодержцев, устраивались большей частью не в царских палатах, а в домах князей и бояр, где можно было держаться вольготнее — и самим устроителям, и Иоанну, скованному, вернее, должному быть скованным монаршим благочестием, и куда пристойно было доставлять девиц разного рода, и благородного, и неблагородного происхождения. Столы накрывались обильно — и питием, и яствами, хлопоты многочисленной дворни начинались уже за неделю, а то и за две, и точно так же за неделю, за две (благодаря болтливости дворни) Москва бывала уже оповещена об очередном готовящемся светлом пиршестве. Те из княжичей и бездумных боярских детей, которым хотелось поразвлечься вблизи царя и на виду у него, ждали и готовились к предстоявшим забавам; другие, более почтенные, пребывали в растерянности и нерешительности, а еще более почтенные — и по возрасту, и по сану, — к которым относил себя и будущий митрополит Афанасий, привыкшие к определенному укладу жизни, были в недоумении, они видели, что творилось непотребное, и, томясь предчувствием беды, только еще сильнее замыкались в себе. Говорят, что человек не может перемещаться во времени; но все воспроизводившееся теперь в сознании митрополита было настолько живо, ясно и соизмеримо, что минутами он даже забывал, что сидит один, в тиши, перед свечами, только что отдиктовав послания и проводив дьяка-писца; перед ним предстала одна бесконечная картина пира, не разделенная ни по датам, ни по месту проведения, дворцам и хоромам, в коих они происходили и на

коих, как тогда же было замечено летописцами, «самая трезвость, самая важность, самая пристойность считались непристойностью». Тех, кто уклонялся от питья, «унижали, лили им вино на головы», называя «самое постничество» лицемерием и попирая тем самым старые обычаи умеренности, воздержанности и благочестия. Никогда не бывавший, как писалось уже, на этих пирах, но обладавший (как, впрочем, всякий человек) определенной долей воображения, митрополит Афанасий словно стоял теперь в дверях тех огромных палат с ломящимися от питья и яств столами и братией, многогласно и шумно облепившей их (высокопоставленных холопов, как сказали бы мы теперь), и взгляд его то выхватывал из всей этой веселившейся компании лицо Иоанна — чернородое, горбоносое, напоминающее нечто орлиное, хищническое, со столь же хищнически (в пьяном своем безумстве) сверлящими пространство глазами, словно он заранее уже высматривал жертву и примеривался к ней, то лица бояр и князей, среди которых наиболее выделялись лицо князя Афанасия Вяземского — своей готовностью услужить царю и заслонить его (от кого-то или от чего-то) своей белой, распахнутой молодой грудью, и лица отца и сына Басмановых, особенно сына, Федора, главного любимца царя. Время от времени к этой воображенной панорамной картине вдруг примешивались сегодняшние проводы Иоанна с их не остывшими еще подробностями морозного утра, перезвона церковей и сгрудившегося в Кремле, перед дворцом, московского люда, ожидавшего выхода самодержца. Вот Иоанн появился на крыльце, вот он со светлым ликом вошел в церковь Успения и, отмолившись «усердно», вместе с царицею, столь же черноволосой и орлинозоркой, как и он, направился к саням, сопровождаемый все теми же, что и на пиру, молодецки раздвигавшими перед ним толпу княжичами и боярами, да, да, теми же Вяземским, Басмановыми, Салтыковым, Чеботовым, Грязным, Малютой Скуратовым-Бельским... Беззаботность сих фаворитов, наезды их на народ и даже на духовенство — аки латыняне, не ведающие Христа, — их вседозволенность, исходившая, теперь митрополит точно знал, от вседозволенности царской, и холопское угодничество, и власть, столь же холопская, как и угодничество (и лишь над толпой, какую они только и

могли обладать), — все это вновь и с живостью перебрасывало воображение Афанасия к пирам, он опять и опять то всматривался в захмелевшее, налитое кровью лицо Иоанна, то в лица княжичей и бояр, силясь понять и не понимая тех душевных устремлений, которыми руководствовались сии веселящиеся безумцы, отвергнувшие воздержание и погрязавшие в грехах.

Но более всего возмущали митрополита Афанасия духовные лица, участвовавшие в пирах. Их было немного, несколько монахов и архимандрит Левкий, выделявшийся среди других своею редковолосой, с залысинами, маленькой, заостренной к носу головкой; они сидели между боярами и княжичами, столь же раскрасневшиеся и не уступавшие им ни в проворстве пития, ни в развязности, и их взлохмаченные, нечесанные монашеские бородки, их кресты поверх ряс, и рясы, облитые вином и с пятнами от мучных приправ и жира, весь срамной, порочащий звания (и церковь!) вид их заставлял теперь митрополита содрогаться и торопливо, про себя, как и достойно было его сану, повторять: «Господи, прости, Господи, прости их». Но просил он не за них, не за себя (по принадлежности своей именно к этой, а не иной вере), а за жизнь со столь возможной для человека (по наблюдениям митрополита) добродетелью и столь упреждающими эту добродетель пороками, которых ни понять, ни остановить нельзя. Откуда эти пороки, эти упреждающие всеразнузданность и вседозволенность, эта утрата благочестия — и духовного, и мирского? Объяснение обычное, лежащее на поверхности, когда все безнравственное приписывается наваждениям дьявола, то есть темным, нечистым силам, теперь не устраивало митрополита; опыт жизни подсказывал ему, что корни сего явления следует искать в другом, в изначальности самой жизни, направленной человечеством (для него — людьми) не по тому пути, на котором взрастали бы только гроздья добродетели, а не гроздья пороков; он чувствовал эту материальность мира, интуитивно (и уже тогда!) приближаясь к открытию, какое рано или поздно человечество должно будет сделать для себя, но, не обладая навыком к историческим обобщениям (обобщениям, вообще противоречащим догматам церкви), продолжал обращаться лишь к деталям той развернутой перед ним бесконечной картины пира,

в которой еще сильнее, может быть, чем фигура Иоанна, занимала его фигура Левкия. Из всего происходившего, казалось, митрополит только и высвечивал это маленькое, заостренное к носу лицо Левкия и его художную в облачениях, как тень, фигуру — то с куском мяса, то с кружкой браги в руках, то с девицею на коленях, выщипывавшей под общий гогот и визг его и без того редкую и слипшуюся, как у козла, бородачку. «Вот уж, истинно прости, Господи, прости», — уже не вникая в смысл, заученно повторял митрополит, мысленно (и тоже заученно) крестя перед собой пространство; но видение не исчезало, а, напротив, открывалось лишь новой кошунственной стороной, и митрополиту не то чтобы казалось, но он всей своей постаревшей, немощной плотью ощущал скорбный дух покойной царицы Анастасии, витавший над пиршеством. «Всем воздастся, всем, всем», — думал он, сознавая в мрачном предчувствии, что еще прежде, чем «воздастся», сколько сии безумцы успеют натворить несчастий и бед.

На их бесконечный пир, перемежавшийся лишь короткими похмельями, нужны были средства, и молодые княжичи и бояре, новые любимцы и приспешники Иоанна, оговорившие в свое время Адашева и Сильвестра, оговаривали и казнили теперь тех, кто был дружен или хоть как-то связан с именами этих опальных фигур; казнили семьями, включая малолетних детей, изводили некогда знатные роды под корень, забирая их дома, имущество, холопов и веселясь на это награбленное, безумствуя и вовлекая в свои безумства царя. Москва, по свидетельствам очевидцев, «цепенела в страхе. Кровь лилася; в темницах, в монастырях стонали жертвы; но... тиранство еще созревало: настоящее ужасало будущим!». Тех, кто хоть как-то, хоть словом пытался остановить происходившее, ожидала страшная участь. Князь Дмитрий Оболенский-Овчина, сын известного воеводы, был убит Иоанном прямо на пиршестве и только за то, что оскорбительно бросил любимцу царя Федору Басманову: «Мы служим царю трудами полезными, а ты — гнусными делами содомскими!» Иоанн не слышал сих слов, ему лишь соответственным образом было донесено об этом, и он «в исступлении гнева за обедом вонзил несчастному князю нож в сердце». Убийство необязательно было зреть, но его вполне можно было воспроизвести по расска-

зам — даже в подробностях, как и делал теперь митрополит Афанасий, болезненно вовлеченный всем своим воображением в это недавнее, живое еще в памяти и страшное прошлое. Князь Дмитрий упал, кровь хлынула из раны на стол, на скатерть, одежды, на пол — живая, теплая, человеческая, мертвеца подхватили под руки и поволокли из палат, прочерчивая ногами кровавой след. Но пир продолжался, и никто не смел даже оглянуться на несчастного княжича; все угодливо смотрели на Иоанна, готовые превратить и это убийство в некую царскую шалость, которой можно только рукоплескать; Иоанн же, со своей стороны, орлино наблюдал за всеми, заставляя холодеть каждого, на кого падал его взор; и митрополит Афанасий при виде этой, казалось бы, лишь воображенной картины чувствовал, как стыла и в нем кровь и останавливалось сердце. Церковь, должнаая предотвращать злодеяния, — церковь (в лице архимандрита Левкия), напротив, выступала соучастницей сих страшных, богопротивных дел.

Рядом с убиенной фигурой князя Дмитрия Оболенского-Овчины вставала фигура князя Михайлы Репнина, тоже убитого за дерзость царю и по прямому указанию Иоанна. История этого убийства была еще более известна митрополиту Афанасию; собственно, само злодеяние было совершено в церкви, на его глазах и глазах прихожан ворвавшимися в храм (служба только-только закончилась) царскими холопами, которые ножом, со спины, проткнули тело старого князя. Именно этот момент злодейства, когда толпа молившихся, расступившись, открыла взгляду лежавшего в луже крови почтенного, известного своей благочестивостью князя Репнина (убийца с холодностью вытирал свое обоюдоострое оружие, чтобы вложить его в ножны), — именно это злодейство, поразившее митрополита своей особенной бессмысленностью и жестокостью, как раз и прочертило окончательно между ним и Иоанном ту между неприятия и отчуждения, которую, он чувствовал, ни теперь, ни после смерти не сможет переступить. Вина же князя Репнина заключалась лишь в том, что он, увидев царя во дворе, на игрище, пляшущим в маске со своими (навеселе, как и он) любимцами, не удержался и, «заплакав с горести», бросил подошедшему Иоанну: «Государю ли быть скоморохом? По крайней мере я, боярин и советник

думы, не могу безумствовать». Иоанн, как пишут летописцы, «выгнал его и через несколько дней велел умертвить, стоящего в святом храме, на молитве». Репнина похоронили тут же, возле храма, по христианскому обряду, и это было единственным, что церковь смогла отстоять перед Иоанном и что хоть маленькой толикой участия согревало теперь душу митрополита. Согревало, но не останавливало роившихся в нем дум и не прерывало тех картин, вернее, тех доносительств и казней, какие последовали за ними двумя ужасающими убийствами.

ХШ

Я глубоко убежден, что нет злодея, который бы не сознавал, что рано или поздно ему придется отвечать за свои злодеяния, и не предпринимал бы (уже теперь) тех предостерегающих мер, которые смогли бы, если и не до конца, оградить его от расплаты, то хотя бы отдалить день и час неминуемого возмездия. Для Иоанновых сановитых холопьев, как, впрочем, может быть, и для самого Иоанна, такой мерою стало именно доносительство (которое затем, то ослабевая, то усиливаясь, долго еще будет терзать русскую землю). Оно поощрялось уже потому, что позволяло расправляться с людьми достойными, умными, мыслящими иначе, чем Иоанн и его новоявленные советники и любимцы, грабить, заточать в монастыри этих инакомыслящих и умерщвлять их там. Однако доносы доносам рознь; мелкие, холопские, основанные лишь на слухах, они могли приносить только малозначимые, разрозненные результаты, тогда как окружавшим Иоанна царедворцам требовалось разом, одним ударом покончить с противостоявшей им адашевско-силвестровской группой. Но для этого нужно было провести широкоохватный, многомасштабный, как мы бы назвали его теперь, оговор. После пиров, после увеселений (и казней!), в которых княжичи и боярские отпрыски старались в развратном рвении своем перецеголять друг друга перед царем, — когда приходило отрезвление, вернее, осознание содеянного, те из них, что были постарше, возглавляемые Басмановым-отцом (боярином Алексеем, как упрощенно, по-свойски

величали его в отличие от сына, кравчего Федора), собирались для тайных советов то у самого организатора, то есть Басманова-отца, то в доме князя Вяземского, то у Михайлы Салтыкова, у Чеботова, Грязного или Малюты Скуратова-Бельского. Об этих тайных «вечерях», на которых как раз и зарождались ужасающие планы доносов и убийств, мало кто знал в Москве; о них только догадывались — по сведениям, просачивавшимся все же сквозь молчаливую (в данном случае) дворню, но еще менее кто полагал, что неприменный участник сих скрытых сборищ архимандрит Левкий (он приходил иногда один, иногда с двумя, тремя монахами, прислуживавшими ему и опекавшимися им), что именно этот тщеславный, с маленьким, заостренным личиком священнослужитель, которого княжичи и боярские отпрыски терпели лишь за неимением другого, кто мог бы столь же охотно отпускать им грехи, — что именно этот Божий (себе на уме) угодник, умевший и вовремя удалиться в тень, и вовремя же и кому надо польстить, подавал главные идеи тиранства.

Известно, что прежде чем те или иные идеи начинают охватывать, подавлять, а точнее, тиранить общество, на свет являются одиночные, а затем групповые носители их, оставляющие свой определенный — по целям, результатам и значимости — в исторических событиях след. Но в деяниях Иоанна одни, например, приписывают все только самому самодержцу, его несдержанности и властолюбию; другие — неким будто бы требованиям жизни, независимым от чьей-либо одной воли и продиктованным лишь ходом обстоятельств, словно обстоятельства и в самом деле рождаются не в результате жизнедеятельности людей, а так, сами собой, из некоей естественной будто бы необходимости движения; третьи, к которым как раз и следовало бы отнести художников слова, стараются отыскать именно носителей и уже через них, этих своеобразных, скажем так, средоточий зла или добра (как, впрочем, это и бывает в повседневной жизни) высветить исторический процесс. Не отвергая ни одного из этих положений, имеющих свои обоснования и резон (и место в общем течении истории), я все же склонен отдать предпочтение последнему, третьему положению, когда за основу исследования берутся

прежде всего носители идей, то есть личности, игравшие и, к сожалению, продолжающие играть непомерно решающую роль в судьбах нашего отечества и народов. В самом деле, если взять несдержанность и властолюбие Иоанна, то ведь это только почва, по которой рассеивались семена, самодурство, не ограничивавшееся никакими — ни государственными, ни нравственными — законами! Что касается второго положения, то есть требований жизни или причин, как можно было бы сказать еще, или сил, возбуждающих движение в обществе и направляющих его, то известно, что в историческом плане (и уже тогда!) четко просматривались два направления: движение к власти законов, что намечалось в устройстве европейских стран, где была уже провозглашена хартия вольности и делались усиленные, то есть революционные (по тем понятиям и меркам), попытки ограничения королевской власти, и движение к абсолютизму, что главным образом соседствовало с нами на востоке и в равной степени, надо полагать, как и вариант европейский, могло влиять, а вернее, влияло на нас. Если исходить лишь из теории естественного, самовозникающего — по тяге народов к совершенствованию — движения, то вероятнее всего русская государственность должна была бы последовать западному образцу как наиболее разумному и предполагавшему более ускоренное укрепление личности; но произошло не это, а иное, что нельзя назвать ни разумным, ни естественным и что на столетия затем ввергло нас если не в поголовное, то по крайней мере тяжелейшее и беспросветное крепостничество.

Не знаю, может быть, действительно существует какой-то тайный (и естественный, как предлагается воспринимать его) ход истории, иными словами — предначертания тем или иным народам, как им обустраиваться и жить, и кое-кто даже сегодня пытается в исторической неразумности России отыскать некую русскую обособленность, русскую идею и обосновать и узаконить ее, а в сущности, узаконить (и обосновать!) крепостничество, наряжаемое всякий раз в новый и пагубно привлекательный костюм; но происходящее сегодня — это не отзвук, а прямое и даже более обостренное продолжение тех и умственных и физических баталий, которые начались, если беспристрастно

всмотреться в историю, задолго еще до воцарения Иоанна и лишь обострились при нем, — до тех возможных пределов, когда, наконец, насильственно был навязан народу сей неразумный шаг, сей путь к абсолютизму и тиранству, с которого затем ни царь-реформаторы, всходившие на престол, ни народные бунты и революции, ни лидеры нынешних новейших времен, прилагающие усилия, не могут свернуть страну. Растоптаны свобода и самобытность, не говоря уже о достоинстве и чести людей, и радость и блага жизни остаются столь же далекими от народа (содержащегося как раз благодаря этой самой идее во младенчестве по уму), как они были и сто, и двести, и триста лет назад. Так в чем же все-таки причина, где корень нашей неразумности? Неразумности народа, который, как уверяют нас, всегда свят и не может быть неразумным? Действительно ли все зависит лишь от воли (или самодурства, как было бы точнее) царей, от неких само собой будто (и неизбежно, и естественно!) складывающихся обстоятельств, которыми затем и направляется жизнь, или, может быть, что гораздо приближеннее к истине, от суммы тех притязаний на богатство, славу, влияние и власть, коих в любом обществе и во все времена бывало предостаточно и которые, проявляясь в определенных и одаренных порой носителях, как раз и образуют ту смутную атмосферу недоверия и страха, когда становится уже безразлично народу, в какой стороне будет указан ему выход; главное, чтобы был указан и чтобы те, кто указал, были бы увенчаны почестями и славой. Именно в такие времена выдвигаются вперед деятели, желающие непременно половить рыбку в мутной воде, и, соединяясь в группы и направления, как это происходит теперь у нас на глазах, то есть удешевляясь в размерах зла, катят затем свой грязный ком на все здоровое, разумное, желающее жить по совести и попадающее (благодаря как раз этой своей совестливости) под неминуемый, гибельный удар обстоятельств. Эпоха Иоанна тем, видимо, и привлекательна для историков и художников, что в ней с наибольшей полнотой и обостренностью проявилось противоборство двух жизненных начал — разума и бездушия, безумства, — когда, выйдя на развилку, Россия должна была определиться, по какой из дорог двинуться ей в развитии своей государственности, и,

двинувшись под напором этих алчущих начал (и подмяв и уничтожив начало праведное — Адашева и Сильвестра), возвела на века, я не устану повторять это, да, на века опричнину над народом. Но зло, в каких бы размерах ни совершалось, всегда имеет источники, имеет те роднички, которые хотя и малой будто бы толикой, но постоянно и надежно подпитывают его; с точки зрения подлинности истории роднички эти запечатлены в именах: более известных и значимых (и презренных как в летописных трудах, так и в памяти народной), менее известных и значимых (и тоже клейменых как тогда, так и теперь всеобщим позором) и безвестных, но многочисленных, ибо фискальство, поощряемое властями, способно лишь породить новое, подобное себе, и поражать общество. Может быть, архимандрит Левкий не самая значительная из тех фискальных личностей, коими переполнено было Иоанново время, но так уж складывается повествование, что в глазах митрополита Афанасия он был одним из ведущих, и так ли, иначе ли, но весь свой старческий (и праведный) гнев Первосвятитель России направлял в ту ночь на него, находя именно в нем то ядовитое начало, от которого, вернее, от совокупности которых и предстояло повернуть народам российским на свой особый, как все еще пытаются объявить его, и гибельный для истинной самобытности путь.

XIV

Люди, носящие в себе зло, не любят усаживаться на свету. Свет, падающий на них, не то чтобы открывает их лица, но открывает их души (через эти освещенные лица, потому что — каков духовный мир человека, такова и его физиономия, и никакой ухищренностью и никому еще не удавалось преодолеть этой взаимозависимости материи и духа). Знал ли с точностью об этом человеческом свойстве архимандрит Левкий или действовал интуитивно, лишь в согласии с тем чувством, которое подсказывало ему не выдвигаться на свет, то есть не саморазоблачаться, а держаться в тени (что можно было преподносить и как своего рода скромность), — он всегда отыскивал для себя на «вечерях» место помрачнее и, притихнув, вслу-

шивался и всматривался в то, что говорили и делали на время отрезвевшие от гульбищ участники сих тайных сборищ. И, пожалуй, никто не мог бы столь полно охарактеризовать этих околотронных персон, холопьев при самодержце, как сделал бы это архимандрит Левкий — со своей наблюдательностью, известной всем изворотливостью в оценках людей и своим злым, перемешанным с благочестием ехидством. Князя Вяземского, этого статного, одного из самых богатых и красивых молодых людей, окружавших теперь Иоанна, он называл про себя напыщенным и пустым; он относил к этому разряду людей и Михайло Салтыкова, и Чеботова, и Грязного, не видя в них будущего, а видя только временщиков, способных лишь, как бабочки-однодневки, пропорхать свой отведенный им возле трона срок; их-то и готовился использовать Иоанн для достижения своих целей, это видел и понимал Левкий и, презирая в душе этих людей, льстил им — каждодневно, каждодневно и только для того лишь, чтобы найти в них соучастников своего восхождения на престол Первосвященника России. Он играл с ними так же, как играл с ними Иоанн, но лишь на своем уровне, и если что и вызывало беспокойство, так только фигура Малюты Скуратова-Бельского, который так же, как и архимандрит Левкий, любил садиться в тени и наблюдать, помалкивая и не высказывая своего мнения, и в котором (по тяге к богатству, власти и славе) Левкий чувствовал скорее не помощника, а соперника, готового подставить ножку и оклеветать самого Бога. Перед этой выдвигавшейся исторической личностью он заискивал особо, стараясь соединиться с ней в том малом заговоре, какие обычно возникают в рамках большого, чтобы затем, по достижении цели, оказаться наверху, растолкав всех; но, сколь ни велико было это желание Левкия, Малюта оставался неподступным и непроницаемым; он не хотел соединяться и не соединился с архимандритом (чем и определились потом места и значимость этих двух лиц в истории).

Но до финала, как мы бы сказали теперь, было еще далеко, и в главном для себя Левкий не собирался ни перед кем отступать; помогая угодникам царя в их темных замыслах, он, в сущности, по одной лишь лютой к ним ненависти, особенно к Малюте, втягивал их во все новые и новые преступления, подогревая в

них, а через них и в самом Иоанне страх и непримиримость к своим все еще живым и жившим правдой соперникам. В маленькой, редковолосой, заостренной к носу головке его зрели ужасающие планы; он первым высказал мысль, что нельзя убирать противников поодиночке, но что если уж убирать, то сразу и всех и что у него есть на этот счет соображения, то есть улики, которые хотя и покажутся на первый взгляд бездоказательными, но ведь то, чего нельзя доказать, нельзя и опровергнуть.

— Своею ли волею царица Анастасия в гроб легла? — выбрав минуту, начал он, подав голос из своего мрачного, в отдалении от свечей, укрытия. — Или подтолкнул кто — зельем и чарами?

— Государево трогать?! Да как ты смеешь? — подступил было к нему разгоряченный князь Вяземский.

Князь хотел схватить за грудки и тряхнуть немощное, в широченном поповском одеянии тело архимандрита, но боярин Алексей, пользовавшийся своим старшинством (и разумностью, как он полагал), остановил молодого князя.

— Погоди, — сказал он. — Так что ты хочешь сказать? — обратился затем к Левкию, сверля его воспалившимися от прилива любопытства глазами. — Добродетельная царица наша Анастасия отравлена, говоришь?

— Да.

— Кем?

— Известно кем. Адашевым и Сильвестром.

— Знаешь или сам сообразил?

Архимандрит Левкий промолчал. Брошенная им кость, он понял, была принята, и надо было только не переиграть в этой обстановке, то есть лучше недосказать и вызвать тем интерес (и подобие правды), чем оголеться в явной, пусть красивой и правдоподобной лжи.

— Чем доказать? — снова приступил боярин Алексей.

— А чем опровергнуть? Или забыто уже, каково Сильвестр супротивничал любезнейшей царице нашей Анастасии?

— А что царь? Не знал?

— Может узнать, коль того сильно пожелает.

— Шельмец, ай, шельмец! В чем только душа дер-

жится, краше в гроб кладут, а башковит! — И боярин Алексей больше уже ни о чем не спрашивал архимандрита; он велел принести бумагу, и при общем возбуждении (и рукою все того же архимандрита Левкия) был написан донос, который и преподнесли затем Иоанну как некое разоблачение широчайшего будто бы против него заговора Адашева и Сильвестра со своими многочисленными, как и было сказано в тексте, сообщниками.

Кажущаяся обыденность сего грязного дела не должна смущать нас; все, что ни совершается людьми, будь то великое или порочное, только в описаниях и пересказах может обретать риторическую напыщенность либо низводиться до патологических животных страстей; фактически же все происходит гораздо прозаичнее, отнесем ли мы это к поступкам царей, полководцев или, тем более, высоковерхней дворцовой челяди, для которой любой цинизм есть только повседневная норма жизни; и, как бы нам ни хотелось увидеть в сем нашем прошлом некое наполненное взрывом страстей событие (ведь дело касалось не просто судеб отдельных людей, но судьбы России), — из этих именно прокопченных свечами басмановских палат и от этой столь прозаично будто бы на первый взгляд прошедшей «тайной вечера» как раз и предстояло колесу истории набирать новые обороты. Ведь ложь изначальная, в какой бы упаковке она ни преподносилась, всегда выстраивает за собой свой особый и страшный по жестокостям и насилию шлейф преступлений. Особенность лжи еще такова, что, выстроенная и подтасованная под правдоподобие, она более воспринимается за истину, чем сама истина; в правдоподобии все логически объяснено и соединено, тогда как правда, то есть действительность, обычно несет в себе заряд несогласованностей и противоречий, на чем, в сущности, и основывались всегда все большие и малые доносы и доносительства. Разумеется, если бы Иоанн не захотел принять сей стряпни на Адашева и Сильвестра, он бы не принял ее; но, стоя теперь перед фактом истории, мы можем лишь рассуждать, приближаясь в той или иной степени к достоверности, так ли уж все зависело от Иоанна и только от него или (и еще в большей степени) от того порочного круга людей, кои всегда (и тучами!) вьются вокруг власти, создавая

нужное для себя общественное мнение и повязываясь им; и, если присмотреться как следует к этому второму положению, то без труда можно заметить, сколь много нынешняя наша новейшая история дает подтверждающих тому примеров. Иоанн, выслушав донос, не мог поступить иначе, чем он поступил, во-первых, потому, что это соединялось с его планами укрепления, как мы увидим дальше, личной безраздельной власти, и во-вторых, — удовлетворяло тщеславие (и амбиции) его новых приспешников и любимцев; но чтобы предстоявшим расправам придать некое хотя бы подобие законности, велено было устроить над Адашевым и Сильвестром суд, который и был собран — скорый, представительный и неправый, как, впрочем, делается это и теперь, когда у кого-либо из правителей возникает необходимость гласом масс опороочить истину и провести нужное решение.

XV

В царских палатах в качестве судей были собраны почтенные, казалось бы, для того времени люди: митрополит Макарий, по старости и немощности своей приведенный уже под руки сюда, епископы, бояре, лица иных духовных и чиновных званий. Тут же были и заговорщики во главе с боярином Алексеем Басмановым, его сыном кравчим Федором и архимандритом Левкием, который в царских хорах старался еще более держаться в тени, за спинами, опустив голову, чтобы никто не мог ничего прочесть на его украшенном слипшейся козлиной бородкой лице. Пожалуй, никто яснее его не осознавал предрешенности (исторической, как можно было бы добавить теперь) того дела, на которое, чтобы рассудить его, были собраны Иоанном все эти люди, и не понимал бы так, как он, всей зловещей сути происходившего. Есть люди, и их большинство, которые в поступках своих и помыслах всегда плывут по течению, подчиняясь общему ходу жизни, то есть согласуясь — душой, совестью — с тем неким общественным будто бы мнением, которое в данный момент пускается властвовать над толпой и подогрывается в ней; люди эти, полагая, что творят полезное, нужное, по крайней мере защищающее их от

излишних житейских беспокойств, обычно более, чем кто-либо, содействуют несправедливостям, насилиям и злу. Соглашательством и безразличием своим, своей многочисленностью они не то чтобы прикрывают или узаконивают творящиеся на их глазах и с их участием преступления, но служат тем оправдательным щитом, коим и бывают защищены, и надежно (для современников, разумеется, а не для истории), любые тронные и не тронные злодеяния. Но есть люди иного толка, которые, не умея или не желая проявить себя в добре, проявляются лишь в злодеяниях — целеустремленно, азартно, словно бы мстя таким образом (а может, и на самом деле — мстя?) человечеству за свою ущербность и несбыточность притязаний. К таким именно людям и относился, видимо, архимандрит Левкий (и что, кстати, как раз и чувствовал и не принимал в нем митрополит Афанасий, в сию роковую для осиротевшей России ночь погруженный в воспоминания); и тут важны не детали, не подробности, за которыми, как за деревьями, и леса не увидеть, а то стержневое, что делало Левкия Левкием и отводило ему место в общем ходе событий, принося, надо полагать, и свое по масштабам задуманного удовлетворение. «Не по чьей-либо воле, а по моей, моей собрана сюда вся эта вельможная рать», — произносил или мог (со злорадной именно возбужденностью) произносить про себя архимандрит, выглядывая из своего затененного спиной боярина Алексея Басманова укрытия, шурясь от царских позолот, епископских клобуков и риз, боярских, отороченных мехами одежд и шапок.

Суд сей известен по историческим источникам. Как все бесправное, он и на самом деле оказался скорым и грозным. Дело не разбиралось, просто было зачитано обвинение, которое, по существу, даже некому было опровергать. Когда же митрополит Макарий, саном своим Первосвятителя, старостью и достоинством обязанный защищать гонимого, предложил было, чтобы доставили на суд обвиненных (что было бы и естественно, и законно, и правомерно во всех отношениях), — при воцарившемся гробовом молчании Иоанн со своего возвышения нахмуренно оглядел духовенство и бояр. Он еще колебался, склониться ли на сторону митрополита, уважить Первосвятителя (кстати, о такой просьбе писали царю и сами обвиненные,

находившиеся к тому времени в изгнании: Адашев — в Ливонии, возведенный в сан воеводы, Сильвестр — в пустынном монастыре, успевший уже прославиться своей смиренностью и христианскими добродетелями) или, как требовали того новые любимцы, порешить дело заочно, дабы не подвергнуться влиянию чар и, расслабившись, не выказать своего царского безволия. Минута рокового ожидания всегда тягостна и страшна, но теперь она была тягостна и страшна вдвойне, так как дело заключалось не в Адашове и Сильвестре, вернее, не столько в этих известных своею справедливостью государственных деятелях; огромная уже к тому времени держава, встав перед выбором развития своей государственности, должна была сделать именно теперь тот свой пробный шаг — в сторону ли человеческих свобод и ограничения абсолютизма или, напротив, укрепления личной, самодержавной власти, — за которым как раз (как бы ни представлялось сие высказывание преувеличением) и должна была определиться судьба России. Да, Россия, именно Россия со всем своим прошлым, настоящим и будущим вверялась сим собравшимся в царских палатах судьям, и, поднимись тогда хотя бы часть голосов в поддержку Макария (поддержку Адашева и Сильвестра), могла бы восторжествовать справедливость, а не зло, и мы бы имели сегодня не эту историю, полную нищеты и стенаний, какую имеем, а другую, о какой можно только мечтать, сообразуясь даже просто с обычными нормами человеческого бытия. Но этого не произошло, смелость и достоинство большинства были оставлены за порогом, и на историческую арену жизни (я не боюсь этих риторических слов, заключающих истину), как это и бывает в большинстве своем, сейчас же выдвинулись силы (в данном случае заговорщики во главе с боярином Алексеем Басмановым и архимандритом Левкием), для которых есть только сиюминутные интересы и блага для себя и не существует интересов народа и тем более его будущего.

В напряженной тишине взгляд Иоанна вдруг словно бы метнулся в сторону боярина Алексея Басманова. Знал ли заранее самодержец о намерениях своего любимца, или внимание его привлекло лишь движение, возникшее за спиной боярина, где архимандрит Левкий, этот тщедушный (в церковных одеяниях) человек, как никто, может быть, ощутивший переломную

остроту момента, — или, или? — подталкивал Басманова и шептал ему, что нельзя медлить и пора начинать, — да, теперь никто не может установить, чем руководствовался Иоанн, но взгляд его и жест, обращенные к боярину, были столь решительны, что Басманов не мог не выдвинуться вперед и не заговорить. «Государь! — начал он, сопроводив это слово тем низким поклоном, который уже сам по себе (и всем) должен был сказать о его преданности царю и отечеству. — Государь! — повторил он. — Ты в отчаянии, Россия также, а два изверга торжествуют: добродетельную царицу извели Сильвестр и Адашев, ее враги тайные и чародеи, ибо они без чародейства не могли бы так долго владеть умом твоим». Он с четкостью, как и поучал Левкий, знавший, что и как может воздействовать на людей, выговаривал каждое произносимое слово, и клевета, сдобренная этой уверенностью, задевала Иоанна и проникала не только в его душу. Указывая на адашевское и сильвестровское чародейство как на главное, что должно было уличить их, он басовито трубил, что они «как василиски ядовиты, могут одним взором очаровать» Иоанна, что, «любимые народом, войсками, всеми гражданами», что тоже приписывалось их колдовству, способны «произвести мятеж»; их нельзя приводить на суд, ибо, объявись они здесь, «страх сомкнет уста доносителям». В подтверждение этого Басманов предлагал допросить двух монахов: Вассиана Беския и Мисаила Сукина, новых Сильвестровых завистников и гонителей, заранее (накануне суда) доставленных в Москву и соответственно проинструктированных, как мы бы сказали теперь, все тем же вездесущим Левкием, и, право же, достаточно бывает иногда двух-трех отъявленных подлецов, чтобы свершилось беспрепятственно (и неизмеримое по масштабам) неправое дело.

«Злодеи» были приговорены заочно, заговорщики торжествовали; лстя царю, славя его мудрость, они говорили ему, что вот теперь уже «ты истинный самодержец, помазанник Божий; един управляешь землею; открыл свои очи и зришь свободно на все царство». Но алчность царегуодников не завершилась на этом, им надлежало еще, как подсказывала логика действий, «довершить удар и сделать государя столь неправедным, столь виновным против сих мужей, чтобы он уже

не мог и помыслить об искреннем мире с ними», и Сильвестра тут же отправляют «на дикий (как свидетельствуют очевидцы) остров Белого моря, в уединенную Соловецкую обитель», а Адашева, закованного в колоды, переводят в Дерпт, где через два месяца, терзаемый надругательством и стражниками, этот «обличенный изменник», как должно было грамотою царю, умрет, отравленный (или отравивший себя) ядом. Но, покончив со «злодеями» главными и занеся свой палаческий топор над государством, над только-только начавшим было пробиваться разумным устройством жизни, силы зла не могли уже не опустить его; тем и страшен был суд, что вслед за Адашевым и Сильвестром начались гонения на всех, кто хотя бы даже просто подозревался в знакомстве с этими двумя «злодеями»; от бояр требовали клятвы «не держаться стороны удаленных, наказанных изменников», дворовых и холопов пытали на дыбах, добиваясь признаний, а доносители, то есть клеветники, одаривались подарками и свободой. Что ни день, то на лобном месте, перед Кремлем совершались казни. «Жена знатная, именем Мария, — читаем мы в свидетельствах того времени, — славилась в Москве христианскими добродетелями и дружбой Адашева; сказали, что она ненавидит и мыслит чародейством извести царя; ее казнили вместе с пятью сыновьями; а скоро и многих иных, обвиненных в том же: знаменитого воинскими подвигами окольного Данила Адашева, брата Алексея, с двенадцатилетним сыном, трех Сатиных, коих сестра была за Алексием, и его родственника, Ивана Шишкина, с женой и детьми». И еще, еще и... мне вновь остается лишь вслед за историком повторить, что «Москва цепенела в страхе. Кровь лилася; в темницах, в монастырях стонали жертвы; но... тиранство еще созревало: настоящее ужасало будущим!»

XVI

То, что для нас является историей, для митрополита Афанасия, современника и участника тех событий, было жизнью, и сколько бы ни прилагал он усилий, думая о царе, государстве и народе (пастве, по церковным его представлениям), он не мог подняться над

повседневностью до тех высот обобщения, с каких то прошлое видится нам теперь; мысли его, в то время как продолжал сидеть в кресле, один перед догорающими перед ним свечами (и перед страшной неизвестностью, коей терзались его душа и ум), — мысли его постоянно возвращались к частностям, то соединяясь в одну стройную как будто бы картину жизни, в которой оставалось только разглядеть пружины, приводящие все в действие, то вновь дробясь на свои составные: суд, пиры, казни, Иоанн со своими устрашающими вспышками гнева и смиренный вроде бы до ужимок в своем послушании Левкий, на котором и теперь, как ни мелка (для нас) была эта фигура священнослужителя в набравшем силу тогда новом дворцовом хороваде, невольно и по вполне понятным, разумеется, причинам — ведь настоятель Чудова монастыря! — концентрировалось возбужденное внимание митрополита. Со стороны казалось, что он покойно дремал в кресле, откинувшись головой на высокую его спинку и пригревшись большими ногами, укутанными в меха; но неподвижность физическая только высвобождает энергию для деятельности ума, и, может быть, если согласовываться не с логикой искусства, а с логикой жизни, — старый, немощный телом митрополит еще никогда не был так наполнен деятельностью и не ощущал себя столь причастным к истории, то есть к судьбе народа и всего творившегося с ним и вокруг него, как в эти минуты видимого покоя, находясь наедине с собой, Богом и правдой, как он понимал и мог только понимать ее. Как и нам теперь, ему хотелось доискаться до стержня, от которого зависела и на котором держалась общая жизнь людей, и, понимая при прояснениях, что ни Левкий, ни даже Иоанн не могли быть до конца сим стержнем, озадаченно вдруг словно бы стопорил все в себе и покрывался холодным потом. Он чувствовал, что дело было не в придворных интригах, но что за интригами, как за высоченным забором, за который, подтягиваясь, он хотел заглянуть, решалось будущее государственное устройство России, и невозможность постичь его, главное же, невозможность повлиять на происходящее как раз и отягощали митрополита, и обессиливали его.

Несколько раз к митрополиту подходили и спрашивали, не соизволит ли он разоблачиться и лечь в

постель; но, истинно веря, что могуч человек не оболочкою, а духом и страдания физические есть только испытания на крепость духовную и что ими (или — во имя убажания их) нельзя прерывать деятельность души, то есть сам источник величия и познания, он только молчаливо отмахивался рукой, давая понять этим, чтобы его оставили в покое и не нарушали общения с Богом. Он жаждал истины, которая только и могла теперь представляться ему в образе Бога; но в то время как всей своей церковной святостью он не то чтобы чувствовал, но знал, что Бог есть (иначе — во что было бы ему верить и кому и для чего молиться?), — истины не было; ее не было ни в самом себе, ни во всем окружавшем его мире, соединенно и порознь (в событиях, как уже говорилось) встававшем перед ним, и тщетность найти ее как иголку в стогу сена приводила митрополита то в уныние, почти в отчаяние, заставляя кидаться к Господу и просить у него прощения за сие свое страшное прегрешение (да как он мог, смиренный и смертный служитель, усомниться в справедливости ЕГО деяний?), то в изумление — от самой возможности столь ясно увидеть несовместимость понятий Бога, истины и человека. Наконец, чтобы освободиться от этих тяжелейших размышлений, впервые с такой ужасающей откровенностью пришедших к нему и терзавших его, он поднялся и, пройдясь под сводчатым потолком палаты, подошел к окну. Отогнув шторку, он несколько мгновений вглядывался в морозную темноту ночи, не различая ничего; неосвещенная, притихшая, беспечная, словно несмысленныш в люльке, лежала за окном Москва со всей предначертанной ей судьбой, ее трудом, кутежами, пожарами, нашествиями врагов внешних и разорителями внутренними, порождавшимися ею и ею же и под общее безумное ликование возводившимися на престол; как всякий русский человек, из какого бы окна и в каком бы столетии, добавлю, ни смотрел на Москву, митрополит Афанасий (от одного только ощущения распростертой в ночи перед ним столицы) не мог не испытать того столь простого и столь близкого нам чувства сопричастности со всем, что было, есть и будет на этой не так уж и ласковой (в сравнении с иными местами планеты), но соединившей судьбою нас с собой земле; и от этого именно изначального чувства

любви и вечности, которого так часто (и в нужный момент!) недостает нам, как от камина с горящими в нем березовыми поленьями, повеяло теплотой и надеждой, приятно останавливая в сознании митрополита поток одних мыслей, мрачных, и возбуждая другой, окрашенный красками добра, благополучия и веры.

Ночь, казалось, только-только начала достигать своей зенитной поры синевы и безмолвия, впереди отчетливо вырисовывались лишь тяжелые, в сугробах, силуэты домов и церквей; но по горизонту за этими заслонявшими все силуэтами и тем незримым, заснеженным (уже за чертою Москвы) пространством лесов и пашен с приютившимися вдоль речек и по взгорьям деревнями и монастырскими подворьями (что и теперь по одной лишь мысли, соединившись в слове Россия, сейчас же встает перед глазами всякого русского человека, чем бы и кем бы ни заслонялось — непроглядную ли темнотой ночи, морозными ли узорами на окнах или нагромождением эпох, сменой царей и формаций) поднималось морозное утро. Природа беспристрастна, она совершает лишь то, что ей от века предначертано совершать, и морозный рассвет сей, если присоединиться к природе, мало чем отличался от сотен тысяч других, уже встававших, и тех, которым предстояло встать над Москвой; точно так же — еще матово, еще лишь чуть заметно засветилась позолота крестов на куполах соборов Благовещенского и Успения, а затем и сами купола, словно облитые все той же позолотой, и от этого-то прояснения святости на фоне черного еще неба, прояснения будто бы самих основ божественности мира, способных вызвать лишь чувство расслабленности, умиления и преклонения (и не столько даже у служителей церкви, сколько у верующих), окончательно оттаяло, размягчилось сердце митрополита. И, хотя все кругом было охвачено тишиной, он вдруг совершенно отчетливо услышал благовест — не тот, зовущий к обедне или заутрене, что слетает с бесчисленных колоколен Москвы, а иной, что зазвучал в груди и слышен был только ему как напоминание, что жизнь человеческая не состоит лишь из горьких минут, мук и страданий, но что — она мудра, полна святости и ведет в светлое и что — терпеливому и старательному всегда за его праведные труды воздастся признанием и славой. Для Афанасия таким признанием было

возведение его в сан Первосвятителя России. «Но я не доискивался этого сана, не просил его», — мысленно проговорил он, словно бы оправдываясь за это свое возвышение, обязывавшее его теперь столь болезненно думать обо всех, испытывая беспомощность и в делах, и в мыслях. Он перекрестился, готовый с молитвою утешения обратиться к Всевышнему, но — слабость человеческая, над какими только историческими личностями она не одерживала верх! Видя все яснее проступавшие за окном на фоне предрассветного неба позолоченные кресты и купола соборов Благовещенского и Успения и проникаясь, теперь еще основательнее (по этой символической картине), верую в божественное начало мира и в его Творца, способного принести лишь благо людям (и до которого он, безвестный инок, протоиерей, служитель и раб Божий Афанасий возвышался теперь), он не мог отказаться от соблазна вновь, пусть хотя бы и мысленно, пережить те торжественные минуты, когда по свершении литургии, как записали летописцы, «Владыки, сняв с митрополита одежду служебную, возложили на него златую икону вратную, мантию с источниками и белый клобук». Перед ним живо во всей пышности православной обрядности предстала та столь памятная (во всех ее подробностях) картина избрания: свечи, свечи, горевшие в подсвечниках, в руках духовенства, бояр, до тесноты набившихся в соборе, и в руках молодого, не озлобившегося еще душой и не мучившегося по ночам казнями тридцатилетнего Иоанна, в позолоченных своих царских одеждах и мехах стоявшего на отведенном для царя месте. Иконостас, ризы, оклады, лики святых и живые лики бояр, просветленные, как никогда, может быть, верой в справедливость и доброту свою и доброту царскую, — все это, сливаясь в одну торжественную, игравшую бликами пышность, и в самом деле как будто поднимало участников Духовного Собора до божественных высот. Присутствующих щедро кропили святой водой и оведали кадильным благовонием, и от этого ли благовония и сознания значимости минуты или просто от каменной сырости пола и стен, то есть пронизывающего (в нетопленных церквях) могильного духа земли, небытия и тлена (к чему каждому из людей от рождения уже прокладывается дорога), митрополит помнил, как его трясло мелкой непроходящей

внутренней дрожью. Он истово просил Господа придать ему духа и бодрости для исполнения налагавшихся саном на него обязанностей защищать гонимых и сирых, и, хотя с того дня, казалось, достаточно уже утекло воды и он не мог ни в чем упрекнуть себя, но в то же время — сколько ни совершал он благ (и для отдельных людей, и для державы и церкви), он как будто стоял теперь еще дальше от цели, чем был тогда, и повторявшаяся им молитва «Господи, придай силы» не столько возвращала его в пережитое, сколько соединяла то пережитое с заботами нынешними и не давала оторваться от насущных проблем. Он не помнил, о чем, напутствуя в первосвятительстве, говорил ему Иоанн (ведь и на самодержцев иногда находят минуты искренности) и что, взойдя на Святительское место, сам ответил царю; это было несущественно, как все, что производится при торжественных ритуалах, а материально для митрополита Афанасия оставалось сейчас лишь то, что тогда показалось деталью, — холодные губы Иоанна, которыми тот, приняв благословение, прикоснулся к руке нововозведенного Первосвятителя, — и что теперь по странности ли только воспоминания или странности вообще представлялось неким устрашающим будто предупреждением. Афанасий вздрогнул, как и тогда, ощутив это холодное прикосновение — настолько ясно, что невольно даже отдернул руку, и это движение, и сама мысль о предупреждении вдруг словно пробудили его; он оглянулся на столик перед креслом с Библией и колокольчиком на нем, которым можно было вызвать служку или дьяка-писца (или кого-либо еще для неотложных нужд), но вызывать ему никого не хотелось; свечи в подсвечнике уже догорели, хотя слабые огоньки еще трепетали над чашечками с расплавленным и стекавшим по бронзе воском, и сводчатая палата его уже наполнялась прозрачной голубизной утра.

XVII

Весь почти двухверстный царский обоз, словно бы прижимаясь к изгибам дороги, медленно продвигался к Коломенскому. Впереди и на замыкании обоза ехали и шагали пешие и конные ратники, возглавляемые воеводами, по бокам, то обгоняя царские сани,

то отставая от них, гарцевали на откормленных конях (и в доспехах!) Иоанновы любимцы, для которых весь этот отъезд, как уже говорилось, представлялся лишь прогулкой, предпринятой «озорным», лихим в шалостях и кутежах и охочим до них властителем; вперед — для устройства дел — посланы были князь Вяземский с кравчим Федором, сыном боярина Алексея Басманова, и подручными, и, сидя в своих с поднятым козырьком санях рядом с царицей, Иоанн смотрел на удалявшихся наметом этих своих холопствовавших вельмож, то исчезающих в низинах, то опять словно вылетающих на взгорья и пыливших снежной пылью дорогу. Если не считать сих всадников (и обоза, разумеется), даль, открывавшаяся перед Иоанном, казалась пустынной и безмолвной; она представала перед ним во всей той своей простоте и естественности, как некогда, при отце его, Великом Князе Василии, представала перед Герберштейном, из западных своих удобств попавшим в Россию и описавшим ее. В его представлении земля наша выглядела «мало населенною в сравнении с иными европейскими странами: редкие жительствова, степи, дремучие леса, худые, пустынные, уединенные дороги свидетельствовали, что сия держава была еще новою в гражданском образовании». Но Иоанн вряд ли знал об этих записках, и его не волновало, что «наши свойства казались наблюдателям и худыми, и добрыми, обычаи любопытными и странными»; то, что для кого-то могло представляться любопытным и странным, для него было жизнью; было тем естественным проявлением характера и желаний, границ которым он не знал и не хотел знать; белая равнина, взгорья, темные пунктиры селений, леса и монастырей, словно малые городки, разбросанные по всему обширному Подмосквью, — на все это Иоанн смотрел тяжело, как судья, готовящийся вынести роковой приговор. Сидевшая рядом царица молчала; молчал и он, наполненный думами и погруженный в себя; черные, тогда еще пышные усы его и черная, без единого седого волоса борода были покрыты изморозью, и эта искрящаяся на царском лице его серебристость придавала ему еще более застывшее в жесткости своей выражение.

Спустя два месяца, когда Иоанн решит возвратиться в Москву, он настолько переменится, что будет неузнаваем, от густых черных усов и бороды останется

лишь некое измочаленное подобие, волосы выпадут, голова облысеет, возле глаз и губ прорежутся морщины, словно у изработавшегося старца, и — какое уже поколение историков, пытаясь постичь мир сего незаурядного в своем роде человека, ломает голову над тем, сколько душевных усилий, сколько и каких страстей довелось испытать этому молодому еще в ту пору самодержцу России, чтобы за столь короткий срок так истощилась, поизносились его плоть, что на площади, когда он явится перед толпой народа, дворянством и духовенством, никто не сможет без сострадания и ужаса смотреть на него. Но сознавал ли сам Иоанн, что предстояло пережить ему в тех аскетических, какими они покажутся после дворцовых палат, кельях Коломенского, в которых, вынужденный переждать оттепель, он проведет не одну — в мучениях и холодном поту — бессонную ночь? Нет, человеку не дано, тем более в подробностях, предвидеть масштабы своих душевных потрясений, занимают ли его вопросы государственные или свои; будущее народа, каким бы ни рисовалось оно отдельно взятому человеку, тем более — властелину, это всего лишь мираж того благоденствия, который исчезает тотчас с приближением общества к нему, и материальным тут остается только то, что связано с работой души, ее радостями или огорчениями и разочарованиями. Уготавливая насилие для людей, Иоанн даже отдаленно не предполагал, насколько готовил его для себя, ибо прежде чем творить зло, он должен был подавить в себе суть человеческого естества, то есть самую потребность в уважении и признании подобных себе, возведя (для оправдания!) тот самый мираж благоденствия и поверив в него. В Библии сказано, что человек, рождаясь, ничего не приносит в мир (добавим: кроме своих страстей), как и, уходя, ничего не может унести с собой. Но для чего же тогда сия истина, если слушающий не слышит, а читающий не внемлет ее отрезвляющей прямо́те? Вопросом этим, разумеется, я вовсе не склонен упрекать одних только властителей, алчущих роскоши и величия, или каких-либо иных всякого рода накопителей, готовых, подобно Гобсеку, отдать все радости жизни за блеск золотых слитков, — нет, дело не в этом; сей грех присущ всем: и жившим, и живущим — без различия национальности и пола (как, впрочем, ни

безрассудно сие явление), и это-то, может быть, более чем упрощенное толкование изначальной истины бытия, точнее, потребности человека и общества как раз и дает мне право полагать, что Иоанн в поступках и мыслях своих был столь же прост, однозначен и ясен (по заложенной в нем человеческой сути) и столь же приземлен, как и всякий, приходящий в мир, чтобы проявить себя. Он — жил (во всем понимании этого прекрасного слова), и обстоятельства, складывавшиеся вокруг него, то вызывали удовлетворение или протест, что случалось гораздо чаще, то наталкивали на спокойные и не лишённые притягательности размышления, как было теперь, когда он рядом с царицей ехал в санях и когда близость этой своенравной, блиставшей восточную красотой женщины, по-своему влиявшей на него, и дела престола, то есть державные, которыми, казалось, он только и мог быть озабочен в сей сложный для себя час, соединяясь в целое — семейное и государственное, — являли перед ним пространнейшую (и понятную в своих измерениях и порывах) картину его чувств, пристрастий и дел.

Воспоминания редко бывают последовательными, тем более логическими и завершёнными, как они подаются в книгах, и цель их не заключена лишь в том (как она заключена для художников), чтобы как можно объемней выстроить перед собой свою жизнь; время итогов для Иоанна было еще впереди, как и минуты раскаяния и смирения перед вечностью, и будущее не представлялось ни ограниченным, ни мрачным; как монарх он, казалось, обладал всем, чем только можно было обладать, но как человек — представлялся себе обделенным тем простым человеческим счастьем, какое обретается лишь в семье и лишь в согласии и любви супругов. Может быть, если бы он не любил Анастасию, свою первую жену, и не познал, живя с ней, всей теплоты тех домашних отношений, какие (по исполнению государственных дел) бывали так необходимы ему и успокаивали его, то есть если бы он, лишенный (во младенчестве еще, в сущности) родительской ласки, не почувствовал и не понял бы, что, кроме наслаждения властью, есть еще наслаждение покоем, покоем души, какое давала ему Анастасия, выбранная им на «ярмарке невест» и пришедшаяся всем ко двору, он не испытывал бы теперь этого

ощущения обделенности; хотя после похорон Анастасии внешне все было как будто восстановлено и вслед за увеселительными пирами, кутежами и неудачным сватовством к Екатерине, сестре польского короля, когда могли разом решиться и проблема семейная, и государственная, он был вновь обвенчан, обрел семью и должен был успокоиться, — внешне это не согласовывалось с познанным уже им миром теплоты, доверия и любви, когда, отходя от государственных забот, он не то чтобы мог предаваться расслабленности и спокойствию, но каждую клеткой своего царственного тела и царственной души переходил бы в это простое и подвигающее нас к первозданности состояние. Он видел, что вторая его жена, Мария, была красива, и понимал как будто и принимал ее восточную красоту; но как ни старался при этом заполнить ее азиатской красотой свою открывшуюся пустоту, как ни силился отыскать не столько в ней, сколько в себе те супружеские нити, которые соединили бы его с ней так, как соединяли с Анастасией, — нити эти, он чувствовал, то вдруг появлялись, и тогда все вокруг словно светлело и преображалось, то обрывались, оставляя в душе лишь пустоту и холодность, как происходило теперь, когда, не оборачиваясь на царицу и не разговаривая с ней, он думал именно о ней (в преддверии готовившихся им невиданных еще для России державных перемен).

XVIII

Картина, открывавшаяся теперь перед глазами Иоанна (вместе с обозом и всей той атмосферой, возникающей обычно при движении войск или скопищ людей), вызывала к жизни в памяти его другую, когда в такой же вот морозный декабрьский день он вместе с войском выступил из Можайска в поход на Полоцк. Ничто в том походе не было как будто связано с именем царицы Марии, Иоанн хотел только отплатить польскому королю за Ливонию и вернуть наконец России наследие «достопамятной Гориславы»; но вместе с тем, хотя он и не говорил никому об этом, его давно уже съедало желание отомстить все тому же польскому королю Сигизмунду за неудавшееся свое

сватовство, вернее, за оскорбление, нанесенное королем Польши, не пожелавшим или, сказать точнее, пренебрегшим (в «угодность Хану», как считали московские думные бояре) породниться с ним; и это второе и не главное как будто, с чем он отправлялся в поход и что после похода уже доставило ему удовлетворение, теперь, в воспоминаниях, выдвигалось вперед и по-своему оттеняло событие. Тогда, находясь в окружении войск, в центре трехсоттысячной армии, подкрепленной кавалерией и пушками и сопровождаемой почти восьмьюдесятью тысячами обозных людей, он точно так же сидел в санях, один, без царицы, оставленной им на восьмом месяце беременности в Москве, и под скрип полозьев и окрики ездовых думал о ней. Он ждал наследника, и месть королю связывалась в его сознании как раз с этим предстоящим событием, которое позволило бы ему, как он полагал, сблизиться с Марией и отбросить отторгавшее от нее: память об Анастасии и Екатерине; о красоте последней он знал только по описаниям послов, но к которой, создав для себя в дни сватовства ее образ, странно (и заочно, как мы бы сказали теперь) привязался душой; как и Анастасия, она нет-нет да и возникала между ним и Марией и разрушала всякий раз едва начинавшие укрепляться семейные узы. Потому-то успех предприятия и казался ему символичным, а победа над Сигизмундом, в которую он так желал верить, принесла бы ему победу над собой, над своими сомнениями по отношению к Марии, и восстановила бы чувство любви к ней, в котором он хотел утвердиться. «Господи, — обращаясь он мысленно ко Всевышнему, ни на мгновение не сомневаясь, что ОН, то есть Бог, есть и что в предстоявшем событии не мог не стать на сторону справедливости (кстати, и очевидцы, и историки подтверждают, что Иоанн был набожным и что жестокость и бесчеловечность его никак не мешали ему в этом до сентиментальности трогательном пристрастии). — Ты всемогущ! Внемли, Господи, мольбе нашей и утверди истину!» Беспокойство в делах державных должно было уравновешиваться покоем и удовлетворенностью в семье, и Иоанн не то чтобы до конца понимал это, но бессознательно почти (как и любой простолюдник, погруженный в заботах о хлебе насущном), интуитивно испытывал необходимость в удовлетворении этой про-

стой, но вместе с тем и самой, может быть, наивысшей потребности человека.

Но Иоанна интересовали теперь не подробности похода, не само дело — взятие Полоцка, которое осуществилось более хитростью, то есть непродуманностью и малодушием со стороны осажденных, чем отвагою и мужеством войск. Город не продержался и двух недель, разрушенный и подожженный пушками, и, может быть, лишь та минута торжества, когда среди дымящихся еще развалин, на площади, перед собором, подвели к нему схваченных королевских чиновников и вельможную шляхту во главе со связанным воеводой, — да, может быть, лишь эта именно минута торжества, венчавшая дело, когда, оглядывая поверженных, униженных и долженствующих представлять унижение польского короля людей, он испытал удовлетворение, могла еще (по значимости своей) вспомниться ему; торговый, богатейший по тем временам Полоцк был отдан на разграбление, жителей выгоняли из домов, казну изъяли, латынянские костелы велено было сровнять с землей и окрестить, как свидетельствуют летописцы, литовцев и «всех жидов, а непослушных топить в Двине», и жестокость сия не только не казалась Иоанну предосудительной или излишней, но, напротив, представлялась делом вполне естественным, даже необходимым, как если бы и в самом деле он истязал не этих безвинных перед ним горожан, а своего ненавистного оскорбителя Сигизмунда. Он не вникал теперь и в подробности того, что относилось к оперативной подвижности войск и включало фланговые и обходные маневры, упреждавшие действия противника; операция, действительно, была проведена блестяще и заслуживала разбора и изучения (что, впрочем, и было сделано, но уже позднее, столетия спустя, историками и военными); вышедший в помощь защитникам Полоцка сорокатысячный отряд литовцев с двадцатью пушками под командованием гетмана Радзивилла был встречен московскими воеводами — князьями Юрием Репниным и Симеоном Палицким, и, не посмеяв даже вступить с этими воеводами в бой, Радзивилл вынужден был повернуть назад; и еще, и еще множество разных подробностей, принесших ему победу и славу, могли бы занимать Иоанна, но не занимали, а все было сосредоточено только на двух, словно

бы концентрировавших все, узловых точках: на совпадении его желаний с реальностью и на страшном затем разочаровании, когда все тот же Всевышний, благосклонный будто бы к нему, к которому он обращался с молитвой, жестоко и за что-то, как думал Иоанн (хотя и догадывался и знал, за что), отплатил ему.

До Коломенского оставалось еще далеко, обоз продвигался медленно, полз, переваливаясь по неровностям дороги, кругом по низинам и взгорьям стелился снег, серебристо отсвечивая в полуденной морозной стыни, и монотонность сего заснеженного пейзажа лишь подчеркивала монотонность движения и навела сонливость, тоску и грусть. Порядком подуставшие ратники, открывавшие обоз и завершавшие его, шли уже не строем, а бесформенными разреженными группами, на них не покрикивали воеводы, и никто из любимцев царя, его вельможных холопов, уже не обгонял монаршие сани и не гарцевал перед ними, выказывая лихость и преданность; как река, скатившаяся с гор, успокаивается в своем равнинном течении, — чем дальше отодвигалась Москва с ее державными проблемами и державным людом и чем шире распахивалась белая заснеженная даль (как белый лист бумаги) с неизмеримостью своих просторов, чем яснее приходило осознание той неизвестности, в какую самодержец России ввергал теперь себя и страну. Какая-то будто подавленность сгущалась над обозом и над людьми — необъяснимая, необъятная, но реальная, как реально бывает предчувствие беды, вдруг охватывающее нас, и мы либо беспричинно раздражаемся на всех и вся, либо впадаем в уныние, с безразличием глядя на все. Минутами и на Иоанна находило это состояние, когда он вдруг терял интерес ко всему, даже к своему страшному замыслу, ради которого покинул Кремль и столицу; и жизнь, и борьба — все представляло бессмысленным, лишь отнимавшим время, нервы и силы и не приносившим ни желанного удовлетворения, ни покоя; духовенство, бояре, народ — все чего-то хотели, требовали, выклянчивали, выжимали, как требовала и царица — молча, холодностью, то есть тем известным и хорошо отработанным за века приемом, каким женщины обычно пытаются подчинить своей воле супругов. Нет, Иоанн не оборачивался к Марии и не смотрел на нее; временами ему казалось, что она спит

или дремлет, хотя царица не спала и не дремала, а погружена была, как и он, в думы, но свои, и чтобы не потревожить, не разбудить ее, старался не шевелиться; но мысли его — мысли продолжали работать, и когда сани, скользя и кренясь на раскатах дороги, бились в обочины, от встряски физической он как бы встряхивался и душевно, и память вновь возвращала его к полоцкому походу, к торжеству и славе и последовавшей затем расплате за эти славу и торжество, больно, язвительно (и неоплатно, главное) ущемившей его монаршее самолюбие.

XIX

Замышляя поход на Полоцк, он вместе с тем как бы загадывал, может ли царица приносить ему успех или нет; и, желая как бы помочь ей в этом тайном (и неведомом ей) деле, составил походную свиту так, что включено в нее было больше вельмож иноплеменных, азиатских, нежели своих. Цари Казанские Александр и Симеон, царевичи Ибак, Тохтамыш, Бекбулат, Кайбула... Каждый со своим отрядом, числом и храбростью усиливая общее войско, и это-то воинство, необычное в своих восточных, расшитых серебром и золотом бархатных одеяниях, в своих лисьих и о многом говоривших тогда русскому человеку малахаях, их непонятная скороговорка, разрезы глаз, узкие, со своей особой, равнинной хитростью и скрытностью, — все, все это, молчаливо одобренное царицей и благословленное (хотя и символично, издали и только лишь по настоянию Иоанна) митрополитом Макарием, в красочной своей пестроте и с живостью представало теперь перед ним. То он видел этих царей и царевичей на походе, гордившихся приближением к нему, то в деле, когда брали штурмом внешние городские укрепления, то опять — в центре Полоцка, на площади, у собора, на фоне дымящихся руин в ту самую минуту торжества, запомнившуюся Иоанну не столько видом плененных королевских чиновников и связанного по рукам и ногам воеводы, сколько — сознанием оправдавшихся в отношении царицы надежд, когда в одной только его воле было — наказать или отпустить плененных. Их привели и охраняли конники Тохтамыша и Бекбулата,

готовые по одному лишь знаку царя превратить плененных в кровавое месиво; но Иоанн не подал этого знака, не взмахнул рукой — по состоянию благодушия, как он думал теперь; и хотя то, что не совершенно было конниками Тохтамыша и Бекбулата, довершилось потом, в Москве, куда отправлены были сии холопы ненавистного Иоанну оскорбителя Сигизмунда, но — что-то будто подсказывало воспаленному его воображению, что тогда, на площади, он совершил оплошность, возликовав и поддавшись сему соблазнительному чувству, так как торжествовать было нечему, да и не время. Устоявший перед татаро-монгольским нашествием в прошлом и гордившийся этим, Полоцк, казалось, был повержен теперь и разграблен татарами, приведенными им, Иоанном. Об этом не говорили, на это не указывают летописцы; но утонченная, готовая к восприятию душа Иоанна не могла не осознавать этого и не терзаться затем, не мучиться — теми мучениями, в которых он никогда и никому не признавался и не выказывал их.

Власть победителя — власть страшная, если она лишена великодушия. Неделю в городе не прекращались разбой и грабежи, и все эти ужасающие дни бесчинств и беззаконий, утоляя жажду величия, Иоанн пировал, обосновавшись в воеводских хоромах; он, казалось, и засыпал, и просыпался при одной и той же картине бесконечного, ничем не прерывавшегося застоля, что, разумеется, было для него не ново и поддерживалось теперь не только любимцами московскими — князьями Вяземским, Салтыковым, боярами Алексеем и Федором Басмановыми, Чеботовым, Грязным, Малютой Скуратовым-Бельским, — к лицам (и проделкам) которых он уже попривык, но и холопьями иноплеменными, то есть вельможами, коих он лишь перед походом успел приблизить к себе, особенно князьями черкесскими и ногайскими. Иоанн хвалил сих князей за усердие и храбрость, одаривая своей царской благосклонностью, и, может быть, в эти минуты и в самом деле был искренен перед ними, потому что, делясь славою с ними, знал, что не уменьшал, а увеличивал ее для себя. В городе, между тем, ни на час не прерывались истязания, одних — несчастных — гнали к церквам, других, не желавших принимать чужой веры, волокли к Двине, чтобы топить в ней, и, хотя

Иоанн, не раз уже за время Казанского похода слышавший подобные стенания и знавший, как он считал, цену им, — «Все от Бога, и пастыри, и овцы, и — каждому свое!» — был как будто спокоен и не замечал их, но на исходе недели крики и стоны отчаявшихся все же начали по ночам донимать его, он со свечой в руке подходил к окну и затем звал духовника. И пусть хоть малой, хоть незаметной вроде бы складкой, но все же залегла в памяти и эта незначительная будто в размахе общих дел подробность, которой со временем еще только предстоит обнажиться и проявить себя, но — будущее было отделено от Иоанна и не беспокоило его: увенчав в упоении славой свой успех благодарственным в Софийском полоцком храме молебном и посадив в сем опустошенном городе воеводой князя Петра Шуйского, он вместе с войском и обозами награбленного добра, надеясь упредить весеннюю распутицу, двинулся к Москве.

Но упредить распутицу не удалось, реки вскрылись, дороги размякли, и уже от Великих Лук, распустив войско и оставив обозы на попечение воевод, Иоанн с отрядом лишь самых преданных ему людей продолжил путь. Он спешил, подгоняемый каким-то радостным будто, как казалось тогда, и вместе с тем странным, как представлялось теперь, предчувствием, словно боялся, что не довезет, не успеет довезти до Москвы, до царицы это свое обновленное к ней отношение, какого жаждал, отправляясь в поход, и какое невиданным, а главное, быстрым успехом было ниспослано ему будто бы самим обликом царицы, этой хрупкой, с осиною талией, привезенной по обычаю предков, искавших жен в азиатских степях, из далеких восточных краев. Он не то чтобы верил, но точно — в той сумасшедшей конной гонке — знал, что и это второе супружество его, как и первое, когда из сотен сведенных в Кремль невест выбрал Анастасию, было счастливым; современники отмечали, что как и в гневе, так и в ликовании Иоанн был беспределен и не терпел на себе никаких оков; тем более когда бывал в радости, и кто знает, чем бы обернулось его царствование, окажись рядом с ним действительно тот идеал женщины, какой он искал; и, может, оттого и гнал лошадей, и спешил, не останавливаясь ни в городах, ни в монастырях и огорчая гостеприимных хозяев, что что-

то в совершавшемся все же казалось зыбким, неустоявшимся, требовавшим немедленных уточнений. Меня могут упрекнуть, что столь грозное государственное лицо, исполнившее столь важное государственное дело (восстановление целостности России, как трактуют историки), я готов опустить до семейных интриг, то есть чуть ли не до простолюдинов; что ж, могу сказать, что там, где есть возвышенное, всегда есть и приземленное, и приземленного даже больше, чем возвышенного, потому что как раз в этом приземленном и бывает скрыта та главная пружина, от которой исходит движение. Как монарх, самодержец, Иоанн объясним и понятен (во всяком случае, с высоты эпох и в трактовках историков); но как человек со всеми его желаниями и страстями — как человек он вызывает куда больший интерес, по крайней мере у меня, и я не могу представить себе Иоанна иным, чем только в этом счастливом опьянении, в каком, переменяя лошадей и загоная их, он мчался к царице, чтобы обнять ее.

О победе его были уже осведомлены в столице, духовенство и бояре, подняв народ и холопьев, готовили торжественную встречу. Митрополит Макарий, получив письменное от Иоанна извещение, что «исполнилось пророчество русского угодника, чудотворца Петра митрополита, о городе Москве, что взыдут руки его на плечи врагов его: Бог несказанную свою милость излил на нас недостойных, вотчину нашу, город Полоцк, нам в руки дал», — митрополит Макарий, готовившийся уже от старости и болезней покинуть сей неприветливый, содомский (в бесконечной борьбе даже между духовенством за сан Первосвятителя) мир, на время словно воспрянул, польщенный сим личным посланием, и усердствовал особенно, стараясь приравнять успех этого похода к успехам Казанского и тем возвеличить подвиг Иоанна. Первой на подступах к Москве, в Старице — уделе своего сына, князя Владимира Андреевича, тоже участвовавшего в походе и возвращавшегося теперь с царем, приняла его Ефросинья; царевич Иоанн, как отмечают летописцы, в тот же день, к вечеру, ожидал своего отца-победителя в обители святого Иосифа, а другой царевич, Федор, — в селе Крылацком. «Тут был новый пир», как сообщают все те же летописцы, всю ночь длилось веселье, пили, ели, славя русское воинство и похваляясь всякою доб-

лестью, и возбужденный Иоанн, хотя ему только на час перед самым уже рассветом удалось вздремнуть, едва занялось утро, был уже на ногах. Ему оседлали и подвели коня — того самого, на котором он победоносно въезжал в Полоцк; сопровождавшие его воеводы, бояре и ратники были уже в походном строю перед крыльцом; окинув их взглядом, окинув взглядом коня и подбадривающе похлопав его по теплой, заслоненной гривой шее, он с легкостью, как будто и в самом деле не было ни бессонной ночи, ни усталости (ведь какие уже сутки и все. — верхом, верхом), вскочил в седло и, отбрасывая словно бы от себя комки грязи, летевшие из-под конских копыт, сначала мелким, еще будто игривым наметом выехал из монастырских ворот.

XX

Он ехал Крылацким (по названию села) полем, чтобы спрямить дорогу. Вокруг все было схвачено мартовским морозцем, прозрачный ледок похрустывал под ногами лошадей, а когда втягивались в полосу не растаявшего еще, а лишь осевшего под напором весны, слежалого снега, кавалькада словно вдруг тяжелеела, притушевевала бег, кони храпели и разбрасывали пену. Но Иоанн был неудержим, его не останавливало ничто; нерасплесканным, целостным и еще сильнее будто окрепшим он нес в себе то возникшее в Полоцке, на площади, перед собором, чувство к Марии, и трудно сказать, встречный ли ветер, овевая лицо, пел и резвился в складках его одежды, или пела и резвилась его молодая — тридцать лет, да возраст ли это! — удачливая душа. Он был неузнаваем в своем порыве и устремленности, и окружение, поспешавшее за ним, в котором были и князь Владимир Андреевич, и князь Афанасий Вяземский, и все остальные новые и новейшие любимцы вместе с царями и царевичами казанскими Александром, Симеоном, Ибеком, Тохтамышем, Бекбулатом и Кайбулой, — окружение, поспешавшее за ним, лишь удивленно переглядывалось, далекое от мыслей и чувств самодержца и не понимая его. Как и нам, наверное, человеческое в царе должно было представляться им невысказанным, как будто в

простоте чувств действительно заложено что-то не то чтобы недоступное, но принижающее для высоких особ; но ничего принижающего достоинство Иоанна не было, он всего лишь позволял себе быть естественным, и чистота чувств, и чистота мыслей (когда отброшено все наносное, дурное, отягчающее нас) делали его в эти мгновения прекрасным, добрым и сильным.

Впереди, захватывая во всю ширь небо и землю, разливалось по горизонту утро; оно вставало ясным и с теми весенними уже запахами и красками, которые, сливаясь с общим настроением Иоанна, как раз и вызывали в нем то сознание красоты и гармонии мира (так редко теперь, к сожалению, посещающих нас), когда на меже духовного и материального, где обычно сталкиваются желания и возможности, возникает не борьба, не разочарование, а единство, песенно соединяющее в нас представления о жизни и жизнь. Ни прежде, ни потом Иоанну уже не доводилось испытывать подобного чувства; сделав неверный шаг и увязнув одной ногой в трясине, непременно увязнешь и другой, а затем по бедра, по грудь, по шею, и — лишь в преддверии небытия память раскручивает содеянное и проясняет дороги, по которым следовало пойти, но о которых, когда они открывались в действительности, не хотелось и слышать; чувства, охватившие теперь Иоанна, несомненно, если бы он доверился им, открыли бы перед ним совсем иную, чем та, какую прошел, дорогу; но в том-то и заключен драматизм человеческого бытия (выраженный в пословице: знал бы, где упадешь, соломки бы подстелил), что в момент решений вдруг словно бы исчезает всякое представление о прошлом и будущем и остается и действует только тот сиюминутный интерес — славы, власти, богатства и почестей (для каждого на своем уровне и несопоставимое с мерами справедливости и добра), — который и приводит к заблуждениям и ошибкам. Ложь не в природе, ложь — в людях; и нет ничего страшнее, чем когда она подается в облике правды. Но что было Иоанну до сей философии, в которой, кстати, можно обнаружить и свои недочеты, и ущербность; в нем дышала естественность жизни, и не столько земли, возвращенные им России (и победа над Сигизмундом), сколько — простор для любви, добытый в этом походе, вызывали в нем не сдерживаемое ничем ликование,

и он мчался по этому простору и на коне, то есть физически, ощущая всем телом напряжение и галоп лошади, и мысленно, устремляясь вперед страстями, окрылявшими его. Потому, может, и был столь нетерпелив к боярину Траханиотову, посланному сообщить ему о рождении сына Василия, и, не слезая с коня и горячась вместе с конем, рвавшим удила, кричал на коленопрклоненного вестового: «Говори! Ну говори же!» Скорее догадавшись (по предчувствию), чем поняв со слов боярина, о чем весть, по-разбойничьи дико гикнул (что было тогда внове для него и для всех, но что затем войдет в привычку и будет повторяться в обстоятельствах уже иных и как сигнал к действию), огрел коня плетью, и — не успели сопровождавшие уяснить, что произошло, как он уже несся по полю, взрывая подтаявшую землю и снег; князья, цари и царевичи вслед за ним бросили своих лошадей в намет, и лишь боярин-посланец Траханиотов, не успевший еще подняться с колен (и с лицом, заляпанным ошметьями перемешанного с землей снега), обернувшись, удивленно смотрел на удалявшуюся от него кавалькаду.

Панорама Москвы, в каком бы столетии и кто бы из россиян ни подъезжал к златоглавой столице, всегда вызывала одно и то же, может быть, несколько странное (по понятиям иноязычных), но, может, вовсе и не странное, а вполне объяснимое чувство исторического родства и близости ко всему, что было и будет в ней, к ее Кремлю, каменным, но больше (по тем временам) деревянным домам, дворцам, монастырям, ее церквям, соборам и колокольням, с которых на десятки верст вокруг разносится утренний благовест; частью из белого камня, частью просто беленные известью, церкви и соборы как раз и создавали впечатление белокаменной, и Иоанн, как ни торопился теперь, все же хоть на мгновенье, но придержал коня, когда из не растворенного еще солнцем голубоватого марева утра, словно из морских глубин, вырос и открылся глазам сей державный град. Он был необыкновенно прекрасен, игравший позолотою куполов и манивший дымком, поднимавшимся из печных труб — столбами (при безветрии и морозце), редая и обесцвечиваясь в ясной высоте неба; и в центре этой неохватной живой картины, как шнуры, стягивая к себе дороги, величествен-

ной чашею возвышался Кремль. К нему с одной стороны, той, с которой подъезжал Иоанн, примыкали улицы и улочки Арбата с торговым рядом, церковью Бориса и Глеба и площадью перед ней, на которую, оповещенный о прибытии царя, уже начал стекаться московский люд, с другой — видна была стена Китай-города, Охотный ряд, Зарядье с разбросанными, как медь по земле, часовенками, и дальше по Москве-реке и Яузе — дома, лавки, кожевенные и гончарные мастерские и опять дома, лавки, объединенные беспросветной нищетой словно бы в лоскутное одеяло. Но Иоанн не замечал этой разноликости и не выхватывал из общего целого те или иные (по социальной обустроенности) островки жизни; перед ним было то, что принадлежало ему, — с худым и добрым, богатым и бедным, были — дарованные Богом народ и держава, и в том состоянии влюбленности и успеха, в каком он пребывал, он ни на минуту не колебался ни в правоте своих деяний, которыми приносил только блага себе и державе, ни в правоте замыслов, коими еще более, как полагал, мог осчастливить народ. Лишь на какую-то долю секунды лицо его вдруг будто затуманилось, он вспомнил, как горела Москва в год его венчания на царство. Укрывшись тогда в Воробьеве (и не только от стихии огня, но и от волнений и бесчинств, учинявшихся обезумевшим людом), он вместе с молодой женой, Анастасией, смотрел из дворца на сие ужасающее зрелище.

Москва, к слову сказать, строившаяся с топора, не раз сгорала дотла за свою многовековую историю. Но этот пожар, о котором вспомнил и подумал Иоанн, был особенным, «великим», как тогда же его нарекли в народе. Он принес неисчислимые бедствия, сгорело множество людей, лавок с богатыми товарами, гостиных казенных дворов и монастырских строений. Свидетели тех событий отмечают, что приступал он к городу двумя этапами, двумя волнами. Первая волна огня прокатилась в апреле и, захватив Богоявленскую обитель, превратила в пепел все, что лежало за Яузой, обездолив гончаров и кожевников. Тогда же огнем поглощены были целые кварталы домов от Ильинских ворот до Кремля и Москвы-реки, взлетели на воздух башня с порохом и часть городской стены, запрудив кирпичом реку, а затем, в

середине июня, «около полудни, в страшную бурю, начался пожар за Неглинною, на Арбатской улице, с церкви Воздвижения; огонь лился рекою, и скоро вспыхнул Кремль, Китай и Большой посад. Вся Москва представила зрелище огромного пылающего костра под тучами густого дыма. Деревянные здания исчезали, каменные распадались, железо рдело, как в горниле, медь текла. Рев бури, треск огня и вопль людей от времени до времени был заглушаем взрывами пороха, хранившегося в Кремле и в других частях города. Спасали единственно жизнь; богатство, праведное и неправедное, гибло. Царские палаты, казна, сокровища, оружие, иконы, древние хартии, книги, даже мощи святых истлели. Митрополит молился в храме Успения, уже задыхаясь от дыма; силою вывели его оттуда и хотели спустить на веревке с тайника к Москве-реке, он упал, расшибся и едва живой был отвезен в Новоспасский монастырь...» Я не случайно привел здесь столь пространное документальное свидетельство: во-первых, для достоверности, потому что речь идет о событии историческом, в котором непростительно было бы что-либо исказить или преувеличить, пусть даже ради художественной правды, правды искусства, и, во-вторых, чтобы понять замешательство Иоанна. Кроме картины внешней, с живостью красок представшей сейчас перед ним, было в этом ужасающем бедствии и нечто более важное для него. Объезжая на другой день после пожара Кремль, он услышал, как за спиной, с паперти обгорелой церкви, какой-то калека-богомolec крикнул, что «явилось знамение», что это молодой царь обнажил меч на народ и что все, все теперь будет гореть в огне и тонуть в крови. Богомольца заставили замолчать, и хотя никто затем ни при царе, ни без него не осмеливался упоминать об этом случае, но не лишенный суеверия Иоанн не раз мысленно возвращался к этому зловещему предсказанию. Каким-то будто неосознанным, страшным прикосновением то зловещее притронулось к нему теперь; он даже оглянулся — не заметил ли кто движения его мыслей, и, чтобы не загружаться сим тяжелым и ненужным для него сейчас воспоминанием, отпустил поводья коню, подтанцовывавшему под ним, и направил его вниз по склону горы к переправе.

XXI

Во всяком деле (в том числе и в событиях исторических) есть то, что зримо и что незримо, вернее, сторона внешняя, которую всегда можно воспроизвести в движениях, красках и лицах, и то, что скрыто от глаз и составляет мир чувств, желаний и мыслей, о которых можно лишь предположить, что они есть и руководят человеком, но в то же время остаются за гранью видимости и вызывают в столетиях иногда не прекращающиеся суды и пересуды. Спешившись на пароме, Иоанн затем, когда паром причалил к противоположному (пологому) берегу, вновь сел на коня и мелким, игривым, парадным или плац-парадным, как можно было бы уточнить, аллюром двинулся к церкви Бориса и Глеба, где на площади, в скоплении разнообразнейшего московского люда знатное духовенство и бояре с хоругвями, иконами и крестами ожидали его. Несмотря, как уже говорилось, на многодневную гонку — на конях, верхом — и несмотря на бессонную почти ночь, проведенную в Крылацком за питием, едой и разговорами, Иоанн не то чтобы казался в глазах жадно смотревшей на него толпы, но и на самом деле выглядел полным сил, веселым и бодрым; молодежавшая осанка его кричала о молодости, царские облачения и доспехи — о воинственности и силе, что, как и всегда-то, могло настраивать лишь на безоглядный патриотизм; и хотя, сняв шапки, народ только крестился и кланялся при виде приближавшегося царя, но за молчаливыми этими поклонами и полными восхищения и восторга взглядами, словно заряд, готовый огласить взрывом округу, таилось безудержное, не подкрепленное ничем, кроме корысти монаршей, выдаваемой за общее, государственное благоликование.

У всякого народа, разумеется, есть в истории свои великие и малые торжества, и мне не хотелось бы теперь, оглядываясь на столь отдаленное от нас прошлое, чем-либо омрачать то победное ликование, самую приподнятость той минуты, какую переживали собравшиеся на площади, перед церковью, русские люди. Мы осуждаем эгоизм личности, но приходило ли нам когда-нибудь в голову, что есть еще эгоизм толпы, народа, наконец, монарший или державный и что — не в сражениях ли, не в убийствах ли людьми одними

людей других и не в разрушениях ли налаженной (и каждому дорогой для себя) жизни скрыта вся его неопишимо зловещая суть? Римляне ликовали, когда сравнивался с землей Карфаген, — чему? Чему рукоплескала Великая Греция, когда Александр Македонский, завоевывая Азию и отсылая дары, сеял вокруг себя только разрушения и смерть, ломая судьбы и жизнь народов и государств? Что приобрели и что потеряли, если брать в историческом плане, все те аплодировавшие и ликовавшие народы? Разве что — весьма сомнительную, хотя и записанную на скрижалях истории память о «великих» и «славных» походах? То, что Иоанн готов был, как дар, бросить теперь к ногам духовенства, бояр и народа (более — к ногам царицы, что было важнее для него), было, по существу, даром сомнительным. За победой, которую он одержал и которая одна, казалось, только и могла восприниматься народом, стоял разрушенный, опустошенный и разграбленный Полоцк. Он весь был в развалинах, повсюду на пепелищах виднелись трупы, которые некому было предать земле. Берега Двины, словно бревнами, были завалены утопленниками, вынесенными волной на отмели, а в уцелевших домах, церквях, монастырях раздавались лишь плач и стоны. Но перед глазами народа, собравшегося встретить Иоанна, представала не эта картина смертей, ужасов и страданий, а другая — торжественно, с победой въезжавший в столицу царь. Он был красив, могуществен и недосягаем, конь гарцевал под ним, соединяясь с торжественностью минуты, и от этого наполненного будто бы божественным смыслом великолепия все вокруг тоже наполнялось и дышало исторической, как и должно воспринимать ее, но, в сущности, пустой, бессмысленной, ложной гордостью, от которой как до патриотизма, так и до эгоизма — государственного и потому страшного — один шаг.

Как только Иоанн въехал на площадь, он спешил и, слегка поклонившись на три стороны перед народом, двинулся к ожидавшим его царице, духовенству и боярам, сгрудившимся перед церковью Бориса и Глеба и праздничным своим благолепием заслонявшим ее. Ветер с Москвы-реки шевелил развернутыми хоругвями, клонил долу кресты, иконы, забрасывал за плечи длинные седые бороды святителей и бояр. Вот-вот

должна была наступить развязка, и перед этой вершинной торжества все, казалось, еще более притихло в напряжении; и в этой тишине, вдруг (и тем неожиданной для Иоанна и всех) — раздался сперва одиночный и звонкий, болью отдавшийся в ушах удар колокола. Иоанн вздрогнул и едва успел взглянуть поверх голов святителей и бояр на колокольню, как оттуда донесся второй, третий удары, и затем, словно решив поддержать сии торжествующие звуки, ударили на колокольных соседних церквей, в Кремле, по всей Москве, и под этот величественный благовест, приподнимавший и без того приподнятую душу, Иоанн пересекал площадь, вглядываясь в толпу своих придворных вельмож и отыскивая среди них царицу. За ним, оттянувшись на сажень, вели его коня, понуро клонившего теперь голову книзу, словно желавшего замести гривой хозяйский след, и уже за конем, тоже спешившись, как и царь, двигалась свита.

Оттого ли, что так было задумано, или потому, что у митрополита Макария, возбужденного событием, не хватило терпения, — словно крестным пасхальным ходом вокруг церкви, встав впереди святителей и бояр (и с царицей, окруженною вельможными мамками и няньками), он двинулся навстречу Иоанну. Сойдясь, потоки остановились, пережидая в торжественном противостоянии все еще разливавшийся над площадью благовест; когда же колокола смолкли (на ближайших колокольнях, тогда как по Москве долго еще, напоминая перекличку, слышался их приветственный перезвон), митрополит по-церковному напевно, велеречиво, но не столь, может быть, твердым и могучим по преклонности лет голосом произнес здравицу в честь царя-победителя, поблагодарив его от народа и церкви за великие ратные труды и подвиги во славу державы; Иоанн ответно воздал хвалу митрополиту и святителям за их «усердные молитвы», кои были услышаны и возымели действие, и лишь после этого протокольного, как мы бы сказали теперь, обмена речами, вперед была выдвинута царица с новорожденным сыном Василием, которого в шитых золотой нитью царских распашонках, простынях и одеяльце держала на руках. Иоанн двинулся было к ней, но тут же остановился; на глазах у толпы, еще более жадно сейчас смотревшей на него, негоже было ему опускаться до простолудинских

слабостей; простое, человеческое проявление жизни — да совместимо ли оно с высотой государственных дел? Лицо его слегка налилось гневом — от беспомощности, в какой он вдруг ощутил себя; но, поборов раздражение (он тогда еще был способен управлять собой), Иоанн еще несколько мгновений продолжал молча смотреть на царицу, маленький в руках ее сверток, который она готова была протянуть ему, и за эти мгновения, несомненно показавшиеся ему куда длиннее, чем весь многонедельный, только что проделанный от Полоцка до Москвы путь — все верхом, верхом, на конях! — за эти короткие мгновения успел передумать и пережить целую жизнь.

То, что только что представлялось Иоанну завершенным и целостным, — его обновленное чувство к Марии, — и что он, боясь расплескать по дороге, так бережно в своем сердце вез ей, на самом деле не было ни завершенным, ни целостным; вглядываясь в царицу, он опять невольно принялся искать в выражении ее лица, глаз то, что с первого же, казалось, дня, как только увидел, искал в ней. Ему необходимо было ответное чувство, которое принесло бы покой и удовлетворение, и, сделай царица сейчас любое приветливое движение, он нашел бы, как истолковать его. Но он не видел этого движения; царица после родов была еще неокрепшей, сырой, как говорят в народе, прежде смуглое лицо ее выглядело бледным, неподвижным, отдавало холодностью, и не следы радости материнства, которые (может быть, по восточному обычаю) она и старалась стыдливо скрыть в себе, а следы мук, перенесенных ею, — этих известных при родах женских мук, словно бы в укор выставленных теперь супругу, были заметны в ней и смущали Иоанна. Видя и понимая их значение, он в то же время не хотел и не мог объяснять их; чувства его и чувства царицы не совпадали, он нахмуренно сверлил ее глазами и только еще сильнее заставлял пугаться и леденеть душой; и кто знает, чем бы все завершилось, если бы первосвяtitель Макарий не предложил ему взять младенца, прежде открыв и показав царю маленькое сморщенное личико будущего престолонаследника. И общий ли вид младенца, ощущение ли его живого (сквозь толщу одеяла и простынь) тельца, вызвавшее прилив отцовского удовлетворения и доброты, или та жалкая, болез-

ненная улыбка, какою хотя и на миг, но все же озарилось лицо царицы, но — Иоанн уже не колебался; держа наследника на руках, он медленно, подчиняясь торжественности минуты и сливаясь с ней, направился от Арбата к Кремлю, сопровождаемый царицей, духовенством, боярами и народом — ликовавшим, как если бы событие это действительно принесло или могло принести ему блага, и по всем церквам опять, пока длилось шествие, гремел благовест.

XXII

Всю следующую неделю от воскресенья до воскресенья в церквах и соборах служили благодарственные молебны, в Кремле, в сводчатых палатах дворца не смолкали торжества, Иоанн был весел и со щедростью, присущей монарху, одаривал героев похода — воевод, бояр, князей, царей и царевичей казанских, невольны и еще более милостью этой приближая их к себе. Среди придворных же, как и должно, намечались новые перестановки, завязывались интриги, то есть продолжалась все та же извечная, не знающая пощады борьба (за мнимое, если не сказать больше, первенство между государственными мужами), какая и во все-то времена и при любых правителях ведется вокруг или у подножия тронов. Но Иоанн не воспринимал пока ни наветов, ни оговоров; занятый собой и своим отношением к царице и новорожденному сыну Василию, он не выходил почти из детских покоев; вновь, как и при Анастасии, даровавшей ему сыновей, он испытывал то счастливое чувство отцовства, которым (по крайней мере в те дни, когда происходило все) заслонены были перед ним все государственные и иные дела державы. Это отцовское чувство передавалось Марии, душа ее словно раскрывалась, светлела, и в глазах начали появляться те огоньки любви к жизни, которые как раз и желал увидеть и видел теперь в ней Иоанн. По правую руку от себя он неизменно усаживал князей черкесских, родственников и родичей царицы, вызывая тем недовольство родни прежней, по Анастасии, Захарьиных, чей клан был еще влиятелен и многочислен; недовольство зрело и у князей Мстиславских и Шуйских, которых, как им казалось, оттесняли от трона, но и к этим

недовольствам Иоанн оставался глух, ибо что было выше того счастья, какое испытывал он, когда, входя в детскую, заставлял Марию склоненной над сыном. Ему казалось, что он чувствовал и понимал ее так же, как чувствовал и понимал себя, и смотрел на нее с нежностью; немножко еще черкешенка, но уже достаточно русская, Мария и в самом деле являла собой тот идеал, который и был желателен Иоанну и что-то будто нетронутое, доброе пробуждал в нем.

Но как ни велико было счастье, испытываемое Иоанном, время от времени на него все же вдруг находили сомнения, и он начинал беспокоиться, как если бы действительно что-то нехорошее, неотвратимое и готовое вот-вот совершиться подстерегало его. Он то относил это беспокойство к делам державы, к взаимоотношениям своим с князьями и боярами, претендовавшими (по знатности родословных) на влияние и вес, то к духовенству, которое заступничеством за опальных не давало ему править, как он хотел, то к делам семейным, в коих тоже не все было так благополучно, как это казалось на первый взгляд. Маленький Василий, несмотря на старания всех, кто ухаживал за ним, выглядел болезненным, плохо ел, спал и развивался, и Иоанн, успевший уже привязаться к сыну, сначала лишь недоумевал, надеясь, что все обойдется, призывал врачей, обещая им награды, но затем, увидев, что улучшения не наступает, помрачнел, притих, и семейные отношения, только что, казалось, так благополучно по взятии Полоцка разрешившиеся для него, теперь вновь и обостреннее возникли перед ним. Может быть, если бы он поделился с кем-либо своими сомнениями и без предвзятости посмотрел на царицу, сына и происходившее с ними и вокруг них, многое предстало бы по-иному и прояснилось для него; но, как большинство сильных или, по крайней мере, мнящих себя сильными людей, Иоанн переживал молча, доверяясь лишь своим посылам и выводам и вызывая у окружающих то ложное о своих сомнениях представление, вернее, ту ложную озабоченность, от которой только сильнее запутывалось и осложнялось все. В то время как от больного отстранялись врачи, все явственнее начинали выдвигаться вперед отцы церкви. Они находили, что болезнь царевича не физического, а нравственного свойства, что тут подается знак Божий и спасение

следует искать только в поклонении святым мощам, бдениях и молитвах. За кем-то из родителей значилось прегрешение, и, так как Иоанн не мог, как это представлялось всем, хоть в чем-либо быть запятнан, взоры были обращены на царицу, которая, дескать, не до конца, не сердцем приняла православие. Сказать об этом Иоанну прямо никто не решался, но намеками давали понять, в чем скрывалась причина, и в соборах Благовещения и Успения проведены были торжественные (по обелению царицы) службы; соответствующие службы были затем проведены и в других по Москве церквах и соборах, а когда и это не помогло, святители с митрополитом явились к Иоанну и предложили ему вместе с царицей и сыном-младенцем съездить на богомолье в Кириллов Белозерский монастырь. Обитель та славилась особым благочестием, и церковные иерархи были убеждены, что поклонение мощам святого Кирилла и молитвы возымеют действие и недуг отступится от царского чада.

Но Иоанн не сразу решился на подобное путешествие. Уединившись в покоях, где можно было в безлюдье поразмыслить над сим важнейшим для себя и державы вопросом, он просидел там дотемна, пока не вошли зажечь свечи, но и при свечах — продолжал оставаться все в той же удивленной неподвижности (как при прозрениях, когда в сложных нагромождениях жизни вдруг открывается очевидная и доступная разуму простота), в какой ни прежде, ни потом никто из князей и бояр не видел Иоанна. С ним словно повторялось то, что уже было, и он лишь вступал теперь на тот второй круг жизни, на котором все-все было до мелочей известно ему. Вот так же с первенцем Анастасии Великим Князем Дмитрием в холодную весеннюю пору он отправился на богомолье в Кириллов Белозерский монастырь и потерял сына: царевич в дороге простудился, заболел и умер. Иоанн помнил, как отпевали Дмитрия в сырой и темной монастырской церквушке (было это уже где-то далеко за Тверью), как затем везли гробик с тельцем и предавали земле (с царскими, разумеется, почестями) в Москве, в каком отчаянии была Анастасия, да и сам он, и народ, как ему казалось тогда, облаченный в траур и ливший слезы по безвременно ушедшему в мир иной наследнику; и хотя после этого неизбежного как будто бы

горя, но, может быть, и во искупление его явилось светлое десятилетие: Анастасия родила сыновей Ивана и Федора и дочь Евдокию, да и в делах державы всюду сопутствовала Иоанну удача, но — соизмерима ли была цена счастью, и стоило ли вновь точно такой же ценой добывать его? Иоанн колебался; ему страшно было представить, что и первенец Марии не вынесет поездки и скончается по дороге, страшно было обречь Марию на страдания; он видел, как перенесла их Анастасия, и, готовый воспротивиться року, старался найти в этой открывшейся будто бы ясности то, что позволило бы избежать повторения.

Да и так ли, уж совпадали события, как это (по большому счету) представлялось Иоанну? Во-первых, десять с лишним лет назад он отправился на моление не по совету святителей, а выполнял лишь обет, данный во время своей тяжелой болезни, когда, вернувшись из триумфального Казанского похода, казалось, лежал на смертном одре, и, во-вторых, если говорить об исторической значимости той поездки, что осознавалось тогда уже многими современниками и чего не мог не учитывать Иоанн, то по своим последствиям она имела куда большее значение для судьбы державы, чем только смерть и похороны малолетнего Великого Князя Дмитрия. По пути Иоанн посетил в кельях двух великих для своего времени (каждый по-своему) старцев: Максима Грека, доживавшего последние свои дни в одном из монастырей близ Твери, и Вассиана Топоркова, инока Иосифо-Волоко-Ламской обители, и разговор с ними (к которому по ходу повествования еще не раз, видимо, придется обращаться), особенно с Вассианом, оставил в душе Иоанна свой глубочайший и невытравимый след. Максим Грек был деятелем прозападных, как мы бы определили теперь, взглядов, выступал за реформизм и послабления не только в делах церковных, но и государственных и числился в еретиках, тогда как Вассиан Топорков, ученик Иосифа Волоцкого, главного и последовательного гонителя еретиков, — Вассиан, пользовавшийся милостями Великого Князя Василия, отца Иоаннова, был ревностным сторонником старины и выступал за незыблемость так называемых русских устоев, утверждавших единство и незыблемость власти церковной и светской (что как раз и должно было импонировать Иоанну), и

хотя оба эти старца стояли уже на краю могилы и пора было им более думать о душе, нежели о делах земных, оставляемых ими, но таков уж, наверное, удел сильных личностей, — словно бы обернувшись у последней черты, они надеялись еще повлиять на ход развивавшихся событий. Что касается Иоанна, то он вполне мог бы удовлетвориться той исторической встречей, открывшей ему (с двух сторон) возможности и секреты власти; но державное, определившись, войдя в повседневность, разумелось уже само собой, тогда как личное, относившееся к похоронам сына, переживаниям Анастасии и своим, далеко еще не стершимся из памяти, — личное продолжало держать Иоанна в напряжении и беспокоить его.

XXIII

Ночью он несколько раз входил в детскую, останавливался у постельки больного, затем молча присаживался возле Марии, согревал в ладонях ее стынущие пальцы и вновь удалялся к себе; и во все это время (да как и всегда, впрочем) два противостоящих начала терзали его: разумное, подсказывавшее, что ехать нельзя, что младенец не выдержит дороги и скончается, и суеверный страх перед ослушанием (в данном случае ослушанием святителей), за которым тоже неминуемо последует кара. Ему не нужно было доказательств, чтобы убедиться в верности этого суждения, перед ним был более чем пример, когда, не вняв предупреждению, вернее, пророчеству Максима Грека, он настоял на своем, поехал и потерял сына; и хотя ослушание теперешнее означало — не ехать, то есть было более разумным даже по простым житейским понятиям, но страх перед ослушанием, за которым, как тень, злоеще проглядывала расплата, — страх этот в конце концов возымел верх над разумным, и, промучившись в уединении и бездеятельности еще сутки, Иоанн пришел к заключению, что не поехать нельзя, нельзя не внять Божьему гласу, и велел пригласить к себе духовников и митрополита.

Разговор с ними был краток. Объявив о своем решении, Иоанн тут же повелел собираться в дорогу, и во второй половине дня, сразу после службы и благо-

словения в церкви Успения, царский обоз, наскоро составленный и сопровождаемый конными ратниками, выехал из Москвы на Дмитров. Путь и в самом деле предстал долгий и нелегкий: сначала — по раскисшим проселкам до Песношского Николаевского монастыря, где предполагалось задержаться на день-другой, отдохнуть и поклониться местным угодникам (в первую очередь Вассиану Топоркову, да-да, тому самому Вассиану, гонителю Максима Грека, навечно успокоившемуся наконец в стенах сей «прославившейся» теперь именем и делами его обители), потом, пересев на суда, реками Яхромой, Дубной, Волгой, Шексной прибыть в монастырь святого Кирилла. Иоанн ехал в повозке вместе с царицей (большого царевича, укутанного в простынки и одеяльца, везли отдельно), и, пока преодолевали первые версты, вернее, пока дорога, как и все вблизи столицы, была более-менее сносной, колеса не увязали по ступицы, лошади не рвали построжки, и повозку не швыряло из стороны в сторону, на душе у Иоанна, казалось, все было спокойно, он был весел, внимателен и предупредителен к Марии; надо сказать, определенность всегда успокаивает людей, особенно неуравновешенных, каким был теперешний самодержец России; несдержанный, не признававший преград своим страстям и желаниям, он вместе с тем панически боялся кары Божьей, Божьего возмездия, и этой несоместимостью сил, изначально как будто бы заложенных в нем, пожалуй, вернее всего можно объяснить характер Иоанна. Стремление освободиться то от одной, то от другой довлеющей силы как раз и бросало его в еще более цепкие их объятия и истощало физически и духовно. Начиналось же все обычно с мелочей, с самых простых, иногда житейских неудобств, кои, увы, встречаются и у царей, и первым таким неудобством, вызвавшим раздражение, а затем беспокойство, явилась переправа через речушку, мост через которую был снесен в половодье, а спуск к броду да и сам брод до того круты и разбиты колесами, что не только кучерам и холопам, но и ратникам пришлось по пояс входить в холодную воду и подталкивать повозки, помогая лошадям вытянуть их. Притомленные кони то и дело останавливались, крупы их были взмокшими, в кло-чьях пены, и словно бы в довершение сего испытания небо вдруг набухло тучами, налетел ветер, разодрав и

сдернув с повозок чехлы, полоснула молния, и над всей от горизонта до горизонта весенней степью запылаха, загремела одна из тех коротких российских гроз, сопровождаемых ливнями, от которых, кажется, некуда бывает укрыться ни зверю, ни человеку.

Стихию пережидали, сбившись в круг — повозками, конями, людьми, а когда ливень стих, промокшие и продрогшие, свернули к первой попавшейся по дороге небольшой обители и остановились в ней, чтобы обсушиться, согреться и переночевать. Монахи были стеснены, келий не хватало, царской чете отведена была трапезная, а больной царевич помещен в покоях настоятеля. Как прошла ночь для царевича, для других, ехавших с обозом, Иоанн не знал; то ли от вина, которое дали ему выпить, чтобы согреться, то ли от усталости или спокойствия, которое вернулось к нему оттого, что он как бы вновь ощутил себя под покровительством Бога, — сразу же после еды и питья заснул (впервые за мучительную неделю) глубоким, безмятежным сном. Утром разбудили его сообщением, что скончался царевич — тихо будто бы, без крика, слез и метаний, а с Божьей умиротворенностью (что как раз и должно было служить утешением для Иоанна). Поняв с полуслова, о чем речь, будто только и ждал этого (но ведь и на самом деле — ждал!), он, вместе с тем, жестким, неверящим взглядом обвел духовников, покорно притихших перед ним; потом, одевшись и сопровождаемый ими, направился в палаты настоятеля, где на одре лежало омытое, приготовленное к отпеванию тельце младенца и где полно было уже и дворцовой дворни, и монахов в их однотипных черных одеяниях и пахло хвоей и ладаном. Запах этот, памятный еще с похорон Дмитрия, словно ударом в лицо заставил Иоанна остановиться, и точно так же, как он только что тяжелым, неверящим взглядом смотрел на духовников, посмотрел теперь на тельце покойного, траурно накрытое покрывалом, на царицу Марию, склоненно, в черном, стоявшую перед ним, на скорбные лица челяди (вельможной, разумеется, которая только и могла быть допущена сюда) и монахов, пробежав, как по орнаменту, по их изреженным, клиновидным бородкам и длинным, нестриженным волосам, подхваченным надбровными повязками, должны были будто бы сближать их с обликом Иисуса. На груди

у младенца, зажатая в похолодевших крохотных пальчиках, горела свеча, озарявшая всех вздрагивающим светом, особенно обескровленное и заострившееся за ночь лицо царицы; в таком состоянии Иоанн еще никогда не видел Марию и ни в самую минуту происходившего, ни позднее, когда вспоминал, не мог с точностью определить, что сильнее поразило и озадачило его: вид ли умершего царевича или вид царицы, о которой только и уместно было сказать, что краше кладут в гроб.

Иоанн подошел к царице и встал рядом с ней. Теперь он не смотрел на нее, а лишь чувствовал ее истощенную, страдавшуюся плоть, то есть, сказать иначе, ее душевную опустошенность, не дававшую ей даже плакать, и худобу, делавшую ее более болезненной и хрупкой; но в то время как Марию он только чувствовал, худое, посиневшее, мертвое личико сына и столь же обескровленные ручонки и пальчики, державшие непомерно большую по ним горевшую восковую свечу, — все это было перед глазами, и как ни пытался Иоанн отогнать от себя ту мысль, которая еще до поездки начала беспокоить его, что болезненная плоть рождается лишь от болезненной плоти, как ни старался отвести от Марии это ужасающее обвинение, которое, если подтвердилось бы, сделало бы невозможной супружескую с ней жизнь, но реальное, — стоявшее и лежавшее перед ним, — было сильнее всех возможных доводов и опровержений. Он словно попал в ловушку, из которой нельзя было выбраться, не поступившись достоинством личным или достоинством царским. Но ни то ни другое было неприемлемо Иоанну; он не допускал мысли, что виноват, как не допускал ее ни в чем и никогда, и, чтобы выйти из положения без потерь и унижений для себя и определиться, ему оставалось только прибегнуть к тому средству, к какому в подобных ситуациях прибегают все: перенести тяжесть гнева с истинного предмета негодования, то есть с Марии, на предмет второстепенный, то есть в данном случае на святителей, тем более что на это имелись у него основания. Он вспомнил разговор с ними, когда во главе с митрополитом они явились к нему; и хотя ни митрополита, ни святителей не было теперь возле покойного, но Иоанну казалось, что они находились здесь, и он, обводя всех налитыми гневом

глазами, искал их. Он готов был ткнуть, ударить, придушить любого из них, независимо от сана и звания, подвернись они ему сейчас, и не сдержался и сделал бы, как позволял позднее — со святителями новгородскими или тверскими, например; но их не было, а был только гнев, была ярость, слепая, безотчетная, и трудно предположить, чем бы закончилось все, если бы не покойный младенец, лежавший со свечою в руках на одре, не истощенная, готовая рухнуть на пол Мария (и рухнула бы, не поддерживай ее под руки), и то чувство достоинства, еще не растраченное к тому времени Иоанном, которое и удержало его от неразумного поступка; окинув еще раз всех гневным взглядом, он решительно повернулся и зашагал к выходу.

XXIV

Спустя час, не простившись ни с кем, один (лишь с небольшой охраной и свитой любимцев), Иоанн спешно возвращался в Москву. Что побудило его к этому поступку, трудно сказать: желание ли повидаться с митрополитом, святителями и объяснить с ними или бросить им в их сытые, умиротворенные лики весь тот гнев, какой давно уже накапливался к ним? Превжняя догадка, что духовенство, как и бояре, состоя между собой в тайном сговоре, только и думает, как навредить ему, его семье и помешать царствовать, — догадка представлялась столь явной, что он даже не хотел утруждать себя поисками доказательств. Да и какие еще нужны доказательства, когда они — вот и более чем очевидны: царевич на одре, царица перед ним в полуобморочном состоянии и монахи вдоль стен, в каре, не столь со скорбной, сколь с живейшей заинтересованностью взирающие вокруг. Картина эта, словно застыв, стояла перед глазами Иоанна, и ему неважно было, отчего происходил этот их монашеский интерес, оттого ли, что в кельи их, в их однообразное, в молитвах и бдениях аскетическое бытие ворвалась светская жизнь или оттого, что они невольно явились свидетелями развернувшейся на их глазах трагедии в царском семействе; он видел и воспринимал только то оскорбительное, что было заложено будто бы в их любопытстве и соединялось (в чем он не сомневался) с

общей зловещей цепью интриг, свивавшихся вокруг него. Сознать это было мучительно, и, чтобы освободиться от средоточия сих сдавливающих дум, он торопил ездовых, повозку встряхивало, кидало из стороны в сторону, лошади рвались, подстегиваемые вожжами, кнутом, окриками; минутами, словно бы выходя из забытья, Иоанн отчетливо слышал и эти окрики, и свист кнута, и грязевые шлепки о борта повозки, и топот, и чавканье конного сопровождения, без коего не было бы ощущения полноты и целостности движения.

Но дорога тем, может быть, и хороша, что, сковывая человека в поступках и действиях, оставляет ему простор для размышлений, не ограниченных ни временем, ни предвзятостью и направлением самих возникающих мыслей, и Иоанн, будучи самодержцем, но оставаясь при этом человеком со всеми его возможностями, желаниями и страстями, — Иоанн не мог не воспользоваться этим дошедшим и до нас из глубины веков защитным средством и не обратиться к воспоминаниям, которые могли если не оправдать, то по крайней мере объяснить ему происходившее. И для этого не нужно было напрягать память. Подробности сватовства, женитьбы на Марии и жизни с ней — все было так близко и так осязаемо зримо, что оставалось только переводить взгляд от одной подробности к другой, задерживаясь лишь на тех, которые по выразительности, значимости и глубине пережитого более всего могли теперь волновать самодержца.

Конечно, я понимаю, что берусь изложить здесь всего лишь одну из версий того, что могло происходить тогда, но, полагая, что истина чувств не менее важна для осознания истории, чем истина (и последовательность) событий, рискну и впредь придерживаться этого взятого направления и не прерывать более логического развития сюжета. Иоанн не отделял жизнь личную от жизни державной, хотя и была тут своя полоса разграничений — уже по тому чувству привязанности и любви, какое он сперва испытывал к Анастасии, а затем ко второй супруге, Марии, и тому алчному стремлению к власти и упоению ею, каким отмечены все его государственные начинания; не отделял, особенно теперь, потому что сама идея второго супружества как раз и родилась из державных интересов и дел. В том году у него вновь осложнились

отношения с Астраханью, и посланный туда для усмирения касимовский царь Шиг-Алей не взял города. Иоанн был недоволен и после пасхальных праздников намеревался заменить неудачливого воеводу, но в самый этот день Воскресения Господня, как отмечает один из позднейших (и безвестных) повествователей, — великий день воскресения Христа, — пришло от Шиг-Алея если не странное, то, во всяком случае, любопытное послание. Оно было вручено Иоанну во время богослужения, а затем, после литургии, прочтено в присутствии дяди, князя Никиты Романовича Захарьи-на-Юрьева и митрополита Макария. Шиг-Алей сообщал (вслед за оправдательной тирадой): «Города Астракани мурза черкасов горских Теврюг Юнгич мне, холопу твоему царю Шихалею, написал письмо за своею рукою русским языком: буде-де царь Иван Васильевич поймет за себя дочь мою любезнейшую в царицы себе, аз-де Астраканью и до усть реки Волги, до моря Хвалынского и по морю улусами, и вверх по реке Яику, и с людьми, которые во всей моей Золотой Орде черкасы горские живут, поклонюся ему и грамоту дам на всю свою державу до века». Предлагалось, в сущности, то, что было уже завоевано и присоединено, но в то же время — наталкивало на размышления. Во-первых, после отказа Сигизмунда так ли, иначе ли, но надо было определяться с невестой, и, во-вторых, куда выгоднее иметь окраины смиренными, чем непокорными, и после недолгих одобрительных разговоров с Никитой Романовичем и митрополитом Иоанн продиктовал ответ Шиг-Алею. «Буде по глаголу твоему, — было в ответе. — Только образ ея написав, пришли с устройением лепоты лица ея в златом одеянии. И не подменный образ — вместо ея иной не пиши!» Иоанн не хотел, чтобы его обманули; каким бы развратным ни представлял он теперь перед нами, облепленный былями и небылицами (как, впрочем, и всякая историческая личность, оставляющая след в веках), но, обделенный с детства родительской лаской, он тянулся к семье, как всякий живой росток тянется к свету, — и столь же, может быть, неосознанно, как и в минуты, когда диктовал это свое послание Шиг-Алею, так и теперь (и даже, может, обостреннее), когда пережитое в тех же подробностях повторялось в нем.

Царские возницы между тем продолжали неистов-

ствовать, кони мчались, повозку трясло и подбрасывало на ухабах так, что Иоанн на своем застланном мехами сиденье вынужден был, схватившись за поручни, прижиматься к ним. В одной из деревень, где была собрана подстава, сменили лошадей, и вместе с этой сменой тяги с новой и еще более будто обостренной силой потекли мысли Иоанна. Перед ним возникали подробности — вроде бы несущественные, забытые, но которые как раз и переносили его в мир прошлых (и счастливых!) переживаний. Не так уж, наверное, и ждал он от Шиг-Алея описания «лепоты» лица будущей царицы, как это представлялось ему теперь; с некоторой даже скептичностью он принялся распечатывать второе его послание, косясь на приложенный к этому посланию золотой ларец (будто бы от самой Кученей, так до принятия ею православия именовалась будущая царица Мария), но — для подтверждения теперешних чувств и мыслей требовалась иная действительность, и услужливая память подавала это иное, окрашенное удивлением и восторгом. Восточная, да, именно восточная «лепота лица ея» и «доброта возраста ея», пересказанные Шиг-Алеем, настолько возбуждали желания Иоанна, что ничто уже не могло удержать его от сватовства и женитьбы на ней. Он собирает князей и бояр во дворце, устраивает им торжества и объявляет о своем намерении. Чтобы получить благословение от святителей, щедро одаривает Московскую патриархию, не обходя царской милостью и митрополита Макария, чьим согласием особенно важно было заручиться Иоанну, а чтобы придать предстоящим событиям надлежащую значимость, задумывает направить в Астрахань за невестой необычное (по размаху и пышности, разумеется) посольство: пеших и конных ратников для сопровождения во главе с двенадцатью знаменитейшими воеводами, более сотни вельможных жен, боярских вдов и девиц. «Воеводам же даде одеяние злато, — значитя все в том же (позднейшем и безымянном) источнике, — и девицам, и вдовам, и женам летники златы, и всему воинству одеяние златое». В свидетельстве этом есть, наверное, и свое преувеличение, подымающее не столько даже престиж Иоанна, сколько престиж России, — традиция, не исчерпавшая себя и поныне, удивлять не искусством, не тонкостью дела, а массовостью; но мне не хотелось бы

теперь вдаваться в подробности, потому что история всегда ясна лишь для историков; для всех остальных же — тем и привлекательна, что существует как тайна, прикрытая тенью веков, чтобы возбуждать воображение. Однако для Иоанна происходившее не было историей, он просто, как всякий человек, но лишь на своем, монаршем уровне, творил жизнь, и, как бы ни велики или ни малы бывали радости или огорчения, он откликался на них столь же пространно и чутко, как откликается каждый из нас, дорожа семьей, достатком и счастьем. Видя все в мелочах и деталях, Иоанн вместе с тем как бы держал на себе весь размах тогдашних событий, включавших и подготовку ратников, и их «золотое» одеяние, и отбор вельможных жен, вдов и девиц, для которых тоже нужно было пошить наряды — «летники золотые», и строительство судов (стругов) в Коломне, откуда по Оке, а затем по Волге посольство за шесть недель должно было спуститься к Астрахани. Самодержец поднял и задействовал, как сказали бы мы теперь, все, что только можно было поднять и задействовать, стучали топоры, до света лучин не разгибали спин оружейники и швеи; Россия, словно вострепнувшись, готовилась к каким-то будто великим торжествам, хотя они и заключали всего лишь предстоявшее венчание Иоанна; но, обходя теперь воображением весь этот труд, он видел перед собой лишь то, что явилось его результатом, когда, прибыв в Коломну, устроил смотр этому своему столь необычному посольству.

XXV

Пешие и конные ратники, предводительствуемые воєводами, и вся женская свита — счастливицы, сумевшие пройти царский отбор, затемно еще были выведены за город и построены в колонну в том порядке, в каком затем предстояло им вступить в Астрахань. Возбужденные горожане — и приездом царя, и сим необычным зрелищем, какое готовилось развернуться на их глазах, — тоже затемно почти высыпали на улицы и запрудили площадь, шумно и не без остроумия пытаясь дать свое толкование происходившему. На реке, приткнувшись к берегу, стояли на приколах

струи, готовые принять и ратников, и вельможных жен, вдов и девиц. Почти не спавший ночь Иоанн завтракал после заутрени в кругу своих приближенных, среди которых были и Басмановы отец с сыном, и князь Вяземский, и Грязной, и Малюта Скуратов-Бельский, набиравший силы и лютоности. С восходом солнца вся сияющая, словно иконостас, нарядами, доспехами и «златом» колонна, двинувшись, начала втягиваться в город. Она должна была, пройдя через площадь, спуститься к судам и, не задерживаясь, погрузиться на них. В центре площади, перед собором, ожидал колонну (позавтракавший уже) Иоанн со святой и духовенством, коему надлежало освятить посольство и дать ему свое благословение. Иоанн был на коне, как и большинство из его свиты, и трудно сказать, беспокойство ли самодержца, чувствовавшего себя в роли жениха, передавалось коню, перебиравшему ногами и не желавшему стоять, а желавшему двигаться, или, напротив, беспокойство коня передавалось Иоанну и побуждало его к молодцеватости, положенной (в такие минуты!) жениху, или, может, и то и другое вместе, и само утро, наполненное светом, и свежестью, и предчувствием счастливых перемен, но так ли, иначе ли, а вид царя был необычен, прекрасен и внушал изумление. «Царь-то наш, царь, батюшки!» — раздавалось в толпе. Иоанном и впрямь можно было бы только любоваться, если бы не сознание дел — самодержавных, творившихся им. Но народ тем и велик, что незлобив и незлопамятен, и сиюминутное впечатление обычно оказывается для него главным; чуть притихнув в ожидании, он готов был к восторгу и ликованию (как, впрочем, происходит и сегодня — в массе своей), не задумываясь ни о сути, ни о последствиях совершавшегося. Но и мысли и чувства Иоанна, все его состояние, выраженное в горделивой, жениховской осанке, может быть, за малым исключением, едва ли возвышались над толпой; сиюминутное брало верх и над ним, и он не мог удержаться от восторга, охватывавшего его.

Колонна между тем приближалась к площади, первые шеренги ее вот-вот должны были появиться перед Иоанном, и в самый тот миг, когда они появились, когда величественная панорама всадников, бряцавших оружием и сверкавших позолотой шлемов и кольчуг,

ратников пеших, столь же внушительно отягченных доспехами, сколь и разодетых, и женщин в «летниках золотых» с цветами и лентами, — когда панорама сего неповторимого шествия, словно раздвигавшего перед собой лучи восходящего солнца, открылась Иоанну, все как будто замерло, застыло и, запечатлевшись в памяти, воспроизводилось теперь, когда он спешно, в повозке, возвращался в Москву; воспроизводилось со всеми мыслимыми и немыслимыми подробностями, будоража чувства и ум. Еще не видя невесты и лишь по описаниям Шиг-Алея представляя ее себе — «лепоту лица ея» и «лепоту возраста ея», он создавал уже для нее ту атмосферу величия, в какой только и пристойно было пребывание царицы. Ему казалось (как это, впрочем, кажется нам и теперь), что чем щедрее озолотит он будущую свою супругу, чем обильнее бросит ей к ногам достатка и знатности, тем объемнее все вернется к нему уютом, признанием и нежностью; он, в сущности, не сознавая того, уже в эти начальные минуты любил не будущую свою супругу, царицу Марию, не безвестную ему еще, но уже дорогую Кученей, а всего лишь был в плену тех усилий (и затрат, разумеется), какие вкладывал в нее теперь и какие, если судить по этим усилиям (и затратам!), не могли не обернуться для него благополучием и счастьем.

Говорят, что только общее видение, только последовательное соединение всех деталей того или иного события позволяют составить целостное представление о нем. Для Иоанна же целостное заключалось в ином. Он фиксировал в воображении лишь узловые моменты, останавливаясь на них и вникая в них, они давали ему и определенный настрой, и возбуждали мысли, и, соединяя ожидавшееся с настоящим, вызывали то новое и неприятное чувство — горечи и тошноты, как после осознания обмана, которое он более всего не хотел, чтобы оно обосновалось в его душе (по отношению к Марии) и терзало его. Картину шествия в Коломне он мысленно переносил на Астрахань, где все это должно было повториться с еще большим размахом и величием; к воеводам и ратникам московским, к вельможным женам, девицам и вдовам в «летниках золотых» присоединилось еще почти двадцатитысячное войско Шиг-Алея со стрельцами и пушками, и, как было условлено, все это необычное и по-своему

знаменитое Иоанново посольство, выстроившись в полночь за городской стеной, на рассвете, с первыми лучами восходящего солнца вступило в город. Иоанн не видел этого зрелища; но он вполне представлял его, соотнося весь этот размах со своим чувством к Марии, и, как в продолжение (или взвинчивание) этого чувства, вновь и вновь мысленно возвращался к тому посланию, какое, едва суда с посольством отплыли от Коломны, было направлено им в Казань. Ссылаясь на благословение митрополита Макария, он просил архиепископа казанского Гурия окрестить Кученей, будущую российскую царицу, и наречь ее именем Мария. «Купель же избери пространную, — писал он, — или повели сделать вскоре древодельцам. А крести ея за подсолнечником со всем освященным собором... Лепоты же и доброты ея телесные да не даси в видение многим!» Как и тогда, так и теперь эти последние вписанные слова особенно волновали Иоанна. Никто, кроме него, не должен был видеть ее телесной красоты, ее стройного тонкого девичьего стана; еще не прибывшая в Москву и не обвенчавшаяся с ним, не ставшая женой, она представлялась уже ему безраздельной собственностью, и, как и в молодости, перед первым своим супружеством, когда он выбрал Анастасию, все до клеточки трепетало в нем любовью и ревностью; и эти всегда сопутствующие (в каждом человеке) два чувства, два исключаящих друг друга и в то же время единых по необузданности своей начала, смыкаясь, борясь и терзая душу, как раз и составляли в нем теперь если не самую жизнь, то страстную и неукротимую тягу к ней. Движение внешнее: повозка, кони, топот копыт, храп, крики ездовых и свист кнута, пересекающего воздух, и движение душевное — все сливалось в нем в единый, неделимый мир, в котором надо было выбирать ориентиры и утверждаться и как монарху, и как человеку, и, может быть, хоть в эти мунуты (льщу надеждой себя), минуты искренних душевных прояснений, являлись к нему проблески понимания, что если столь трудна для монарха, то сколь же непосильна (в устройстве благополучия) должна быть жизнь у простых людей.

Прибыв в Москву, Иоанн отказался принять митрополита Макария со святителями, пришедшими утешить его. Он удалился в палаты и до темноты проси-

дел в них один, продолжая, видимо, мучиться в раздумьях и поисках, затем велел зажечь свечи в фамильной церкви и, опустившись на колени перед алтарем и иконостасом, усердно, до изнеможения молился, прося у Всевышнего снисхождения, наставлений и крепости.

XXVI

На следующий день, утром, митрополит и святители вновь явились к нему. Впустив на сей раз и выслушав их, но ничего не сказав в ответ, а только мрачно и отчужденно, как он умел, оглядев их, Иоанн велел затем снарядить людей и подводы за царицей и покойником сыном и в ожидании, пока они придут, — как и накануне, затворился в палатах, чтобы, по версии современников его, предаться уединению и молитвам в той горести, какая постигла его (и державу, как надо было полагать, потому что жизнь монарха и державы отождествлялись, то есть не могли не отождествляться не только самим Иоанном, но и духовенством, боярами и народом), или чтобы, как полагаем уже мы, вглядываясь со своих вершин в отдаленное прошлое, в уединении завершить ту тяжелейшую работу души, которая началась в дороге и продолжала, несмотря на молитвы у алтаря, подавлять вопросы бытия, неразрешимость сомнений и неуловимостью истин. Он сознавал лишь, что призван повелевать жизнью и миром (иначе какой же тогда смысл в понятиях «царь» и «самодержец?»); но и жизнь, и мир, он видел, не во всем повиновались ему; желания и воля то и дело наталкивались на сопротивление; от чего оно происходило, Иоанн не мог уяснить и ожесточался в неприимности и бессилии. Он надеялся на согласие и счастье с Марией и чувствовал силы и желание любить ее, но его словно ударяли по рукам и отнимали самую возможность проявления благородства и человечности; он ухватился было, как за надежду, за сына, соединив торжество появления его с торжеством взятия Полоцка; но и здесь — кто-то будто уже стоял за спиной с траурным покрывалом. Он переносил этот страшный для себя вывод с дел житейских на дела державные и находил, что и тут все для него повторялось с той же последовательностью, когда и очевидно,

и неуловимо ни в корнях, то есть причинах или истоках, ни в персонах, прикрывавшихся заботами об отечестве и народе. «Что даровано Богом мне — народ и отечество, — разве может занимать рабов моих? Лишь безвольем и слабостью я даю им право преступать то, что отроду неизменно и свято!» Ему казалось неестественным, что всякое его слово должно обсуждаться среди думных бояр, а желания согласовываться с Первосвястителем и духовенством; он спрашивал себя: «Достоин ли подобное самодержца?» — и отвечал, что нет, что все, что движет им, есть воля Божья и что потому в делах и поступках своих он подотчетен только Богу. Но как было воплотить это в жизнь? Идея, даже осознанная, он понимал, остается лишь благим намерением, если она не подкреплена делом, и ему впервые (в эти часы уединения и отягченных раздумий) пришла мысль, что все упирается в уклад жизни, который устарел и не соответствует нынешнему соотношению сил, когда есть самодержец, его воля и есть все остальное, должное подчиняться этой воле; да, да, пришла именно эта мысль о переустройстве устоявшихся общественных связей и оттеснении народа и бояр от механизма государственной власти. Ключи должны быть у ключника, а не ходить по рукам, как панельная девка, потерявшая себя и не умеющая остановиться; должна быть система, строго определяющая, кто есть кто, и ее элементы, то есть изначально: деление общества на опричнину и земство, что будет положено в ее основание (и с помощью чего народ да и боярство, разноликое и влиятельное, будут окончательно отчуждены от власти), — элементы этой системы, которая затем, совершенствуясь и научившись самовоспроизводить себя, мертвою хваткой вцепится в державу и будет из столетия в столетие экономически и нравственно удушать ее, начали появляться и обрисовываться в сознании Иоанна. Но он еще не понимал, что являлось ему, какую страшную участь уготовливал он своему отечеству и народу; чувствуя только, что открывалось нечто великое, что должно вознести его, он торопил мысли, сбивался и негодовал; и если верно выражение, что все великое всегда сопряжено с мужеством и решительностью, то как раз этого и недоставало теперь Иоанну. Самолюбивый, жестокий и трусливый, он чувствовал себя как бы

между двумя готовыми опалить его огнями, глаза его были округлены, он смотрел с ненавистью на все, что попадалось, и в этом состоянии необузданности и застал его духовник, осмелившийся ввечеру заглянуть к нему.

Духовник был затем отдален от царя и заточен в обители — безвестной, глухой, забытой даже, может быть, самим Богом; он был прикован цепями к стене в келье, и у него был отрезан язык, потому что власти не терпят свидетелей своих слабостей. И тут Иоанн не являлся исключением. Но, как бы там ни было, появление духовника словно бы отрезвило царя, он вновь до полуночи стоял на коленях перед алтарем и молился, а на другой день, когда вышел из дворца, чтобы встретить покойного царевича и царицу, казался кротким и умиротворенным. Следы мученических раздумий на лице да и во всем облике говорили лишь о том, насколько он тяжело перенес смерть младенца-царевича, то есть воспринимались — и близкими, и народом — совсем по-иному и возвеличивали его. Они выказывали в нем ту человечность, какой, в сущности, даже намеком не гнездились в его душе, и, то ли сознавая сию ложность (насколько можно использовать ее), то ли интуитивно, лишь по инерции, так как все равно не в силах был ничего изменить, он, словно нечто драгоценное, нес этот крест мученичества на себе, лояя сострадание на лицах духовенства, бояр и принимая это сострадание и успокаиваясь им.

Отпевать покойного царевича он велел в той же церкви на Арбате, в какой всего лишь пять недель назад крестили его. Тогда, взяв младенца на руки — в воинских доспехах и пыльный еще с дороги, Иоанн нес его при стечении народа в Кремль; теперь же — понуро, в трауре, следовал за гробиком, который несли на плечах придворные вольможи и новоявленные (по царице) родственники, участники похода на Полоцк, и толпы народа, того самого, что только что, казалось, приветствовал царя-победителя и младенца-наследника, желая им долгие и славные лета, — толпы, грудясь и образуя коридор, молчаливо, со склоненными головами встречали и провожали шествие. То, что Иоанн, ликуя в торжественной приподнятости, прижимал к груди не просто как комочек рожденной им жизни, но как залог счастья, которое, разрастаясь, должно было

заполнить собой все, что в обозримом и необозримом пространстве окружало его, он возвращал теперь обратно, как не свое, чужое, ложно взятое им, и осознание этого минутами вновь приводило его в бешенство; он опускал лицо, чтобы не выдать гнева (покойник, пусть и младенец, но сдерживал его), и лишь время от времени искоса, из-под густых (тогда еще!), наплывавших бровей поглядывал на царицу, которую, едва живую, вели и поддерживали со всех сторон.

Во все время панихиды, которую вел Первосвяитель митрополит Макарий, совершенно уже немощный и похожий на покойника серостью своего утомленного старческого лица и впалостью глаз (обрядовая одежда свисала на нем, словно надетая на жердь, и только массивный, в золоте и камнях крест, лежавший на груди, продолжал еще говорить о некоем величии духа), Иоанн вместе с царицей стоял перед гробом, в котором, обложенное цветами и хвоей, лежало тело младенца-царевича. В скрещенных на детской грудке его руках, в пальчиках, опять, как и в обители, когда Иоанн впервые утром, войдя в палаты настоятеля, увидел сына мертвым, была зажата свеча; она казалась непомерной и относительно рук, пальчиков, да и всего тельца, была зажжена, и от мигающего язычка пламени словно прокатывались по мертвому младенческому лицу светлые тени и оживляли его. Явление это казалось странным Иоанну и возбуждало его. Он смотрел неотрывно на розово-разгоравшиеся будто бы щеки сына (что не было, разумеется, галлюцинацией, а возникало от света свечи и густо-малинового бархата, каймой обрамлявшего гроб), и впечатление это — впечатление какого-то затянувшегося обмана, с детства и во всем будто преследовавшего Иоанна, обретало (более, может быть, чем когда-либо) и форму, и смысл и подвигало к новой и страшной волне догадок и действий. Смирившись с потерей сына и опустошившись (на сей счет) душой, он теперь, здесь, у гроба, наполнялся той необузданной силой, которая, разжавшись затем, как пружина, ввергнет его и окружавших в непредсказуемую и жесточайшую трагедию мстительных убийств и казней; но — он еще держался и не выказывал себя ни на похоронах, проведенных с великокняжескими почестями, ни на поминках, на которые собраны были духовенство, князья и бояре без раз-

деления еще на своих и чужих; однако более близкие к Иоанну и хорошо знавшие его все же не могли не заметить произошедших в нем перемен и с тяжелыми предчувствиями расходились и разъезжались из царских палат.

XXVII

После поминок еще ни минуты не остававшийся во все эти дни наедине с царицей и чувствовавший, что надо зайти к ней (хотя бы извиниться за тот свой поступок, когда, бросив ее с умершим сыном в обители на попечение настоятелей и монахов, спешно помчался в Москву), Иоанн направился в женскую половину дворца, в покои, где, приготовившаяся уже ко сну, лежала Мария на высокой, в перинах и с пологом, кровати; полог с одной стороны не был еще опущен, и при свете горевших свечей было хорошо видно ее смуглое, измятое бессонницей и блестящее бороздками от не просохших еще слез лицо, и видны были руки, тонкие и тоже смуглые, покоившиеся поверх одеяла. Она расплетала на ночь свои густые черные волосы, и они словно бы переливающимся темным овалом обрамляли теперь ее лицо, подчеркивая крахмальную белизну подушек.

Иоанн не раз и прежде, приходя к ней, заставлял ее уже отходящей ко сну, и ничего неожиданного и удивительного не было в этой открывшейся ему знакомой картине; все располагалось на тех же местах и в том же порядке, в каком пребывало всегда, и в сем привычном сочетании вещей и красок — расцветки ковра, росписей, мебели, позолоты и бархата — так же неотразимо будто (в своей восточной неповторимости) смотрелась Мария. Но Иоанн — Иоанн был другим после мучительных дум, душевных терзаний и догадок; так же, как он по-иному смотрел сейчас на мир и воспринимал его, он по-иному увидел и спальню жены да и саму Марию, к которой хотя и казалось ему, что определился в чувствах, но (чисто в человеческом уже плане) продолжал жалеть как женщину, связанную еще семейными узами с ним. Ему даже вдруг показалось, что он будто вошел совсем в иной мир, чем входил прежде, и пастельные тона, в коих была расписана

спальня и какие всегда раньше отдавали лишь теплотой и уютом, выглядели теперь бледными, безликими, лишенными жизни и наводящими тоску. Безликими были и шторы, и занавески, и полог, и белесый ковер, специально подбирившийся для спальни, и иссиня-белая, сработанная европейскими краснодеревщиками мебель, словно специально поставленная сюда, чтобы собирать на себя и излучать холод; и, как венчающее все — тонкое, болезненно-худое, хрупкое естество царицы. Возле кровати, на столике, в трехчашем бронзовом подсвечнике горели свечи. Вздрагивающий свет их падал на ковер, стены, кровать, лицо и руки Марии, розоватыми бликами разбегаясь и затухая по углам, и хотя, повторяюсь, ничего необычного не было и не могло быть в сем явлении и, находишь Иоанн в другом настроении, он не придавал бы этому никакого значения; но ложной своей живостью блики сейчас же словно бы вернули его к минутам, когда он стоял в церкви перед гробиком и смотрел на крохотную и розово оживляющуюся мертвую головку царевича; то же впечатление, тот же обман — вместо жизни лишь ее видимость, без осознания чувств, желаний, страстей, мыслей; но Иоанн не устраивал обман, он жаждал жизни, и, как на нечто стоящее на пути к достижению этой цели и мешавшее ему, готов был весь свой накопившийся гнев обрушить на Марию. Он впервые с нескрываемой ненавистью, даже с бешенством посмотрел на нее, выжидая, чтобы она дала повод, и, может быть, если бы она пошевелилась или произнесла слово, произошло бы непоправимое; но царица лежала неподвижно. глаза ее были прикрыты. У нее, видимо, имелось свое основание — ни о чем не просить мужа, и Иоанн, холодея от невозможности выплеснуть гнев, подвинулся ближе к кровати и сел на приступку у подножия ее, отвернувшись от царицы, сгорбившись не по годам и глядя перед собой в пол.

У каждого человека хоть раз в жизни, но бывает минута растерянности; бывает такая минута и у властителей, и чаще не тогда, когда нужно решать судьбу народа и государства; жизнь своя и удовлетворение ею являлись и для Иоанна главным мерилем бытия, и страдания миллионов не могли замечаться им так, как замечались неудобства свои, с какими вдруг, как теперь, приходилось сталкиваться. В сознании его, когда

он только входил к царице, было все ясно, и он знал, что и как скажет ей; в основе этого душевного движения лежало то простое человеческое чувство, вернее, та простая мысль (называемая в народе еще мудростью), которая указывала, что следует не усложнять обстоятельства, а упрощать их, что мир даже худой лучше ссоры и что в конце концов смерть первенца, как показала жизнь с Анастасией, еще не может ничего означать. Иоанн силился вернуться к этой изначальной мысли, но вместо нее, как оно и бывает, когда желания не состыковываются с возможностями, в воображении возникала совсем иная картина и уносила к тем счастливым мгновеньям, когда после всех шумных и утомивших его и Марию свадебных торжеств их наконец привели сюда, в опочивальню, и оставили одних. Иоанн не снимал с нее одежд, нет, ему и теперь казалось, что он даже не заметил, как все совершилось и по какому волшебству Мария очутилась в постели — с распущенными, как и сейчас, черными по подушке волосами, словно подчеркивавшими своим переливающимся овалом смуглую бледность ее испуганно наполненного ожиданием лица; но он ясно помнил, как сидел вот так же, на приступке у подножия кровати, сняв с себя херувимскую и венчальную золотые цепи и теребя их, — да, сидел именно так, но с иными, счастливыми надеждами и думами, обретая (уже в самые те минуты предвкушения) столь важное для него после пиров, развратных попок и походов семейное пристанище. Он даже, может, и не думал тогда, а просто был убежден, что нет, не оставлен Божьей милостью, что Господь не отвернулся от него и что дверь для очищения, и прежде всего очищения нравственного, вновь и щедро распахнута перед ним. Готовясь войти в эту дверь, он был полон желания оправдать возлагавшиеся на него (Богом, разумеется) надежды и с чувством исполненного долга жил затем с Марией и оберегал ее; но за спиной, на кровати, лежала теперь как будто совсем другая женщина, которая не только не принесла, как ожидал Иоанн, уюта ему и счастья, но лишь постоянно добавляла хлопот и отвлекала от государственных дел. Вырвавшись из зависимости одной — Адашева и Сильвестра, как было при Анастасии, Иоанн чувствовал, что попадал в другую — от родственников царицы и бояр, примыкавших к ним, и

против этого нового ярма, уготованного ему, все монаршее самолюбие поднималось и протестовало в нем. Он не оборачивался и не смотрел на Марию. Воспоминания не пробудили в нем интереса к ней. Его обдавало холодком от одной только возможности соединиться с ней, и, как и в обители, когда увидел гроб с тельцем младенца-царевича, — «Да, немощная плоть рождается лишь от немощной плоти!» — резко поднялся и, ничего не произнося, вышел из спальни.

XXVIII

Царица недомогала более недели, оставалась в палатах и общалась лишь с лекарем — то ли немцем, то ли греком, то есть иностранцем, как и полагалось тогда (да и теперь!) на Руси, где принято считать, что в своем отечестве пророков нет и быть не может, — да с теми вельможными дамами и девицами, какие были приставлены к ней; и во все эти дни ее болезни Иоанн уже не уединялся, не бездействовал, отстранившись от государственных нужд, людей и событий; он принимал послов, воевод, провел несколько важных бесед с митрополитом Макарием относительно учреждения Полоцкой Архиепископии «в честь сего древняго Княжества и тамошнего знаменитого храма Софийского», как это теперь подавалось им (и что казалось нужным предпринять после разорения и разграбления города), встречался со многими другими духовными лицами, присматриваясь, кем бы из них можно было заменить дышавшего уже на ладан Макария. Именно тогда он обратил внимание на нового своего духовника, бывшего инока Чудова монастыря, а затем протоиерея Благовещенского Кремлевского собора Афанасия. Иоанновы любимцы: отец и сын Басмановы, Вяземский, Салтыков, Чеботов, Грязной, Малюта Скуратов-Бельский, от которых не ускользнуло да и не могло ускользнуть его новое отношение к царице, означившееся отчуждением и холодностью, попытались было опять втянуть его в развратные пиры и увеселения; привыкшие удовлетворяться в скоморошских забавах, они не могли понять бывшего соучастника их веселий и, выходя с отказом от Иоанна, искренне недоумевали и пожимали плечами. Жизнь по-разному оборачивает-

ся к людям, и хотя звездный час царских любимчиков был еще впереди, как и час расплаты за содеянное — клевету, интриги, оговоры и вседозволенность, — но если цель придворных всегда есть только увеселения и ловля чинов, богатства и званий, то и творившееся при дворе Иоанна было всего лишь естественным ходом событий. Неестественным, может быть, оставался лишь сам Иоанн. Поглощенный как будто заботами внешними, он вместе с тем не прерывал тех глубинных раздумий, которые и привели его не только к осознанию (к чему приходили и до него) царской власти, но и к пониманию необходимости ее теоретического, как мы сказали бы сейчас, обоснования. Тогда как дед и отец его — Великие Князья Государи Иван III и Василий III — старались укрепить свое влияние и власть лишь отдельными, разрозненными, хотя и крупными мерами, Иоанн приходил к мысли, что должна быть воздвигнута некая единая, охватывающая всех и все система управления, и упоенный этой открывавшейся возможностью, которую следовало лишь уточнить, разработать в деталях и провести в жизнь, — упоенный этой идеей переустройства и обновления, он уже не думал о Марии. Все, что было связано с ней, вернее, со смертью сына и теми последующими событиями и переживаниями, мучительно охватившими Иоанна и вызвавшими гнев, — все казалось отдаленным и мелочным в сравнении с этим новым, что занимало теперь. Он даже удивился, когда ему сказали, что царица поправилась, и с минуту стоял в недоумении, вспоминая, как о чем-то далеком, смутном, о своих отношениях с ней.

Царица была на молитве, и он, стараясь не прервать ее общения с Богом, тихо, почти неслышно прошел в знакомую до мелочей фамильную при дворе церковь и встал рядом с ней. Мария чуть обернулась к нему своим красивым, смуглым, успевшим слегка посвежеть за минувшие дни лицом и, не давая как следует разглядеть себя, вновь обратилась к молитве. Губы ее беззвучно зашевелились, устремленные к Богу и Пресвятой Богородице. Перед иконой Богородицы, алтарем и иконостасом горели свечи; они были уже на исходе, и все небольшое, стиснутое глухими стенами пространство церкви было заполнено запахом растопленного воска и копотью. От всколыхнувшегося с при-

ходом Иоанна воздуха язычки пламени затрепыхали, и все только что казавшееся неподвижным — лики святых в окладах и ризах, угодники по стенам да и сама Мария в малиновом летнике, в каком Иоанн более всего любил видеть ее, и в накинутаго на голову и плечи кружевном черном платке, — все вдруг словно бы ожило, приветствуя появление царя. Иоанн даже вздрогнул от неожиданности. Ему показалось, что то, что давно уже неприятно преследовало его, опять, и столь же неприятно растревоживая память, проявилось перед ним. Но оттого, что он был теперь в другом настроении, и не призрачные, а реальные дела и заботы жизни беспокоили и отвлекали его, вернее, потому, что чувствовал себя в борении, в деятельности, как человек противостоящий то ли напору воды, то ли ветра (напору державы, как можно было бы сказать точнее, какую управлял и от которой домогался безоглядного, безропотного и всеохватного подчинения), — Иоанн не поморщился, не отвернулся, не вспыхнул гневом, что опять, дескать, вместо жизни подана лишь ее иллюзорная видимость; мелькание язычков и бликов передалось ему, и охваченный состоянием торжества и радости, он совсем по-иному посмотрел на Марию. Она показалась ему теперь полной сил, красоты и молодости, то есть почти такой же, какой накануне свадьбы он впервые увидел ее, и вынесенный им неделю назад приговор ей, решительный и скорый, — приговор тот уже не имел смысла; он не то чтобы отменялся по воле Иоанна, но смягчался всей той возбужденно-ободряющей картиной жизни, которая, развернувшись, открылась перед ним. Просветленным казалось лицо царицы, просветленно смотрели на Иоанна лики угодников с иконостаса и стен, и во всем этом он увидел, или, вернее, почувствовал то хорошее предзнаменование; какое важно было ему увидеть в преддверии задуманных им державных перемен.

Но Мария и в самом деле в эти минуты была прекрасна. Хотя трудно поверить, чтобы она могла столь скоротечно смириться с горем, так тяжело перенесенным ею, но в то же время нельзя было сказать, глядя на нее, чтобы она продолжала страдать, вымучивая, как это бывает с женщинами, и себя, и ближних; боль утраты, которая еще оставалась в ней, была перенесена в глубь души и захоронена там, словно

преданная земле, и это-то чувство, эту готовность снять ношу не только с себя, но и с окружающих и уловил в ней Иоанн. В простонародье по сему поводу существует изречение, что жизнь со смертью ближнего не обрывается и что надо продолжать ее, то есть входить в обычную колею дел и забот, приносящих хлеб насущный, и так как Иоанн был уже более чем поглощен своими новыми державными замыслами, то и эта, не высказанная, а лишь переданная всем видом и состоянием души готовность если не помочь, то хотя бы не помешать ему, была не то чтобы осознана и принята, но принята с той ответной благодарностью, которую он столь же молчаливо, как это и происходит между родными, старался передать ей. Он любовался Марией, ее прической, нарядом, явно говорившим, что она ждала его — именно здесь и именно в этот час и минуту (хотя, судя по дотлевавшим свечам, вряд ли уже верила, что придет); любовался ее размягченным, с тонкими правильными чертами лицом и всей ее милой, как ему показалось, головкой, которую готов был теперь же, не медля ни секунды, прижать к груди, погладить и приласкать; но лики святых, устремленные на Иоанна, сдерживали его, и он продолжал лишь смотреть на Марию и находить в ней все новые и новые прелести, прежде даже как будто не замечавшиеся им. Ему казалось, что все это происходило в ней от молитвы, от общения с Богом, которое он не хотел прерывать; и он сам как будто наполнялся той же добротой, что и, обычно холодное к нему, сердце Марии. В ней, может быть, как никогда ясно проглядывало теперь не то царственное, что дается происхождением и говорит более о высокомерии, чем о величии и достоинстве, а иное, что дается лишь состоянием души, приподнимая простое до великого и опускающая великое до земли.

На следующий день в церквах и соборах прошли торжественные службы в честь выздоровления царицы, и растревоженный призывным, переливным звоном колоколов мастеровой и торговый московский люд высыпал на улицы, облепив кабаки и всякие иные питейные заведения, надеясь на царскую, как это случалось не раз, щедрость. В тронном зале дворца были собраны бояре, духовенство, но не для пиршества и увеселений, как следовало бы ожидать, нет, а для

разговора и совета, какой самодержец российский будто бы хотел иметь с ними. Бояре расселись вдоль стен на скамьях, обитых кожей и бархатом, — каждый в соответствии со своим возрастом, положением при дворе и значимостью, выставив перед собой поверх боярских одежд, словно напоказ, седые расчесанные бороды. Полагая многословие пустобрехством, а помалкивание достоинством (что и теперь достаточно читится за кремлевскими стенами, да и не только за ними), — и бояре, и духовенство лишь изредка перебрасывались глубокомысленными (для них) фразами; в их сосредоточенных лицах нельзя было прочесть ничего, они умели скрывать мысли и, может быть, оттого и прозывались думными, что размышляли подолгу и молча, прежде чем произнести слово. Что же касается самих соображений, то, видимо, они все больше вращались вокруг одного и того же — чего желал бы и чего не желал услышать от них самодержец. В эту-то атмосферу истуканства и тугодумия, какая только и возможна была тогда при дворе, где каждый следил за каждым и боялся каждого, а все вместе боялись равно как гнева, так и милости царской, за которую, впрочем (именно за то, что был обласкан), приходилось затем расплачиваться жизнью, Иоанн и решил привести Марию, чтобы показать всем свое неизменное отношение к ней и пресечь таким образом разные толки, уже начавшие распространяться по этому поводу, и сделать ее соучастницей своего торжества, так как полагал именно теперь, в этот день, объявить о своих намерениях (относительно переустройства общества и укрепления единовластия), в коих хотя и не было еще полной ясности, но виделась та грандиозность, о которой трудно было не сказать.

XXIX

Принято считать, что Иоанн был не только или, точнее, не столько истязателем и губителем бояр и народа, сколько крупнейшим государственным деятелем, завершившим процесс образования Российской державы. Но, чтобы согласиться или не согласиться с подобным заверением, следует прежде всего уяснить, что вбирает в себя понятие «государство», а вместе с

ним и «государственный деятель», тем более «крупнейший», отдающий будто бы жизнь этому важному на земле делу, и не заложена ли здесь некая самоцель династических да и не династических (по нынешним временам), но вкусивших от сладости власти правителей, лишь в силу обстоятельств вынужденных поддерживать и укреплять то, что является источником их благополучия, кормит, одевает, обувает, осыпает роскошью и готово удовлетворить любое их амбициозное желание и что вбирает в себя понятие «народ», какова здесь цель или самоцель и насколько желателен, а вернее, необходим народу этот возводящийся над ним государственный аппарат насилия и подавления свобод, аппарат, который разве что только обирает и кормится за его счет и который, чем совершенней он создан (именно с точки зрения обирания и насилия), тем славнее и выше почитается в истории личность такого преобразователя. Справедливо ли это или все же, держась крестьянской рассудительности, вернее было бы сказать, что не тот деятель, который, занимаясь укреплением государства, видит в этом лишь самоцель, то есть, обрастая славою, укрепляется сам, а тот, что дает жить народу, соблюдая его интересы — хоть как-то, хоть на треть, пусть даже на самую малость, — может признаваться исторической личностью? Присоединение Казанского и Астраханского царств, если бы оно происходило бескровно, на добровольных, как мы охарактеризовали бы теперь, началах (коль уж в этом была необходимость и неизбежно надо было объединиться), то есть без погромов, разорений, казней, убийств (вина, разумеется, ложится на обе стороны, одинаково возглавлявшиеся амбициозными и даже сверхамбициозными правителями), естественно, можно было бы говорить о государственной (с учетом интересов простых людей) мудрости Иоанна. Стравить народы, свести их в смертельной схватке — большого ума не требуется; но решить спор мирно, полюбовно — тут необходим действительно государственный ум, каковой, к сожалению, является редко и не всегда, в силу именно своей мудрости и скромности, замечается летописцами и остается в веках. Я вовсе не хочу преподать здесь урок, тем более что вся сложность того времени многократно изложена в трудах ученых; без единения не выстоять бы тогда народу,

равно как и без своей государственности; но — речь идет о другом: действительно ли Иоанн отстаивал интересы державы или все совершавшееся им совершалось лишь из потребностей личных? Или же, что более вероятно, державное и личное настолько сплелись в нем (как у главы семьи, к примеру, или хозяина дома), что не только он сам, но и окружавшие вряд ли смогли бы провести разделительную черту. Так при чем же тут государственный ум, если из поля зрения его выпадает главное — народ? Завоевание других царств, присоединение новых земель, выходы к морю, укрепляющие могущество державы, да не есть ли это прежде всего укрепление трона — с той внешней стороны, той международной престижности, какая болезненнее всего воспринимается между властителями? Притеснением же подчиненных и ограблением их в пользу казны укрепляется так называемое внутридержавное стержневое могущество власти, и это-то второе, то есть дела внутридержавные, соединенные, как в острие пирамиды, в личной заинтересованности Иоанна, как раз и занимали его теперь, и со страшной этой мыслью всеобщего и полного почти закабаления, воспринимавшегося им как государственные необходимость и благо, он и сидел перед духовенством и боярами, неторопливо обдумывая с чего начать с ними разговор.

Справа и слева от него, как бы обрамляя трон своей малиново-позолоченной, в мехах, пестротой располагались царица, духовенство с митрополитом Макарием, черкесские и иные князья и любимчики, приближенные на этот период Иоанном ко двору. Все в ожидании смотрели на самодержца, Иоанн словно бы ответно смотрел на них, выдержкой и молчанием лишь подогревая страсти. Кроме митрополита Макария, никто не был посвящен в его замыслы, и остававшиеся в неведении бояре и духовенство терялись в догадках и не знали, что предположить. В напряженности всегда обостряются слух и зрение, и от бояр и духовенства не ускользнуло то странное беспокойство, с каким митрополит Макарий оглядывался то на царя, то на царицу, то на всех остальных, сидевших перед тронном, вдоль стен да и у самого трона. Создавалось впечатление, будто бы что-то черное пролегло между царем и митрополитом и вот-вот должно было обнаружиться и поразить всех.

Но что? Невозмутимость царя только прибавляла загадочности, а суетливость всегда прежде уравновешенного Первосвященника усиливала ее.

Приглашенный накануне этого дня Иоанном для беседы митрополит Макарий ясно вынес из нее лишь одно, что царь решил наложить кабалу на всех и все в державе (на том будто бы основании, что Богом данные ему в подчинение есть все рабы и должны быть одинаково равны перед троном) и что не только вельможи и народ, и без того бесправный и безголосый, но и духовенство отныне будут притеснены и лишены свободы заступничества. Речь пока не шла о разделении страны на земство и опричнину, да и само слово «опричнина» не было еще знакомо Иоанну и не произносилось им; но и этого, что он предложил, было достаточно для митрополита Макария, чтобы понять, какое будущее уготовлялось державе.

Должный благословить Иоанна в его замыслах, Макарий не сделал этого; он понимал по своему болезненному состоянию и немощности, что жизнь его подвигалась к концу, и не хотел быть проклятым ни ныне, ни в будущих поколениях. Опираясь на примеры из священных книг, как и было принято тогда (и что использовал затем сам Иоанн в переписке с Курбским), он лишь посмел посоветовать царю не спешить и прежде осмыслить все, чтобы не произвести какой-либо смуты — в народе ли или среди бояр, и, оставив царя в недоумении, почтительно удалился к себе. Ночь провел в молитвах и думах, надеясь еще вразумить Иоанна, но ничего остановить было уже нельзя. Утром Иоанн не принял его, и вот — весь цвет духовенства и бояр, колеблясь между ожиданием то ли великого, что будет оглашено, то ли недоброго, страшного, что должно свершиться, готов был к безропотному послушанию. Митрополит Макарий более чем понимал это и, понимая, судорожно отыскивал, чем можно было бы удержать Иоанна от неразумного шага. Дорого было каждое мгновенье, и потому он метался взглядом от царицы к Иоанну и опять к царице, которая одна, как ему казалось, только и могла теперь повлиять на самодержца; и в тот самый момент, когда Иоанн готов был уже начать речь, митрополит, всплеснув руками, двинулся к царице, то ли желая от чего-то спасти, то ли заслонить ее.

— Государь, — по-церковному громко еще, но уже старчески угасающим голосом произнес он. — Государь!.. — направлением рук и всем своим порывом указывая на царицу.

Ему показалось, что Марии стало плохо, в то время как плохо стало ему самому; путаясь в широченной на нем, как на сухой жерди, церковной обрядовой одежде, он не добежал до царицы и рухнул на пол; одни, стоявшие рядом святители, кинулись поднимать его, другие — к царице, побледневшей более от испуга, чем от переутомления и слабости, к ним присоединились князья, бояре, желая каждый выказать себя перед царем, и в общей суете и суетлоке уже было трудно понять, что происходило на самом деле, кто затеял все и была ли нужда для этого. В конце концов, разобравшись, сначала отправили царицу в полубморочном состоянии в покои, затем подхватили и понесли митрополита, порывавшегося еще что-то сказать, но лишь бессильно ронявшего голову, и вслед за ними вышел Иоанн, полный недоумения и не налившегося еще гнева, готового подняться в нем. Он постоял перед царицей, вокруг которой, расталкивая всех, хлопотали жены думных бояр и лекари, затем, ничего не сказав, прошел к митрополиту, чтобы посмотреть, в каком тот состоянии, и, не произнеся ничего и здесь, в тяжелой задумчивости вернулся в зал. Бояре и духовенство — все сидели уже на местах; они встретили Иоанна так, будто были в чем-то виноваты перед ним, и, поклонившись, долго не разгибали спин; лишь когда затих шелест царской одежды и, казалось, слышно было, как дышит Иоанн, воцарившийся на троне, бояре вновь опустились на лавки, выставив поверх одежд, на груди, свои пушистые расчесанные бороды.

Минуты душевной работы не остаются в истории, в чьем бы сознании ни происходила эта работа, в сознании ли бояр, как теперь, или сознании Иоанна; но поступки, являющиеся в результате подобных усилий, — поступки способны раскрыть многое, если не все из тайны тайн человеческих переживаний и мыслей. Иоанн был в растерянности. Он опять словно бы наткнулся на нечто непреодолимое, специально уготованное ему, и опять — все связано было с царицей, от которой он ждал, что она принесет ему успех и славу, но с появлением которой только все стопорилось и руши-

лось, будто на самой этой женитьбе лежало проклятье, возведенное не столько даже Богом, сколько — недовольством бояр и духовенства, давно, тайно и преступно замысливших извести царский род. Но так как сила любви и привязанности к Марии была выше в нем, чем поднимавшиеся гнев и неприятие, и так как в столкновении этих начал верх брало первое (он все же сознавал, хотя и смутно, что она безвинна, несчастна, и жалел ее), то и недовольство и гнев невольны и все более переносились им на бояр и духовенство, на которых он угрожающе-прищуренно смотрел с трона.

Он так и не сказал им в этот день ничего, и точно так же, как, выезжая затем морозным зимним утром из Москвы (под звон колоколов и со всем своим царским скарбом), бросал вызов державе, — бросил теперь вызов им, молча удалившись из зала и оставив их в растерянности и недоумении.

XXX

Воспоминания проходят так же, как проходит жизнь, и если что и оставляют на душе, то лишь повторный след, иногда даже более глубокий, чем сама жизнь. Так было и с Иоанном, когда, покачиваясь в санях вместе с царицей, он перебирал в памяти те прошлые и важные для осмысления настоящего события, в которых — сколько же душевных сил (и впустую, как думал теперь) было потрачено им; и чем дальше обоз увозил его от столицы, чем ближе подвигался Иоанн к Коломенскому, тем расплывчатей, туманней становилось прошлое, словно бы, как и силуэты Москвы, оседавшее за горизонтом; с минуты на минуту должны были открыться впереди колокольня и купола церкви Вознесения, и в то время как он, напрягая зрение, старался увидеть эти знакомые очертания, — напрягал мысли, стараясь сосредоточиться на том новом и важном для себя, что вот-вот, как и купола, должно было итогом воспоминаний явиться ему. Он не то чтобы пересматривал свои отношения с Марией; не то чтобы, желая восстановить их, искал оправдание ее поступкам и зачерствелой уже будто к нему холодности; нет, если бы даже захотел, не смог бы изменить ничего, как нельзя на исходе лета вернуть отшумевшее

буйство трав; но в то время как, испытывая равнодушные к ней, он не оборачивался и не смотрел на царицу, вопрос, способна ли она принести ему успех и славу или только доставлять огорчения, по-прежнему оставался главным, и разница состояла лишь в том, что он не слепо уже, не на гребне чувств, а рассудительностью пытался прийти к нужному ответу. «Может, так было угодно Богу и направлялось им», — думал Иоанн, снова и снова возвращаясь к тому, как оставил царицу с умершим сыном в обители, и к своим ночным затем, в молитвах, бдениям, когда ему словно бы вдруг открылась простая, ясная (и страшная, добавим от себя) истина власти, и к событиям в тронном зале, когда то ли по вине Марии, в чем Иоанн не был уверен, то ли из-за самовольства митрополита Макария (кстати, вскоре же скончавшегося) было разрушено столь желанное торжество. Он чувствовал себя тогда оскорбленным, и только предсмертное состояние Макария помешало вылить на всех царский гнев; но теперь — теперь был доволен, даже рад, что не произошло иного, и у него появилось время для более основательного осмысления дела; именно это и представлялось ему Божьим знаком или Божьей десницей, направлявшей события, и, как только он переносил этот знак на Марию, начинал одобрительно думать о ней. Держава, Мария и он, Божий помазанник, со своим отношением к державе и к Марии, — в этом трехграннике и заключены были и вращались теперь его мысли, пока еще спокойные, убаюканные дорогой, видом заснеженного простора, ратников на конях вдоль обочин, сопровождавших обоз, и видом изморози на спине и плечах ездового, одетого в суконный зипун и подпоясанного кушаком.

Зимняя дорога редко когда вызывает к живости ума. Вокруг, сколько охватывает глаз, все белым-бело, неподвижно, стыло и мертво; лишь изредка вдруг обозначится полоса дальнего леса или сметанные рядком стога с наезженной к ним колеей и двумя-тремя санными упряжками и мужиками возле них, навьючивающими сено. Несколько ратников сейчас же направлялись к ним, чтобы узнать, что за люди и не имеют ли злого умысла (охрана всегда есть охрана и, как и теперь, не теряет бдительности), мужики же, побросав работу и опершись на воткнутые перед собой вилы, с

удивлением смотрели, как на диво, на царский обоз, длиннющим серым кнутовищем тянувшийся по дороге, а на мужиков, на ратников, пыливших снегом, и на стога оборачивался Иоанн, несколько отвлекаясь от мыслей. Коломенское было уже где-то совсем близко, за взгорьем, у реки, теперь наглухо скованной льдом. Иоанн любил бывать в Коломенском летом, но не менее любил бывать и зимой, обосновавшись в бревенчатом, не очень просторном, но хорошо протапливавшемся своем дворце, своей летней, как позднее стали называть ее, резиденции, в которой отдыхал и предавался раздумьям, на время удаляясь от дел державных, от князей, бояр, воевод и духовенства, часто до ряби в глазах утомлявших его. По складу души, характеру, задаткам и генам, какие были заложены в нем, как закладываются в каждом человеке и что делает людей людьми и объединяет вокруг общих интересов и ценностей жизни, он более тяготел к делам семейным, личным, как уже говорилось, чем к государственным, и если бы не вирус власти, которым с детства, даже, в сущности, с рождения, было уже отравлено его бытие, он мог бы стать не только примерным семьянином, предпочитающим уют домашний дворцовым церемониям, чопорности и роскоши, но и добропорядочным, отзывчивым на чужие страдания и боль гражданином отечества. Ничто так не успокаивало и не удовлетворяло его, как тихие зимние вечера в Коломенском, куда он на неделю, на две удалялся с прежней, покойной ныне женой Анастасией. Едва начинало темнеть, он входил в гостиную, выдержанную в красных тонах, и, разместившись в кресле перед камином, погружался в мир неторопливых домашних раздумий. В камине потрескивали березовые поленья, обдавая теплом; теплом обдавали хорошо протопленные кафельные печи, и, казалось, сам красный тон гостиной, зажженные вдоль стен и на столе свечи в грузных, многолапых подсвечниках, да и все, все, что наполняло ее, было начинено этой умиротворяющей теплотой. Вскоре появлялась Анастасия в сопровождении нескольких близких ей боярынь, привнося и как бы добавляя ко всему теплоту женских, материнских чувств. Она устраивалась поближе к мужу и, взяв в руки спицы или иглу, принималась вязать или вышивать. В ней тоже жила тяга к простоте и естественности, к чему

обычно тянутся все люди, в каком бы звании или чине ни пребывали и сколь ни выказывали бы внешней (и ложной) пренебрежительности к народному быту; в Анастасии Иоанна привлекало именно это, что заставляло забывать о быте царском и приобщало к вековой повседневности, и в такие минуты все вокруг обретало для него тот неповторимый (он и для всех неизбежен и неповторим) житейский смысл, в котором одном только и соединены все исцеляющие человеческую душу начала. На чаепитие, когда вносили самовар, приглашались дети: сыновья Иван и Федор и дочь Евдокия, приходил и бывший служитель придворного Благовещенского собора иерей Сильвестр, ставший главным духовником и советником Иоанна, и за разговорами, за этой домашней открытостью и непринужденностью еще более душа получала удовлетворение и жизнь обретала свой естественный смысл.

Особенное впечатление производили на Иоанна неторопливые и углубленные беседы с Сильвестром. Автор «Домостроя» (тогда он только еще работал над этим своим знаменитым трудом, ныне незаслуженно, может быть, и основательно подзабытым), человек достаточно образованный для своего времени, упоенно веривший в торжество справедливости, в то, что не на основах насилия, а на основах добра должно строиться все: и жизнь личная, семейная, и общественная, — и не только словом, но и делом старавшийся изменить ее к лучшему, автор «Домостроя» был для Иоанна одновременно и учителем, и наставником и самым благотворным образом, может быть, даже не вполне осознавая всего, влиял на самодержца. Самовар пустел, все расходились, и оставались за столом только Сильвестр и Иоанн. Они, то поочередно прохаживаясь перед столом, излагали друг другу свои воззрения на историю, на основы религии и человеческого бытия, причем больше говорил (и брал верх) Сильвестр, чем Иоанн, тогда умевший еще слушать и понимать не только себя, то переходили к камину, чтобы с новым вдохновением погрузиться в выяснение извечной, но так и остающейся, по-моему, невыясненной истины человеческого предназначения и бытия. По два, три раза заменялись в подсвечниках свечи, вычищалась из каминного очага зола и укладывались и разжигались поленья. За окном ветер наметал сугробы, трещал

мороз, и в этой непроглядной, стылой ночи, распростершись на сотни меряных и немеряных верст, лежала великая Российская держава со своими столь же считанными, сколь и несчитанными проблемами, требовавшая участия и внимания к себе; но она лишь осознавалась собеседниками как некий предмет для разговора; она не была поклажей или ношей, которую надо было взвалить на себя, и не тяготила, не сдавливала ни плечи, ни спину, ни душу, и эта-то неопределенность, когда можно высказывать самые благие пожелания и не предпринимать ничего, ни за что не братья и не отвечать, — эта-то неопределенность как раз, видимо, и нравилась Иоанну и привлекала его. Он не был в такие минуты ни царем, ни самодержцем, а лишь чувствовал себя тем живущим в достатке добропорядочным семьянином, которому отчего бы и не позволить себе пофилософствовать на отвлеченные и возвышенные темы, когда в делах — домашних, семейных — все дышит стабильностью и благополучием.

На исходе недели, иногда и раньше приезжал в Коломенское Адашев. Он не осмеливался тревожить Иоанна вечером, зная и понимая состояние царя, и появлялся у него на следующий день между завтраком и обедом — сухощавый, подтянутый, с округлою русою бородкой, светлым взглядом и светлым лицом. Он замечал недовольство Иоанна, но, так как полагал, что выше дел государственных нет и не может быть никаких недовольств и амбиций, терпеливо исполнял то, зачем приезжал. Он отрывал Иоанна от наслаждений семейной жизнью, иначе говоря, тех потребностей, которые изначально насущны для всех людей, и вовлекал, вернее, навязывал то, чему надо было отдаваться не по потребности души, а по обязанностям, словно он был не царем; не самодержцем, который только один способен знать, когда и кому что нужно, а волом, должным покорно подставлять под ярмо шею. Минутами у него возникало не просто раздражение, а прямо-таки ненависть к делам государственным; но поскольку за всяким делом всегда стоят личности, то и ненависть переносилась на эти личности, на воевод, бояр, святителей и народ, на все и вся в державе, мешавшее и не дававшее ему жить, как хотел. После отъезда Адашева он еще день, другой оставался в Коломенском. Но душевное равновесие бывало нару-

шено, он приказывал запрягать лошадей и спешно мчался в Москву в гневе на всех: Адашева, Сильвестра, жену, детей, державу.

Но, приближаясь теперь к Коломенскому, он вспоминал не эти свои гневные отъезды; перед глазами, в воображении, словно распаивалась вся выдержанная в красных тонах гостиная, приманивая забытыми уже теплотой и уютом и вызывая к жизни то чувство удовлетворенности, какое так приятно было испытывать ему тогда; и, ни разу не обернувшийся за всю дорогу на царицу, Иоанн вдруг (и что не осталось незамеченным Марией) с надеждой и нежностью посмотрел на нее.

XXXI

Перед самым Коломенским обоз встретили князь Афанасий Вяземский, боярин Алексей Басманов с сыном, кравчим Федором. Доложив Иоанну, что все приготовлено к его приему и встрече, они затем на разгоряченных лошадях мелким гарцующим аллюром сопровождали царские сани. Смотреть на них было приятно, как всегда приятно смотреть на молодость, ловкость и силу. Их беззаботность, их веселый настрой, должный вот-вот перейти, но не переходивший в озорство, невольно передавались Иоанну, и, может быть, за это-то он и любил и баловал их. Да и что было им не веселиться, когда, в сущности, они ни к чему не прикладывали рук; в Коломенском всем заправлял архимандрит Левкий вместе с настоятелем церкви и еще несколькими монахами, славившимися тем, что хорошо умели исполнить, что повелят им, и держать язык за зубами; что касалось царского дворца, который тоже надо было и протопить, и приготовить, то и тут достаточно имелось и вельможных, и невольможных холопов, чтобы позаботиться обо всем. Весело им было еще и потому, что досужий настоятель Чудова монастыря, то есть преподобный архимандрит Левкий, успел распорядиться и насчет ночной холостяцкой пирушки с местными деревенскими девками, на которую, как тайно задумывалось им, можно было бы пригласить и Иоанна.

Едва с колокольни увидели головные сани царского

обоза, ударили в колокола, народ, заскучавший было на морозе, встрепенулся, и архимандрит Левкий со святителями, выставив вперед себя прихожан с хлебом и солью на полотенце, приготовились к встрече. Иоанн въезжал на площадь не как всегда, не лихо, а с какой-то будто крестьянской неторопливостью или бережливостью, жалея коней и сани. С той же неторопливостью, выйдя из саней и отряхнувшись от изморози, двинулся было навстречу подходившим к нему прихожанам с хлебом-солью и святителям с иконами Богородицы и Николая-чудотворца, чей престольный праздник собирались в этот день отмечать, и, может быть, все обошлось бы, как обычно: приняв хлеб-соль, царь поблагодарил бы прихожан и, получив благословение от святителей, поспешил во дворец, чтобы отогреться с дороги, отдохнуть и потрапезничать в семейном кругу и с приглашением только тех лиц, какие приятно было ему увидеть теперь возле себя; однако, вспомнив, что в соответствии со своим замыслом он был теперь не царем, а человеком, решившим в знак недовольства и обиды на бояр, святителей и народ снять с себя тягость правителя, иными словами, осиротив державу, дать ей почувствовать, кого она может потерять и с чем остаться (разумеется, он не собирался отдавать трон, а только пугал и был убежден, что к нему придут, приползут с увещеваниями и просьбой, и тогда-то уж — тогда-то он и предъявит им свои условия), — в соответствии с этим замыслом (и чтобы придать правдивость всему) он не должен был принимать столь высокие почести; но, на мгновенье заколебавшись (так как о намерении своем пока что знал только он сам), решил все же не испытывать судьбу, принял и хлеб-соль, и благословение от святителей и даже троекратно обнялся с теми почтенными старцами, кои и всегда-то, выдвинувшись вперед, на правах хозяев от народа принимали царя. Но настроение у Иоанна было испорчено. Он был недоволен собой и, чтобы восстановить душевное равновесие, отказался пойти во дворец, куда пригласили его и где уже накрыт был стол с горячей едой, питьем и закусками; он велел разгружать сани и, окруженный несколько недоумевавшими своими любимцами, стоял и смотрел, как распаковывались и вносились казна и драгоценные вещи, словно опасался, что будет что-либо

украдено или разбито. Оставив Москву, то есть оставив, в сущности, державу, а точнее, оставшись без нее, он и в самом деле вдруг почувствовал, что остается ни с чем, и в нем впервые (и заметно) проявилась та осуждаемая в народе житейская мелочность, та скудость, не должная будто бы гнездиться в душах царских особ, которая затем, обретя государственные масштабы, обернется ужасающим бедствием для людей.

Только когда все было занесено, то есть уже почти затемно, Иоанн позволил себе войти во дворец. Он вел себя столь необычно, что никто не осмеливался хоть о чем-либо спросить его. Все только беспокойно переглядывались. Особенно же волновались святители, которым надо было начинать службу — торжественную литургию в честь Николая-чудотворца, покровителя здешней церкви и всего прихода, — и которые не могли и не хотели начинать, пока не появится царь. Народ тоже был возбужден и ожиданием этой праздничной службы, и появлением на ней царя и царицы, и все в нетерпении оборачивались на дворец. Но Иоанн не торопился. Зная, что все приостановлено и ждет его, зная, вернее, сознавая, что он теперь не царь (будто бы не царь) и что у него нет права задерживать народ, он вместе с тем, как ни боролся с собой, не мог преодолеть той своей значимости, за которой все начиналось и заканчивалось на нем, и, дав еще отдохнуть себе после обильного и сытного обеда и затем подождав, пока приготовится к выходу царица, прошествовал вместе с ней сквозь притихшую в поклоне толпу к церкви, где уже все было залито огоньками свечей, искрилось позолотой окладов, риз, пахло ладаном и тем особым (от многолюдства) духом, какой и поныне густо стоит в наших сырых, нетопленных каменных церквях. Его и царицу провели на отведенное для их особ место, началась служба, голос священника, хорошо поставленный для таких торжеств, сначала будто взлетал вверх, к сводам, чтобы набрать силу, и затем уже оттуда ливнем слов и звуков обрушивался на стоявших, словно Божьей дланью крестя и придавливая их. Иоанн не раз уже испытывал подобное давление, то как будто, смотря по настроению, возвышавшее, то угнетавшее его, словно он, как и народ, вдруг оказывался под слоем вековых церковных догм. Но они воспринимались им не как догмы, а как реаль-

ность, скрытая от нас лишь тайной жизни или, как выглядело бы вернее, тайной смерти (но что тоже — живет и может жить лишь в сознании живых), и, соответственно, то трепетал перед этим невидимым, но всесущим естеством, то взрывался и негодовал на духовных лиц, которые, самовластно возложив на себя право вещать от имени Творца, только и занимались в конечном итоге тем, что устраивали свое благополучие. Но теперь давление церковных догм соединялось в Иоанне с давлением совсем иного рода — тех обстоятельств, в какие отъездом из Москвы он поставил себя; и он с еще большей, чем утром и днем, тревогой оглядывался на сие свое деяние, которое еще неизвестно чем могло завершиться, и, едва закончилась служба, удивляя и вводя в недоумение всех своей нелюдимостью и мрачностью, даже царицу, достаточно привыкшую к его столь резким и странным, как ей казалось, переменам, молча проследовал во дворец.

Скинув с плеч шубу на руки подоспевшему холопу, он прильнул щекой, грудью к дышащей теплом кафельной печи, как любил по своей старой привычке делать это, приезжая зимой сюда. Но он не ощутил того прежнего удовлетворения, потому что — и печное тепло, как видно, имеет свои различия и оттенки, согревает ли только тело или согревает и душу. Встречавший неизменным домашним уютом дворец казался теперь безжизненным, словно был выпотрошен, оставлен без сердцевины; отовсюду на Иоанна смотрели только стены, только оболочка, сводчатым узлом стянутая на потолке и способная лишь пробудить воспоминания, а не воспроизвести ту реальность, в какой так хотелось бы вновь теперь оказаться Иоанну. Царица, сославшись на усталость, удалилась к себе, сопровождаемая боярынями, прислуживавшими ей, и Иоанн остался один — в той же, прижавшись к печи, позе, надеясь еще, кроме тепла физического, ощутить душой прилив этой теплоты. Прямо перед лицом его виднелась дверь, ведущая в гостиную. Она была распахнута, у камина и на столе горели свечи, зажженные, видимо, только что, перед приходом царя; они освещали гостиную хотя и тусклым, мигающим светом, но красный тон мебельной обивки и стен оттого казался только привлекательней, и Иоанн (опять же — лишь по воспоминаниям минувшего) не удержался и реши-

тельно двинулся к двери. Он прошел к камину, бегло оглядывая все, что находилось в гостиной, и с удовлетворением отмечая, что все стояло, висело и лежало на тех же местах и ничего не изменилось, что даже разожжен был камин, и березовые поленья в нем, сложенные в миниатюрный бревенчатый сруб, как складывал их только холоп Федор, живо потрескивали, охваченные ползучею бахромой огня. Все, все было по-прежнему: стол, скамьи, диваны и кресла, усаживаясь в которые с иереем Сильвестром, Иоанн с наслаждением слушал духовника и с еще большим наслаждением сам открывался перед ним. Все это было в прошлом; но, понимая, что все было в прошлом, он все же не мог унять в себе страстного желания, чтобы все повторилось, и, остановившись взглядом на том кресле, в котором чаще всего любил сидеть, — тяжело и с неосуществимой надеждой опустил в него.

XXXII

Он ждал, что вот-вот откроется дверь и войдет Мария. Такое было невероятно, но он ждал. Он ждал, что внесут самовар и будут приглашены сыновья Иван и Федор и дочь Евдокия. Но детей не было в Коломенском. Разбросанные по подмосковным имениям и монастырям, они ничего не ведали ни о замыслах их отца-самодержца, ни о его теперешнем желании. И в самом деле утомившаяся в дороге Мария готовилась отойти ко сну. Бодрствовал лишь Иоанн. Но бодрствовал не физически, а душой, беспокойно метавшейся в нем от действительности к воспоминаниям и затем от воспоминаний опять к действительности, столь мрачно теперь окружавшей и настраивавшей его. Да легка ли жизнь царская? — так и хочется задать вопрос. Но Иоанн, разумеется, не спрашивал себя и не думал об этом. Он просто всем существом ощущал ее тяжесть. Для него, одиноко сидевшего перед камином, она представлялась непомерно трудной, доставлявшей множество неудобств и хлопот. В то время как ему не нужно было заботиться о хлебе насущном и добывать его (как всякому прочему простолюдину, чтобы поддерживать жизнь свою и семью); в то время как не нужно было заботиться ни о жилье, ни об

одежде, где и за какие средства доставать их (что и всегда-то заботило простолюдина, а по нынешним временам — особенно); вернее, в то время как все житейское, составляющее материальную потребность людей, было как бы само собой (и от начала веков!) предоставлено ему, жизнь духовная, то есть та вторая и, может быть, более важная часть целого, объединенного в понятии «смысл и цель бытия», — эта-то духовная жизнь, возведенная в достатке и роскоши до высот и превосходившая будто бы по глубине и основательности восприятия чувства простолюдинов (а впрочем, да так ли это, да можно ли признать подобное?), как раз и являлась предметом забот и составляла всю мучительную сторону царского быта. Простое, домашнее, семейное человеческое счастье было, по существу, недоступно Иоанну и отнималось у него необходимостью вникать в дела державные и улаживать их. Но и дела державные не приносили удовлетворения уже потому, что, во-первых, их было много, бесконечно много и, наслаиваясь одно на другое, они, сколько ни исполняй их, только прибавлялись, а не уменьшались, и, во-вторых, не все готовы были безропотно подчиниться царским желаниям и воле, возникали протесты, являлись интриги и заговоры, хотя и мнимые, ложные, но оттого не менее терзавшие душу и подталкивавшие на жестокость; жестокость же порождала лишь новые опасения и жестокость, и так словно в трясине, в которой, попав одной ногой, затем увязнешь другой, потом по пояс, по грудь, шею, и над тобой уже нет ничего, за что бы можно было ухватиться и спастись. Нет, не думаю, чтобы Иоанн вполне сознавал это, что ожидало его в его венценосной судьбе; но то тяжелое предчувствие, какое испытывает всякий человек перед неизвестностью, в какую толкает его жизнь (пусть даже с согласия или по своей воле, как было теперь с Иоанном), предчувствие этого, во что он неминуемо должен был втянуться теперь, более чем многопудовой плитой придавливало его и физически, и душевно. Его тяготило одиночество — одна из самых, может быть, страшных человеческих бед; тяготило давно, то затушевываясь и растворяясь в суеде дел, то обостряясь, как теперь, когда и в самом деле все было словно опустошено вокруг. Даже самый близкий человек — Мария, — даже она (по непониманию ли,

нежеланию ли, он не думал об этом) не хотела разделить его тревог и побыть с ним в сии трудные минуты. Другим же он просто не верил; да и то сказать, мог ли помазанник Божий позволить себе уравниваться с людьми, по рождению уже поставленными ниже его? Нет, не мог снизойти до подобного равенства, которое одно только и способно приносить людям радость от их общения и ограждать от одиночества: каждодневно, каждочасно, каждосекундно он должен был соблюдать дистанцию между ними и собой и, ревностно следуя ей, только удесятерять свое одиночество. В сущности, он давно уже был один как перст посреди огромной, многолюдной державы (особенно после кончины Анастасии и удаления от двора Адашева и Сильвестра, которые затем были осуждены и обречены на страдания и смерть); но он впервые именно теперь, здесь, в Коломенском, со всей силой ощутил эту образовавшуюся вокруг него пустоту и испугался ее.

В гостиную несколько раз входил холоп Федор поменять свечи и подложить поленья в камин и отвлекал Иоанна, но затем, когда удалялся, все опять словно сгущалось в тяжелейшем безмолвии, как и морозная ночь над дворцом, над Коломенским, над всей студено притихшей в ожидании бед державой.

Однако жизнь в ту пору, как и теперь, не была однозначной. В то время как в сознании Иоанна она представляла одной, в сознании народа другой, в сознании святителей и вельмож третьей, а если брать отдельного человека, то, что ни индивидуум — свой мир надежд и забот, — под дверьми гостиной, в прихожей, молчаливо толпились Иоанновы любимцы. Их то убывало, то прибывало (чтобы поговорить, они выходили на крыльцо); не понимая, что происходит с самодержцем, но чувствуя, что все же что-то происходит, и желая помочь ему, они видели выход только в одном — в веселой холостяцкой пирушке, к которой давно уже было приготовлено все и недоставало только Иоанна. К нему надо было войти. Надо было поговорить с ним и пригласить его. Но никто не решался сделать это, боясь гнева и непредсказуемости царя. Старший Басманов, Басманов-отец, призывая к благоразумию, предлагал не тревожить царя. «Пусть он у себя с царицей, ему свое, нам свое», — говорил он,

споря главным образом с сыном Федором и с князьями Вяземским и Салтыковым. Но молодые, более верившие в силу веселья и беззаботности и составлявшие свою даже в этом маленьком придворном кругу партию, не хотели отступать; разумным представлялось им не то, что действительно было разумным, а желание, которое они испытывали и которое в эти минуты двигало их чувствами и помыслами. Однако и из них никто не отважился на смелость войти к Иоанну. Малюта Скуратов-Бельский, как и всегда-то, держался в тени; он ждал своего часа, ждал неделями, месяцами, и теперешняя заминка в прихожей была для него лишь эпизодом в общей цепи выглядываний и ожиданий. Еще менее пытался предпринять что-либо архимандрит Левкий. Он тоже ждал своего часа, ждал не менее терпеливо и изощренно, чем Малюта, но только в отличие от него острее чувствовал его приближение. Во всяком случае, у архимандрита была четкая цель — войти в доверие к Иоанну, стать его духовником, а потом и Первосвятителем России, то есть пройти давно и надежно протоптанной дорогой, по которой большинство святителей восходило на церковный первопрестол. «Господи, Господи», — шевеля губами, безмолвно, для себя произносил он, глядя на суетившихся в бестолковости и трусости вельмож и давая весьма нелестную, мягко говоря, оценку им. В конце концов он уговорил их оставить царя в покое и отправиться на свое веселье, благо столы были уже накрыты и ожидали их («Да и девки могут перезреть», — как в шутку будто бы добавил боярин Алексей, то есть Басманов-старший); но, проводив князей и бояр и Малюту, еще не обросшего чинами и званиями, но чем-то уже приглянувшегося Иоанну, как видели это все, Левкий не пошел с ними, а остался в прихожей, словно сиделка или лакей, готовые каждую минуту броситься и услужить. То, что Иоанну потребуется помощь, он чувствовал. Чувствовал точно так же, как грифы чувствуют падаль и слетаются на нее, и в то время как за дверью, перед камином, неподвижно в кресле сидел Иоанн, буйствуя душой и мучаясь ею же, здесь, по эту сторону и тоже в кресле, сидел Левкий, откинувшись к спинке и словно замерев всем своим маленьким, заостренным к носу лысым лицом; в нем не буйствовали ни мысли, ни чувства, он лишь

прислушивался к тишине, которая была за дверью и в которой, как ему казалось, созревало то важное и нужное, к чему он готовился и что должно было теперь вознести и осчастливить его.

Когда в очередной раз явился холоп Федор, чтобы войти к Иоанну, Левкий остановил его.

— Не надо, — сказал он. — Я сам. -- И, взяв из рук холопа восковые свечи, тихо, на цыпочках почти, направился в гостиную.

XXXIII

Лишь на рассвете митрополиту Афанасию все же удалось чуть вздремнуть, но, когда надо было становиться к заутрене, находился уже в церкви и готовился к службе. Подлечившиеся в тепле, в мехах, ноги не так сильно, как обычно, беспокоили его. Он ступал твердо, без поддержки, и тодько когда облачался в тот наряд, в каком всегда выходил из-за иконостаса, попросил служителей о помощи. Бессонница хотя и утомила митрополита, но слабость была только в теле, ощущалась только физически, тогда как в голове, как и накануне, было четко и ясно. Он ни на минуту не забывал, что Иоанна в Москве нет, что дворец в Кремле пуст, и что царь не просто покинул столицу, как случалось, когда отправлялся на поклон к угодникам в ближние или дальние монастыри (или с войсками брать Казань или Полоцк), а прихватил с собой и казну, и драгоценности, копившиеся еще Великими Князьями, его предшественниками, и хранившиеся здесь, являя собой могущество царской семьи и державы. Более всего митрополита беспокоило именно это, в чем виделся ему недобрый знак и к чему постоянно, о чем бы ни думал, возбужденно возвращался мыслью. Но ни поговорить, ни посоветоваться, ни поделиться тревогами было не с кем. Епископы и архимандриты, которым с ночи еще были разосланы приглашения, пока не прибывали в столицу. Москвичи же — из бояр ли, духовенства, мастеровых, торговых или разного рода чиновных людей — оставались в неведении, были напуганы слухами; одни из них, что посостоятельней, попрятались в домах, за засовами, другие, с утра успевшие подгулять, толпами бродили

по улицам, разбивая лавки и кабаки и затевая потасовки, то есть то, что начато было ими еще вчера, почти сразу же после Иоаннова отбытия, и, как видно, по их мнению, требовало завершения. Кое-кто призывал уже идти в Кремль и наводить порядок, и в этом преддверии смуты, чего как раз больше всего опасался старый митрополит, во всей сей атмосфере непредсказуемости и взрыва он оставался один на один с собой, со своими волнениями и думами. Он понимал, что не может заменить царя; светская власть и заботы всегда были отдалены от него, жили сами собой, и если он когда и вникал в них, то лишь в той степени, в какой видны были ему притеснения и нужды народа; но теперь он чувствовал, что не только духовная жизнь людей, какую всегда руководила да и сейчас пытается руководить церковь, но и все общее состояние державы с ее прошлым, настоящим и будущим, — все, все, словно тяжесть, наваливается на него, прося умиротворения и защиты, и по сану Первосвященителя, преклонности лет и мудрости, какую смогла наделить его жизнь, он не вправе отказаться и не принять этого тяжелейшего и опасного груза.

После заутрени, едва митрополит прилег отдохнуть, к нему началось паломничество известных московских вельмож — князя Ивана Федоровича Мстиславского, прибывшего первым со своим окружением (и служивым людом, который во все время разговора оставался у саней, на морозе), и князя Ивана Дмитриевича Бельского, тоже с многочисленной родней и близкими. Афанасий принимал их в своих кремлевских покоях, в той самой палате со сводчатым потолком, расписанным библейскими сюжетами (на стенах же были изображены Первосвященители и угодники Русской православной церкви), в которой он накануне диктовал дьяку-писцу послания для епископов и архимандритов и провел затем почти бессонную ночь, сидя в кресле, не раздеваясь, закутав большие ноги в меха; он сидел теперь в том же кресле, изможденный, усыхающий старец, прикрывший немощные тела величественной роскошью церковных одежд, и, слушая князя Мстиславского, а потом Бельского, которые хотя и говорили по-разному, но об одном: «Как без царя? Что будет? Что задумал Иоанн?» — только сильнее утверждался в мысли, что некому, кроме него, Первосвященителя, взять

на себя тяжесть власти и распорядиться ею в сей судный час. Князю Бельскому и князю Мстиславскому, в сущности, нечего было опасаться, кроме разве что народной смуты; они, как понимал Афанасий, были чисты перед Иоанном. Да и преклонный возраст, когда пора было более думать о вечном, чем о соперничестве и власти, сам собою и защищал их, и определял теперешнюю степенность разговора и направление вопросов. Им казалось, что митрополит знал о замыслах Иоанна, по меньшей мере не мог не знать, и с некоторой даже потаенной угрозой принуждали открыть истину. Но Афанасию нечего было сказать им. Со словами «Бог вас простит» он не столько с холодностью, сколько с усталостью поднялся и до двери проводил их. Ноги его опять непослушно подкашивались, но едва только, укутав их и попросив горячего чаю, вознамерился было углубиться в свои нелегкие размышления, как ему доложили, что явился с просьбой принять его известный воевода князь Александр Борисович Горбатый-Шуйский с сыном Петром.

Князь этот считался потомком Святого Владимира, Всеволода Великого и древних князей суздальских, о чем митрополит Афанасий, разумеется, хорошо знал. Кроме того, он был еще и отменным воеводой, ходил с Иоанном в поход на Казань и с самой лучшей, мужественной стороны проявил там себя. Афанасий не мог представить, каким Горбатый-Шуйский был в сражениях и насколько разумно командовал тем войском, каким поручалось командовать ему, но ясно помнил, что в числе героев, которых Иоанн награждал своею царской милостью после похода, был и князь Александр Борисович. Он стоял перед ликом царя, держа в поводу лошадь, — молодцеватый, статный, только-только вошедший в самую зрелую пору ратной, походной жизни, и на открытом, умном, светлом лице его, казалось, выражено было только одно: преданность Иоанну, отечеству, народу. Рядом с ним (и тоже с лошадью в поводу) возвышалась столь же молодцеватая и статная фигура князя Андрея Курбского. Он тоже только что вернулся из похода, отличившись в нем, и принимал царскую милость. Князья эти, как, впрочем, и другие герои, не менее заслужившие исторической славы, мужья ревностные и в делах ратных, как замечали летописцы, и в любви к отечеству,

еще даже отдаленно не могли представить, как сложатся в дальнейшем их жизненные судьбы и что одному из них, князю Курбскому, придется спасаться бегством в Литву и Польшу и затем вести переписку с Иоанном, а другому, князю Горбатову-Шуйскому, вместе с семнадцатилетним сыном Петром завершить жизнь на плахе, — нет, князья сии, как их представлял себе сейчас митрополит, были тогда преисполнены величия и славы, они верили не просто в справедливость, но в справедливость царя и жизни и вновь и вновь готовы были пойти на смерть за нее. Однако еще яснее, чем это торжественное, вспомнилось Афанасию и другое: как после суда над Адашевым и Сильвестром Иоанн начал преследовать и изводить под корень всех, кто хоть как-то был близок с этими двумя «государственными преступниками», и в первую очередь гонения и казни обрушились на воевод, героев и участников Казанского похода.

Близкий к Адашеву воевода князь Дмитрий Вишневецкий, чтобы избежать казни, ушел к Сигизмунду, затем с казаками двинулся в Молдавию против Стефана, был пленен им, передан султану в Константинополь и обезглавлен там. Гонимые тем же страхом, тайно перебрались в Литву братья Алексей и Гаврило Черкесские. Затем очередь дошла до Курбского, а после его ухода злоеющая тень Иоанновой подозрительности и недовольства начала нависать и над князем Горбатым-Шуйским. Однако, не считая себя ни перед кем виноватым, князь-воевода не хотел убегать из России. «Лучше смерть, чем скитания по чужим землям», — сказал он юному сыну, возбуждая в нем честь и достоинство гражданина; и, может, по сей твердости духа, дошедшей до Иоанна, а может, и по причине иной, о которой тогда никто еще не мог знать, опала была вроде бы снята с князя (как она была тогда неожиданно снята со многих, оказавшихся в таком же, как и Горбатый-Шуйский, положении). Но, поскольку Иоанн был не только непредсказуем в своих поступках, но и злопамятен, о чем знали, и мог через пять и десять лет привести в исполнение свой злоеющий замысел, несмотря на то что опала была снята, тревога осталась, и эта-то тревога, как полагал митрополит Афанасий, как раз и привела Горбатого-Шуйского с сыном к нему.

У митрополита было свое отношение и к Вишневецкому, и к Курбскому, он не осуждал их, но ближе и достойней представлялся ему поступок князя Горбатого-Шуйского, и потому, когда князь с сыном вошли к нему, поднялся навстречу им и, дав поцеловать крест и руку, троекратно перстом осенил их.

XXXIV

— Я пришел спросить, — после того как произнесены были приветственные слова, отпущены нужные поклоны и все расселись, кому где было предложено и удобно, начал князь Александр Борисович, несколько раз прежде оглянувшись на сына Петра, словно искал у него поддержки или хотел подбодрить его. — Не ведомо ли вам, владыка, отчего Государь покинул Москву с пожитками и казной? Виданное ли сие дело, чтобы без объяснений и нужды покидать державный град? — Он опять на мгновение обернулся на сына и затем принялся внимательно смотреть на митрополита, на его изможденное старческое лицо с маленькими, круглыми, наполненными беспокойством глазами, надеясь не столько по ответу, то есть из слов, сколько по выражению этих глаз узнать или хотя бы почувствовать истину.

Митрополит в свою очередь смотрел на князя столь же внимательно и пристально, словно и за этими простыми, заданными князем вопросами скрывалось нечто другое, более глубокое и важное, чего князь не хотел или стеснялся произнести. Бывают разговоры прямые, искренние, когда собеседники выкладывают все, что знают или хотели бы узнать, но бывает и так (и в большинстве случаев), когда между тем, что оглашается, и тем, что остается в уме, хотя и существует связь, но произнесенное соотносится с невысказанным, как части айсберга, что над водой и в глубине. Князя Горбатого-Шуйского, разумеется, беспокоил не сам по себе отъезд Иоанна (царь волен делать все), но то, что могло последовать за этим отъездом, — гонение и казнь, и он оборачивался на сына, зная, что самодержец не пощадит и его; князь как бы указывал митрополиту (и как Первосвятителю, который один только мог возвысить голос в защиту

справедливости перед Иоанном, и просто как человеку, способному если не отвести, то хотя бы понять и посочувствовать горю): виновен ли в чем сей отрок и возможно ли, по-христиански ли губить юную душу? «Нет, конечно же, не по-христиански», — хотя и не отвечал, но думал митрополит Афанасий. Насмотревшийся и наслышавшийся об Иоанновых казнях, он весь теперь холодел, глядя на отрока, юного, не успевшего еще ничем запятнать себя, которого ни за что ни про что Иоанн мог лишить жизни, да и на самого князя, статно, в доспехах сидевшего перед ним, и то, что накануне представлялось старому митрополиту общемо картиною гибели России, представало теперь в лицах, осязаемо, зримо и еще более побуждало к протесту и действию.

— Нет, не ведомо, — когда нельзя уже было далее молчать, ответил митрополит на вопрос князя Александра Борисовича Горбатого-Шуйского. — Ведомо только Господу Богу и Государю.

— Человек — не червь навозный, чтобы помыкать им, — не в согласии с ходом разговора, а в согласии с мыслью, занимавшей его, возразил воевода и князь Александр Борисович. — Трудями семи наших поколений ставилась и держалась русская земля, а теперь того и гляди Бог весть кому в руки отдана будет. Что же, или никто не учил нас, или крымцы уже побиты и рассеяны? Так ведь может стать, что не только некем, но и некого будет защищать на Руси.

— Не о том толкуешь, князь, — прервал его митрополит. — Церковь защищает не силой, а духом, и воля Всевышнего есть превышшая и непреклонная. Все мы под Богом и под царем.

— Воля?! На что? На разорение?

— Не о том, князь, не о том, — повторил митрополит, более чем понимая князя и разделяя его суждения, но не желая втягиваться в этот опасный разговор, который еще неизвестно к чему может привести. Одно дело — думать, и совсем другое — произносить. «В конце концов не словами, а делами вершится все, — мысленно произнес он в самооправдание; и согласно с этим сдерживающим в себе началом, а главное, чтобы не упустить нить разговора, уже будто бы нащупанную им, поспешно добавил: — Не лучше ли теперь порадеть самим, чем ссылаться на прошлое

и стенать о настоящем? Царь творит то, что творит, и ответчик не перед нами, а перед Богом. Иного царя у нас нет».

Митрополит говорил не то, во что верил, а то, что по сану Первосвященителя положено было ему говорить, и был недоволен собой и опускал глаза перед князем. В душе его давно уже созревало несогласие между истиной жизни и церковной догмой, утверждавшей, что все творится Богом и по воле его, а не людьми и по их произволу; вечны, как полагал он, только религия и власть, но люди смертны и в грехах, как в одежде, какую прикрывают свои голые тела; они вершат дела не по Божьему умыслу, а по тем писаниям (священным!), в коих всегда можно найти то, что готово подтвердить их злые и незлые деяния; но митрополит не мог сказать этого князю, как не мог утвердительно сказать это и себе, и только мысленно и торопливо, как было привычно ему, троекратно проговорил: «Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости!»

— Чем я могу послужить отечеству? Я готов, — сказал князь и поднялся, чтобы подтвердить то, о чем говорит. Он понял митрополита, и порыв его был столь же естественен, как если бы все происходило на поле брани, где готовность к бою или секунда промедления определяют все.

Вслед за отцом и столь же решительно поднялся сын Петр, и по быстроте его движений, по выражению глаз и лица, открытого, почти детского и с едва-едва начавшими пробиваться усами и бородой, которые только еще более обнажали юный, отроческий возраст, было видно, что он готов постоять не столько даже, может быть, за отечество, значение которого не вполне еще, наверное, осознавалось им, сколько за отца, находя в нем идеал справедливости и гордясь им. Эту-то гордость и уловил митрополит и, с удовлетворением отметив, что, слава Богу, не всех еще затронула язва разврата и что есть, то есть подрастают мужи, способные постоять за себя, народ, землю и веру, — серебряным с камнями крестом, только что лежавшим на столе, рядом, а теперь оказавшимся в руках, осенил и князя-отца и князя-отрока, словно бы благословляя их на подвиг.

— Ты уже сделал, что мог, — сказал затем князю-

отцу, что можно было воспринять двояко: и как оценку дел ратных, в коих, как рассказывали очевидцы и сподвижники князя по Казанскому походу, он не щадил себя, и как похвалу твердости и мужеству, что не побежал, уподобясь иным, искать свободы в землях чужих, но остался искать и отстаивать ее (хотя бы и примером смерти) здесь, в отечестве. Но так как и то и другое работало на славу князя, митрополит Афанасий не стал ничего уточнять; сказав лишь «садись» и подкрепив приглашение жестом и, главное, почувствовав, что тот душевный контакт, те доверительность и открытость, которые соединяют людей, вполне уже установились между ним и князем, заговорил совсем по-иному, как происходит только между близкими или хорошо понимающими друг друга людьми, устремленными к одной высокой цели.

Он начал с того, что не время теперь выяснять причины отъезда Иоанна да и вообще обсуждать хоть какие-то действия царя; надо было подумать, как сохранить спокойствие в народе, и в связи с этим (и по праву человека, взвалившего на себя тот самый груз и светской, и духовной власти) предложил воеводе князю Горбатову-Шуйскому направить, во-первых, людей на юг от Москвы, чтобы разведать, не зашевелились ли крымцы или еще какая-либо орда, готовая воспользоваться «нашим послаблением», и на запад, не суетятся ли поляки и Литва с той же целью, во-вторых, пустить глашатаев по Москве, чтобы успокаивали народ, говоря, будто царь отбыл на моление и к Рождеству вернется, обновленный душой и телом.

— А как же казна? — возразил князь Горбатов-Шуйский.

Митрополит, не моргая, внимательно посмотрел на него.

— Наше дело — править свое и не смотреть в царское, — затем проговорил он. — Не то добро, которое делается с оглядкой, а то, которое по велению души. С нами Бог, будем молиться, в том и спасение наше. — И он встал, давая понять, что хотел бы закончить на этом столь важный и столь доверительный разговор, позволенный лишь из уважения к князю и его отроку, чьи заслуги и помыслы достойны преклонения.

XXXV

Проводив гостей, закутав в меха ноги и попросив чаю, чтобы согреться, так как в палате, ему казалось, было сыро и зябко (несмотря на то что печи были протоплены еще с утра), митрополит Афанасий вновь погрузился в отягощавшие его размышления. Встреча и беседа с воеводой князем Горбатым-Шуйским породили в нем ряд новых мыслей и соображений. Более всего, как и прежде, он опасался смуты, возможной в народе, и в ряду мер, предложенных им князю, необходимым представлялось прочитать по приходам соответствующие проповеди, канву для которых надо было обдумать, составить и разослать. «Хотя бы по Москве, — полагал он. — Да и главное — по Москве». Но в то время, как он начал обдумывать эту канву, невольно опять столкнулся с тем вопросом, который задавался ему князьями Мстиславским, Бельским и особенно Горбатым-Шуйским, пытавшимися выяснить причину отъезда Иоанна и считавшими, что он, как Первосвяtitель, не мог не знать этой причины. «Так что же все-таки кроется за сиим отъездом?» — уже сам себя спрашивал теперь Афанасий с той старческой степенностью и неторопливостью, с какими только и можно было в его возрасте и при его сане приступить к делу, и вместе с тем — живостью, так как обстановка и события, грозившие в связи с этой обстановкой развернуться, не позволяли нежиться и топтаться на месте. В сущности, у него не было ничего, за что бы, взявшись, можно было раскрутить тайну, и, как он ни напрягал память, кроме догадок и предположений, не обнаруживал ничего, что позволило бы приблизиться к истине; выстраивать же ее на непроверенных, ложных основах не хотел. Он отбрасывал догадку за догадкой, но на одной, связанной с кончиной митрополита Макария, сначала лишь на мгновение задержался, припоминая, как митрополит, находясь уже почти на грани беспамятства, все пытался что-то сказать (на что тогда не обратили внимания); но теперь Афанасию казалось, что умиравший знал нечто такое, что нельзя было унести в могилу, и невольно связывал это пророческое со всей той обстановкой, в какой оказались Москва и держава.

К митрополиту Макарию Афанасий всегда отно-

сился с уважением, чтит его заслуги перед верой и в спорах с царем обычно принимал (хотя и не явно, потому что положение царского духовника обязывало к другому) его сторону. Это-то и позволяло теперь, во-первых, спокойно и возвышенно думать о своем предшественнике, ушедшем из жизни безвременно, как тогда уже полагали многие, и, во-вторых, со значением относиться к каждому некогда высказанному Макарием слову. Оно тщательно продумывалось и взвешивалось, прежде чем произносилось им, так как не только заключало в себе ту или иную истину, но вместе со значимостью религиозной имело значимость житейскую, формируя общественную жизнь людей и помогая каждому обрести себя в ней. По крайней мере, так полагал Афанасий и, став Первосвятителем, только сильнее укрепился в этом мнении. Он не был в тронном зале в тот день, когда Макарий, бросившись помочь царице, запутался в своей долгополой и широченной на нем церковной одежде, упал и его чуть живого (с инфарктом, как мы бы сказали теперь) унесли в митрополичьи палаты; не был и при разговоре Макария с Иоанном, произошедшем накануне, после которого тоже хоть на руках выноси старого митрополита; но интуиция, то есть самая простая сообразительность, подсказывала Афанасию, что между этими двумя событиями имелась определенная связь, которая если и не предопределила, то, во всяком случае, ускорила кончину Макария.

Перед смертью, как известно, равны все. Но, может, если бы смерть была явлением лишь физическим, все люди страдали бы одинаково только от недомогания, боли и слабости и не мучились бы каждый по-своему тем, что, покидая жизнь, уносят с собой и весь накопленный ими опыт этой самой жизни, дарившей им в разное время то радость, то огорчения, то ощущение силы духа, когда удавалось хоть в чем-то проявить себя, то бессилие перед той страшной стеной равнодушия и жестокости, какую на заре человечества люди бездумно положили между собой и которая не только с тех незапамятных времен не ветшает и не разрушается, хотя всем и давно ясно ее значение, но, напротив, с приходом каждого нового поколения только укрепляется и растет (каждый раз лишь в более утонченных и изоощренных формах правления), ослепляя и оглупляя

людей, делая их глухими к страданиям ближних, стравливая государства, народы, возводя насилие над добром и укрепляя власть пороков. Думал ли Макарий так или приближенно к этому, история не оставила свидетельств, но все же нечто подобное, что и теперь каждый выносит из жизни, было наверняка и с лихвой познано и пережито им, и коль скоро по сану своему он был обязан защищать обездоленных и сирых, то есть народ, включая опальных и не опальных воевод, князей и бояр, то и страдания их хотя бы частично переносил на себя и мучился ими. Но по отдельности, разрозненно, как они возникали в процессе жизни, они и воспринимались как частности, а не как часть целого, спрессованного в понятии «общественное бытие»; на смертном же одре, когда подводятся итоги жизни, уже не частности, а обобщенное, целое предстает перед мысленным взглядом человека, и чем больше он беспокоился и переживал за других, тем тяжелее это обобщенное придавливает его. Макарий умирал трудной, беспокойной, мучительной смертью. Это вызывало лишь сострадание к нему, но не настораживало, не озадачивало. Уже после того, как его причастили и три архиерея совершили над ним таинство елеосвящения, он продолжал еще суетливо что-то искать то ли перед собой, то ли в воображении, и Афанасий, именно в эти последние часы и минуты жизни митрополита оказавшийся у его изголовья, старался теперь деталь за деталью восстановить в памяти все, что довелось увидеть и услышать в тот день.

Для последнего прощания к умиравшему входили и затем выходили от него почтеннейшие епископы, архимандриты, протоиереи, которых Макарий знал и ценил, даже несколько иноков (главным образом из ближнего, Чудова монастыря), как и всегда-то — для внушительности общего фона; удостоил своим посещением и Иоанн с царицей — не столько, разумеется, чтобы почтить Первосвятителя, которым был недоволен, сколько — из приличия и для молвы, с коей не мог еще тогда не считаться. Постояв, как обычно, и не сказав ничего, он только чуть поклонился и вышел, дуновением от распахнувшейся полы едва не загасив свечи, и после его ухода, вернее с его появлением, как раз и началось у Макария то странное беспокойство (будто он только что что-то имел и потерял), о кото-

ром и вспоминал Афанасий. В помутневших, затухавших под нависавшими бровями глазах Макария вдруг словно бы обозначились испуганные огоньки жизни, и этими странными огоньками, явно говорившими о пробудившейся мысли, он принялся торопливо шарить перед собой пространство, перебегая с икон, свечей на лица святителей, стоявших вокруг. Афанасий более чем помнил минуту, когда умиравший митрополит, силясь оторвать от подушки голову, но только вновь обессиленно роняя ее, пытался выразить то, что беспокоило его. «Каба-а, каба-а», — сухим, умирающим ртом промычал он, продолжая искать перед собой глазами. «Он искал Иоанна, — неожиданно и только теперь осенила догадка Афанасия. — Да, Иоанна, чтобы сказать ему это слово: кабала. Да, да, кабала», — повторил он, разгадав (и тоже только теперь) то странное и бессвязное мычание. Он даже приподнялся от удивления: наяву ли все происходит с ним? Но перед ним было только пространство до стены и дверей, ковер с густо-малиновыми, желтыми и синими разводами, кресло, скамья, обитые темным бархатом, на которых только что сидели князь Александр Борисович Горбатый-Шуйский с сыном Петром, а получасом раньше до них — князя Мстиславский и Бельский; да, перед митрополитом простиралось лишь сие безмолвное (теперь!) пространство, способное, разумеется, сказать о многом, но ни о чем пока не говорившее ему, и он, удивляясь уже этому странному, будто наяву, перемещению во времени, лишь пристально оглядел все вокруг себя и перед собой и снова опустил в кресло, чтобы продолжить размышление. Однако ход мыслей был уже прерван, и никакие усилия не помогли Афанасию восстановить его. Слово «кабала» хотя и заключало в себе многое, но вместе с тем не было соединено ни с чем конкретно (разве что с желанием Макария бросить его в лицо Иоанну), и потому трактовать его можно было и широко, прилагая к народу, и узко, прилагая лишь к делам церковным и святителям, которых, Афанасий знал это уже по себе, Иоанн не просто старался стеснить и ограничить в деятельности, но, аки рабов, безропотно подчинить своей воле. Первое, то есть относительно народа и кабалы применительно к нему, казалось Афанасию настолько чудовищным и невозможным, что он отказывался даже думать об

этом. Это не соединялось ни с какими заповедями и не имело не только оправданий с точки зрения самой жизни (или истории, если сказать иначе), но и смысла, как полагал он. «Править рабами — для чего?.. Править народом, добротой и справедливостью возвеличивая его, — вот завет Божьим помазанникам, их земные старания, труд и радости», — мысленно говорил себе митрополит. Второе, что могло относиться к духовенству и церкви, он отвергал уже по самой узости, ограниченности дела, так как незачем было, чтобы хоть что-либо предъявлять духовенству, отъезжать из Москвы с казней и скарбом. Получалось так, что, несмотря на осенившую митрополита Афанасия догадку, он вновь чувствовал себя столь же далеким от истины, как и накануне ночью, и час, и два назад; и неведение это, как и вообще любое неведение, только усиливало в нем беспокойство и подогревало к деятельности. Но, чтобы начать хоть что-то предпринимать, надо по меньшей мере знать, что именно, то есть на что-то решиться; и в поисках этого решения он попросил проводить его в усыпальницу для митрополитов, где над могилою Первосвятителя Макария было уже возведено тяжелое каменное надгробье с изображением распятия и надписями. Афанасий молча и грузно, поддерживаемый под руки, опустился перед надгробьем и долго, наклонившись, шептал молитвы, обращаясь к Богу и к Макарию, уже как к святому угоднику, пока не занемели ноги и бессилье вконец не охватило его.

XXXVI

Но терзания его не завершились на этом в сей морозный декабрьский день. Едва он возвратился в палату, как к нему явились шурин Горбатого-Шуйского Петр Ховрин, родом грек, и окольный Головин. Митрополит велел пригласить их. Затем пришли князь Иван Сухой-Кашин и кравчий князь Петр Горенский, а за ними, чуть припоздав, князь Шевырев и два боярина: Иван Куракин и Дмитрий Немой. Как и над Горбатым-Шуйским, над ними тоже нависала угроза Иоанновой опалы за близость к Адашеву и Сильвестру, хотя ни Адашева, ни Сильвестра уже не было в

живых да и сама близость, разумеется, носила лишь служебный характер; просто сии воеводы и князья, как и подобает людям порядочным, честным, старались лишь поддержать в государственных начинаниях то, что представлялось им разумным и могло принести благо народу; но это-то благородство, то есть возможность служить отечеству, а не самодержцу, как раз и не нравилось Иоанну и раздражало его, как оно, впрочем, раздражает и правителей нынешних, с самого начала своего правления сумевших узаконить в стране запрет на самостоятельность мышления и тем более на желание, в чем бы ни заключалось оно, проявить себя. На устах явившихся теперь к митрополиту воевод и князей был только один вопрос: как понимать отъезд Иоанна из Москвы со всеми царскими пожитками и казной? Не затевается ли новых каких угроз и расправ над боярством и народом и как быть, что предпринять в сей смутный час? Митрополит только слушал и ничего не отвечал им. Да и что мог ответить, когда сам терзался неведением. Но от него ждали, требовали совета, и единственное, что он чувствовал вправе предложить им (и что, может быть, как раз и явилось величайшей и непоправимой с его стороны ошибкой), — это призвать к терпеливости, смирению и молитвам, положившись на Господа и его милость. В сущности, митрополит Афанасий не объединял людей и не возбуждал в них желания восстать против замыслов Иоанна и защитить себя (что только и было разумным и могло изменить ход истории), а, напротив, разъединял и обезволивал, видя в этом именно свое предназначение; в довершение ко всему — из города вновь начали поступать сообщения о беспорядках и бесчинствах, происходивших там, и, чтобы облагородить народ, а заодно и самому посмотреть, какова общая обстановка, решил проехать хотя бы до ближайших двух-трех приходов и велел готовить сани и лошадей.

Разумеется, появиться теперь перед возбужденной толпой было небезопасно, и святители, окружавшие митрополита, говорили ему об этом; но, отклонив их увещевания и указав место Пастыря, где он должен быть, когда народ жаждет успокаивающего и направляющего слова, — спустя четверть часа был уже за стенами Кремля и сопровождаемый охраной спускался к реке, к той самой арбатской церкви, в которой сначала

ла крестили, а затем отпевали умершего Иоаннова (от Марии) сына, царевича Василия. Иоанн тогда только-только вернулся из похода на Полоцк и был возбужден и победой, и рождением наследника, и, казалось, вся Москва стеклась сюда, чтобы торжественно встретить молодого, удачливого своего царя, своего самодержца, с царством которого у многих связывались надежды на благополучие и счастье. Теперь площадь перед церковью опять была забита народом, и митрополит издали еще увидел всю эту разномастную, готовую каждую минуту взорваться бурей страстей людскую толпу; и хотя опыт жизни подсказывал Афанасию, что на духовных лиц, тем более на Первосвященителей, еще никто и никогда на Руси не осмеливался поднять руку, он в какое-то мгновение вдруг засомневался и потянулся было сказать, чтобы поворачивали назад, однако в то же мгновение и с большей, чем сомнение, силой ощутил тот самый груз державы, который волею обстоятельств был теперь возложен на него, и, чуть только поколебавшись, вновь откинулся к спинке сиденья и с той возвышающей будто бы его отрешенностью, с какой лишь умудренные жизнью старцы позволяют себе смотреть на людские страсти и скопища, продолжал вглядываться в толпу.

Монах-чернец, правивший лошадыми, сдерживал их. Дорога была жесткой, накатанной, сани скользили легко, с тем привычным (полозьями по снегу) шорохом, который и всегда-то, как и теперь, действовал успокаивающе своей монотонностью и однообразием звуков. Арбатская церковь и площадь перед ней то скрывались за лошадиными крупами и широкой, схваченной кушаком спиной монаха-чернца, то опять, как только чуть разворачивалась дорога, все открывалось митрополиту Афанасию, и противоборствовавшие в нем силы смирения и уверенности (и долга, какой и поднял из теплых палат на сей выезд), — противоборствовавшие силы вновь то склоняли митрополита к тому, чтобы вернуться, то удерживали от этого трусливого шага, и он старался перейти к мыслям другим, более обобщенным и потому, в сущности, не обязывавшим ни к чему, кроме разве что к поиску слов, нужных для утешения толпы и себя. В какую-то минуту с площади тоже заметили подъезжавшие богатые сани с охраной, и сейчас же часть людей, отделившись,

кинулась навстречу митрополиту. С криками: «Кто таков? Кто едет?» — толпа окружила сани. Те, что попроворней, схватили лошадей за уздечки и сдерживали их; другие же, подогреваемые хмельной смелостью, потянулись к саням, чтобы схватить того, кто ехал в них, и вытащить для расправы; обычно надменные ратники из охраны, поняв, что им не справиться с наседавшими и что, не ровен час, могут самих смять и растерзать, старались лишь конями заслонить сани митрополита и прижимались к ним. В сумерках, довольно густо уже опустившихся над Москвой и над Арбатом, в толчее и неразберихе, когда задние напирали, а передние пятились, чтобы не угодить под копыта коней, неизвестно еще, чем бы все завершилось, если бы кто-то не разглядел и не узнал Первосвященника и не крикнул бы, вскидывая руки: «Это же митрополит, стойте, стойте, это же митрополит Афанасий!» При этих словах людская масса, только что с безумством напиравшая на сани, остановилась, отхлынула и притихла. Кто-то потребовал: «Покажись!» Затем призыв этот прокатился по толпе, и митрополит Афанасий, понимавший, что нельзя было ему теперь же не предстать перед народом (собственно, для того и выехал из Кремля), медленно и с достоинством поднялся, на время забыв про больные ноги, и, поддерживаемый монахами и охраной, вышел из саней на дорогу.

Увидев митрополита, толпа попятилась, передние, сняв шапки, кланялись и молились, подталкивая локтями и побуждая к действию тех, кто, зазевавшись или, вернее, удивившись, все еще не мог сообразить, что полагалось делать. Вперед выползло несколько юродивых. Почти босые, в рваной, едва прикрывавшей их худые тела одежде (нам, людям современным, остается лишь удивляться, как еще сии «божьи избранники», зиму и лето проводившие на церковных папертях, не болели и не замерзали), они кинулись в ноги к митрополиту и принялись целовать полы его церковного одеяния. Примеру их последовали и те, кто только что лишь кланялся и крестился, и раболепие это, это безумство было столь же неприятно и страшно Афанасию, как и та иная крайность, когда эти же люди из толпы готовы были учинить над ним самосуд. Столь быстрая, почти неуловимая перемена в настроении черни (он не любил употреблять это слово, обходил

его, но теперь оно как единственно возможное определение возникло в сознании и готово было вырваться наружу) не раз и прежде замечалась митрополитом; но то, с чем столкнулся сейчас, поразило настолько, что в первое мгновение он тоже лишь растерянно смотрел перед собой и пятался к саням, пытаясь хоть за что-либо ухватиться, чтобы не упасть. Осмелевшие охранники начали отталкивать от него раболепствовавших, а когда пространство перед ним было наконец очищено, чуть подался вперед и, осеняя толпу крестом, произнес:

— Бог простит вас. Бог!

Он повторил это несколько раз и затем, чтобы добраться до церкви, снова сел в сани и велел монаху-чернецу трогать.

— А ну расступись! — гаркнул монах. — Эй, расступись! — Он вскинул над собой концы плетеных вожжей и принялся угрожающе раскручивать их.

XXXVII

У церкви, когда митрополит вышел из саней, вся сцена раболепства вновь и с большей, казалось, унизи-тельностью повторилась вокруг него. Первыми опять ползком кинулись к ногам юродивые. Они старались ухватить Афанасия за полы, облапывая и слюнявя их. Следом и как бы волною второй двинулись прихожане, и десятки рук вдруг и одновременно с мольбой потянулись к митрополиту. Они почему-то были оголенными, по крайней мере такими, Афанасий запомнил их; к тому же выглядели красными, словно ошпаренные кипятком или натертые снегом на морозе, и, глядя на людей и не понимая, чего они просят, он опять только испуганно пятался к саням. Люди эти не спрашивали об Иоанне, и вообще отъезд царя был для них только поводом к тому, чтобы сбиться в сию хоть на что-то способную стаю; они хотели лишь прикоснуться к перстам или одежде Первосвятителя, как будто подобное прикосновение и в самом деле могло что-то изменить в их судьбе, жаждали чуда, веря в него и ожидая его от церковного иерарха. Но Афанасий знал, что он всего лишь такой же простой смертный, как и все, и святость его лишь в сани да в ритуалах, какие совершались над ним и какие совершал, вернее, дол-

жен был совершать он, то есть в том узаконенном жизнью обмане, без которого, как без воды, воздуха и пищи, человек не способен существовать; и эта крамольно терзавшая его истина, чем старше и умудреннее он становился, как раз и заставляла теперь ужасаться, глядя на народ, и пятиться от него.

— Господи, прости их, — произносил он, вскинутым перстом осеняя толпу.

Лишь с помощью охранников и охотников из прихожан, вызвавшихся помочь митрополиту, ему удалось наконец войти в церковь и удалиться за иконостас, где было безлюдно, не протоплено, сыро и где насмерть перепуганный дьячок, суется и стараясь угодить Первосвятителю, беспрестанно повторял, что за настоятелем послано и что его непременно вот-вот отыщут и приведут.

Почему надо было отыскивать настоятеля, Афанасий не понимал. Он лишь чувствовал, что за этим скрывалось что-то странное; чему трудно дать объяснение, и с удивлением думал, что теперь, когда надлежало находиться с народом, настоятеля носило неведомо где. Но, как и полагалось Первосвятителю, ожидал молча, терпеливо, время от времени то прислушиваясь к шуму толпы за стенами церкви, то навязчиво возвращаясь к поразившему его явлению — неожиданной, быстрой и страшной перемене в настроении прихожан, встречавших его. «Что это? Какая сила двигала ими? — спрашивал он себя. — Кто подталкивает души людей к подобным крайностям, за которыми нет и не может быть добрых начал, а есть только порок либо одного, либо другого безумства?» Он опять приходил к давней и терзавшей его мысли о людской слепоте, обстоятельствами и трудностью жизни будто бы накладываемой на народ, и чем больше думал о причинах этой слепоты, тем яснее сознавал, что и сам он, как и народ, пребывал в той же слепоте, постоянно стараясь отыскать истину и не находя ее. Между тем посланный за настоятелем где-то застрял и не появлялся, митрополита начала пробирать сырость, он оглядывался по сторонам и ежился. Ему было невдомек, что настоятель — тот самый протоиерей Федор, которого сам же Афанасий и благословил на этот приход, — забравшись в чулан от народа, под старые перины, подозревал обман и не

хотел выходить из своего убежища. «Поклянись, поклянись!» — с мольбой, почти со стоном кричал он из-под перин службе, пришедшему за ним. Служке нечем было клясться, кроме как Богом и своей совершенно юной еще жизнью и честностью, но этого казалось недостаточно протоиерею Федору. Он просил позвать кого-либо постарше, и снова глухо, со стоном доносилось из-под перин: «Поклянись!» — так как вера в слово была тогда еще велика и в народе, и среди духовенства и бояр. В конце концов после мучительных переговоров и пререканий перины были сброшены, чулан отворен, и все еще испуганный и с недоверием озирающийся вокруг себя протоиерей вышел из него. Едва отряхнувшись и не успев как следует привести себя в порядок, он и предстал перед митрополитом — со взлохмаченной головой, в помятой и в пуху рясе и с нечесаной (и тоже в пуху) бородой, красноватым клином облезло спадавшей ему на грудь. В таком отвратительном виде предстал перед Афанасием лишь архимандрит Левкий, да и то только в воображении, когда по расположенности или нерасположенности к человеку тот предстает не таким, каков есть, а каким хотелось бы видеть его. Протоиерей же возникал не в воображении, а стоял наяву — коротконогий, полный, с одутловатыми щеками, напоминавший скорее не пастыря, не служителя Богу, вернее, тем канонам, в которых заключена будто бы истина, а клеща на листе, насосавшегося древесного соку. Митрополит опустил глаза, чтобы не видеть его.

— В церкви народ, — сказал затем, все так же глядя в пол перед собой. — Извольте зажечь свечи и подготовить все к службе, — добавил он сдерживаясь, чтобы не сказать большего.

Спустя четверть часа митрополит Афанасий, преодолевая ломоту и немощь в ногах, вышел к народу. Он не то чтобы лишь искренне желал добра этим собравшимся в церкви прихожанам, страдавшим от царской власти и боявшимся потерять ее (будто и в самом деле не было и нет иной защиты от притеснений и самовольства бояр да и всякого накатывающегося с чужих земель лиха, чем только воля и власть самодержца), но чувствовал, что именно теперь настал для него миг, когда не на словах, а на деле он мог исполнить свой долг. Под переливом свечных огоньков, тысячекратно,

словно капельным блеском отраженных в позолоте окладов и риз, и сам весь в парадном облачении и в белом клобуке с распятым, сверкавшим камнями и золотом (обрядность, восстановленная с избранием его Первосвятителем, но остававшаяся еще внове для прихожан), — он был убежден, что вышел сотворить достойное и великое; но, как это большей частью и бывает в таких случаях, когда желание и возможность разделены чертой, непреодолимо разрывающей их, вся острота мыслей вдруг словно исчезла, испарилась, и, кроме тех обычных слов о смирении, терпеливости и воле Господней, о чем говорил князьям и боярам, приходившим к нему, не мог ничего выдать из себя.

Но, понимая, что делает не то, что нужно, он вместе с тем не мог ничего другого сказать людям, потому что то другое было лишь едва начавшим оформляться желанием, не имевшим пока ни стержня, ни формы, было, в сущности, миражом, какие еще чаще, чем среди песчаных барханов, возникают в душах людей, оставляя затем горечь тяжелых разочарований. Митрополит хотел быть с народом и чувствовал (интуитивно, разумеется, бессознательно, исподволь), что для этого следует освободиться ему от церковных догм и тех принятых тогда условностей жизни, которые создавались, поддерживались и укреплялись этими догмами; но освободиться, даже пусть частично, было не то чтобы не в его воле (всякая воля хоть на что-то да должна опираться), но просто — было делом невозможным по тем естественным причинам, по которым человек, воспитавшись на определенных принципах жизни, как бы затем в старости ни ломала его эта же самая жизнь, остается во многом приверженцем своих привычек и не видит никакого иного выхода из трудностей, кроме как придерживаться канонов старины. Столетиями церковь призывала к терпеливости и смирению, и митрополит Афанасий, отягченный теперь не только саном Первосвятителем, но и всем навалившимся на него грузом державы, тем более не находил возможным хоть на йоту отступить от прежних уложений и догм. Боялся ли крови, которая прольется, если народ, встряхнувшись, возьмется силой защитить себя? Подобное опасение наверняка возникало, но не оно было главным. При всем желании помочь людям митрополит полагал, что дело за-

ключалось не в укладе жизни, то есть не в той социальной системе, как мы бы охарактеризовали ее теперь, в которой люди остаются притесненными, задавленными, — уклад жизни сам по себе свят, и его нельзя изменять! — а в личностях, которые, впад в невежество и забыв о Боге, способны творить лишь зло и насилие и неспособны на добро. Он призывал к молитвам и покаянию перед Господом, прося у него защиты и помощи, как бывало во все трудные времена в прошлом, и, вполне успокоившийся к завершению службы и решивший, что слово это его как раз и может стать канвой для тех проповедей, которые следовало бы прочесть в эти дни по московским церквам, — с крестом и кистью в руках величественно прошелся вдоль передних рядов прихожан, кропя их святой водой, и затем, крестясь, замер в поклоне перед алтарем.

Он простоял так минуту или чуть больше, но ему показалось по ломоте в ногах и усталости, какую вдруг ощутил всем своим старческим телом, что стоял долго, словно переживал тишину, воцарившуюся в церкви. Он не оглядывался, но знал, что за спиной все точно так же, перекрестившись и застыв в поклоне, шептали молитвы; на них будто сходила благодать, столь долго и упорно внушавшаяся им, некоторые успели даже прослезиться от прояснения, хотя кроме известных, сотни раз повторенных «истин» не услышали ничего; но «истины» эти были произнесены высшим церковным иерархом, которого только увидеть считалось благодатью, и произнесены в тот момент душевной растерянности, когда, как на развилке, человек готов пойти туда, куда позовут. Митрополит же звал к смирению, что было, во-первых, привычно и не нарушало устоявшегося течения жизни (а всякая перемена, известно, ведет лишь к ухудшению жизни и не сулит ничего доброго людям) и, во-вторых, укрепляло веру в Бога, который все милостив и не допустит зла над смиренными и терпеливыми. Да, митрополит знал, что испытывали молившиеся за его спиной, потому что почти то же испытывал сам; но еще более осознавал, хотя и не признавался себе в этом, что никакой благодати не сходит ни на кого, что сия благодать есть только обман, которому привычно поддаются люди и поддавался он сам — тем охотнее, чем глубже бывало в нем беспокойство и чем острее возникала потреб-

ность унять его. «Бог во мне; Бог в каждом; он разделен на миллионы частиц, связанных невидимыми с центром нитями, и пробуждение этого Бога в людях, осознание его силы — не в этом ли смысл и цель наша?» Митрополит, разумеется, не мог думать столь категорично и завершено; но именно эта мысль, не раз приходившая ему и вызывавшая еретический ужас: «Господи, прости! Господи, прости! Господи, прости!» — снова и властно завладела им. Жить в обмане — это жить в сладком сне или, вернее, вовсе не жить. Но и вне обмана — только терзания, и ни стабильности, ни основательности, в которых более, чем в чем-либо еще нуждается человек. Митрополит чувствовал это. Он был теперь ближе, чем когда-либо, к истине. Но так как открытие сие не совпадало со всеми заученными, вошедшими в кровь и плоть прежними истинами, — только мрачнел, замыкался (будто от холода и сырости, пробиравшей его) и не захотел после службы ни говорить с протоиереем Федором, ни видеть его.

Афанасий вышел из церкви, когда было уже совсем темно. Ему подсвечивали дорогу фонарями и факелами, и опять — желающих прикоснуться к нему, пригубиться к полам его одежды было столько, что, если бы не охрана, кольцом охватившая его, едва ли митрополит устоял бы на ногах и смог добраться до саней. Заезжать еще куда-либо у него уже не было охоты, и он велел править в Кремль.

XXXVIII

Есть два способа сохранения исторической памяти. С одной стороны, это летописи, документы, архитектурные и иные памятники старины, позволяющие людям с нынешних высот проникать в самую глубь минувших тысячелетий и с той или иной степенью достоверности выстраивать всю последовательность происходивших событий, иначе говоря, рассматривать все с точки зрения науки, базирующейся на определенных, очевидных и неоспоримых будто бы фактах, а с другой — когда та же история, те же события записываются не на глиняных черепках, папирусах или каким-либо другим, современным способом, но наносятся на человеческие гены, на гены общества, народа, приспособаб-

ливая таким образом (стихийно, бессознательно) данный народ или общество, как, впрочем, и каждого отдельного человека, к социальным и нравственным условиям окружающей их жизни. Сей генетический код (повторяю: человека, общества, народа) — это все та же, только не прочитанная еще летопись; и даже, может быть, в сто крат достовернее, чем то, что используется исторической наукой. Мы обычно стараемся вывести характер народа из исторических условий его жизни, большей частью придумывая эти условия и подгоняя их по своему произволу под тот или другой определенный шаблон, нужный правителю и заказанный им, тогда как не лучше ли, не вернее ли было бы исходить из обратного, то есть из характера народа выводить историю и уже на основе этих полученных данных строить настоящее и будущее. Французы, к примеру, имеют свою и довольно определенную черту характера, англичане — свою, немцы — свою, и так с каждым народом. У русского народа тоже есть своя национальная черта, но в то время как у всех других народов с этой национальной чертой все более или менее ясно, то мы почему-то упорно продолжаем говорить о себе, что душа наша столь загадочна, что умом русского человека не понять, а если он непонятен, значит, опасен для соседей, то есть других народов и государств, и для правителей, которые и стараются держать его в нищете и невежестве, чтобы в некую пору не осознал бы вдруг человеческого достоинства в себе и не предъявил счет; к тому же загадочность сия, давно и сознательно вбиваемая нам в головы, дает простор для самых неожиданных и противоречивых относительно народа толкований и зачастую лучших мыслителей втягивает в ненужные, бессмысленные и засасывающие, словно тряпина, диалоги и споры.

Я вовсе не склонен вступать здесь с кем-либо в полемику, тем более что романная площадь и не позволит мне сделать это; но для общего понимания книги, понимания событий и личностей, представленных в ней, да и вообще истории, как она складывалась для нашего народа и государства, полагаю, что нельзя обойти этот вопрос вопросов и не попытаться хотя бы конспективно (и без претензии, разумеется, на бесспорность) осветить его. То, с чем столкнулся митрополит Афанасий, выехав в этот вечер из Кремля и направив-

шись к арбатской церкви, — крайней озлобленностью толпы, а через мгновение столь же крайним, безудержным раболепством, — не могло, испугав и насторожив митрополита, не вызвать в нем желания разобраться в национальной черте русского народного характера. Но тут следует оговориться, что явление это — сожительство насилия и жестокости с раболепством, что и ныне (и во сто крат обостреннее!) можно наблюдать в народе, — не было чем-то единичным, обособленным, с чем столкнулся лишь митрополит; оно проявлялось и в быту, в мелочах, как проявляется и теперь, и особенно при людских скопищах, когда у народа появлялась пусть иллюзорная, но все же возможность хоть что-то отстоять для себя; но всякий раз — народ не просто давал обмануть себя (по присущей ему бесхитрости, как принято считать), но всячески способствовал этому, и, естественно, подобные действия вызывали не только у людей духовного звания или правителей, коим это нужно было для своих целей, но и у представителей иных сословий потребность обратиться к истокам характера народа. К ним обращались и Курбский, когда писал Иоанну, и Иоанн, когда отвечал Курбскому, и еще — многие и многие, кому небезразличной оказывалась судьба отечества. Но можно ли считать, что так и было, что донесли до нас исторические источники, ограничивались размышлениями сих знаменитых и незнаменитых личностей, и не было ли так, что сокровенное, не совпадавшее с канонами и укладом жизни, но открывавшееся им, так невысказанным и ушло с ними в могилу? Мне почему-то кажется, что так оно и было, и есть тому тысячи подтверждений, что предшественники наши, наши отцы и деды, в той своей глубокой старине были, может быть, куда ближе к истине, чем мы теперь, в том числе и Иоанн, и митрополит Афанасий, которого мы оставили сейчас возвращающимся (продрогшим и со своими больными ногами) в Кремль.

Если говорить об общеславянской национальной черте характера, то к ней следует отнести не столько воинственность, настойчиво (и в столетиях!) приписываемую этим народам, хотя, в сущности, воинственностью не обделен никто, сколько тягу к мирной, самобытной обустроенности и с безмерной верой в торжество добрых начал. Но, видимо, в самой боль-

шей степени это следует отнести к русским людям, которые, умея хорошо защититься оружием от оружия, оказываются бессильными перед так называемым мирным насилием, то есть укладом жизни, какой навязывается им и в котором неволею становится им жить. В таких случаях они не берутся за мечи, а тихо снимаются со своих мест, с исконных, обжитых земель, и отправляются в поисках новых пристанищ. Так гласят легенды, но есть тому и документальные свидетельства, согласно которым предки наши, уходя от так называемых «мирных» притеснений, сначала двинулись на Дунай — поодиночке, семьями, племенами, — а затем, когда сии «мирные» условия вновь настигли их, потянулись дальше на восток и на север и, перевалив через Карпаты, расселились по степям нынешней Украины, а потом бежали дальше, к Соловецким островам, за Урал, в Сибирь, к Аляске. И, может быть, более чем подтверждением этой неагрессивности, уступчивости и способности к самопожертвованию служит нынешнее опустение центра России, обезлюдение тех наших исконных земель, на которых жили, трудились и которые столь героически защищали от нашествий наши отцы и деды. Да, хорошо ли, плохо ли, но такова наша исконная черта, таков изначально заложенный в нас генетический код — не терпеть насилия кровавого, биться, но уходить от бескровного, которое в конечном счете еще страшнее, чем кровавое, и — не эта ли слабость, иначе не назовешь (в жесточайших условиях прошлого и современного мира), как раз и служит причиной наших прошлых и нынешних бед? Но категоричный вопрос не означает, что нужно столь же категорично отвечать на него. Дело не в этом. Генетический код у народов, как и у отдельного человека, не есть что-то неизменное, застывшее или замороженное в веках, он постоянно, хотя и невидимо будто, совершенствуется, приспособлявая нас к условиям, какие создаются жизнью, и в то время как у одних народов все заметнее и заметнее начало проявляться стремление к свободе, независимости и демократическому устройству общества, пусть хотя бы на том раннем, изначальноном уровне (тут важен был, видимо, первый толчок, а затем шло уже взаимное самоусовершенствование кода и жизни), то у нас — движение приняло прямо противоположное направление, и генетический код под

влиянием уже нашей самобытности совершенствовались не в сторону осознания свобод, достоинства и чести, а в сторону смирения и раболепства перед властью, в какой бы форме она ни выступала, в светской или духовной. С приходом византийской церкви, особенно умевшей подавить в человеке все естественное и живое, что есть в нем, и поставить его в строй смиренных и послушных, процесс и вовсе принял необратимый характер. Возглавляемая теми же князьями (кому не досталось светской власти), лишь облачившимися в одежды святителей, церковь с невиданной еще дотоле силой принялась обрабатывать народ в духе смирения и терпения, раболепного преклонения перед алтарем и тронем, оставляя как некую Божью милость каждому смертному лишь ту внутреннюю свободу (вернее, осознание ее), при которой сколько бы ни обирали этого смертного, сколько бы ни притесняли, доводя его до полной нищеты и бесправия, у него никто не волен отобрать (а) веру в Бога и (б) возможность обращаться к нему с молитвами и славить его. Я понимаю, что беру лишь одну сторону вопроса, тогда как есть и другая, отмеченная деяниями благородными. Да, есть, но деяния те соотносятся с главным, как покрывало с содержанием, спрятанным под ним; и коль скоро религию отменить нельзя, да и бессмысленность сего дела очевидна, то все же следовало бы теперь, по прошествии веков, снять наконец покрывало, ослеплявшее нас, и обратиться к сути. Церковь — это одно, а личности, представляющие ее и полагающие себя посредниками между Богом и народом, — это другое; личности эти редко когда служили народу, но все больше — власти (как это происходит теперь), находя с ней согласие и устраивая за счет этого свое благополучие. Это замечено было даже Иоанном, возмутило его, хотя он и не предпринял ничего, чтобы изменить положение. Но я убежден, что церковь нуждается в реформах; она нуждается в них столь же остро, как и общество в целом, и, может быть, только с проведением их, то есть переменою всех ныне действующих условий жизни, начнет не ухудшаться, а улучшаться наш генетический код.

Но вернемся к митрополиту Афанасию. Он подъезжал к Кремлю и удовлетворенным — тем, что удалось уснокоить толпу, то есть обратить ее к ее привычному состоянию смирения («Бог и только ОН знает и может

все, а нам, смертным, завещано лишь, молясь, терпеливо ждать участи!»), и напуганным и озадаченным — той хотя и недолгой, но оттого не менее страшной озлобленностью, с какой толпа, встретившая его у арбатской церкви, готова была расправиться с ним. Он и понимал людей, и в то же время не понимал их; не понимал потому, что в глубине души не мог переступить через догмы — и церковные, да и светские, житейские, — которыми и до него, и при нем определялся порядок жизни и которые, несмотря на всю их несовершенство, более чем осознававшуюся митрополитом, особенно теперь, когда он был в сане Первосвятителя и когда весь тяжелейший груз державы вдруг, нежданно-негаданно свалился на него, то есть несмотря на всю противоречивость и несоответствие их с самыми простыми, естественными потребностями человека, оставались для него единым и нерушимым канонем жизни. «Господи, прости их», — вновь и вновь возвращаясь к пережитому, произносил он мысленно, как перед алтарем, перстами накладывая на себя крест. Он искал объяснение, тогда как оно было столь же простое и ясное, как бывает ясным небо в солнечный день. Потребность свободы, то есть те изначальные и не до конца еще стершиеся гены, хотя и слепо, безрассудно, но воинственно настроили толпу; но едва прозвучало слово «Первосвятитель», едва народ увидел митрополита, олицетворявшего хотя и церковную, лишь над душами, но власть, сейчас же — еще решительнее, чем гены изначальные, сработали гены раболепства, достаточно уже за века окрепшие в людях, и совсем уже иное и страшное безрассудство бросило их к ногам митрополита с одним лишь желанием пригубиться к священной одежде его. Так, впрочем, было и до, и после Иоанновой эпохи; и, к сожалению, с не меньшим ослеплением повторяется в наши дни. Но удивление, скорее возмущение вызывает не это, а другое — что люди, понимавшие все подобно митрополиту Афанасию и имевшие возможность своею деятельностью изменить к лучшему начавший уже искажаться нравственный облик русского человека, не только ничего не предприняли к этому, но, напротив, лишь шире растворяли шлюзы для подавления в народе даже самой элементарной потребности жить с достоинством и уважать себя. Удовлетворение

все глубже охватывало митрополита оттого, что он сумел успокоить народ; он начал испытывать чувство даже некой гордости, что в сей трудный (и смутный!) час сумел столь честно и бескорыстно послужить своему отечеству.

XXXIX

В Кремле, в митрополичьих палатах, дожидались его два инока из Чудова монастыря — Прокопий и Никодим. Благочестивые, усердные к молитвам, к изучению святых писаний, к наукам вообще, они давно уже были замечены митрополитом, и он не то чтобы опекал их, но, видя в них будущих ревнителей веры, то есть преемников, которым вручено будет дело церкви, а значит, и дело народа, приглашал на беседы, которые затягивались иногда до полуночи и казались бесполезными и митрополиту и инокам. Ему не хотелось, чтобы эти молодые послушники, решившие посвятить свои жизни служению Богу, подпали под влияние чудовского архимандрита Левкия. Мир не может обойтись без истинных носителей справедливости. Но что такое справедливость, если она не восходит своими идеалами к Богу, и от кого еще, если не от служителей ЕГО, должна исходить к людям? Так полагал Афанасий, вполне убежденный, что нет и не может быть, по крайней мере для лиц духовного звания, другой истины, и, стремясь к ней сам (всю, как ему казалось, сознательную жизнь, то достигая высот, то вновь словно лишь начиная движение к цели), старался внушить ее богобоязненным и смиренным инокам. Он тянулся к ним еще потому, что оба они, особенно Прокопий, сизмальства лишившийся отца и матери и росший сиротой при одной из подмосковных деревенских церквей (оттуда и был приведен в Чудов монастырь местным протоиереем, заметившим в мальчике способность и усердие к грамоте и познанию мира и Бога), — оба напоминали митрополиту его собственную судьбу и вызывали и горестные, и приятные воспоминания. Любой человек, если к преклонным годам ему удастся достичь определенного положения в обществе, оглядываясь на прожитое, редко когда жалуется на него; напротив, бывает готов вновь пройти через все испытания, какие были уготованы ему жиз-

нью и помогли обрести характер, душевную стойкость и силу. Но, чтобы проявить себя, далеко не достаточно только одного желания; необходим простор для действий, и старый митрополит более, может быть, чем кто-либо другой, знал, что подобный простор разве что самодержцам даруется по рождению, но что все остальные должны трудом и усердием обрести его; и эта, казалась бы, столь же простая, но часто забываемая людьми в суете дел истина тоже являлась одной из главных тем его нравоучительных бесед.

Инок Прокопию не было еще и двадцати от роду, но Никодим (в миру Стефан Полесский, отпрыск обрусевшего литовского дворянина, в Иоанново малолетство пострадавшего от самоуправства Шуйских), — Никодим был уже в тех годах (около тридцати), когда потребность к самостоятельности поднимается в человеке до той черты господства, за которой идет уже не восприятие, а отторжение чужих внушаемых истин. Он был более начитан, остроумен, чем Прокопий, и приходил к митрополиту, в сущности, не за тем, чтобы набраться поучительных истин; ему хотелось выдвинуться, и он видел (по состоянию тогдашней жизни вообще и духовенства в частности), что достичь этого только своими стараниями и умом было невозможно или почти невозможно; но он точно так же видел, что имелся другой путь, более надежный и скорый, — через людей влиятельных, сближаясь с ними и потакая их слабостям, — и отдавал предпочтение именно этому, второму. Кроме того, чем старше он становился, тем острее чувствовал себя обойденным жизнью, как если бы и в самом деле что-то основательное (по его дворянскому происхождению) было недодано ему, и он почти болезненно испытывал желание восстановить попорченную для него справедливость и взять свое. Но он никогда и ни перед кем не открывался в этих своих сокровенных мечтаниях и держался так, что ни простодушный и доверчивый Прокопий, ни, разумеется, митрополит Афанасий, ценивший по старческой своей сентиментальности в иноках не то, что в них было на самом деле, а лишь воображенное, что хотелось ему видеть в них, не могли даже отдаленно заподозрить в Никодиме сих дурных качеств.

Иноки со смирением сидели в передней, когда митрополит Афанасий, все еще возбужденный после слу-

чившегося с ним и поддерживаемый с двух сторон святителями, появился в дверях. Он с удивлением остановился, глядя на них, на то проворство, с каким иноки, поднявшись и перекрестившись, поклонились ему. Еще до Иоаннова отъезда он назначил им этот вечер для беседы, и хотя обстановка с того времени достаточно изменилась и митрополиту было не до иноков и не до беседы с ними, но, не отказав сразу и не проводив их, он не мог затем уже не принять их и не заняться ими. Он пригласил их сначала на молитву, потом на ужин и чай и лишь после этого, освободившись словно от обременявших его обязанностей (хотя он и в самом деле ел неохотно, без аппетита, будто по принуждению, так как надо же было хоть что-то пожевать и проглотить), провел в гостиную и, как и всегда, усадил на скамье перед собой.

Он не любил торопливости и не спешил начинать разговор; прежде попросил укрыть свои больные ноги и, пока послушник, прислуживавший ему, укутывал их в меховые шкуры, пристально вглядывался в лица иноков, как если бы видел их впервые или что-то очень важное должен был прочесть в них. Митрополиту казалось, что никто теперь не мог думать о чем-либо еще, кроме как об Иоанновом отъезде, об угрозе беспорядков в городе и вообще о державе, вдруг в одно утро очутившейся на пороге междоусобиц и смут; он невольно, как это и случается с людьми в его возрасте и положении, свои волнения и заботы переносил на иноков и по выражению их лиц старался понять (еще до разговора с ними), насколько глубоко и основательно происходившие события затрагивали их и оценивались ими. Когда вскидывал взгляд на Никодима с его черной курчавившейся бородкой и черными, волнисто спадавшими на плечи волосами, чувствовал, что наткался словно бы на некую непроницаемость, которую замечал в нем и раньше, но не придавал значения или, вернее, придавал как послушанию и одобрял его, когда же переводил взгляд на Прокопия, на его светловолосый, простоватый, открытый облик (едва наметившиеся золотистым пушком борода и усы лишь острее выдавали в нем подростковую доверчивость), перед митрополитом вдруг словно бы открывался совсем не монашеский, не связанный с воздержанием и аскетизмом мир интересов, страстей и желаний, который, если

бы можно было положить на чаши весов святость и жизнь (в том проявлении, в каком она только и приемлема для всякого живущего существа), перетянул и затмил бы собой все, что лежало за пределами этого жизнеутверждающего мира и противостояло ему. У митрополита Афанасия, впрочем, и прежде не раз при общении с юным светловолосым Прокопием возникало это же ощущение мостика, живо соединявшего его то с детством, прошедшим в деревне и памятным именно деревенскими радостями, то со всей будто неохватной жизнью народа, которая в митрополичьих палатах давно уже была лишь предметом для разговоров и словесных забот и, представлявшаяся в воображении, ничего общего не имела с реальностью. Но Афанасий подумал не об этом, вернее, он ни о чем не подумал, а с некоей обострившейся ясностью представил себе мир своего деревенского детства и с еще большей ясностью — жизнь людей, тех самых, с которыми столкнулся, подъезжая к арбатской церкви, и, впервые, может быть, ощутив себя столь неотрывно связанным с жизнью народа, тяжело, с горечью вздохнул и прикрыл глаза. Прокопий и Никодим переглянулись, послушник, укутывавший митрополиту ноги, оглянувшись еще раз на свою работу, вышел из гостиной, но старый митрополит оставался в неподвижности и не открывал глаза; сотни самых разных событий, участником и свидетелем которых он был в те или иные годы своей тихой, скромной, как он считал, жизни, сгрудившись и налегая друг на друга, вставали перед ним, и в этом вавилонском скопище, в котором, казалось, не было ни начала, ни конца, ни середины, он искал и не находил ответа на мучивший его вопрос: есть ли в конце концов вообще та желанная справедливость, с помощью которой можно было бы все между людьми расставить по своим местам, и если есть, отчего же тогда так непосильны для человека ее поиски?

Жизнь в сути своей должна быть целостной. Но митрополиту Афанасию (и не в первый уже раз теперь) она представлялась не то чтобы двойственной, но разделенной на ветвь народа и ветвь власти, нависающую над народом и подавляющую его, и в то время как он старался убедить себя, что служит народу, всеми своими не только делами, но и помыслами служил власти,

оберегая и возвеличивая ее. Когда он вел службу в Успенском соборе или в соборе Благовещения в Кремле в присутствии царя, царицы, бояр, воевод и князей, в душе его наступало согласие, потому что между богатством иконостаса, золотом окладов и риз и одеждой царя и дворян с их сытыми, довольными лицами не было того кричащего различия, какое сейчас же предстает в церквях простых, где великолепием окладов и риз лишь подчеркиваются нищета и убожество прихожан. Митрополит видел это различие и всякий раз после службы (подобно нынешней, в арбатской церкви) подолгу не мог успокоиться, уединялся и предавался молениям, пока (от бессилия уже) душевная тревога не отпускала его. Теперь же ему нельзя было уединиться: перед ним сидели иноки, приглашенные им и ожидавшие, когда он заговорит с ними, и, не столько осознавая, сколько чувствуя это, он подгонял мысли, чтобы поскорее завершить свои поиски и освободиться для иноков.

Но воспоминания так цепко держали Первосвященителя, что он не в силах был оторваться от них. Его привлекали простота и непритязательность народной жизни, выведившейся им из тех детских деревенских радостей (открытие вокруг себя мира, общение с ним и познание его), о которых так живо напомнил ему всем своим простовато-добродушным обликом Проконий и которые, соединяясь со сложностями бытия, по-новому будто представшими теперь перед митрополитом, как раз и вырисовывались в некую обнадеживающую и, разумеется, утопическую по сути модель людского благополучия. «Чего бы еще надо было людям?» — думал он. Но людям надо было многое, он понимал это; и понимал, что все, все, в том числе и Иоанн, люди и что сам он, Афанасий, достигший сана Первосвященителя, к чьей одежде, словно к чему-то действительно святому, готовы пригубиться теперь все, — что и он едва ли смог бы удовлетвориться тем деревенским прошлым. Но такова жизнь, и на все, видимо, есть воля Божья, решил наконец он и, словно шубу с плеч, сбросив с себя тяжесть дум, болезненно повернулся в своем любимом, с высокой спинкой кресле, в котором старческая фигура его с укутанными ногами казалась непомерно маленькой, хилой, и обратился к инокам с удивившим их вопросом: на месте ли, в

Москве ли, в здравии ли пребывает их настоятель архимандрит Левкий?

Иноки переглянулись. Они не знали, где Левкий, а только видели, как в день Иоаннова отъезда утром, чуть свет, запрягались для архимандрита сани и как затем сам он, набросив на себя барский тулуп, сел в них и выехал за монастырские ворота.

— Должно, с царским обозом, — высказал предположение простодушный Прокопий.

Никодим угрюмо, отстраненно молчал, и митрополит Афанасий, так и не сумевший до конца сбросить с себя груз раздумий, опять и уже с какой-то будто испытующей недоброжелательностью принялся смотреть на иноков.

XI

С Иоанном в эту первую ночь в Коломенском произошло странное, удивившее и поразившее его явление. К нему в гостиную вдруг вошел иерей Сильвестр — не во сне, нет, а словно бы наяву, как привидение; вошел, сел в кресло напротив и принялся смотреть на Иоанна не то с жалостью, не то со снисходительностью, не положенной не только холопу против царя, но и любому духовному лицу по отношению к царской особе. Иоанн хотел было спросить иерея, откуда тот взялся и как посмел войти сюда, но — голоса не было, он раскрывал рот и не мог издать звука, и от этого бессилья, какое охватывает людей лишь во сне, в испуге очнулся и посмотрел на кресло перед собой. В нем никого не было. В камине живо охватывались огнем только что, как видно, подброшенные туда березовые поленья. Ровно и даже вроде бы весело светили оплывшие свечи, лишь добавляя жизнерадостности в общую атмосферу гостиной. Иоанн осмотрелся и, словно не доверяя себе, опять взглянул на кресло. Оно было пусто, как безлюдно, пусто, казалось ему, было во всем дворце. Мария, которую он ждал, так и не пришла к нему. Может быть, если бы она знала о его желании, все обернулось бы по-другому; но она не знала и, имея свое и отличное от Иоаннова представление о супружестве и о семейном уюте, не решалась пойти сама, а ждала, чтобы позвали, доверяясь своим

традициям и привычкам; у нее, как и у Иоанна, было свое оправдание, своя правда, через которую она не могла переступить, но — что было Иоанну до этой ее правды? Он чувствовал лишь, что между ним и царицей постоянно возникал некий холодок в отношениях, который, сколько ни прилагалось им усилий, он не мог преодолеть. Это и огорчало, и озадачивало, и раздражало его, и, перенесясь теперь мыслью к царице, он на время забыл о Сильвестре. Подумав, что Марии уже не дожидаться и что пора идти в спальню, он намерился было встать и пойти, но от камина так веяло теплом, так было уютно сидеть в кресле и наслаждаться тишиной и покоем, что не мог разрушить сего блаженства и через минуту-другую опять погрузился в дремотное небытие. Но едва смежились глаза, как перед ним вновь явился Сильвестр — живой, зримый, с шорохом шагов и с усмешкой на лице, полной не то жалости, не то снисходительности, — и сел в кресло. Иоанн даже похолодел от какого-то будто глубинного страха, начавшего, как сырость от стен, пронизывать его. Он хотел возмутиться и крикнуть, но — горло удушливо перехватилося, и он в ужасе проснулся и посмотрел на кресло. Оно было пусто.

Душевные мучения приходят к людям независимо от их чинов, званий и положения и терзают их. Перед сим явлением, как и перед смертью, все равны. Наступает час, и все содеянное (или замысленное) человеком возвращается к нему этим изматывающим, иссушающим плоть беспокойством, от которого ни уйти, ни спрятаться, пока не совершится покаяние и не очистится совесть. Но покаяние — дело столь же как будто простое, сколь и непосильное, и, прежде чем осознается необходимость его, в человеческой душе возникает противоборство сил, иногда быстрое и решительное, когда либо торжествует совесть, либо одерживает верх зло, становясь еще более жестоким и беспощадным, а иногда — затяжное, как с переменным успехом война, в которой стороны поочередно то побеждают, то терпят поражения, истощаясь в людских и во всяких иных ресурсах. Затяжное Иоанном противоборство с боярами и духовенством, то есть то внешнее, на чем выстраивалась политическая основа его царствования и что неминуемо (по логике подобных устремлений)

должно было привести к противоборству с народом и державой вообще, — дело это, нуждавшееся в определенных и веских оправданиях, не могло не отразиться (и прежде всего!) на самом Иоанне и не вызвать в нем те душевные терзания, от которых не то чтобы не имеется средств остановить их (откажись от злых намерений и деяний, осуди их и все), но обычно — недостает ума и воли, чтобы предпринять нужное. Иоанн еще не понимал, что начинало происходить с ним, в какую полосу жизни он втягивался; но опасение, что может остаться один на один со своим бестелесным мучителем, то есть Сильвестром, который как противовес замутненной царской совести чистым и незапятнанным вставал перед ним, — опасение уже теперь заставляло Иоанна как бы замирать и съеживаться в предчувствии некоего готовившегося ему удара. Ему не хотелось верить в опасность, но он испытывал ее; он вдруг ясно увидел себя в том положении, когда обычными средствами, какими всегда защищал себя, не мог защититься; не мог, вызвав стражников, приказать им вывести из гостиной привидение и впредь не впускать его; никого не обнаружив, стражники решили бы, что с царем что-то произошло, и догадка их неизвестно еще какой молвой могла обернуться в народе. Нечто схожее подумали бы и придворные вельможи, и духовенство, решишь Иоанн рассказать им о явлении к нему Сильвестра, да и царица, с которой и вовсе ничто духовное не связывало его, и беззащитность эта, когда есть власть и нет возможности применить ее, оборачивалась в нем тяжелейшим, словно про запас, гневом, которому рано или поздно суждено будет прорваться и натворить бед. Но терзания Иоанна только начинались, он был еще относительно спокоен; чуть приподнявшись, он лишь в очередной раз оглянулся вокруг себя, не происходит ли наяву то, что являлось во сне; но ни в кресле перед ним, ни в гостиной никого не было; все, все, весь деревянный Коломенский дворец и само Коломенское с церковью Вознесения и пировавшими в соседнем с ней доме царскими любимчиками — все было погружено во мрак зимней ночи, и мир покоя и общей будто бы умиротворенности невольно передался Иоанну и успокоил его. Уходить от каминного тепла ему не хотелось. Но когда, задремав, он вновь увидел перед со-

бою Сильвестра и когда затем все повторилось еще и еще раз — со всеми живыми подробностями движений, как иерей усаживался в кресле, его взглядов, усмешек да и всего выражения лица, по которому более чем ясно было, для чего он явился сюда, — Иоанн не хотел более испытывать терпения; решительно поднявшись, но с робостью оборачиваясь, он двинулся из гостиной, надеясь уйти от неприятных видений; но, как и многие до него и после него, он ошибался, полагая, что душевное беспокойство можно, словно одежду, сбросить с себя; нет, не случайно в народе говорят, что от себя не уйти, и все только что угнетавшее его невидимо потянулось за ним в спальню, отягчая и невольно заставляя его по-стариковски сутулиться и волочить ноги.

В передней, через которую ему надо было пройти, он неожиданно увидел какого-то спавшего на скамье то ли игумена, то ли монаха. Иоанн с изумлением остановился. «Это еще кто тут?» — подумал он и подошел ближе, чтобы рассмотреть спавшего. По заостренному к носу личику, козлиной бородке с крошками пищи, прилипшей (по известной неряшливости) к ней, но скорее даже — по маленькой с залысинами головке, какую человек, неестественно подвернув ее, упирался в стену, Иоанн узнал настоятеля Чудова монастыря архимандрита Левкия, спутника своих совсем еще недавних как будто увеселений. Он видел Левкия среди встречавших, видел его в церкви на торжественной литургии, а потом — где-то еще мелькало перед глазами его лицо, и потому Иоанн не удивился, что сей святитель был здесь; в возбужденном сознании царя возникло другое — он соединил явление перед ним Сильвестра с этим спавшим архимандритом, и хотя никакой связи тут не было и не могло быть, но Иоанн с каким-то будто злорадным ликованием, словно и в самом деле сумел разгадать и упредить обман, смотрел на спавшего, не моргая и поражаясь простоте объяснившегося. «Левкий, Левкий... Ну да, заходил он!» — убежденно воскликнул Иоанн, не задавая себе никаких иных, способных разрушить все вопросов, и пытаясь подменить облик Сильвестра, только что с ясностью представавший перед ним, с обликом этого чудовского архимандрита, на которого смотрел. Левкий, разумеется, не для того оставался здесь, в прихожей, чтобы заснуть; но отец и сын Басмановы и князь

Вяземский, пировавшие в доме у церкви и приходившие к нему, чтобы узнать, не удалось ли святителю повидаться с царем и пригласить на веселье, приносили вино, закуски и угощали архимандрита; в конце концов чудовский иерарх, изрядно захмелев и обесилев, повалился на лавку и спал теперь мертвецким пьяным сном перед самодержцем.

Иоанн усмехнулся (более в душе) и пошел было прочь, но затем, отойдя несколько шагов, остановился и оглянулся. Он чувствовал, что ему надо было еще что-то сделать — прогнать, наказать или по меньшей мере разбудить архимандрита и спросить, для чего тот здесь; но по отношению ли к Сильвестру, которого Иоанн одновременно и уважал (по старой еще памяти), и боялся, и ненавидел, как только люди сильные умеют ненавидеть соперников по уму, благородству и нестигаемости воли, или просто потому, что все еще не мог отойти от пережитого в гостинной, как если бы и в самом деле его уже теперь как самодержца готовились призвать к ответу, — Иоанн лишь посмотрел на серебряный крест, свисавший с груди архимандрита и только что будто замеченный, словно в нем, в этом кресте с распятием, и заключалось все, и затем, так и не предприняв ничего, двинулся дальше. Если бы на свете действительно были чудеса, то Левкия от царского гнева спасло именно чудо; и хотя ни на другой день, ни позднее Иоанн не упрекал архимандрита и не устраивал гонений, но всякий раз при встречах отворачивался, морщился и не желал говорить с ним.

В спальне, едва Иоанн вошел в нее (он спал отдельно от царицы), холопы сейчас же принялись раздевать его.

XLI

Зимние ночи всегда невообразимо длинны, и эта (с уготованными в ней мучениями) только еще, в сущности, начиналась для Иоанна. Несмотря на то, что он уже лежал в постели, что свечи были погашены и холопы, укладывавшие его, притихли за дверью, Иоанн не мог заснуть. Он как будто чего-то боялся, хотя и не знал чего, и широко открытыми глазами сверлил темноту, словно там, за этим непроглядным

пространством, как раз и таилось разъяснение. Утром на бессонницу его ему скажут, что сменилась погода, что вместо мороза пришла оттепель, снег размяк, осел и что подобные перемены всегда скверно действуют на людей; утром — он и в самом деле поверит в такое утверждение, потому что всякому человеку, в том числе и царю, самодержцу, всегда приятно сознавать или, вернее, видеть вину не в себе, а в других и тем успокаивать и тешить себя. Но до утра надо было еще дожить, да Иоанну и в голову не приходило, что на дворе оттепель; он был одинаково в тепле что в гостиной, что в спальне, и жизнь своя и державы, как он представлял ее, не делилась для него на времена года, смену дней, недель, месяцев; напротив, он, как никогда, видел все в целостности — и в пространственном, и во временном отношениях, и если и соизмерял с чем-то, то лишь с вечностью, которая одна только и могла быть в его понимании истиной и хранительницей всего. Он беспокоился не за державу, нет, как было это с митрополитом Афанасием; он беспокоился за себя, видя в державе лишь собственность, которую могли отнять, украсть или спалить, как дом, в его отсутствие; и в этом плане — хотя отъездом из Москвы он и намеревался показать всем, что отказывается от державы, которой будто бы не позволяют управлять ему по его разумению, но сама мысль о возможности потерять ее и лишиться власти — самая эта мысль приводела его в душевный трепет.

Люди обычно либо не умеют, либо боятся просто и ясно взглянуть на дело, которое занимает их, потому что, представ оголенным, очищенным от наслоений, привносимых в него и способных лишь усложнить и запутать все, оно может открыться совсем иной и далеко не привлекательной сутью. Пока человек в одежде или под покрывалом, мы можем только догадываться о красоте или уродстве его тела; но стоит снять одежду или сорвать покрывало, как все представит в том натуральном виде, когда не догадки, а реальность обретает смысл. Иоанн не то чтобы не хотел или не мог, но именно опасался (в силу означенных выше причин, что все может оголиться) прямо, ясно и просто взглянуть на узел волновавших его проблем. Сорвав покрывало, он мог бы увидеть совсем не то, что хотелось и что, пока было под покрывалом, казалось и

важным, и справедливым, и даже будто более чем оправданным относительно и ушедших, и грядущих веков; перед ним открылась бы та до банальности простая и очевидная в корысти своей схема, или цель, если точнее, от которой он откачнулся бы, как от уродца, подававшего ему. Еще из великокняжеского своего малолетства, наблюдая за противоборством и самоуправством бояр, толпившихся у трона, Иоанн вынес заключение, что, собственно, права на власть как такового (имеется в виду абсолютного и непрерываемого) нет, что оно условно и его надо защищать от множества и множества претендентов, то есть представителей тех родовитых семейств, которые только и помышляют и втайне, и наяву извести царскую ветвь и возвыситься самим. В таких условиях, чтобы править спокойно, нужно физически устранить претендентов. Но, во-первых, даже для самодержца не всегда просто и легко сделать это, так как для оправдания подобных действий перед общественностью требуются обоснования (да и силы, на которые можно было бы опереться), и, во-вторых, и, может быть, главное — меры сии обычно носят затяжной характер и не дают искомым результатов. Пока ищутся обоснования и чинятся расправы над одними, вырастают и укрепляются другие — с теми же намерениями и еще более утонченную сеть интриг, и Иоанн в конце концов встал перед выбором: либо, подняв меч, сразу отсечь головы всем и таким образом отбить даже самую потребность к неповиновению, либо обречь и себя, и наследников на вечное и не менее кровавое (с боярами) противоборство, в котором еще неизвестно, за кем будет верх. Да, суть его волнений и поисков состояла именно в этом, он выбирал, на что решиться, и не раз и не два мысленно уже заносил свой беспощадный карающий меч над головами бояр (пока что — над головами, но не над народом, которому льстил и с которым заигрывал, чтобы, получив в нем опору и окрепнув, затем учинить расправу и над ним); он и теперь словно бы чувствовал в руках этот меч со стекавшей по жалю его липкой боярской кровью, но — как раз к сей простой и очевидной в замысле своем истине и не хотел притрагиваться, не хотел открывать ее перед собой, то есть сдерживать покрывало, лежавшее на ней; ему нужна была не правда, а нужна была ложь, которая могла бы предстать

правдой и обелить его перед нынешним и грядущим поколениями, и весь смысл его душевных терзаний как раз и заключался в поисках этой нужной правды.

Трудно сказать, явление ли Сильвестра подтолкнуло его к сим тревожным, изматывающим раздумьям, когда, лежа в темноте и чувствуя себя словно погруженным в густой, безграничный и вечный мрак, не мог заснуть и бодрствовал душой, или, напротив, таившиеся лишь в глубине и теперь пробудившиеся мысли, вызвав к жизни Сильвестра, открыли для себя этот нужный простор, на котором только и могли разгуляться, составляя самые различные и неожиданные (для оценок и выводов) связи между событиями, казалось бы, давно устоявшимися и получившими свое место в истории, — ни Иоанн, ни летописцы его не оставили должных свидетельств. Да и можно ли предположить, чтобы человек, подобный Иоанну, мог хоть с кем-либо поделиться своими душевными терзаниями? Слабость человеческая, присущая простым смертным, не может быть присуща самодержцам. Иоанн не мыслил себя иначе, как только — помазанником Божьим, и если что-то задумывал и исполнял, то так было угодно Богу; если сомневался и мучился, то тоже — от Бога, посылавшего свои великие испытания. Позднее всю свою коломенскую бессонницу Иоанн так и определит, что Господь послал ему испытание; он даже с гордостью скажет любимчику, что не сломался, выдержал и что вообще велик и силен человек не телом, а духом; но то, что будет происходить потом, было пока отдалено от Иоанна и неясно ему, он лишь готовился вступить в бестелесный и вязкий мир видений, и первый шаг, который предстояло ему сделать в эту бессонную в Коломенском ночь, давался ему с трудом и мучениями. Каждую минуту, куда бы мысли ни уводили его, он вдруг словно бы замирал перед шорохом шагов входившего в спальню Сильвестра. Но шаги затихали, и Сильвестр не появлялся. Он никогда не бывал в спальне прежде, не желал входить и теперь, как ни старался Иоанн силою воображения вызвать его. Бывший иерей Благовещенского Кремлевского собора, заточенный по воле Иоанна в Соловецкую обитель и тихо, безгласно умиравший там в келье, он еще явится и не раз перед Иоанном; явится не тогда, когда нужно царю, а в те, может быть, самые

неожиданные и неудобные для царя минуты, когда хоть кому-то от мира простых людей требуется постоять за правду, то есть, сорвав покрывало с тайны тайн всех и всяких тронных деяний, открыть перед самодержцем всю ужасающую суть его зловещего замысла. Но Иоанн не хотел ждать. Видя неизбежность подобной встречи и разговора с Сильвестром (разумеется, на уровне духа, но не на уровне материи), Иоанн не желал оттягивать время; он не то чтобы готов к защите, но готов был к нападению (как в свое время сделал это в пространнейшем ответе Курбскому) и беспокоился лишь, чтобы не иссякла готовность и не растратились в одиночном умствовании нужные доводы.

Он то приподнимался и сидел на постели, вглядываясь в темноту ночи, то вновь ложился на спину, смотря по тому, о чем в тот или иной момент вспоминалось ему, и пласт за пластом, начиная с малолетства, выстраивал свою страдальческую будто бы, как он представлял ее, и требовавшую отмщения великокняжескую и царскую жизнь.

XLII

Нельзя утешаться мыслью, что цари по лености или беспечности не знают или недостаточно осведомлены о своей родословной, об истории и традициях народа, коим выпало им руководить, истории страны и других народов и государств; когда делаются попытки объявить кого-либо из властителей всего лишь невеждой и неучем, то не обман ли это, не желание ли, опорочив носителя власти, то есть приписав одному лицу все дурные начала в государстве и обществе, сохранить незыблемой самую основу власти? Суть власти, ее законы, если хотите, ее бессмертие, в чем оно заключено и что каждый помазанник, венчаясь на царство, должен знать и вышолнять, впитывается ими с молоком матери. Отвечая Курбскому на его обвинительное послание, Иоанн писал, что царство Российское «началось по Божьему изволению от великого царя Владимира, просветившего Русскую землю святым крещением, и великого царя Владимира Мономаха, удостоившегося высокой чести от греков, и от храброго великого государя Александра Невского,

одержавшего великую победу над безбожными немцами, и от достойного хвалы великого государя Дмитрия, одержавшего за Доном победу над безбожными агарянами вплоть до отомстителя за неправды — деда нашего, великого князя Ивана, и до приобретателя исконных прародительских земель, блаженной памяти отца нашего великого государя Василия, и до нас пребывает, смиренных скипетродержателей Российского царства. Мы же хвалим Бога за безмерную его милость, ниспосланную нам, что не допустил он доныне, чтобы десница наша обагрялась кровью единоплеменников, ибо мы не возжелали ни у кого отнять царства, но по Божию изволению и по благословению прародителей и родителей своих как родились на царстве, так и воспитались и возмужали и Божиим повелением воцарились, и взяли нам принадлежащее по благословению прародителей своих и родителей, а чужого не возжелали». Разумеется, здесь, в Коломенском, когда Иоанну не спалось и он, лежа в темноте с открытыми глазами, искал оправдание своим деяниям и замыслам (уже не перед Курбским, а перед историей), он не опускался до столь глубинных пластов; что представлялось бесспорным ему — его право на власть, — не могло вызывать сомнений у других, он более чем ясно сознавал это и, сознавая, вновь и вновь закипал гневом против притязаний бояр и духовенства. «Да понимают ли рабы сии, кто они есть?» И хотя память Иоанна начиналась с похорон матери, но и все предшествовавшее ее смерти и похоронам, как и венчание на царство и само царствование отца, великого князя Василия (о чем Иоанн знал лишь по рассказам), теперь широкополотно и с живостью поднималось в сознании и как оправдательный документ проходило перед ним.

Но не чувствующий за собой вины или хотя бы не обуреваемый сомнениями человек не будет оправдываться, тем более с такой настойчивостью и горячностью, с какой это делал сейчас Иоанн. Если посмотреть с точки зрения существовавших тогда законов, право его на царствование было не столь уж и бесспорным. Главным наследником признавался старший сын, а по его смерти его дети; и по этому узаконенному праву после Ивана III на престол должен был взойти его внук; Дмитрий, а не Василий, который был млад-

шим сыном (от второго брака, от Софьи Палеолог); но взошел именно Василий, то есть не от ветви русской, а от ветви греческой, поправ таким образом исконное право старшинства, и многие свидетели той жесточайшей борьбы двух ветвей, двух начал, были еще живы и так ли, иначе ли вкрапливали в общественное мнение вокруг Иоанна (имея в виду, разумеется, его отца, Василия) свое пристрастное слово. Борьба между двумя наследниками началась еще при жизни Великого Князя и усугублялась тем, что Великий Князь колебался, кому отдать предпочтение: внуку ли, за которого стояла партия Елены, царской невестки и матери Дмитрия, или Василию, выдвигавшемуся стороной Софьи; то есть греческой и не во всем приемлемой для русских вельмож. Пересиливала то одна, то другая сторона, действуя путем всевозможных оговоров и интриг, и Великий Князь, назвав сперва своим преемником Дмитрия и возложив на него венец Мономаха, затем к концу жизни изменил решение и склонился на сторону Василия и Софьи, а защитников Елены, князей знатных и немало послуживших и ему, и отечеству, осудил на смертную казнь. Князю Симеону Ряполовскому, как сообщают летописцы, отсекли голову на Москвереке, а князя Ивана Юрьевича Патрикеева и старшего сына его, боярина Василия Косого, постригли (после заступничества митрополита Симона и архиепископов) в монахи.

Историю эту поведал Иоанну сам Василий Косой (в пострижении Вассиан), когда юный царевич, объезжая российские монастыри, оказался в обители святого Кирилла Белозерского. Напоминавший древнего старца, хотя и пребывал не в преклонных еще годах, надломленный душевно еще более, чем физически, и ничего уже не желавший, кроме как тихо, в благочестии умереть, старец Вассиан принял Иоанна в своей мрачной, с одною лишь свечой, горевшей на дощатом столе, келье, в которой прошла почти вся его обесмысленная теперь жизнь; он даже, как это казалось современникам, не вполне понимал то значение, какое имело или могло иметь появление юного наследника престола и будущего самодержца для судьбы державы, и говорил не то чтобы с неохотою, но с тем глубоким равнодушием, как могут говорить только окончательно (и давно!) смирившиеся со своим положением люди.

В его словах не было ни упреков, ни обиды, ни сожаления, так как он верил, что на все есть воля Божья и что только послушанием и молитвами человек может очиститься от скверны и добиться прощения; и лишь когда заговорил о самой казни, как отсекали голову князю Симеону Ряполовскому на льду Москвы-реки (еще не постриженный в монахи, он вместе с отцом был приведен на лед к месту сей страшной расправы и видел все), глаза вдруг оживились былыми страстями, и затем снова, стоило Вассиану взглянуть на икону пресвятой Богородицы, висевшую в углу кельи, все остепенилось и угасло в нем.

Но Иоанн совершенно по-иному, чем подавалось ему, воспринял рассказ, и спокойствие старца, напротив, лишь обострило интерес к той жесточайшей борьбе сторон — консерватизма и новизны, коренного и привносимого, — от исхода которой, без преувеличения можно было бы сказать теперь, зависело не только многое и многое в тогдашнем становлении державы, но и в судьбе самого Иоанна. Он вполне мог бы оказаться не на престоле, а лишь в числе тех горе-претендентов (от царского семейства), коих обычно всегда достаточно вьется у трона и которых, опасаясь, либо унижают и притесняют, либо вовсе убирают с дороги. Стараниями родителей Иоанн счастливо избежал сей участи, но самая возможность ее — нетрудно вообразить, как она поразила юного царевича. Он не то чтобы вот так же ясно представил себе, чем бы все обернулось для него, и не то чтобы засомневался в своих правах, нет, содеянное дедом и отцом не подлежало пересмотру, но ради спокойствия своего и ради большей уверенности, он чувствовал, следовало бы ему детальней разобраться во всем, и спустя год он снова отправляется в обитель святого Кирилла Белозерского, чтобы повидаться с Вассианом. Но старца уже не было в живых, он был скромно похоронен на монастырском кладбище, и холмик над ним еще не успел зарости травой, когда Иоанна подвели к нему. Сопровождавшие юного царевича недоумевали по поводу этого странного интереса к бывшему опальному боярину, иноку Вассиану. Возможно, борьба двух начал, которая затем на столетия будет положена в основание всей нашей общественной и государственной жизни, отвлекая народ и власти от дел совершен-

ствования и направляя усилия на эти, в сущности, бессмысленные, бесплодные распри, представлялась им всего лишь очередной семейной, в царском доме, драмой; но Иоанн уже тогда, в юные свои лета, сумел уловить историческую основу сих событий и, предугадывая их значение, как раз и стремился достичь истины. Истина же состояла в том, что Дмитрий имел больше прав на престол, чем Василий, и права его подкреплялись еще и высокородством и славой (по материнской линии) тверских князей, считавшихся потомками Всеволода Великого; но за Василием, сыном Софьи Палеолог, как нечто более значительное, выдвигались атрибуты византийской императорской власти, по рождению уже числившиеся за ним, и в представлении Иоанна, как и многих его современников, титулы эти, эти атрибуты власти казались неизмеримо весомее и перетягивали все. Иоанн и в себе чувствовал это некое византийское начало и не только безоговорочно был на стороне отца и деда, но и гордился ими и с восхищением думал о них.

Однако что же все-таки заставляло его не раз и не два (и уже гораздо позднее) возвращаться к этим исходным как будто бы для него событиям и, главное, здесь, в Коломенском, в первую же бессонную ночь возбудило столь явный интерес к ним? Только ли из остроты юношеских впечатлений или по какому-то глубокому и не вполне еще, может быть, осознававшемуся им смыслу, словно и в самом деле нечто очень важное и основополагающее для решения государственных дел все еще неразгаданным таилось в них? Известно, что расправа над родовитыми тверскими князьями, особенно над Симеоном Ряполовским, одним из потомков Всеволода Великого, была оценена в народе однозначно, как злокозни чуждой всему русскому чужеземной царицы Софьи с ее приверженцами, и потому к ее сыну Василию, взошедшему на престол, было настроенное и далеко не однозначное отношение. Он не пользовался должной поддержкой и должной популярностью, и Иоанн не без основания опасался, что непопулярность хотя и косвенно, но падет и на него, и хотел предпринять меры, чтобы не допустить этого. Он чувствовал, что ему надо принять сторону народа, по крайней мере, хотя бы декларативно заявить об этом (что, кстати, как увидим далее, и было сделано

им и дало повод многим определенного толка историкам своеобразно, если не сказать больше, оценить царствование Иоанна), и чтобы изменить традиционной отцовско-дедовской политике, какую Иоанн с еще большей жестокостью собирался проводить, но переменить площадку, с какой предстояло действовать (он более чем ясно видел необходимость подобной замены), чтобы, главное, подавить противоречие в себе самом, он и хотел найти нужное обоснование. Обычная природная сообразительность подсказывала ему, что ответ лежал в деяниях отца и деда, и, как это всегда и бывает в таких случаях, человек обращается не ко всему, что происходило и чего не объять, а лишь к главному, как узел, стягивающему на себе все. Таким главным в деяниях отца и деда как раз и являлась для Иоанна казнь Симеона Ряполовского.

XLIII

На исходе стыллой февральской ночи, когда поземка, наметая сугробы и перегораживая ими дороги, сквозняком пронизывала Москву, из Боровицких ворот Кремля, пробиваясь через эти сугробы, выехал небольшой, из трех-четырёх упряжек, санный обоз и, обогнув Водовзводную башню с обледенелыми возле нее мостками, начал спускаться к реке. Оттепель еще не наступала, всю предшествовавшую неделю держались морозы, и лед на Москве-реке был крепок. Достигнув середины реки, упряжки остановились, и холопы и стражники, выйдя из саней, сейчас же принялись за дело. Установив четыре (по квадрату) факела, одни принялись пешнями готовить прорубь, другие — прямо перед прорубью сооружать помост из привезенных бревен и досок. Никто еще не знал, что и для чего готовилось ими, горожане, закрывшись в домах, мирно досматривали свои зоревые сновидения, кое-где в церквах начали готовиться к заутрене, и ночные сторожа, прятавшиеся по закуткам от поземки, вдруг, словно спохватившись, звучно оглашали улицы своими трещотками. Не спали только князь Симеон Ряполовский да князя Патрикеевы — отец с сыном, которым было уже объявлено о воле царя, да митрополит Симон с архиепископами, приготовившиеся опечаловать

отца и сына Патрикеевых перед царем. Святители молились в церкви Успения, дожидаясь, пока пробудится царь и выйдет к заутрене. Они были в позолоченных рясах, клобуках и с крестами в руках, то есть представляли во всем своем церковном великолепии, полагая, и не без основания, что величие духа, подкрепленное величием одежд, не может не произвести впечатления на царя и не умилоstitивить его. Не знаю, может, и не стоило бы здесь прибегать к обобщению, в коем всегда что-то преувеличивается, а что-то преуменьшается, но так уж, видно, устроен человек, что не может удовлетвориться частностями; в то время как народ, ничего не ведая, готовился лишь к встающему дню, чтобы заняться своими обычными житейскими делами, в царских палатах за кремлевскими стенами ему уготавливалась неведомая и жестокая судьба: одна Русь, корневая, со всем своим устоявшимся укладом, представавшая перед историей в облике приговоренных тверских князей, должна была погибнуть, другая, представленная в облике Василия, его матери, царицы Софьи, с приверженцами, восторжествовать, накладывая на все свой отпечаток, и третья, только и получившая за вековую и верную службу свою великим князьям право опечаловать, готовилась, как униженный проситель с протянутой рукой, осуществить свое заступничество перед всемогущим и не подотчетным никому Божьим помазанником.

Да, таким представляется мне то время, хотя я и далек от мысли, что в событиях тех было нечто особенное, роковое для общей судьбы народа и государства; почти в каждом столетии с нашим народом происходило нечто подобное, круто, иногда даже непоправимо круто изменявшее весь устоявшийся уклад жизни, как это было с появлением Рюриковичей, крещением Руси и всеми последующими (такого масштаба) событиями вплоть до октября семнадцатого, когда на не успевший еще отдышаться от урагана веков российский люд обрушилась новая кровавая, разрушительная волна все с той же одной и благородной будто бы целью — сломать старый и установить новый социальный порядок, основанный на торжестве вроде бы самых заманчивых и порождающих лишь утопические мечты понятиях свободы, равенства и братства. Все, все в жизни повторяется, рознясь разве что шириной и

грандиозностью замыслов и трагичностью последствий, как несравнимы, к примеру, упомянутое уже крещение или сама Иоаннова эпоха, положившая опрочину на тело державы, так что и поныне никто не в силах отменить ее, с этой описываемой здесь борьбой за престол двух наследников, Дмитрия и Василия, обозначивших и борьбу двух жизненных начал. Но то, что всегда так ясно просматривается издали и чему с той или иной точностью историки, да и не только историки, обычно дают оценку, остается недоступным для восприятия современников; и не потому, что толсты или высоки кремлевские стены и неподступны кабинеты с бронированными дверьми и охраною возле них, за коими сегодня, не считаясь с волею людей, решается их настоящее и будущее; страшное здесь в другом, в том, что зависимость миллионов от произвола одной правящей личности, как она была положена от века, остается неизменной и поныне, и всякая попытка изобразить Иоанна другим, чем он есть, то есть вынуть его из этого постоянно вращающегося круга, только бы исказила истину. Мысленно обращаясь теперь к деяниям отца и деда, он присматривался к ним и разбирал их не с точки зрения нужд и выгод народа, а исходя лишь из своих, чтобы, с одной стороны, еще более укрепились бы его единоличная власть, а с другой — все содеянное уже им получило бы (в умах потомков) благородную оценку. Ему неважно было, что в то морозное февральское утро происходило с дедом, Иваном III, с юным Дмитрием и Еленой и не менее юным Василием и Софьей, торжествовавшей победу; если что и беспокоило их, то он знал, как умеют царствующие особы скрывать чувства и представлять гордыми и уверенными в себе. Не удостаивалось его внимания и духовенство, собравшееся во всем своем обрядовом великолепии в церкви Успения, потому что — более чем представлял, как происходит опечалование и как умеют просочиться в царскую душу и растопить ее сии не способные будто бы шагнуть за рамки библейских истин святители, и еще менее интересовал его тот спавший московский люд, именем которого (и во благо будто бы ему) и должна была совершиться расправа над тверским князем. Нет, Иоанна интересовало не это глубинное, чем обычно определяются события подобного рода и что так ли,

иначе ли, но неминуемо должно отразиться на судьбе народа и державы, а лишь внешнее, что поражает людей и затем остается в их памяти — на столетие ли, на века ли, оборачиваясь в них генами боязни и послушания, столь ценимыми властью в народе и столь потребными ей в нем. Странно, да, может быть, странно, но он словно бы с высоты зубчатой кремлевской стены видел перед собой скованную льдом реку, людей и факелы, освещавшие эти сторбленные работающие фигурки, и по мере того как занималось утро, высвечивая помост и прорубь, могильною ямой зиявшую перед помостом, нарастало в нем ожидание минуты, когда не малиновым, к заутрене, а набатным, созывающим людей звоном все огласится окрест.

Может быть, оттого, что окна были наглухо закрыты изнутри шторами, а снаружи ставнями, в спальне, казалось, было густо от темноты, и в те мгновения, когда в сознании Иоанна вдруг наступало прояснение, — даже в этой непроницаемой темноте он начинал испуганно озираться, как если бы вокруг кровати, столпившись, и в самом деле стояли недоброжелатели, пришедшие известить его. Он не видел их лиц, но ему казалось, что видел их тени и слышал их дыхание и, приподымаясь, протягивал руку и шарил ею перед собой. «Позвать стражу, холопов, крикнуть, чтобы зажгли свечи», — поочередно возникало в сознании; но что-то еще более пугающее продолжало удерживать его, и, убедившись в конце концов, что в спальне никого нет, он снова откидывался на подушку, и снова — словно лишь прерванная на время картина предстоящей казни князя Ряполовского во всех только что виденных им подробностях разворачивалась перед ним. Помост был готов, прорубь зияла, факелы либо догорели, либо были погашены. Но стражники и холопы не уезжали; они, видимо, должны были сдать кому-то свою работу или, как и он, Иоанн, издали, с высоты кремлевской стены наблюдавший за ними, с нетерпением дожидались, когда траурно-набатно ударят колокола, и весь ужасающий механизм расправы с осужденными, судьями и палачом, держащим перед собою топор, придет в движение, и люд ахнет вместе с тем, как отрубленная голова полетит в прорубь, а из шеи хлынет на помост и на лед, окрашивая его, княжеская невинная кровь. Не ходом маятника, а стуком сердца

отсчитывается в такие секунды время; тишина гнетет, нависает, словно тяжесть, и р-раз — Иоанн даже будто обернулся со своей наблюдательной вышины на церковь Успения, собор Благовещения и колокольню, с которой покатались на чистый, не запятнанный еще кровью лед, удары набата.

XLIV

Колокольный звон, то затихая, то усиливаясь, еще прокатывался над рекой, помостом и прорубью, могильно зиявшей на запорошенном поземкою льду, когда первые и редкие пока обывательские толпы начали стекаться к реке под кремлевскую стену. Всем было ясно, что собирались кого-то казнить, что намечалась расправа, но над кем — люди недоумевали и, крестясь, пытались выяснить друг у друга, кто же этот несчастный и что совершил, действительно ли злодейство против царя и народа, решив изменить православию и переметнуться ко всякого рода безбожным «агарянам», коими с востока, запада и юга, как это воспринималось тогда, была обложена Русь, или лишился жизни безвинно, лишь за лихость и самовольство, проявленные перед царем, что по тем временам, как, впрочем, и теперь, считается недопустимой дерзостью. Во всяком случае, судя по приготовлениям, обезглавливать собирались не просто вора и нехристя, для которого не стали бы возводить помост, а, связав, бросили бы в прорубь, затолкали баграми под лед — и дело с концом; нет, наделенным благами при жизни надлежит и с определенной торжественностью умирать, и по этому житейскому доводу сейчас же возникло в народе, словно оглоушив его, предположение, что собираются казнить кого-то из царевичей, то ли Дмитрия, то ли Василия, претендовавших на престол. Народ более стоял за Дмитрия. В памяти людей было еще живо, как Государь всея Руси Иван III в блеске всего собравшегося двора, бояр, духовенства вошел с пятнадцатилетним внуком Дмитрием в Соборную церковь Успения и, посадив его между собой и митрополитом и прослушав молебен, произнес: «Отче Митрополит! Издревле Государи, предки наши, давали Великое Княжество первым сынам своим; я также благословил сына моего первородного Иоанна. Но по воле

Божией его не стало; благословляю ныне внука Дмитрия, его сына, при себе и после себя Великим Княжеством Владимирским, Московским, Новгородским, и ты, отче, дай ему благословение». Дмитрию велено было ступить на амвон, и после благословения Государь, приняв венец и Мономаховы бармы из рук Первосвященника, возложил их на внука. Москва торжествовала. Три дня, не прекращаясь, шли празднества; три дня по церквам проходили торжественные богослужения; на вынесенных перед дворцом царских столах не убывало угощений, и юный Дмитрий в великокняжеском облачении собственноручно ковшом разливал питье (что как раз более всего и запоминается в народе и определяет, к сожалению, к великому сожалению, его мнение о том или ином властителе); счастлива была Елена, счастлива была тверская княгиня Анна, князь Рязполовский и князья Патрикеевы, гордившиеся древностью своих знаменитых родов. Не забыт был и Иоанн, отец Дмитрия, в память его прошли поминальные молебствия, и отцы церкви, посоветовавшись, готовы были канонизировать его в святые.

Об этом и вспоминал теперь собравшийся под кремлевской стеной напротив помоста мастеровой и торговый московский люд. И, как это всегда бывает при подобных случаях, толпа невольно и все сильнее самовозгоралась тем страшным чувством (его иногда еще подменно именуют патриотическим, смешивая понятия совершенно разные и несовместимые), которое, захватив, способно повести людей на любые неразумные деяния. «Не дадим! Не позволим роду греческому управлять нами!» — хотя и робко, но уже раздавались голоса в толпе. Они основывались на том, что сын Софьи Василий не провозглашался всенародно Великим Князем, и ни в церкви Успения, ни где-либо еще на него не возлагались ни царский венец, ни Мономаховы бармы; он только (и то с робостью) был объявлен Великим Князем Новгорода и Пскова, и на возмущение псковитян, требовавших Дмитрия, Иван III с дерзостью ответил: «Разве я не волен в моем сыне и внуке? Кому хочу, тому и дам Россию. Служите Василию!» Но даже и об этом народ почти ничего не знал, а если и знал, то лишь понаслышке, и тем более — был недоволен и Софьей, и Василием. Так, по крайней мере, рассказывал Иоанну инок Вассиан, и так пред-

ставлял себе все сейчас Иоанн; и пока, напрягаясь воображением и мыслью, следил за возникавшим в толпе волнением, все должное происходит на льду происходило своим чередом, к реке спустились стрельцы, конные ратники и выстроились в каре перед помостом, а за ними по проторенной уже от Водовзводной башни колее вели закованных в цепи князей Патрикеевых и Рязполовского. Измученные дознаниями, то есть пытками, и под пытками же оговорившие себя, они уже не напоминали князей. Однако в народе их сейчас же узнали, и толпа, ожидавшая одно, но получившая другое, замешалась и притихла, а когда все от той же Водовзводной башни начали спускаться к реке духовенство, бояре и Государь со всем своим разодетым, словно на праздник, двором, и вовсе — никто уже не смел ничего сказать. Государя встречали поклонами. Хотя он был уже стар и отнюдь не молодцевато, как бывало, держался в седле, но рыжий с пролысиною на лбу и в белых чулках конь под ним игриво гарцевал, клоня голову и колесом выгибая шею. В собольей шапке и шубе, полы которой кокетливо отворачивались, Государь производил то величественное впечатление, какое, казалось, только и было достойно российского престола; чувство величия, а вернее, причастности своей к этому величию передавалось народу и подменяло в нем желания одни — возмущения и протеста — желаниями другими — поклонением и покорностью (что, разумеется, свойственно не только людям русским, но и вообще любому народу и в психологическом плане всегда используется против него). Рядом с Государем, чуть приотстав и тем же игривым аллюром, продвигался юный Василий. Не объявленный еще Великим Князем, но уже в великокняжеском убранстве, он и в самом деле ехал словно на торжества; ничем пока не омраченное лицо его выглядело открытым и просветленным, он был еще чист и душой, и помыслами, и, оберегаемый Софьей и Государем, и всей той (греческой) просвещенностью, которая уже теперь словно бы возносила его над забитостью россиян (он и войдет затем в историю как просветитель, вернее, покровитель всего западного, что хотя и робко, но уже начало проникать в Россию, а главное, пристрастится к охоте, застольям и роскоши, уподобясь иным курфюрстам и королям), готов был теперь же принять

царский венец. За ним в санях ехала его мать, Софья, с вельможными греками, составлявшими ее свиту. Но ни Дмитрия, ни Елены не было видно; они сидели взаперти, под домашним арестом, и могли лишь догадываться по набатному звону, что должно было происходить под кремлевскою стеной на Москве-реке.

А происходило следующее: Государь с наследником, окруженные свитой, выдвинулись прямо по центру перед каре, дьяк огласил приговор, обращаясь более к народу, чем к осужденным, и несколько дюжих стражников, со старанием решивших выполнить волю Государя, бросились к обреченному князю и потащили его к помосту (в отношении Патрикеевых было уже обговорено с духовенством, что их разведут по разным обителям и постригут в монахи). Князь Симеон Рязанский противился, гремел цепями и с гневом обращался на Государя. Он хотел прямо в глаза что-то сказать своему мучителю, но стражники, молодые и сильные, не давали ему остановиться. Они, как быка на бойне, завалили князя на помост и прижали к доскам; даже почувствовав, что он смирился с участью, только чуть поослабили, но не отпустили его. А рядом с помостом и обреченным стояли уже священник и палач. Священник прочитал молитву, палач вскинул топор, и отсеченная голова князя, отскочив на лед и зацепившись у края проруби, медленно начала сползать в нее, окрашивая воду. Иоанну казалось, что все теперь смотрят лишь на эту голову, на Государя и наследника, словно поведением своим они еще должны были объяснить что-то. Наследника со рвотой, сняв с коня, увели за каре, но Государь?.. Государь был невозмутим. Он даже не обернулся на сына. Сострадание к ближнему — нет, такое не для государей; властитель, позволивший себе сострадать, то есть уравниваться в правах со всеми, не властитель. Разумеется, не словами, а всей своей невозмутимостью и выдержкой Государь говорил об этом; он преподносил урок Василию, но в еще большей степени Иоанну, умевшему, как никто другой, оценить силу и величие духа своего династического предка. Он восхищался дедом, находя в нем пример для подражания, и обычно на этом и завершался его интерес к казни; но теперь, здесь, в Коломенском, словно что-то подменилось в сознании Иоанна; прорубь, помост, Государь, Василий — все

как живое продолжало стоять перед глазами, и он уже не с высоты кремлевской стены смотрел на происшедшее, а был рядом с помостом и прорубью и, будто в чашу с кровяною болтушкой, вглядывался в нее. Обезглавленное тело князя было уже затолкано баграми под лед, Государь, придерживая гарцующего коня, вместе с двором и боярами удалялся к Водозводной башне, разъезжались ратники, расходился народ, но Иоанн, словно и в самом деле все происходило не в воображении, а наяву, продолжал стоять у края проруби и смотреть на нее.

XLV

Да, да, нет ничего бесконечнее, чем глухая, темная зимняя ночь — хоть для царя, хоть для простолюдина, когда кошмары и прояснения от них, перемежаясь и вгоняя в холодный пот, обрушиваются на человека и, как в тисках смерти, цепко, удушливо держат его. Именно в таком состоянии и пребывал теперь Иоанн, возбужденный воспоминаниями, видением настоящего и будущего. Он то вновь принимался судорожно шарить перед собой руками, словно возле кровати и в самом деле стоял кто-то, готовый зловеще наклониться над ним, то откидывался на спину, и тогда видение, только что, казалось, разрушенное и отстраненное, опять и с еще большей реалистичностью представало перед ним. Иоанн будто не отходил от проруби, странно дожидаясь, когда над кровяной кашницей всплывут либо голова, либо туловище казненного; но вместо отрубленной головы князя из кашницы вдруг всплыла юная голова царевича Дмитрия и с каким-то светлым будто и потому особенно действенным укором взирала на Иоанна. Иоанн хотел было заслониться от нее, уйти, убежать, но и прорубь, и голова царевича в ней, словно привязанные, двинулись за ним, вопрошая: «Свое ли взял, как утверждаешь, по Божьему ли изволению воцарился?» Иоанн хотел было ответить, что «свое, по Божьему», то есть теми словами, какими отвечал Курбскому, обосновывая свое право на власть; но убежденности той, какая требовалась, чтобы произнести их, и с какою Иоанн писал Курбскому, — убежденности той не было, он чувствовал себя

будто бы уличенным в подлоге, будто обнаженным перед толпой, и эта-то обнаженность и заставляла ежиться и искать укрытие. «Нет, мы не возжелали ни у кого отнять царство, — беззвучно, торопливо и гневно бросил он смотревшей на него из кашицы голове царевича, — но взяли нам принадлежащее по благословению прародителей и родителей своих!» «Ну а родители-то, родители?» — не унималась голова Дмитрия. Столь дерзко еще никто не осмеливался говорить с Иоанном, и он с удивлением даже будто откачнулся, воскликнув, что кому же неизвестно, что свершается в жизни лишь то, что угодно Богу, и не людям, чей век — миг, судить о Его воле! Но вопрос заключался в ином, и уже через мгновение Иоанн ясно почувствовал это. Если истлевший царевич оттуда, из могилы, все еще подает знаки обиды, то — забыта ли история сия, сие страшное узурпаторство боярами, князьями, духовенством, и не это ли дает им основание для сомнений, заговоров, измен? Иоанн почти физически ощутил, что прикоснулся к самой сердцевине проблемы, и уже не прорубь и голова царевича в ней, а сонм убиенных и не убиенных еще им бояр, воевод, князей стискивающим полукольцом окружал его. Он пятился теперь от этого сонма, чувствуя бессилие и озлобляясь в нем, и уже не видениями, а реальностью, рассудочно все расставляя в ней, старался нащупать истину, которая укрепила бы его в его прежней убежденности.

Он уже не лежал, а сидел на кровати, свесив к полу босые ноги, и в этом положении, избавлявшем его от кошмаров, безбоязненно, даже будто не замечая темноты, смотрел перед собой; смотрел именно в эту густоту ночи, живо воспроизводя на фоне ее совсем иные, чем окружавшая его действительность, картины жизни. Во дворцах всегда есть охочие до «восстановления истин» люди, и память у сих людей, нужная им более для интриг, чем для восстановления истин, может сравниться лишь с пространным летописным сводом; не только носители фактов, но искусные, как это обычно кажется им, психологи, они более чем услужливо и, разумеется, в определенном и желательном для себя свете успели еще в юные годы преподнести Иоанну историю его отца и деда, приобщив таким образом к борьбе, которая велась за великокняжеский

трон, и вызвав, именно вызвав в неокрепшей, формирующейся душе потребность к насилию, жестокостям и воле. То, что тогда, в детстве, окружало будущего российского самодержца и было названо затем историками боярским правлением и что более чем преподносило наглядный урок (ведь вблизи трона, помогаясь его, люди во все времена безумствовали, как безумствуют и теперь), пока не затрагивалось Иоанном, он словно бы знал, что впереди у него было достаточно времени — две недели, достаточно ночей, чтобы не раз и не два прокрутить перед собой всю, от пеленок и до коломенских бессонниц, свою царскую жизнь; но сейчас ему хотелось разобраться только в прошлом, только в том, насколько крепки и обоснованны его права на власть и не значатся ли и в самом деле за отцом и дедом те страшные неправды, о которых так устойчиво твердит молва и в народе, и среди духовенства и бояр. «Так свое ли взято или не свое, по Божьему ли изволению или только благословению прародителей и родителей своих?» — вот вопрос, на который Иоанн не то чтобы хотел ответить себе, но ответить всем, кто позволял еще сомневаться, чтобы утвердить среди них одну, свою и на веки вечные правду.

Но не дивно ли, чтобы жизнь повторилась; повторилась в тех же подробностях, в каких представляла перед участниками, вознося одних, ниспровергая других, утверждаясь силой, величием и творя извечную свою несправедливость? Ведь память, она только в мыслях способна воспроизводить минувшее. Но кто может поручиться, что воспроизводящий это минувшее, то есть жизнь, не ощущает себя участником ее и не испытывает столь же болезненно и остро, уподобляясь современнику, всю тяжесть происходящих событий? Дивно, но факт — через душу может проходить все, что способна восстановить или воссоздать человеческая память, и эта нереальная будто, но в то же время более чем реальная жизнь, перенесенная с пространства земли на пространство ума, часто оказывается куда драматичней (по воздействию и спрессованности событий), чем представляла перед глазами современников, то возбуждая, то убаюкивая их чувства, интересы и мысль. Казалось бы, что могли сказать Иоанну те горстки глена, покоившиеся под надгроб-

ными плитами в фамильной усыпальнице царей (что, в сущности, только и осталось материального от его отца и деда), но он думал о них не как об ушедших, но как о живых, творящих судьбу свою и державы (конечно же, с изволения Божьего и по воле Его). В маленький, замкнутый квадрат дворцовой спальни в Коломенском, в которой мучился теперь бессонницей грозный российский самодержец, в эту непроглядную перед ним тьму, в которую он смотрел, в самую ее гущину, раздвинув ее, перенесены были лишь силою воображения и палаты деда, Великого Князя Ивана III, и отца, Великого Князя Василия Ивановича, со всем его пышным двором, боярскою думой и советниками, светлицы Софьи, Соломонии, Елены, темница Дмитрия и келья его матери, насильственно постриженной в монахини, а говоря иначе, весь тогдашний Кремль с его великокняжеской и придворной жизнью, освященной духовными иерархами, — все, все уместилось теперь в пространстве спальни, в которой со свешенными к полу босыми ногами, застывая, продолжал сидеть на кровати одержимый думами самодержец.

XLVI

Известно, что нет в мире исторического события, которое бы однозначно оценивалось в официальном изложении и во мнении народа. О восхождении Василия на престол молва гласила, будто Великий Князь и Государь всея Руси Иван III, лежа уже на смертном одре, велел привести к себе из заточения Дмитрия, повинился перед ним и сказал: «Иди, правь государством». Дмитрий растроганно прослезился, простил все Великому Князю, но, как только вышел из дворца, был тут же схвачен людьми Василия и вновь заточен в темницу. По официальной же версии, напротив, выходило так, словно никакой борьбы за трон между царевичами вовсе не было, а все разрешилось полюбовно, мирно, будто Дмитрий, сославшись на хилость здоровья, удалился в свои вотчины и, отшельнически запершись в них, то есть добровольно отгородившись от мира, повелел править Василию. Внешне это подтверждалось тем, что ни Дмитрий, ни

его мать Елена и в самом деле не появлялись при дворе (куда, впрочем, запрещено было появляться им еще Иваном III), что никто вотчин не отнимал у них и не передавал никому, что державу принял Василий без всяких пышных обрядов и что в довершение ко всему, надев венец Великого Князя и Государя, поровну разделил казну и принародно (и с охраной) отправил Дмитрию его долю. К тому же никто не снимал с Дмитрия его великокняжеского титула, и, когда спустя три года он тихо скончался в этом своем именно добровольном будто отшельничестве, ему были устроены пышные царские похороны. Россия увидела его, как сообщают летописцы, на «великолепном одре, торжественно отпеваемого в новом храме Святого Михаила и преданного земле подле гроба родителя». Весь великокняжеский двор следовал тогда за гробом, все сожалели о ранней, безвременной кончине, лили страдальческие слезы (как, впрочем, традиционно продолжают лить и теперь, сначала, при жизни, убивая, а затем, после смерти, преклоняясь перед убиенным и возвеличивая его), и сильнее всех, казалось, был опечален Василий. В горести он даже на несколько дней отложил охоту, к которой уже тогда, уподобляясь неким курфюрстам и королям, как отмечалось, начал пристращаться. В общем, если верить изложенному, все выглядело столь благостным, что можно бы и не выяснять ничего и не волноваться Иоанну.

Но ведь между тем, как исторические события подаются на общественный стол жизни — в официальных ли версиях или в народном сочинительстве, — и тем, как все происходит в действительности, всегда есть различие, которое в корне иногда изменяет отношение к ним. Действительность же в данном конкретном случае была таковой, что если бы перед современниками (как, впрочем, и перед ранними да и позднейшими историками) все предстало в истинном своем свете, то в поступках Василия, добивавшегося и добившегося-таки трона (нет, нет, и победителей судят; и не всегда лишь по прошествии десятилетий, но и язвительною молвой современников), не только не обнаружались бы столь воспеваемые в нем позднее стремления к доброте, благородству и справедливости (в этом отношении он более чем достойный предтеча Грозного), но проявились бы во многом неведомые

дотоле на Руси утонченное коварство и утонченная жестокость как по отношению к племяннику, царевичу Дмитрию (и в первую очередь к нему!), так и по отношению к Соломонии, первой своей супруге, с которой в любви и согласии прожил более двадцати лет, а потом насильственно постриг в монахи. Власть его была таковой, что за одни лишь «непригожие речи» он мог приказать отрубить голову любому, как поступил со знатым придворным Берсеном Беклемишевым, но вернемся-ка лучше к его воцарению, ко всем тем перипетиям, коими отмечено было это событие, к той действительности, в которой столь странно будто бы, на первый взгляд, так необходимо было Иоанну разобраться накануне задуманных им державных перемен. Он, в сущности, пытался прикоснуться к той страшной закономерности, по которой, сколько бы ни уверяли философы, что главенствующую роль в событиях всегда играет народ, выходило, что история человечества, как, впрочем, и история России, то есть державы, Богом будто бы данной ему в управление, есть всего лишь непримиримая и кровавая борьба за власть — династических ли претендентов, отдельных ли (политических, как мы бы сказали теперь) личностей или групп и слоев населения, выдвигающих на передний край этой борьбы своих представителей; причем успех в подобной борьбе обычно приходил не к тем, кто действовал явно и по справедливости, а к тем, кто умел амбициозные свои притязания искусно прикрыть тогою неких общих будто бы интересов и привлечь на свою сторону народ. Борьба двух царевичей, Василия и Дмитрия, тоже в этом плане не была исключением; она велась не столько даже за престол, как это было на самом деле, сколько будто бы за чистоту православной веры (как должно было выглядеть в глазах общестственности) против «жидовствующей» ереси, и при этом сторона корневая, то есть князья тверские, потомки Всеволода Великого, поддерживаемые царской невесткой Еленой и ее сыном Дмитрием, возведенным уже в сан Великого Князя, объявлялись пособниками еретиков, а значит, и изменников народному делу, в то время как сторона греческая, Софья со своим сыном Василием, поддерживаемые главными борцами против еретиков игуменом волоколамским Иосифом Волоцким и новгородским архиепископом Геннадием, —

греческая сторона выступала хранительницей чистоты православной веры, а значит, и народности.

Но была ли «ересь» на самом деле или сии так называемые «еретики», высказавшись за реформу Церкви, намеревались всего лишь вернуть ее к ее изначальной сути, когда она выступала действительной защитницей народа, а не была в услужении у властей и не стремилась к обогащению и стяжательству в угоду и во ублажение духовных иерархов (вопрос более чем серьезный, и о нем еще будет время и место поговорить); но как раз желание приблизить Церковь к Учению, то есть к догмам, на которых она основывалась, как бы ни казались они кому-то хоть тогда, хоть теперь несовершенными, совершенными или сверхсовершенными, — желание это наталкивалось на противодействие тогдашних магнатов российского православия, и они, не хотевшие терять ничего из своих приобретений, дававших им право не только на духовную, но во многом и на светскую власть, включив в понятие «чистота веры» незыблемость установившихся церковных порядков, а говоря иначе, подменив истину ложью, повели гонения на «еретиков». То, что действительно было судьбоносным для народа и могло принести блага ему, было названо антинародным, а то, что могло лишь узаконить рабство или, вернее, привести к крепостничеству, на столетия вперед искалечив души людей, придавив в них, словно могильными плитами, чувство гражданского достоинства, руками ретивых и ревностных будто бы к службе церковников возносилось на пьедестал. К подобному фарисейству не раз еще будут затем прибегать в нашей истории деятели разных уровней и призывать в соучастники народ для травли инакомыслящих, а потому неугодных будто бы обществу личностей; к подобному же страшному делу (осознанно ли, неосознанно ли — вопрос другой) как раз и подготавливал теперь себя Иоанн, чтобы, подменив понятия, сначала привлечь на свою сторону народ и расправиться со строптивым боярством и несговорчивым духовенством, а затем с помощью уже бояр и князей (ведь причина в основном только и состояла из них, да еще иностранных ловцов богатства и славы, которым и вовсе ничего никогда не жаль было на Руси, по их собственным же заверениям) рассчитаться с народом. Он хотел только

одного: власти, власти и власти, как скупец золота, чтобы услаждаться его скопищем и блеском; и, как скупец, постоянно думающий о своих подвалах, в которые могут проникнуть воры и разграбить их, и о засовах, способных уберечь от разграбления, принужден был дрожать за это свое нематериальное, основанное лишь на «Божьем изволении» да на «благословении прародителей и родителей» помазание, более беззащитное и подверженное воровству. Но тут одно только надо иметь в виду, что Иоанн, разумеется, не мог столь ясно и с таким откровением думать о своих венценосных устремлениях; подобное откровение лишь обнажило бы перед ним весь цинизм его предстоящих дел, тогда как известно, что никакое зло не совершается под знаком зла, но всегда несет в себе некое заложенное оправдание; и если его нельзя обосновать политическими или философскими доводами, то для облегчения все переводится в стихию житейских дел, как это и происходило теперь в сознании Иоанна, когда вместо обобщений, вместо исторической жизни людей, выраженной в закономерностях, он брал за основу личности, то есть явления частные, которыми и заслонял все перед собой. Манипулировать судьбами народов всегда опасно и нежелательно, потому что кроме сиюминутных и так называемых зависимых оценок есть еще категории оценок исторических, беспристрастных и немумолимых, как возмездие; манипулировать же судьбами личностей, унижая или возвеличивая их, бывает не то чтобы проще и безопаснее, но тут всегда есть возможность, объявив незыблемым общий монолит жизни, представить неугодные личности некими (и всего лишь!) отщепенцами, изменниками общенародного дела. Да к тому же частность в масштабах державы — это всего лишь частность, и здесь — какой же спрос за ошибки? «Лес рубят — щепки летят», — столетия спустя, обосновывая свои жестокости и все так же заботясь будто о сохранении монолита народной жизни, скажет новейший российский самодержец.

Но дело не в параллелях и даже не в истоках, берущих начало будто бы от царствования Иоанна, как утверждают некоторые ученые, успевшие достаточно уже пустить в обиход это свое «историческое» изыскание; корни сего явления гораздо глубже, их можно обнаружить не столько даже в отечественной,

сколько в мировой истории человечества, в которой если и повторяется что, то оборачивается для народов (и что особенно характерно для нашей, отечественной) отнюдь не фарсом, а еще более ужасающей трагедией, так что Иоанн для своего времени — это всего лишь волею случая вознесенный на вершину пирамиды насилия самодержец, чтобы, завершив эру одних бед, заложить фундамент для других, и не менее затажных и губительных. Но, повторяю, подобный исторический взгляд на прошлое нельзя автоматически переносить на Иоанна. Видя, или, вернее, сознавая себя на завершающем венце пирамиды, на котором вполне мог бы оказаться и любой другой Иоанн, он, разумеется, и мыслил иначе, и доискивался иных истин. В расщеплении общественных интересов и целей, а проще — в той политической обстановке, заложенной еще дедом и продолженной затем отцом, в какой он принужден был действовать, ему нужен был стержень, чтобы соединить несоединимое, и коль скоро в отыскании сего стержня симпатии его склонялись к насилию (как если бы и в самом деле общество могло управляться только насилием), то и державный взор его, когда теперь, свесив с кровати босые ноги к полу, он сидел в спальне посреди сгустившегося ночного мрака, — взор его был устремлен именно к этим основополагающим как будто бы для жизни государства событиям недавнего и живого еще в памяти многих прошлого. С казнями, сколь бы изощренно они ни проводились, он понимал, не завершалось никаких дел; убивались люди, но оставались их цели, их связи, то есть сторонники Дмитрия, Елены, князей Патрикеевых, Ряполовского, их неотмщенные обиды, оставались сторонники «еретиков», попрятавшиеся по монастырским кельям, и эти-то связи, да в стократ преувеличенные, как раз и вставляли теперь перед возбужденным воображением Иоанна.

XLVII

Иван III, дед Иоанна, покидал сей мир с тем убеждением, словно непременно должен был вернуться в него. Почувствовав после похорон супруги, что и его дни сочтены (ему довелось лишь на два года пережить Софью), он спешно принялся завершать дела, чтобы в

надлежащем, как полагал, порядке передать сыну державу; и среди этих дел, требовавших завершения, было три главных и неотложных: завещание, по которому великокняжеская власть должна была перейти к сыну Василию (и что сопряжено было, разумеется, с определенными душевными усилиями), собор на «еретиков», на созыве которого настаивали церковные иерархи, подстрекаемые главным обличителем Иосифом Волоцким (на что тоже не просто было решиться, потому что затрагивалась судьба и без того опальных уже Дмитрия и его матери, Елены), и женитьба Василия, так как и устройство личной жизни наследника являлось составной частью того порядка, обеспечением которого и был озабочен умирающий Государь. В полной уверенности, что совершает именно то, что нужно и что принесет лишь мир и порядок державе и укрепит в ней великокняжескую власть, он даже отдаленно не представлял, во что должен был ввергнуть Россию и что последствия от сих его деяний окажутся таковыми, что ни Василию, ни Иоанну, ни народу в целом за столетия не под силу будет преодолеть их. Он не развязал узлы, а, напротив, лишь сильнее стянул их, предопределив как предтечу и утонченную жестокость Василия, и последовавшее за ней тиранство Иоанна, и гибель династии, и времена смут и междуцарствий, вконец обескровивших и разоривших русскую землю, и еще многое и многое, что и поныне неослабно отдается в народе, и первым таким узлом как раз и явилось завещание, узаконившее несправедливость над Дмитрием и закрепившее титул Великого Князя за Василием. Верх одержала сторона греческая, и на годы, на столетия затаилась противоположная, корневая, затем так ли, иначе ли (и при разных правителях) дававшая о себе знать, и хотя дело касалось вроде бы только людей родовитых, боярских и княжеских семей, опаривавших свои по первородству права, но перенесенный в народ и там, в гуще его, получивший уже иную окраску, спор этот, отголоски которого ясно слышатся и теперь, семенем нескончаемого раздора был брошен на почву державы.

И словно бы в подкрепление этого спора в конце 1504 года был созван новый (второй по счету) собор на «еретиков».

На первом, когда ревностные сторонники «чистоты

веры» потребовали пыток и казней для «еретиков-раскольников», Великий Князь Иван III, находившийся тогда в самом зените своего могущества и славы, совместно с Первосвятителем митрополитом Зосимой, о котором по одним источникам известно, что он был будто бы тайным сторонником, а по другим чуть ли не покровителем и главою «еретиков», не решился на подобное противохристианское дело. «Еретиков» только осудили на заточение и возили затем под анафемские заклинания Архиепископа Геннадия по Новгороду, «посадив их на коней лицом к хвосту, в одеждах вывороченных, в шлемах берестовых, острых, какие изображены на бесах, с мочальными кистями, с венцом соломенным и надписью: «Се есть Сатаниново воинство!» Но желаемого, с точки зрения ревнителей веры, не было достигнуто, «ересь» продолжала распространяться, и раскол церковный, соединенный с расколом династическим, то есть борьбой исконно корневой и греческой сторон за престол, — раскол этот грозил обернуться смутой и расколом державы, и миролюбивый и мудрый Великий Князь и Государь Иван III, каким он старался выглядеть на царстве (и каким только и представляют его историки, забывая, что не Иоанна IV, а сперва именно его, Ивана III, народ окрестил Грозным), не нашел ничего лучшего, чем прибегнуть к жесточайшему насилию, словно тогда уже не было известно, что любое насилие способно вызвать лишь противодействие, лишь желание не прекратить, а усилить борьбу. Он хотел умиротворения, но костер, запылавший на полом месте в Китай-городе, под стеной, на котором в клетке сжигали «еретиков», — костер этот, зловеще озаривший сходящего уже в могилу Великого Князя, затухнув перед очевидцами сего преступления, не испепелил, а лишь высветил то, что в столетиях затем продолжало тревожить умы и сердца людей сомневающихся и несогласных.

Но оставалось еще третье — женитьба Василия. Наследнику шел уже двадцать пятый год, и Иван III не хотел покидать сей мир, не исполнив и этого святого родительского предназначения. Он вознамерился женить сына по своему подобию на невесте иностранной и принялся с поспешностью рассылать гонцов по герцогствам и королевствам Европы. Приглядев наконец дочь датского короля Елисавету, которая, как это ка-

залось, брала всем: и красотой, и умом, и, естественно, знатностью (к тому же, предвидя нескончаемое противоборство России с северными своими соседями, надеялся приобрести для державы крепкого и надежного союзника), он приступил к сватовству и более полугода вел, в сущности, безуспешные переговоры, всячески ублажая и одаривая королевского посланника при дворе. Но шведы, разглядевшие в браке этом усиление России, вступили в противоборство, в результате чего Елисавета в угоду именно Швеции была отдана замуж за курфюрста Бранденбургского, а Ивану III, бесцельно потерявшему время и почти уже не встававшему с постели, оставалось только одно — подобрать невесту для сына в отечестве и, утешившись сим вынужденным за недостаточностью времени и сил на лучшее супружеством, с миром сойти в могилу. В пользу такого решения, как ни странно, выступила и греческая сторона, особенно близкий к Василию знатный боярин-грек Юрий Малаго. У этого боярина была красавица дочь, и, возможно, он питал здесь определенные надежды, но, как и всегда в таких случаях, от замысла первоначального до его воплощения все настолько переменялось, что надеждам грека, как, впрочем, и желанию Василия, коего нельзя исключить, не дано было осуществиться. Ведь не для Иоанна IV, как об этом гласит молва, а для его отца, Великого Князя Василия, была впервые организована так называемая ярмарка невест. Со всех концов России в Кремль было свезено более тысячи невест благородного происхождения, и их, соответственно одетых и прибранных (и при стечении глазющего люда, которого хлебом не корми, а дай зрелищ), проводили перед царским дворцом, где у входа, на крыльце, уместившись в креслах, восседали Государь и наследник, торжественно окруженные боярством и духовенством, и, решая всего лишь дела будто бы семейные, во многом по сути своей решали судьбу России.

Предварительно осмотренные, то есть пропущенные через сито дотошных и полагавших, видимо, себя искусницами в сем деликатном деле всевозможных придворных мамок, невесты в сопровождении родителей поочередно подходили к восседавшим в креслах Государю и наследнику, останавливались перед ними, кланялись, трепеща и выжимая улыбки, и, несмотря на

сию их девичью стесненность и скованность, а может, как раз благодаря этому своему душевному состоянию, изрядно за столетия порастраченному в народе, но все же вполне по целомудренности своей понятному и нашему поколению, — благодаря, может быть, именно кротости и стеснительности, всегда украшающих любого человека, особенно молодого и особенно девушку, все казались настолько привлекательными, что Василий, ослепленный лепотою их фигур, лиц, одежд, причесок и украшений, то и дело порывался встать, чтобы взять за руку избранницу (да где уж тут было до дочери боярина-грека), но Государь... Государь слабым старческим движением останавливал его. Даже в эти минуты выбора он не мог позволить себе расслабиться и подчиниться простым человеческим чувствам. Он словно бы примерял невесту не к сыну, но к державе, и не девичьи прелести и не лепота их одежд и лиц волновали его; он весь был озабочен политическим устройством власти, точнее, сохранением того государственного порядка, который, сообразовав, в неизменности хотел передать сыну, и в этом смысле выбор, в сущности, был уже сделан им. Чтобы не плодить претендентов на великокняжеский титул, он твердо положил взять невестку не из родовитой семьи, а из семьи какого-либо незнатного или не очень знатного сановника, когда бы и сохранялась видимость престижности и в то же время благодетельствованное таким образом семейство было бы, во-первых, довольно своим возвышением и, главное, не могло бы претендовать ни на что большее; и выбор в конце концов как раз и пал на дочь подобного сановника, Юрия Сабурова.

XLVIII

История — явление неподсудное (хотя бы уже потому, что ни одно историческое событие не предстает перед современниками в том своем очищенном виде, в той оголенности замысла и ошибок, каким открывается затем перед взглядом грядущих поколений, но всегда бывает обрамлено словно бы специальным, затемняющим все слоem сиюминутных, временных, как можно было бы выразиться еще, интересов и страстей,

уводящих умонастроения людей от истинного осознания происходящего); ее можно только изучать и комментировать, вынося из познанного лишь тот единственный урок, который разве что только и мог бы привести человечество к благоденствию, и смысл этого и доньше, впрочем, непознанного урока заключен в том, что жизнь всякого сущего на земле естества подчинена определенным законам и не терпит насилия и что разум дан человеку не для того, чтобы своевольничать и тиранствовать над всем и вся, на какую бы высоту власти судьба ни возносила его, но для того, чтобы, осознав естественные потребности и законы бытия и согласуясь с ними и только с ними, помогать течению жизни, а не громоздить завалов на пути развития народов, государств, обществ, личностей. Но правители редко когда сообразуются с требованиями этих законов. Интересы сиюминутные, то есть ближайшие интересы трона всегда оказываются для них выше интересов народа, и трудно сказать, по какому бы пути развития двинулась наша история (по крайней мере не по тому, по которому пришлось пройти российскому люду, втянутому во всевозможные смуты, духовные и социальные распри, всякий раз служившие лишь преддверием тоталитаризму), если бы, скажем, мудрейший, вроде бы (повторюсь), для своего времени властитель России Иван III не отказался бы от своего первоначального замысла и не отверг бы Дмитрия (читай: корневое начало) и не бросил бы эту страшную ветвь сомнений и раздора в грядущее; и не согласился бы на сожжение «еретиков», что только подкрепило раскол и придало ему некую даже будто необратимость в столетних буднях религии и народа. Так что же тут зависело от Великого Князя, мог ли он со столь реалистической последовательностью предугадать ход последующих событий, и хватило ли бы у него сил и мужества, отказавшись от интересов борющихся при дворе сторон за власть, подняться до понимания естественных основ и потребностей жизни, и можно ли (и в чем?) упрекать его, отыскивая промахи или злой умысел в его деяниях, или же, завязав глаза и поддавшись некоему предполагаемому в нас историческому достоинству, возводить подпорки для оправданий, объясняя все (для удобства) формулой о неизбежности движения? Но если в деле с Дмитрием и «еретиками» Иван III еще

колебался, быть или не быть сим великим неправдам, и мог приостановить или изменить ход событий, то в затеянных им смотринах невест, сватовстве и женитьбе сына, то есть, по существу, событиях семейной значимости (но в которых как раз и таилась вся взрывная сила Божьего гнева, как говорили тогда, или возмездия), — в этих сугубо семейных будто бы торжествах, задуманных и проводимых им на виду уготованной уже для него могилы, все представлялось ясным, объяснимым и не вызывало никаких сомнений. От бояр, духовенства, народа — от всех источались только благословения. Но время, сдсргивающее полог ослепляющих надежд и страстей, — время, оголив сердцевину сего запавшего в память людей события, явило совсем иной образ и самого Великого Князя, и суть его родительского попечения. Теперь полагают, что именно тогда и что тем именно торжеством Иван III открыл дорогу возмездию — и на себя, на свой великокняжеский род, и на Россию, — говоря иначе, сделал тот шаг, который был предопределен если не историей, то по крайней мере не иначе как некой высшей силой, недоступной для человеческого познания; и хотя суждение подобное, что и толковать, зыбкое, основанное скорее на представлениях мистических, чем на реализме, и потому не может служить аргументом ни в научных, ни в салонных спорах и разговорах, и все же мысль о неминуемости возмездия за любую совершенную несправедливость, — мысль эта, на мой взгляд, не так уж и отдалена от реализма, если повнимательнее и без предвзятости присмотреться к историческим судьбам народов и государств. Воздается, да, да, воздается за все, и сколько бы опровержений ни обрушилось на меня за такое утверждение, остаюсь убежденным в том, что именно Иван III своими деяниями и по какой-то, может быть, парадоксальной, злой воле предопределил и будущее тиранство, и раскол, и возмездие, со страшной силой обрушившиеся затем не столько на великокняжеских вельможных холопов и чад, сколько на непритязательный, повинный лишь в беспредельном своем терпении, многочисленный и разнообразнейший российский люд.

Истоки неустроенности русской жизни, причем неустроенности вековой, мы и теперь, к сожалению, как и во все прошлые времена, начинаем искать в пороках

народа и чего только в таких случаях не приписываем ему; но ведь любой порок — дело наживное, и нетерпимость к возвышению ближнего, пусть даже по таланту и трудолюбию, как и стремление к уравниловке, столь пронизавшие сегодня сверху донизу всю нашу общественную жизнь, — нетерпимость эта, эта неизлечимая в столетиях чума придворной жизни, спускаясь кольцами волн в нищизнь, обездоленный люд и оборачиваясь уже здесь, в народе, в порок самоедства и ненависти, как раз и обессиливает нас и может в конце концов обречь на медленное и верное вымирание. Власть, какой бы крепкой ни была, всегда подозрительна; родовитость же кичится своей родовитостью. Обреченные с пеленок быть воеводами, властителями воли и духа тысяч людей и в золоте и камнях стоять возле тронов, да могут ли они согласиться хоть с малейшим посягательством на эти исконные будто бы свои права и со смирением наблюдать, как будут их оттеснять от кормила государственной власти? Нет, и Иван III понимал это и, понимая, не отсекал направо и налево головы бояр, как позволял себе позднее его внук Иоанн; в основу великокняжеской политики была положена им (может быть, и под влиянием Софьи) некая европейская, если так можно выразиться, утонченность, и смотрины невест, с невиданным дотоле на Руси размахом устроенные им для сына, как раз и явились ширмой, скрывавшей истинные намерения. Рядом с семьями родовитыми, уравниваясь с ними и тем унижая их, должно было стать семейство неизвестного сановника Сабурова, и не высшими интересами двора, а всего лишь девичьей красотой должен был решиться исход дела. Да, все выдавалось как произвольное, естественное, и когда поддерживаемый с двух сторон своими вельможными холопьями Иван III, поднявшись, подошел к Соломонии и соединил ее руку с рукою сына, стоявшие на площади народ, бояре взорвались ликующими возгласами, и не обвенчанная еще будущая великокняжеская чета, ведомая и сопровождаемая духовенством, торжественно направилась за благословением в церковь Успения.

Ликование продолжалось и после того, как молодые вышли из церкви — с просветленными, почти ангельски чистыми лицами, под стать, как говорили, друг другу по красоте, молодости, здоровью и пред-

вкушению возвышенной и счастливой великокняжеской жизни. Народ любовался ими, переносил их внешнюю красоту, или, вернее, полагая за ней красоту душевную, и уже на нее, на их душевную доброту и порядочность возлагая извечные свои надежды на будущее. Сии надежды — пожалуй, это единственное, что во все времена, как и теперь, придает людям энергию жизни, и, когда бывает, что уже и надеяться не на что, — красным крохотным огоньком они продолжают теплиться в народе и согревать людские сердца. До поздней ночи не пустела площадь перед великокняжеским дворцом, колокола усердно звали к вечерне, продолжительнее обычного длились по церквам молебствия, в которых воздавалась хвала Господу, престольным его святым угодникам-чудотворцам, а вместе с ними старому и молодому Великому Князю и новообвенчанной Великой Княгине, красавице Соломонии, на которую, не иначе уже как по велению Божьему, пал выбор. Далеко не белолицая, с налетом восточной смуглости, с восточной же суженностью глаз, будто не очень заметной, но явно выдававшей некую изначальную ее иноплеменность, что, может быть, как раз и было самым выразительным и пленительным в ней, — входя во дворец для благополучия и счастья, она не только не принесла ни того ни другого ни для Василия, ни для России, но бесплодием своим словно бы открыла дверь в эпоху грядущих тиранств, раздоров и смут. Сия полоса народных невзгод хорошо известна в истории и не требует подтверждений, как известна и роль Сабуровых и Годуновых, этих двух родов, уходивших истоками к одному и тому же корню — выходцу из Орды мурзе Чета. Что заставило мурзу бежать из своих великоханских пределов, придворное ли против него интриганство, угроза ханской расправы или просто дела изменные в пользу Московии, что тоже вполне вероятно, так как, прибежав на великокняжеский двор, он тут же принял православие, получил надел и был всячески облагодетельствован государевыми милостями, — да, тут можно только гадать, выбрав один из вариантов, лучший или худший; несомненным же остается только то, что к исконным нравам великокняжеского двора, к доморощенным, позволительно будет выразиться, жестокостям привнесены были (теперь уже по родству, по крови,

именно по крови) нравы и... и надо ли говорить, какой драмой и дворов Востока, народа должно было отозваться подобное слияние. Вслед за бесплодной Соломонией, словно бы для того лишь, чтобы завершить ее дело бесплодия, явился ко двору угличский убийца Годунов, кротостью и коварством взошедший затем на трон, но не сумевший по трусости и безволию удержаться на нем и уберечь державу от разорения. Но будущее всегда темно и неизвестно, и ни правитель, ни просто человек, если не помрачены умом, не станут ничего начинать из соображений зла; Ивана III, более сорока лет просидевшего на троне и достаточно научившегося распознавать и предугадывать в делах державы, трудно (без определенных, разумеется, сомнений) упрекнуть даже в простейшем — государственной недалекновидности или слепоте; и все-таки — что-то же заставило его остановиться в своем выборе на Соломонии, то есть на семействе сановника Сабурова, а не на каком-то другом и столь же незнатном и безвестном, и тут опять невольно является мысль о возмездии, о некоей роковой будто неизбежности, наложенной то ли на великокняжеский только дом, то ли (но за какие грехи?) на Россию.

XLIX

Историки говорят, что Иван III умирал спокойно, не мучаясь совестью, так как в порядке и могуществе передавал сыну державу, и что если что-то и могло волновать его, так только злобная измена казанского присяжника Магмет-Аминя, поднявшего мятеж и выступившего против России. Случилось же это почти сразу же после свадьбы Василия. Едва отшумели в Москве пышные торжества, как пришла весть из Казани, что там в день праздника рождества Иоанна Предтечи — традиционный день открытия ярмарки — люди Магмет-Аминя похватили, пограбили, поубивали русских купцов, пленили их жен, детей, а также пограбили и поубивали всех великокняжеских чиновников, находившихся в городе, и затем, собравшись в войско, двинулись в просторы России и осадили Нижний Новгород, громя и поджигая вокруг посады и монастыри.

Отреченный уже как ^вбуду сам наставлял воевод, посылавшийся с посылками для усмирения и наказания Магмет-Амидья (что как раз и дает повод историкам утверждать, что он хотел умереть подобно великому своему прародителю Дмитрию Донскому — государем, а не иноком), и хотя московские воеводы, имевшие под началом почти стотысячное войско против сорока тысяч казанцев, дошли только до Муромы и, не вступив в сражение, позволили мятежному присяжнику спокойно удалиться в свои пределы, но Великий Князь уже не узнал об этом. Он скончался холодной дождливой октябрьской ночью, в окружении лишь святителей, шептавших молитвы, бояр, присягнувших уже Василию, но по доброй памяти к умиравшему — первому, в сущности, российскому монарху и самодержцу — еще не хотевших оставлять его, да новоявленной родни, не успевшей еще обвыкнуться со своим возвышением и державшейся с робостью, как и подобало, видимо, держаться ей. На высокой кровати, обставленной горевшими восковыми свечами, и с иконами Божьей матери и угодников-чудотворцев у изголовья, заключенными в золотые оклады и ризы, тихо, недвижно лежала его умирающая плоть, ничего общего уже как будто не имевшая ни с могуществом, ни с делами державы, но огоньком жизни, теплившимся в теле, продолжавшая еще цепляться за сущее, что переходило к сыну и представало перед затухающим взором в тех живых очертаниях, в каких только и может представать человеческое бессмертие людям, уходящим в небытие.

Он то впадал в забытие, то открывал глаза и потусторонним, обращенным в себя взглядом смотрел перед собой. В таком состоянии — не лучше, не хуже — он пребывал уже более недели, ожидавшие его кончины были утомлены ожиданием, и мало кто верил, что в эту именно наступившую осеннюю ночь, когда Кремль, Москву и все вокруг нее заливало холодным дождем, душа Великого Князя отделится наконец от тела и совершится то извечное таинство, через которое в свой срок проходит каждый, в царском ли достатке, в простонародной ли бедности протекала его жизнь. Ни Василий, ни его братья Андрей и Юрий, наделенные по Завещанию довольно богатыми вот-

чинами, уже не сидели неотлучно у изголовья умирающего отца; они время от времени то появлялись вместе, то поодиночке и, скорбно постояв перед тихо, даже блаженно будто угасавшим родителем, удалялись в свои покои, чтобы предаться там смирению и молитвам. Во всяком случае, внешне все выглядело так, как и должно проходить по христианскому обычаю, и, видимо, кощунственно было даже подумать, чтобы все шло иначе и чтобы при живом еще отце, еще не приняв дел державы, Василий предпринимал уже энергичные меры для укрепления своей грядущей власти. Но действительность, как подсказывает жизнь, движется чаще всего по своим, а не предписанным ей людьми законам, хотя бы и облеченным в святые заповеди церковей; движется более страстями, чем разумом, и Василий не первую уже ночь проводил в тайных советах с теми знатнейшими боярами, князьями Василием Холмским, Даниилом Щени, Яковом Захарьевичем (иногда приглашались еще казначей Дмитрий да великокняжеский духовник, архимандрит Андрониковского монастыря Митрофан), которые вернее всего — и перед Государем, и будто бы перед Богом — стояли за Василия, то есть, держа его сторону, возводили неправды на Дмитрия. Это они, в сущности, в сговоре с царицей Софьей подвели под казнь князя Рязполовского, под насильственное пострижение князей отца и сына Патрикеевых, под заточение царевича Дмитрия и его мать Елену; и, с опаской озираясь теперь вокруг, старались заранее уже оградить и себя, и Василия от возможной не столько Божьей, сколько людской кары.

Бояре, однако, не столько разговаривали, сколько сидели молча, полуразвалясь на обитых бархатом государевых скамьях; время от времени им приносили еду, питье, чтобы подкрепиться, и тогда озабоченные их лица, отягощенные густыми клиновидными бородами, вдруг словно бы оживали, взоры обращались к Василию, и молодой престолонаследник в великокняжеском уже убранстве, готовый заменить истекающую волю отца во дворце волею своей, с пронизывающим прищуром ответно оглядывал их. В нем неосознанно поднималось то страшное (последствиями для приближенных) тиранское чувство подозрительности, что будто все окружающее всегда и во всем враждебно вла-

сти (и что в действительности недалеко от истины), какое неизбежно сопровождает или, по крайней мере, должно сопровождать каждого воцаряющегося на престол правителя, особенно методом узурпаторства и придворных интриг. Иногда казалось, что Василий даже забывал об умиравшем отце; дело это — кончина родителя — представлялось ему безвозвратно законченным, и он обращался мыслью к Дмитрию, этому ненавистному и опасному все еще, как нашептывали бояре, племяннику, который и заточением, казалось, был еще недостаточно отомщен и наказан — не за какую-либо провинность, нет, а лишь за доставшееся ему наследное право на царский венец и за то, что не захотел смириться и добровольно отказаться от этого права. Более же всего не мог простить племяннику своего унижения, когда в церкви Успения при стечении множества бояр, епископов, архимандритов, игуменов и иноков совершен был над Дмитрием обряд царского венчания. Василий с матерью, царицей Софьей, отнесенные в общую массу духовенства и бояр, словно опальные, стояли тогда перед амвоном, на котором счастливый Дмитрий, возведенный туда дедом и благословленный им, слушал святительское наставление. Громким, хорошо поставленным церковным голосом митрополит, опустив ладонь на голову Дмитрия, возглашал: «Да Господь, Царь Царей, от Святаго жилища своего благоволит воззреть с любовью на Дмитрия; да сподобит его помазаться елеем радости, принять силу свыше, венец и скипетр Царствия; да воссядет юноша на престол правды, оградится всеоружием Святого Духа и твердою мышцею покорит народы варварские; да живет в сердце его добродетель, вера чистая и правосудие».

Василий не вспоминал, нет, а слышал эти слова; слышал в том же торжественном исполнении, в каком митрополит огласил их тогда под сводами церкви, и, радовавшие сердце юного Дмитрия, они тем более воспринимались Василием теперь. В памяти его сохранялось все, что относилось к тем торжествам. Лики святых, ризы, оклады, праздничные одеяния духовенства, бояр, их полные достоинства и довольства лица, трепетно освещенные сотнями горевших свечей, — все, все, утопавшее в переливе золотых и серебряных бликов и самим этим великолепием говорившее уже о

величии происходившего здесь, снова и снова панорамно разворачивалось перед Василием, он опять, словно безродных, затертых в общей толпе, видел себя и мать перед амвоном и, не в силах вынести того давнего, но с новою силой поднимавшегося в нем чувства оскорбленности, вскакивал и, сжав кулачки, все еще и теперь юношески слабые, принимался метаться между окном и дверью на виду у бояр-заговорщиков, сидевших у него и не замечавшихся им. Не Дмитрию, как полагал он, а ему, Василию, следовало тогда стоять на амвоне, да, не племяннику с его худосочной родней (по крайней мере, так считала сторона греческая), а именно ему, Василию, прямому или почти прямому (по линии византийских императоров) наследнику и царского титула, и двуглавого орла, и всех других атрибутов державной власти, должны были отдаваться почести; он мысленно оборачивался на мать, жалко, как представлялось ему, стоявшую возле него, на близких ему по греческому происхождению бояр, обескураженных своим дворцовым проигрышем, но не утративших определенных надежд, и неведомая еще сила великокняжеской мстительности поднималась в груди и захватывала его.

L

Помазанники не оставляют после себя архивов души. Так же как Иван III, умирая, уносил с собой все свои сомнения и думы, ту, сказать иначе, не царскую (царская — для людей, для простонародья), а человеческую сторону своего бытия, которая и при жизни, как и после смерти, обычно сохраняется за семью печатями, ибо для власть имущих никогда не было и нет ничего страшнее, чем правда, делающая их столь же людьми, надменными, жестокими, жалкими и жадными, подчас даже более мелочными в своей высокородной щепетильности, чем можно предположить, — столь же простолюдинами по образу мыслей, житейским потребностям и интересам, коих, презирая, они всегда обманывали некоей своей святостью и продолжают обманывать теперь, так и Василий — не по отцовскому напутствию (или подсказкам матери, мудрейшей царицы Софьи, мудрейшей, конечно же, на

свой лад), но по тому «нравственному» великокняжескому одеянию, в какое начал облачаться уже с детства и какое более чем во всем блеске чувствовал на себе сейчас, не хотел открывать ни перед кем своих душевных тайн: ни перед отцом, уходящим в могилу, ни перед супругой, красавицей Соломонией, коленопреклоненно и в слезах молившейся за свекра-Государя, испрашивая у Пресвятой, Пречистой Богородицы жизни и сил ему, ни тем более перед боярами-заговорщиками, которым теперь уже не столько верил, сколько презирал их. Ненавидя Дмитрия страшной, лютой ненавистью, Василий многого не мог простить и отцу; и прежде всего — своей обиды за мать, от которой отец позволил себе (на некоторое время, правда) отдалиться и которую заподозрил было в злоумысле, будто она отравою хотела извести Государя, не всегда верно державшего греческую сторону, и поставить на престол сына, то есть его, Василия (известно, что по этому поводу Иваном III проводились дознания, многие тогда из знатных бояр, дьяков, детей боярских были казнены и заточены в темницы, а в покоях Софьи ночью были схвачены некие «колдуньи» с зельем, обысканы и утоплены в Москве-реке).

Василий хорошо помнил состояние матери, когда у нее были обнаружены и схвачены «колдуньи». Утром она направилась было к мужу, чтобы объяснить, но стража не пустила ее. Сначала ей велено было оставаться на своей, женской, половине великокняжеского дворца, затем вместе с сыном отвезли ее в одну из обителей, и этот переезд, мрачные кельи, смену прислуги и полный запрет хоть какого-либо общения с внешним миром — все, все, что относилось к тем мрачным дням опалы (и особенно помазание Дмитрия в церкви Успения, состоявшееся сразу же после тех опальных дней, и торжество Елены), словно отягчающие душу оковы, Василий постоянно носил в себе. Он был оскорблен настолько, что и после примирения отца с матерью продолжал тяготиться этим болезненно разъедающим душу чувством и в безвременной кончине матери считал повинным отца. И хотя не так уж, наверное, и важно теперь, имелись ли у него на это действительно веские основания или только возбуждаемый состоянием и речами матери проникался сей непримиримостью к монарху-родителю, — было лишь

то, что было, и я обращаюсь к этой отнюдь не государственной детали из царской жизни только потому, что от каждого малейшего движения души правящего монарха, наследника ли, готовящегося принять державу, часто (и даже, может быть, куда в большей степени, чем мы способны предположить) зависит не просто судьба той или иной отдельной личности, но и во многом историческая судьба народа. Говорят, что Иван III искренне скорбел по кончине царицы Софьи и что будто бы, склонясь над ее покойным лицом, просил у нее прощения; но и тогда, и теперь — в глазах Василия все выглядело по-иному; он не верил отцу и, следуя рядом с ним за гробом матери, уже тогда желал ему смерти. Он понимал, что поступает не по-христиански, что на земле нет большего греха, чем желать смерти родителю, ужасался этому своему желанию и, терзаемый раскаянием, молился по ночам за спасение и своей, и отцовской души. Но все ли молитвы доходят до Бога? Время только приглушило, но не стерло с души этого страшного желания, и, явившись теперь вновь и не намереваясь отлучаться, оно, как пригревшийся сожитель, каждую минуту неотступно следовало за Василием. Не исполненная еще месть Дмитрию сливалась в нем теперь с неисполненной же местью отцу и, желчно ожесточая и без того ожесточенное самолюбие, как раз и подвигало молодого Великого Князя к грядущим жестокостям. Мысли и чувства эти, он знал, были на его лице; и потому-то, не научившись еще как следует владеть собой, он старался не выходить из своих покоев; когда все же надо было идти к умирающему отцу, Василий прежде подходил к иконе святого угодника-чудотворца и покровителя великокняжеского рода Петра, специально принесенной и установленной для него, и, только помолившись и испрося у святого угодника благословения, в сопровождении царицы — заплаканной, убитой горем Соломонии — направлялся в родительскую, как мысленно называл ее, половину кремлевского великокняжеского дворца, где в окружении икон и горевших свечей исходил жизнью отец — первый, как уже говорилось, всевластный и всемогущественный монарх России.

«Великий князь! Князь, князь, княгиня, молодые, Великий Князь!..» — иногда слышимой, иногда не-

слышной, передаваемой лишь взглядами волной, как умеют это при любых державных и прочих дворах, обычно переполненных льстивыми слугами (в расширенных ли камзолах, с министерскими ли, как теперь, портфелями, что выдает в них лишь принадлежность к эпохе), катилось впереди Василия, когда, соединившись с Соломонией, он шагал сводчатым коридором и через анфиладу дверей к покидавшему сей мир родителю. Прежде вместе с открывавшимися дверями волна верноподданничества прокатывалась перед отцом и перед ним же, как перед ликом Христа, бросала в перелом и спины вельмож, и спины простолюдинов; теперь же подобная честь отдавалась Василию, вчера еще — даже не наследнику, а лишь опальному царевичу, отдаленному от двора, но сегодня — преемнику и обладателю всех тех отцовских достоинств, кои не по титулу будто, а по Божьему и всеобщему изволению признаются за монархами и возвеличивают их. Василию было приятно сознавать это вдруг открывшееся в нем величие, душа трепетно ликовала, но он не выказывал своего ликования; он принимал почести с тем холодным достоинством (царским, как тогда же заметили многие), как принимают люди богатые давний, незначительный и забытый будто бы ими долг, не удосуживаясь не то чтобы поблагодарить, но даже обернуться и заметить подателя. От этой мрачной холодности, которую положено было воспринимать как скорбь по умирающему родителю, как ни старался Василий, исходило лишь пугающее высокомерие, и, чувствуя это высокомерие и не зная еще, к чему оно может привести, но заранее уже (по известной придворной интуиции) полагая, что следует ожидать худшего, холопы-вельможи и холопы-слуги хоть на вершок, но ниже, чем перед монархом-отцом, склоняли головы перед новой, вот-вот должной вступить в права государевой волей.

Соломония, входя к умирающему свекру-Государю, не могла удержаться от рыданий. Иногда начинала даже голосить, как простолюдинка по кормильцу, предчувствуя, видимо, как это дано женщинам, ту далекую беду, которая обрушится на нее, когда властной волей супруга поведут ее на насильственное пострижение. Ее поднимали, успокаивали и уводили, отрывая от свекра и мужа, но Василий — нет, он не

позволял себе расслаблений; слабость — удел рабов, а не монархов, как учил отец, и то, что произошло с юным царевичем на льду Москвы-реки, когда отрубали голову князю Рязоловскому, теперь не могло повториться. Едва он входил к отцу, едва оказывался перед высокой, обставленной иконами и горевшими свечами кроватью, на которой в мрачной торжественности и уже скорее напоминавший покойника, чем живого, возлежал исходивший жизнью монарх, смотреть перед собой, как смотрят иногда на сосуд с истекающей водой, чтобы взять его, и если что и могло представляться ему в эти минуты, то лишь то немеряное поле безграничной и упоительной власти над людьми (над всем, всем, что было вокруг и простиралось за стены Дворца и Кремля), на которое он уже чувствовал себя вступившим хозяином. На лице, не столь еще горбоносом, как затем проявится это в сыне Иоанне, но достаточно уже говорившем о восточной ли, греческой ли привнесенности, в его шнуточно-тонких, скобкою вниз губах проглядывало одно лишь холодное и застывшее в этой своей холодности величие, как если бы и в самом деле не судьба возносила его над собранной воедино (и для него будто!) державой, но словно бы — все содеянное в державе было делом его ума, рук, его великокняжеских стараний, и он только снисходил до этого содеянного, прикидывая, что принять и что не принять в нем. Наконец, подталкиваемый митрополитом, он опускался перед отцом на колени и тонкими губами своими молча прикладывался к его безвольной, холодной руке.

II

Память отдельного ли человека, историческая ли память народа, человечества ли — что же, в конце концов, заключено в сем природном явлении, для чего оно преподнесено людям, если за всю свою немеряную никакими верстами вечность они так и не смогли вынести ни одного сколько-нибудь облагораживающего их нравственность урока (да хоть и в социальном плане, да, да, хоть и в социальном?), но словно бы по прецеденту, как в английском правосудии, лишь повторяли и повторяли, раздувая в размерах и нашествия, и

разорения, то есть бессмысленные по конечным деяниям кровавые побоища, и истязания безвинных, изощряясь в жестокостях, и еще сотни и сотни всяких неправд, порождаемых непреходящей жаждой денег, величия и власти. Изменяются, как видно, со сменой эпох и формаций только облики жилищ, средства передвижения, скорости, но неизменной остается суть человеческих страстей и желаний, так что мудрость любых зовущих к добру скрижалей — мудрость сия разве что для простаков, принимающих сказку о жизни за самую жизнь. Есть стержень сказки и стержень жизни, и вокруг этих стержней одни, обманувшись великими посулами, обретают лишь — народами, государствами, да, да, целыми народами и государствами — судьбу извечных страдальцев, другие же, верящие в реальность и познающие ее, верховодят людьми и миром. Сказка — всего лишь сознание ложной красоты, умиротворенности, притягательность ее — в бездеятельности, вера ее — в сверхчуде и сверхсиле, всегда будто бы приходящих на помощь бедным, униженным, сирым; она, в сущности, лишь успокоительный обман, лишь снотворное, способное на тысячелетия усыплять народы обещаниями долгожданных и великих перемен. Реальность же в противоположность сказке такова, что жизнь беспощадна в своем отборе и движении, что сильный возрастает на подавлении слабых и что не в поклонении добру, как некой абстракции, уложенной в красочную обертку, не в призывах к борьбе со злом, представляющим собой, впрочем, столь же абстракцию, как и добро, но лишь в признании суровости, неумолимости законов бытия, в осознании целостности и неделимости мира общественной жизни (ведь стержни суть умствования людей, необходимые для подавления одних другими) заключены и истинное добро, и умиротворенность, и умение, да, именно умение противостоять нравственному и физическому насилиям и злу.

Людская доверчивость — столь же порок, как и безжалостность и беспощадность, и если у человечества и есть средство защиты от этих двух равновеликих и равноужасающих по своим последствиям пороков, то искать таковое следует не в эффекте самопожертвований — личности ли или народов, — не в испрашивании чуда за долготерпение, долгострадание и смерть, как

этого хотелось бы властям, чтобы поступали народы, а в энергии деятельности, в постоянном движении ума, силы и воли. Народ, подверженный, может быть, более всего от непросвещенности своей, греху доверчивости, только, кажется, и жив этой извечной верою в ~~любовь~~ и отними у него эту веру, как он ~~сидит~~ матери. Тысячроли младенца, оттопгиденец! Да ведает ли он, что челетний. во младенчестве — по уму, да, главное, по уму, в каком держат его с помощью философских и иных прочих догм, напуская на все научного тумана, тогда как жизнь проста, ясна и либо она есть, либо ее нет, и не пора ли, сбросив подростковый наряд, облачиться в одежды мужа. Скрижали, скрижали — пустые слова, эхом доносящиеся из глубины веков и уходящие в вечность будущего, тогда как мир неизменен, он и сегодня точно такой, каким был вчера, сто, пятьсот и тысячу лет назад, и доверчивость народа, увы, не только не иссякла, но обрела себе на погибель еще большую устойчивость и крепость.

Но если неизменно на одной чаше весов, на чаше весов народа, то столь же неизменным все остается и на другой, где главенствует дух власти и жесточайшего реализма и где подозрительность, эта извечная альтернатива доверчивости, возводящаяся иногда в невероятную в зависимости от обстоятельств и масштабов правления степень, обретает силу и величие божества. Есть ли хоть одно династическое семейство, в котором не совершалось бы отцеубийств или сыноубийств, в котором не заточались бы (по подозрению, но как самые лютые враги народа и отечества) и не отправлялись на эшафот родственники и близкие царя, и есть ли дворцы, то есть те самые коридоры власти, в которых не заменялись бы властителями и по несколько раз их императорские, президентские или премьерские команды? Минутами мне кажется, что я не из современности вглядываюсь в прошлое, а из прошлого в современность, и из двуликости жизни, в неизменности дошедшей до нас, из которой — что лучше? — нечего выбрать, тогда как на всякий иной путь к благоденствию сегодня наложен не государственный уже, нет, не державный, хотя, видимо, и питающийся все от того же корня, а общественный и потому более неодолимый и жесткий за-

прёт, — из этой двуликости жизни, может быть, только и есть выход, чтобы основательно, от глубин, изучить и познать ее.

Что касается народа, то он всегда может предъяснить оправдание своей пагубной (беспредельной!) донечто *Олаге*. Хотя и себе во вред, но все же — есть ству и всеобщей справедливости народа к добру, брат-всякий раз он со своей доверчивостью *учна* его, что жестоко обманутым и наказанным. Но чем могут оправдать властители всех мастей, начиная от времен исторических и до дней нынешних, свои деяния, свою безграничную алчность к власти и жестокость, когда не шадятся ими ни дальний, ни ближний во имя неких государственных будто бы интересов и целей, тогда как на поверку, если посмотреть оголенно, всего лишь во имя своих мелочных, шкурных начал, и сколько бы ни прикладывали стараний философы и историки мира, чтобы из этих начал, этих личных притязаний царей и их высокородных амбиций выстроить некое здание исторической истины, — здание это, основанное на подменах понятий, будет оставаться прочным лишь до тех пор, пока не уберут от него, вернее, от стен его, скопище все тех же правительственных подпопок. Не думаю, чтобы у Ивана III было нечто более веское в оправдание своих деяний, чем династическое сохранение трона: и когда лишал внука Дмитрия великокняжеского наследия, и когда повелел казнить потомка Всеволода Великого, князя Рязоловского, и насильственно постричь в монахи князей Патрикеевых, и когда дал согласие на осудительный собор против «еретиков» и затем смотрел, как эти «еретики», заключенные в клетку, — живые, умные, которые смогли бы только возвеличить державу и стать ее гордостью и славой, — как эти «еретики», задыхаясь в огне и дыме, метались в своих смертных ловушках, молитвенно вознося руки к небу и прося о помощи; нет, у него не было иных оправданий, кроме династического интереса власти, как бы ни пытались теперь историографы его объяснить все некой государственной будто бы необходимостью, как не было иных, кроме личных, шкурных оправданий и у Василия, с холодностью смотревшего на умирающего отца и полного уже своих замыслов и планов.

ЛП

В ту самую ночь, когда царствующий родитель, лежа в окружении икон и свечей (в сущности же, на смертном одре), еще подавал признаки жизни и никто не мог с уверенностью сказать, когда наступит для него последний час и монаршие очи, сомкнувшись, уже не увидят ни света, ни лиц духовенства и бояр, в чьем окружении он умирал, — с вечера еще, затворившись со своими князьями-заговорщиками, которые только поторапливали его, юный Государь Великий Князь Василий III принял наконец давно уже зревшее в нем решение и направил с надежными воеводами два отряда ратников (боярских детей, как еще называли сих служилых людей): к Дмитрию, чтобы схватить его и перевести в более суровое и крепкое для заточения место, и к его матери, Елене, чтобы упрятать в еще более глухой и непримиримый по ревности к вере его монахинь и настоятельницы монастырь. С небольшим перерывом, один за другим, отряды выехали из кремлевских ворот и, как тати, ежась под холодным морозящим дождем, на рысях пересекли город. По вязкой проселочной дороге, мяся и разбрасывая копытами грязь, они в кромешной почти темноте спешили к цели. И сами ратники, и их кони, и дорожная грязь (как, впрочем, и поля, и пашни, и пустыри, сейчас же от обочин сливавшиеся с тьмой), — все в ночи казалось черным, наполненным (по молчаливости скакавших) неким зловещим будто преддверием; зловещим не столько по отношению к самим этим ратникам, может быть, и не подозревавшим, на какое неправоe дело они были посланы (ведь во все века долгом исполнителей было — исполнять, лютовать, а не сомневаться и спрашивать), не столько даже по отношению к Дмитрию и Елене, чья судьба должна была окончательно уже определиться в эту ночь, сколько — к общей исторической судьбе народа, который (по произвольной, разумеется, символике) тьмой, ветром, холодной слезливостью туч, мочивших коней и ратников, то есть всей этой осенней непогодью пытался еще перехватить занесенный над собою топор. Воеводам велено было действовать бесшумно, взять опальных тихо, лаской, уговором, обманом; им велено было сказать Дмитрию и Елене, что умирающий Великий

Князь зовет их пред свои очи, и, усадив таким образом в повозки, отправить уже навсегда в небытие. Результатом сего воровского обмана должно было завершиться торжество одной династической ветви, греческой, над другой, корневой; в жизнь народа бросался камень раздора, и зловещие, особенно в сфере духовной, нравственной, волны от него, начавшие затем из столетия в столетие свой неостановимый бег, — волны эти или, вернее, предчувствие их как раз и витало, то сгущаясь, то разряжаясь, над ночною дорогой, полями, деревнями, через которые мчались ратники Василия, да и над самими ратниками, словно невидимым нимбом окутывая их. Все было промокшим — кони, люди; но все было неостановимым, как вращение земли или ход времени, равно уносящих с конвейера жизни и великое, и трагическое, и смешное.

Василий не спал. Он возбужденно прохаживался из угла в угол в своей сводчатой, душной от свечной копоти палате, и в ожидании вестей от посланных воевод, вернее, предвкушении этих вестей, кои, впрочем, раньше следующего вечера и не могли появиться в Москве, не без желчной удовлетворенности представлял, как ворвутся ратники к Дмитрию, поднимут с постели и, обаяв лъстивыми речами этого доверчивого (со сна, главное, со сна!) «владыку», затем на первом же перегоне закуют в цепи и с издевкой оповестят, кто он теперь есть и что с ним будет. В воображении вставало не опальное, не изнуренное заточением лицо узника, но юный, сияющий лик счастливика, запечатленный в тот торжественный для Дмитрия миг, когда в церкви Успения его провозглашали Великим Князем и когда Василий со своей матерью, Софьей, оттертые от амвона в толпу и тем беспредельно униженные, лишь взирали на сие династическое торжество. Нет, Василий не мог простить этого унижения; теперь уже — во имя покойной матери; и, не удовлетворяясь мстительною картиной, разворачивавшейся перед мысленным взором, минутами словно бы переносился в то сырое, холодное, мрачное подземелье, которое давно уже было приготовлено им для Дмитрия и в которое — в цепях, в лохмотьях, во что должны были переодеть его, — вводили ненавистного, не желавшего отступить от своих прав на престол царевича. Василий мысленно же, в воображении, старался разглядеть

юное и обескураженное, конечно же, обескураженное лицо Дмитрия, освещенное лишь копотным огоньком лампадки, и, надеясь обнаружить следы раскаяния на нем и не обнаруживая их, со злорадством переводил взгляд на мокрые от сочившихся с них подземных вод стены и потолок, на топчан, застланный лишь гнилою соломой, и дотоле неведомое и юношеское еще удовлетворение от садизма (чувство, которое в полной мере обнаружится затем в сыне, Иоанне), некоей успокаивающей теплотой возникнув в груди, растекалось по телу. Он останавливался в экстазе этого чувства то возле одного боярина-заговорщика, то возле другого, то перед великокняжеским духовником, архимандритом Андрониковского монастыря Митрофаном, место которому было у постели умирающего Великого Князя, но который более находился здесь, при молодом, ловя каждое мгновение для угождения, то перед казначеем Дмитрием с его возросшей, как и всегда при смене властителей, значимостью и ключами от хранилищ и кованых сундуков, и, получив на безмолвный, но понятный всем вопрос нужное «да», то есть получив подтверждение в правильности принятых им мер относительно Дмитрия и его матери, вновь отдавался своим мстительным мыслям и картинам, которые одни только, казалось, могли занимать и ублажать его.

Но, прежде чем весть от посланных воевод, пришла весть из покоев умиравшего Великого Князя, и, как это обычно бывает, когда ждешь и готовишься к одному, а приходит другое, Василий оторопело смотрел на митрополита, явившегося с известием о смерти Государя Великого Князя Ивана III, не в силах понять случившегося и прося (мысленно, безмолвно, глазами) повторить то, что он сказал. Затем с живостью, отстраняя перед собой все, что попадалось и преграждало дорогу, направился на великокняжескую отцовскую половину. У постели покойного стоял все тот же люд — опечаленные бояре и духовенство вперемежку, — все те же иконы и свечи в оплывших подсвечниках освещали навеки успокоившееся наконец лицо монарха; так и не решившийся постричься и надеть схиму, заботливо приготовленную святителями, которая лежала тут же, на лавке, но в полном великокняжеском облачении, в каком готов был предстать перед

Богом, не боясь Его высочайшего суда за свои земные, царские деяния, словно и в самом деле не в чем было ни обвинить, ни упрекнуть его, — в этом своем великокняжеском облачении он и теперь, бездыханный и неподвижный, возлежащий на одре, все еще казался грозным, не терпевшим неповиновений властителем. На мгновенье остановившись в минутном наплыве страха перед могущественным и во смерти родителем, Василий затем, подавив этот неожиданный, вдруг и не ко времени будто явившийся страх в себе, подошел ближе к отцу и, наклонив голову, долго молитвенно смотрел перед собой — не на мертвое лицо родителя, нет, а на его сухонькие старческие руки, державшие свечу. Все сейчас же обратились взглядами на него, на власть, обретавшую силу, обольщаясь надеждами перемен, то есть тем желанным поворотом событий (в свою, разумеется, пользу), какой обычно достигается более интригами, чем волею новоявленных помазанников. Может быть, в цепи исторических событий, если разом выставить их на обозрение, прощание сына-наследника с монархом-отцом не только не привлекло бы сколько-нибудь пристального внимания, но могло бы и вовсе остаться незамеченным, но не из малых ли величин складываются большие и не из незначительного ли и неприметного — великое и судьбоносное для народов? Потому-то и затихли, и присмирели, перехватив дыхание, дворцовые люди — свидетели этого великокняжеского прощания, и, право же, есть что-то неразгаданное, непознанное в сем христианском обряде, как если бы и в самом деле дух покойного, его посмертные желания и мысли (может, и весь опыт жизни, что каждому, в том числе и царям, дается не просто и который непозволительно, преступно уносить с собой) передаются живому для воплощения. Понимал ли это Василий, понимал ли митрополит, бояре и все те святители, которые и всегда-то, как предтечи, одинаково возникают со своими свечами, иконами, ладаном и у купели для рожденных, и перед последней для человека чертой? По знаку ли митрополита или каким-либо еще соображениям, суть которых никому не приходило в голову уточнять, — и бояре, и духовенство начали почтительно удаляться из палаты покойного, и Василий не заметил, как остался один на один с почившим отцом. Пока еще колебались язычки све-

чей (от того, что бояре и духовенство выходили), казалось, что все вокруг, как и лежавший на кровати отец, — все было исполнено движения жизни; но язычки замерли, все замерло, остановилось, и Василий, скованный этой тишиной и неподвижностью, впервые вдруг осознал, какая неодолимая черта пролегла теперь между ним и отцом, и прежде неведомый холодок небытия начал вкрадываться в грудь и холодить душу.

ЛШ

Трудно сказать, сколько простоял в этом тяжелейшем молчании Василий и было ли для него сие испытание испытанием на человечность, когда прощается и ближнему, что естественно, и врагу, что дается труднее и только людям решительным и сильным на основе простых и ясных суждений, что прощается не зло как таковое, а прощается неведение, в каком обычно или, точнее, в результате чего оно творится, или же, зачерствав, заледенев душой (по молодости, неопытности и неведению, конечно же, именно неведению, да простится ему сие!), лишь переживал, как неизбежное, эти удручающие минуты; все в конце концов вытекает из поступков, определяется ими или, вернее, подтверждается, и если придерживаться этой известной и, разумеется, проверенной жизнью логики, то есть судить по тому, куда направился и что предпринял Василий, выйдя от отца, — он пошел не в церковь, не на молитву и не к Соломонии, которая более чем кто-либо нуждалась в его поддержке и утешении, а, взяв казначея и нескольких приближенных бояр, пошел осмотреть и принять государеву казну, — если судить по этому удивившему и обеспокоившему многих поступку, то не человеческое, нет, а лишь холодное, расчетливое, с чем неминуемо каждый монарх, президент или премьер, как это и звучит по нынешним временам, восходит на престол, набирало в нем силу и затмевало все. Теперь у него вроде бы не должно было быть враждебности к отцу; смерть перечеркивает, обрывает любые страсти; но, оборвав прежние, не прокладывает ли она дорогу к новым, и не тем ли и велик человек — царь ли, простолюдин ли, — что более вглядывается вдаль в такие минуты, чем смотрит под

ноги, и не этим ли же и слаб, что, перешагнув через опыт отцов, а проще — пренебрегая им, лишь повторяет в своей безграничной, амбициозной самоуверенности то, что не должно бы повторяться ни отдельными личностями, ни народами, ни человечеством? Современники Василия III, наблюдая за его деятельностью, напишут позднее, что его власть действительно приобрела невиданный до того характер, что (по словам западного путешественника фон Гермерштейна, дважды в те годы побывавшего в России) он «всех одинаково гнетет... жестоким рабством» и что «властью, которую он имеет над своими подданными, он далеко превосходит всех монархов целого мира». «Воля Государя есть воля Божья, и, что бы ни сделал Государь, он делает это по воле Божьей», — внушалось и людям простым, и знатным, и не это ли деспотическое начало, стоя перед покойным отцом, перенимал от него, как эстафету, молодой Великий Князь Василий? До конца не осуществленное одним монархом передавалось другому — неуловимо, незримо, без каких-либо при этом свидетелей (даже митрополит считал нужным оставить одних сына-наследника с покойным отцом), и, повторяю, сколько бы ни усердствовали историки, объясняя все необходимостью централизации власти, как-то забывая при этом, что есть власть личностей и власть законов, что цивилизованный мир уже тогда предпочитал путь второй первому (с трудом, в поисках, в борьбе, с издержками, но предпочитал!), да, именно, сколько бы ни усердствовали, тасуя личное и общественное, подменяя понятия и выдвигая постулат об ответственности народа за события исторической важности, — власть передавалась, событие совершалось, народа не было; народу уготовано было только, снявши шапки и под колокольный перезвон идти за великокняжеским гробом и затем в едином, как волна по хлебному полю, поклоне приветствовать молодого Великого Князя и расступаться перед ним.

Великолепие царской жизни обычно завершается великолепием царских похорон, и, как бы ни было затенено и приглушено все в палате, где лежал скончавшийся Государь, обилие горевших свечей уже само по себе создавало хотя и мрачную, но торжественность, а золото, серебро окладов и риз, как, впрочем, и лики святых, заключенные в них и смотревшие ско-

рее с бездушием в своем извечном глубокомыслии, чем со скорбью, и на покойного монарха, и на сына-наследника, — лики эти в резных, отдававших богатством окладах и ризах (ведь Богу — служба, глазам — услада, а телу — сытость!), сколько бы ни изыскивали в них аскетических и прочих начал, предполагавших отреченность от земных благ, лишь раздвигали в юном восприятии царевича поле удобств и соблазнов великокняжеской, царской жизни. В нем и в самом деле не было теперь враждебности к отцу; он не то чтобы чувствовал, но сознавал себя преемником исходившей из глубин державной власти (чуть ли не от римских Цезарей, как позднее пытался утверждать его сын, Иоанн, решивший взяться за составление родословной и восстановить некие будто бы пробелы в ней), и не слезой, прокатившейся по щеке и упавшей на траурно-величественное покрывало отца, не скорбью и болью от утрат, перехвативших дыхание, — впрочем, сия человечность мало кого обходит в минуты подобных прощаний, — а трепетом вступления в права монарха, чья власть на Руси, уравненная с Богом, не имела границ, определялось душевное состояние Василия. Он невольно, лишь от предчувствия этой беспредельной власти, которую уже, казалось, держал в руках, расправлял спину, плечи; лицо его словно бы на глазах мужало, обретая черты волевой, царской непреклонности, и, ясно памятуя о том, с чего начинал отец свое великое княжение, — с казны, которую надо было принять и о которой затем неусыпно заботиться, чтобы не оскудевала, ибо верно сказано: у кого богатство, у того и власть! — терпеливо выжидал лишь время, когда, с достоинством соблюдая положенный христианский ритуал, можно будет приступить к исполнению государственных дел. В окружении святителей и бояр, которые словно бы оторвали его от постели усопшего, Василий вернулся к себе в покой; но уже спустя четверть часа казначей Дмитрий, гремя ключами, открывал перед ним и перед сопровождавшими его князем Холмским и князьями Щени и Яковом Захарьевичем кованные сундуки с неохватным царским богатством.

За окнами великокняжеского дворца, за мрачной в ночи зубчаткой кремлевских стен, от которых, как и теперь, начиналась и уходила на все стороны света русская земля с ее тысячами сел, деревень, монастырей

(а ведь набожность — это не столько показатель высокой духовности народа, сколько его невежества, заботности и нищеты), — по всему этому немеряному уже тогда пространству лил холодный окладной осенний дождь. Он бился в стекла вместе с порывами ветра, словно протестуя против несправедливости, творившейся во дворце. Обмывавшие и обряжавшие Великого Князя в его последний путь испуганно переглядывались, то ли боясь чего-то, что могло карою обрушиться на них, то ли предчувствуя — не по отношению к себе, нет, но по отношению к общей судьбе народа, — то недоброе, от чего, чтобы спастись, как от соблазнов дьявола, нужно молча и торопливо креститься. Беспокойство передавалось и святителям, молившимся за упокой, перед глазами которых хотя и не было посинелой и остывающей плоти Великого Князя, но стук ставень, скрип, надрывные завывания ветра, то есть все те звуки от разыгравшейся за окнами непогоды, доносившиеся до них, непредсказуемо страшным пророчеством холодили их незащитные души. Те, кому положено было заняться организацией похорон, обсуждали порядок и последовательность этой предстоявшей траурной церемонии; посланные Василием ратники с воеводами к несчастным Дмитрию и Елене, чтобы схватить их, продолжали пробиваться в ночи сквозь дождь к цели, а юный Великий Князь в это время, чуть пригнувшись под давившим на него низким сводчатым потолком, сощуренно взирал на раскрытые сундуки с казной, жестом останавливая суетившегося возле них и заслонявшего собой все казначея. Груды монет, слитки золота, серебра, изделия с драгоценными камнями — на них нельзя было не смотреть, от них трудно было отвести взгляд. Главное же, сюда не проникали ни шум дождя, ни надрывные завывания ветра, так тревожившие наверху бояр, холопов и духовенство; здесь царил иной мир, мир тишины, упительных надежд, возможностей и свершений, и как ни покажется кому-то странным или даже невероятным, что мысли и чувства Василия, когда он стоял перед покойным отцом, не только не нарушились, но получили здесь, в хранилищной тишине, лишь логическое свое продолжение и развитие, — да, как ни покажется это странным, но между блеском окладов и риз, хотя и приглушенно, но говоривших о богатстве и власти, и

блеском золотых и серебряных слитков в сундуках явно пролежала связь, не зависевшая от чьей бы то ни было воли, и молодой Великий Князь, прозорливо уловив ее, мог только лишь сильнее укрепиться в своей вдруг будто, но на самом деле от рожденья уже данной ему значимости. Власть, дотоле представавшая в воображении, обретала реальность, он переходил от сундука к сундуку, невольно накладывая на картину открывавшуюся, то есть на то, что представало в реальности, картину другую, что запечатлелась в минуты прощания: и блеском, и торжественностью, пусть мрачной, траурной, но торжественностью, и мыслями, и в нем опять словно бы мужали, расправляясь, спина, плечи, и царская лютость, пробиваясь, загоралась и стыла в непривычном еще прищуре властных глаз.

LIV

Может быть, не испытай этого чувства на себе, Василий никогда бы не пришел к мысли, что, кроме мести физической, то есть заточения, есть еще более сильная месть — нравственная, которая иссушает не тело, а душу, и что месть эта, измеряющаяся лишь меркой наивысшей жестокости, осуществляется обычно незаметно (незаметно для людей, для общественного мнения), бескровно и не оставляет следов. Здесь, в хранилище, в эти, в сущности, первые часы своей затем долгой и сладкой, с пирами и охотой, великокняжеской жизни он понял, что только реальное, а не воображенное дает истинное осознание власти. Именно здесь, между сундуками с богатством, он, казалось, до конца осознал, что означает повелевать, править, владеть державой, и, осознав, с живостью представил, как можно было бы терзать этой реальностью юную, неопытную, доверчивую душу Дмитрия. «Видит око, да зуб неймет», — да, да, каждый день, час, каждую минуту сей отпрыск должен видеть перед собой это, что неймет зуб, то есть что мог бы иметь по глупой, преступной неразумности деда (так теперь Василий объяснял то временное возвышение Дмитрия и свое с матерью унижение), но чего не получил и не мог получить, потому что есть высший распорядитель — Бог! — и греческая при Дворе сторона, способная

выполнить Его волю. Все в мире строится на реальности и исходит от нее: реальность возможного, но утраченного — слитки, слитки, их золотой и серебряный блеск, символизирующий власть над людьми, державой, и реальность действительного — тьма, сочащаяся влагой стены, лежак из соломы и свеча, как перед иконостасом, ни днем, ни ночью не затухающая перед распахнутым с казной сундуком, — Василий даже вздрогнул от такого озарения, лицо его охватила бледность, словно от духоты, сопровождавшие бояре кинулись было к нему, но он отстранил их. Он не желал, чтобы кто-либо прерывал его мысли; воображение уже рисовало ему конвульсирующего в страданиях Дмитрия, и хотя за подобное деяние, он понимал, настанет черед нести ответ — перед совестью, Страшным судом или грядущими поколениями, — но он уже теперь готов был оправдательно бросить всем, что не мстит, нет, а лишь восстанавливает справедливость. Как стратег, еще не слезший с боевого коня, но готовый уже принимать почести, Василий не просто чувствовал себя победителем в схватке за трон (как это, впрочем, и было на самом деле); он сознавал себя выдвинутым историей повелевать и в некотором роде был даже горд придуманной для Дмитрия карой. Но ни здесь в эту ночь среди сундуков с богатством, принадлежавшем ему, ни на следующий день и еще следующий, когда в новом храме Святого Михаила отпевали отца-монарха, где он и был затем с пышностями похоронен, Василий ни словом не обмолвился о своем замысле. Он промолчал и когда прибыли к нему вестники от воевод доложить, что опальные схвачены и с надлежащими строгостями переправлены в места нового заточения. И лишь на мгновение, когда услышал, как вел себя Дмитрий, когда его подняли с постели и после первого же перегона заковали в цепи, и как вела себя его мать, Елена, тоже, очевидно, понявшая всю безвыходность своего положения и бессмысленность (бесперспективность) борьбы, — только во время этого рассказа, услышав, как смиренно вели себя обреченные, злорадно, и не столько даже лицом, сколько душой, усмехнулся; он более чем знал, какая участь уготована им; за миг торжества в церкви Успения, за миг возвышения, на какое решились дерзнуть, потянувшись к не им предназначенному пирогу жизни, они

обрекались на вечные, словно в аду, муки. Нет, корневому от Твери не стоять выше корневого от византийских — действительно от Бога — императоров! Мысль эта, может, и не столь категорично явилась Василию; но, подступая к ней, он интуитивно старался нащупать ее неоспоримую оправдательную силу, как, впрочем, притягивая в союзники историю, многие и ныне пытаются убедить мир, будто от пахаря способен родиться только пахарь, а от правителя — правитель.

Между тем высшие, то есть, читай, заинтересованные распорядители при Дворе с тем особым (как, впрочем, делается это и теперь), понятным только им беспокойством, будто страну и в самом деле ни на день, ни на час, ни даже на минуту нельзя оставить без царской власти, судорожно готовились к церемонии венчания на престол нового Великого Князя. Еще не завершились похороны, и служилый, мастеровой и торговый московский люд прощально проходил перед гробом, выполняя свой христианский долг, в церкви Успения уже кипела предторжественная суета. Венчание предполагалось провести с небывалой еще пышностью, и митрополит, разрывавшийся между этими двумя событиями — похоронами и приготовлениями к венчанию — и не желавший ничего оставлять без своего присмотра, валился с ног от усталости. Главенствовали же во всем сторонники Василия и его покойной матери Софьи. Стараясь услужить юному Великому Князю, они не вспоминали о Дмитрие; его словно бы и вовсе не существовало для них. Но Василий думал иначе. Видимо, хоть раз в жизни, но и властителей посещает чувство здравого смысла. К удивлению и недоумению холопствовавших перед ним вельмож, он решительно отказался от предлагавшихся ему пышных торжеств. Память ли о подобных торжествах с Дмитрием, когда, оттертый от амвона, он пережил вместе с матерью страшное, оскорбляющее достоинство унижение, или желание предстать перед народом в новом (определенном) облике (что во многом и удалось ему и закрепило за ним, хотя и ненадолго, славу мягкого, добросердечного и добронравного монарха) — история не дает документального ответа; известно лишь, что венчание его на престол действительно проходило скромно, в присутствии только самых близких ему бояр да родственников царицы, но еще прежде

венчания, как жест некоего великодушия, будто он и впрямь даже в помыслах не держал единолично сесть на царство, принародно поделил государеву казну на равные половины и с охраной отправил причитавшуюся долю Дмитрию.

Произошло это на исходе первой недели ноября, в то бесснежное морозное утро, когда после обильно смочивших землю дождей все вокруг: дома, поля, дороги и обочины с торчащим по ним бодыльем, — все покрылось тонкой ледяной коркой; столь же хрупким прозрачным ледком была подернута и мощенная камнем площадь перед великокняжеским дворцом, на которой стояли подводы, уже нагруженные казной, стояли ратники, пешие и конные, отписанные сопроводать обоз, духовенство, бояре, дети боярские и тот простой и охочий до зрелищ московский люд, без которого, как без свечей и икон в церкви, невозможно было тогда (да и теперь, да, да, разве что изменилось?) никакое хоть сколько-нибудь значительное торжество. Нет, не венчанием в церкви Успения, а этим своим великодушным будто бы жестом, разделив, в сущности, не казну, а власть, как это должно было восприниматься всеми, он вступал на трон и начинал царствование. То, что было у него на душе, с какими мыслями и чувствами он отправлял казну Дмитрию, было скрыто от глаз; но то, что хотелось показать, то есть то внешнее и впечатляющее, по восприятию которого чаще всего как раз и создается мнение о правителе, его государственный, если так можно сказать, образ (да новой ли уже была эта ложь, и не устарела ли и не применяется ли она ныне?), подавалось во всем своем развернутом великолепии и блеске, так что даже у митрополита, привыкшего действовать лишь по канонам и догмам, создавалось впечатление (в чем он и признавался позднее), что и в самом деле не нужно было после сих торжеств проводить венчание Василия на великокняжеский престол. Ясное, солнечное утро придавало всему еще большую торжественность, словно природа, умилившись великодушием юного монарха, ликовала вместе с людьми. Просветленным казался не только лик молодого Великого Князя, но некое будто обновление лежало на всем, что пронизывалось утренними лучами: на ратниках в доспехах, конях под ними и в упряжках, на толпе, а главное, ликах и одежде

бояр и духовенства, богато смотревшихся на фоне позолоченных куполов Успения, Благовещения, церквей Чудова и иных кремлевских монастырей. Народу было громогласно объявлено, что, хотя по хилости здоровья Дмитрий и отказывается от царства и что, хотя Василий, понимая всю тяжесть возлагавшегося на него бремени и согласно с завещанием родителя, вынужден принять державу, но и по слову, и по делу оставляет за Дмитрием право соправителя; и после этой прочитанной дьяком грамоты митрополит с духовенством, сопровождавшие его, освятил подводы, а юный Василий во всем своем великокняжеском блеске чуть выдвинулся вперед и, перстами наложив на себя крест, в пояс поклонился отправляющемуся обозу.

Есть ложь маленькая, личного, так сказать, частного свойства, и есть большая, государственная, когда обещаниями или внешним деянием, как было теперь с Василием, обманывается народ. О правителях обычно в народе складывается своя молва, и она более всего зависит от показных, обнадеживающих посулов. И хотя принято считать, что зло, нанесенное народу, не должно предаваться забвению, но все же добро, сотворенное правителем, если оно действительно является таковым, или по крайней мере пока не обнаружится подлог или обман в нем, — добро помнится дольше, и вокруг такого правителя образуется как бы некий защитный, из уважения и веры людей, нимб, способный иногда до конца царствования оберегать венценосца. Знал ли Василий о механизме, с помощью которого как раз и создается подобный защитный нимб, и действовал в соответствии с этим древнейшим законом властителей, успешно, впрочем, несмотря на весь свой обнаженный цинизм, применяемым и теперь, или, чувствуя потребность в такого рода щите, действовал интуитивно, на ощупь, как подсказывали и позволяли обстоятельства, — цель, он видел, был достигнута; он понял это прежде, чем обоз двинулся с площади к проему кремлевских ворот, понял по ликованию народа и настроению духовенства и бояр, не посвященных в царские планы, и могла ли хоть у кого-то возникнуть мысль о Дмитрие как о страдальце? Нет раздора в царском семействе — нет его и в народе, а из мрачных темниц не доносилось ни мученических криков, ни тем более безмолвных страданий обреченных. Казалось,

даже само имя Дмитрия выпало из сознания народа, и, если бы не безвременная кончина царевича, память о нем так бы и ушла в небытие. «Смерть возвратила Дмитрию права царские, — уже спустя столетие будет сказано об этом царевиче (и я не могу не привести здесь вновь и полнее сие горестное суждение). — Россия увидела его, лежащего на великолепном одре, торжественно отпеваемого в новом храме Святого Михаила и преданного земле возле гроба родителя». Дмитрий, по свидетельству все того же историка, явился «одной из умилительных жертв лютой Политики, оплакиваемых добрыми сердцами и находящих мстителя разве в другом мире».

Но это, что предстает перед нами как история, для Василия было лишь — состоянием его жизни, кругом страстей, борьбой, в которой, как, видимо, полагал он, только жестокостями и коварством и можно было отстоять право на власть. (Само же право это, что оно может принадлежать ему, разумеется, не подвергалось сомнению). Обоз уже скрылся за воротами Кремля, но Василий продолжал еще в задумчивости (в умилении, как это должно было представляться толпе) смотреть перед собой, возносясь мыслью к безграничью царской власти и не видя конца ни своим изощренным коварствам, ни своей жизни.

LV

Спущенные к полу босые ноги Иоанна стыли, ночь в Коломенском для него продолжалась, полная не столько неожиданных кошмаров, сколько реалистических и потому страшных по впечатлительности видений. Но он не пугался и не искал, чем можно было бы остановить их. Прошлое с потоками крови и завалами из человеческих трупов, в котором и ныне, при наличии целых исследовательских институтов, трудно бывает расставить все по местам, интересовало его не с точки зрения уяснения народных нужд (да не многого ли мы хотим от самодержца?) и определения пути к благополучному будущему, — нет, подобное даже отдаленно не приходило в голову Иоанну; только в одном хотелось ему разобраться и установить истину: действительно ли по праву он занимал трон Российс-

кой державы, и если по праву, то власть его неколебима над всем и вся, или же не по праву, а узурпаторством, то есть насилием, кровью обагрив выше локтей руки, о чем знают бояре, духовенство, народ и что как раз и дает им основание, хотя и безгласно, скрытно, некими будто изменными делами противостоять ему. Всякую неправду, содеянную в истории, можно лишь вытравить из летописных страниц, но нельзя вытравить из людской памяти, и Иоанн, не раз уже принимавшийся собственноручно поправлять историю письменную (историю Руси, сиречь, свое династическое древо), более чем знал, насколько крепка и жива в народе память о минувших делах. Но, стараясь найти истину, Иоанн, в сущности, пытался доказать недоказуемое; он еще не был целостен во зле, а только оформлялся в этом ужасающем чувстве, и реализм картин и действий, открывавшихся ему, словно волной на скалы, вновь и вновь швырял его на острие исторических, но для него близких по памяти и живости событий. То, что для нас стоит за словосочетанием «собрание Руси» и что для Великих Князей московских, в том числе и, может быть, прежде всего для деда и отца Иоанна, было их жизнью, борьбой, причем беспощадной, с насилием и жестокостями, предстая теперь перед Иоанном, не просто втягивало его в круг тех во многом бессмысленных злодеяний, но делало соучастником их, вознося на пик сей исторической державной пирамиды.

В предрассветном безмолвии, в еще нетронутой ночной темноте, в какую был погружен великокняжеский дворец и погружен Иоанн в своей спальне, мучимый бессонницей и выяснением истины, нужной разве что лишь для себя, крепости своих убеждений, но не для тех, кто, как считалось, противостоял ему и по своему воспринимал и видел события, — словно задернутое черными шторками вдруг разверзлось перед глазами пространство, но уже не окровавленная прорубь с вылезшей из нее для упрека головой Дмитрия (не Иоанна же упрекать, не он же в конце концов был повинен в той совершившейся несправедливости), а подземелье с сундуком и свечой, нарами из соломы и дерзкой, подававшей еду охраной, то есть сами те мучения, на которые был обречен несчастный царевич и от которых, не выдержав их, скончался во цвете лет,

не познав ни любви, ни славы, ни самой жизни, отведенной ему и коварством украденной у него, — мучения эти, как если бы Иоанн на себе испытывал их, разворачивались перед возбужденным, пристально впивавшимся во все взглядом. И он не фантазировал, нет; в отличие от отца, никогда не бывавшего в этом мрачном подземелье, куда заточил Дмитрия и которое выбиралось верными, особенно холопствовавшими перед ним боярами, Иоанн еще в молодости, сразу же после встречи и беседы со старцем, иноком Вассианом, отправился туда, чтобы посмотреть, где томился юный царевич. При свете зажженных факелов разглядывал он серые, сочившиеся влагой стены, топчан, уже полусгнивший и обвалившийся, на котором проводил ночи Дмитрий и возле которого все еще грудой лежала дотлевающая отшельническая одежда; ему показало место, где стоял сундук с казной и горела свеча, и все это, наполненное теперь как бы вторично живой жизнью, перехватывало дыхание и мысль и не позволяло ~~шедохнуться~~ Иоанну. Да, он чувствовал, ноги стыли; но сравнима ли боль физическая с болью душевной, хоть в малой, хоть в искаженной толике повторявшаяся сейчас в Иоанне? Если судить по опричным и послеопричным изуверствам этого царя, то в нем и в самом деле нельзя обнаружить ничего человеческого; но опричина еще только созревала — как в сознании самого Иоанна, так и в сознании любимцев, прибывших с ним в Коломенское и весело, с благословения здешнего игумена отпраздновавших это прибытие, — еще только вырисовывались ее зловещие контуры, тяжелым, кровавым восходом поднимаясь над державой, и в мрачной душе Иоанна, противоборствуя, сталкивались силы зла и силы теплившейся совести; даже преступник, идя на дело, хоть втайне, хоть только для успокоения старается найти оправдание своему поступку; тем приложимее это к Иоанну, который искал даже не оправдание, нет, совершенным и не совершенным еще им бесчеловечным делам (может быть, именно с него и началась столь устойчивая ненависть наших правителей к своему народу?), а искал опору, чтобы творить свои царские безумства. Но совесть, она может просыпаться и в палаче, и если мы не видим палача в минуты подобных мучений, то это вовсе не означает, что их не бывает у него. Спустя неделю,

чтобы оградиться от душевных страданий (чтобы, главное, хоть как-то скоротать бессонные ночи), Иоанн найдет выход; он пристрастится ходить среди ночи к своему главному любимцу князю Афанасию Вяземскому, и в беседах, на какие только и был в противоположность холопской своей деспотичности способен сей уравненный по летам с Иоанном князь, находил не то чтобы успокоение, но находил именно опору, твердея волей и укрепляясь во зле.

Для Иоанна ночь отсчитывала часы его жизни, для державы — приближала ее к неслыханным потрясениям, когда самодержец, представлявшийся богобоязненным и, может быть, как никто, страшившийся смерти, словно мясник на бойне с подручными, начнет на виду у многих тогда уже просвещенных народов изводить свой с одним только обесмысленным смыслом — беспредельно возвеличиваться и править; но уничтожение физическое всегда соседствует с надрывом души, происходит порча народа, и у нас и теперь стынут сердца при мысли, что кто-то один, поднявшийся над людьми, способен чуть ли не вдвое — и за одно лишь свое правление! — поубавить граждан в отечестве и на столетия затем задержать народ и в нравственном, и в социальном развитии. Но мог ли вот так, как мы видим теперь, увидеть деяния своих рук Иоанн (разумеется, мысленно, в воображении)? Да нет, ибо человеку свойственно не очернять, а обелять поступки, какие бы ни совершал, и если бы не эта способность унимать совесть в минуты ее наивысших терзаний, вряд ли Иоанн стал бы тем грозным Иоанном, каковым, к несчастью своему, познал его русский народ и познала история. Все было для этого самодержца тленом, кроме себя; тленом, казалось, было даже то, о чем, сидя теперь на кровати со стынувшими босыми ногами, он вспоминал, и династическое древо с многочисленными и перепутанными ветвями — древо не то чтобы раздражало его, но он готов был, схватив топор, посрубать с него все ветки и оставить лишь ствол, лишь одну ровную, нисходившую через византийских монархов к Августу Цезарю линию. Да и был ли Дмитрий? Для чего был, зачем думать о нем? И от картин подземелья, чтобы не угнетаться ими, Иоанн переносился в великокняжеские палаты отца, в которых, подрастая, познавал тягость сиротской, хотя и царской

жизни. Годы те — годы детства — в сознании его лежали особым пластом, и он не хотел пока растревоживать их; он сохранял их как бы про запас, как камень за пазухой, который в отведенный час и с остервенением можно будет пустить в дело, а пока — шло лишь утяжеление его, лишь нагнетались в душе неприятие и злость ко всему и всем, и Иоанн уже не просто сидел на кровати, опустив ноги, а монотонно, в такт мыслям, как маятник, раскачивался всей своей худощавой, с острями лопаток под рубашкой, спиной, ссутулившейся не столько от природы или образа жизни, сколько под тяжестью обступавших его видений и дум.

LVI

Было у него еще одно означенное сим же кругом основание для беспокойства; и заключалось оно не только в том, что отец его, Великий Князь Василий III, совершив противохристианское дело, то есть отправив первую жену, Соломонию, в монастырь, тут же не последовал за ней сам, как подобало по церковным канонам, а вместо пострижения — принятия монашеского сана — с какой-то даже будто поспешностью женился на литовской княжне Елене Глинской, будущей матери Иоанна, но, поправ закон духовный, явил пример и для светской безнравственности и, желая как можно сильнее понравиться этой воспитанной на западный манер красавице, начал брить бороду и усы и, молодясь таким образом перед ней, с безобразно голым, как считалось тогда, лицом являлся перед боярами и народом. Но Иоанна интересовало сейчас не это, не внешняя атрибутика, которой, чтобы все оставалось неизменным, под старину, особенно придавала значение церковь (и не с тех ли времен, не от церковных ли традиций, против которых, рискуя попасть в еретики, выступал еще Нил Сорский, явилась в народе нашем страсть к формам внешним в ущерб содержанию?); как музыкант к струнам, чтобы издать звук, тянулся Иоанн к сути явления, к человеческой душе, издающей свои, неслышные звуки, и в этой связи, мне кажется, он даже самую жизнь и смерть, эти главенствующие дар и ограничитель природы, составляющие и

появляясь основе и тайну бытия и небытия, — даже их (но применительно не к себе, нет, потому что известно, как сам страшился смерти и, умирая, цеплялся за жизнь) он пренебрежительно относил к неким будто предметам обихода, кои можно внести, поставить или убрать из дворца; в сущности же, как показали «игуменские» будни в Александровой слободе, Иоанн занимал и услаждал сам процесс мученичества, само это действие, когда у человека отбиралась жизнь, и, думая теперь об отце, о Соломонии и о своей матери, Елене, он не столько всматривался в их поступки, сколько старался проникнуться состоянием их души и через это состояние постичь их изначальную сущность.

Современники Василия III, чтобы обелить поступок Великого Князя и вызвать у людей сочувствие к нему, придумали некую слезливую историйку про птичье гнездо и птенцов в нем, глянув на которых («едучи однажды на позлащенной карете вне города»), Великий Князь прослезился и воскликнул: «Птицы счастливее меня: у них есть дети!» Затем будто бы обратился к боярам с жалостливым посланием, что, дескать, не имея наследника, не видит, на кого оставить Великое царство, на что бояре ответили, что «неплодную смоковницу посекают, а на ее месте сажают иную в вертограде». Они подтолкнули Василия, как замечают позднейшие уже историки, на «дело жестокое в смысле нравственности: немилосердно отвергнуть от своего ложа невинную, добродетельную супругу, которая двадцать лет жила единственно для его счастья; предать ее в жертву горести, стыду, отчаянию; нарушить святой устав любви и благодарности». Духовенство, как и должно, наверное, сейчас же разделилось во мнении. Одни, во главе с митрополитом Даниилом, стоявшим ближе «к делам мирским, чем к Духу», выступили в поддержку Великого Князя, другие, сгруппировавшись вокруг инока Вассиана, того самого князя Ивана Юрьевича Патрикеева, насильственно вместе с сыном постриженного в монахи, с которым позднее как раз и встречался и беседовал Иоанн, выступили против намерений Государя. Иоанн в подробностях знал эту историю, но из общей цепи событий он выхватывал сейчас лишь те узловые, в которых, как высвеченные рампой на сцене, представляли характеры действовавших тогда исторических лиц. Словно бы силой он

распахивал перед собой опочивальню царицы — в тот день, час и миг, когда к ней вошли объявить, что она должна добровольно принять монашеский обряд пострижения. Еще не старая, в здоровье и силе, ни минуты не колебавшаяся в своем счастливом замужестве, привыкшая к нарядам, почестям; роскоши, то есть ко всей своей высоконравной, свободной в проявлении желаний царской жизни, — можно представить, с каким леденящим душу неверием восприняла Соломония это ужасающее известие; стоявшая у окна, спиной к свету, она так и застыла от охватившего ее страха и широко открытыми глазами смотрела на вошедших святителей и Шигону-Поджогина, прислужника мужа, известного при Дворе своей псовой преданностью и беспощадностью в исполнении великокняжеской воли.

Святители молчали, молчал Шигона-Поджогин, тупо, без сочувствия, без жалости (подобные услужники обычно выполняют такого рода поручения с особым сладострастием) сверливший ее глазами, молчала Соломония, не желавшая еще понимать, но понимая уже всю нависавшую над ней безысходность. Она мучилась своей бесплодностью не меньше, чем мучился этим Василий, и сколько раз — и втайне от него, и вместе с ним — выезжала поклониться мощам святых угодников, истощала себя в молитвах, прося чуда, принимала знахарок и пила их настойки из корней и трав, так что за одни лишь эти усилия Господь должен был смилостивиться над ней и вознаградить ее; но Господь словно бы оставался слеп и глух к ее просьбам, дитяти не было, и хотя Василий, видимо, и в самом деле любивший Соломонию за добрый нрав и лепоту, как говорили в старину, ее лица и тела, не подавал даже повода усомниться в его отношении к ней, но в глубине души у нее (со свадьбы ли, с роковой ли минуты, что вернее, когда увидела свекра-монарха на смертном одре) постоянно, не унимаясь, билась тревога, что счастье ее не вечно, что рано или поздно нить его оборвется и наступят для нее дни мрака и безвестия; она гнала эту мысль прочь, не позволяла себе верить в худшее, отдаваясь жизни, как не могла, не хотела позволить теперь, стоя перед святителями и Шигоной-Поджогиным, окативших ее сей черной вестью. С криком: «Нет, не-ет!» — она кинулась было к двери, но святители живою стеной преградили ей дорогу. Она

хваталась за складки их широченных одежд, за кресты, болтавшиеся на их животах, стараясь пробиться к двери, к мужу, чтобы объясниться с ним, но ее усадили на скамью и вновь объявили, что такова воля Великого Князя, что он не может видеть ее и что ей лучше всего добровольно согласиться на пострижение. Но Соломония не желала ничего слышать. Она то вскакивала, бросалась к выходу, то визжала, когда ее, заламывая руки, водворяли на место, то, притихнув, горько, даже будто по-младенчески заливалась слезами, и, когда, чтобы уговорить (утешить!) ее, явился митрополит Даниил, она отвернулась от него, заявив, что он выступает против Бога, что никаких насильственных действий не признает над собой и что проклятье падет на сей дом и род, если свершится неправое дело. В какую-то минуту кинулась даже будто на митрополита, чтобы прорваться к двери, сбила Первосвященника с ног, но только еще более осложнила свое положение. Ее закрыли в палате, а когда стемнело, доложив Василию, что все улажено, что Соломония, осознав вину, с охотою согласилась на пострижение (докладывал Шигона-Поджогин, сей ложью свято будто бы принимая тяжесть страданий на себя), в глухой, зашторенной повозке отправили в церковь для пострижения.

В центре церкви, перед иконостасом, алтарем и амвоном, усадили на скамью Соломонию. Затем принесли монашескую одежду и положили у ее ног, на холодном каменном полу. В присутствии лишь монахинь она должна была переодеться, сбросить великокняжеское и облачиться в схимное, и отцы церкви вместе с Шигоной-Поджогиним, стоявшие возле нее, намерились было удалиться, чтобы дать возможность переодеться ей, когда Соломония вдруг, вскочив, начала с отчаянием рвать и топтать принесенное ей монашеское одеяние; она кричала о своем несогласии, звала супруга, обращалась с мольбами к Богу и Богородице, и страдальческий вопль ее, возносясь под купол и усиливаясь там, оглушительно обрушивался затем на всех, кто был в церкви. Словно от дуновения ветра метались и трепыхали язычки свечей, горевших перед иконостасом, и лики святых, будто ожившие под впечатлением происходившего, с ужасом (какой, впрочем, и во все иные, спокойные минуты прочитывается в их глазах) смотрели, как именем Бога и по Его будто бы

повелению совершалось очередное насилие. Лицо Соломонии было красно от гнева и слез, волосы распущены, она продолжала сопротивляться, крича и бешуясь, и тогда Шигона-Поджогин, наверняка имевший от Государя право на вседозволенность, вскинул плеть и с силой огрел ею Великую Княгиню (не принявшая обряда, она была еще Великой Княгиней) по спине. Удар был настолько резок и ошеломителен, что Соломония в первое мгновение даже не поняла, что произошло с ней; она рванулась от боли вперед, упала, а когда ее вновь усадили на скамью, уже не кричала, а только бессмысленно смотрела перед собой, не веря, может быть, ни в земную, ни в Божью справедливость. Молодая безвестная монахиня произнесла за нее монашеский обет, затем Соломонию переодели, нарекли старицей Софьей и отправили в Суздаль, в Покровский женский монастырь, где она и была помещена в келью под строгий надзор настоятельницы. Увозили ее ночью все в той же глухой, закрытой повозке, сопровождаемой ратниками, и, не подозревая того, она первой прокладывала ту страдальческую для постылых монарших жен дорогу, по которой будут отправлять их, в сущности, в небытие, обливавшихся слезами и без малейших надежд на сострадание и помощь. В эту же обитель и Петр I отправит свою нелюбимую супругу, царицу Евдокию Лопухину.

LVII

Во дворце ни в тот день, ни в ночь, когда столь печальным образом решалась судьба Васильевой супруги, не было заметно ни суеты, ни движения. Никто не осмеливался осуждать великокняжеское дело. В неведении же, как это и случается обычно, оставались только родственники обреченной и народ. А утром, когда было объявлено о неожиданном (и добровольном, конечно же) пострижении Соломонии, изменить что-либо было уже нельзя. Никого из Сабуровых, почти два десятилетия неизменно простоявших у трона и пользовавшихся благорасположением Государя, не только не допустили к нему, но не допустили и ко Двору (как, впрочем, и теперь, если уж на кого кладется опала, то она падает на весь род). Многих из

родственников царицы попрячут затем по монастырям и темницам, оправдательно заявив, что пришедших из безвестности к великокняжескому двору лишь вернули в их святую безвестность, хотя представителю этой фамилии надлежало еще прочертить свой кровавый след на лике русской земли; притесненными окажутся инок Вассиан и святители, осмелившиеся поддержать его, и, напротив, великокняжеская благосклонность повернется к Даниилу, монастырям будут отписаны новые вотчины, а митрополиту преподнесены царские дары. Церковным собором Василия освободят от супружества и, не теряя времени, при Дворе приступят к сватовству Елены. Но для Иоанна, воспроизводившего теперь перед собой те давние даже для него события, судьба Соломонии не заканчивалась на ее насильственном пострижении и заточении в Покровском монастыре. Более того, как раз с ее заточения и начиналось то главное, что заставляло сидевшего на постели царя с опущенными к полу босыми ногами волноваться и подвигаться к истине. Для него право на трон, то есть на царство, как говорили тогда, было не просто важным, с детства почти беспокоившим вопросом (особенно же вставшим после встречи с иноком Вассианом), но было болезнью, которую принято называть комплексом неполноценности и которая лечится, если вообще поддается лечению, только полной и, главное, «оправдательной», когда таковая находится, правдой. Мучимый этой страшной и обычно сопровождающей тиранов болезнью, Иоанн невольно распространял ее на всех вокруг, полагая, что все только и живут вопросом, по праву ли он на троне или не по праву, и так как исторические события нельзя одновременно искоренить из памяти народа, из холопской, как называл он, памяти, причисляя сюда и бояр, и святителей, то не попытаться ли хотя бы в нужном направлении (и все для тех же холопьев, для народа) истолковать их? Он чувствовал, что одного только того, что он царь и что этим будто бы все сказано, было недостаточно; требовались фактические подтверждения, и если уж говорить откровенно, то истина более нужна была самому Иоанну, чем окружающим. Именно здесь, в Коломенском, в эту первую бессонную ночь болезненные сомнения его достигли той высоты раздела, когда оставалось только два пути, которыми мог двинуться

Иоанн, — спокойным, уравновешенным, если, разобравшись в прошлом, удастся установить нужную истину, или кровавым, тираническим, утверждая эту же истину силой в державе. Чувствуя в себе еще не до конца растраченную человечность, он пытался спастись и готов был схватиться за соломинку; но, может быть, как раз оттого, что история не предоставляла ему этой соломинки, — с еще большей, чем теплившаяся человечность, силой созревала в нем готовность к действиям страшным и непредсказуемым. Ведь тираны не вырастают на почве государственных нужд, в чем пытаются и с особой иногда настойчивостью заверить нас историки и философы, кормящиеся так ли, иначе ли с царских столов; нужды государства есть нужды народа, а народ, позволивший унижить себя до ранга холопов, да стоит ли он вообще, чтобы заботиться о нем? Но тираны не вырастают и из мелочей, как можно было бы заметить, наблюдая сейчас за Иоанном, потому что — слишком несовместимыми кажутся послылы с результатами деяний, когда, словно Мамай (сравнение тех, Ивановых времен), самодержец отправляется огнем и мечом покорять свой народ; теперь это называется геноцидом, прежде называлось — привести к повиновению и целованию; но и в том и в другом случае на передний план выступают амбиции личные, амбиции власти, коей надлежит быть не иначе как всеподавляющей, всеохватной, и у меня нет основания отрицать, что сии амбиции не складываются именно из мелочных (с точки зрения истории и народных нужд), личных притязаний, оскорбленности и обид, из шкурных, да, повторяю, шкурных интересов сохранения династии, трона за собой, жизни и власти. Дед Иоанна, Государь Великий Князь Иван III, опасаясь претендентов, запятнал кровью своих единоутробных братьев беспорочный будто бы свой великокняжеский трон; вслед за ним точно то же сделал и Василий III, отец Иоанна, притеснив братьев, особенно Андрея Старицкого, будто бы и в самом деле покушавшегося на престол, и точно то же предстояло совершить Иоанну, и в конце концов он так и поступил, заточив и казнив уже сына Андрея, своего племянника, князя Владимира Андреевича Старицкого с матерью, княгиней Ефросиньей (она была, по одной версии, задушена в келье, а по другой — утоплена в реке); но

для Иоанна роли этой, видимо, было недостаточно, он чувствовал в себе не просто палача своего великокняжеского семейства (взять хотя бы страшное убийство сына), но палача державы, которая по Божьему будто бы изволению, как утверждалось им, была дана ему в рабство.

Говорят, что, когда действуют цари, народ безмолвствует. Если со стороны оценивать историю, то утверждения подобного рода бесспорны и очевидны. В них проглядывает даже некая зловещая краснота, наполненная вроде бы глубоким смыслом. Но стоит чуть изменить ракурс взгляда и непосредственно прикоснуться к событиям, как перед глазами вырастает совсем иной облик народа, не упускающего ничего из происходящего вокруг и дающего всему свою неумирающую оценку. Народ не принял противохристианского дела Василия и не поверил святым отцам, приговорившим (по вдруг открывшимся будто бы им церковным догматам) освободить его от прежних супружеских уз; люди простые, не обладавшие информацией, сейчас же почувствовали, что при великокняжеском дворе свершилась какая-то очередная несправедливость, и, не имея иной, действенной возможности исправить ее, прибегли к обычному своему средству — распространению молвы в защиту Соломонии как невинной страдальницы, и тут неважно было, от кого первым исходил слух, от самой ли ставшей старицей Софьей Великой Княгини или кого-либо еще, кто находился рядом с ней и переживал за нее, а важно было, что слух этот, будто Великая Княгиня была уже беременной, когда привели ее на пострижение, и что затем, в монастыре, родился у нее сын, царевич Георгий, которого как будущего мстителя за свое поругание она передала для воспитания в надежные руки, — слух этот, хотя ничем вроде бы и не подтвержденный, распространялся не только в народе, но и среди бояр, духовенства, доходил и до Василия и болезненно задевал его. Известно, что Василий не раз отправлял приближенных проверить слух (что-то же наподобие совести еще просыпалось в нем), дознания проводились и среди монахинь, и по ближайшим посадам и деревням, и, конечно, среди тех, кто хоть как-то был связан с Соломонией и ее родственниками, отчего только умножались страдания и безвинно заточались и обезглав-

ливались новые и новые жертвы. Но возможно ли отыскать то, чего не существовало на свете? Никакого Георгия не находили, но сколько ни объявлялось об этом народу, слух о некоем грядущем будто бы мстителе не утихал, как если бы и в самом деле люди не желали расставаться не с легендой, не со сказкой, порождавшей надежду, а с правдой, которую нельзя ни изменить, ни убить. Василий так и умер в сомнениях и неведении (от пустынной, как уже говорилось, на ноге болячки, и смерть его не только приверженцами Соломонии, но и многими боярами и святителями была воспринята как Божья кара), и после его кончины слух о взраставшем мстителе новой и еще более сильной волной прокатился в народе. Иоанн же впервые услышал об этом несуществующем царевиче еще при жизни матери, а затем, уже в реалистических будто подробностях, поведал ему об этом все тот же инок Вассиан. Бывший князь, стоявший в свое время и за Дмитрием, и за Соломонией и пострадавший за сию свою преданность им, немощный и не думавший уже ни о чем, кроме как о душе, ничего не желавший и не ждавший ни от своей иноческой жизни, ни от жизни вообще, ни тем более от явившегося к нему в келью юного Иоанна, хотя еще и не помазанного на царство, но с пеленок провозглашенного Великим Князем, — сей старец, не боявшийся уже ни новых опал, ни иных каких притеснений, не мог, как это казалось Иоанну, солгать. И хотя Вассиан тоже ссылался только на слухи, но и в словах его, и в интонации голоса было столько убежденности (он привел даже фразу, сказанную будто бы самой Соломонией, что, дескать, «в свое время ОН явится в могуществе и славе»), что уже тогда, в келье, слушая инока, Иоанн решил отыскать Георгия и поговорить с ним.

LVIII

Но и для будущего самодержца (в то время еще только юного царевича) одно дело было — задумать и совсем другое — исполнить задуманное. Он отправился на поиски скрытно, под предлогом осмотра монастырей и обычного для великокняжеских наследников поклонения мощам святых угодников, обе-

регавших будто бы духовно, нравственно да и физически, как понималось тогда, Русь и помогавших сохраняться ей в чести, целостности и стоять против всех внешних и внутренних нападений, и под предлогом знакомства с сей славной державой, коей уже предназначено было ему управлять. Конечно, можно представить, каковым было сие ознакомление, когда в позлащенной (по выражению тех лет) карете или верхом на резвом, танцевавшем под ним коне юный царевич в сопровождении толпы столь же юных и по-разбойному весело настроенных боярских отпрысков катил по дорогам России, останавливаясь лишь в богатых монастырях, в домах воевод и всякого рода иных государевых людей, рассаженных по необмерной уже в ту пору (и с россыпью деревень) земле на кормление. Да кому же не хотелось по достоинству встретить и принять грядущего властелина? И разве не устлались — и до, и после подобной поездки — дороги перед просветленным царским ликом «потемкинскими деревнями», и разве не происходит это же и теперь, может быть, даже с удесятеренными в усердиях низкопоклонством и лестью? Пирьы, обеды, речи, услаждающие слух, и опять пирьы, обеды, речи — во всем этом было нечто развращающее, открывавшее как бы негласно, невольно дверь ко вседозволенности, и если не брались еще штурмом монастыри и крестьянские поселения, не поджигались избы и не ставились на правеж (когда били палками по ногам, вымогая деньги и драгоценности) простые, невинные люди, но что-то уже близкое к этому или, вернее, напоминающее это, что войдет затем в плоть и кровь самодержца, разыгрывалось на подступах к посадам и деревням. Боярские отпрыски, возглавляемые разгоряченным, ликующим Иоанном, с криком и гиканьем срываясь с лесных опушек, вливались в деревенские улицы, рушили овины, гоняли и убивали скот на глазах у перепуганных селян, и все это, называемое царскою шалостью, не только не вызывало осуждения у бояр-опекунов, засевавших в Кремле и деливших между собою не им принадлежавшую царскую власть (когда же им было подумать о будущем народа, державы?), но, напротив, снисходительно поощрялось как проявление и незаурядности ума, и воинского духа, столь необходимого будто для российских венценосцев. Чуть позже налеты подобные соверша-

лись уже в Москве на торговые лавки и кварталы мастеровых, и, словно от великих дел, Иоанн бывал доволен после подобных налетов; в нем просыпалась разнузданность, поощрявшаяся (и на свою же погибель) облепившим трон знатным боярством, но — не это теперь занимало и волновало Иоанна; он искал не истоки своего своенравия, не истоки пороков, с детства копившихся в нем и, как и должно, представлявшихся самому себе совершенством, но правовую возможность на безграничное проявление сего «совершенства», давно и Богом будто бы данного ему.

Наверное, правильно полагают, что обретенное в детстве непременно затем, с возрастом, проявляется либо пороком, либо добродетельностью. Обретавшееся Иоанном в его сиротстве, известно, чем оно обернулось в зрелые годы. Но в то же время сиротство, как бы мы ни характеризовали и не осуждали его, говоря, что пример родительской жизни и родительская теплота одинаково нужны как подростку из простолюдинов, так и царскому отроку, иногда оборачивается и положительной чертой, приучая к ранней самостоятельности. Иоанн, росший почти в забвении, часто с тоской замечал, что он никому не нужен, и состояние это, когда перед ним открывался мир, как он открывался перед каждым, входящим в него, и, когда, испытывая потребность поделиться своими детскими впечатлениями, он видел, что поделиться было не с кем, — состояние сие приводило к замкнутости, к тяжелым, хотя и детским еще раздумьям и оборачивалось непредсказуемостью действий. За пышными обедами, кутежами, по-ребячьи разбойными налетами на усадьбы деревенских и посадских людей, коими сопровождалось царское путешествие и когда, казалось, поддавшись увлечениям, можно было забыть обо всем, Иоанн не только помнил о главном, что составляло хотя и тайную вроде бы цель поездки, но и прилагал более, чем можно было, усилий, чтобы отыскать хотя бы след неизвестного ему царевича Георгия. Именно в этом путешествии впервые проявилась та внешняя, разумеется, непоследовательность, непредсказуемость действий, ставшая затем роковой и для сподвижников его, и для державы, в которой, если бы кто осмелился заглянуть в душевный мир Иоанна, были не то чтобы и своя логика, и своя последовательность, но — раз-

розненное, не поддающееся, казалось бы, сцеплению, предстало бы более чем скрепленным между собой и подчиненным одной цели. Он, возможно, и не осознавал до конца, для чего нужно было ему найти Георгия; с одной стороны, в неиспорченном еще сознании его теплилось желание восстановить справедливость, то есть своей добротой загладить вину отца (уже много позднее, но движимый, видимо, этим же чувством, Иоанн приблизит к себе родственника Соломонии Бориса Годунова), но с другой — Георгий был его соперником и имел точно такие же, если не большие, права на престол, и тут срабатывала совсем иная, но столь же важная для достижения цели логика. Уже на подъезде к Покровскому женскому монастырю, в котором томилась и, по слухам, родила своего царевича Соломония, все заметили, что Иоанна словно бы подменили; он уже не скакал, а, пересев в карету, с задумчивостью вглядывался, как из морских будто глубин вырастал и разворачивался на фоне закатного горизонта церковноглавый и не во всем еще потерявший тогда своего значения и славы древний Суздаль.

Именно с этой минуты, когда небольшая царская кавалькада остановилась у монастырских ворот, уже взятых на засовы на ночь, и когда Иоанн, выйдя из кареты, чтобы поразмяться в ожидании, пока будет доложено игуменьи и отопрут и откроют ворота, прохаживался по песчаной отсыпке возле этих ворот, взирая на них, — с этой именно минуты, словно ожив всеми теми красками вечера, на какие только и бывают щедры наши затяжные июльские российские вечера, стужком мыслей и чувств все разворачивалось теперь перед бодрствовавшим в ночи (в зимней коломенской ночи) Иоанном, не столько возвращая его в прошлое, сколько обдувая ветром им же самим задуманных державных перемен. Он был сейчас еще более не уверен, существовал ли вообще Георгий или его вовсе не было? И не из доброты, не из желания восстановить справедливость хотелось ему доискаться до истины. Словно на скрип открывавшихся ворот, как и тогда, но теперь только мысленно, он обернулся и решительно, опередив лошадей и карету, вошел в монастырский двор. Беглый взгляд его разом охватил все монастырские строения — кельи, трапезную и дом игуменьи, стоявший особняком и сейчас же выделявшийся своей

монастырской именно опрятностью, и церковь возле этого дома, глянув на которую, Иоанн перекрестился. За церковью проглядывало кладбище, ухоженными своими холмиками и частоколом крестов, словно народ на вече, собравшееся под зеленью молодых берез, и тут же был виден яблоневый и вишневый сад с кустами смородины и крыжовника; и от всего этого, казалось бы, уже утопавшего в сгущавшихся вечерних сумерках, но в то же время вполне еще и в красках различного и напоминавшего скорее большой хозяйский двор, чем место для угрюмых аскетических самоистязаний человеческой плоти (сотворенный Богом, разве человек сотворен не для жизни, и разве не жаждет ее всегда и во всем?), — словно бы излучались уют, теплота и основательность тихой, добронравной, с одной лишь заботой труда (в данном случае: усердия в служении Богу) мирской жизни. На земле все есть не иначе как выражение мирских дел, включая и иночество и все другие подобные отречения, какие только случались или могли случаться среди людей, и Иоанн не то чтобы вполне осознавал это, видя в духовниках все тех же алчущих богатства и славы бояр, с которыми так тесно и неудобно, казалось ему, общаться и жить, но, с детства лишенный простых, семейных радостей, лишенный родительской теплоты, ласки и постоянно, во все продолжение своей жизни (лишь с разной степенью одержимости) тянувшийся к ним, — Иоанн даже на мгновенье вдруг вздрогнул и остановился, словно не воображенной явью, а самой панорамной действительностью все вернулось к нему и захватило его.

Получив от вышедшей навстречу игуменьи благословение, Иоанн отправился в отведенную для него часть монастыря. Прибывших с ним разместили по кельям, потеснив монахинь, в трапезной накрыли столы, и после недолгой и скромной, как только и могло быть в женской обители, трапезы все разошлись по местам. Над монастырем и церковью опустилась ночь — тихая, лунная, умиротворяющая, какой она только и может восприниматься посреди благочестия и святости и как и воспринимал ее Иоанн, со свечою в руке подошедший к раскрытому окну. Несмотря на усталость, он не хотел спать, тишина даже как будто возбуждала его; но, вглядываясь в нее и прислушиваясь к ней, он воспринимал и слышал лишь себя,

лишь свои, которые и теперь не мог определить, какими они были, мрачными, тревожными или умиротворяющими, мысли. Задув свечу, он продолжал еще некоторое время уже из комнатной темноты вслушиваться и вглядываться в ночную лунную тишь, тогда как безмолвие это вовсе не было безмолвием; молодые монахини, взволнованные явлением столь статных, один к одному, молодцов, то есть юных вельможных чад, сопровождавших красавца Великого Князя, истово молились по кельям, изгоняя греховные из себя помыслы и подавляя желания плоти, равно как и молодцы, чувствуя соседство молодых женских тел, до зари не могли сомкнуть глаз.

LIX

Утром, отстояв молебен и позавтракав, Иоанн явился в палаты игуменьи и, с почитательностью принятый ею и проведенный в гостиную, начал расспрашивать ее о Соломонии, вернее, старице Софье, более полутора десятка лет назад привезенной сюда и родившей будто бы здесь сына, царевича Георгия. Игуменья, знавшая об этой истории лишь по рассказам и более даже не о самом этом придуманном рождении младенца в стенах монастыря, сколько о допросах, дважды или трижды чинившихся здесь приезжавшими от Великого Князя из Москвы доверенными людьми, — игуменья, наслышанная об этих именно ужасающих допросах, после которых всякий раз дело заканчивалось похоронами допрашивавшихся монахинь, в первое мгновенье была настолько ошеломлена и напугана, решив, что и юный Великий Князь со свитой прибыл в обитель за тем же, что не могла ничего сказать, а только, побледнев, смотрела на Иоанна, невольно, как это и бывает в подобных случаях, стараясь по выражению лица будущего монарха России угадать его замыслы. Но лицо Иоанна было светлым. Достаточно отдохнувший и полный еще тех дорожных впечатлений, кои разбойной веселостью уже очерчивали перед ним выход к свободе и вседозволенности (царской, добавим, и потому подсудной лишь Богу), — он не только не склонен был хоть к каким-либо жестокостям в это запомнившееся у игуменьи утро, но, напротив, нечто даже игривое пробуждалось в нем от

сознания обретавшейся им монаршей силы. Он уже тогда чувствовал, что мог сделать все, что захотелось бы ему сделать, и сознание этой силы делало его великодушным и добрым. Позднее, когда от этой юношеской неиспорченности уже ничего не останется в Иоанне, он по-иному будет смотреть на мир и на людей; но — дорога в будущее, как можно было бы сказать, не пугаясь преувеличений, пролегла и через эту гостиную игуменьи и разговор с ней, и юный Иоанн не без любопытства разглядывал залитое утренним солнцем (и далеко не аскетическое, как можно было бы предположить) жилище настоятельницы. Молодые послушницы, руководимые келаршей, внесли самовар, мед, варенье и всякое сдобье, какое по обычаю (но более, видимо, по достатку) тех времен подавалось к чаю, и уже за этим утренним чаепитием, то есть скорее в мирской, чем в монастырской, со сдерживающими началами обстановке (что опять словно бы напоминало Иоанну, что и святость есть ни больше ни меньше, как проявление все той же человеческой жизни), оправившись от испуга и расслабившись, игуменья разговорилась и со степенностью, присущей сану, положению и возрасту, рассказала обо всем, что было известно ей о некогда жившей в обители старице Софье.

Люди из достатка и роскоши всегда отличимы от людей труда. Настоятельница выглядела упитанной, холеной; особенно заметно это было, когда, желая угодить Иоанну, она подносила ему блюда с печеньем, пряностями или подкладывала варенье и мед в розетку; из широкой иноческой одежды ее вдруг словно бы высвобождались белые пухлые руки, налитые неким молитвенным будто жиром, и юный Иоанн с удивлением видел, что настоятельница была еще достаточно молодой, полной сил женщиной, что щеки ее — кровь с молоком, как говорят в народе, — отдавали девичеством, да и в манере вести разговор проглядывало нечто не только отдаленное от иноческого бытия, но не отторгнутое еще мирское, даже кокетливое, что всякую женщину делает женщиной, в каком бы одеянии, сане или звании она ни представала перед людьми. Купив игуменство (хотя и скрытно, как делалось тогда многими), она заодно, видимо, уверовала и в свою святость и предназначение, и Иоанн, вглядываясь в

нее, находил в ней даже нечто созвучное и своему настроению, и мыслям. Он вынес для себя два важных момента из разговора с ней. Первое — что еще при его отце, Великом Князе Василии, общавшихся с Соломоной монахинь рассредоточили по разным обителям и настоятельница¹ не знала, по каким именно и как сложилась судьба их в дальнейшем, живы ли или уже покоятся в вечности; и второе — что она сомневалась в самой возможности рождения младенца в стенах монастыря и могла показать только могилу старицы Софьи и еще нескольких старниц, замученных при допросах и похороненных рядом с ней. Иоанн тут же выразил желание побывать на могиле бывшей Великой Княгини, страдальицы Соломонии, но в то время, когда уже собрались идти на монастырское кладбище, начинавшееся сразу за церковью, вдруг выяснилось, что в монастыре была еще жива одна из свидетельниц той давней разыгравшейся трагедии, и так как по старческой немощности инокиню ту нельзя было привести к игуменье, то и решено было пойти к ней и там, в келье, обо всем расспросить ее.

Горевший желанием узнать подробности и зацепившись теперь, как за надежду, за эту возможность поговорить с очевидицей событий, Иоанн первым вошел в тесную, сумрачную, со спертым запахом умирающего старческого тела келью. Едва сделав несколько шагов от двери, он остановился. Если бы кто-то и взялся внушить ему истинный смысл монашеского отречения, то любые слова вряд ли сказали бы больше или сильнее уму и сердцу, чем эта наглядная убогость и нищета, в какой — не жила, нет, а умирала обеззубевшая уже и с редкими седыми волосенками на голове, поизносившаяся в молитвах и бдениях женщина. На дощатом столе возле ее кровати лежал образок, горела свеча, и юная, восприимчивая еще душа Иоанна содрогнулась при виде этой страшной, называемой святостью убогости, до какой способен довести себя человек, поставивший целью служить Творцу и отказавшийся для этого от насущных потребностей жизни. В молодости все воспринимается острее — и чужая бедность, и чужие страдания, и боль; пройдет время, и самодержец Иоанн уже не будет замечать ничего, что не затрагивает его собственных дел и жизни, и в неравенстве людей и в их невозможности проявить себя

узрит лишь изволение Божье и, как и предшественники его, его отец и дед, с царским высокомерием начнет присваивать себе и чужое добро, и чужие славу и честь; но — он так и стоял теперь, словно застыв, перед умиравшей монахиней, забыв о Георгии и обо всем, для чего пришел в келью, и испытывая лишь юношеское и потому особенно действенное сострадание к ней. Несколько раз он переводил взгляд с умиравшей в лохмотьях на жестком топчане инокини на настоятельницу, столь резко выделяющуюся, особенно здесь, в келье, не угасшими в ней потребностью и силой жизни из аскетизма и убогости того мира, какой теперь окружал ее и Иоанна и которым она помазана была руководить (как это же, только в ином, державном масштабе, зеркально отразится затем на судьбе Иоанна), и тот недоуменный вопрос, какой непременно задал бы себе всякий, увидев сие различие людей, одинаково будто бы отрекшихся от соблазнов жизни, чтобы служить Богу, истощая плоть и дух, — вопрос этот хотя, может быть, и невольно и на какие-то мгновенья, пока и глаз, и слух не пообвыклись в полусумраке кельи и изначальная цель, с какою вошел сюда, не вернулась к Иоанну и не захватила его, — вопрос этот, непонятный по какому-то своим соображениям игуменье и не замечавшийся ею, был ясно выражен в глазах и на лице будущего монарха. Игуменья пригласила его сесть на скамью напротив умиравшей, и, объяснив ей, кто был Иоанн и с чем пришел, приступила было к допросу, но старица только смотрела на Иоанна своими округлившимися то ли от страха перед властью, явившейся, как уже было однажды, к ней, то ли страха перед смертью, надвигавшейся на нее, и ничего не говорила. От нее нельзя было добиться ни слова, и Иоанн, первым почувствовавший это, встал и решительно вышел из кельи.

Говорят, что, чтобы избавиться от гнетущих мыслей, нужно сменить обстановку жизни; но как ни тепло, как ни солнечно было во дворе и на кладбище, куда настоятельница повела Иоанна и куда тут же последовала за ними вся позавтракавшая уже и изнывавшая от безделья свита, и как ни благоухало все летними запахами трав, огородов, садов, полей и леса, лежавших за монастырскими стенами и начинавших от них, — Иоанн так и не смог вернуться к изначальному своему

состоянию, с каким, войдя утром к игуменье, чаевничал с ней, чувствуя и в себе, и вокруг соединенность святости и мирского, то есть то единство, какое только и способно умиротворить человека и подвинуть его на доброе дело. Он стоял перед могилой Соломонии суровый, строгий (не по летам задумчивый и мрачный, как позднее скажут о нем, пытаясь истолковать и эту задумчивость его как некое предзнаменование), и, хотя все происходившее в Иоанне было для него всего лишь тяжестью впечатлений, вынесенных из кельи, — настоятельнице и всем казалось, будто юный наследник престола проникался сочувствием и скорбью к усопшей. Иоанн смотрел на могилу Соломонии, могилы стариц, пострадавших за нее и теперь покоившихся рядом, но ни мыслями, ни душой не соединялся с их судьбами; его более даже занимала муравьиная дорожка, пролежавшая между могилами, по которой непрерывно, как ручеек, двумя потоками суетливо бежали крохотные труженики земли, и от их ли суеты, говорившей о бесконечности бытия или какого-то отдохновения что ли, вернее, усталости, когда хочется не думать, не выстраивать жизнь, а отдаваться ей со всей безоглядностью и верой в изначальность ее справедливости и доброты, — само желание разыскать Георгия словно бы отдалилось, отошло от Иоанна, и все происходившее потеряло для него тот главный интерес, с каким, отправляясь на поиски, он в такое же вот ясное утро выехал из Кремля. Веселые, с разбойной удалью скачки, налеты и тихая, умиротворяющая езда в позлащенной карете по мягкому вдоль полей и дубрав проселку, пиры, обеды, речи, как и вчерашняя лунная ночь, когда со свечой в руке подошел к окну, — все это пережитое и должное сохраняться лишь в памяти являло, однако, перед ним тот живой соблазн вольности (с приложением, разумеется, царских прав и возможностей, когда доступно все, что желанно), вернее, тот образ жизни, какому затем до конца дней Иоанн готов был отдаваться с безоглядностью, предавая забвению дела семьи и державы. И — до Соломонии, до стариц ли, покоившихся рядом с ней, было ему теперь, если мир, в который он входил как царь, столь неохватно заманчиво распахивался перед ним, взвинчивая воображение и вознося (уже этим воображением) на высоту могущества и славы? С любой

высоты жизнь кажется иной. Иными, мелкими предстают люди; по-иному, мелочно выглядят события, сопоставимые с монаршей личностью и волей, и если бы кто взялся сейчас двумя словами охарактеризовать душевное состояние Иоанна, то вряд ли отыскал бы более подходящее выражение, чем «самодержец мужал»; мужал вместе с мыслями, приходившими к нему, боясь шелохнуться, чтобы не разрушить, не растерять их, и столь же молчаливо и скорбно будто, как и он, стояли за спиной сподвижники, игуменья и монахини.

LX

Трудно сказать, по какому принципу одни события, иногда крупные, кровавые, словно бы выпадают из памяти или видятся смутно как нечто неопределенное, не трогающее ни ум, ни сердце, а другие, напротив, будучи незначительными, проходными, на кои и внимания бы не обратил, запоминаются надолго, часто на всю жизнь, и в минуты раздумий — ночных ли, когда одолевает бессонница, в иное ли какое время суток — вдруг поднимаются из глубин и напором минувших страстей щедро окатывают нас. Таким или, вернее, одним из таких событий, сколь ни покажется это странным, как раз и явилась для Иоанна эта его юношеская поездка по монастырям. Почти до самой осени он колесил по дорогам державы, не столько познавая жизнь, которая, конечно же, не ограничивалась лишь пространством церквей и келий, с какою бы святостью ни молились в них чернецы и черницы, сколько познавал себя, из великокняжеского своего отрочества выходя на возмужалую дорогу самодержца России: и тут — какими бы традиционно скучными ни представлялись рассуждения о добре и зле (общие места, к которым так не хотелось бы прибегать здесь), но потребность разобраться в человеческой сущности, откуда что берется и как складывается в ней, особенно у такой исторической личности, как Иоанн (ведь тиранство его сложилось не сразу, а было от младенчества почти, от отрочества путь к нему), не позволяет пройти мимо сего важного и для нынешних времен вопроса, когда мир по-прежнему и даже, может быть, еще болезненнее, чем прежде (во всяком случае, для нашей, отечест-

венной истории), разделен на вождей, прислужников и паству.

Чтобы творить добро, нужно прилагать усилия, прежде всего — усилия душевные; нужно отрывать от себя, отдавать, а не брать, и в этом, может, самом великом человеческом деле не догматы церковные, к какому бы благочестию они ни призывали, не нравочения книжные, оставленные гениями эпох, а сама жизнь (через семейные отношения что ли, как испокон ведется в простонародье) должна подавать пример сего величайшего нравственного долга. Отдавая, человек обретает. И чем больше отдает, тем больше обретает. К пониманию этого можно прийти только через пример жизни, воспринимая, то есть работая душой и поднимаясь до высот истины; но жизнь, к сожалению (как было тогда, так происходит и теперь), не только не давала, но и не могла в силу ложности своего устройства дать такого примера. Не могла, во-первых, потому, что развращенность одинаково исходит как от сытости, богатства и власти, так и от нищеты и бесправия, и, во-вторых, потому, что на каждого отдающего всегда находится тот, кто готов сейчас же во благо себе использовать подобную доверчивость и простоту, вернее, тот, кто, подгребая все под себя, как раз и создает дисбаланс в обществе и разрушает сами понятия о благородстве, достоинстве, чести. Церковь ли, торговавшая в свое время иерархическими чинами и званиями (даже иночеством, которое тоже требовалось покупать), не подавала пример подобного растления? Великие ли Князья и прислуживавшие им бояре, дьяки, подьячие, всякий иной многочисленный чиновный и служивый люд, клавший животы за государеву казну, не забывали и о своей, нет, — разве не в них, не в их усердиях раскрывалась личина насилия, жестокости и разве не они, притесняя и грабя, доводили народ до обнищания; и разве не от этой несправедливости, доискиваясь правды, народ с разбойными уже целями выходил на дорогу? Люди, так уж от века повелось, ждут правду от власти, которую ставят и терпят над собой, но власть видит справедливость в послушании и покорстве народа, в его безропотном повиновении, чтобы он только отдавал, отдавал, отдавал и не смел ничего просить для себя, и, уложенная в эту младенческую люльку, когда один

правит, массы трясутся, течет жизнь, копошатся народы, время от времени то вдруг открывая глаза, взрываясь (социальными бурями) и протестуя, то опять — успокаиваясь и засыпая под убаюкивающее нашептывание нанятых бессмертных идеологических нянек. Если бы жизнь строилась не по своевольной прихоти личностей, а складывалась из общего разума, то человечество, возможно, стояло бы теперь на иной ступени цивилизации; но сами же люди устроили так, что жизнь не течет в своем естественном русле; более того, перекрытое досуха и засыпанное песками и пеплом веков, оно вытравилось даже из памяти, и разве что сон золотой еще будоражит наши сердца и умы. Но можно ли от этого мрачного целого, к чему пришло или, вернее, подходит человечество (час от часу не легче!), отделить Иоаннову эпоху как нечто стоящее особняком и не имеющее корней и стебля для роста и, увы, процветания, и правомерно ли, переложив все в ней на разнузданность самодержца, находить зло лишь в исключительности характера и обстоятельств?

Нет, нет и нет! Всякая исключительность создается условиями, разрешающими или поощряющими эту исключительность, и не в день, не в год, не в десятилетие складываются подобные условия; на них, как и на характере правителей и народа, наслаивается пыль отгремевших веков, и напрасно думать, что такое, к примеру, событие, как крещение Руси, принесло русским людям лишь культуру и благочестие; куда в большей степени, чем просвещенность (чего, разумеется, отрицать нельзя), оно принесло нам семя догм, статичность мышления, отбросив ко младенчеству и законсервировав в этом состоянии, состоянии почти рабского послушания, ум и волю, и — стоит ли уж так удивляться делам нынешним, если подпитывающие нашу нравственность корни второе тысячелетие остаются неизменными? С принятием христианства, на мой взгляд, была осуществлена первая и удавшаяся попытка идеологизации общества, за которой будут затем проводиться следующие и следующие. Держать народ в послушании силой становилось все затруднительнее, нужно было искать новые подходы, и выложенное на стол жизни духовное подавление народа оказалось куда приемлемее и проще, чем пресловутая, как мы и сегодня еще называем ее, свобода экономической и всякой иной узакон-

ненной правом человеческой деятельности. Да и о какой святости можно вести речь, когда Первосвятители на Руси и назначались, и свергались, и обезглавливались только с позволения и по воле Великих Князей! Этими властителями мало что почиталось; дозволено же им было все; и если уж говорить об этой их вседозволенности, то корни ее следует искать в великоханских шатрах Золотой Орды, куда ездили на поклон наши великие и не великие князья, чтобы получить ордер на княжение, и откуда, перенимая величие и пышность восточных правителей, привозили сей новый и неслыханный прежде на Руси порядок в свои княжеские дворы. Такой видится мне наша история, и я вовсе не хочу здесь ни отрицать, ни осуждать нравы и уклад чужой жизни; каждый народ вырабатывал свои традиции и вправе гордиться ими, как вправе гордиться своими народ русский, и далеко не все, что представляется нам неприемлемым, не совпадающим с нашим национальным духом, обязательно несет на себе печать дикости. Если бы сравнивались (по горизонтали, скажем) народы, их устремления, заботы, труд, вряд ли нашлись бы тут сколько-нибудь значительные расхождения, хотя бы уже потому, что кроме национальных есть еще общечеловеческие ценности, на понимании и признании которых и сближаются люди; но когда берется власть, безграничность и божественность ее происхождения и средства, коими она держит в повиновении народ, — ложь, коварство, жестокости, — по этим категориям насилия правящие дворы Востока всегда отличались от правящих дворов Запада, и, к слову сказать, еще Александр Македонский, завоевав Азию и приобщившись (это с его-то греческим демократизмом!) к деспотизму Востока, объявил себя рожденным от Бога, хотя, и все знали это, жива была еще его мать и он слал ей дары из Азии. Но греки с их гражданским достоинством не захотели признать в своем правителе посланца неба и не приняли привносившихся в их жизнь деспотических начал, и это-то, что не удалось Великому Александру, во многом, если почти не во всем, удалось насадить у себя нашим Великим Князьям, так что уже отец Иоанна Государь Великий Князь Василий III по вседозволенности (читай: изощренному коварству, когда и жизнь простолюдина, и жизнь вельможи одинаково не стоила ни гроша) мог сравниться лишь с Господом.

Нет, кто бы что ни говорил, но объем сотворенного в мире зла неохватен, многолик, и человеческая доброта меркнет в сравнении с этим объемом.

После падения Византии греки, расселившиеся по Европе, своими познаниями и культурой сумели побудить, как гласит историческая молва, народы к ренессансу; те же, вернее, не менее искусные в делах и науках греки, прибывшие вместе с царицей Софьей в Россию, не смогли добиться такого же успеха здесь. И не потому, что не прилагали усилий. Через барьер самодержавной деспотической власти ничто не просачивалось к народу, ренессанс российский и начинался, и заканчивался во дворцах и храмах, и доступен был только кругам высшей мирской и духовной иерархии. Разверните ватман истории: мы научились строить монастыри, храмы, церкви, наконец, дворянские усадьбы, и строили, и ублажали свои души в этих церквах и храмах, а избы крестьян как стояли (со времен Мономаха!) — курные, под соломой, — так и продолжали стоять, не меняясь, словно жизнь для обитателей их не имела и не могла иметь просвета; научились строить и строили великолепные дворцы, коими и гордимся, а у народа — все те же избы под соломой (разве что не курные только), какие и теперь всюду открываются взгляду, едва на десяток верст отъедешь от Москвы. Так был ли ренессанс в России или его не было все-таки? И не для того ли (говорю от отчаяния и с болью) возведены могучие стены Кремля, чтобы отгородить народ от достижений цивилизации? Ведь сколько ни сменялось правителей на Руси, политика их только ожесточалась по отношению к народу, как если бы и в самом деле бациллами невытравимого самодержавного деспотизма пропитались за века и стены и кабинеты Кремля.

LXI

Но вернемся к Иоанну. В эту-то жизнь, чтобы освоить ее и оставить в ней свой исторический след, как раз и входил юный, не венчанный еще царским титулом великокняжеский наследник Иоанн — сиротский монарший отрок, брошенный на произвол судьбы опекунами-боярами, делившими между собой (по мо-

лодости и несмышлености будто бы наследника) державную власть. В Кремле шли расправы, самосуды, опустошалась, растаскивалась государева казна, неугодных заточали в темницы, удавливали в кельях, топили в реках; на фоне этого безвременья оголилась алчность многих монастырей и церквей, духовники-осифляне вновь двинулись на собратьев своих, презрительно прозванных стригальниками, то есть на ересь, чтобы окончательно искоренить ее на русской земле; по воле, вернее, произволу временщиков удваивались, утраивались посошная и всякие иные подати и пошлины, разорялись крестьянство, мастеровой люд, сводилась на нет справедливость и открывалась дорога к доносительству бояр на бояр, холопьев на холопьев и холопьев на бояр (не обошла, кстати сказать, сия «благодать» и духовенство), и это сиюминутное по отношению к векам состояние жизни, хотя и не во всем нужной и важной стороной открывавшееся Иоанну, по-своему формировало его рвавшийся к деятельности характер. После поездки по монастырям он по-иному уже воспринимал свое кремлевские бытие. У него словно бы отнято было пространство — те раздолья, прогарцевав по которым с ватагой столь же беспечных, как и сам, вельможных отроков, он успел приобщиться и к вольности и к низкопоклонству, с каким принимали в обительских трапезных, и стены дворца, казалось, не только физически стесняли и ограничивали его, но стесняли и ограничивали умственно, то есть духовно, он не мог делать то, что хотел, удовлетворять те желания, коих у каждого в молодости являются сонмы и в исполнении которых как раз и заключено, как это обычно видится нам, становление личности: Он, в сущности, вступал в полосу тех душевных борений, когда в человеке начинает складываться и укрепляться основа взглядов, сказать по-иному, мировоззрение, каким затем предстоит руководствоваться ему, и на этом-то важнейшем перепутье молодости Иоанн, предоставленный сам себе, и должен был искать выход. Он то часами простаивал теперь у окна, вглядываясь в глубины неба и поражаясь их вселенской таинственности (ведь мир познается не только через социальные потрясения), то, насупясь, смотрел на бояр, разыгравших на глазах у него свои кровавые игры; действительность преподносила Иоанну не урок любви, а

урок ненависти, и чем яснее он видел пренебрежение к себе бояр (может, и по болезненности восприятия), тем крепче созревала в нем решимость надеть царский венец и приняться изменять все вокруг.

Деятельность физическая всегда более на виду, чем деятельность души, и для всех было неожиданным (как неожиданно это и для нас, пытающихся познать жизнь Иоанна и пишущих о ней), когда сей великокняжеский отрок, ни в чем не проявлявший как будто бы интереса к государственным делам, а, напротив, даже тяготившийся будто бы ими (особенно после поездки по монастырям, как если бы мощи святых угодников-чудотворцев, которым поклонялся, и в самом деле направили его на путь кротости и смирения), вдруг после праздника Рождества, в самый канун крещенских морозов, пригласил к себе митрополита и после трехчасовой, пространной (с глазу на глаз) беседы с ним заявил, что намерен жениться, но что еще прежде, чем совершить этот гражданский акт, хотел бы венчаться царским титулом на престол. Событие это, во многом знаменательное для России и судеб ее народа, требует, разумеется, большего внимания, и надеюсь, что в ходе повествования найдется еще возможность вернуться к нему; теперь же замечу лишь, что Иоанн словно бы положил черту, отделившую его от его сиротского детства и отрочества, и удивленный и возрадовавшийся митрополит Макарий, сейчас же суетливо взявшийся за приготовления к венчанию, и возрадовавшиеся (чему, спрашиваем мы себя теперь) бояре и народ, когда спустя день им было объявлено об этом, — все с ликованием восприняли сию неожиданную новость, толпы зевак хлынули в Кремль и всю неделю затем с утра и до ночи толклись то возле церкви Успения, где должна была происходить церемония венчания на царство, то на площади перед дворцом, откуда ожидалось, что появится Иоанн и проследует в церковь. Кто-то опять вспомнил предсказание юродивого Домитиана, который на вопрос Великой Княгини Елены, матери Иоанна, кто родится у нее, ответил будто бы, что родится Тит широкого ума, и пророчество это, более воздействовавшее на людей словосочетанием «широкого ума», чем именем Тит, передаваясь из уст в уста, подогревало зарождавшиеся страсти. Упомянуто было и о том, как в ночь рождения царевича,

нареченного Иоанном, полыхнула над Москвой молния и разразилась гроза, расколовшая небо от горизонта до горизонта, и перечислено множество разных других примет, которые толковались теперь как оповещение миру о явлении царя великого и грозного. Искренно или не искренно — народ изливал ему свои чувства, с простодушием, как и всегда, видя в нем своего защитника и спасителя, но не это теперь, в Коломенском, когда, мучась бессонницей, Иоанн обращался к прошлому, занимало и волновало его. Он выбирал из минувшего лишь то, что могло ответить ему на вопрос, по праву или не по праву он занимает престол, и так как он понимал, что изначальность права исходит не от венчания, а от другого, что унаследуется от родителей, прародителей и дальше по стержневому корню, уходящему в глубину некогда бушевавших столетий, то и все возбужденное воображение нацелено было только на это главное, что в сию, именно сию минуту и ни часом и ни днем позже требовалось установить ему. Какое значение имело для него теперь ликование толпы или те боярские распри, на которых, в сущности, как на дрожжах, взрастало его сознание, и стояла ли вся та державная жизнь с ее походами, взятиями Казани, Полоцка, тяжбами с ливонцами, Литвой, Польшей, Крымом, с целованием креста на верность младенцу Дмитрию, первенцу от Анастасии, когда, вернувшись из казанского похода, Иоанн заболел, слег и готов был уже отойти в мир иной, со всеми теми изменами, кои, открывшись, сомкнулись узлом на Курбском, Адашеве и Сильвестре, — да сравнимо ли было это, составлявшее жизнь державы, жизнь вообще, с той вроде бы малой, но не соизмеримой ни с чем для самого Иоанна величиной, какую только и могла теперь измеряться для него жизнь? Нет; отбрасывалось все, все, и оставалось только — то маленькое монастырское кладбище за церковью, на котором он стоял, выдвинувшись от настоятельницы, монахинь и свиты к могиле Соломонии и могилам стариц возле нее, и те мысли, которые не тогда, нет, а теперь возникали в сознании, продиктованные ходом новых обстоятельств, заставивших его вместе с казной убраться из Кремля.

Сидя на кровати и остановившимся, неподвижным взглядом вперившись в темноту, Иоанн, казалось, го-

тов был крикнуть, что все в тот миг, когда стоял перед могилой Соломонии, было не так и что, видит Бог, он сочувствовал Соломонии и просил, да, именно просил в мыслях у нее прощения за несправедливость отца; не столько, может быть, для убеждения других (да и кого было убеждать здесь), сколько — для самого себя, для успокоения своей пробудившейся совести он старался теперь доказать, что прилагал усилия, чтобы отыскать Георгия, и что, если бы отыскал, привез бы во дворец и как старшему наследнику передал бы и титул Великого Князя, и право на трон. Хотя на самом деле все было далеко не так, и, как только он покинул стены Покровского женского монастыря, как только, распрощавшись с полногрудой, далеко не старой еще игуменьей, оказался за пределами Суздаля, — вся прелесть дороги, прелесть вольной, разбойной почти (в шатрах) жизни сейчас же захватила Иоанна, и он со страстью, присущей лишь молодости, отдался ей; и хотя, упоенный этой вольностью, не столько, в сущности, искал Георгия, сколько переезжал от монастыря к монастырю, разочаровываясь в самой возможности узнать хоть что-либо (да и как было узнать, когда почти ни одной из перемещенных стариц уже не было в живых), — да, хотя все происходило именно так, окуренное дымком беспечности и увеселений, и молодой Иоанн, не желавший особенно утруждать себя, побывал далеко не во всех женских обителях, в коих мог бы отыскаться нужный след, теперь не то чтобы провергал то прошлое, что на самом деле было пережито им, но страстно желал, чтобы все выглядело иначе и не очерняло, а обеляло его; ему так хотелось этого, и он с такой настойчивостью выжимал память, что и тьма, наверное, разверзлась бы перед ним, обернувшись светом и обнажив дали и веси.

LXII

Человеку подвластно все, как утверждают философы: строить, разрушать, созидать себя, жизнь и многое и многое еще, что могло бы продлить сей «славный» перечень, и неподвластно лишь возвращать и изменять прошлое, сколько бы и кем ни прилагалось усилий (как, впрочем, и ныне многие властители пытаются

обращаться с историей, тщась оправдать свои деяния и власть). Но — что может, вернее, что смеет быть неподвластным самодержцу? Тем более такому, каким был Иоанн? Решивший до безграничности раздвинуть пределы своего влияния на людей и державу (а только так и можно толковать его намерения) и поставивший себе целью, сверхграндиозной, разумеется, по тем временам, изменить чуть ли не все государственное устройство России, Иоанн так ли, иначе ли и, может быть, прежде всего для себя должен был подготовить ту нравственную площадку, с которой, обретя оправдательный мандат, смог бы приступить к своему страшному, размеры которого вряд ли представлял, делу; и то, что происходило с ним теперь, его бессонница и мучительное желание если не изменить, то хотя бы очистить от крови свое династическое прошлое, — все это было лишь той естественной необходимостью жизни, как для голодного пища, для спокойного сон, для полноты отцовского чувства — дом, семья, дети; он не мог не мучиться и не делать того, что делал, и не в его власти было остановить нацеленную работу души; вместе с тем, как он испытывал физическое угнетение (истощались, говоря нынешним языком, нервные клетки), то есть чем сильнее испытывал это физическое угнетение, тем воспаленнее работал мозг и тем нагляднее напоминал Иоанн схимника, надевшего на себя власяницу духовную и давшего обет до конца дней не снимать ее; и уже не он теперь управлял своей жизнью, а выдвинутая им потребность жизни управляла им, и он только всматривался в темноту спальни, возбужденный, взъерошенный и, в сущности, беспомощный, как всякий смертный, наделенный ли, не наделенный ли сей переходящей над людьми земной властью.

Ночь всегда есть ночь, особенно на подходе к утру, когда все вокруг, словно обручем, схвачено тишиной, таинственно, мертво и недвижимо, и в каком бы настроении мы ни пребывали, нас невольно начинает охватывать душевный трепет перед этой нагнетенностью мрака, будто и в самом деле сие природное явление — темнота ночи — вовсе не явление природы и не темнота, а некое средоточие колдовских, нечистых, враждебных человеку сил. Подобное или, по крайней мере, близкое к этому чувство как раз и испытывал теперь Иоанн, обеспокоенный не столько даже выясне-

нием своих истинных прав на престолонаследие, сколько — тем вакуумом безвластия, или, точнее, безвременья, или, что еще точнее, той неопределенностью относительно своего положения в державе, в какую по стечению ли обстоятельств, как полагал, от своей ли непродуманности и поспешности был поставлен теперь. Минутами, когда видения, обступавшие его, прерывались и он обращался к этой тревожившей его неопределенности (тревожившей с момента выезда из Кремля), еще яснее, чем в пути, когда сидел в санях рядом с царицей, приходила мысль, что бояре, собравшись без него, могли и в самом деле принять его отречение, и тогда с кем (и с чем?) останется он, самодержец, по изволению Божьему севший на державу? Лишь со свитой любимцев-гуляк, с которыми достойно разве что бражничать и обнимать девок? Он словно бы встряхивался от этой сжимавшей ему сердце мысли, что может не выиграть, а проиграть все, и только напряженнее вслушивался, как в глубине дворца или спальни зарождались и доносились до него странные звуки. То ему казалось, что кто-то бродил по дворцу, открывал и закрывал двери, и он готов был позвать стражу, то будто вышагивал под окнами по хрусткому снегу, и новая волна леденящей тревожной дрожи прокатывалась по спине. Он был, наверное, бледен, если бы кто мог увидеть его лицо, таинственность происходившего нагоняла на него страх, хотя на самом деле ничего таинственного, тем более необъяснимого не было; это храпел подвыпивший архимандрит Левкий, прикорнувший на лавке в прихожей, где еще с вечера, переходя из гостиной в спальню, Иоанн видел его. Но царь не помнил теперь об этом тщедушном, с заостренным личиком святителе, всегда готовом на любое, хоть прислуживать сатане, угодничество, лишь бы быть на виду, да и вообще возможно ли, чтобы рядом с самодержцем находилась еще хоть чья-либо живая душа (охранников Иоанн и вовсе не принимал в расчет, они воспринимались им как обиходный атрибут жизни)? Если бы даже ему сказали теперь об архимандрите, он троекратно бы, как от нечистой силы, открестился от этого сообщения; открестился бы потому, что и ночная темень, и храп из-за двери — все это было ему необходимо, было той стихией, в которой только и могли получать жизнь его

мысли и чувства. Он был словно бы окольцован кругами прошлого, настоящего и будущего державы, и в то время как ему казалось, что прилагал усилия, чтобы вырваться из этих замыкавшихся над ним колец, всем ходом воспоминаний и дум только уплотнял их, прибавляя к ним новые и новые, порождавшиеся уже не реальностью дел, совершившихся до него и совершавшихся им, а степенью воображенной опасности, отовсюду будто теперь, в ночи, подступавшей к нему. Опасно было духовенство, опасны бояре, служившие ему; опасен был Курбский, засевший в Литве и Польше и направлявший оттуда свои «разоблачительные» (беру в кавычки потому, что Иоанну они представлялись иными — лживыми, изменническими и оскверняющими) послания. Без какой-либо связи с Соломонией и ее сыном Георгием он вдруг совсем по-другому, чем прежде, подумал о смелости сего беглого князя, за всеми изменными делами которого не стояли возросший царевич, то есть тот самый мститель, должный будто бы в свое время, как предрекала Соломония, явиться в державе? Мысль эта сама по себе была абсурдной, смешной, потому что Иоанн знал, что никакого Георгия не существовало, а потому и не могло быть подобного сношения, но, раз зародившись (по принципу: у страха глаза велики), она уже не отступала от Иоанна, как бы, усмехаясь, он ни старался отделаться от нее, и только что являвшееся ему прошлое, в котором так ли, иначе ли он представал обеленным, — прошлое-то теперь совсем в иных, жестких и мрачных, тонах разворачивалось перед ним.

Теперь он не умилялся прошлым; ему казалось непростительным, что не объехал тогда по молодости и беспечности все те женские обители, в которых мог бы еще отыскаться след Георгия, и не обратился к жителям посадов и деревень; но, чтобы поправить положение, не стремился объять необъятное, воображение лишь то переносило его к могилам стариц, некогда причастных будто бы к делу Соломонии и затем «благополучно» будто усопших, как говорили о них, то в обительские кельи и трапезные, в которых принимали его настоятельницы и архимандриты. От искренности ли и простоты или по закоренелому в них плутовству, как Иоанн полагал теперь, святители только разводили руками на вопрос, был ли Георгий, и

если был, то указали бы, где искать, только торопливо крестились, призывая в свидетели Пречистую Богородицу и Творца, что говорят истину. Но самодержец теперь не верил им. Он не помнил ни лиц архимандритов, ни лиц настоятелей настолько, чтобы с живостью вообразить их (да и то сказать, сколько времени, сколько воды утекло с тех пор); но желание вновь увидеть все, как происходило, — желание это было настолько велико, и он так напрягал память и волю, что словно в разверзшихся просветах одно за другим являлись перед ним сии с пристрастием к плутовству, лести, интригам и заговорам святительские лики. «Они, да, они отговорили меня», — думал Иоанн. И хотя ни тогда, ни теперь у него не было доказательств, чтобы кто-то замышлял использовать Георгия против него, но — у страха свои законы возникновения и развития, и не по реальности, а по вымыслу обычно идет приращение его. По тем же дорогам, по которым он столь славно, как ему казалось, проскакал по державе, — по тем же дорогам, хоронясь от людей, как раз, может быть, еще младенцем переправили Георгия в Литву и Польшу, где испокон принимались и выпестовывались противники русской земли и где сей царевич, пригретый и возвращенный Сигизмундом, собрав войско, готов был теперь мстителем явиться на Русь. Иоанн только предполагал это. Но предположение казалось настолько реальным, что ему виделся уже военный лагерь: кони, люди, осадные орудия и щиты, шатры, разбитые по полкам, и между ними, в центре, словно бы очерченный пространством и стражниками, возвышается шатер царский, из которого выходит по-польски разодетый Георгий... «Вот он, вот, вот», — думал Иоанн, ежась от пробежавшего по спине леденящего озноба и не представляя даже, какой разоряющей смутой уже через несколько десятилетий обернется для России сей его вымысел.

LXIII

После кошмаров ночи наступающий день всегда воспринимается как нечто очистительное, умиротворяющее, и не столько потому, что мрак сменяется светом, а вместо бестелесных видений и бессилия против них являются живые, хорошо знакомые и послушные

не только слову, но и взгляду люди, то есть все то, называемое двором общество, в котором так ли, иначе ли обычно проходит царская жизнь; надоевший было своим однообразием скучный мир бытия вдруг после ночных и тоже почти реальных ужасов открывается иной, неожиданной, поражающей воображение стороной — в красках ли, в человеческих ли отношениях, да и во всем том будничном своем течении, в котором еще накануне, казалось, все выглядело непривлекательным, постылым, но в котором, оказывается, полно и привлекательности, и новизны. Иоанн начал осознавать это еще на заутрене, в церкви. Спокойный вид и голос протоиерея, проводившего службу, спокойные, словно бы отдохнувшие, выспавшиеся лики святых, заключенные в оклады и ризы, мигающие огоньки свечей и серебро и позолота иконостаса, оживлявшиеся ими, да и вся общая атмосфера заутрени, столь, казалось, привычная для Иоанна, что едва ли могло обнаружиться в ней хоть что-либо, чего он не знал, — вся эта атмосфера с людьми, протоиереем и свечами именно своей обыденностью и неизменностью поразила Иоанна. Он увидел, что между кошмарами, всю ночь одолевавшими его, и жизнью, как она течет в привычном ей русле, нет ничего соединяющего, что мир, заключенный в его душе (мир кошмаров), живет своей, обособленной от всего остального жизнью, и если никому не говорить о нем, то мира этого вроде бы нет и не было вовсе; Иоанн увидел, что человек почти одновременно пребывает в двух измерениях: среди видений, которые страшны разве что по ночам, и среди реальностей, то есть того материального, что способно двигаться, говорить, прислуживать, готовое на раболепство и поклонение, и в то время как мир видений можно отрубить, отбросить и забыть о нем, мир реальностей, — нет, мир этот куда благороднее и чище, чем еще вчера обеспокоенный царь мог думать о нем. Он смотрел на все с умилением и, может быть, от этих именно душевной расслабленности и благодати, сошедших будто бы на него, молился истово, до конца отдаваясь действию и каждую минуту ожидая, что вот-вот начнется его общение с Богом; молился и за себя, и за весь этот мир жизни, словно бы вдруг по-новому в это утро открывшийся ему (и которому, впрочем, своим зловещим замыслом он уготовливал

ой-ой какую судьбу). К завтраку Иоанн явился просветленным, будто бы освободившимся от всех душевных невзгод и тягот, и, когда ему сказали, что царица занемогла с дороги и не в состоянии выйти к столу, — сразу же после завтрака направился к ней и, как заметили слуги (и что показалось им необычным), пробыл у царицы более часа, устроившись возле ее постели и разговаривая с ней.

В царской прихожей между тем, как это бывало и в Кремле по утрам, уже достаточно толклось дворцового люда, дожидавшегося выхода самодержца, и среди этого люда, что тоже представлялось уже правилом, особенно выделялись теперешние Иоанновы любимцы: Вяземский, Салтыков, Алексей и Федор Басмановы, Грязной, Малюта Скуратов-Бельский. Тут же находился и архимандрит Левкий, прихвативший с собой для компании местного протоиерея и нескольких служителей из близлежащей обители. Иоанновы любимцы были оживлены, веселы, вспоминали перипетии вчерашней попойки; святители же в своих длиннополых рясах и с крестами на животах, сбившись черной галочьей стайкой, являли собой словно бы самую робость и послушание, и архимандрит Левкий, казалось, более всех других преуспевал в этом. Но, кроме того, в маленьких округлых глазках его ясно просматривалась озабоченность. Он не мог простить себе, что накануне, излишне выпив, заснул в царской прихожей, и теперь с особенным беспокойством ожидал появления Иоанна. Но царь не думал выходить к ним. Как он ни казался себе умиротворенным и успокоенным и как ни старался поддерживать это впечатление о себе в других, но то новое положение, в какое он поставил себя и державу, спешно с казной и пожитками отъехав из Москвы, — положение это, как тяжесть, как головная боль, вызывающая раздраженность и тошноту, опять и опять возвращало его на круг прежних тревожных мыслей, и он даже удивился, узнав, что его ждут, и послал сказать, чтобы не ждали и расходились. Спустя четверть часа вторично послал сказать, чтобы расходились, но недоумевавшие вельможи долго еще не решались покинуть царский дворец. Им не то чтобы непонятно было распоряжение Иоанна (подобные люди соизмеряют поведение царей лишь с тем, насколько улучшилось или ухудшилось отношение царя к ним),

но — просто некуда было деть себя; лишившись этого обычного своего придворного труда, составлявшего смысл их жизни, они продолжали беспорядочно наводить дворец, слоняясь по его проходам и залам, и, лишь когда пронеслась молва, что царь собирается на прогулку, — хотя езда по заснеженным полям не предвещала им ничего привлекательного, кинулись готовиться к верховой прогулке и велели холопам седлать лошадей.

Иоанну, впрочем, тоже некуда было деть себя, и, тяготясь бездеятельностью и желая хоть чем-то занять время, он как раз и решил, во-первых, проехать по окрестностям Коломенского, которые, когда бы он ни бывал здесь, своей красотой и покоем всегда умиротворяюще действовали на него, и, во-вторых, спуститься к реке и посмотреть, крепок ли лед и проторена ли по нему дорога в Курное. Он не намеревался задерживаться в Коломенском и полагал, что через день-другой, как только царица оправится от недомогания, со всем обозом двинуться дальше. Куда? Пока не определился даже для себя и думал лишь об одном, чтобы подальше, подальше от Москвы, от этой застарелой к нему, как он полагал, враждебности и со стороны бояр, духовенства, да и со стороны народа. Мысль о том, что своим мнимым отречением от престола он может наказать сих непокорных рабов, данных ему Богом вместе с державой, — мысль эта и разжигала, и тревожила, и лелеяла его душу; хотя ему интересно было узнать, что творилось в Москве после его отъезда, но он сдерживал себя и ни в этот день, ни в последующий никого не послал в столицу; когда же некие доброхоты, кои, впрочем, словно только и ждут случая, чтобы «отличиться», прибыв под вечер в Коломенское, вознамерились было прорваться к Иоанну и донести, что происходит в Москве, он с таким гневом ударил жезлом об пол и так угрожающе закричал: «Вон! Вон!» — что после этого уже не находилось охотников на подобные услуги. Но пока что — до вечера было еще далеко, доброхоты не появлялись, и Иоанн казался беспечным, во всяком случае, ему хотелось, чтобы все видели его таковым — свободным от забот, уверенным, сильным. Одетый к верховой езде, неторопливый в движениях и преисполненный того видимого (царского) демократизма, о котором и поня-

тия не имел, в чем он мог или должен был проявляться (в отеческой снисходительности, наверное, как полагал), Иоанн вышел на крыльцо в сопровождении кравчего Федора, окинул взглядом свиту, низко, благодарственно поклонившуюся ему, и, вложив ногу в стремя, с прежней, не забытой еще ловкостью вскочил в седло.

Миновав площадь перед церковью, на которой толпился затемно еще собравшийся здесь народ («Царь, царь», — прокатилось по толпе, и люди снимали шапки), разнаряженная кавалькада двинулась по облысевшей от снега меже к лесу, чтобы полудугой проехавшись вдоль опушки, спуститься затем к реке, куда выходила дорога и где летом бывал перевоз, а зимой колея торилась прямо по льду. Снег на поле был мягким, от леса тянуло каким-то весенним будто теплом, так что не прошло и получаса, как лошади взмокли да и седоки, одетые в меховые шубы, чтобы не застудиться, тоже, раскрасневшись, выглядели так, словно только что вышли из парной. Иоанн, столь же возбужденный и потный, как и все, но желавший лишь одного — нового и нового противоборства, будто противостоял теперь не стихии, а все тем же боярам, духовенству, народу, державе, только все больше горячил коня и направлял его напрямиком через сугробы, овраги и косогоры к реке. Но выехал он не к тому месту, куда намеревался, а верстою выше и, остановившись на крутояре, принялся напряженно, как перед сражением, осматривать противоположный берег, дальний лес, избы Курнова, курившиеся желтоватым кизячным дымком, и всю простиравшуюся от них луговину или, вернее, затон, через который, пересекая его, змейкой спускалась к реке едва заметная санная колея. По ней, словно небольшой темный колобок, двигалась упряжка. Какой-то мужик возвращался, видимо, из Курнова в Коломенское, розвальни его были дополна нагружены, низкорослая российская лошаденка издали казалась чалой, будто заиндевевшей, в то время как и у реки чувствовалась все та же оттепель, да и мужик, шагавший рядом с лошадей и в каждую трудную минуту помогавший ей, в своем куце, подпоясанном армяке тоже напоминал нечто заиндевевшее, чалое. На всем заснеженном пространстве, казалось, только и было живого, что эти крестьянские розвальни с лошадей и мужиком, и хотя ничего

примечательного нельзя было как будто усмотреть в них, как, впрочем, и во всей картине, однообразной и унылой, способной затронуть лишь сердце русского человека, но — что-то все же приковывало внимание Иоанна и к этой общей картине, поднимавшей, может быть, в душе его тот неизменный, замешанный на восторге и грусти отзвук, какой хоть раз, но каждому достается испытать при виде отчей земли, и к розвальням, мужику и лошаденке, словно что-то символическое или даже пророческое связывало его с ними. За спиной, радуясь остановке, ворковала свита. Ей не было дела ни до простора, ни до мужика с лошаденкой, вернее, с теми крестьянскими заботами, которые гнали его на не устоявшийся, не окрепший еще лед; следуя законам придворной жизни, они видели перед собой лишь царя и, заметив, что его заинтересовало что-то, и торопясь из соображений угодничества присоединиться к его настроению, постепенно смолкли и тоже принялись наблюдать за розвальнями, мужиком и лошаденкой, спускавшимися к реке.

LXIV

Действия властителей часто оказываются столь же непредсказуемыми, как и действия любого человека. Разумеется, это не означает, что все происходит вдруг, беспричинно, в зависимости лишь от сиюминутных обстоятельств (взрыва чувств, что ли, если сказать иначе); нет, для подобных поступков всегда есть причина, и не одна, а множество, которые до поры бывают настолько скрытыми (и прежде всего от их носителей), что и после свершившегося остаются неподатливыми к обобщениям и познанию, как, впрочем, и окружающий нас мир вещей и событий, сохраняющий и поныне тысячи самых разных и, возможно, основополагающих, ключевых для разгадки мироздания тайн. Накопленный багаж жизни, принадлежность ли к народу, державе с ее историей и традициями или, может быть, просто осознание жизни как самого бесценного, что дано человеку, и потребность защитить ее, та насущная потребность, которая хоть раз и хоть на мгновенье, но просыпается в каждом и подвигает на самое человеческое, — ни у Иоанна, ни у кого-либо из

свиты не возникало даже намека на предположение, что через минуту-другую они, обезумевши, кинутся с крутояра к реке, на лед; все пока что лишь молча наблюдали не столько даже за розвальнями и мужиком, сколько за царем, не вполне понимая, но ясно улавливая его напряженность и проникаясь ею, тогда как Иоанн, охваченный, как это не раз уже случалось с ним, суеверным предчувствием, даже приподнялся в седле, чтобы лучше увидеть происходившее. Он заметил, как мужик, приостановившись, посмотрел из-под руки в его сторону, как затем у реки вновь придержал лошадь и, выйдя с палкой на лед, тыкал ею перед собой; и только убедившись, что лед крепок, вернулся к саням и, благословясь, решительно взял чалуку под уздцы.

Для свиты, не знавшей мыслей и чувств Иоанна, все должно было заключаться лишь в том, выдержит или не выдержит лед на реке, удастся или не удастся переправиться мужику; для Иоанна же с его зловецким замыслом обуздания державы, отъездом из Москвы и риском, какому, подобно мужику, выводившему лошадь на лед, он теперь подвергался, разворачивавшаяся перед глазами картина носила не столько даже реальный, сколько символический характер; на риск крестьянина он накладывал свой, как игрок на карту, и куда более значительный, чем только гибель одного безвестного мужика, и, когда на середине реки лед под санями вдруг прогнулся и сани, проваливаясь в образовавшуюся полынью, потянули за собой и лошадь и мужика, — охваченный лишь мыслью спасти себя и державу (настолько понятия эти были объединены в нем), он пришпорил коня и прямо с крутизны пустил его вниз, к реке. За ним ринулись любимцы и свита, и через мгновение нельзя было разобрать, кто мчался впереди, кто в центре; с горы скатывался клубок взвихренного снега, мелькали шапки, шубы, конские хвосты, гривы, и лишь на исходе склона, налетев на сугроб, лавина остановилась как вкопанная. Седоки повывлетали из седел, в том числе (и первым почти) в сугробе оказался Иоанн, и все это произошло так быстро, что никто не успел ничего сообразить. Когда же Басмановы, Вяземский, Салтыков, Скуратов-Бельский кинулись было к царю, чтобы помочь, то с удивлением увидели, что Иоанн, стоя по пояс в сугробе, смотрел на

реку, на которой лишь мутным пятном зияла полынья, а вокруг на всем обозримом ледяном пространстве — ни мужика, ни саней, ни лошади.

Едва Иоанна вызволили из сугроба, как он опять посмотрел на реку; затем обернулся на вельмож, многие из которых, теперь еще более отяжелев в своих раскрытых по снегу шапках и шубах, пытались выбраться из сугроба, на холопьев, кинувшихся ловить лошадей, и то ли картина эта и в самом деле напоминала нечто забавное, на что нельзя было смотреть без улыбки, то ли Иоанну просто хотелось снять с души тяжесть, напророченную ушедшими под лед санями и мужиком (в конце концов ведь нельзя же считать Божьим знаком то, что загадывается самим), он вдруг, вскинув руки, громко, от души засмеялся, указывая на барахтавшихся в сугробе вельмож и снимая тем напряженность и с себя и со всех; и не утонувший мужик с санями и лошадкой, а эти именно барахтавшиеся в сугробе вельможи занимали Иоанна и потом, когда берегом уже со свитой он возвращался в Коломенское, и позднее, когда сидел за обеденным столом и боярин Алексей Басманов, пользуясь правом старшинства меж любимцев, раз за разом поднимал здравицу за него. У сих любимцев вновь появилась надежда, что повеселевший монарх присоединится к их гульбищам, и через архимандрита Левкия было передано на игуменский двор, чтобы опять в ночь накрывали столы и вели девок, и сразу же после вечерней службы в церкви Вознесения, когда Иоанн с царицей прошествовал во дворец, к нему было отнаряжено то «тайное посольство», состоявшее из трех доверенных лиц — кравчего Федора Басманова, князя Афанасия Вяземского и архимандрита Левкия, — которое, обосновавшись, как и накануне, в прихожей, должно было найти способ переговорить с Иоанном и привести его.

Но жизнь есть жизнь, и самые, казалось бы, обоснованные предположения часто не только не находят подтверждения в ней, но оборачиваются благодаря именно своей непредсказуемости столь странным сурпризом разочарования, что даже выдавшим виды остается лишь глубокомысленно пожимать плечами и переглядываться. В таком положении как раз и оказались теперь кравчий Федор, князь Афанасий Вяземский, архимандрит Левкий и все те, кто, сжига-

емый нетерпением поскорее начать застолье, заходил к ним, чтобы осведомиться. Больше всех недоумевал кравчий Федор. С тех пор как Иоанн приблизил его к себе, жизнь представлялась ему одним сплошным удовольствием, то есть морем тех всевозможных соблазнов, мимо которых, он не понимал, как можно было спокойно проходить: он, в сущности, если отстраненно посмотреть на него, был заражен той же болезнью, какую с детства и основательно был заражен Иоанн, полагавший, что есть держава и есть он в центре, вокруг которого должно вращаться все; и хотя Федор был только кравчим и знал свое место у трона, но — словно конь, выведенный на простор и почувствовавший, что поводья отпущены, мчался теперь, распушив хвост и гриву, с одной только единственной целью как можно полнее насладиться необузданностью и волей. Нет, он не понимал Иоанна и каждую минуту рвался к нему, но князь Вяземский, более рассудительный (не случайно Иоанн выберет именно его для своих ночных задушевных бесед), — князь поднимался и преграждал дорогу кравчему. Минутами они готовы были даже схватиться друг с другом, и удерживало их только то, что царь мог услышать возню, и тогда... кто знает, чем бы закончилось для них сие противоборство. Князь Вяземский, подобно Федору, тоже не был посвящен в замыслы Иоанна, но как человек наблюдательный делал для себя (из поступков и поведения царя) вывод, что затевалось самодержцем что-то грандиозное, что не укладывалось в воображении, и, чтобы не остаться без места в этом грядущем преобразовании, предпочитал более наблюдать, чем действовать; ему не просто хотелось заглянуть в будущее, но подстраховаться в нем, и он словно бы за поддержкой этого своего намерения то и дело обращивался на чудовского архимандрита, как если бы святитель-собутыльник и в самом деле был наделен святостью и мог чем-либо пророческим, мудрым помочь князю.

Но Левкий, однако, и не собирался никому помогать. Пристроившись на той же скамье, на которой столик самозабвенно прохрапел всю прошлую ночь и за которую теперь словно бы держался, вцепившись в нее руками, будто в таком положении что-то могло спасти его, поглядывал то на кравчего Федора, то на князя

Афанасия Вяземского, то на дверь, за которой в одиночестве (царица сразу же ушла от него, опять сославшись на недомогание) сидел или прохаживался, но, скорее, все же сидел Иоанн. Левкию не казалось странным, что царь никого не приглашал и не хотел видеть. Уехать из Москвы вот так, как он, бросить Кремль, дворец, державу, Левкий понимал, нужны были ой-ой какие основания; и, чтобы постичь происходящее, а люди желчные, завистливые всегда более реалистичны в оценках и взглядах, чем упоенные успехом, пусть и заслуженным, а не мнимым или подаренным судьбой, — не предполагал, не выдумывал, даже не пытался как будто заглянуть в будущее, а лишь оборачивался (мысленно, разумеется) на прошлые поступки Иоанна, и, словно в зеркале, грядущее представало перед тщедушным архимандритом. Он понимал, что готовились расправы и казни; над кем и за что — думать было излишне, потому что по себе, по своей при Дворе деятельности знал, что нет вблизи трона человека, которого бы не за что было казнить; преступны все, все, если не делами, то в помыслах, включая и Иоанна, и эта столь же явная, сколь и кощунственная мысль, не первый раз уже приходившая на ум чудовскому архимандриту (по принципу: каков я, таков и мир, погрязший в грехах и лицемерии), — мысль эта оборачивалась в нем злорадством, что полетят, да, да, полетят и боярские, и княжеские, и холопские головы, и с этим нескрываемым на лице злорадством (что случалось с ним редко, лишь когда разумное уступало чувствам и воображению) продолжал смотреть на князя, на кравчего и дверь в гостиную, за которой в кресле у камина в предчувствии новых кошмаров сидел отягченный думами Иоанн.

LXV

Любой большой город, по каким бы признакам он ни дробился в представлении его жителей или умах ученых, воссоздающих историю, обычно живет как целостный организм со своими приливами и отливами радостей, огорчений, тревог, надежд, вспышками или угасанием бунтарского духа, и никто, пожалуй, не способен столь оперативно и смело откликнуться на

справедливость или несправедливость власти, как именно этот рассредоточенный будто по городским жилищам, но вместе с тем более чем целостный организм общественной жизни людей. Положение это столь же верно теперь, как оно было верно в прошлом, и Москва, растревоженная и чуть было не взбунтовавшаяся после отъезда Иоанна, — Москва на третий день своего обезглавленного, сиротского существования вдруг словно бы попритихла, по улицам уже не ходили толпы, не били, не грабили торговых лавок (хотя возле кабаков еще угрожающе хороводились подвыпившие мастеровые), и на площадях перед церквями не роились в паническом страхе толпы прихожан, выпытывавших друг у друга и у святителей, пошто царь покинул столицу, забрал казну и от кого и с какой стороны следовало теперь ожидать всем лиха; страсти с улиц перекечевали в дома, на горожан словно бы накатила волна раздумий, что само по себе не менее опасно, чем сиюминутный и необузданный взрыв чувств (ведь решения осмысленные ведут к действиям последовательным и неотвратимым), и эта-то установившаяся будто бы тишина, о которой докладывали митрополиту Афанасию, хотя и казалась обнадеживающей, но в то же время оставляла на душе у Первосвященителя тот тяжелый осадок, будто первопричина, поднявшая народ к беспорядкам, — первопричина не только не была устранена, но, напротив, словно болезнь, была вогнана вглубь, и что если не принять новых мер, все то, с чем он столкнулся, отправившись вчера вечером к арбатской церкви, все могло повториться в таких масштабах, что уже никто, ни даже сам Иоанн, вздумай вернуться в эти часы в Москву, не сумел бы остановить бунта.

Но сверх того, что уже было сделано им для успокоения народа, митрополит не мог ничего предложить, и новый день начинался для него с тех же раздумий, как и предыдущий, то есть с осмысления ситуации, как мы бы сказали теперь, сложившейся в Москве и державе после отъезда Иоанна (разумеется, дела церковные он не подменял делами государственными, а соединял их), и с тех же болей в ногах и общего старческого недомогания, избавиться от которого еще менее было возможностей у него. Так, видимо, угодно Богу, думал он, утешаясь сей простой и

расхожей истиной, должной как будто бы объяснить все, но ничего, в сущности, не объяснявшей. Митрополит недомогал главным образом из-за того, что переменялась погода, что вместо державшихся две недели морозов вдруг, в ночь, наступила небывалая оттепель, и он уже с утра, принимая гостей, сидел в кресле с закутанными в меховые шкуры ногами. Первым явился к нему воевода князь Александр Борисович Горбатовый-Шуйский с сыном Петром. Их беспокоило теперь, как уяснил митрополит, не только то, что происходило или могло еще произойти на площадях и улицах столицы, не беспорядки, не толпа, которую так же легко довести до безумства, как и унять, бросив посулы ей (по вчерашнему эпизоду митрополит более чем понимал это), и не угроза опалы, то есть судьба личная, хотя разве есть у человека что-либо дороже собственной жизни? Но, повторяю, не за тем, чтобы обезопасить себя и сына, пришел на сей раз воевода; ему казалось, что что-то подспудное, тяжелое надвигается на державу, готовое раздавить ее, и хотя в подтверждение своих домыслов не мог привести ничего существенного, но ведь за тем и тянутся к святителям люди, чтобы исповедаться в тревогах и предположениях. С подобными мыслями потом сидели у митрополита князья Мстиславский и Бельский (один из них, князь Мстиславский, спустя уже несколько недель по повелению Иоанна возглавит земщину) и еще представители разных иных чинов и званий, коим Первосвятитель не смел отказать и коих выслушивал со вниманием, как если бы каждый и в самом деле открывал нечто новое, важное, и после всех этих разговоров и встреч понятно, сколь обострилось воображение старого, склонного уже более к покою церковного иерарха. Но покоя не было, и если в чем-либо и убеждался Афанасий, то лишь в том, что на нем одном сходились теперь нити и церковной, и державной власти и что — сколь ни тяжело было сие выпавшее ему испытание, но надо было собраться с силами (об этом, только об этом и молил Бога) и исполнить это историческое, судьбой, жизнью возложенное на него.

Он хотел деятельности и видел, что все ждали от него этого; но все, на что он был способен теперь, выливалось лишь в деятельность умственную, то есть в ту деятельность, которая будто бы и не заключена ни

в какие физические рамки, скрыта от глаз, нематериальна, да и вообще есть ли она, или, скажем, человек только дремлет, пригревшись в кресле и прикрыв веки, но которая вместе с тем, как бы мы ни относились к ней, обладает самой, может быть, могущественной силой и в конце концов управляет человеческими страстями и миром. Митрополит Афанасий вряд ли вполне осознавал, что сил для деятельности духовной у него было больше, чем для физической, и еще менее вероятно, чтобы верил, что можно изменить или исправить что-либо к лучшему лишь путем размышлений, отдаваясь, в сущности, и от мирских, и от церковных сует, как было с ним теперь, когда, чувствуя необходимость отдохнуть и расслабиться, он подремывал, да, именно подремывал в кресле, устроившись в нем и не велел никого впускать к себе; единственным и главным для него беспокойством было сейчас то, что он как никогда чувствовал себя оторгнутым от истины, которая прежде всегда была будто бы с ним, была доступна ему и подвигала на дела добрые и угодные Богу, но которой теперь не было ни в нем, ни в окружающих (как если бы вдруг из апостольских писаний был бы изъят образ Христа), и желанием заполнить эту пустоту как раз и определялась цель, к которой устремлены были его помыслы. Он задавался скорее мирским, чем церковным вопросом: что есть Церковь и что есть жизнь, в которой судьба людей, должная как будто зависеть от Бога, а Бог не может поступать не по справедливости, на деле зависит не от Бога, а от произвола той или иной властвующей (на своем уровне) личности? Обычно кажется, что человек, вступающий на стезю служения Господу, отдается вере настолько, то есть настолько лишает себя возможности самостоятельности, а главное, трезво, реалистически мыслить и воспринимать мир, что ничего человеческого, то есть от мирского начала не остается в нем; так ли это или иначе, ведомо, наверное, только самому Господу Богу, в то время как известно, что человек, если он приспособливается к чему-то в жизни, что приносит ему благополучие и позволяет проявить себя, — человек, даже не творящий, а лишь содействующий своим молчанием творимым неправдам, никогда и никому не выдаст своих «еретических», крамольных, что ли, если точнее, мыслей, какие время от времени являются ему и терзают

его. Ни при каких допросах и пытках митрополит Афанасий не поведал бы никому этого, о чем теперь думал. Церковные догмы не только не убили в нем мирского, человеческого начала в восприятии и осмыслении мира, но, напротив, чем выше поднимался он по церковным иерархическим ступеням и чем обширнее открывалось перед ним историческое (с перспективой на будущее) пространство жизни с несовместимостью слов и дел в ней, тем острее поднимался этот вопрос вопросов: в чем же, если он есть, высший смысл бытия? И ему важно было теперь не просто ответить на него, но так, чтобы ответом этим осветилось все то, что на его глазах происходило в державе.

Как и царь Иоанн в Коломенском, митрополит Афанасий стремился вернуться мыслью к началу начал, с чего пошла держава, народ, русский человек и пошел он сам, Афанасий: не по родовому древу, то есть кто отец и кто мать, и не по географическим, временным или каким-либо еще понятиям, конкретно привязывающим нас к селу, городу, сословию, что, разумеется, важно знать и помнить, но что всегда или почти всегда замыкается лишь на интересах личных или в лучшем случае национальных (родина есть родина, и у каждого в душе отведено место для любви к ней — этому неотторжимому от нас пространству земли, стынет ли под снегом сие пространство или раскаляется под лучами южного палящего солнца), нет, не по этим признакам родства и уяснению собственной значимости в сиюминутно окружающем нас мире старался проникнуть митрополит своим старческим взглядом в прошлое; он чувствовал, что все, что было испытано народами и лежало в веках, — драмы религий, государств, личностей и сообществ, войны, неурядицы, мор, пожары, голод и пр., и пр., что и совместно и несовместимо с человеческим разумом и продолжает неостановимо накапливаться, — все, все (по какому-то странному, что ли, осознанию) было в нем, в его безмерно отяжелевшей от этого груза человечества душе, сваленное в грудь, не разложенное, не упорядоченное и потому вызывающее желание разобраться во всем основательно и до конца. Каждый человек есть частица мироздания, и независимо от того, сознает или не сознает он это, в нем, как в капле росы, отражено все, что есть и было с людьми на

земле, и весь вопрос заключен лишь в тяге к познанию, насколько страсть эта сильна в нас и не запоздало ли приходит, когда ничего уже не осуществить и не передать никому? Но бесперспективность эта не останавливала митрополита Афанасия, он стремился выяснить все не для других, а для себя, чтобы остававшиеся еще совершить ему поступки были совершены с достоинством и по разуму, а не по образцам прошлого, принесшим и приносящим сотни неправд. Он, казалось, и в самом деле дремал в кресле (по крайней мере у дьяка-писца, на цыпочках вошедшего к нему, осталось именно такое впечатление), и хотя окна не были задернуты шторами, но в гостиной словно бы царил обычный российский зимний полуденный сумрак.

LXVI

Нельзя всерьез полагать, что только перед нами, живущими на исходе второго тысячелетия от рождения Христова и готовящимися вступить в третье с упованием на разум, науки и духовность, столь достаточно вроде бы обогатившуюся как давними, так и недавними уроками нашей кровавейшей из историй, возникает потребность осмыслить себя, народ, мир и положение свое и народа в этом во все времена беспокойном и неустойчивом мире, в котором инстинкты общественные столь же жестки и неумолимы, как и притязания личные на богатство, власть, славу и бессмертие, лишь бы остаться пусть именем, пусть обманно, пусть в горькой, но все же людской памяти, — эта естественная потребность к осмыслению себя и мира так ли, иначе ли вставала перед каждым поколением, и разница между нами и теми, кто думал до нас, состоит лишь в том, что, во-первых, мы с большей изощренностью задаем, в сущности, один и тот же извечный вопрос, кто есть мы и что есть сущность бытия, и, во-вторых, напичканные и одурманенные множеством новых и новейших философских понятий, ищем ответ совсем не там, где он лежит, то есть не в реальном течении жизни, что и как влияло на это течение и формировало, или, вернее, давало направление нравственным и социальным устоям, а в тех умственных построениях, в коих все, что не подходит под формулу или идею, либо переиначивается, либо отбрасывается

вовсе как несущественное и только запутывающее все. Надо ли приводить доказательства, коих не счесть, да, возможно, автор и сам не безгрешен в сем плане, так как обдувался ветрами тех же «наук», как и все (хотя и стремлюсь к правде и объективности); и если уж говорить откровенно, то прямота и простодушие людей прошлого, иногда кажущиеся нам даже наивными, привлекают меня куда больше, чем нынешняя наша усложненность и обман, когда на белое можно сказать черное, а на черное — белое да с таким из словесной вязи правдоподобием, что целый народ вдруг на столетие почти впадает в унылое забытие. И здесь за примером не надо ходить за кордон. Обманутыми были и остаются русские люди (и еще десятки народов, волей или неволей вынужденные делить с нами судьбу), и так как обман этот историчен и корни его следует искать не в ближайших столетиях, а в глубине эпох, в той седой старине, по сравнению с которой и время Иоанна, то есть время митрополита Афанасия, поскольку о нем речь, время то и митрополиту должно было казаться младенческим в смысле осознания народом своей судьбы, достоинства, чести и места в исторической общности других народов и государств. От уровня своих познаний истории и жизни, освященных во многом идеалами церковными, хотя, как уже говорилось, и начала общечеловеческие, мирские не были до конца ни приглушены, ни задавлены в нем (да и вообще, есть ли подобная задавленность или есть только притворство, только игра в исключительность ради сохранения славы и благ?), нисходил митрополит в минувшее, разгребая завалы тьмы и лжи, чтобы добраться до истины, и я вот, как перед собой, вижу эту могучую в своем духовном порыве фигуру митрополита, тихо и отреченно будто бы сидящего в кресле с закутанными в меховые шкуры ногами, и так же, как перед ним, разверзаются и передо мной шторы эпох, и не фрагменты из деяний тех или иных великих личностей, о которых, кстати, нам известно теперь куда больше, чем было известно Афанасию или Иоанну, а спрессованная в сгусток картина жизни с ее удручающим реализмом (о чем только думали люди, творя сию историю, о чем?!) встает, как рассвет, и охватывает горизонт.

Нет, тьма веков не беспроглядна, как полагают многие, и не за такими уж неподступными печатями,

что не открыть их, захоронена тайна тайн законов общественного бытия. Изначальным толчком, что ли, если так можно выразиться, к размышлениям явились для митрополита Афанасия не раз слышанные им от Иоанна слова, что оттого-де только и погибла Византия, что верховодили в ней не цари, а попы, то есть не светское, не мирское начало, а церковное, умертвляющее будто бы в человеке не столько даже плоть, сколько душу, и делающее его беззащитным, безвольным и неспособным к сопротивлению (мысль эта в ответе Курбскому особенно отчетливо выражена царем); обвинялись, в сущности, Церковь и ее догматы, вернее, то самое православие, которое уже тогда считалось более чем судьбоносным для русского человека, и Афанасий не то чтобы не был согласен с Иоанном, но, оскорбившись — и за народ, и за себя — дерзнул было даже возразить царю; но, возразив, не смог ни забыть, ни выбросить из себя это оскорбление и возвращался к нему всякий раз, когда наступала минута подумать о судьбе народа, Церкви и государства. Как Первосвятитель, как высший иерарх русской православной Церкви, он, естественно, не мог смириться с высказываниями Иоанна, но как человек мыслящий, всегда и во всем стремившийся доискаться до правды (другое дело, насколько удавалось это), старался понять, что могло скрываться за сими царскими нападениями. «Ведь Церковь непогрешима и свята, и что может быть угоднее Богу, чем служение и хвала ему?» — спрашивал он себя, отвергая этим самую возможность сомневаться в святости Церкви, а значит, и церковников, то есть попов, как их не без иронии назвал Иоанн. Весьма возможно, что этим аргументом митрополит Афанасий и ограничился бы, если бы не то обстоятельство, что Византия действительно-таки пала; пала под напором «неверных», возглавлявшихся Магометом II, и — Господь ли отвернулся от православного воинства (но тогда возникает вопрос: почему, за какие грехи?), или неумело распорядились в бою войсковые начальники (но кто и по какому признаку выдвигал и назначал их?), или же все зависело от настроения и духа воинов, то есть от того главного (когда есть что защищать, и люди готовы защитить свой дом и землю), что во все времена являлось определяющим и приносило успех, — войска Византии

были разбиты, императоры свергнуты, Церковь подверглась поруганию, а верующие — гонениям, каких невозможно и описать; так в чем же прав и в чем не прав Иоанн, и позволительно ли, когда речь заходит о судьбе народа и государства, презреть ради чести мундира истину и продолжать творить то, что ведет к гибели? Разумеется, митрополит Афанасий не проводил параллелей между Византией и Россией, так как Византии уже не было, а Россия была; была в поре своей молодости, набирала силу, мужала, и, кроме как свет к благу, никакой иной еще не освещал ее исторический путь (ведь если что-то и скрыто от человека во мраке, так это будущее); но если то, что господствовало теперь в России (в смысле веры), уже привело одну державу, и довольно могущественную, к гибели, то не постигнет ли подобная участь другую, то есть Россию, если все византийское будет безоглядно копироваться в ней? Подобный вопрос, может быть, и не столь ясно сформулированный, как он звучит здесь, ставил митрополита в тупик и в какие-то минуты заставлял вдруг по-иному и смотреть на Иоанна и думать о нем. «Господи, Господи, Господи!» — крестясь, скороговоркою произносил он, но мысли не отступали, сознание рвалось к истине, в то время как плоть, старческая и немощная, облаченная в святость иерархических одежд, требовала покоя и отдохновения.

Историки любят утверждать, что падение Византии было делом предрешенным, и приводят достаточно убедительные доводы, уточняющие или поясняющие их мысль, и главным в этих доводах выставляется то, что все мировые империи рано или поздно изживают себя, разваливаются и умирают и что происходит это оттого, что стареет и деградирует власть, деградирует система, и выдвигавшиеся в ней ценности, к какой бы области человеческой деятельности ни относились, перестают быть ценностями, оплевываются и выбрасываются на задворки. Конечно, можно увидеть историю и так, если смотреть лишь на черепки бывших империй и не приподнимать той надгробной плиты, под которой как раз и бывает захоронен ключ к познанию. Византия, во-первых, не изжила себя, а была завоевана войсками Магомета II, и, во-вторых, если согласиться, что изживает себя система, то и

Церковь (в данном случае православная) как часть системы, как идеология, со всех сторон подпиравшая эту систему и, в сущности, державшая ее на себе, — Церковь как своего рода именно идеология не может или, вернее, не должна пребывать в прежнем значении; святость ее — уже не святость, а нечто иное, нечто — как одежда с покойного, передающаяся подростку в виде символа вечной жизни. Разумеется, я отдаю себе отчет в том, что религия и Церковь, основывающаяся на ее постулатах, — понятия далеко и далеко не однозначные и могут соотноситься между собой как суть предмета и оболочка, в которую заключена сия суть (и оболочка может быть прочной, непрочной, тленной), так что заранее отвергаю даже самую попытку обвинить меня в нападках на религию; нет, речь идет не о христианстве вообще, а только об одной ее ветви, о православии, сыгравшем в нашей истории роль особенную и, позволю заметить, далеко не изученную по своим последствиям как в положительном, так и в отрицательном планах, хотя тяга к подобным исследованиям жила в обществе всегда, со времен еще Ярослава Владимировича, когда Русь только-только начала покрываться сетью монастырей, привносивших в народ дух иноческого смирения, отречения от земных благ и поисков спасения в служении Богу, в угнетении плоти, нищете, безволии, и митрополит Афанасий в теперешних своих недолгих и трудных раздумьях предстает лишь одним из тех обеспокоенных судьбою державы церковных деятелей, кои в такой ли, в иной ли форме приступали к этому вопросу и искали ответ на него.

LXVII

«В эпоху, когда Русь приняла христианство, православная церковь была пропитана монашеским духом и религиозное благочестие находилось под исключительным влиянием монастырского взгляда», — заметил в одном из своих трудов историк Костомаров. И далее он говорит, что «сложилось представление, что человек может угодить Богу более всего добровольными лишениями, страданиями, удручением плоти, отречением от всяких земных благ, даже самоот-

чуждением от себе подобных, — что Богу приятна печаль, скорбь, слезы человека; и, напротив, веселое, спокойное житье есть угождение дьяволу и ведет к гибели», и что «так было в византийском мире; то же перешло и к нам». Трудно, конечно, предположить, чтобы во времена Иоанна, то есть митрополита Афанасия (ведь о нем речь), люди столь же ясно представляли себе панораму минувшей жизни, тем более иерархи, прошедшие сами через иночество и разве что, как они полагали, сумевшие лишь просветиться в нем; но, может, именно с высоты этого просвещения, как и было теперь с митрополитом Афанасием, и открывались им совсем иной, новый, не замутненный еще идеями собственного величия взгляд на народ, Церковь и будущее державы, которой служили и от которой неотделима была их судьба и жизнь. Митрополит Афанасий лишь пытался ответить Иоанну на его упрек Церкви, лишь пытался определить, в чем прав и в чем не прав царь-самодержец, и в поисках не то чтобы оправдания, — нет, митрополит этого не хотел, — а в поисках истины невольно приходил к мысли, что, пожалуй, Иоанн прав и что дух монашества, получивший наивысшее к тому времени распространение и силу в Византии, как раз и поставил народ в положение, когда ему нечего и незачем было защищать. Подобная мысль (мысль Иоанна — это для уточнения, чтобы не забыть) может показаться преувеличением, так как, повторю еще раз, падение Византии как империи неверно было бы связывать лишь с ослаблением духовных сил народа; причин на то было предостаточно — и действительных, и воображенных, — и только совокупное рассмотрение их может хоть как-то приблизить нас к правильному ответу. Но митрополит Афанасий (в силу определенных, разумеется, обстоятельств) брал лишь одну эту сторону, лишь то, что относилось или могло относиться к Церкви и монашескому духу в ней, то есть к тому самому «религиозному благочестию», находившемуся под влиянием монастырского взгляда, какое проникало в народ и приглушало в нем энергию жизни. Схема же подобного влияния чрезвычайно проста. Если происходящее в стенах монастырей и с отшельниками — благочестие, а то, что за пределами этих стен, в миру, — разврат и служение дьяволу, чреватое вечными муками (что не распространялось,

однако, на великих князях да и прочих мирских или духовных владык), то, естественно, чтобы спастись, надо было либо постригаться в монахи, либо, во всяком случае, жить с постоянной оглядкой на иноческое благочестие. Считалось (и мнение это поощрялось и насаждалось далеко не только Церковью), что чем полнее отречение от всего: дома, семьи, собственности, воли, даже своей плоти, которую надлежало только угнетать и истязать, денно и нощно молясь при этом и воздавая хвалу Спасителю нашему, — тем выше почитался иноческий подвиг, тем больше чернец или отшельник обретали святости. Его славили в церквях, говорили о нем в народе, возвеличивали при царских и великокняжеских дворах, и простой люд, чтобы спастись для потустороннего вечного благоденствия, толпами валил к нему, лишь бы прикоснуться к его лохмотьям и приобщиться таким образом к его святости. Символ иночества как некоего спасения (от кого, от чего, спрашиваю уже я, от жизни?), словно невидимый херувим, витал над обществом, скопя и наводняя аскетизмом его, и не важно, что зарождением просвещения да и самой государственности народы во многом обязаны Церкви и монастырям (взять хотя бы тех же Кирилла и Мефодия); не важно, что многие нравственные начала действительно исходили из монастырских келий, как, впрочем, и летописный труд, без которого все прошлое лежало бы для нас в полнейшем и непроявленном мраке (хотя ведь и монастырская нравственность рождалась не на голом месте, а имела соответствующее тому народное основание); не важно, что в монастырях именно возрастали и являлись затем державе личности незаурядные, великие, память о которых и поныне нетленна в наших сердцах (разными были иноки, отшельники, разными были и уставы монастырской жизни, то действительно восходящие до высот нравственного благочестия, то опускавшиеся чуть ли не до откровенного стяжательства и разврата, что отмечалось еще при Иване III и Василии III и обрело особый размах уже в царствование Иоанна); не важно, что из монастырских келий приходило в мир, в народ это благотворное, что нравственно отрезвляло и сдерживало его (так ведь, не будь монастырей, нашлась бы некая иная форма для утверждения общественной жизни), а важно другое, что как раз и вызы-

вало теперь беспокойство у митрополита Афанасия своей мрачной направленностью и объединялось в понятие монастырского взгляда на жизнь. Соизмеримы ли блага привносившиеся с теми, что отнимались, духовно ослабляя людей? И как можно желать процветания народу, отбирая у него самую цель жизни — радость бытия и лишая его, пусть даже в угождение Богу, святых родительских чувств, то есть возможности иметь семью, детей и возможности трудиться во благо и счастье их? Такой человек безроден, всепланетен (что, может быть, и угодно Богу, но, в сущности, обрекает народ на бесплодие и вымирание), и что и кого было защищать подобному византийцу в своей Византии? Митрополит Афанасий ничего не утверждал, а лишь, силясь понять Иоанна, приходил к этой страшной по еретичности своей и приближавшей его к истине мысли о влиянии монастырского благочестия на общую жизнь людей, и, не желая принять ее и противясь ей (по положению Первосвятителя да и по итогам всей своей почти полувековой церковной жизни), вместе с тем и не хотел и не в силах был прервать этого являвшегося ему просветления.

Тут, пожалуй, самое время чуть прервать повествование и обратиться к некогда уравненным между собой и официально господствовавшим в нашем обществе понятиям самодержавия, православия, народности, за которыми ясно можно разглядеть, с одной стороны, базовую основу, то есть миллионы и миллионы простых людей, а с другой — мирское и идеологическое (Церковь) правление над ними. Затем, в начале двадцатого столетия, мирское правление, вернее, тот инструмент жизни, через который хоть как-то, хоть ущемленно, но люди могли все же оказывать влияние на формирование своей судьбы, — мирское правление как совершенно будто бы изжившее себя было упразднено и оставлено лишь идеологическое (с тем только различием, что функции Церкви, расширенные до безмерного влияния на все и всех, взяла на себя партия), и независимо от того, захотим или не захотим мы признать это, всем своим новым государственным устройством страна наша неизмеримо ближе, чем когда-либо, придвинулась к византийскому варианту.

Проще говоря, то, к чему столь безуспешно, казалось бы, и в величайшем противоборстве сил стремились российские великие князья, цари, императоры, разрешено было одним, как утверждают теперь (правда, холостым, как добавляют, сигнальным), выстрелом с «Авроры», и на месте старой, до корней будто бы прогнившей империи явилась миру... не новая, нет, а все та же в проявлениях своих, но лишь с более ужесточенными законами держава, по закабаленности человека в которой не мог бы сравниться, пожалуй, даже весь сложенный воедино древний дохристианский мир. Победители же, впрочем, ликовали, выдавая это забытое старое за новое и тем обманывая себя и народ. Но ведь не только на людях изнашиваются и истлевают одежды; изнашиваются, истлевают и одежды политические, и, когда приходит время менять их (как нам теперь), содеянное и правителями, и народом хоть на миг, но предстает перед историей в своем истинном смысле и значении.

Нам всегда представлялось и представляется теперь, что человечество, идя к совершенству, располагает неограниченным простором для действий, тогда как на самом деле, если приглядеться к историческому процессу, оно столь же ограничено в выборе, сколь и стеснено и обречено повторять то, что было в прошлом, облакая лишь это прошлое в новые, более привлекательные обертки. Когда христианство, возведенное отцами Церкви среди европейских народов как идеология над правлением мирским, над всей, по существу, общественной жизнью (по византийскому варианту), достигло пика в своем безудержном мракобесии, европейцы, чтобы стряхнуть сию идеологическую тоталитарность с себя, обратились в поисках к античному миру. «Почитание святых уступило место богам Греции и Рима», а «знатные и образованные люди, не только светские, но и духовные, подобно древним римским философам, считали религию только пригодной для черни, которую, ради выгод, следует держать в заблуждении». Европа таким образом сделала для себя тот выбор, вернее, нашла тот компромисс — из двух безусловно равных и безусловно противоборствовавших начал жизни, — который, всем известно теперь, к чему он привел; мы же, решив (и с многовековым, разумеется, опозданием) обновить жизнь, не

нашли ничего лучшего, как с большей еще, чем прежде, ревностью повторить тот гибельный, однажды уже навязанный нам византийский вариант, последствия которого столь трагично переживаем сейчас. Мы взяли главное, чего более всего следовало опасаться, — верховодство идеологии над мирской властью, — и дух иночества из тесных монастырских келий перенесли на простор общей, государственной жизни; народ даже не заметил, как в одночасье после Октября семнадцатого был целиком пострижен в монахи, лишен собственности, закабален, унижен, государство превращено в казарменный монастырь с наставниками и паствой, в котором паства на диво всем остальным государствам и народам, пребывавшим еще в пороках и не умевшим очиститься от них, подавала пример нового, социалистического (вместо прошлого, религиозного) благочестия. Одиночные монашеские подвиги во имя собственного спасения, столь прославлявшиеся и властями, и Церковью, заменены были теперь единым трудовым подвигом народа, уже не имевшим никакого отношения к спасению личному, а совершавшимся ради светлого будущего для всех. Но вместо светлого будущего, вместо этого нового обещанного рая (объявлялись даже конкретные сроки) надвигалось лишь обнищание: и экономическое, и нравственное, и ничего не получавший за свои подвиги и пребывавший в состоянии обмана и миражей трудовой люд все более обретал черты того бездумного овечьего стада, в котором никто не может двинуться без окрика пастуха или лая сторожевых псов.

Там, где правит идеология, для естественных законов бытия не остается места; бездействие же естественных законов ведет лишь к развалу и хаосу, и падение Византии есть не больше, не меньше как плата за иерархический произвол над жизнью, достаточно верно, впрочем, подмеченный и понятый Иоанном. Но Россия — не Византия, и пишу я об этом не для того, чтобы сказать, что и нам уготована та же судьба; нет, история еще не завершена, и время покажет, на что способен или не способен русский народ и позволит ли в третий и, может быть, последний раз обмануть себя или найдет силы прозреть и опомниться; я же уповаю лишь на одно — именно на прозрение, во имя которого и тружусь и беру на себя сию ношу. Ведь житие

монашеское сформировалось не само по себе, в нем так ли, иначе ли явилась потребность — и личности, и общества, и власти; и в то время как для личности это было лишь способом удалиться от мирских невзгод, для общества — пережить нашествия, мор или притеснения властей, то для иерархов, будь то светские или духовные, — для иерархов, озабоченных тем, чтобы держать паству в повиновении, образ монашества был если не главным, то, по крайней мере, одним из главных институтов воздействия на умонастроение и психологию людских масс. Добровольное отречение от собственности, от себя самого, от всех благ жизни — да никакой власти и никаким насилем не достичь этого, что достигалось с помощью идеологии (в данном случае церковной), — и потому-то с таким усердием сей самоубийственный для народа иноческий аскетизм провозглашался подвигом. Так что — нет, нет, не из атеистических соображений кинулись разрушать у нас соборы, храмы, церкви; одним надо было просто пограбить сей богатейший материк, что и было исполнено, другим же — расчистить место для возведения новых святилищ, партийных, на кои, впрочем, не достало у них ни ума, ни рук, и, если задаться вопросом, во имя чего же все это совершалось, бесчинствовали власти и страдал народ, ответ напрашивается сам собой: во имя все той же власти, личной, безраздельной, самодержавной, диктаторской. Проходят века, меняются правители и их политические одежды, и неизменными остаются лишь — властолюбие и пренебрежение (ради этого властолюбия) самодержцев к жизни простых людей.

LXVIII

Именно эти судьбоносные для жизни народа и государства вопросы, на которые мы столь судорожно ищем ответ, хотя и по-своему в рамках тогдашних понятий и представлений как раз и занимали митрополита Афанасия. Мысли его, обращенные как будто в прошлое, на самом деле были обращены в будущее. Из своей срединной точки жизни, как мы бы сказали теперь, оглянувшись на то столетие, вернее, на Иоанново время, уже вселявшее в митрополита, бояр

и даже частью в простой, обывательский люд предчувствие надвигавшихся на страну неурядиц и смут, — из этой своей срединной точки жизни (если брать, повторяю, в масштабах истории), окруженный мраком неведения, он старался отыскать тот просвет, который позволил бы ему выйти из удушья на воздух, и просвет этот, как ни странно, то есть завал на пути к этому просвету, казалось митрополиту, выдвигался из прошлого и еще более кромешного, чем ныне обступавшая его вязкая и бестелесная вроде бы духовность, но вроде бы и нечто неуловимое, лишь напоминающее устремления и силы некогда свежего и жизнерадостного (в восприятии и устройстве бытия) славянского люда. Он не то чтобы осознавал себя провидцем или мессией (подобный взгляд на себя вообще не в традициях русского человека, расположенного более к состраданию и сочувствию, чем к подавлению воли других), — нет, подобное, если бы даже отдаленно явилось ему, он троекратно бы открестился, как открещиваются от нечистых, злых духов, и силой воли, приписываемой лишь Творцу, ибо Он и только Он призван управлять человеком, погасил бы в самом зачатке сие коснувшееся души растление; беспокойство его было — тем обычным беспокойством мыслящего гражданина отечества, кои в разных вариантах и на разных уровнях государственной и общественной жизни всегда являлись в народе, общине, миру, человечеству и оставляли свой добрый след. На старом, морщинистом лице митрополита, уже тронутом как будто бы маской вечности, отражено было все его теперешнее душевное состояние, он не ворочался, не постанывал, как это бывало с ним, когда впадал в забытие и когда ломота в ногах, мучившая его, становилась особенно невыносимой; то, что он старался разрешить, требовало мужества, и он собирал остававшиеся еще в себе силы для этого шага.

Зимний полусумрак, и тепло, исходившее от хорошо протопленной печи, и тишина, установившаяся в гостиной, в которой он теперь полулежал в кресле, откинувшись головой на высокую спинку и безвольно, расслабленно вытянув по подлокотникам руки, да и общая, постоянно будто царившая в митрополичьих палатах умиротворенность, что ли, как можно было бы ее назвать (ведь святость не любит суеты, и лики

святых, устремленные с икон в мир, каждую минуту, как стражи, готовы предупредить нарушение сей строгой святости), — все это окружавшее теперь Первосвятителя и должное будто бы располагать к покою, на самом деле располагало лишь к воспоминаниям, от которых не то чтобы согревалась, теплела душа, но ощущение безнадежности заменялось иным чувством, хотя вроде бы и не сопоставимым с радостью земного бытия (сия радость во многом обошла Афанасия), но сопоставимым с радостью открытий — мира святых, мира вечности, — столь потрясших в свое время его жаждавшую познаний и по-своему романтическую натуру. Может, потому-то и не ощутил так всей тяжести иноческой жизни, что более проводил время не в молитвенных бдениях, преклонясь перед ликами святых на холодном церковном полу, и не в усердном угнетении плоти, молодой, жаждавшей жизни, а в обительской читальне за книгами, где, впрочем, было еще холоднее, чем в церкви и келье, было голо и неудобно от промозглой каменной сырости, исходившей от пола и стен, но — что было ему тогда до этих неудобств, которые, если бы их не существовало, предписывалось уже самой сутью иночества искать и находить для себя, да и как вообще можно было думать о себе, когда со страниц книг словно бы выливалась на него сама святость, воплощенная в живых свидетельствах жизни? В молодом сознании его уже тогда и с ясностью возникала та простая схема бытия, по которой все в мире было разделено на три составные части: Творец, то есть Спаситель, затем угодники, достигшие своими иноческими подвигами святости, и паства, которая пребывала в заблуждении и которой давался (иночеством, разумеется) шанс прозреть и достичь святости. Афанасия привлекал именно этот средний между паствой и Спасителем слой, в который он ставил себе целью войти, совершив для этого положенный подвиг, и потому-то, видимо, его более привлекали жития своих, отечественных святых угодников, столь недавно еще ходивших по этой же земле, по которой ходил теперь он, и молившихся в этих же церквах, где преклонял колена и он, стремясь к благочестию. Особенно же он читал и перечитывал печерский патерик, написанный знаменитым для своего времени летописцем Киевского Печерского монастыря Нестором. Нестор,

обладавший, несомненно, художественным даром, не просто рассказывал, но живописал основателей печерского монастыря преподобных Антония и Феодосия (особенно Феодосия), и юный послушник, а затем инок Афанасий даже не замечал, как, читая эти жития, словно бы переносился в ту глубокую старину, когда поощряемые Великим Князем Ярославом монастыри еще только-только начинали зарождаться на Руси и когда для молодой, свежеекрещенной паствы открывался непочатый простор для иноческих подвигов.

Воображение святителя и воображение простых людей разнятся разве что тем, что каждым в меру своих понятий и представлений воссоздается тот мир совершенства, к достижению которого с юных лет устремлялись его нравственные силы; и не реальность событий и дел, не боренья с самим собой и отказ от потребностей и соблазнов жизни, а лишь то именно пригрезившееся в иноческие и предыноческие годы совершенство, каким оно представало в сознании Афанасия тогда, — представало теперь окрашенное все теми же будто романтическими красками, звавшими к возвышению и возвышавшими душу, но в то же время смотревшимися уже вроде бы по-иному, словно не по горизонту, не в плоскости, а в разрезе исторических напластований дней и веков открывалось пространство и прожитой самим, и прожитой человечеством жизни. Он думал о себе, и все прошлое и настоящее соизмерял как будто бы лишь со своим чувством приятия и неприятия, но правдивость и откровенность, с какими позволял себе теперь смотреть на все, — правдивость и откровение словно бы выводили его из оболочки личных страстей и соединяли с тем пластом жизни, какой принято называть народом, людом, и без понимания, или осознания, что было бы точнее, нужд которого нет и не может быть ни святости, ни самой жизни. Он сознавал это так же реально, как чувствовал свои больные ноги, слегка уже согретшиеся в мехах и начавшие чуть успокаиваться; и чем больше они успокаивались, вернее, чем меньше отвлекала его эта старческая, как полагал он, ломота в ногах, тем свободнее (в теперешнем напряженном своем состоянии) перемещался во времени и тем шире, панорамней представала перед ним картина паломничества, когда с группой таких же, как и сам, богомольцев решил

сходить и поклониться святым мощам преподобных Антония и Феодосия.

В то время как молодой Иоанн то в позлащенной карете, то верхом скакал по просторам России от монастыря к монастырю, отыскивая мифического, в сущности, сына Соломонии царевича Георгия, забавляясь при этом лихими, разбойными наскоками на деревенских и посадских мужиков и посещая между этими наскоками монастырские кладбища и чревоугодничая на игуменских застольях, — десятью, может быть, с лишним годами раньше и тоже от посада к посаду и от монастыря к монастырю шел, меряя версты к древнему граду Киеву, лишь с котомкой за плечами да с надеждой приобщения к святости инок Чудова монастыря Афанасий. Теперь, сидя в кресле, он словно бы издала, из глубины своей почтенной (и благословенной, как считал) старости смотрел на себя того, молодого, которому не то чтобы все мирское было неведомо или чуждо, — нет, в любой святости человек всегда остается человеком, но, как и предписывалось канонами церкви, в земной жизни вообще видел лишь ту скоротечную дорогу, которую следует лишь пройти (и чем быстрее, тем лучше), не впад в греховные искушения, и в конце которой, как и в конце богомольного пути к Киеву, ожидало некое будто приобщение к вечному благоденствию. Верно говорят, что, когда есть цель, не страшны никакие лишения. Инок Афанасий ночевал где придется, кормился тем, что подадут люди; случалось, останавливался в монастырях, которых уже тогда достаточно было понастроено на Руси, случалось, заходил в крестьянские семьи и ночевал либо в избе, либо на сеновале, а иногда и вовсе в поле, в стогу, и так ли, иначе ли в мир книжных, зашоренных иноческим бытием мечтаний, как нечто очистительное, врывалось дыхание повседневной людской жизни, той самой, из которой еще недавно будто бы, мальчонкой, был вынут он сам и которая, открываясь теперь (главным образом, не лучшей своей стороной — нищетой и забитостью), как раз и порождала то великое смятение духа, какое, на мой взгляд, только и способно подвигать человечество к искомой, желанной цели; и это-то смятение, с годами лишь укрепившееся в сознании Афанасия, позволяло ему с иных, еретических, как оценили бы их, откройся

он тогда перед кем-либо, а по сути реалистических, как можно было бы сегодня определить их, позиций взглянуть на события давно минувших и недавних и живых еще в памяти лет.

LXIX

Земля не заседалась тогда столь обширно хлебами, как она засеивается теперь, реки были многоводными, густые леса и чащобы полны разнообразных птиц и зверей, всюду курчавились березняки, дубравы, плотные, непроходимые малинники на версты окаймляли лесные опушки, и среди этой не тронутой еще человеком природы узкими змейками вились едва заметные (от малого употребления их), более похожие на тропы дороги, соединяющие между собой деревни, посады, монастыри. От крымцев ли, разбойно наведывавшихся сюда, от своих ли ночных или дневных татей или оттого лишь, что возле городов и посадов легче было кормиться и жить, люди, казалось, жались к этим посадам и городам, словно бы живым ожерельем обустроиваясь вокруг и оставляя нехоженными безмерные пространства лугов, лесных зарослей, то есть глухих, как мы бы теперь назвали их, и неопикуемых по первозданности своей красоты медвежьих углов. Все лето, задерживаясь лишь на переправах (да на ночлег где-либо, как уже говорилось), прошагал Афанасий по этим истинно немеренным, как только и могло тогда представляться ему, просторам, поражаясь благодати, вернее, какому-то будто величию духа, простиравшемуся над всем, на что от ног до горизонта падал взгляд, и еще более поражаясь, что люди, получив сей божественный дар жизни, не умели или не хотели использовать его во благо себе. Он верил тогда в верховенство добра так же беспредельно, безоглядно, как верил в Спасителя, Господа нашего, перед коим все люди равны, и вера эта, с тех пор достаточно поколебленная общим и неуправляемым будто течением жизни, вдруг, словно проснувшись от воспоминаний, радостно шевельнулась в нем. Жизнь людская, жизнь вообще — все, все имеет свою молодость и минуты наивного удивления, и, может быть, нет более естественного (и здорового, добавлю от себя,

что приводило бы нас к согласию), чем эти минуты удивления, когда отметка доброты, то есть осознания не использованных для блага возможностей достигает в человеке наивысшей черты и не мнимо, а действительно возвеличивает душу. Митрополиту Афанасию теперь особенно приятно было вернуться в то иноческое, а проще — юношеское состояние, и, не поднимая головы, не шевелясь, не открывая глаз, он словно бы вновь измерял взглядом то пройденное пространство от Москвы до Киева, которое не книжным, нет, а невытравимым зримым понятием отечества утверждалось в его душе.

Задолго еще до того, как открылся взгляду древнейший град Киев, Афанасий и богомольцы, с которыми он шел, ощутили его историческое дыхание. Плотнее, населеннее становилась местность, чаще попадались деревни, посадки, монастыри, обнесенные стенами, пасущиеся на лугах стада, хлебные нивы, полосами сбегавшие с раскатистых взгорий, и по всему равнинному горизонту, на возвышениях, как и должно быть, и в окружении крытых соломою изб видны были церковные маковки с крестами, на которые, поворачиваясь, истово крестились Афанасий и богомольцы. Иногда дорога выходила к Днепру, и всякий раз, как только распахивался вид на эту полноводную с ивняком и затонами реку, о которой спустя столетия будет сказано, что редкая птица долетит до середины ее, — всякий раз и Афанасий, и паломники останавливались как вкопанные и молча и молитвенно смотрели на светлое и беспорочное, как им казалось, течение ее вод. Хороша ли, плоха ли православная вера, история еще не завершила свой виток, и народ не сказал последнего слова; сиюминутные суждения наши, какими бы смелыми и правдивыми ни представлялись нам, еще не есть истина, и ничто и никто не может дать права на осуждение отцов; видимо, стоя перед выбором, как и мы сегодня, они металась в нерешительности, что принять, чтобы и сохранить достоинство, самобытность и не отстать в развитии от других народов и государств, и, не найдя ничего лучшего, чем это, что приняли, надели, в сущности, на себя те нравственные наручники, кои и по сей день сковывают нас. Понимал или, точнее, мог ли понимать это Афанасий? Чин Первосвященника и опыт жизни во многом приближали

его сейчас к этой истине; но тогда, на берегу Днепра, иноческая убежденность диктовала ему иные мысли и он лишь молитвенно омывал лицо и руки в священных водах сей великой реки, в которой принято было Божье благословение всем русским народом и откуда как раз и берет начало наша судьбоносная и не выясненная еще до конца святость.

Надо ли говорить, что города прежде смотрелись иначе, чем смотрятся сейчас, и в них не то чтобы было больше теплоты, уюта, что ли, то есть той трогающей русского человека душевности и (тогда уже!) историзма, какой и ныне ничуть не меньше, если не сильнее волнует нас. Не от любви к женщине, как бывает с молодыми людьми и что вполне понятно и объяснимо, не от изумления жизнью, как можно было бы истолковать еще, ссылаясь на романтичность природы, но — словно бы от некоего высокого предназначения, должного совершиться (да и начавшего уже совершаться), затрепетало иноческое сердце Афанасия, когда неказистый, в сущности, давно утративший свое бывшее столичное значение город крепостной стеною, соборами, княжескими и архиепископскими строениями вырос перед глазами. Богомольцы поднялись на пригорок, чтобы лучше разглядеть и запомнить хотя бы общие очертания столь дорогого для них, как и для всякого русского человека, святого места. Отсюда, как им казалось тогда, не только началось для россиян православие, но пошла сама Русь, лежавшая теперь немеряным простором от ледяных беломорских широт до этого благодатного юга, и старина, как она продолжает неизменно волновать нас, волновала тогда и богомольцев, и Афанасия с его романтическим (иноческим) воображением; отсюда, от этих стен, от княжеского двора отправлялась за данью в свои разбойные походы великокняжеская дружина, как если бы подданные для того только и существовали, чтобы обирать их, и сюда, под эти стены, не раз и не два подступали печенеги и половцы, грозясь пожечь и пограбить все, что предается огню, увозится и конвоируется, и отсюда же, да, именно отсюда — хлынуло и растеклось по городам и весям, наполняя людские сердца и души смирением, а землю соборами, церквами и монастырями, спасительное и единственно будто бы приемлемое для нас православие. Еще и еще

раз повторяю: я не хочу вдаваться в подробности созидательной ли, разлагающей ли роли какой бы то ни было религии; идеология, сколько бы красивой лжи ни вываливала на человека и человечество, напоминает лишь коридор без ответвлений и выходов, по которому предлагается идти тому или иному народу, а свет в конце его, как и огонек в непроглядной ночи, всякий раз только отдалается или исчезает вообще, едва люди начинают приближаться к нему. Врата рая столь же недостигаемы и обманны, как и обещания земного (и тоже в будущем!) всеобщего процветания, но, сменяя ложь на ложь, можно ли добиться совершенства и благоденствия? И если сия простая истина и сегодня остается непостижимой в народе, то насколько же она была отдалена от Афанасия и богомольцев, смотревших на древний град Киев так, словно на них и в самом деле от одного лишь вида сиих стен и строений снисходила елейная благодать?

LXX

Сотворив молитву и с молитвой же на устах они вступили в город. Солнце уже перевалило за полдень, и всюду меж домами, соборами и на площадях, да и в торговых рядах или на рынке, как мы бы сказали теперь, — всюду, словно застыв в безветрии, густо держалась сухая летняя духота; и, может быть, от этой именно духоты город показался малолюдным, пустынным, будто вымершим или испуганно затаившимся в преддверии каких-то непредсказуемых событий. Таким в первые минуты предстал перед Афанасием Киев (и представал теперь в воображении — с той лишь разницей, что на фоне общей картины видел себя шагающим в толпе богомольцев); но впечатление это — впечатление безлюдности — было ложным, и чем ближе Афанасий подвигался к центру, тем оживленнее становилось на улицах и тем ошутимее чувствовался ритм южного, пограничного, в сущности, для тех времен города. Конечно, его нельзя было сравнить ни с Царьградом, ни с Иерусалимом, и всякий, ходивший к Гробу Господнему, мог бы вполне подтвердить это. Но для

инока Афанасия, во все глаза смотревшего на все, что открывалось, град сей по святости имел ничуть не меньшее, если не большее значение, чем священный Иерусалим. Перед княжеским двором, у ворот, стояли ратники в доспехах, томившиеся от тяжести своего воинского труда; на церковных папертях, облепив их, ютились калеки и нищие, ожидавшие подаваний, а в торговых рядах бойко покрикивали лавочники, зазывавшие покупателей и предлагавшие товар; тут же, при лавках, работали ювелиры, сапожники, в кузнях стучали молотки, раздувались горны; скорняки вымачивали кожи, правили хомуты, седла, сбрую, а ближе к сенному и скотному рынкам стояли возы с мукой, пшеницей, овощами, ранними яблоками и еще, еще разнообразнейшей снедью, которая тут же, на глазах, варилась, жарилась, подавалась и поедалась толкавшимся людом; здесь, в центре, несмотря на жару и некое будто малолюдство, бросившееся в глаза при входе в город, жизнь, казалось, только набирала обороты, и было в ней не то чтобы что-то нерусское, противное нашей неспешности и размеренности, но — нечто будто восточное, суетное и красочное, вкрапленное в жизнь древнего русского города; и это вкрапление, этот в осязаемой близости азиатский мир, на постулатах которого, если оглянуться с высоты времен, как раз и замешана вся наша национальная самобытность (хорошо ли это, плохо ли, вопрос другой), вызывал у Афанасия и настороженность и любопытство. Как инок, он не должен был интересоваться ничем мирским, но как человек с извечной своей потребностью к познаниям, — как человек, волею судьбы оказавшийся в сих новых обстоятельствах, вглядывался во все с жадностью, складывая или, вернее, расширяя в сознании своем социальную и нравственную географию людского бытия. Он впервые тогда ощутил смятение в душе, хотя и не понимал, от чего оно происходило, как, впрочем, не до конца понимал и теперь, возвращаясь мыслью к тем дням, и ему лишь странным казалось, что между тем, что угодно Богу от человека, — отречения от себя, послушания и смирения, — и тем, что необходимо человеку иметь для жизни, не было и нет ни согласия, ни единства.

LXXI

В Киеве к тому времени действовало уже достаточно монастырей (о церквах уже не говорю), заложенных еще при Ярославе Владимировиче и затем при Изяславе и Владимире Мономахе. Но первым и главным, по крайней мере по святости, как подается историей, считался печерский монастырь. Он располагался за чертой города и возник, если так можно сказать, самым случайным образом. Некий отец Иларион — священник из села Берестова — вдруг ни с того ни с сего будто начал копать пещеру, чтобы отдалиться от мира и жить в ней. Что подтолкнуло его на это неслыханное дотоле на Руси отшельничество: просто ли желание прославиться или, выказав, хотя бы и таким образом, святость, привлечь к себе внимание духовенства и прихожан, — теперь трудно сказать; во всяком случае, ясно только одно, что сей «подвиг» его был замечен, он получил нужную известность и был возведен в сан митрополита, а на его место вскоре пришел Антоний, принявший монашество на Афонской горе, но не прижившийся (по слабости будто бы уставных порядков) ни в одном из тогдашних в Киеве монастырей. Отшельник этот столь основательно изнурял себя, питаясь, как повествует Нестор, лишь хлебом и водой, да и то через день, что весть о его святости вскоре разнеслась далеко за пределы Киева. О нем, прослышав, с похвалой отозвался князь, к нему потянулись люди, почувствовав в нем спасителя и заступника (ведь многие и теперь полагают, что, если человек нищ, если отшельничает, значит, свят), и вокруг его имени начал как бы сам собой складываться некий ореол славы, вызывавший зависть у людей честолюбивых, не умевших иначе, чем через подобную святость, проявить себя. Привлеченный, может быть, как раз этим ореолом рядом с пещерой Антония принялся копать подобное же убежище для себя некий сельский священник Никон, и уже следом за ним явился жаждавший послушания Феодосий.

Он был молод, крепок телом, но еще более, как оказалось потом, крепок духом и представлял собой личность незаурядную, способную не столько на смирение, сколько — на проявление воли, к кому бы и к чему бы это ни относилось, к себе ли, к подавлению ли

своих страстей и желаний или по отношению к другим, над кем обретал власть. Но Антоний, несмотря на решимость молодого человека посвятить себя служению Богу, не сразу согласился принять его, и между ними состоялся тот разговор, который (по слухам уже, по живучей иноческой памяти) приводит в своем патерике Нестор и который, сообразуясь с сюжетной необходимостью (и для пущей, конечно же, убедительности), должен и я привести здесь.

«Чадо, — сказал Антоний, — пещера — это место скорбное и тесное, ты же молод и, я думаю, не выдержишь скорби в сем месте».

«Честный отче, — ответил Феодосий, — ты все проразумеваешь, ты знаешь, что Бог привел меня к твоей святости. Все, что велишь, буду творить».

«Чадо, — сказал Антоний, — благословен Бог, укрепивший тебя к такому намерению. Пребывай здесь».

Отец Никон совершил над ним обряд пострижения, и чадо, то есть новоиспеченный монах Феодосий, приступил к своей трудной, но единственно будто бы ведущей к спасению иноческой жизни.

В повседневности человеку обычно не просто бывает проявить себя. В нем вырабатывается некий автоматизм, приводящий в движение ум и руки, и требуется нечто экстремальное, чтобы опять и с новой силой могли вспыхнуть желания и страсти, подвигающие к доброму или злему поступку. В отшельнической пещерной жизни не то чтобы каждый новый день, как две капли воды, был похож на предшествовавший, — нет, случались холода, мели снега, дули ветры, гремели грозы и затем вновь, после дождей, появлялось солнце и согревало землю и продрогших в ней иноков; но независимо от этих внешних неудобств жизнь духовная, нравственная, — жизнь эта, заключающаяся в воздержаниях, истязаниях плоти и восхвалениях Господа, которому добровольно, разумеется, по какому-то, может быть, сверхгипнотическому внушению или самовнушению отшельники отдавали плоть и дух, не только оставалась неизменной, но известными друг перед другом стараниями лишь ужесточалась в этой своей неизменности. Чтобы вынести подобное на себя наложение, можно представить, какой нравственной силой должен обладать человек (и насколько быть

убежденным в правоте и достижимости цели!); подвиг, душевный порыв, длящийся мгновенья — это одно, а подвиг, душевный порыв, длящийся годы, всю жизнь, — это совсем другое, и Феодосий (пусть будет сказано в похвалу ему) не только обладал мужеством безропотно переносить сии нечеловеческие, в сущности, тяготы, но и выказывал изо дня в день примеры все нового и нового иноческого усердия. О себе он не любил рассказывать, никто не знал, кто и откуда он, и, может быть, так бы и осталось все тайной, если бы на четвертый год пострижения не явилась бы в монастырь его мать, долго и безуспешно искавшая сына, и не потребовала бы, вернее, не настояла бы на свидании с ним.

Первым разговаривал с ней Антоний. Он пригласил ее в свою маленькую, более похожую на конуру, чем на человеческое жилье, пещеру — без окон, без дверей (вход был завешен какою-то ветхою полотняною тряпкой), с одним лишь пристроенным к стенке столиком и приставленным к нему чурбаком вместо табуретки (или скамьи, присесть на которую и была приглашена гостя), да невысокой, из сухой соломы и листьев постели в дальнем, темном углу. Было это осенью, только что прошли окладные дожди, от промокших пещерных стен тянуло сыростью, и пахло гнилью и невымытым человеческим телом. На столике перед горевшей восковой свечой стоял образок Пресвятой Богородицы да деревянная миска с ложкой, что только и положено было иметь отшельнику в личном, так сказать, пользовании, потому что иначе, во-первых, нарушился бы устав (негласный пока еще, правда, неписанный) и, во-вторых, о какой святости можно говорить, если отрекшийся от собственности, вдруг вновь и хоть в какой бы то ни было форме обретает ее? Вот в этой-то обстановке и оказалась мать Феодосия, войдя к Антонию, и, не без брезгливости покосившись на чурбак, на который предлагалось ей сесть, устроилась на нем. Она была хорошо, модно (по тем временам) одета, считалась женщиной состоятельной, и нетрудно вообразить, каковым было ее чувство, когда увидела все это, что предстало перед ней в отшельническом жилище Антония. От слез, ужаса, от того материнского горя, какое охватило ее при одной лишь мысли, что сын, которому могла бы дать и воспита-

ние, и средства, и дело, доставшееся ей по смерти мужа, — что сын вместо блестящего будущего, уже уготованного ему, предпочел ютиться в сей нищете и сырости, долго не могла вымолвить ни слова. Антоний то подавал ей воды в ковше, полагая, что это успокоит ее, то поворачивал к ней образок и предлагал помолиться, чтобы Пресвятая Богородица, заступница матерей и жен, дала утешение, но, может быть, потому, что делал все безучастно, — от его слов, движений, от всей мрачной иноческой отчужденности, как и от сырых стен, веяло лишь холодностью и неприступностью и не утешало, а, напротив, только сильнее расстраивало ее.

Впрочем, как ни покажется подобное странным, но рядом с безволием и слабостью всегда соседствуют жестокость и непримиримость, и потому-то минутами, когда полные слез глаза матери просыхали, лицо ее вдруг словно преображалось и обретало черты непримиримости и жесткости. Только что сосредоточенное на сыне внимание ее переключалось на тех нечестных, злых и страшных для нее людей, которые как раз и затуманивали сознание ее сына, приносили молитвенники и, отвращая от мирской жизни (от дома и от нее, матери), постоянно уговаривали уйти куда-то и с которыми она и боролась во всю меру своих материнских сил. Рассказ ее, казалось, только и состоял из беспрерывных побегов и поисков; она всюду, как по пятнам, следовала за сыном, нанимала людей, чтобы его ловили, запирали на неделю, а то и на две в чулан, била, срывала с него всевозможные власяницы и цепи, которые, прослышав о веригах, он напяливал на себя и которыми до кровоподтеков растирал плечи; стараясь удержать его силой, она не понимала, что любое насилие вызывает лишь желание освободиться от него, что, в сущности, и сделал Феодосий, пристав однажды к купеческому обозу, направлявшемуся в Киев, и навсегда покинув отчий дом.

«Верните мне сына», — наконец резко заявила она Антонию, закончив рассказ. Она и теперь, надеясь на силу и на свое неотъемлемое материнское право, хотела применить ее, на что Антоний суховато, как и подобало ему, ответил известным выражением Христа, что «тот недостоин Его, кто ради Его и Евангелия не оставит отца, матери, жены, и всего, что есть для него дорогого в мире».

LXXII

Есть два толкования приведенному Антонием выражению. По одному из этих толкований не только оправдывалось вступление в монастырь, но и само иноческое бытие возводилось в некий наивысший идеал жизни, к которому будто бы как раз и должно стремиться человечество; по второму же — требовалось от последователя Христова, как замечает известный исследователь прошлого века, лишь «предпочитать всяким родственным и кровным отношениям правду, возвещенную учением Спасителя и подкрепленную примером его жизни и смерти». Здесь, кстати, можно заметить, что не только религия, но в еще большей степени любая идеология, пытающаяся провозгласить себя истиной истин, то есть верхом совершенства в устройстве или переустройстве мира и человеческих отношений (на поверку же, создавая лишь новый механизм для подавления и ограбления народа), — любая идеология, встающая или вставшая уже на пьедестал, не может не потребовать от человека самых непомерных и ужасающих для своего прославления жертв; и в этом отношении — разве большевизм, захвативший власть и провозгласивший религию опиумом для народа, то есть осудив самую изначальную суть ее, не взял те же извечные ее постулаты и не потребовал от граждан, обращенных в свою веру, не щадить ни отца, ни матери, ни брата, ни сестры, ни близких ради утверждения своих новейших будто бы идеалов (и что символизировалось в поступке Павлика Морозова)? Власть в любой одежде — всегда есть власть, и если что и удивляет и поражает в неизменной ее живучести, то не разнообразие, нет, а, напротив, однотипность ее приемов, преподносимых обществу, народам всякий раз лишь на новоизготовленных (с оттенком фольклорности, а как же иначе) блюдах. Но дело, разумеется, не в этом отступлении, без которого, наверное, вполне можно было бы обойтись, а именно в толковании и восприятии приведенной Антонием сей великой во всех отношениях, как без преувеличения можно было бы сказать, истины, с которой человечество, получив ее словно бы в награду два тысячелетия назад, разбираясь и разбираясь, не находит и сегодня сил и мужества разобраться в ней.

Антоний был убежден в своей правоте и неумолим. Евангельское наставление Спасителя не вызывало у него никаких сомнений, потому что, во-первых, он беспредельно, как и большинство простых людей, верил в божественное устройство мира, в жизнь преходящую и жизнь вечную, к которой будто бы и должен готовить себя каждый, и, во-вторых, изречением этим оправдывались те физические и нравственные мучения, на какие монах ли, отшельник ли неизменно и добровольно обрекают себя; более того, в юношеских поступках Феодосия, огорчавших и убивавших мать, в его побегах из дому и стремлении посвятить себя служению Господу увидел не драму, связанную с нравственным распадом семьи, но то величие духа, ту изначальную будто бы святость, которая и была затем столь красочно описана Нестором в патерике. Но для матери Феодосия все выглядело по-другому. Высшее, абстрактное, стоящее будто бы над человеком и человечеством, столкнулось в ней с личным, конкретным, соединенном в чувствах и правах матери, и она не то чтобы не хотела, но не могла понять ни обоснованности, ни законности того, что происходило с ее сыном и с ней. Ученые, в том числе и теологи, разбирая этот житейский, по существу, конфликт, напишут позднее, что тогда еще сильно было в народе языческое начало и что оттого-де самая суть святости была недоступна ему; народ будто бы не понимал, в чем заключено было для него спасение, и потому противился подобно матери Феодосия этому величайшему предначертанию. Впрочем, идея очищения и спасения через страдания, уже тогда столь упорно навязываемая народу, но не принесшая ему, однако, ни в чем облегчения, — идея эта сегодня вновь как некое безотказно будто бы действующее средство (имеется в виду: для социального и нравственного оздоровления общества) подается на потребительский стол жизни. Абстрактное и относимое к вечному опять противопоставляется личному и сиюминутному будто, чем определяется благополучие или неблагополучие каждого отдельного человека или человечества и что, на мой взгляд, более, чем что-либо иное, следовало бы отнести к вечному, и — не подвигаемся ли мы к новому величайшему обману? Может быть, может быть, хотя — волен ли, вернее, был ли хоть когда-либо человек волен в своих желани-

ях и поступках? Права провозглашенные и права действительные никогда не имели между собой знака равенства, и в какую-то минуту жизни все мы вдруг начинаем испытывать груз обстоятельств, сложившихся в обществе и вокруг нас; мы оказываемся словно перед горой, которую нельзя сдвинуть, и, может быть, в эти-то мгновенья как раз и подавляется в человеке то, что делало его человеком и обесмысливается для него все: и борьба, и сама жизнь, и приходит то угодное Богу, да, возможно, не только Богу, смирение, с каким он затем и покидает сей мир для вечного успокоения и блаженства.

Ошеломленная и не сразу понявшая что к чему (что не люди, а нечто большее и неумолимое противостоит ей), она попросила Антония лишь повторить, что он сказал, и, не дослушав, почувствовала, что будто и земля, и все вокруг ускользало из-под ее ног, и если бы не расторопность Антония, кинувшегося поддержать ее, рухнула бы всей тяжестью своего полного тела на пол. Лицо ее, Антоний видел, давно уже наливалось бледностью, напористый голос словно бы стихал, и она лишь шевелила обескровившимися губами, пытаясь что-то еще произнести, что было для нее важным и могло бы растопить иноческую душу Антония (да и приуменьшить давление обстоятельств, тяжестью общественных уложений навалившихся на нее), но — святое для нее отбиралось у нее именем святости же, и, впервые осознав наконец свое полное бессилие и ужаснувшись ему, уже не могла и не хотела сопротивляться. Антоний уложил ее на свою соломенную постель, хотел было сбегать за Феодосием или за кем-либо еще, но затем, опустившись перед образком Богородицы в ризе принялся молиться, истово прося крепости и заступничества. Понизу, из-под полога, трепыхавшегося от порывов холодного осеннего с реки ветра, тянуло промозглой сыростью, язычок пламени на свече вздрагивал, готовый вот-вот оторваться и отлететь, и та словно бы соединяющая его со свечой невидимая нить, которая удерживала его, — нить эта, как нечто символическое, приложенное к разыгравшемуся в пещере событию, казалось Антонию, натянута была не между свечой и пламенем, а между ним и Богом, между тем, о чем он просил, и волей Божьей, и от крепости этой нити зависел исход дела. «Удержит?

Нет? Удержит?...» Ноги его застывали, он ежился и дрожал всем своим истощенным — под ветхою одеждой и под власяницей — телом, но, привыкший изнурять себя, привыкший к подобным физическим лишениям, хотя и страсть как хотелось теплоты и уюта, лишь истовее просил Бога о помощи, не забывая упоминуть и Богородицу, образок которой стоял перед ним; он смотрел то на образок, то на свечу, то обращался на гостью, без признаков жизни будто бы покоившуюся на соломенном лежаке, и всегда полагавший, что смерть (при такой-то жизни!) есть лишь спасение, что совершается в таких случаях лишь угодное Богу действие, тем не менее не хотел, чтобы гостья умерла в его пещере. Что заставляло его опасаться, он не знал, но чувство какого-то будто страха с каждой минутой нарастало в нем, и когда душевное напряжение достигло предела, — не двинулся, нет, а кинулся к лежаку, подгоняемый страхом, что гостья уже мертва и что не так-то просто будет найти объяснение подобной кончине.

Но мать Феодосия вовсе не собиралась умирать. Она была лишь в обморочном состоянии и, когда, открыв глаза, увидела склоненное над собой бородастое и серое от худобы лицо Антония, со стоном произнесла, чтобы ей дозволили встретиться с сыном. Но не во власти Антония было разрешить или запретить эту встречу. Все упиралось в Феодосия, и как ни крепки были его воля и убеждения, но при виде страдающей матери, он чувствовал, нервы могли не выдержать, и боясь именно этой своей слабости (в подобных случаях лучше не искушать себя), — как встал с утра на колени перед иконой Христа, размещенной на полочке, в углу, и освещенной горевшими свечами, так и молился, не разгибаясь, не принимая ни воды, ни пищи, пока мать находилась у Антония. Нестор, взявшись (и гораздо позднее уже) за описание жизни Феодосия, усмотрел в этом величайший, во славу Господа, подвиг. Феодосий, по его мнению, подвергнув себя испытанию, выдержал его и обессмертил свое имя. Но только ли мысли о Боге и вечности занимали его, когда мать домогалась с ним встречи и когда по настоянию Антония и братии он вынужден был согласиться на нее, или все же было что-то иное, приземленное, что ли, что подвигало его к этой крепости, и не здесь ли впервые про-

явилось в нем желание власти — над матерью, над собой, а через это и над всем остальным окружавшим людом? Ведь мысль о вечности и спасении тогда только действительна, когда (и хоть в чем-то!) дает удовлетворение земным, сиюминутным страстям.

LXXIII

Так не бывает, что человечество переживает одно (ведет одно противоборство), а человек переживает другое (ведет другое противоборство); различие между бытием общественным и бытием личным, часто не столько даже очевидное, сколько вообразенное нами, заключено лишь в масштабе совершающихся событий; между отдельными людьми происходят, в сущности, те же столкновения, какие происходят и в обществе, размежеванном на полюсное противостояние сил, и если с этой точки зрения взглянуть на конфликт между Феодосием и матерью, то придется признать, что он далеко выходит за рамки только семейных отношений; в общественной жизни того времени, как, впрочем, и теперь, и всегда, происходила борьба сил отживающих с силами нарождавшимися и требовавшими простора и власти, и коль скоро историческая кривая развития человеческих отношений, если бы кто-то без предвзятости попытался составить подобную диаграмму, поднимается не от зла к добру, а, напротив, от добра к злу, то и в представленной здесь семейной драме ясно просматривается та же неизменная тенденция. Мир языческий если не во всем объеме, то, во всяком случае, в главных его направлениях, как утверждают летописец и затем историки и философы позднейших времен, сталкивался с миром христианским, то есть одно восприятие жизни сменялось другим, представленным самой крайней своей обостренностью, как это и бывает обычно на первых этапах, и в столкновении этом на стороне матери было лишь ее материнское чувство и материнское право — право человека, дарующего жизнь и требующего взамен лишь уважения и признания, тогда как на стороне сына, стороне Феодосия, — открывавшиеся человечеству врата вечного рая; семейный уют, тихое (и великое!) семейное счастье подменялись жестким каноном спасения через страдания и угнетение плоти, и сколь ни крепки были, еще раз

повторю, воля и убежденность Феодосия, но сомнения все же нет-нет да и пробуждались в нем, как затем пробуждались и в сознании человечества, оборачиваясь после мрачных крестовых походов эпохой расцвета и возрождения, и хотя верх оставался в итоге не за этими сомнениями, не за разумным, реалистическим началом, но аскетизм, представавший во всей своей ужасающей (для россиян по крайней мере) грядущей перспективе, и подавлял, и надламывал, и набычивал перед матерью и по отношению к ней иноческую душу Феодосия.

Он согласился встретиться с матерью лишь через несколько дней, и во все это время, до самого того утра, когда она вошла к нему в пещеру, пребывал в том смятенном состоянии, когда ни угнетения плоти, ни молитвы, в которых, усердствуя, всегда прежде находил утешение, — ничто не могло отвлечь его от его тяжелейших над жизнью своей и над жизнью вообще раздумий, и от того противоборства сил человеческого естества и божественной заданности, какое, каждую минуту как будто разгораясь все с новой и новой страстью, терзало его нравственно истощенную, зашоренную в иноческом восприятии душу. Почти тотчас, как только начинал молиться, он словно бы отключался от нее; обращенные к Богу слова раскаяния звучали как бы сами по себе, отдельно от него, и не занимали его, а мысли о мирской жизни, о матери, возбуждавшие душу, звучали отдельно, то есть текли в нем своим неостановимым потоком, пенясь и рассеивая вокруг мириады брызг. Он высовывал босые, оголенные до колен ноги за полог, раздевался до пояса, снимая с себя все, даже власяницу, чтобы этими физическими на холоде страданиями унять страдания нравственные, но, дрожа от стужи, сырости и от голода, к которому сколько ни старался приучить себя Феодосий, так и не смог, лишь глубже погружался в свои сомнения и думы. Он чувствовал себя на середине пути, когда, с одной стороны, впереди, словно забрезживший рассвет, проглядывали уже врата вечного рая, а с другой, позади, столь же ясно представало то прежнее, земное, домашнее, семейное, что было для него миром детства и лишь теплотой только и могло в воспоминаниях отозваться в нем; к вратам рая предстоял еще путь, предстояли лишения, которые, он понимал, сколько потребуется еще сил, чтобы пройти их,

тогда как к прежнему, земному, семейному, был всего шаг; и шаг этот, этот соблазн, когда можно разом покончить со всеми и всякими мучениями, как раз и пытался истязанием плоти и молитвами преодолеть Феодосий.

Ни днем ни ночью он не мог спать. Силы противоборства были настолько велики в нем (силы, естественно, духовные, нравственные), что после этих своих переживаний он уже ни разу не испытывал ни подобного раздвоения мыслей, ни тем более столь очевидной их равнозначности, когда и прошлое, и настоящее, и будущее — все представляло одинаково правдивым, осмысленным, способным в равной же степени как возбуждать, так и привносить благочестие в человеческое бытие. Отвергавшийся им мир матери — мир этот, он видел теперь, имел и свой смысл, и свои преимущества, и поскольку не одно, не два, а десятки, сотни (до появления христианства) поколений людей жили (и выжили!) в этом мире, то, значит, некогда и он был благословлен Богом и принимался им. Феодосий приоткрывал полог, чтобы проветрить пещеру, с тем чувством, будто приоткрывал окно в тот самый мир, о котором думал, но мир этот в реальной своей действительности не выглядел ни привлекательным, ни радостным. Над всем обозримым пространством, позимнему уже оголенным, хотя и незапорошенным еще (по-зимнему же) снегом, ветер гнал низкие серые облака; все небо, до горизонта заволоченное ими, представляло как одно неуютное серое полотно, как нечто грядущее, готовое накрыть (или накрывавшее уже) человечество, и — кто может сказать, в какие минуты и какими знаками природа подает нам сигналы из будущего? Если бы даже Феодосий захотел, вряд ли смог бы осознать и объяснить свое предчувствие, какое охватывало его при виде этого мокнувшего осеннего простора, самой этой грусти, словно бы символизировавшей (пусть не прямо, пусть косвенно) предстоящую поколениям безрадостную жизнь; в нем поднималась непонятная будто, будто беспричинная и не связанная ни с думами о судьбе человечества, ни с думами о судьбе россиян тревога (я уж не говорю о том, сколь различными оказались эти судьбы), но ему и в голову не приходило, что со всеми своими пристрастиями и выработкой воли он, по существу, является лишь ча-

стицей того огромного механизма безжалостности — и по отношению к матери, да и по отношению к себе самому, — какой неотвратимо, оползнем уже накаты-вался на Русь и готов был накрыть ее. Нет, он не осознавал этого; ему казалось, что он лишь выбирал между любовью к матери и любовью к Богу, то есть между соблазнами мира преходящего и вечного, и так как понятие вечности, соединенное с понятиями о спасении и благочестии, по воздействию своему несравнимы ни с чем, что бы ни предлагалось взамен, то и — можно было бы и не сомневаться в исходе иноческого противоборства.

LXXIV

Всякое событие только потом становится историческим, когда, во-первых, открывается действительная, а не придуманная, не мнимая его значимость и, во-вторых, когда о нем начинают либо складывать легенды, либо писать. Ни мать Феодосия, ни сам Феодосий, ни тем более Антоний, проводивший гостью утром до пещеры ее сына, названной им, как и подобает в монастырях, кельей, вряд ли предполагали, что все в тот день (да и после) происходившее с ними и вокруг них, не только станет предметом изучения или исследования, но, зафиксированное в словах Нестором, будет столетиями, с одной стороны, служить примером святости и святостью же своей волновать людей, а с другой — удивлять той непомерной людской, именно людской, а не Божьей, ибо творившееся творилось людьми, лишь возомнившими, что ими руководит некая Божья воля, жестокостью, которая, как ни стараются богословы и теологи перекрасить в добро, остается не только несовместимой с этим величайшим по первородству толкования понятием, но прямо и резко противостоит ему. Происходило же все на редкость буднично: Антоний, перемешивая жидкую под ногами грязь, шел впереди, выбирая дорогу, мать Феодосия, по-деревенски подхватив с боков юбку, да так, что видна была белая кружевная исподница, шагала следом, то и дело останавливаясь и озираясь и с ужасом обегая взглядом склон с прорытыми в нем и теперь занавешенными тряпьем пещерами. Вокруг бы-

ло так убого, пустынно и голо, что, казалось, даже трава не хотела расти на этом словно бы забытом или проклятом, как можно было бы сказать еще, Богом месте. Но и чувства, и мысли матери были настолько сосредоточены на предстоящей встрече с сыном, что она не замечала ни сей убогости, ни пустоты; не принимавшая всем своим естеством (здравостью рассудка, конечно же, прежде всего) никакой иной жизни, кроме своей, какую жила, тем более не понимавшая и не принимавшая иноческого аскетизма, когда человек не просто лишается неких земных благ, но лишается самого удовольствия и счастья бытия, она переносила это свое восприятие на сына, и вновь прежняя и застарелая уже мысль, что сын ее околдован злыми людьми, что над ним, в сущности, совершено насилие, от которого надо избавить его, — мысль эта яснее, чем когда-либо прежде, поднявшись в ней, захватила ее. Она не то чтобы надеялась, но была убеждена, что наконец-то вырвет сына из сих порочных цепких рук, но перед самым входом в пещеру (келью, так и хочется облагородить), когда Антоний подвел ее к пологу, ее вдруг охватило сомнение, и она, словно бы за благословением, несколько раз, оглянувшись, просительно посмотрела на молчаливо стоявшего перед ней чернца.

Антоний приподнял полог, пропустил спутницу и вернулся к себе, чтобы помолиться за благополучный (в его понимании, разумеется) исход встречи; он верил в твердость Феодосия и полагал, что если и случится что-либо непредвиденное, то на все есть воля Божья; с этими привычными словами, прежде трехкратно перекрестившись, он и обратился к Пресвятой Богородице, мрачно из обрамлявшей ее лик ризы смотревшей на него. Между тем в пещере, в которую вошла мать Феодосия, с первых же как будто мгновений началось то страшное молчаливое душевное противоборство, то противостояние матери и сына как противостояние двух взаимоисключающих друг друга миров, — в котором (по исходу столкновения сих нравственных сил) на столетия вперед должен был определиться характер и уклад всей нашей народной жизни. Кому-то покажется, что вывод этот неправилен, что подобные превеличения никогда не вели и не приведут к истине и что — не в воздержаниях ли как раз и заключена сама

суть нравственности? Может быть, может быть, если отбросить прочь все исторические свидетельства и если закрыть глаза на странное будто бы наше неумение (из века в век!) навести порядок в своем собственном национальном доме. Для нас почему-то всегда важнее не реальное, а внушенное благо, и если мы на чем-то настаиваем, то есть решаемся проявить характер, то иллюзии жизни оказываются для нас выше самой жизни, и мы упорствуем уже лишь ради упорства, готовые и на самопожертвование, и на жестокость. На жестокость, пожалуй, прежде всего, как подсказывают все те же факты истории. Измученный бессонницей, то есть измученный и нравственно, и физически теми сомнениями, какие, как червь, все эти дни и ночи подтачивали его, как только услышал чавкающие шаги за пологом, вернее, понял, что мать здесь, что Антоний привел ее, торопливо и уже как будто не думая ни о чем опустил на колени перед изображением распятия спиной к входу и молча, молитвенно, ни о чем уже не прося, так как все, что нужно было высказать Богу и о чем попросить, было с лихвой высказано и испрошено, принялся смотреть на сие страшное даже в изображении действие — распятие, — стараясь и в красках, и в душевных мучениях оживить его. Под распятием горела свеча, освещающая и напряженный лик Христа, и страдальческие будто бы судороги его тела, и столь же страдальчески вытянутое лицо Феодосия. Понимал ли Феодосий всю сценическую картинность своего положения, когда входящий видел лишь его словно бы зачерненную сгорбленную фигуру перед освещенным распятием, — не знаю, вряд ли; но именно таким, зачерненным, скорбленным, ничем даже отдаленно не напоминавшим ей сына и увидела его мать, войдя к нему. Остановившись, она смотрела на него в недоумении и ужасе; даже несколько раз оглянулась, словно Антоний был рядом, чтобы спросить, туда ли привел, не ошибся ли; но спросить было не у кого, кроме как у самого этого чернеца, стоявшего на коленях перед распятием, и она, не дыша почти, ожидала, когда, пообщавшись с Богом, он либо встанет, либо просто обернется к ней.

Она не помнила, сколько ей пришлось простоять в ожидании; время, казалось, тянулось для нее бесконечно; и чем дольше оно тянулось, тем ощутимее какая-то

странная и страшная будто неизвестность вползала в нее. Любая мать даже в темноте всегда способна безошибочно угадать, ее ли, чужого ли ребенка подвели ей, но это-то чувство как раз и говорило ей теперь, что перед ней был не ее сын; не ее ни по облику, хотя все еще видела лишь зачерненную, только сильнее будто сторбленную его спину, ни по духу, по тому нравственному началу (кто, кто, а она-то уж более чем знала!), какое, давая ему жизнь, вложила в него. Вместо сострадания и жалости на лице ее вспыхивали отчужденность и холодность и то (жестокое, я бы назвал) равнодушие, с каким и всегда-то, как и теперь, многие готовы смотреть на обнищавших, падших духом сограждан. «Нет же, нет, это не он», — говорила она себе, вместе с тем как пообвыкшим к темноте взглядом невольно (и въедливо!) осматривала еще более, казалось, сырое и неудобное, чем у Антония, иноческое, или отшельническое, может быть, вернее, жилище сына. Тот же лежак из соломы и листьев, те же сочащиеся влагой стены, такой же из неоструганных досок столик, приткнутый к стене, и чурбак вместо табуретки возле него, и деревянные миска и ложка, накрытые темной ветхой скатеркой; ни по монастырскому уставу, ни по обету, дающемуся при пострижении, ни по самой той убежденности, какую как залог спасения в будущей вечной жизни только и положено было иметь иноку, Феодосий не допускал излишеств; и эта-то самообездоленность, столь удобная как будто бы Богу, но вызывающая лишь недоумение и протест у всякого, кто привык нормально питаться и жить (и что, видимо, если проникнуться иноческим идеалом, не только неудобно Богу, но и решительно осуждается им), — эта-то самообездоленность и поражала, и пугала стоявшую в отшельнической пещере мать. Она снова и снова переводила взгляд на сына, с железным упорством не желавшего повернуться к ней, и теперь, когда вместо зачерненного сторбленного пятна различала и овал головы, и форму плеч, и одежду, — только что, минуту назад, владевшее ею «нет, это не мой сын» вновь сменилось сомнением, и она готова была, рванувшись, заглянуть в лицо и глаза сына.

Но условность, не позволяющая нам и теперь тревожить молящегося человека — прерывать его общение с Богом, — удерживала ее, она выжидала, борясь

со своим желанием и уступая исходно, изначально уже, упорству сына. По этому-то хорошо знакомому ей упорству она и узнавала его. Вот так же, в очередной раз пойманный, избитый и посаженный ею в чулан, он часами, когда она входила к нему, чтобы поговорить, сидел молча, не поворачиваясь к ней и даже вроде бы наслаждаясь, что хоть так, хоть этим может досадить ей; уже тогда она улавливала в нем эту страшную жестокость, которая, развившись теперь и затмив разум, не просто руководила всем его иноческим существом, но, как пища, как хлеб, соль, вода, воздух, являлась необходимостью, без которой все обесмыслилось бы и истаяло: и плоть, и дух; да, она чувствовала эту именно жестокость, глядя на сына и все более узнавая его, и тот извечный вопрос, какой так ли, иначе ли каждый хоть раз в жизни, но задает себе и в котором, может быть, более, чем в каком-либо ином, заключена трагическая бессмысленность бытия, мучительно возникал в ней и обескураживал ее.

LXXV

Природа не выдерживает покоя; бесконечность статична, мертва лишь в воображении; точно так же и человек — жив лишь, пока движется (душой ли, физически ли), и, пока жив, как и без воздуха и воды, не может обойтись без этой насущной потребности движения. Феодосий, словно вдруг что-то подтолкнуло его, — подтолкнуло же только одно: неопределенность, с которой надо было покончить, — сперва резко, как на нечто помешавшее ему, обернулся на мать и лишь затем, смиряясь, нехотя поднялся и, не произнося ни слова, что само по себе уже не по-христиански, не по-евангельски, принялся разглядывать ее. Высокий, худой, до изнурения успевший уже довести себя, в долгополом, ветхом монашеском одеянии с колючей власяницей под этим одеянием, он, как жердь, стоял перед матерью, явившись будто с того света к ней и не желавший узнавать ее. Лицо его, заросшее рыжеватой бородкой, еще мягкой, еще только оформлявшейся, как это и бывает у молодых людей на переломе взросления, казалось темным — то ли обветренным, то ли загорелым — от падавшего со спины

света, и точно такими же темными казались его нестриженные, немые и нерасчесанные волосы, подхваченные на лбу сыромятным кожаным ремешком и рассыпью спадавшие по спине и плечам; что-то застарело несвежее, неопрятное, помятое было во всем его облике, нестираное, немое (кстати, как утверждает Нестор, за все время пребывания в печерском монастыре Феодосий мыл только руки, и не мыл ни тело, ни голову, и просил таким же неомытым похоронить его, что и было исполнено), и особенно бросались в глаза его босые, с коростами и болячками ноги. Он только что, перед появлением матери, выходил из пещеры, и полы его одежды, и ноги были мокрыми, были в грязи и некоего красноватого, словно отмороженные, оттенка, и только от вида этих ног, на которые и смотрела теперь мать с ужасом и не отрываясь, — только от вида этих босых, в струпьях и болячках ног что-то словно отрывалось и замирало в ней.

Но Феодосий не замечал этого состояния матери и не только не смущался сего своего затрапезного вида, но, напротив, был даже горд и держался, вернее, старался держаться перед матерью так, будто и в самом деле достиг величия и славы в услужении Богу, будто для смертного, как он, нет и не может быть ничего выше, чем подобная святость, в какой пребывал он. У матери же, однако, было иное впечатление. Она, как и подсказывал ей здравый рассудок (ее естественное, реалистическое восприятие мира), сейчас же перенесла все в область физических страданий, и святость, коей пытался гордиться сын, обрела для нее лишь смысл болезни, затажной, принявшей опасные формы, и немедленно, сейчас, здесь надо принимать меры; с житейской простотой она подумала, что хорошо бы помыть, переодеть и накормить его, то есть о том, о чем думает всякая мать, встретив избегавшегося и отошавшего сына, и движимая желанием приласкать его, погладить все еще кажущуюся ей детской головку, обнять и прижать к груди это исхудавшее родное тельце, — движимая лишь этим материнским желанием шагнула было к нему, протянув руки, но Феодосий, как от чумной, откачнулся от нее, испуганно забежав перед собой глазами. «Молись, — затем произнес он, обернувшись на распяты и снова на мать. — Молись, молись, — даже вроде бы заговорщицким шепотом

повторил он, словно перед ним стояла не мать, а грешница, вина которой и известна, и доказана и которой еще давался шанс покаяться и спастись. — Господь всемилоостив, но он не признает ни родства, ни праздности, мы все равны перед ним. Молись!» И, чтобы подать пример (главное же, не натолкнуться на возражение и не втянуться в разговор, который, он знал, как трудно было вести с матерью), Феодосий, крестясь, опять опустил на колени перед распятым.

Он молился истово, беззвучно, вскинув глаза на Христа, пламя свечи, вздрагивая, освещало его шевелящиеся губы, как освещало и все лицо, и распятие, и перед матерью, продолжавшей растерянно стоять позади него, вновь открылась та изначальная и столь поразившая ее картина, когда под нависавшим изображением Иисуса, мучившегося на кресте, зачерненным сгорбленным пятном бугрилась застывшая словно бы в сострадании к Спасителю фигура ее сына. Теперь в ней не возникало уже сомнений; ей лишь странным казалось, что отчего же, если Христос принял страдания за людей, продолжают мучиться люди, в чем здесь смысл, где истина и, главное, для чего нужно Богу отнимать у нее сына? Она не понимала и не хотела понимать этого; стержень жизни, если так можно назвать духовную силу человека, — стержень этот еще не был ни надломлен, ни согнут в ней, и она, выжидательно глядя на сына, на его вроде бы озорство или причуду, которым так ли, иначе ли, но наступит предел, искала лишь повод, чтобы вступить в разговор. Ей нужно было чем-то заняться, и она то присаживалась на чурбак, то вставала и, отряхнув юбку, присаживалась опять; когда же, раздраженная ожиданием, решительно направлялась к сыну, жестом прося не мешать ему, Феодосий торопливо и с непоколебимой и, казалось, железной стойкостью произносил: «Молись!» — и еще истовее, чем только что, поражая и покоряя этим мать, начинал креститься на распятие. Он проделывал это всякий раз, едва она порывалась подойти к нему, с удовольствием, видимо, ощутив в себе это упорство и наслаждаясь им, и ни слезы, ни мольбы матери, с какими она приступала к нему, не могли ничего изменить в нем. Наконец, когда подошло время трапезы (было уже достаточно за полдень), он поднялся и, не глядя на мать, тихо, словно бы для себя

произнес: «Хватит, устал я. Устал», — и, опустив голову, теперь уже выжидательно стоял перед матерью. Принесший еду Антоний — кусок черного хлеба, соль, лук, воду в кружке (сочиво, как называлась горячая пища, готовилось монахами лишь раз в неделю), — Антоний тоже стоял здесь же по предварительной будто бы договоренности с Феодосием, и, оказавшись между этими двумя строго смотревшими на нее отшельниками, мать Феодосия невольно попятилась к выходу, не находя ни что сказать сыну, ни что Антонию и только растерянно извиняясь и кланяясь им. Она хотела попросить, чтобы разрешили прийти завтра, и, когда Антоний, вышедший вслед за ней из пещеры, чтобы проводить до ворот монастыря (в ту пору еще условных), сказал ей, что она может прийти и завтра, и послезавтра, — схватив его руку и обливаясь слезами, она принялась торопливо целовать ее.

LXXVI

Н а следующий день, когда она утром пришла к сыну, все, что происходило с ней накануне, — все повторилось в тех же подробностях. Точно так же Антоний провел ее по слякотной дорожке до пещеры сына (лишь в дополнение будто моросил нудный осенний дождь, и от реки по низу, по-над землей, скользил ветер, клоня бодылья, взвихриваясь на уступах и полоща концы приподнятой юбки); точно так же сын встретил молитвой перед распятым и выдерживал, пока хватало сил, а когда она решалась заговорить, предлагал лишь, опустившись на колени перед Спасителем, мучившимся на кресте, молиться, молиться и молиться; и точно так же, едва подошло время трапезы, восклицанием «Устал, хватит!» и с просьбой оставить его выдворил ее из пещеры, передав Антонию, чтобы проводил до ворот. Это же повторилось и на третий, и на четвертый день, и только в конце недели, словно бы смилостивившись наконец над матерью, усадил ее перед собой и словами Евангелия, не позволяя ни в чем перечить себе, принялся излагать суть монашеского бытия. Он говорил с убежденностью, как если бы, кроме истины, какую преподносил, и в самом деле не существовало на свете иных, как не существовало буд-

то бы и земной жизни для человека, а были только соблазны, было только — испытание, посылаемое Богом, чтобы затем по результатам воздать каждому. Он уличал ее в заблуждениях и указывал путь к спасению, еще вполне возможно, если, отказавшись от благ преходящих, она предпочтет получить вечные и посвятит себя служению Богу. Наконец, прямо сказал, что должна постричься в монахини, и для убедительности добавил, что только в таком случае обещает видеться с ней.

Убеждения одного вряд ли возымели бы столь быстрое воздействие, если бы не подключились к делу Антоний и братья, уплотняя рассуждения своими, своими внушениями тот обруч безысходности вокруг нее (пока лишь словесный), который и сковывал ум, волю и принуждал к послушанию и смирению. Антоний читал ей наставления Христа из Апостольской книги, давал толкования вместе с братьями, словно бы случайно поочередно заходившими к нему, перед ней открывалась божественная картина мироздания, и сорокалетняя, полная еще жизненных сил женщина, лишь полторы недели назад решительно заявлявшая, что сын ее околдован, что она откроет ему глаза на истину и вырвет из нечистых, злых рук, — сломленная, напуганная муками ада и ободренная возможностью спасения, она припала к ногам Антония и с мольбой начала просить его, чтобы поручился за нее и порекомендовал в один из ближайших женских монастырей для пострижения. «Не ко мне, нет, к Богу, к Господу нашему», — отстраняясь от почестей, хотя они и приятны были ему, сказал он и послал за Феодосием и Варлаамом, тогдашним (после отбытия Никона в Тьмутаракань) игуменом монастыря. Варлаам предложил отслужить благодарственный молебен, благословил мать Феодосия, похвалив за мужество, так как более чем знал, что означало добровольное монашество, и затем все втроем, радуясь за ее словно бы состоявшееся уже спасение, вновь воздали хвалу Творцу. Тут же был определен монастырь, в который ей надлежало принять пострижение, — монастырь святого Николая, что на Оскольдовой могиле (так называлось место, где в свое время он был возведен), и на который предлагалось отписать все движимое и недвижимое имущество, не оставив для себя ничего, кроме миски,

ложки и ковша, чтобы было из чего поесть и попить, и Феодосий, теперь уже сам пошедший проводить ее до ворот, впервые в этот знаменательный будто бы для него вечер позволил обнять себя.

Им, видимо, казалось, что они не прощались, а только расставались, чтобы, обустроившись (это относилось к матери), начать новую и более уже родственному (что было точно так же мечтой и надеждой матери) жизнь. И все же сквозь радость, скорее насильственную, чем естественную, потому что, собственно, чему же было радоваться достаточно еще молодой, полной сил и решившей запереть себя в монастырских стенах женщине, — сквозь радость поминутно на глаза наворачивались слезы, и она вдруг начинала смотреть на сына так, словно спрашивала: не обманул ли он ее, не насмеялись ли над ней преподобные Варлаам и Антоний? Сомнение возникало лишь потому, что слишком уж убогими выглядели и одеяние, и вся обстановка жизни, в какой вынужден был пребывать сын; она не могла забыть его босых, с коростой и болячками ног, его скудной, источающей плоть пищи, сырых пещерных стен и запаха немытого человеческого тела, ударившего ей в лицо сначала у Антония, затем и в жилище сына. Но Феодосий, как и в предыдущие дни, оставался жестким, неумолимым. Со словами «Бог милостив» он хотя и с трудом, но все же отстранил от себя мать, а потом долго еще стоял, глядя ей вслед и невольно возвращаясь к тяжелым и обычно нежелательным для него размышлениям. Над землей по всему неохватному горизонту низко плыли набрякшие дождем осенние облака, и под ними, как под огромной шатровой крышей, выступали словно бы из мглистого месива стены древнего Киева, очертания великокняжеского и монастырских строений с уютившимися вокруг них жилищами мастерового и торгового люда и куполами церквей и соборов, которым навсегда будто бы предначертано подпираť своими крестами небо. Ничего необычного вроде бы не было для Феодосия в этой картине (разве что удалявшаяся мать, на которую продолжал смотреть); и стены, и строения, и вся мглисто-пустынная даль, — все было и привычно, и знакомо; и вместе с тем он смотрел сейчас на все с жадностью, как смотрел, может быть, только на мученический лик Христа, распятого на кресте, и

прежде заглушавшаяся им мысль, что нет в отдельности ни преходящей (на земле), ни вечной (там, за чертой) жизни, а есть только одно неразделимое целое, составляющее мир бытия, — мысль эта вновь, словно огнем, опалила его; вечность там, но вечность и здесь, и, как стоял Киев до него, Феодосия, так и стоит и будет стоять; и будут, в нем обитать люди, будет жизнь, раздираемая, добавим к слову, противоречиями и самоуничтожающая (для чего-то?) себя. И как ни покажется кому-то подобное невероятным или странным, но не проводами матери, не драматичностью самой этой минуты прощания (ведь что-то сыновнее должно же было быть в нем), а лишь унылостью картины, тянувшейся к горизонту, и мыслью о единстве бытия, ставившей под сомнение преходящее значение человеческой на земле жизни (может быть, от рождения и до смерти человека это и есть для него и вечность, и бессмертие?), — этой именно унылой картиной и мыслью и запомнился Феодосию сей словно застывший в нем, как застывают мгновенья, зафиксированные в словах, сырой, холодный осенний вечер.

Едва он вернулся в пещеру, как тут же припал к распятью и простоял так, молясь, более чем до полуночи, пока силы вконец не оставили его и пока, каясь (все же была потребность покаяться за содеянное!), не почувствовал, что чист душой и перед собой, и перед Богом и что готов вновь безропотно принимать свои иноческие лишения. Разумеется, он не сразу забыл о матери; но ведь монастырское бытие, как и всякое иное — житейское ли, светское ли, государственное ли, — столь же вовлекает человека в круг своих однообразных будничных дел, за которыми, вернее, за исполнением которых не то чтобы забывается, что, кроме означенного, есть еще мир, не менее наполненный человеческими страстями, и что он тоже — под десницею Божьей; чтение молитв, истязание плоти и снова круглосуточное почти стояние перед распятым, — да не для того ли все это, чтобы человек не помышлял о мирском? Несколько раз у Феодосия все же возникало желание съездить в монастырь святого Николая и справиться, как устроилась там мать, он даже намечал дни, когда бы мог сделать это, но затем, занятый своими делами (к тому времени он уже был избран игуменом монастыря вместо перешедшего в

другой монастырь, Киевский, Варлаама), переносил срок поездки то на осень, то на зиму, то на весну; и, пока намечал и переносил, не тревожась душой и не испытывая ни сомнений, ни угрызений совести, из женского монастыря пришла весть, что мать его, инокия Ксения, тихо, умиротворенно почилa в день престольного торжества и что тело ее предано земле сразу за церковью, на монастырском кладбище. Весть была столь запоздалой, что ехать туда было уже бессмысленно, и Феодосий только помолился за упокой ее души, снимая тяжесть со своей. Он так и не нашел времени выбраться к ней на могилу и помолиться, и, утешаясь мыслью, что придет час и в вечной уже жизни он наконец соединится с ней и что Божья благодать осенит их родительское и сыновнее счастье, — утешаясь сей важной для него мыслью, даже не пытался прилагать усилий, чтобы узнать хоть какие-либо подробности об иноческой жизни и кончине матери.

LXXVII

Да, мать Феодосия и в самом деле умирала тихо, умиротворенно будто, никого ни о чем не просила, не вспоминала ничьих имен и ни разу даже не обмолвилась о сыне, с которым либо уже не надеялась, либо не хотела повидаться, и пожилая черница, посланная прислуживать ей в келье (черница эта была своего рода специалистом по подобным делам, и ее приставляли к умирающим и в монастыре, и в миру), была более чем довольна кротостью новопостриженной сестры, инокини Ксении. «И вовремя соборовалась, и схиму приняла, и все безропотно, с покорностью и в здравом рассудке», — делясь впечатлением, говорила черница, словно и впрямь было что-то особенное в том, что «безропотно» и «в здравом рассудке». Скоротечная же история ее была, в сущности, так проста (и столь предсказуема, вполне можно было бы добавить), что иного исхода и нельзя было ожидать от подобного резкого поворота судьбы. Уже на следующее утро после того, как она распрощалась с сыном, ближе к полудню за ней была послана подвода, а к вечеру, далеко оставив позади себя и Киев, и пещерный (пещерский) монастырь, в котором, припав перед распя-

тием на колени, как раз в эти часы молился Феодосий, она въехала в ворота своей будущей обители. Ворота захлопнулись, навсегда отгородив ее от прежней, мирской жизни, две монахини провели ее к настоятельнице, где она тут же подписала отречение от всей своей подвижности и недвижности, оставшейся в Курске, на другой день между заутреней и обедней ее провели в невысокую монастырскую церковь, сняли цивильное, одели в иноческое и усадили на скамью для пострижения.

Не знаю, может быть, это было только ее впечатление, но она как-то сразу словно бы присмирела и душой, и телом, ощутив на себе непривычное, показавшееся ей холодным и колким монашеское одеяние. Ей подали текст, который она должна была прочитать, давая обет перед Богом, но руки сейчас же задрожали, как только книга оказалась у нее, глаза налились слезами, буквы поплыли, слились, и она, чувствуя эту свою беспомощность, стесняясь ее и еще больше расстраиваясь, не могла вымолвить ни слова. Ее не принуждали, нет; но едва только, успокоившись, принимала из рук святителя книгу, все вновь начинало плыть перед глазами, так что в конце концов, чтобы не терять времени, игуменья сама взялась прочитать текст, а будущая новопостриженная раба Божья Ксения лишь повторяла за ней слова, не в силах ни вникнуть, ни понять их, а только чувствуя некое их божественное будто бы начало, некую (чью-то!) власть, смыкавшуюся над ней. Сестры-монахини отвели ее затем под руки в келью, зажгли свечу перед ликом Богородицы в ризе с младенцем Христом на руках (образок показался ей, как две капли воды, похожим на тот, какой она видела на столике в пещере у Антония) и, посоветовав помолиться перед этим светлым ликом, ушли, оставив одну свыкаться с новым, непривычным и тяжелейшим иноческим бытием. Может быть, если бы она умела, она сразу бы погрузилась в мир молитв, чтобы забыться в них, подменив жизнь естественную, реальную жизнью иллюзорной, придуманной, в которой есть только духовное, соединяющееся с Богом, и нет телесного, то есть физического; но она еще не умела так молиться, не умела предаваться до самозабвения воображенным картинам и переселяться со всей своей реальностью в тот хотя и красивый, полный благоденствия, но не-

реальный мир; по-житейски просто, как если бы все заключалось в переезде из одного дома в другой, она осмотрела келью и, найдя ее достаточно приличной (во всяком случае, не столь ужасающе убогой, какими помнились ей жилище Антония и жилище сына), решила прилечь, чтобы отдохнуть от преследовавшего ее все эти дни физического и нравственного напряжения.

Человека более всего обычно беспокоит неопределенность. Для инокини Ксении неопределенности уже не было, жизнь ее определилась — в лучшую ли, худшую ли сторону, пока не думала, не хотела думать; главное, сын был рядом, по крайней мере так ей казалось, и самой уже возможностью видеть его оправдывалось все, на что она решилась, приняв пострижение. Нужно теперь только приспособиться, прижиться в этой новой обстановке, что было делом времени, и, самоубаюкиваясь сим обнадеживающим будущим, она не заметила, как заснула спокойным впервые за последние две недели глубоким, умиротворяющим сном. Ни на вечернюю молитву, ни на вечернюю трапезу не стали поднимать ее; игуменья сама заходила к ней, чтобы убедиться в ее безмятежности, и, воздав хвалу Господу, умеющему укреплять слабые души рабов своих, не велела трогать ее. «Еще успеет», — затем тихо, про себя, добавила она, разглядывая полное еще мирских красок лицо спавшей Ксении. Как ни строга, как ни безжалостна, казалось, была игуменья, но в ней нет-нет да и просыпалось нечто человеческое, делавшее ее отзывчивой и доброй. Она с жалостью смотрела почти на всех, поступавших в монастырь, особенно на молодых, которым жить бы да жить, рожать детей и радоваться семейному счастью, но которые по разным, конечно же, причинам (да и не всегда знавшие, что их ожидает) обрекали себя на затворничество, то есть если не на физическую, то на духовную, это уж наверняка, смерть.

Сестру Ксению, так ее теперь называли, разбудили, когда было еще темно, и велели идти к заутрене. В небольшой каменной церквушке с сырым, холодным полом и сырыми, холодными стенами она более трех часов простояла, слушая проповедь, духовное пение и молясь. Ее поставили в последнем ряду, рядом с дверью, от которой тянуло сквозняком, да так, что в конце службы ее трясло, словно в лихорадке; потом

скудная, хлеб да вода, трапеза и опять молитва, но уже в келье; потом ее посылали чистить и топить печи в обители (попасть на кухню — надо было еще заслужить такой чести), убираться у игуменьи, теребить шерсть на копытца (на носки, вязавшиеся монахинями для продажи), носить с речки воду и еще, на еще множество разных, коих всегда не счесть в большом хозяйстве, дел, а между ними, едва выпадала свободная минута, надо было вновь вставать на молитву и восхвалять Господа. После вечерней службы и трапезы она не чувствовала уже ни рук, ни ног и не испытывала никаких иных желаний, кроме одного — поскорее добраться до постели. В первый же этот день своей иноческой жизни она более чем почувствовала, что означало отречься от себя и принадлежать Богу; что бы ни заставляли ее теперь делать, все связывалось с ЕГО именем, и нельзя было ни возразить, ни послушаться ЕГО; нельзя было, во-первых, потому, что брался на душу тяжкий грех, который затем за всю преходящую земную жизнь едва ли покаяниями и молитвой можно будет снять с себя, и, во-вторых, послушницу могли подвергнуть епитимье, что считалось уже наказанием не от людей, а от Бога. И на второй, третий, пятый день все повторилось в том же порядке, а затем потянулись недели, месяцы сего бессмысленного нравственного труда, и, прежде живая, энергичная женщина, Ксения вдруг поняла, что у нее не только было отнято ее прошлое, но отнято будущее и что самой надежды на встречу с сыном теперь уже не было у нее. «Господи, ты отнял у меня сына, зачем же отнимаешь у меня жизнь?» — молясь, произносила она, не желая еще верить в открывшееся, еще сомневаясь и стараясь вернуться к надеждам, питавшим ее. После того как она исповедалась, — очистилась душой, вернее, облегчила душу, то есть после того, как о ее тайных страданиях узнала игуменья, а через нее и многие близкие к ней сестры-монахини, Ксения еще яснее ощутила стену, кем-то возводившуюся уже не только между ней и жизнью (жизнью вообще, то есть мирской, какой она жила прежде), но и между нею и Богом, которому служила и который в лице ли сестер-монахинь, в лице ли келарши или игуменьи, призванных будто бы выражать ЕГО волю, не слышал ее. И стена эта — нет, отнюдь не была воображенной; она

была реальной, хотя и невидимой и невесть будто из чего состоявшей, и, как слепой, немощный котенок (что случается иногда и с народами, обманутыми щедрыми посулами), тыкалась в нее, не находя ни просвета, ни щели, через которую можно было бы выбраться на простор и облегченно вздохнуть. Она ни с кем уже не делилась мучившими ее сомнениями, и всплеск чувств, прежде, как вулкан, вырывавшихся из нее, теперь непомерной тяжестью оседал в ней, она все более замыкалась, ей по неделям не хотелось ни с кем говорить, и, в то время как игуменье казалось, что Ксения смирилась, что кротостью и воздержанием обошла многих в обители, — с ней происходило лишь то, что происходит со всяким человеком или обществом, когда болезнь не лечится, а загоняется вглубь, особенно если дело касается нравственных начал или основ жизни. Лицо ее обескровилось, она спала телом, как говорили о ней, и до того ослабела, что несколько раз, не выдержав многочасовых молений, падала в бессознательном состоянии на пол. Ее относили в келью, крестили образом Богородицы, зажигали у изголовья свечи, но запоздалое сие внимание уже не трогало Ксению, и, когда в очередной раз ее уложили в постель, она уже не смогла встать и, ни на что не жалуясь и ни о чем никого не прося, тихо, умиротворенно именно, словно избавления, ждала смерти.

LXXVIII

Бог прибирает людей, народы, государства, и сколько их за века кануло в небытие — насильственно ли умерщвленных, обманно ли, или решившихся добровольно (от невыносимости жизни, конечно же, да, да, от жесточайшей невыносимости и неприемлемости навязывавшихся основ) покинуть сей мир? Тихо ли, без внешних ли проявлений борьбы, гордо унося с собой тяжесть неотмщенных обид, или буйно, с желанием справедливости и возмездия (что, по сути, неисполнимо и делает нас лишь смешными), — кто может сказать, что достойно и что недостойно, если никому еще, ни отдельным личностям, ни народам, ни государствам, обреченным на гибель и смерть, не удавалось отвести от себя всесильную руку Творца; и если на

всякую человеческую смерть, как и смерть народов и государств, смотреть не с точки зрения покойного, которому уже все равно, что останется после него на земле, а с точки зрения живущих, то уважение обретает тот, кто не оставляет свою боль для мучения других, а уносит с собой в могилу. Так умирают в большинстве своем люди простые (невольны напрашивается: сильные), полагая, может быть, что и в самом деле облегчают участь остающихся жить, и не подозревая даже, что то очевидное будто бы благо, какое приносят своим молчанием, вовсе не благо, а лишь неотвратимое наказание, какого, если перелистать страницы истории, только и заслужило человечество за свою жестокость и равнодушие к страданиям ближнего. В могилу уносятся не обиды, нет, а опыт жизни — тот единственный, какой обретается не заучиванием проходных истин, не зубрежкой канонов или исследованиями понятий добра и зла (что само по себе, разумеется, имеет смысл как приложение к главному), а познается в трудах и общении, неся в себе истинный заряд реализма, и, не получая этого заряда, этих генов мудрости, поколения за поколениями вынуждены проходить все тот же протоптанный уже предшественниками на земле круг и повторять те же ошибки — столь вроде бы очевидные и столь элементарные, — от которых, как от колоды на шее, повешенной властителями, столетья ждут и не могут дожидаться избавления и личности, и народы, и государства (хотя ведь разве нельзя бы, осмотревшись за те же столетья и разобравшись во всем, не подставлять с покорностью шею под подобного рода пусть даже просто идеологическое, которое, впрочем, куда страшней, чем социальное ярмо?). Но пока разумом своим дремлют народы, не дремлет власть; этот вечный сеятель зла, это крапивное семя, столь очевидное лишь в великокняжеских будто бы, царских проявлениях, на самом деле так широко рассеяно по миру, что трудно бывает иногда даже предсказать, в ком и при каких обстоятельствах оно может прорасти до глобальных размеров. Если где-то и в чем-то происходит на земле противостояние, то в центре его непременно окажется стремление получить богатство и власть. Это только принято говорить, что люди гибнут за металл; гибнут они не за металл, а за то, что стоит за этим металлом, — власть,

власть жестокая, непримиримая, безраздельная, толкающая людей и на насилие, и на унижение, лишь бы затем (пусть даже просто ради власти, как это в большинстве своем и бывает среди правителей, включая и духовенство, эту идеологическую надстройку общества), — лишь бы наслаждаться затем своим божественным возвышением над простолюдьем.

Жестоко обманувшись и вполне осознав свой обман, мать Феодосия между тем даже отдаленно не представляла себе, кем, от чьего имени и с какой целью был преподнесен ей сей страшный подарок. Не просто же сыном, не церковниками, которые и сами-то — лишь исполнители, лишь инструмент некой направляющей мысли, некого стержня, что ли, воплощенного в понятии «власть» и еще до появления христианства начавшего закладывать для себя основу бессмертия; нет, ей даже отдаленно не приходило в голову, что может существовать некий стержень, некое корневище, угнездившееся на теле естественной человеческой жизни и поражающее недугом величия (ведь бессмертие не само по себе, а в преемственности) обыкновенных, простых, смертных людишек. Ложь, насилие, интриги, фарисейство в быту и делах державы, — всё, всё, все атрибуты зла ради усаждающей минуты возвышения; даже узурпаторство, даже отцеубийство или детоубийство, как водится это у коронованных особ (и водится среди народа, только не фиксируется историей); и это, что узаконено в мире, еще железнее узаконено в сфере духовной, то есть в идеологии, где от века и доньше (и безоговорочно) поделено все на пастырей и паству, на Творца, представленного верхушкой иерархов, и Божьих послушников, рабов, долженствующих лишь внимать и не прекословить ни в чем. Человек скрывает и свои прелести, и уродство под одеждой. Но есть еще одежда для человечества, и одежда эта — идеология; ею прикрывается все противоестественное, что происходило, происходит и задумывается в общественной жизни для блага одних и ущемления права других, преступления выдаются за благодеяния, а преступники, попортившие народ, при этом чем больше, тем лучше, возводятся на исторический пьедестал; и не кощунственно ли после этого звучит, что смерть примиряет людей, уравнивает их в правах и успокаивает их страсти и что о покойнике следует либо молчать,

либо говорить только хорошее, как это и происходит на царских ли, на иных каких-либо похоронах? Не фарисейство ли это, причем у гроба, да к тому же возведенное в ранг приличия? Но если поступки владык, обычно обрастающие тайной, хоть через столетия, но предстают перед взором людей в их истинном свете и значении, то эти же поступки, трагически отразившиеся на судьбах простолюдинов (а ведь мы признаем, что каждый на земле человек одинаково наделен способностью радоваться и страдать) и представляющие собой ценнейший урок жизни, — поступки, отраженные в судьбах простолюдинов, закапываются вместе с покойным в землю, чтобы навсегда раствориться там. И в церкви, в которой лишь чуть больше года назад ее постригали в монахини, и затем на кладбище, перед тем как опустить гроб на веревках в могилу (для чего специально были приглашены в монастырь люди), — об инокине Ксении говорили только доброе, восхваляли ее иноческий подвиг (хотя, в чем он состоял, никто толком не смог бы ответить) и, видя в страданиях лишь то естественное, что посылается будто бы Творцом для испытаний, радовались за покойную, что она столь безропотно, с достоинством и хвалою Господу на устах прошла выпавший ей на долю земной путь.

Так думала игуменья, так думали монахини, отпевавшие Ксению в церкви, а затем пришедшие на кладбище и торопливо крестившиеся при виде опускавшегося в могилу гроба (нет более траурного зрелища, чем монахини в черном, венцом стоящие вокруг могилы и гроба); так думал и Феодосий, когда, получив спустя несколько недель весть о смерти матери, удалился к себе в пещеру и, опустившись на колени перед распятым точно так же, как встречал мать, то есть спиной ко входу, молился за нее и воздавал хвалу Господу. Понимал ли он, за что хвалил Господа? За что вообще было хвалить его? И понимал ли значение той миссии, той своей роли, какую выпало сыграть ему самому в этой, по сути, страшной семейной драме; драме народа, если признать, что всякое обобщение состоит из сложенных частных и что по обобщениям (и с фарисейской ссылкой на них, как на некое будто бы проявление желаний и воли народа) складывается и социальное, и нравственное устройство государственной жизни? Нет семьи — первоячейки, первоосновы

жизни, — нет и не может быть ни народа, ни государства, как, впрочем, и без права собственности на землю, когда людям не за что бороться и нечего защищать; могущество державы, да какое уж тут могущество, пусть даже просто благополучие, — разве может оно хоть когда-либо наступить, если власти предрешающие из века в век с помощью испытанных, а теперь новых и новейших идеологий только и делают, что стремятся как можно больше народа, предварительно до нитки обобрав его, переместить из жизни земной к вратам вечного рая? Нет, мысль сия, как она была недоступна Феодосию, так и сегодня остается недоступной многим и многим, может быть, даже искренне полагающим, что только в страданиях и через них обретается нравственность и что спасение, достигаемое лишениями, аскетизмом, молитвой, — что спасение выше жизни, а потому и думать надо не о жизни, но о спасении и стремиться к нему. Я не теолог и не верю во всеобъятность человеческого познания; но по тем историческим сведениям, которые удалось почерпнуть из сокровищницы человеческих мыслей, всегда полагал и полагаю, что не Иисус Христос виноват в том, что учение его, изначально направленное на прославление жизни, получило столь странное, если не сказать больше, извращение, что, превратив в идеологию, его приспособили к потребностям светской, самодержавной власти, для которой подавление желаний и воли народа есть первейшая и необходимейшая статья выживания. Нет, нет и еще раз нет, не Иисус Христос виноват в том, что столь извращено его учение и что именно в извращенном своем виде оно более плодит не носителей добра, а носителей зла, интуитивно чувствующих беспрекословную (и не столько даже в духовной, сколько в светской иерархии) вертикальную подчиненность и, словно по лестнице, стремящихся любым способом подняться и встать над людьми (царь Иоанн — в сфере своей, державной, Феодосий — в своей, сколь ни покажутся несовместимыми по масштабности сии два однотипных явления). Две недели Феодосий не выходил из пещеры, усердствуя в молитвах за упокой души матери, чем и снискал еще большее уважение у братии по монастырю и расширил границы молвы о своей неподкупной святости.

LXXIX

Цель жизни не может состоять только из обещанного вечного блаженства; ожидающие нас золотые врата рая, к коим только и следует обращать помыслы и дела, — это прекрасно; но есть, то есть непременно должно быть еще нечто такое (в любых идеологических посулах), что не в мифическом будущем, а сегодня, здесь, на земле, приносит удовлетворение. Так ли, иначе ли, но иноческие усилия Феодосия не могли не принести ему вознаграждения, и те нравственные силы, которые, несомненно же, были в нем и помогали переносить ему наложенные на себя лишения, — нравственные силы те, получив наконец после избрания его игуменом монастыря простор для деятельности, не могли не развернуться в истинном своем проявлении. И тут, по-моему, нет нужды хоть что-либо домысливать; в дошедших до нас источниках прошлого кратко и емко сказано, что «Феодосий, сделавшись игуменом, выказал в высокой степени талант устроителя и правителя. Внешние знаки власти не только не пленяли его, но были ему противны; зато он умел властвовать на самом деле, как никто, и своим нравственным влиянием держал монастырь в безусловном повиновении». «Главное, — значит далее в источниках, — чего требовал он — это беспредельное послушание воле игумена, послушание без всякого размышления. Оно ставилось выше поста, выше всяких подвигов изнурения плоти, выше молитв». Итак: власть, власть, власть как некая естественная будто потребность для проявления личности; и неважно, что исходит она вроде бы не от себя, а от Бога (однако Бог — в имени, а человек — в телесном воплощении и с набором самых разнообразнейших страстей, желаний, чувств), неважно и то, каким способом она достигнута и чем, какими строгостями и лишениями по отношению к другим ли, к себе ли поддерживается и укрепляется, а важно лишь, что она есть и что ее можно проявлять безоглядно, своевольно и во всем под неусыпной охраной Божьего имени, теша душу, наслаждаясь и возвеличиваясь в своих глазах. Разумеется, Феодосий даже себе не смог бы признаться в подобных мыслях, потому что разом обесмыслились бы его дела и жизнь; за наслаждение властью надо было платить, и он, как тысячи и тысячи

подобных ему (и не только в духовной, но и в иных сферах бытия), платил той страшной платой нравственного оскудения (платой нравственного самообмана), какую и поныне готовы взимать и взимают иерархи планеты с доверчивого и бесправного человечества, примирившегося или, вернее, почти уже примирившегося с сей предписанной ему участью.

Как устроитель Феодосий прежде всего решил очеловечить пещерную жизнь монастырской братии, хотя это и не соединялось с идеей иноческого угнетения плоти и даже противоречило ей, и, подыскав удобное место, возвел церковь во имя Пресвятой Богородицы и в память о матери, так как история с ней была еще свежа в нем и волновала его, а возле церкви поставил кельи, в которые и переехала из сырых, тесных пещер изнуренная и отчаявшаяся уже братия. Затем, чтобы окончательно узакониться в значении монастыря, послал в Константинополь за уставом к бывшему постриженнику печерскому Ефрему-скопцу. «И чтобы строжайший по святости», — наказывал Феодосий гонцу, и Ефрем-скопца, стараясь уважить просьбу бывшего сопещерника, подобрал и в самом деле строжайший, по какому жили в то время подвижники студийского монастыря в Константинополе. По этому уставу инок ни душой, ни телом не принадлежал себе; ему предписывалось только либо работать на монастырь, либо в промежутках между работой с усердием молиться и соблюдать воздержание. Для Феодосия устав хорош был еще тем, что в нем объявлялось грехом «всякое переименование приказания игумена», а согрешившего надлежало строжайше наказывать. И Феодосий соблюдал и наказывал. Если находил в келье инока что-либо, что не положено было иметь ему, забирал и швырял в огонь; если замечал излишек съестного, тут же выбрасывал в воду, а однажды даже наказал келаря, подвергнув его епитимье лишь за то, что тот подал не те хлебы братии, какие приказано было (для воздержания!) подать ей. Хлебы были выброшены в реку, и два дня всем запрещено было даже появляться в трапезной. Нет, Феодосий не давал послаблений ни себе, ни другим, бдительность его доходила до такой щепетильности, что он по нескольку раз иногда обходил по ночам кельи и, если слышал, что монахи разговаривали между собой, сердито стучал им палкой в дверь.

Я так и вижу перед собой эту крадущуюся во тьме фигуру юного старца, это усохшее уже почти в аскетическом самоистязании тощее существо, готовое с палкой в руках наброситься на любого, осмелившегося нарушить монастырский устав. Он потому, видимо, и не спал, что невыносимой была для него сама мысль о том, что кто-то из братии решил позволить большую вольность, чем позволял себе сам Феодосий; только Богу разрешено все, и только он не подотчетен ни перед кем, а для всех остальных — лишь одно уравненное положение послушников и рабов (впрочем, как же все это узнаваемо в нашей сегодняшней жизни!).

Надо сказать, что устроительные заботы то в большем, то в меньшем объеме, но постоянно, до смерти занимали Феодосия. Потребность проявить себя, казалось, не иссякала в нем ни на минуту, и если он не работал, то молился или напевал псалмы, что было любимейшим его занятием, а если не молился и не напевал, то работал — молот зерно для братии на ручных жерновах, таскал дрова, топил печи, теребил шерсть для пряжи, неустанным сим примером побуждая к подобной же деятельности остальных и укрепляя в них веру в святость их богоугодного дела. Он лишал их возможности хоть в чем-то проявить себя, кроме разве что иноческих подвигов, и правдолюбством своим, своей строгостью в исполнении монашеского обета подавлял их волю (да иначе, видимо, и не мог бы столь безраздельно господствовать над ними). Под конец жизни он заложил еще одну церковь, каменную, и тоже в честь будто бы Пресвятой Богородицы, хотя и не без тайной опять мысли о матери. Со строительством этой церкви связано имя еще одного человека — бежавшего в свое время в Россию католика Шимона (в православии и пострижении Симона), но не оно, не имя этого чужеземца, завещавшего монастырю свои капиталы, определяло и определяет интерес к сему Божьему храму. На возведение его были приглашены мастера из Царьграда; они же привезли с собой все необходимое для оборудования церкви и службы в ней, и когда над крышею начали уже вырастать купола, то есть в самый разгар завершения строительства, из Константинополя вдруг было получено Феодосием сообщение от тамошнего Первосвятителя митрополита Георгия, что будто бы ему, константинопольскому

митрополиту, стало доподлинно известно, что приказание пойти на Русь и построить в Печерском монастыре церковь получено было царьградскими мастерами от самой Богородицы и что она же вручила им икону, то есть свой облик, написанный не художником-богомасом на земле, так как человеческий талант есть лишь отражение таланта Божьего, а писанный на небесах и потому являющийся произведением небесного искусства (хочу, кстати, заметить, что, может быть, как раз отсюда и идет у нас на Руси деление икон на явленные и писанные и отсюда же — столь глубокая вера в иконы явленные?). Где, когда и каким образом Богородица спускалась на землю, чтобы вручить все это греческим, царьградским мастерам, константинопольский Первосвятитель не уточнял; да и к чему было уточнять, если действия Богородицы, как и действия самого Спасителя, не подлежали и не подлежат обсуждению; их разве что следует только принимать и в них верить; главное заключалось в другом — в значении, какое Богородица придала возведению (в ее честь!) церкви в Печерском монастыре, успевшем, едва образовавшись, достаточно уже прославиться своей религиозной строгостью и благочестием. Для братии это означало, что их аскетический, иноческий подвиг не пропал даром, что молитвы и усердие в истязании плоти получили соответствующее одобрение, а для Феодосия — еще очередной повод к ужесточению монашеского бытия. Но легенда пришла, как бы ни была хороша и приемлема, она не могла не обрасти теми или иными подтверждениями местного значения, и одним из подобных подтверждений, вошедших затем в несторовский патерик, было обращение Феодосия (в молитвах, разумеется) к Богородице, чтобы она указала место, на котором следовало бы возвести церковь. «Пусть кругом будет роса, а где стоять церкви, ее не будет», — сказал он, что и было исполнено ею. А к следующему утру попросил, чтобы все повторилось наоборот, то есть чтобы кругом было сухо, а где стоять церкви, выпала бы роса. Богородица с точностью исполнила и это к изумлению печерской братии, вышедшей посмотреть на чудо (столь возвысившее затем Феодосия в святости), и — как ни покажется нам неправдоподобной сия легенда, не лишенная, впрочем, ни определенного романтизма, ни смысла,

но, может быть, все воспринималось бы по-другому, если бы не то практическое, что было извлечено из нее. Находясь уже почти на смертном одре, Феодосий написал киевскому князю Святославу Ярославовичу, что, поскольку печерская церковь есть детище самой Богородицы — от замысла и до иконного лика, — то и обитель возле нее должна быть освобождена от власти и князей и духовных владык; и Печерский монастырь с тех времен, как утверждают летописцы, «надолго пребывал независимую общиной».

(Боже, из чего только не научились люди извлекать для себя прибыль!)

LXXX

Власть обычно на что-то опирается и требует от предержателей ее неперменной — убийствами ли, разорением ли народа, собственными ли страданиями — платы; у царей, королей, шахов, премьеров, президентов всегда под рукой аппарат насилия и войска (теперь говорят: демократические законы, которые тоже ведь ничто без опоры на силу), а у некоронованных, как Феодосий, только беспредельная подчиненность вере, то есть идее, на службу которой кладется жизнь, и непогрешимость (в большинстве случаев ради самой же непогрешимости), коей, впрочем, как и всякой иной силой, можно более чем в повиновении держать доверчивый людской род; и, если цари, короли, шахи, премьеры, президенты расплачиваются за свое величие и блага чужими страданиями и жизнями, то Феодосию и всем другим, подобным ему и не успешным еще занять ничего чужого, награбленного для расплаты, оставалось только жертвовать собой, своими желаниями, удобствами, здоровьем и жизнью. Не надев еще короны Российской державы, Иоанн вынужден был вступить в борьбу с боярами, князьями, духовенством да и со всем народом за право безраздельного господства над ними (и дело тут не в том, был ли у него иной выход или не было); стремясь к той же, хотя и несравнимой по масштабам цели, Феодосий мог бороться лишь сам с собой, со своими желаниями и волей, одновременно и разрушая их, и укрепляясь в них же, и как бы мы ни спрашивали себя теперь,

стоило ли за минуты властительского торжества лишаться семьи, отцовства и вообще радости жизни, видимо, страсть стоять над людьми настолько сильна и, может, даже естественна в человеке (как бы ни протестовал против этого наш разум), что все противостоящее ей не выдерживает соперничества, меркнет и подавляется ею. Есть честность житейская и есть показная, которой можно давить на окружающих, и — не заключено ли нечто подобное и в святости? Во всяком случае, честность и чистота жизни, чистота помыслов, как можно было бы добавить, хотя перечнем этим, конечно же, не исчерпываются достоинства, необходимые для получения святительского сана (да и монашеский аскетизм — что это, жизнь или извращенно-показное подобие ее?), — честность и чистота точно так же нужны предержателю духовной власти, как корона и трон царю для царствования, и если и есть здесь различие, то лишь в том, что корону и трон можно добыть, подняв меч и столкнув народы, то есть пролитой людьми кровью или интригами, подкупом, убийством и опять же кровью, тогда как власть духовная обретается только ценой личного, пусть даже показного, на что тоже требуются усилия, безгрешия. Так что пути различные, но цель одна, и в конце концов все равно все смыкается в единый над людьми узел порабощения.

Понимал ли Феодосий все так, как изложено здесь, начав с детских почти лет и вполне осознанно, как говорится в патерике Нестора, прокладывать путь к святости или, не имея иной возможности проявить себя (ведь личность пробуждается в человеке по-разному, непредсказуемо, в разные периоды жизни, и характерно тут, пожалуй, лишь одно — потребность поиска и действий), почувствовал, даже, может быть, интуитивно, что только через служение вере и можно такому, как он, простолюдину достичь высот славы и бессмертия, — свидетельств нет, все унесено в могилу, и хранящиеся мощи Преподобного не могут ничего сказать нам; но я все же склонен полагать, что Феодосий не слепо, не на ощупь продвигался к цели, иначе не проявилось бы в нем столько непомерной — и по отношению к себе, и по отношению к матери, а когда избрали игуменом, и по отношению к братии — жестокости, сродной самодержцам, привыкшим толпами

отправлять людей на казнь ради незыблемости трона и власти; беспощадность к себе делала его обладателем огромной духовной силы, и многим, пребывавшим (как и ныне) в темноте и невежестве, казалось, что он и в самом деле был наделен от Бога повелевать. Иноческое бытие Феодосий возводил почти до святости, и чем ревностнее соблюдал его сам, тем выше возрастало значение его личности: и среди монастырской братии, и среди народа, да и при великокняжеском дворе, — и возможность влияния, то есть удовлетворение или, вернее, наслаждение, получаемое от сей возможности, лишь удешевляло в нем, служа оправданием, потребность в новых и новых строгостях. Самоистязания, именуемые в иноческом мире подвигами, казалось, были для Феодосия самым желанным из всех монастырских дел. Он первым приходил в церковь на богослужения и последним уходил из нее, а в великую четырехдесятницу, как сообщают летописи, «от заговенья до пятницы вербной недели запирался в тесной пещере», хотя, как и у всех, у него была своя, игуменская келья. Летом, по ночам, обойдя с палкой в руках притихшую обитель, он спускался к реке, выбирал место поудобнее у воды и, раздевшись до пояса, присаживался и начинал негромко, самозабвенно напевать псалмы. Комары тучами налетали на его тело и до крови искусывали его, но он словно бы не замечал их; он отдавал плоть на истязание, то есть выполнял, как объяснялось впоследствии, лишь то богоугодное дело, какое будто бы подсказывалось ему самим Творцом, и сколько затем ни брались иноки повторить сей игуменский «подвиг», ни у кого из них не хватало ни сил, ни терпения, ни воли. Это-то и делало Феодосия человеком исключительным, святым или почти святым при жизни, добрая слава о нем, словно бы подгоняемая ветром, распространялась в народе, к нему шли за справедливостью, и он никому не отказывал в заступничестве; к словам его прислушивались и при разбирательстве тяжб, и в великокняжеских хоробах, сам князь Изяслав ходил к нему за благословением и страшился его проклятий, и вскоре монастырская братия начала замечать, что всякий раз после подобных общений — с князем ли Изяславом или позднее Святославом, изгнавшим брата и занявшим его место (что, разумеется, тут же было осуждено Феодосием), — что-

то будто происходило с их игуменом, то ли обновлялось, то ли возрождалось в нем, и он не то чтобы давал послабления членам обители, но словно бы какую-то затаенную благодать одаривал их. В голосе его, в осанке и во всем выражении лица, вымученного недоеданиями и молитвой, проступало величие, он смотрел уже не перед собой, не на распяты, не на иноков, коленопреклоненно толпившихся перед иконостасом в церкви, а за горизонт, туда, в вечность, где для него было уже уготовлено надлежащее место.

Может, и запоздало, но к Феодосию все же пришло осознание, что не только покорством и самоистязаниями, то есть жесточайшим иноческим отрешением, человек способен добиться известности и влияния, но и делами истинно благими; и с этой целью, чтобы еще более укрепить свою значимость среди братии и особенно среди мирян, он построил рядом с монастырем двор для престарелых, больных, увечных (подобные заведения позднее стали именоваться богадельнями) и, как свидетельствуют записи прошлого, «давал на них десятую часть монастырских доходов, а по субботам посылал хлебы в тюрьмы». Он заступался не только за простолюдинов, но и за правителей, когда на них вдруг обрушивалась несправедливость, ведь борьба за высшую власть никогда не стихала между князьями, и подобное вмешательство в великокняжеские дела и возможность влиять на них как раз и породили у Феодосия желание попытаться подчинить своей воле всю нравственную жизнь державы. У меня нет подтверждений, насколько удалась ему сия государственная, можно сказать, затея; пока ясно лишь одно, что, сколько бы человек ни обретал власти, он не может насытиться ею; так было и с Феодосием: чем больше ее оказывалось у него (святости, если соотноситься с патериком Нестора), тем насущнее возникала потребность приумножить ее, и, надо сказать, основатель Печерского монастыря не упустил ни одной из открывавшихся перед ним подобных возможностей. Дело в том, что из руководимой им обители, славившейся иноческим благочестием, строгостью и ревностным служением вере, многих приглашали настоятелями в другие монастыри, а затем выдвигали на святительские посты и возводили в сан архиепископов и митрополитов, и для Феодосия важно было, чтобы все эти

выдвигенцы не отрывались от родного монастыря — обетованной для них земли спасения — и распространяли бы везде, куда простиралось их влияние, полученные ими правила послушания и строгости. В духовном завещании он прямо указывает, что только за таких, кто всегда будет «искать защиты в Печерской обители», он станет молиться перед Богом. И завет сей более двух столетий оставался непререкаемым для печерских постриженцев; какая бы епархия ни возглавлялась ими, они непременно раз в год или раз в два три года съезжались в монастырь (словно бы на инструктаж), делились впечатлениями, договаривались на будущее и строжайше выполняли договоренности. На державу, в сущности, была накинута нетленная паутина единой духовной (читай: монастырской) воли, которая, как мне представляется (хотя и с перемещенным уже центром), продолжает и ныне многих и многих держать в повиновении. А мы говорим: добро, зло... Да соизмеримы ли те крохи благодеяний, столь щедро записанные за Феодосием, с его главным делом — примером истязаний плоти и послушанием? Земля приняла его со всеми этими его плодами жизни, как она принимает всех, но затем мощи его были выкопаны и перенесены в церковь Богородицы к алтарю, иноческий «подвиг» увенчан святостью, а имя — бессмертием.

LXXXI

Когда инок Афанасий и богомольцы, пройдя через Киев, подошли к Печерской обители, был уже поздний вечер, монастырские ворота были закрыты, и чернец, дежуривший возле них, приподняв заслонку, сказал, высунувшись лицом в окошечко, что в этот час в монастырь не велено уже никого пускать, что ворота откроются только утром и что пришельцы могут пойти на приютский двор, что в сотне шагов за монастырской стеной, — ту самую богадельню, которую основал Феодосий, — и переночевать там. Возле богадельни возвышалась небольшая часовенка, и богомольцы сначала помолились в ней, а потом вошли в дом с низким потолком, низкими дверями и подслеповатыми оконцами. Служитель богадельни, вышедший

встретить их, мрачно пояснил, чтобы располагались, где отыщется место, что вечерняя трапеза уже прошла, хлеба, присланные игуменом обители, съедены и что — Бог милостив и сохранит всех до утра. Позевывая и крестясь, служитель затем удалился к себе. Он, видимо, столь непринимался разного рода паломников и так привык к этой своей обязанности встречать, что, явись к нему теперь хоть сам киевский князь, принял бы и его с тем же равнодушием и произнес бы эти же заученные слова приветствия (и отказа, потому что и в самом деле покормить гостей ему было нечем), какими только что словно бы окатил пришедших через всю Россию сюда богомольцев. Афанасий отчетливо помнил, как переглянулись усталые, обносившиеся в дороге старцы и как затем, приоткрывая двери и заглядывая в кельи, они пошли подобрать место, где можно было бы пристроиться. Всюду на нарах и на полу сидел и лежал народ, в кельях, казалось, некуда было ступить от тесноты; однако хоть и с трудом, но все же удалось найти уголок и, воздав хвалу Господу за доброту и милосердие, приютиться в нем. Кто-то, развязав узелок с припасами, принялся за трапезу, кто-то, разувшись и подстелив пропахшие потом портянки под себя, укладывался уже на ночлег (как ныне российский люд, гонимый нуждами, заполоняет вокзалы и спина к спине размещается на полу и на лавках в них); Афанасий же — от обилия ли впечатлений, нагнавших бессоницу, просто ли по молодости, то есть от полноты сил физических и духовных, да и за неимением узелка с припасами, так бы кстати пришедшегося теперь, — Афанасий достал из котомки патерик Нестора, прихваченный в дорогу (надо заметить, что затем и в зрелые годы, и в старости, до самой почти последней минуты жизни он не расставался с ним), и, притулившись перед зажженной свечой почти к самой стене, привялся, благословясь, в который уже раз перечитывать его.

Никто не может отрицать, что есть так называемая религиозная романтика и что она, как и всякая другая, столь же властно захватив человека, ведет его по своим запутанным коридорам пусть и к воображенному, но желанному свету; Афанасий как раз и пребывал теперь в этом состоянии, когда все духовное, нравственное было возбуждено в нем, и он не то чтобы в

конце туманного коридора земной жизни видел для себя свет жизни иной, небесной, вечной (что же еще, как не золотые врата рая ожидают всякого, кто, особенно с юных лет, вступает на путь спасения), но — свет этот был столь необъяснимо ярок и так манил своим благоуханием и теплом, что Афанасий, поглощенный сим видением, сим Божьим для него благовестом, не замечал ни тесноты, ни зловония, исходившего от немых, старческих в большинстве своем тел, ни всех тех иных неудобств, связанных с дорогой (когда человек располагается на голом полу), к которым только кажется, что можно привыкнуть и не реагировать на них. Время от времени у него все же затекали то рука, на которую облакачивался, то ноги, которые иначе, чем поджатыми, нельзя было держать и некуда протянуть их; он чуть менял положение и снова углублялся в чтение, стараясь как можно основательнее постичь самую суть иноческого подвига преподобного печерского основателя. Как и большинство людей, начинающих с молодых лет путь в веру, Афанасий не то чтобы не замечал, но был не в состоянии (тогда, по тому времени) даже отдаленно, даже намеком разглядеть всю ту жестокость, с какой Феодосий обошелся с матерью, по существу, убив ее, и с какой затем, прикрываясь Божьим угодничеством, ужесточал иноческий быт, выставляя прежде молитв, и поста, и воздержаний беспрекословное подчинение игумену; как и автору патерика Нестору, Афанасию казалось, что желание власти, то есть эта безрассудная относительно народа и жизни вообще, не знающая ни границ, ни предела страсть стоять над людьми, вовсе не страсть и не безрассудная, а всего лишь — святость, положенная от Бога, и эта-то святость и проникала теперь в душу Афанасия и волновала его. Ему хотелось походить на Феодосия, и он всей плотью своей сознавал, что полон силы и воли повторить, да, именно повторить подвиг печерского основателя, и как только дочитал до того места, где рассказывалось, как Феодосий, съдаемый комарами, напевал псалмы, сидя на берегу Днепра, давно вынашивавшееся желание, уподобившись Феодосию, на себе испытать сие богоугодное истязание — это обуревавшее Афанасия желание, искавшее выхода, подняло его и вывело из душевной кельи к реке.

Ночь была тихая, лунная, одна из тех ночей, в какие, может быть, и выходил Феодосий к Днепру, и эта внешняя, погодная, что ли, скажем так, схожесть только сильнее вдохновляла юного Афанасия; перед ним живо предстало прошлое, как этой же вот тропинкой, так же озарявшейся холодным, мертвым лунным светом, спускался к реке худой, бородатый, немытый и со струпьями по телу под одеждой и власяницей преподобный печерский игумен (да чего, собственно, было печься о теле, когда следовало думать о душе!), — спускался во всей этой неприглядности, лишь подчеркивавшей величие и святость души, и Афанасий, невольно старавшийся теперь подражать этому созданному воображением образу (как воображением же мы создаем образ Спасителя), шагал неторопливо, горбясь будто под тяжестью земной жизни и сисясь не смотреть по сторонам и не восторгаться тем, что в лунной ночи распахивалось перед ним. Возможно, что для монахов, особенно молодых, не успевших еще как следует познать ни мирской, ни иноческой жизни (к коим и относился тогда Афанасий), уже в самый момент пострижения перемещавшихся будто из дня солнечного в сумрак ночи (да иначе и не предстает перед нами мир иной), — для молодых, подобных Афанасию иноков, тихая красота летней лунной ночи является не просто красотой, но видится ими как некое символическое потугостороннее будущее, как идеал, к которому устремлены их помыслы, и Афанасий в этом отношении не только не был исключением, но, напротив, каждую минуту, казалось, готов был всей своей молодой плотью перейти в сие символическое будущее и раствориться в нем. Для него словно бы не было сиюминутной жизни, а была только вечность; не было ни света, ни тьмы, ни движения, ни самого себя, спускавшегося вдоль кустарников и трав к воде, а была только эта застывшая в студеном матовом свете даль, и была только мысль и только — нечто воображенное, словно самой Божьей благодатью обволакивавшее его. Так случается лишь во сне, когда человек перемещается в детство — неповторимое, доброе, приукрашенное (от потребности, может быть, ощущения той родительской теплоты, какая так ли, иначе ли всю жизнь подпитывает нас); но сколь ни велико было это сладостное забытие да и как ни крепился Афанасий,

чтобы не поддаться искушению, минутами все же словно что-то подталкивало его, он останавливался и, прислушиваясь к тишине, оглядывался вокруг.

От реки, со свежескошенной поймы тянуло запахом подсыхающих трав; кое-где там были уже сметаны стожки, которые хотя и не очень ясно, но все же были видны Афанасию, а за ними, за этими стожками и поймой, лоскутно открывалась хлебная нива: полосками пшеница, полосками рожь, овсы, ячмени, гречиха; под белесовато-матовым лунным светом их было трудно различить, они, казалось, сливались в одно бескрайнее голубоватое пространство, подпиравшее своей дальней, по самому будто горизонту, чертой силуэты строений и стен древнего Киева. Но, пожалуй, величественнее всего представлял Днепр, огромным кривым ятаганом словно бы брошенный в густое залуненное разнотравье; по берегам его, как некое живое будто бы обрамление, курчавились вербы, за ними кое-где проглядывали сады, а еще дальше, на стыке земли и неба, черной каймой очерчивал округу смешанный — береза, дуб, сосна, ель — лес. Он казался таинственным, был тогда еще полон диких зверей, птиц и опасен для углубившегося в него в одиночку человеку. Афанасий торопливо крестился, опускал голову и шел дальше, но затем опять невольно вдруг останавливался и с жадностью всматривался в панораму тихой, словно застывшей в неподвижности лунной летней ночи. Как ни старался он сосредоточиться на иноческом подвиге, который шел повторить, но что-то более значительное и естественное, чего не в силах был остановить в себе, властно пробуждалось в нем. Как деревенский человек, вернее, бывший деревенский подросток, лишь по сиротству и особой будто смышленности, как говорили о нем, отведенный в монастырь, он с наслаждением вдыхал все эти запахи трав, сена, наливавшихся хлебных колосьев, и столь основательно будто бы заложенная в гены русского человека крестьянская (нравственная) привязанность к земле, к деревенскому труду и жизни, как бы тяжки ни были и сей труд, и сия жизнь, — все это с живостью просыпалось в нем, притягивало и искушало его твердую будто бы, но в то же время столь, оказывается, способную размягчаться и поддаваться мирским искушениям волю.

LXXXII

Цель жизни есть стремление к бессмертию (хотя бы имени); смысл жизни — это выбор пути (и деяний) к достижению цели; и в то время как человечество, до предела осложнив себе поиск надуманной непостижимостью и сложностью, пытается ответить на вопрос, что есть суть бытия (ответ же чаще всего подгоняется под запросы властей), — и цель, и выбор пути к ней остаются неизменными, и с неизменной же слепотой, призывая поводырей и боготворя их, мы ходим вокруг да около истины, топчась на ней и не удосуживаясь наклониться, поднять и образумиться, то есть освободиться от сковывающих нас социальных и нравственных пут. Разумеется, слово «бессмертие» в данном случае нельзя воспринимать в буквальном значении, потому что ведь даже продолжение рода, то есть желание обзавестись семьей, а затем землей, домом — что это, если не устремленность все к той же конечной цели? Одни люди, рождаясь, начинают затем своей деятельностью, своей энергией жизни готовить для себя бессмертие — войнами, покорениями других народов, как Александр Македонский или Наполеон Бонапарт, внушениями и верой, как Иисус Христос, научными ли открытиями, творениями ли культуры или зодчеством; другие, менее энергичные, коих большинство и кои как раз и составляют народ, готовы довольствоваться лишь обещаниями будущих благ и вечного рая и, обманываясь таким образом (и не без помощи, вернее, не без воздействия определенных сил), слепцами же как приходят в мир, так и уходят из него. Все это в тех же, если не в больших масштабах можно наблюдать и сегодня, как люди мечутся между идеологией партии и церковью, не замечая даже, что и пространства-то для метаний между ними нет или почти нет, тогда как то реалистическое, что одно только и могло бы расставить все по местам, — реалистическое это, как и во все времена (и с некоей будто гордостью или, скорее, пренебрежением), мы даже не пытаемся рассмотреть, а просто отбрасываем как вредное и непригодное ни на что измышление чуждых нам личностей; сказанное тем более (кроме, разумеется, партии) относится и ко временам инока и митрополита Афанасия, и та тяга к крестьянскому труду и

жизни, к миру обычных деревенских, от весны до весны, забот, какая пробуждалась в нем, когда он теперь, останавливаясь и вглядываясь, спускался к Днепру, — если бы не сдерживал в себе, не боролся с ней, могла бы привести его к истинному пониманию жизни и предназначения человека в ней. Но образ Феодосия, дополненный — против патерика — воображением, да и все те догматы о спасении и вечном блаженстве, какими до краев затуманено было сознание, — все это и предредило исход борьбы между надуманным, сказочным и реальным в пользу надуманного и сказочного, и Афанасий, выйдя наконец к реке, решительно сбросил с себя все до пояса и, напевно молясь, на что только и был способен, и, заранее предвкушая блаженство, то есть святость, которая непременно должна будет от предстоящих иноческих процедур сойти на него, сел на траву и, как на иконостас, уставился на лунную дорожку на воде, живо рассекавшую до раки на противоположном берегу могучее течение могучей по тем временам реки.

Первые мгновения ему даже приятно было сидеть здесь, на траве, у воды; после тесноты и удушья кельи, хотя он как будто и не придавал этому значения, он наслаждался всем, что было вокруг, и, казалось, всей силой легких вдыхал свежий ночной воздух, полный, как я уже говорил, запахов неповторимой поры сенокоса, цветения и созревания; налетавший легкий ветерок охлаждал то спину, то грудь, лицо, проникая чем-то будто одухотворяющим в самую сокровенную глубь души (есть, есть, думал Афанасий, и Божья милость, и Божья благодать, нисходившие теперь на него), и этот ветерок, эта ласкавшая тело и душу прохлада, воспринимавшаяся им и в самом деле (после бесконечных дневных переходов, ночевков, где Бог пошлет, недосыпаний, как и бывает обычно в походах, недоеданий и пр., и пр. неудобств) как некая заслуженная будто бы уже за иноческое усердие награда, поднимали в нем дух, укрепляли решимость и настраивали на новые и теперь словно бы еще более приближавшие его к святости лишения. Он уже не молился, а пел, да, почти пел, адресуя хвалу Господу, и, трудно сказать, мир ли изменился вокруг или изменился взгляд, каким под напором нахлынувших чувств смотрел перед собой Афанасий, но — только что неподвижное будто,

будто застывшее в матовом лунном свете пространство воды, луга, полей и леса за ними, — пространство это казалось одухотворенным, наполненным вечными, неумирающими токами жизни. Но так длилось недолго, и всякий раз затем, когда Афанасий вспоминал об этом своем сидении у Днепра, его охватывала дрожь, как если бы по спине, по всему телу протягивали игольчатым катком — волнами, волнами, то слегка, то надавливая так, что, казалось, кровь начинала брызгать из проколов и теплыми красными струйками стекать на траву. Не было ни первого, ни второго, ни третьего укуса, да и вообще комары (он помнил это ощущение) не кусали, а жалили спину, грудь, лицо, лезли в глаза, звенели над ушами, чувствуя раздолье и по-своему, видимо, наслаждаясь им, и — кому нужно было сие истязание, действительно ли Богу, имя Которого, конечно же, несовместимо с понятием «кровопиец», или Афанасию, решившему испробовать свою волю на крепость (в молодости каждый проходит подобную школу или, по крайней мере, хотя бы испытывает потребность в ней), но так ли, иначе ли — терпение человека не беспредельно; позволив себе раз, другой раздавить на теле напившихся крови комаров, Афанасий затем, словно ошалев и позабыв о святости и о вечном блаженстве, ожидавшем его, принялся, вскочив, отбиваться от комаров, омутом круживших над ним и не желавших расставаться с обретенным раздольем, и, наконец, схватив одежду, кинулся прочь от реки — вверх, на простор, на ветерок, где не мнимое, а действительное блаженство и успокоение могли ожидать его.

Только на середине пути от реки до богадельни он остановился и дрожащими руками (дрожа, если точнее, всем своим существом) принялся одеваться; и уже не зуд тела, не укусы, не сами комары, продолжавшие виться над ним, лезть в лицо, глаза, уши, а другое, куда более страшное, чем боль истязаемой плоти, торопило его. Путаясь ногами в долгополой своей одежде, он побежал не в богадельню, а к часовне, чтобы, припав там к иконе Божьей Матери с младенцем Иисусом на руках, принести покаяние и просить милости; и — едва оказался возле часовни, как та же потребность покаяния, словно на Страшный суд, бросила его в распахнутую дверь, за порог, за которым во мраке и

сырости как раз и должно было совершиться самое важное и святое для него сейчас дело. Он кинулся было к иконостасу, где, возвышаясь над всеми, была вделана известная ему икона, но со странным чувством словно бы онемения, как вкопанный, остановился перед ней. Нет, в часовне ничего не изменилось с того часа, как он с вечера вместе с богомольцами был здесь; так же пахло гарью угасших свечей, воском, гнилью половых лаг и нижних венцов, и еще тем, что обычно исходит от многолюдства и стойко, в веках, не выветривается из наших церквей; так же мрачно чернели глухие почти бревенчатые стены с двумя лишь узкими оконцами, скорее напоминавшими бойницы и служившими не столько для света, сколько для проветривания, и так же зиял разобранный в куполе для ремонта проем, сквозь который и спускался теперь столб белого лунного света и, нимбовым полукружьем падая на икону Богородицы, словно бы из всей этой сырости и сырости выхватывал ее. Афанасия поразило это явление, это диво, — будто бы Богородица вместе с дитем прямо с небес сошла сюда, — которое открылось перед ним и которому сколько ни пытался затем дать толкование, так и не мог, распознав, с одной стороны, природную простоту явления, а с другой — боясь, чисто из религиозных уже соображений, отвергнуть и не признать чуда; но до сомнений этих было еще далеко, еще надо было пережить сии выпавшие минуты испуга и удивления, и он, вместо того чтобы, припав к иконе, приступить к покаянию и молитвам, холодно ежась от охватившего его страха и невольно шаря позади себя руками, чтобы не наткнуться на что-либо, шаг за шагом, пятясь, отходил к двери. Он и теперь, вспоминая, ясно видел это высветленное лунным потоком лицо Богородицы, которое казалось ему живым, как и живым казался младенец Иисус, детскими пухлыми ручонками пытавшийся высвободиться из белоснежных небеснотканых простынок; и впечатление это было тем сильнее, чем поспешнее Афанасий отодвигался к двери и чем пристальней всматривался в Богородицу и Ее чадо. Он знал из патерика Нестора о явленной печерской иконе, которая, конечно же, должна была храниться в обительском соборе, а не здесь, в часовне; но рассудок рассудком, а очевидное было так очевидно, что затмевало рассудок, да к тому же икона

словно бы подвигалась за Афанасием по мере того, как он отходил к двери, и в живых чертах лица Пресвятой Богородицы он видел теперь не тихую и всеохватную вселенскую скорбь, которая, как печать, нестираемо (и на всех почти иконных изображениях) лежала на Ее лице, а нечто величественное, что отличало Ее материнство от материнства других и поднимало до божественных высот славы и святости.

LXXXIII

Оказавшись за дверью, то есть выйдя уже из часовни и не оборачиваясь на нее, как ни хотелось ему сделать это, он вдруг услышал, как кто-то из темноты дверного проема окликнул его. Голос был не то Богородицы, не то самого Бога, скрывавшегося в глубине, за Богородицей, и следившего за всем, что происходило в часовне и за ее стенами, — да, да, голос самого Господа, хотя и негромкий, невнятный, и, пока Афанасий, заколебавшись, решал, что ему делать, вернуться или уйти, до слуха донесся уже совершенно ясный голос дьяка-писца, пришедшего доложить, что прибыли гости, вызванные митрополитом, и что пора идти встречать их. Старый и грузный Первосвятитель, полулежавший в кресле с закутанными в меха ногами, открыв глаза, долго не мог сообразить, где и в каком времени пребывает, и полным удивления старческим взглядом искал часовенку, из которой, как ему казалось, он только что вышел и в которую так настоятельно звали его. Но часовенки не было, как не было и всего того лунного пейзажа, так памятно запавшего тогда в душу, а на глаза попадались только те знакомые предметы, наполнявшие гостиную, — обитые красным сафьяном лежак, скамьи, кресла, стол с трехпалым бронзовым подсвечником на нем и иконы, иконы в золотых и серебряных окладах и ризах, — которые с того самого дня, как он был торжественно возведен в сан Первосвятителя, были поставлены здесь и сопровождали его жизнь. В камине, живо потрескивая, горели поленья, только-только будто принесенные прислуживавшим в этот день чудовским послушником (в свое время и Афанасия посылали в эти же палаты прислужить тогдашнему митрополиту), и вид этих по-

лыхавших березовых поленьев, и тепло, исходившее от них, и, главное, повторный и настоятельный доклад дьяка-писца, переминавшегося у дверей с ноги на ногу и не желавшего, видимо, уходить, не убедившись, что поручение выполнено, — главное, этот повторный и четкий доклад, не оставлявший Афанасию ничего для сомнений в истинности происходившего, окончательно разбудил его. «Ладно, ладно, вели подать облачение», — сказал он, нехотя и болезненно морщась, переменяя положение своего грузного тела в кресле и пытаясь высвободить ноги из меховых шкур.

Пока принесли облачение и готовили его и пока затем, поддерживая под руки, помогли подняться и облачали, митрополит Афанасий, напрягая память, пытался восстановить, с чего и для чего он вспомнил о столь давнем своем иноческом паломничестве в Киевский Печерский монастырь; не для того же только, чтобы в сотый уже, наверное, раз пережить тогдашнее позорное и так и оставшееся неведомым никому мало-душие, и уж вовсе не для того, чтобы — лишь ради воспоминаний; была же необходимость, была цель, важная, требовавшая разрешения, и в поисках этой цели, ключ к разрешению которой, если бы его не разбудили и не помешали ему, уже находился бы в его руках, — в поисках этой цели, вдруг и так по-глупому ускользнувшей от него, он как бы шаг за шагом возвращался ко всей той страшной действительности — отъезду Иоанна из Москвы с казной, Двором, свитой и событиями, последовавшим за этим отъездом, — которая, как тяжесть, лежала на нем и озадачивала его. «От чего пала Византия, вот вопрос, — вспомнил он, — занимавший меня». И вслед за этим с еще большей ясностью вспомнил, что по поводу гибели Византии говорил Иоанн, вроде бы только отвечавший на упрек князя Курбского, убежавшего в Литву и Польшу, но на самом деле выкладывавший, может быть, самое главное свое убеждение относительно роли и значения духовенства в государственном устройстве державы. Конечно, в иноческом отречении не было пользы ни народу, ни государству; откуда же взяться могуществу (да и людским резервам, говоря языком современности), если человек лишен собственности, ничего не производит и не имеет, кроме разве что власяницы на теле, призванной истязать плоть и таким образом

угождать будто бы Богу, да еще кроме рабской души, обреченной на вечное послушание и безволие; Иоанн прав, находя ущербность в подобном образе жизни и выступая против поповского верховенства (согласно выражению, взятому из его письма), и митрополит Афанасий, вновь теперь придя к этому странному, казалось бы, и страшному по еретической сути заключению, оправдывавшему Иоанна, на мгновение вдруг словно бы замер в ожидании, как бывает, когда не хочется спугнуть или разрушить мысль, и помогавшие ему облачиться послушники из Чудова монастыря недоуменно переглянулись. Ведь мысль скрыта, и оттого неведомы и необъяснимы поступки человека, как они казались теперь необъяснимыми послушникам в Первосвятителе.

Вряд ли, думаю, кто-либо возьмется отрицать, что Церковь, то есть церковные иерархи, служа Богу, не понимали или, вернее, не могли понимать, что служат, в сущности, великокняжескому Двору, трону, единой и нераздельной, какой особенно хотел видеть ее Иоанн, царской власти; разумеется, иногда церковники в лице лучших своих представителей поднимались против засилья властей, брали сторону народа и, стоя на своем, умирали, высоко, гордо неся увенчанную нимбом святости голову (как было, к примеру, с митрополитом Филиппом, о котором еще пойдет речь), и это-то заступничество духовенства за народ да и за князей, бояр, на которых падала несправедливость, как раз и не нравилось Великим Князьям, как не нравилось оно Иоанну, и если он мирился еще с подобным положением, то не потому, что был набожным, как утверждают историки; нет, не это (до поры!) сдерживало и умирало его, а государственная, как мы бы сказали сейчас, необходимость, то есть то идеологическое начало, какое Церковь, и только Церковь несла в те времена в себе и без которого не было бы ни объединенного народа, ни державы. Понимал это и митрополит Афанасий, хотя, может быть, и не с такой ясностью, как царь Иоанн, и, понимая, недоумевал и удивлялся действиям Иоанна. «Для чего же тогда уничтожать то, без чего невозможна государственная жизнь?» — словно бы обращаясь к царю, мысленно продолжал Афанасий. Как никогда, может быть, он был теперь близок к разгадке Иоаннова замысла, и,

если бы еще усилие с его стороны, еще шаг, он оказался бы у самого подножия этой ужасающей истины, над разгадкой которой бьется вот уже не одно поколение историков и философов; но — то ли не хватило времени, то ли навика обобщить, что по отдельности представляло простым, понятным и ясным, — будучи уже на подходе к истине, Афанасий вдруг остановился, даже будто попятился, как попятился в свое время в часовне, ошеломленный живым явлением Богородицы. Жизнь, однако, смешно полагать, что она повторяется буквально; она повторяется сутью, стержнем, основой, заложенной в ней, как в рисковом человеке новым и не всегда оправданным риском, а в трусливом — трусостью; по крайней мере для Афанасия круг возможного и дозволенного был очерчен уже самой святительской судьбой, и если бы даже он до конца осознал это, то и тогда вряд ли позволил бы себе выйти за сей означенный круг; но он не осознавал и потому в поисках своих казался свободным, искренним и, поднимаясь теперь против Иоаннова зла, не держал даже в мыслях хоть что-либо изменить в испокон заведенном устройстве жизни. Все от Бога, полагал он, и власть духовная, и власть светская; причем духовная, считалось (и это тоже испокон), что стоит ближе к Богу, а потому главнее, выше, хотя и не выказывается святителями, а только (для соответствующего поведения) подразумевается ими. Но это-то как раз и не устраивало Великих Князей, особенно Иоанна. Он тоже был как будто бы за порядок, установленный отцами и дедами, но соподчиненность на равных с духовенством (даже на равных!) Богу, соподчиненность эта оскорбляла его; все должно подчиняться в державе ему, царю, а он — Богу (что как раз и соответствовало всеобщему закабалению и подгонялось под формулу: «Вольны миловать и казнить вольны же»). Но, чтобы ослабить укоренившуюся уже идеологию, идеологию Церкви, именно ослабить, так как насущная потребность в ней державы всегда была, есть и, наверное, будет в веках, требовалось создать нечто новое, некую третью, что ли, силу подавления внушением и насилием, которая находилась бы при царе и подчинялась ему; это-то и лежало в центре зловещих Иоанновых планов, и, если бы митрополит Афанасий до конца разгадал их, что мог бы он предпринять в защиту народа, отечества?

Под прикрытием идеологии любое насилие — благо; или, вернее, подается столь приукрашенным, что иначе как за благо невозможно принять его; и, главное, сей обман, сия ложь, обернувшись общественной необходимостью, готовы смести любую плотину правды, возводящуюся на их пути, и тем более заглушить любой одиноко раздавшийся, хотя бы и из уст Перво-свяtitеля, голос, призывающий к здравому смыслу. Но Афанасий не сознавал и этого; он чувствовал только, что некая не духовная уже, а государственная миссия (в связи именно с отъездом Иоанна из Москвы) возложена теперь на него и что надо что-то предпринять решительное, чтобы не дать развалиться державе, и в судорожных поисках этого решительного, что одновременно могло бы и образумить Иоанна, и предупредить смуту, готовую вот-вот, как казалось ему, разразиться, — в поисках этого решительного утешался мыслью, что съезжавшиеся по его просьбе архиепископы, епископы и архимандриты, с которыми собирался держать совет, помогут разобраться в сложившейся ситуации и внести ясность в нее.

LXXXIV

Оттепель с дождями, грозами в самый, казалось бы, разгар зимы, остановившая Иоанна и весь его царский обоз в Коломенском, охватила почти всю серединную Россию, санные дороги размякли, реки вскрылись, между деревнями, посадами, городами, как это и бывает в распутицу, связь прервалась, и привычно зимняя, торговая, ярмарочная жизнь, когда мужик ли, мастеровой ли везет на базар все, что наработано им и подлежит продаже или обмену, — жизнь эта, веками определявшая социальное и нравственное состояние державы, словно бы остановилась, замерла в преддверии грядущих перемен. У природы, как видно, тоже есть, как и у всякого живого существа, свой способ предупреждения и защиты, и люди только не научились еще угадывать и распознавать подаваемые ею знаки; предчувствие надвигающихся бед и страх от этого предчувствия, то есть те людские опасения, которые, сгущаясь, определяли общественную атмосферу жизни, — опасения и страх по незримым будто про-

водникам передавались силам стихии и возмущали ее. Над всем пространством между Суздалем и Москвой словно с бесовской удалью полыхала гроза, удары грома, казалось, прокатывались над самой землей, и рассекавшие мрак вечернего неба молнии вонзались не в июньские травы, не в зелень березняка или дубрав, на что хотя и беспокойно, но привычно смотреть, а в поосевшие на полях и посеревшие под дождем снега. Суздальского епископа Елевферия гроза застала как раз на середине пути, взмокшие кони уже почти по грязи тащили его санную кибитку, Елевферий мелко крестился, не разжимая персты, и всякий раз, когда удары грома обрушивались на крышу кибитки, душа и грузное тело его вдруг словно бы уменьшались в объёмах, как перед Страшным судом, на который за свои ли, чужие ли грехи разгневанный Бог вызывал его. Оконца кибитки были плотно задернуты шторками, но свет молний на мгновения пробивался и через них и озарял крупное, испуганное, окаймленное густой седой бородой лицо епископа. Он еще не знал, для чего митрополит пригласил его; новости и всегда-то, как и теперь, не враз доходят из столицы в провинцию; но и тон послания Первосвятителя, и требование как можно скорее прибыть к нему, и эта заставшая в пути непогодь, и, разумеется, то неуловимое, чем обычно (перед социальной грозой) насыщается атмосфера общественной жизни и что не мог не замечать и не чувствовать суздальский епископ, следивший, как и всякое духовное лицо, за настроениями и веяниями в народе, — все это, настораживавшее своей неопределенностью, тяжелым грузом откладывалось на его благочестивой душе. Едва добравшись до какой-то придорожной обители, он тут же велел отстоять молебен и затем, разместившись в игуменских палатах, так и застрял в них, пережидая грозу.

Точно то же происходило и на рязанской дороге: всю ночь, начавшись с вечера, не стихали раскаты грома, о заснеженную землю бились молнии, разогнав по избам насмерть перепуганных деревенских и посадских людей, и епископ рязанский Филофей, засветло успевший добраться до монастыря, лежавшего на пути, и устроиться в нем, хотел даже крестным ходом обойти вокруг собора с иконами Петра и Павла, покровительствовавшими сей безвестной, в сущности,

обитатели, но только во всю ночь не прекращал службы, для иноков отменена была вечерняя трапеза, а схимник Никодим, опустившись на колени посреди двора и воздев к небу руки, просил Господа за людей о прощении и милости. Застряли в пути и архимандриты Андронникова, Троицкого, Симоновского, Спасского монастырей и еще ряд епископов, снарядившихся было по санной дороге в стольный — сорока сороков церквей — град Москву, и только ростовскому святителю Никандру удалось чуть опередить стихию и явиться под стены стольного града; но и ему последние версты до Кремля пришлось преодолевать с трудом, и когда санная кибитка его наконец остановилась перед митрополичьими палатами, и кони, и люди, сопровождавшие епископа, выглядели настолько усталыми, измученными, что, казалось, едва держались на ногах. Над крупами лошадей валил пар, и возница разворачивал попоны, чтобы накрыть вспотевших животных. Но сам Никандр — нет, он не был усталым; если что и тяготило его, так только те постоянные тревожные думы, которые, несмотря на то что забот в епископии было предостаточно, вот уже какой год занимали его. Он был сторонником взглядов Преподобного Нила Сорского и инока Вассиана (князя Патрикеева) и полагал, что если монахи отрекаются от собственности, то и монастыри не должны иметь ее; нет двух святостей: для иноков, для настоятелей, а есть лишь единая для всех, равно как и одна святость и одни каноны для всей Церкви; но сия еретическая мысль, сей возврат к изначальности веры, то есть к основам ее, настолько основательно, он понимал, затрагивал и личные интересы святейших иерархов (это с одной стороны), что невозможно было, не рискуя навлечь на себя опалу, даже просто заговорить о таком несоответствии, и с другой — что он тоже понимал, без собственности, без владения землей, вотчин, приносящих доходы, невозможно было содержать многочисленные монастыри и церкви. Ни жизнь экономическая, ни жизнь нравственная, ни политическое устройство державы — ничто так не интересовало Никандра, как это несоответствие между изначальностью веры и ее воплощенностью, много раз он пытался доверительно поговорить об этом с митрополитом Афанасием, которого чтил за честность и прямоту и к которому питал даже

некую привязанность (еще по житию в Чудовом монастыре), и ему казалось, что наконец-то выпадала возможность осуществить это давнее желание. Ни о каком отъезде Иоанна, разумеется, он не знал. и не имел понятия, что и для чего замышлялось самодержцем; слово «закабалить» он не воспринимал в том доподлинном его для жизни человека значении, в каком это же слово в его именно глубинной сути как раз и ужасало теперь митрополита Афанасия. В представлении Никандра все люди — рабы, Божьи овечки, послушные, или, во всяком случае, должны быть послушными пастырю, в каком бы сане — великокняжеском, царском или святительском — ни проступала сия пастырская воля; он был, можно сказать, одним из тех на Руси деятелей, духовных ли, мирских ли, которые, любя порассуждать о сути явлений и даже признавая приоритет глубинного над внешним (что как раз и лежало в основе учения Преподобного Нила), ни в чем, однако, не позволяли себе выходить за общепринятые рамки бытия, как, впрочем, было с епископом и теперь, когда вопрос, занимавший его, воспринимался им лишь как вопрос веры и не соединялся ни с интересами и жизнью народа, ни с интересами и жизнью державы. С этим-то своим залежалым багажом проблем, надеясь наконец разрешить их, он и прибыл к Первосвятителю.

В боярской шубе и более похожий на боярина, чем на лицо высшего духовного звания, он вылез из саней и, поддерживаемый с двух сторон посланными встретить его послушниками (теми самыми, из Чудова монастыря, которые в этот день прислуживали Афанасию), был проведен в переднюю, где обычно приходившие к Первосвятителю дожидались его выхода. Никандр уже не раз прежде бывал здесь и сейчас же, как только вошел, воздел взгляд на икону Христа в золотой и с драгоценными камнями в ней ризе; наложив крест и слегка поклонившись, как было пристойно его сану, и сотворив затем небольшую молитву, то есть попросив у Господа крепости для себя и удачи для дела, сбросил с плеч боярскую шубу, которую тут же подхватили послушники, и, обернувшись на скамьи, обитые, как и в гостинной, красным сафьяном, сел на одну из них. Выход митрополита хотя и не был равен выходу царскому, но Никандр знал, что в духовном мире были свои и еще более четко выполнявшиеся

ритуалы, своя субординация и подчиненность, и любое отступление от этих правил не то чтобы осуждалось или наказывалось (снизу вверх по цепочке: подчинение, подчинение, подчинение — до самого Бога!), но было невозможно, как невозможен или немыслим для святителя мирской грех; и, зная это, лишь смиренно оглядывал богатую — позолота с бронзой и серебром — обстановку передней.

Красота, как и мир человеческих общений, разными людьми воспринимается по-разному; одни готовы видеть в ней несметность богатств, другие — нечто божественное, способное облагораживать души; у Никандра же, сколько ни бывал он здесь, всегда возникало лишь чувство некоего будто величия, некой непреходящей, как ценность, вечности, которая, с одной стороны, вроде бы подавляла, а с другой — приобщала к сей высшей тайне тайн бытия. «Да, красота есть дело божественное», — полагал он, восхищаясь, в сущности, делом рук человеческих — мастеров частью именитых, частью безвестных, но равно сумевших обессмертить само творческое в человеке начало. «Да, да», — повторял он, не забывая, однако, оборачиваться на дверь, из которой вот-вот должен был появиться митрополит, и, когда наконец, опережая митрополита, из распахнутых дверей вышли духовники, Никандр поднялся и, готовый на поклон и на лобызания, как принято было тогда, двинулся к центру передней. Он ожидал увидеть полного сил старца в тяжелом и так шедшем Афанасию святительском облачении, каким запомнил на последней, около года назад, встрече, но — даже слегка откачнулся, едва митрополит Афанасий, измученный думами и бессонницей, появился в дверях. «Что с ним? Не болен ли?» — решил Никандр, сейчас же увязывая это с возможностью нового избрания Первосвятителя и оценивая свой шанс на освобождавшееся место.

LXXXV

Может быть, если бы Иоанн в самый момент отъезда из Москвы не вспомнил бы о Сильвестре и, стоя у окна в своей кремлевской палате и глядя на запруженную людьми и санными упряжками площадь, не пожелал бы, чтобы сей или подобный ему духовник, вор-

вавшись, именем Божиим остановил бы и отвратил от столь рискованного, как выясняется теперь, шага (и какой был уже сделан, и невозможно было ничего ни изменить, ни исправить), — бывший служитель придворного Благовещенского собора иерей Сильвестр не являлся бы здесь, в Коломенском, Иоанну в видениях и не мучил бы его. Как только после ужина и молитвы Иоанн входил в гостиную, вернее, как только, уместившись в кресле перед камином, погружался в свои неизменные и неотвратимые думы (ему все же хотелось найти нравственное обоснование своим зловецким замыслам, правовую, так сказать, основу для оправдания и перед современниками, и перед историей), в кресле напротив, в котором в течение многих лет прежде, когда была жива еще Анастасия, неизменно сживал иерей, вдруг, словно в реальности, являлась его добродушно-привлекательная фигура — в том до мелочей знакомом Иоанну одеянии, в каком во все годы их душевной близости царь и самодержец России неизменно, казалось, видел его. Но Иоанн никому не рассказывал ни об этом видении, ни о том, что представало перед ним и тоже будто бы наяву, когда уходил в спальню; он не хотел, чтобы хоть кто-либо знал о его душевных страданиях, да и гоже ли вообще, думал он, со столь оголенными и не всегда с лучшей стороны представлявшими его мыслями являться перед рабами, коими он считал всех, даже родных, близких, если удел их — лишь знать каждому свое место и дело и безропотно выполнять его; нет, он даже помыслить не мог, чтобы поделиться с кем-либо, пусть и с Марией, своими этими страшными, терзавшими совесть видениями, которые одновременно и пугали, отталкивали Иоанна, заставляя с ужасом ожидать наступление вечера, и привлекали и втягивали, как в некую азартную игру, что ли, в которой хотя и было заранее известно, на чьей стороне выигрыш (в чем, в чем, а в непогрешимости своей Иоанн всегда был убежден), но ход игры, то есть ход жизни, в которой были и вершины побед, и промахи, — ход жизни, когда теперь, на повторе, можно было многое и осмыслить по-другому, и подправить, и обосновать, и, наконец, выигрышно сравнить деяния свои с деяниями предков — отца, деда да и всего царствовавшего (века!) рюриковического клана, — ход этой жизни, уже прожитой, но в некоем

новом будто свете являвшейся Иоанну, куда сильнее даже, чем азартная игра, втягивала и держала в напряжении его себялюбивую царскую душу.

Иногда казалось, что Иоанн даже торопился уединиться в гостиной, что, разумеется, немало удивляло не только его любимцев: Салтыкова, Басмановых отца и сына, Грязного, Вяземского, Скуратова-Бельского и хитроватого, пронырливого, «работавшего» лишь на себя, как мы бы оценили теперь, архимандрита Левкия, — но и тех из царского окружения, в том числе и Марию, которые, не зная, или, может быть, не желая знать, ни о царских заботах, ни об интригах, всегда ведущихся вокруг тронов, жили лишь верой в царскую добродетель и в необходимость и правоту всего, что задумывалось и совершалось ими. За храмом Вознесения в доме приходского попа продолжали устраиваться попойки, на которых неизменно верховодили все те же плотно притершиеся к трону Басмановы, Вяземский, Салтыков, Грязной, Малюта Скуратов-Бельский; они, видимо, как и сам Иоанн, уверовали в свою вседозволенность и непогрешимость и, не сдерживаемые никем и ничем, так как Иоанну было не до них, спешили удовлетворить свои разыгравшиеся молодые страсти. На третий ли, на четвертый ли день к ним присоединился брат царицы князь Михаил Черкасский; хотя он был уже помолвлен с одной из знатнейших и богатейших невест Москвы (в какой-то степени даже родственницей царя, как считалось), но это не мешало ему с головой окунуться в кутежи, привнеся в них некий восточный, что ли, если так можно сказать, привкус. Вспыльчивый, смуглый, нагловатый кавказец, гордившийся, с одной стороны, своим княжеским происхождением, а с другой — таким, в сущности, немыслимым для мелкого азиатского княжича родством, каким было родство Темрюков с российским царствующим Домом, — он вызывал зависть и ревность у Иоанновых любимцев, считавших себя ущемленными; тайно, не сговариваясь пока, она плели заговор против этого самозванно, не по праву возвысившегося чужеродца. Но до исполнения этого заговора (многие не доживут и падут прежде, чем Иоанн положит страшную опалу на Михаила Черкасского и его семью) было еще далеко, еще, казалось, и намек не было на сии грядущие расправы, и все веселились,

забываясь в кутежах, распутстве и не думая о будущем; уединенность и бездеятельность Иоанна, к которой так ли, иначе ли они начали привыкать, даже устраивала их, и к полудню, когда сходились в поповской трапезной, чтобы опохмелиться и поговорить, главной заботой их была та самая оттепель, которая удерживала Иоанна и весь его царский обоз в Коломенском и позволяла столь весело им и вольготно проводить время.

Царица Мария недомогала. С тех пор как был похоронен ее сын царевич Василий, она недомогала почти всегда и, ссылаясь теперь на это свое болезненное состояние, оставалась в палатах, выходя, и то иногда лишь, к заутрене или к обеду, чтобы помолиться вместе с царствующим супругом и хотя бы мысленно, взглядом пообщаться с ним. Душевный мир ее, мир ее переживаний был еще более скрыт от других, чем мир переживаний и дум Иоанна, она по своему оценивала и отъезд из Москвы с казной и Двором, и замкнутость, даже некую озлобленную вроде бы молчаливость супруга, к которому, как ни стремилась, но не сумела ни привыкнуть, ни прикипеть душой; она, видимо, не понимала его так же, как Иоанн не понимал ее с ее восточным, мусульманским, что ли, толкованием роли жены, матери, женщины. Христианство, которое она приняла, не смогло нарушить в ней уже устоявшихся основ жизни, память возвращала ее в детство, где все-все было иным: и люди, и вещи, и нравы, и сам дух бытия, если сказать обобщенно, она готовилась жить по одним законам и, принужденная теперь жить по другим, в самой основе чуждым ей, проникалась той глубокой тоской, которая одних, более слабых, повергает в апатию, иссушает и духовно, и физически, других же, способных к противостоянию и борьбе, наполняет тяжелой и затаенной злобой. О Марии можно было бы сказать, что находилась на распутье и не решалась, к чему склониться, к озлобленности ли, на что было у нее куда как достаточно причин (но имелась и та, человеческая, супружеская, что удерживала ее от этого шага), или к апатии, то есть смирению и безволию, против чего поднималась ее восточная и, может быть, даже непомерная гордость. Но, возможно, она еще верила, что отношения ее с Иоанном наладятся и что она обретет

наконец то семейное счастье, какое, как я уже говорил, одинаково необходимо как людям простым, сельчанам, мастеровым, торговцам, так и царствующим особам, и надежду эту поддерживал в ней как раз прибывший к этому времени в Коломенское ее брат, князь Михаил Черкасский. Хотя и редко и, может быть, с неохотой, но он все же в перерывах между кутежами и прочими разного рода увеселениями заходил к ней, и главной темой его разговора была мысль о мюридстве, какую Мария должна была внушить царю. Ведь каждый по-своему думает о будущем. Думал о своем будущем и князь Михаил. Ему хотелось (и не без дальнего прицела) видеть Иоанна окруженным по кавказскому образцу мюридами, готовыми в любую минуту пойти на смерть за него, то есть хотелось (хоть в этом!) изменить на свой лад давно устоявшийся старинный, русский, царский обычай, и тогда, как он полагал, не будет у российского самодержца ни проблем, ни печалей. «Войско! Небольшое, но верное, преданное войско», — говорил князь Михаил сестре, пробуждая в ней определенные национальные чувства, а когда уходил и она оставалась одна, идея мюридства и в самом деле представлялась ей спасительной не столько даже для Иоанна, сколько для нее самой, готовой еще побороться и за себя, и за свое счастье. Мрачный, вымученный вид Иоанна беспокоил ее, и, желая хоть чем-то помочь ему, то есть угодить, как это воспринималось ею, она готовилась именно этим внушением мысли о мюридстве восстановить расположение Иоанна к себе и терпеливо выжидала, когда откроется возможность для подобного разговора. Такая возможность открылась лишь в самый канун отъезда из Коломенского, когда вновь ударили морозы, уплотнив лед на реках, выпал снег и установились дороги; но до этого дня и часа было еще более трех недель, которые надо было прожить, видя дичавшего, да, именно дичавшего будто бы на глазах в своей беспредельной озабоченности супруга, видя не просыхавшего от попок брата, и всю ту нравственную, то есть безнравственную, праздную, как вернее было бы сказать, жизнь Двора, которая словно в неизменности (а если изменилось что, так только к худшему) перекочевала вместе с царем, казной и обозом из Москвы сюда, в Коломенское.

LXXXVI

Странно, но являвшийся перед Иоанном Сильвестр не говорил ни о чем, не задавал никаких вопросов, а только молчаливо смотрел на царя, как это случалось еще недавно, в те времена, когда, сидя в этом же кресле перед камином и беседуя с самодержцем, произносил что-либо важное или удачное и хотел увидеть реакцию Иоанна. Догоравшие в камине поленья в дополнение к горевшим вокруг свечам освещали его с затаенной хитрецою лицо, он смотрел немножко исподлобья, как никто не позволял себе смотреть на царя, и, может быть, как некогда печерский постриженец Феодосий, сживавший у Великих Князей Изяслава и Святослава Ярославовичей, получал наслаждение от той сверхвласти, какую в эти минуты будто бы обретал над самодержцем. Но он и в самом деле (и не только минутную) имел власть над Иоанном, которая возникла и поддерживалась на двух основаниях: на религиозной начитанности и благочестии Сильвестра, что производило на Иоанна впечатление, и на живости ума и добродушном характере, то есть на умении, не ущемив ни в чем самолюбие собеседника, внушить ему нужные мысли. Кроме того, хотя сам иерей и не имел семьи, но как раз в эти годы работал над своим знаменитым «Домостроем» — книгой, воспевшей, по существу, теплоту семейной жизни, семейное, если так можно сказать, благочестие и строгость нравов (хотя и не без определенных и естественных, разумеется, для того времени переборов), и Иоанн, позволявший себе распутство, но в глубине души тяготевший к семейному очагу, — Иоанн невольно, словно за очищением, тянулся к Сильвестру и не замечал за ним многое, чего не разрешал другим. К тому же у Сильвестра было доброе, даже в некотором роде округлое, то есть почти мужицкое лицо, окаймленное густой русой бородой, широкий, с ранними залысинами лоб и живые, с огоньками хитрости или мудрости, как воспринимал их Иоанн, глаза, то вдруг обращавшиеся в глубь себя, то начинавшие прощупывать собеседника, побуждая его на ответ и втягивая в разговор; и затем, за разговором, исчезали детали внешние и оставалось только то расположение, какое как раз и испытывал Иоанн к своему Богом будто бы посланному духовнику.

Позднее именно это умение втянуть в разговор и властвовать в нем и было поставлено в вину Сильвестру оговорившими его перед Иоанном людьми, ему приписано было чародейство, каким он будто бы околдовывал царя и намеревался известить его, во что, во-первых, трудно поверить уже потому, что иерею, пользовавшемуся расположением самодержца, незачем было, даже согласно просто логике, изводить его, и, во-вторых, и, может быть, главное, подобное обвинение ничем исторически не подтверждено; но тем не менее оно было, его усиленно насаждали в общественном мнении, и Иоанн, вознамерившийся тогда освободиться от всех и всяческих опеки, не мог не принять этой, в сущности, лжи и, придав ей государственное, как и положено в таких случаях, звучание, расправился и с Сильвестром, и с Адашевым, а заодно и с их друзьями-пособниками, коих, искореняя, искореняя, так и не смог, однако, искоренить до конца; правда, была и другая, более веская и не оглашавшаяся причина, подтолкнувшая Иоанна на сей несправедливый, жестокий шаг, и заключалась она, как ни парадоксально, в самом Иоанне, в его страстном при слабости, трусливой душе желании самоутверждения, и если даже простому смертному, и даже когда он видит, что виноват, трудно дается признание, то что остается царям-самодержцам, чьи непогрешимость и власть не имеют границ? Если нужно (для расправы все над той же «избранной радой»), чтобы Анастасия считалась отравленной, низведенной чарами «зловредного» иерея, то и не могло быть для Иоанна иного, чем только — отравлена; если требовалось (для укрепления беспредельной самодержавной власти) оклеветать и убрать с дороги знатнейших ли воевод, бояр или представителей духовенства, не желавших потакать царскому честолюбию, царским в ущерб жизни народа, государства замыслам, — клевета принималась им, как это и было с теперешними кутившими у него на глазах любимцами. Суд над Адашевым и Сильвестром — заочный, позорный, на котором была решена участь сих государственных мужей, если и вспоминался Иоанном, то лишь как подтверждение общей и непререкаемой его правоты; он и теперь, когда ни Адашева с братом, ни их подручных, замученных и удушенных по темницам и кельям, не было в живых,

испытывал к ним не меньшее, чем и тогда, озлобление и готов был с той же непримиримой жестокостью, если пришлось бы повторить все, учинить расправу над ними. Еще сильнее, казалось, он ненавидел Сильвестра; ненавидел, в сущности, за то, что не мог забыть своего расположения к нему; иерей, томившийся в Соловецкой обители (старый, больной, закованный в колоду, но не смирившийся), — иерей вызывал в Иоанне то болезненное противоречие, которое не только теперь, но и всю жизнь затем неотступно сопровождало его; он был ненавистен Иоанну, но был и необходим, когда являлась потребность покаяния (как, например, составление синодика убиенных в опричнину) и когда для излияния души нужен был предметный возбудитель и слушатель.

Сильвестр продолжал, откинувшись на спинку, сидеть в кресле, в камине потрескивали горевшие березовые поленья, и свет от них, озарявший и лицо Иоанна, и лицо иерея, казалось, наполнял гостиную не то чтобы некими мелькавшими, как рябь на воде под солнцем, бликами, оживлявшими все, но словно бы вырывал из прошлого и восстанавливал перед Иоанном те картины жизни, которые и будоражили, и одновременно согревали теплотой его отчужденную в ночи от людей царскую душу. Минутами он с такой реальностью переносился в прошлое, что начинал слышать голос — не этого, нет, не теперь явившегося к нему духовника («Да он же на Соловках, да, да, на Соловках, так почему же он здесь?» — спрашивал себя Иоанн), а того, что приходил тогда, чтобы наставительским душевным разговором расслабить и обратить к добру склонное к озлоблению Иоанново сердце. Анастасия и сыновья Иван и Федор покидали гостиную, им пора было на покой, и шорох их шагов, подростковые голоса сыновей, еще наполненные весельем, и стук захлопнувшейся за ними двери, — все, все доносилось теперь до Иоанна с ожившим вокруг него прошлым миром, и как ни хотелось ему повернуться и посмотреть, действительно ли Анастасия и сыновья выходили из гостиной и не снится ли все это, но — он не только не поворачивался, а и не решался даже шелохнуться, чтобы не разрушить столь много значившее для него видение. Но хотя он и не шевелился, однако проходило мгновение, и перед ним опять уже сидел не тот, не

располагавший к себе иерей Сильвестр, а этот, явившийся словно бы специально потерзать душу, вернее, чтобы, сорвав покрывало благодати, обнажить на ней те ужасающие рубцы царских деяний, те кровавые желваки чужих убиенных душ, коими уже вполне достаточно к тому времени обозначилось правление сего посланного будто бы Богом на Русь (но за какие грехи?) нелюдя-самодержца. Иоанн, разумеется, не думал о себе так; он лишь угадывал, и то в смутном, неясном изображении, это на лице и в глазах Сильвестра, и в нем поднималось то возмущение, какое иногда вдруг оборачивалось не желанием немедленных, кровавых, мстительных действий, а желанием словесно, с холодной расчетливостью и достоинством отвести бросавшиеся обвинения. Следует, кстати, заметить, что Иоанн, по свидетельству современников, был зело горд на речи, говорил много, охотно, а когда не было подходящей аудитории, то есть слушателей, перед кем изощряться, произносил тирады молча, мысленно и для того лишь, чтобы не терять набранной формы. Он и теперь готов был разразиться градом оправдательных слов и унижить, раздавить, растоптать осмелившегося дерзнуть духовника, но вопросы, задававшиеся Сильвестром, были таковыми, что не просто и не словесами только можно было ответить на них. Шурясь хитровато, с ехидцей Сильвестр скорее даже не спрашивал, а утверждал, разумно соблюдая приличие: дескать, руки-то твои, Государь, сызмальства в крови, или есть что возразить, а? Не на матери твоей, с нее что взять, а на тебе да на боярах мученическая смерть отцовых братьев, дядьев твоих Юрия и Андрея. Не отвечаешь? Молчишь? Казалось, бывший духовник наслаждался теперь местью за свою несправедливость, и наслаждение было тем значительней, чем меньше, он видел, оставалось у Иоанна шансов оправдаться. «Молчишь?» — чуть ли не со зловещим уже прищуром и так же молча, мысленно, взглядом лишь передавая вопрос Иоанну, продолжал Сильвестр, и Иоанн, приготовившийся было возразить, лишь с ответным прищуром смотрел на иерея; он знал, что все в державе с тех пор, как умер отец (а было Иоанну тогда три года), делалось его именем, что и мать, и бояре, окружавшие ее и служившие будто отчизне, ссылались на него, трехлетнего Великого Князя и Государя всея Руси, как

было и с опалой на князей Юрия и Андрея. Все, все происходило тогда у него на глазах, но он был настолько мал, что не мог ничего запомнить; и, чтобы хоть что-то ответить теперь Сильвестру, Иоанн чувствовал, надо было прежде разобраться самому, то есть (пусть лишь силой воображения) восстановить события тех лет, с которых, собственно, и начиналось его грозное (зловещее, по свидетельствам западных современников) правление.

LXXXVII

Смерть отца если в какой-то степени и помнилась Иоанну (в чем я глубоко сомневаюсь, если учесть даже необыкновенную будто бы одаренность сего великокняжеского отпрыска), то лишь некой вдруг возникшей во дворце озабоченной суетой. Любивший не празднично вроде бы, а в трудах, как считалось им, проводить время, Василий III еще в сентябре, в день святого Сергия, отправился на охоту в Волок Ламский, и всю осень до морозов и снега Елена оставалась в Кремле одна с сыном; она хотя и грустила по уехавшему мужу, но трехлетний Иоанн, бывший у нее на руках (на руках всевозможных нянек и мамок, разумеется) и требовавший забот и догляда, настолько занимал ее внимание, что лишь с первым морозом она наконец спохватилась, что не было вестей от Василия, и с беспокойством кинулась к митрополиту Даниилу за утешением; и хотя Первосвятитель, находившийся и сам в неведении и тоже начавший было уже беспокоиться, как мог, утешил ее, но Елена, словно бы предчувствовавшая беду, продолжала волноваться, приказала снарядить нарочных в Волок Ламский, однако в день, когда они должны были выехать, неожиданно пришло известие, что Великий Князь и Государь Василий III уже в Воробьево и что с часу на час его надо ждать в Кремле. К нему тут же, чтобы встретить с почестями, отправился митрополит Даниил с епископами, некоторыми думными боярами, воеводами, дьяками, царица Елена подняла дворцовых слуг и поваров, чтобы приготовить застолье, обрядила малолетнего сына, царевича Иоанна, будущего самодержца России, который ни сном ни духом не ведал, что

именно теперь, в этот вечер, в эти самые минуты, когда, облаченный в прекрасный, шитый золотом, то есть почти царский наряд (так хотелось Елене, так дорожила она своим первенцем, принесшим столь долгожданную радость в обездетившийся было уже великокняжеский дом), он, полненький, нежный, розовощекий и славный, как все дети в его возрасте, бегал по гостиной, забавляясь и озорничая и ясно сознавая только одно, что у матери приподнятое настроение и что оттого ею все будет прощено ему, — что именно в этот зимний морозный вечер судьба его была уже Божьей волей предрешена и что через сутки он, еще и понятия не имевший, что есть такая категория человеческих страстей, как власть, будет провозглашен Великим Князем и из рук умирающего отца (из рук в руки, как говорят в таких случаях) получит молодую, тогда лишь набирающую мощь державу. Нет, он не знал этого, как не знала и Елена, полная молодых материнских сил (и с европейским, как все считали вокруг, воспитанием, придававшим ей некую особенную будто привлекательность); может быть, никогда прежде она не была так хороша, как теперь, и так нарядна, как только можно быть нарядной Великой Княгине, да и в желании поскорее увидеть мужа тоже было нечто особенное, передававшееся ей ее беспокойством. Но шло время, а Великий Князь все не появлялся; уже опустились на Московские ночные сумерки, уже в который раз выгребли из камина золу и положили новые поленья, и царевич Иоанн, дважды покормленный, был на руках няньками отнесен в спальню, а Великого Князя все не было, как не было и вестей из Воробьева, и охваченная новой тревогой Елена не знала уже, что подумать и что предпринять. Во всех палатах дворца, казалось, словно бы удушливо сгустилась атмосфера озабоченности, и, как при покойнике, все были молчаливы, ходили на цыпочках, а если и разговаривали, то шепотом, и гнетущая эта тишина лишь усиливала общую, перераставшую в страх тревогу Елены.

Но что же на самом деле случилось там, в Воробьеве, куда прибыл, как было передано Елене, Великий Князь и откуда, чуть передохнув, должен был поспешить к ней, в Кремль? В великокняжеском дворце в Воробьеве царило все то же смятение, какое царило в кремлевском, но только не от догадок и предположе-

ний, а от того, каким увидели не прискакавшего на коне, в здравии, как бывало, а привезенного (и даже как-то скрытно таясь) полуживого, вернее, полумертвого Государя. Из саней его перенесли в постельную палату, он был в забытии, а когда очнулся, велел пригласить уже прибывших к нему митрополита с епископами, боярами и воеводами; летописцы свидетельствуют, что, увидев Великого Князя в том предсмертном состоянии — ни у кого уже не оставалось сомнений в исходе дела, — все были настолько потрясены, что не могли удержаться от слез и плакали, и только сам умиравший был тверд, в ясном уме и отдавал нужные распоряжения. В пути, когда ему сделалось плохо, он уже лежал на одре, в церкви, отпеваемый святителями Иосифова монастыря, но теперь болезнь вроде бы отпустила его и он, присмертно бодрясь и стараясь этой бодростью своей успокоить столпившихся у его постели митрополита с епископами и боярами, среди которых был и князь Михаил Львович Глинский, родной дядя царицы, наказывал всем, чтобы и в Москву привезли его скрытно, дабы никто из народа ли, из иностранных ли послов не проведал о его теперешнем недомогании. Он, видимо, еще надеялся на что-то и с мольбою просил придворного лекаря Николая Булова: «Брате Миколае! Ты видел мое великое жалование к тебе: можно ли тебе сделать мазь или иное что, чтобы облегчить болезнь мою?» Но что мог Булов? «Тело свое раздробил бы тебя ради, государя, но дума моя немощна без Божьей помощи», — удрученно, почти в слезах ответил он, обернувшись на митрополита и святителей, черным плотным кольцом стоявших вокруг постели умиравшего Великого Князя.

Перевозить в Кремль Василия III решено было ночью. Михаил Львович Глинский, некогда служивший польскому королю Александру и прошагавший во главе королевских войск, сражаясь и насильничая, почти половину Европы, а затем, после неприятностей в Польше (его обвинили в отравлении Александра и стремлении самому сесть на престол), переметнувшийся в Россию на службу к Великому Князю и Государю Василию III (через это-то сближение и явилась при великокняжеском дворе будущая царица Елена), — Михаил Львович, взявший теперь на себя руководство

делом, с вечера еще направил мастеровых к Москве-реке, чтобы по льду, настилом, навели мост. Лед был еще тонок, его следовало подкрепить досками, и в середине ночи, когда работы на реке были завершены, из дворца в Воробьеве в кромешной тьме, не зажигая факелов, чтобы не привлекать внимание, выехали царские сани, запряженные четверкой цугом, как было по западному образцу велено князем Михаилом Львовичем; по обе стороны коней, которых вели под уздцы, и вдоль саней и на замыкании шли, можно сказать, точно так же цугом ратники, отобранные из княжичей и детей боярских и вооруженные более топорами и баграми, чтобы, не дай Бог, если что, нашлось бы чем рубить постромки и удерживать сани, дабы не скользнули под лед. Опасения были столь явными, что многие из бояр, не менее Михаила Львовича гораздые в подобного рода походном искусстве (да и несмотря на тогдашнее все-силие его высокопоставленного при Дворе князя), засомневались и предложили прямо по льду на руках перенести Великого Князя на тот берег. Митрополит, тоже опасавшийся худшего, отправился со святителями в церковь молить Господа о покровительстве. Но Михаил Львович, уверенный (в соответствии со своим западным образцом), что переправа завершится успешно, ни о чем не хотел слышать. В ночи, во тьме он то забегал вперед, то шагал вровень с царскими санями, держась за них и прислушиваясь к стонам.

У самой кромки реки, благополучно миновав спуск, ратники и сани остановились. Надо было (людьми, разумеется) обозначить края настила, чтобы направляющий в темноте не сбился на голый лед, к тому же Михаилу Львовичу пришлось в голову освятить начало предстоящей операции, и пока посылали за митрополитом, пока, найдя его в церкви, везли к переправе, все вынуждены были стоять на морозе, на ветру, молча, безропотно перенося сию выпавшую им на долю тягость (частью по нужде, частью по глупости, как это и бывает обычно при дворах, где помыслы услужить всегда ставятся выше существа дела). Наконец, когда митрополит крестным ходом — в ночи, в кромешной темноте — прошел по настилу, была дана команда трогать, и направляющий, взяв под уздцы ведущую в цуговой упряжке лошадь, вывел ее на мост. Князь Михаил Львович, непонятно для чего и непонятно

каким образом (то ли разговорился с митрополитом Даниилом, то ли с кем-то, кто должен был вернуться в Воробьево), несколько задержался на берегу и, только когда царские сани миновали середину реки, торопливо кинулся догонять их. Но, прежде чем он догнал их, там, впереди, случилось то страшное, чего как раз и опасались бояре; передняя ли лошадь сошла с настилы или в возникшей неразберихе и суете кони сбились в кучу, сломав цуг и перепутав постромки, только вдруг лед под лошадьми затрещал, хрустнул и — не прошло и мгновенья, как и ездовые, и кони уже плескались в воде среди ледяного крошева, хватаясь и топя друг друга; те, кому положено было рубить постромки и держать сани, не растерялись, и, когда Михаил Львович, не столько перепуганный, сколько раздосадованный таким оборотом дела (что ему было, в сущности, до гибнущих людей, до гибнущего Великого Князя, он достаточно повидал на своем веку, гуляя с мечом по чужим, ни с какой стороны не трогавшим его сердце землям), подоспел к ратникам, царские сани были уже в безопасности; их оттащили от полыньи — с обрубленными постромками и оглоблями, и, что особенно насторожило князя, из кибитки не доносилось стопа, словно Государь всея Руси, только что чуть не утопленный, чуть не пущенный под лед, был мертв.

LXXXVIII

Но Василий III, укутанный в шубы и все же достаточно продрогший, был лишь в забытьи. Его перенесли во дворец, и — начало уже светать, когда он очнулся и открыл глаза. Смирившись, что ему уже не поправиться, что смерть неизбежна и близка, он первым делом, повелев уничтожить прежнюю духовную грамоту, писанную еще при митрополите Варлааме («Сжечь, сжечь, чтобы и соблазна ни у кого не было воспользоваться ею!»), принялся в присутствии Даниила, князей, бояр составлять новую, по которой великокняжеский титул и державу передавал своему трехлетнему сыну Иоанну, а за братьями Юрием и Андреем сохранял уделы, соответственно Дмитровский и Старицкий. Затем по настоянию Василия бояре и князья должны были целованием на кресте присягнуть в вер-

ности новому (трехлетнему) Великому Князю, и первыми к кресту подошли думные бояре Иван и Василий Шуйские, Михаил Юрьевич Захарьин, Михаил Львович Глинский, Воронцов, Тучков, казначей Головкин и дворецкий Шигона, а также братья Государя, удельные князья Юрий и Андрей. Процедура сия тотчас почти была перенесена за стены палаты, дворца, весть о предсмертном состоянии Василия разнеслась по стольному граду, и ко дворцу начали съезжаться бояре, князья, воеводы, иностранные послы, накануне еще, однако, успевшие проведать об этом печальном событии; стекались сюда и люди простых и иных званий, заполняя площадь между дворцом и соборами Успения и Благовещения, и, как всегда в таких случаях, говорили о Великом Князе только доброе, выпытывали друг у друга о его болезни, сокрушались и жалели его. Но Василию было не до народа; он спешил управиться со своими предсмертными делами и наказывал братьям, удельным князьям, чтоб держались бы заедино, как прежде, и служили племяннику верно как в делах воинских, так и в земских и не нарушали бы крестного целования. Шуйских, Захарьина, Воронцова, Шигону, Головкина особенно просил присмотреть за Еленой и младенцем Великим Князем, чтобы не нуждались ни в чем и не испытывали притеснений, а князю Михаилу Львовичу, как близкому, по жене, родственнику, прямо сказал, что «за моего сына Иоанна и жену мою Елену должен охотно пролить всю кровь свою и дать тело свое на раздробление». Оснований для подобных забот, разумеется, было у Василия вполне достаточно. Он знал — и по своей тяжбе за великокняжеский титул с племянником Дмитрием, внуком Ивана III, и по истории с Василием Темным, когда крестное целование нарушалось и не ставилось ни во что, да и вообще из событий прошлого, не меньше нашего, конечно же, известных ему, — сколь беспощадны бывают претенденты, рвущиеся к власти. Таким именно и представлял перед Василием брат Юрий. У историков, правда, нет единого мнения в отношении этого удельного князя. Одни и теперь считают, что он неповинен, оговорен, тогда как другим представляется, что нет дыма без огня, то есть не будь Соломония бездетной, не возникло бы у Юрия, считавшегося главным после Василия претендентом на великокняжеское

место, самой этой мысли — венчаться на царство. Все двадцать лет, пока Василий жил с Соломонией, теплилась и укреплялась в Юрии эта затаенная надежда, он был противником, хотя и не явным, развода и пострижения Соломонии, и можно только догадываться, какие чувства испытывал теперь к Елене и ее сыну Иоанну. Не будь их, не было бы сейчас осложнений, и шапку Мономаха и бармы возложили бы на него; но — они были; была Елена, был трехлетний племянник Иоанн и духовная, по которой вручались ему трон и держава, и пятидесятидвухлетний удельный князь Юрий, полагавший, и тоже не без оснований, что имеет больше прав на княжение, чем малолетний (от чужеземки!) царевич, — пятидесятидвухлетний удельный князь Юрий, и прежде не отличавшийся сдержанностью, был полон не столько скорби, сколько гнева, сверх меры нагнетавшегося в нем. Василий вглядывался в его бледное, будто похолодевшее, обескровившееся лицо, и минутами казалось, что более чем ясно прочитывал его тайные мысли.

Князь Андрей — удельный князь Старицкий, как его назовут потом — был человеком несколько иного склада (и оттого, может быть, участь его вызывает большее сочувствие); жизнерадостный, веселый, он не тяготился своим положением, не стремился, как Юрий, к власти, и так как ему не в чем было таиться перед братом-Государем — ни прежде, ни теперь, — то и переживания его, его крупные, как горох, слезы, скатывавшиеся по щекам, казались искренними, естественными. Он заходил к Елене и держал на руках малолетнего царевича Иоанна, прежде чем явиться сюда, к умирающему брату. Смерть эта и перемены, которые неизбежно, как и всегда, произойдут после похорон, при новом правлении (править, конечно же, он понимал, будет Елена со своим дядей, князем Михаилом Львовичем, zelo гораздым, как говорили о нем, на услужения и власть, и братом, князем Иваном Глинским), — смерть Государя и перемены в правлении пугали его не тем, что может что-либо измениться в его удельном княжении; он был вне подозрений, и ему как будто не грозили опала и притеснения; ему жаль было брата, который, едва познав отцовство, должен был, собственно, во цвете сил уходить из жизни, жаль было Елену с ее вдовой теперь судьбой и

трехлетнего чернявенького Иоанна, коему беззаботно бегать бы еще по лугам, да спать, да набираться сил и грамоты, и это-то чувство, возникавшее в нем не из княжеских, а общечеловеческих соображений, ставило его в разряд людей доверчивых (что как раз затем и погубит его), добрых, умеющих искренне сострадать и плакать. Нет, если уж говорить откровенно, Старицкий удельный князь не понимал, что происходило вокруг, о чем думали в эти минуты, видя умирающего Государя, бояре, князья, святители; ведь кощунством именуется лишь то, что становится достоянием гласности, как определили бы мы теперь, а все скрытое, не получившее огласки, может лишь (да и то не среди вельмож, не при Дворах) терзать душу одного-единственного человека; для кого-то, правда, и подобные терзания есть кара, но для большинства не пойманный — не вор, как было теперь и с князьями Шуйскими, которые не хотели никому уступить своего старшинства при великокняжеском троне, и с князьями Бельскими, желавшими восстановить свой престиж (между этими княжескими родами и развернется затем жесточайшая схватка — на десятилетие, на весь, в сущности, период малолетства Иоанна), и с князем Воронцовым, имевшим на все свои виды, и с Овчиной Телепневым-Оболенским, пытавшимся уже теперь пробиться не по чину поближе к переднему ряду, и тем более с князем Михаилом Львовичем, как никто, пожалуй, получившим возможность (ведь власть будет в руках Елены, его племянницы) возвыситься при Дворе. Накануне, ночью, чуть не утопивший Государя в Москве-реке, он стоял теперь как ни в чем не бывало — скорбный будто, но уже устремленный весь в то грядущее завтра, которое ликующе возбуждало его всегда жаждавшую власти натуру; он, казалось, еще ярнее приосанился, когда Государь, вновь набравшись после недолгого молчания сил, сказал, обращаясь к боярам и указывая им на Глинского, что хотя он и «чужой нам», но чтобы считали его за своего, потому как «мне слуга и ближний по Великой Княгине». Василий словно бы раздавал роли, определяя, кому что делать и кем быть после его смерти, и хотя все вроде бы слушали со вниманием, но, как это с очевидностью раскроется потом, делали свой расклад и по-своему определяли себе и другим места у трона. Кощунственно, да, но так было; и точно так же, хотя давно уже нет в Кремле ни

Великих Князей, ни царей, происходит теперь между новыми и новейшими властителями, что, однако, достойно не меньшего сожаления.

Только между святителями, казалось, было единство, они и в помыслах, и в делах держались так, будто и в самом деле предполагали быть вечно с Великим Князем; они старательно, хотя и со скорбью, готовились к таинству, какое вот-вот должно было совершиться на их глазах, и желание Василия постричься в монахи перед смертью, высказанное им еще в Волоке духовнику своему протоиерею Алексию и любимому старцу Мисаилу: «Не предайте меня земле в белой одежде», — желание это казалось им священным и вдохновляло и умиляло их. Они обсуждали между собой, как ловчее выполнить это великокняжеское намерение и, памятуя, что Василий хотел, чтобы постригал его кирилловский игумен, заблаговременно еще послали за этим игуменом, но, получив теперь известие, что его нет в Москве, обдумывали, во-первых, как доложить об этом Великому Князю и, во-вторых, не отправить ли уже сейчас за троицким игуменом Иоасафом. Между тем князь Старицкий Андрей и князь Иван Глинский принялись в очередной раз уговаривать изнемогавшего (может, даже и от обилия предсмертных забот) Государя, чтобы велел им сходить за Еленой и сыном и привести их. Князья давно уже предлагали ему это, но Василий, говоря, что вид его ужасен (он, казалось, заживо гнил и исходил зловонием), что малолетний сын может испугаться такого отца, не хотел надрывать, то есть отвращать от себя кровное свое державное чадо; но князья продолжали настаивать, а когда подключились к ним дворецкий Шигона и Первосвятитель митрополит Даниил, Василий согласился, и Андрей Старицкий и Иван Глинский ушли за Еленой и Иоанном.

LXXXIX

С начала, как и попросил о том Василий, возложив на себя крест святого Петра Митрополита (Петра-чудотворца, как по некоторым другим источникам), принесли ему трехлетнего сына Иоанна. Его внес на руках брат Великой Княгини князь Иван Глинский, сопрово-

ждавшийся мамкой — боярыней Аграфеной Васильев-ной. Бояре, святители расступились, освобождая до-рогу, и все взоры устремились теперь на трехлетнего державного властелина, испуганно озиравшегося во-круг, и на мамку, словно прося у нее защиты. Василий велел им подойти поближе, к самой постели (в су-щности, своему смертному одру), и, когда протянутый на руках младенец почти завис над умирающим, под-няв крест святого Петра Митрополита и держа его перед сыном, Василий с трудом, с усилием выгова-ривая слова, произнес: «Буде на тебе милость Божия и на детях твоих! Как святой Петр благословил сим крестом нашего прародителя, Великого Князя Иоанна Даниловича, так им благословляю тебя, моего сына». Затем наказал мамке — боярыне Аграфене, чтобы неусыпно берегла своего державного питомца, не «от-ступала ни пяди», и, заслышав голос приближавшейся супруги, велел вынести сына. Да мог ли тогда хоть что-либо запомнить Иоанн? Он узнал обо всем лишь в пересказах: сначала от Шигоны, который продолжал, как и отцу, служить при Дворе Иоанну, а точнее, его матери, объединившись в черных, как говорили, то есть далеко не бескорыстных, замыслах с дядей Великой Княгини Михаилом Львовичем, и в еще бо-льших подробностях от Воронцова, одно время даже ставшего любимцем подраставшего самодержца (чего как раз впоследствии и не простили ему зарекомендовавшие его бояре); нельзя полагать, что в пересказах не было правды, она была и подавалась, может быть, даже более неприкрашенной, оголенной; но вместе с тем и не только из желания подольстить будущему царю, но и из привычного всем нам стремления облаго-родить отечественную историю — одно, казавшееся ненужным, опускалось, тогда как другому, менее зна-чительному, но представлявшемуся важным, отдава-лось предпочтение, и если что и отложилось в памяти Иоанна из тех событий, то лишь, что он не плакал, будучи на руках у Ивана Глинского, что, еще дитя дитем, держался с великокняжеским мужеством, уди-вив и обнадежив этим и отца, и бояр, и духовенство. «Тит широкого ума, да-да, Тит широкого ума на престоле», — повторено было хотя и про себя, мы-сленно, многими это некогда сказанное на рождение Иоанна изречение.

Едва вынесли испуганного Иоанна, как в постельной палате появилась Елена. Она давно уже просилась к мужу и теперь, ведомая под руки князем Андреем и боярином Челядниным, была вся в слезах, в изнеможении и голосила, как голосают обычно деревенские женщины, лишаясь кормильца и оставаясь с детьми один на один с жизнью; перед Еленой, разумеется, не вставали эти заботы о хлебе насущном, так как она теряла не кормильца, не просто супруга, страшась вдовой судьбы, но — властителя державы, перед кем все или почти все преклонялись и трепетали и с уходом которого все непредсказуемо могло вернуться и для нее, и для сына, и для державы. Ведь это только кажется, что цари и царицы вольны и беспечны в своих делах и помыслах; власть, как и все сущее на земле, не может существовать без присмотра и поддержки и, если не подкрепляется личным ли присутствием и авторитетом (пусть и не в народе, пусть только среди близких бояр), насилием или устрашениями и подачками, она слабеет, тает и заменяется новой, более волевой и могущественной, и Елена если и не осознавала до конца, чем все это угрожало ей и сыну, то утонченным, женским, материнским чутьем своим предчувствовала, предугадывала беду и страшилась предстоявших смут и бессилия своего перед ними. Она причитала и голосила так громко, с таким отчаянием и так, казалось, искренне, неподдельно, что все вокруг было заполнено этим ее душераздирающим воплем, и Василий, видимо, предчувствовавший это и потому так оттягивавший встречу и прощание с ней, — Василий только и делал, что утешал жену, говоря, что ему лучше, что у него ничего не болит и что он не собирается покидать ее. Эти ли слова, просто ли здравый смысл, вдруг проявившийся в ней, или, может, нечто иное и более естественное и сильное, что в подобных случаях укрепляет в нас волю и определяет поведение, — глаза Елены осушились, она притихла, и в эти-то минуты и состоялся тот короткий, записанный летописцами прощальный разговор, который, став затем достоянием истории, как некая бытовая, семейная из жизни высокопоставленных особ зарисовка, дошел и до нас, приземлив возвышенное до простого и показав, что и властителей подвигают те же человеческие порывы, что и обычных смертных. Елена спросила, несмотря на

заверения Василия, что ему лучше и что он не собирается покидать ее: «Государь Князь Великий! На кого меня оставляешь, кому детей приказываешь?» Великий Князь, и тоже несмотря на только что произносившиеся им заверения, цену которым более чем знал и знал, для чего говорил их, ответил: «Благословил я сына своего Иоанна государством и великим княжением, а тебе написал в духовной грамоте, как писалось в прежних грамотах отцов наших и прародителей, как следует, как прежним великим княгиням шло». Добавив затем в нескольких словах, как ей править державой, пока Государь мал, как держаться с боярами и как боярам ходить к ней для государственных дел, он согласился выполнить просьбу Елены и благословил второго своего сына, Юрия, осенив крестом Паисиевским, чтобы не уравнивать с Иоанном. Дело в том, что Юрий родился глухонемым (в наказание, как говорили при Дворе, то ли Елене, то ли самому Василию за насильственное будто бы пострижение Соломонии и развод с нею) и понятно, почему Елена так трогательно относилась к нему. Когда же младенца унесли, она опять заголосила, и Василий, почувствовавший, видимо, что силы окончательно покидают его, а ему хотелось еще принять обряд пострижения, — в последний раз поцеловался с ней и попросил увести ее.

Был глубокий вечер, время подвигалось к полуночи; вторые сутки не смыкавшие глаз бояре, князья, духовенство, допущенные к Василию и томившиеся ожиданием, когда же наконец либо наступит облегчение, либо явится смерть, открыв дверь к той страшной неопределенности, которая словно бы уже угрожающе поднималась из-за гроба Великого Князя (надо сказать, что малолетство правителя пугало не только Елену, но почти всех, кто хоть на полшага решался заглянуть в будущее), — бояре, князья, духовенство, ожидавшее, конечно же, скорее кончины, чем выздоровления, поочередно то выходили из постельной палаты, чтобы подкрепиться и отдохнуть, то вновь, как на дежурство, возвращались в нее, в мир горевших свечей и холодно, даже как-то могильно будто сверкавших окладов и риз в этом своем свечном обрамлении, мир копоты, которая, накопившись, дымком нависала над постелью, и зловонья, исходившего от заживо будто бы сгнивавшего тела Государя. У митрополита Дани-

ила, когда он выходил из постельной палаты, то ли от копоты и удушающего зловония, то ли от предчувствий, которые, чем решительнее он старался отгородиться от них, тем тревожнее охватывали его (судьба и в самом деле готовила ему бесчестье от бояр и смерть), стояли в глазах слезы; он вытер их платком, перекрестился и, так как ничто, кроме движений, пусть и бессмысленных, бестолковых, не могло приглушить в нем душевного смятения, опять направился в палату к умирающему Государю. Василий после разговора с Еленой как будто задремал, болезнь словно бы отпустила его, лицо выглядело спокойным, дыхание было ровным, и это обманное улучшение, замеченное даже митрополитом, породило волну надежд, что не все еще кончено и что по меньшей мере до утра можно оставаться спокойным за Государя. Князь Юрий и некоторые близкие к нему бояре покинули дворец и разъехались по домам. Князь Михаил Львович, удалившись в соседнюю палату и позвав Воронцова, начал прикидывать вместе с ним (в предварительном, разумеется, плане) будущий расклад влиятельных лиц при Дворе, кого из бояр полезно будет приблизить, кого отдалить, притеснить, а кому дать послабление. Зело (да простится мне употребление этого слова) поднаторевший в подобных делах, и давно вынашивавший свои честолюбивые замыслы, и почувствовавший, видимо, как азартный охотник, что зверь подбит и добыча близка, он держался с Воронцовым так, будто вопрос о власти, перешедшей к нему, родному дяде Великой Княгини, решен и ни у кого, в том числе и у Воронцова, не должно возникать сомнений на этот счет. Да и то сказать, в теперешнем (очередном) замысле его было достаточно логики, ведь Елена супружеством своим, своим положением при Дворе обязана ему, и он вправе был ждать от нее благодарности. «Власть если берут, то сразу, решительно», — в то время полагал он, не высказывая, однако, этого главного Воронцову. Князь Андрей и брат Великой Княгини Иван Глинский отправились на половину Елены, чтобы побыть у ней и поддержать ее, и вслед за ними в том же направлении, но только к своей сестре, мамке Иоанна боярыне Аграфене Васильевне Челядниной, ушел князь Овчина-Телепнев-Оболенский. Событию этому, возможно, и не следовало бы придавать значе-

ние, да никто тогда и не заметил сего житейского поступка (и то сказать, возбранено ли зайти к сестре, хотя бы и мамке теперь уже Великого — трехлетнего — Князя и Государя?); ведь принято считать, что грядущее готовится лишь в умах и деяниях людей, которые заметны и всегда на виду и от которых как раз и ждут этих деяний, тогда как история не то чтобы изобилует, но хранит достаточно примеров, когда вдруг, словно по волшебству, выступает вперед и вышается не тот, кого прочили, а тот, на кого и внимания-то не обращали; Михаилу Львовичу и в голову не пришло бы теперь последить за молодым красавцем-князем, родным братом великокняжеской мамки Аграфены, тогда как в столкновении именно с ним и суждено будет слуге двух властителей, Александру и Василия, потерпеть крах, падение и смерть. Овчина-Телепнев-Оболенский постоял вместе с сестрой у постельки Иоанна, безмятежно спавшего в эту поворотную для судьбы России декабрьскую ночь, беззвучно, глазами обежал его белые, с детскими перевязками у запястий пухлые ручки, его младенческое, полное удовлетворенности, покоя и жизни личико со сбившимися на лоб и щеку черными прядками волос и затем, присев в кресло и откинувшись в нем, задремал, не предполагая даже, наверное, какая счастливая случайность уже подстерегала его. Проводив брата и деверя, Елена перед сном решила зайти в детскую, чтобы навестить сына, и как раз и застала у Аграфены ее брата, князя Ивана Овчину-Телепнева-Оболенского. Князь встал, молодой, красивый, пышущий здоровьем и силой, и, слегка смутившись, поклонился и направился к выходу; и все бы, вероятно, закончилось на этом, если бы, обернувшись, князь не увидел бы от самой уже двери, как удивленно и заинтересованно Елена разглядывала его.

ХС

Около полуночи Великий Князь очнулся, подозвал к себе митрополита Даниила и с какой-то детской вроде бы обиженностью сказал: «Исповедал я тебе, отец, всю свою тайну, что хочу монашества; чего же так долежать? Сподоби меня, облещись в монашеский

чин, постриги меня». Даниил, взглядываясь, медлил с ответом. Он только что, поддерживаемый боярином Михаилом Юрьевичем Захарьиным, доказывал брату Государя князю Андрею и стоявшим на его стороне Воронцову и Шигоне, что нет большего блага для отходящего, чем пострижение, что, неимущими приходя в мир, неимущими и должны уходить из него, как то угодно Господу нашему, и что так, постриженцами, чтя православие, уходили из жизни предшественники Василия Великие Князья, на что Андрей, Воронцов и Шигона возражали, доказывая, что за Государем нет и не может быть грехов и что — во всем величии власти он должен предстать перед Богом. «Князь великий Владимир Киевский умер не в чернецах, — говорили они, — а не сподобился ли праведного покоя?» Но, мне кажется, не эта внешняя сторона спора, дошедшая до нас, занимала митрополита, когда, склонившись, он взглядывался в лицо умиравшего Василия. Хорошо знавший историю митрополит не мог, разумеется, не подумать о том, что пострижение за минуту до смерти — это ложь, это желание обмануть Господа и предстать перед ним чистеньким; всю жизнь властвовать, грешить, а за минуту, да, именно за минуту до смерти — отмыться от всего и вытереть руки? Конечно, не столь же прямо и откровенно, как пишу здесь, думал и оценивал все митрополит Даниил; в нем, может быть, лишь смутно созревала догадка о сем запасном ходе, предусмотренном для владык, а вернее, найденном ими, через который, процарствовав в свое удовольствие на земле и погубив, изничтожив сотни и сотни тысяч душ, потому что стоять над другими — это уже грех, они прямехонько проскальзывают в рай, избегая Страшного суда и ответа, — смутная догадка эта, имевшая одновременно и реальную, если беспредвзято смотреть на все, и еретическую основу, как раз и удерживала митрополита Даниила от ответа. Василий же, все более чувствующавший, видимо, близость своей кончины, раздраженно уже, насколько хватало сил, повторил: «Так ли мне, господин митрополит, лежать?» Хотя, в сущности, он был уже не жилец, но — был еще страшен; все помнили, как он расправился со знатным боярином Берсеном Беклемишевым, казнив его на Москве-реке лишь за дерзость иметь свое, отличное от государева суждение, поминали, как прина-

родно был отрезан язык у дьяка Федора Жареного всего только за излишнее многословие, а дьяк Долматов за отказ поехать с посольством был сослан на Белоозеро и умерщвлен; да, Василий и на смертном одре был страшен именно этим прошлым, стоявшим за ним, то есть своим будто бы тихим, мирным, не лишенным даже сердечности к пребывавшим в стране чужеземцам, но жестким, самодержавным к согражданам-россиянам правлением. Владыка Вассиан, видя, что все смотрят на митрополита и на Великого Князя и ждут, чем закончится это вдруг, за минуту, можно сказать, до смерти возникшее между ними противостояние, как отголосок прошлых, возникавших на почве приятия и неприятия чужеземцев (Даниил особенно не любил и не принимал Максима Грека с его переводами, которого, напротив, ценил и обожал Василий), — владыка Вассиан, чтобы уберечь митрополита, торопливо напомнил ему, что образа Владимирской Богородицы и святого Николая Гостунского, во имя которого как раз и была возведена Василием церковь в Кремле, доставлены, как того требует ритуал, и что дворецкий Шигона пошел приказать великокняжескому духовнику протопопу Алексию, чтобы нес из церкви (и тоже для ритуала) служебные дары.

Кому-то более везет в описании жизни, кому-то в описании смерти. Великому Князю и Государю Василию III, можно сказать, повезло и в том и в другом; так же, как подробности развода, женитьбы и княжения, сохранились и дошли до нас многочисленные подробности его кончины и всех тех дел и мер, какие предпринимались и совершались вокруг его смертного одра. Мне же хотелось бы сосредоточить внимание только на одном — ритуале пострижения, провести который так важно было для умиравшего Великого Князя. Он, казалось, и говорил, и думал только об этом, забыв о жене, сыне и державе, оставляемой им на малолетнего Иоанна; видимо, как и при жизни, своя персона занимала Василия настолько, что все остальное, считавшееся прилагаемым и потому второстепенным (сколь бы ни говорили нам о патриотичности и народности собирателей русской земли, потому как — нет хозяина, который не присмотрел бы за живностью во дворе), — все остальное, составлявшее фон жизни и чего нельзя было взять с собой за черту,

отодвигалось, меркло и вышадало из памяти Государя. Можно предположить, что пострижением Великий Князь хотел лишь соблюсти традицию, как соблюдал и в княжении, стараясь не отступать от положенных отцом и дедом канонов; но можно истолковать и так, что знал, да-да, знал все же за собой грешки, несмотря на исконную будто бы законность своей власти, и считал, что лучше подстраховаться и предстать перед Господом таким безгрешным чернецом в монашеском рубище; дескать, а о великом княжении и знать ничего не знаю, раскаялся и отрекся; это второе, наверное, и было главным и руководило теперь Государем. Но и с великокняжеским титулом, то есть с почетом и властью, как это раскроется нам, Василий не желал расставаться раньше времени. Подозвав духовника, он спросил его: «Бывал ли, когда душа разлучается с телом?» — и, услышав, что «да, мало бывал», велел стать возле постели, у ног; рядом с ним поставил стряпчего Федора Кручицкого, некогда видевшего, как отходил на тот свет отец Василия Иван III, и, наказав им, чтобы не упустили момент, когда душа начнет отделяться от тела, и дали бы знать митрополиту Даниилу и игумену Иоасафу, чтобы начинать пострижение, еще раз, и обращаясь уже более к митрополиту и игумену, повторил: «Смотрите же рассудительно, не раньше, не позже». Затем, как гласят источники, велел дьяку крестовому Даниле петь канон мученице Екатерине да канон на исход души.

У крестового дьяка был мягкий, красивый голос, и, едва он запел, все настолько притихли, что, казалось, и язычки пламени на свечах, только что словно перемигивавшиеся между собой, вдруг разом замерли, внимая божественному пению; слова канона, и без того трагические (и одновременно возвышенные, как и все в церквах), соединенные с мелодией, вернее, как будто нанизанные на нее, трогательно расслабляли не столько, может быть, душу умиравшего Великого Князя, сколько всех тех, кто стоял перед ним. Василий опять будто задремал, но почти тут же очнулся и невнятно, как в полусне, заговорил: «Великая Христова мученица Екатерина, пора царствовать; так, госпожа, царствовать», — и, взяв образ великомученицы, приложился к нему. Потом приложился к мощам святого Николая, еще прежде принесенным ему, подозвал и простил

Воронцова, на которого чуть было в самый канун своей болезни не наложил опалу, попрощался с Андреем, напомнив ему, как умирал их отец, Иван III. «И мне, брат, так же смертный час и конец приближается, — и после этих слов уже только крестился и повторял: — Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Господи». Язык начал заплетаться, он снова «просил пострижения, брал простыню и целовал ее; правая рука уже не могла подниматься, боярин Михаил Юрьевич поднимал ее ему, и Василий не переставал творить на лице крестное знамение, смотрел вверх, на образ Богородицы, висевший перед ним на стене». Так рассказано о последних его минутах, и, на мой взгляд, тут ни прибавить ни убавить; Государь исходил душой, но призванные не упустить момент протопоп Алексей и стряпчий Федор не подавали знака, и митрополит, видя, что можно и запоздать с пострижением, велел старцу Мисаилу внести в палату монашеское одеяние. Князь Андрей и боярин Воронцов кинулись было к Мисаилу с намерением отнять у него это одеяние, но митрополит Даниил решительно остановил их. «Не будет тебе нашего благословения, — сказал он князю Андрею, — ни в сем веке, ни будущем; хорош сосуд серебряный, а лучше позолоченный», — и, велел приподнять на подушках обезжизненное почти уже тело Василия, надел епитрахиль на игумена Иоасафа, но затем сам постриг Великого Князя, поименовав его иноком Варлаамом.

Очевидцы кончины Великого Князя свидетельствуют, что «поднялся плач и рыдание неутешное во всех людях» и что «митрополит и бояре унимали людей от плача, но голосов их не было слышать», настолько велико было горе, осознававшееся ими. Возможно, так оно и было, потому что есть и более близкий к нам пример — смерть и похороны Сталина, этого тирана-диктатора двадцатого века, когда и народ, и вся страна словно застыли в растерянности и трауре, как жить без НЕГО (а в день похорон сей властитель унес с собой как бы напоследок еще сотни жизней, погибших от скученности и давки); да, возможно, так оно и было, как с бесстрашием вроде бы, а в сущности, неистребимым, как и во все времена; лакейством зафиксировано очевидцами для истории; но если взглянуть приземленно, то есть реалистично, то можно увидеть,

что одни, кому ничего не оставалось, кроме как выказать чувства, плакали, рыдали, забываясь горем, другие, кому надо было обрывать покойного и служить отходную, делали свое и со старанием, как и положено в таких случаях, тогда как те, на кого возлагалась держава и на ком лежало выполнение великокняжеского наказа, — тут же, в ночь, не теряя ни минуты, принялись за свое. Еще шло пострижение, когда было послано за Юрием; когда же дмитровский удельный князь прибыл, митрополит Даниил отвел его и его брата, князя Андрея, в переднюю и, держа перед собой крест, велел присягнуть им на кресте целованием на верность Великому Князю всяя Руси трехлетнему Иоанну Васильевичу и его матери Великой Княгине Елене, чтобы служить им верно во всем и не искать из-под них государства; затем к подобной присяге были приведены бояре Захарьин, Воронцов, князя Михаил Львович и Иван Глинские, дворецкий Шигона, и, лишь когда завершено было это государственное дело, решили пойти к Великой Княгине, пребывавшей пока еще в полном неведении, объявить ей сию печальную весть и утешить ее.

ХСІ

Игумен троицкий Иоасаф и старец Мисаил вместе с монахами Иосифова монастыря одевали покойного Великого Князя по монашескому образцу. Подложили под него черную постель, как свидетельствуют все те же беспристрастные вроде бы очевидцы, затем принесли из Чудова монастыря одр и положили на него тело усопшего Государя. Крестовые дьяки с протопопом Алексием, как это бывало и при живом Великом Князе, начали служить заутреню, а митрополит Даниил, окруженный толпой святителей и бояр и предводительствуя ими, продвигался к покоям Елены. Великая Княгиня еще не спала. Она только что вернулась из детских, пробыв возле сыновей своих Иоанна и Юрия более часа и поговорив сердечно, по-женски, с мамкой Иоанна боярыней Аграфеной Челядниной. Как ни глубоко бывает сознание опасности и как ни готовится человек к восприятию худшего, что только может произойти с ближним, но — так уж устроено наше

сознание, что состояние надежды всегда выше в нас, чем состояние обреченности; так ли, иначе ли, но после разговора с Аграфеной, умевшей всегда сказать нужное и вовремя, Елена вернулась к себе несколько успокоенной; и, пока горничная готовила ей постель, сидела в кресле в легком раздумье, полагая, что, возможно, и в самом деле права Аграфена (она была намного старше и многоопытней Великой Княгини), и, Бог даст, все обойдется, и прежнее, столь дорого доставшееся ей семейное счастье вновь воцарится в великокняжеском доме. Она вспомнила, как ездила с Василием по монастырям, вымаливая для себя у Господа и святых-чудотворцев, к мощам которых прикладывалась, чадорождения, как ходила пешком в святые обители и пустоши, сопровождаемая лишь все той же Аграфеной Челядниной, раздавала богатые милости монастырям, отцам-отшельникам и просто богомольцам, облеплявшим паперти соборов и церквей, и в то самое время (было это уже на третий год замужества), когда Василий (для того только, видимо, и женившийся на ней, чтобы занять наследника) начал было грустить и разочаровываться в ней, — в это-то самое время, однажды в пути, когда возвращались с очередного богомолья, она почувствовала, что забеременела, и сообщила об этом Великому Князю; месяцы ожидания, несчетное множество бессонных ночей, проведенных в тоске и страхе за будущее, — все, все, что так мучительно тяготило ее, вознаграждено было этим долгожданным и великим счастьем, и если на чем и останавливалось теперь ее внимание, то лишь на том неповторимом моменте, когда, войдя после вечерней молитвы и ужина в гостиную к отдохнувшему Василию, поделилась с ним сей радостной вестью. Картина та более чем с живостью вставала перед ней, высечиваясь во всех малейших подробностях, и в согласии с этим душевным состоянием лицо Елены казалось спокойным, умиротворенным и оттого, может быть, как никогда, красивым, дышавшим силою любви, молодости и материнства. Отчего-то, и она не могла бы даже объяснить отчего, но ей вдруг и тоже как некое, связанное с чем-то тоже отдаленным воспоминание, явился брат Аграфены красавец-князь Иван Овчина-Телепнев-Оболенский. «Какой приятный», — подумала она, стараясь припомнить, видела ли его когда прежде при

Дворе, в свите мужа; в какое-то мгновение ей даже показалось, что он стоит за ее спиной, за креслом, и она, краснея, торопливо обернулась; но в это время, разрушая ее воспоминания и мысли, ей доложили, что пришел митрополит Даниил с боярами и просит, чтобы Великая Княгиня приняла его.

Елена сказала, чтобы входили, и встала, готовясь встретить их. Она не сразу догадалась, зачем митрополиту со святителями и боярами вдруг и в столь поздний час понадобилось прийти к ней, и не могла представить себе, что не втроем, не вчетвером, даже не впятером, а всей траурно, но с богатством наряженной толпой, как были у Государя, заявятся теперь к ней со своей печальной (но, конечно же, чтобы поддержать и утешить) вестью. В комнате было полусумрачно, горело всего несколько свечей: в красном углу, под иконой Богородицы, и на столике у постели, в облитом воском трехпалом бронзовом подсвечнике; все они были за спиной Елены и затеняли лицо, тогда как лица входивших, едва перед ними распахнулась дверь, — лица входивших, освещенные прямым, хотя, может быть, и неярким светом, сразу же и более, чем любые произнесенные слова, сказали Великой Княгине, какое горе постигло ее. Не желая еще поверить в то, что, по существу, было уже вполне ясным ей, и стараясь хоть в чем-то найти оправдание теплившимся еще надеждам, она снова и снова обегала своим неуловимо-мгновенным взглядом тяжелые, седобородые (за исключением разве что князя Андрея, да своего брата князя Ивана, да князя Овчины-Телепнева-Оболенского, успевшего пристроиться к толпе и даже пробиться к центру) лица вошедших; лица эти были неумолимы, как неумолима была смерть, настигшая Великого Князя, и, в то время как Елена, более чем понимавшая это, все еще не хотела верить в свершившееся (ведь надежда от рождения и до последней минуты сопровождает человека в жизни), — перед глазами все слилось, накренилось, поплыло, она шагнула было вперед, чтобы удержаться, и в беспомощности рухнула на пол. Ее подняли, уложили на кровать, и только тут митрополит Даниил понял, что нельзя было всем скопом входить к ней; он подал знак, чтобы все вышли, затем велел позвать придворных лекарей — тех самых немцев, которые не столько, видимо, лечили Василия, сколько кормились

возле него и устраивали свое благополучие, — и, не на шутку обеспокоенный, тут же обратился с молитвой к образу Богородицы, крестясь и кланяясь ей.

Хотя время подвигалось к рассвету, но над Кремлем, над Москвой, над всей (в тогдашних ее границах) Россией стояла темная, глухая декабрьская ночь, и не ведавший пока еще ничего народ спал своим привычным, отключаясь от забот, сном, как спал и малолетний Иоанн, уже поставленный судьбой (в радость ли, в наказание ли, тогда неизвестно было никому) над державой. В придворном Благовещенском соборе продолжалась служба заутрени, хотя и протопоп Алексей, и любимец Василия старец Мисаил, и крестовые дьяки валились с ног от усталости; монахи из Чудова монастыря продолжали готовить тело Государя к выносу в церковь Успения, где боярам, князьям, народу предстояло простаться с покойным, а троицкий игумен Иоасаф послал подводы за каменным гробом. Лежавший на одре и ничем уже не распорядившийся Великий Князь Василий продолжал, однако (и даже настоятельнее, чем при жизни), заботить людей. Одни готовились к похоронам и всецело были поглощены этим; Елена со своим окружением настолько предалась горю, что митрополит Даниил, всерьез обеспокоенный за нее, до утра не выходил из ее палаты; некоторые князья и бояре, разойдясь по дворцу и рассевшись по лавкам, дремали, или казалось, что дремали, готовые отдаться на волю судьбы и, как всегда, уповавшие на свою родовитость; князь Михаил Львович и князь Воронцов, более других, видимо, полагавшие, что, кроме них, некому взвалить на себя все несчетнопроблемные, если взглянуть по-государственному, дела державы и не желавшие (что, может быть, гораздо точнее) упустить своего звездного часа, — князья эти, уединившись будто для отдыха и в согласии каждый со своими интересами и представлениями грядущих событий, обдумывали (почти в буквальном смысле) завтрашний день. Конечно, будет преувеличением сказать, что ими и что в эту именно ночь разрабатывалась и определялась судьба России; нет, тем более что чужеземцу из ненавистного тогда всем литовского рода Михаилу Львовичу бояре ни за что не позволили бы занять великокняжеский трон, как бы ни желал этого дядя Великой Княгини и какие бы меры ни предприни-

мал для этого; как опытный придворный, он, разумеется, не мог не понимать этого; но ведь вблизи власти, да когда она мнится почти уже в руках, человек становится жесток, безрассуден и неуправляем, и, готовя участь отдельным вроде бы личностям, Михаил Львович и Воронцов, в сущности, предопределяли и участь России и россиян. Да, вот так, просто, уединившись, в тиши, в ночи и предопределяли, попирая историю и не соизмеряясь ни с чем, тогдашнюю жизнь людей (как, впрочем, предопределяют и ныне, скрытно, за глухими дверьми и стенами кремлевских дворцов). Князь Михаил Львович Глинский, заложив руки за спину, метался по палате, переместившись в то воображаемое, чем он уже теперь пытался руководить, тогда как флегматичный и не столь возбужденный Воронцов (в конце концов, не он же родственник Великой Княгини!) стоял у окна, освещенный со спины свечами, и лишь по движению плеч, то сгорбленно опускавшихся, то расправлявшихся, можно было предположить, сколь окрылены (минутами) и сколь принижены, тяжелы (и тоже минутами) были его мысли.

ХСII

Там, где возникает вопрос о власти, все делается, во-первых, быстро и, во-вторых, непредсказуемо, безжалостно и жестоко. И не всегда только теми принародными, на площадях, казнями, от которых затем вовек, бывает, не отмыть рук; обманы, подлоги, ложь, доносы, интриги, заговоры — на все лады и со всеми правдивыми будто бы, точнее, правдоподобными подробностями — все, все пускается в ход, обретает законность и вес, и любителям поворошить в исторических пластах часто приходится лишь с удивлением констатировать, как это жившие тогда и все видевшие не умели разглядеть творившегося при них и над ними злодеяния. Еще не был снят траур по усопшем Великом Князе, то есть не прошло и недели, как он был похоронен (рядом с отцом, при стечении народа и с великими почестями), а Великая Княгиня Елена, ставшая фактической при малолетнем сыне правительницей державы, удивила и озадачила многих и многих — и не только при Дворе — своим первым и достаточно

волевым решением. Она приказала освободить и вернуть из заточения в Москву князей Ивана и Андрея Шуйских, в свое время наказанных Василием III за отъезд их к дмитровскому удельному князю Юрию. Закованные в колоды и кандалы князя были разосланы по разным городам, и участь их, как полагали, была предопределена, когда вдруг по ходатайству будто бы духовенства и бояр, как было сказано в грамоте и словно бы в упрек только что похороненному мужу, Шуйские не просто были помилованы, но с почестями приняты при Дворе Михаилом Львовичем, Воронцовым и Шигоной.

Разумеется, мало кто знал, что на самом деле крылось за сим государственным будто бы поступком Елены. Говорили, и это считалось официальной версией, что будто, освобождая Шуйских, то есть оказывая им милость (если учесть, что родовитые князья эти, изгнанные еще потомками Дмитрия Донского с наследных владимирских земель и с тех пор державшие сторону Новгорода, являлись не то чтобы врагами, но извечными недоброжелателями московского великокняжеского дома и постоянно, как могли, вредили и досаждали ему), Елена намеревалась показать, что желает примирения и что намерена править не насилем, а добротой, чья и уважая исконную знатность боярских и княжеских родов (о чем особенно важно было заявить ей, считавшейся — по брату и дяде — чужеземкой). Она, может быть, действительно стремилась к лучшему и, искренне веря, что творит добро, не посчиталась даже с тем, что бросает порочащую тень на только что похороненного и памятного всем еще по своему пышному княжению мужа; но как раз это, что должно было, как надеялась она, возвеличить ее, вызвало лишь недоверие и настороженность к ней. Первый государственный шаг был сделан не в сторону народа, не к боярам и духовенству, чья благожелательность надежней всего подкрепила бы ее, а в сторону неких не раскрытых еще тогда заговорщиков — родного дяди Михаила Львовича, боярина (дворецкого) Шигоны, набиравшего при Дворе силу, и князя Воронцова, скорее всего, только лишь примкнувшего к ним. Во всяком случае, как бы ни возражали историки, ссылаясь на документы, дошедшие до нас и потому, дескать, верные, что ни о каком заговоре тут не может

быть и речи, но — логика событий да и логика характеров, действовавших тогда на государственной арене личностей, тем не менее ясно подсказывают, что заговор был и что так ли, иначе ли, но нити его непременно должны были сходиться на родном дяде Великой Княгини. Михаилу Львовичу естественно было предположить, что вряд ли Елене позволят спокойно править державой и что угроза прежде всего будет исходить от братьев Государя, то есть ее деверей, князей Юрия и Андрея, которые вполне законно, если соотнести с укладом прежних времен, могли претендовать на великокняжескую власть. Тоска родовитых бояр по этому старому укладу, отмененному еще Иваном III, и неприятие Елены как чужеземки, сколь ни заискивала бы она перед сими давно и прочно укоренившимися на русской земле вельможами, — это общее и еще при жизни Василия зревшее недовольство среди именитых бояр, отчасти и среди духовенства, могло переметнуть их в сторонники к Юрию или Андрею (прежде всего, конечно же, к Юрию, вокруг которого уже возникала попытка объединиться, за что, собственно, и были наказаны князья Шуйские) и обеспечить успех. По мнению Михаила Львовича, надо было упредить подобное развитие событий и устранить с дороги, по возможности физически, опасных претендентов. Действием таким, с одной стороны, защищались бы права Елены и Иоанна, так как, кроме названных удельных князей, братьев Государя, некому было претендовать на престол, а с другой (и в зависимости от обстоятельств) — можно бы самому еще на шаг приблизиться к заветной цели. Так или почти так рассуждал Михаил Львович, и неважно было, о чем думали, что замышляли или не замышляли, как прояснилось потом, удельные князья, — известный придворный интриган и всеевропейский вояка, старавшийся во всем следовать своим западным образцам, оказавшись теперь волею судьбы почти у самой вершины власти, не мог не сделать последнего усилия и, засучив рукава, не броситься в новое и пагубное для него авантюрное дело.

Он понимал, что действовать предстояло утонченно, продуманно, с надлежащим обоснованием, чтобы не повредить Елене, не бросить на нее ненужную тень; правительница должна быть чиста, как чистым, незапятнанным хотелось оставаться и самому Михаилу

Львовичу, и тут-то, перебирая варианты, он и вспомнил о Шуйских. Ход мыслей Михаила Львовича был прост: Шуйские, если их вернуть ко Двору, уже в силу своего характера не захотят пребывать на вторых ролях, вновь начнут искать службы у Юрия, надеясь на его возвышение, и таким образом дадут повод ко второй и окончательной расправе и над собой, и, конечно же, над дмитровским удельным князем. Обдумав сие дело сперва наедине, Михаил Львович уговорил затем Шигону, Воронцова и митрополита Даниила бить челом перед Еленой за Шуйских. К челобитчикам на свою же погибель присоединился близкий соприятель Даниила дьяк Федор Мишурун. Спустя несколько лет вместо благодарности Шуйские распорядятся схватить дьяка, раздеть донага, положить на плаху перед воротами тюрьмы и отрубить голову, как, впрочем, и митрополит лишится сана по настоянию все тех же Шуйских, устремленно рвавшихся к власти. Но, как и всегда и перед всеми, будущее и перед митрополитом, и перед дьяком, да и перед Шигоной, Воронцовым и самим Михаилом Львовичем (так ли, иначе ли, но расплата всегда настагает людей) было темно, неведомо, скрыто за горизонтом, хотя и грезилось в заманчиво-радужных тонах обретаемой власти; и подстегиваемые этим обманно-радостным грядущим заговорщики явились к Елене и изложили свои соображения. Как и полагал Михаил Львович, разговор был недолог, Елена живо поняла свою выгоду, поблагодарила своих, завещанных ей мужем-Государем, опекунов за радение правителю, правительнице и державе и, повелев собрать думных бояр и привести в тронный зал соответственно одетого сына Иоанна, — именем своим и трехлетнего Великого Князя и Государя всея Руси огласила высочайшую милость.

Иоанн впервые тогда сидел на отцовском великокняжеском троне, что позднее даст ему право сказать, что он не помнит даже, с каких лет правит державой, словно в этом-то и заключена исконность власти; пухленький, нарядный, черноволосый, только что приведенный из детской, где, опекаемый мамкой Аграфеной, играл со своим глухонемым братом Юрием, Иоанн лишь недоуменно крутил головкой, оборачиваясь то на мать, то на бояр, сидевших на лавках с чинно выставленными на грудь бородами, то на митрополи-

та и опять на мать и на Аграфену, которая, казалось, одна только могла объяснить происходящее, и в детском сознании его вращалась лишь одна страстная мысль: когда же наконец завершится это его «заключение» на троне и можно будет снова вернуться с мамкой Аграфеной к своим безграничным детским радостям. Бояре были мрачны; Елена — в упоении; вирус власти, как он возбуждает всех, кто прикасается к нему, возбуждал и Елену, ей приятно было как женщине чувствовать себя в центре внимания, приятно было поводить, лицо ее дышало красотой, молодостью, властью, и она вся зарделась, когда по завершении торжества подошел к ней подталкиваемый Аграфеной князь Овчина-Телепнев-Оболенский и сказал, как она необыкновенно хороша: и как женщина, и как властительница, и как мать. Он поклонился тем же поклоном, как и в день смерти Государя, когда произвел на нее впечатление, но не удалился, а только уступил почтительно место Михаилу Львовичу, тоже выдвинувшемуся поздравить правительницу. Между прочим, несмотря на всю свою придворную изощренность, дядя Великой Княгини даже представить не мог, какого соперника (и, может быть, уже наутро) получит в лице уступившего ему место молодого князя.

ХСШ

Нет человека, который, оказавшись вблизи власти, не попытал бы счастья хоть маленькой толикой заполучить ее для себя. В то время как Михаил Львович, проворачивая свой грандиозный замысел (он-то рассчитывал не на толику и не на малую), рассылал гонцов с вестью об освобождении Шуйских, выдвигал на дороги подставы, чтобы князья, получившие волю, как можно быстрее могли добраться до Москвы, и готовил им встречу в кремлевском великокняжеском дворце, то есть в то время как весь поглощен был подготавливавшейся им по западному образцу ловушкой, в которую разом должны были попасть и Шуйские, и не ведавший пока еще ничего брат покойного Государя князь Юрий (после похорон князь оставался в Москве, хотя доброжелатели говорили ему, что быть на глазах опасно и что лучше бы уехать ему к себе в

Дмитров), — чета Челядниных, бояр не очень родовитых и захудалых, неожиданно получивших теперь прямой или почти прямой (через воспитательницу Иоанна мамку Аграфену) выход на правительницу Елену, не могли упустить выпавшего им шанса и со своей стороны не приложиться к тому пирогу власти, какой, они видели, бесхозно оставшись на державном столе (правительница — женщина в соку, а Государь — мал летами и несмышлен, даст Бог, можно и приручить его), вот-вот начнет растаскиваться теми, кто преуспет. Так почему бы не преуспеть им, Челядниным? Хоть и принято полагать, что в возвышении князя Ивана Овчины-Телепнева-Оболенского действовала только одна пружина — его молодость, статность и ум, но, если даже, отбросив домыслы, обратиться лишь к фактам истории (ведь по смерти Елены был не только схвачен и казнен князь Овчина-Телепнев-Оболенский, но и Челяднины: боярин обезглавлен, а Аграфена сначала пострижена в монахини, а затем ночью удушена и пущена под лед), — если обратиться лишь к этим фактам, как сейчас же явится мысль, что и заправилкой, и активнейшей исполнительницей всего дела была боярыня Аграфена.

Чуть старше Елены, но выглядевшая молодо, как только могут выглядеть женщины, умеющие последить за собой, и обладавшая к тому же бесхитростным с виду, мягким, добрым, покладистым характером, упрощавшим ей ее общение и с людьми вздорными, честолюбивыми, закоренелыми и неисправимыми, как все тот же Михаил Львович, интриганами, и с гордецами, откровенно презиравшими всех стоящих ниже себя (при Дворе, как и в обществе в целом, и даже, может быть, гораздо сильнее, чем в простонародье, господствуют зависть, недоброжелательство и ложь), Аграфена тем не менее была не так проста и наивна, как представлялась со стороны; как и все вокруг, она играла определенную, но свою, со скрытою от других целью роль, и, умея подойти к Елене с тонкой и потому неуловимой женской лестью, она использовала каждую подходящую минуту, чтобы напомнить молодой вдовой правительнице о своем брате и в самом лучшем, выгодном свете преподнести его. Это ведь мы только полагаем, что человек от рождения своенравен, себялюбив и самостоятелен в восприятии мира и что

никому и ничего (особенно воспитанным в грамоте) внушить нельзя; нет, можно, можно и массам, и отдельному лицу, каких бы твердых убеждений оно ни придерживалось (что, разумеется, вполне приложимо и к европейски образованной Елене), и Аграфена Челяднина, вряд ли сумевшая бы охарактеризовать или объяснить свои стремления каким-либо философским изречением, тем не менее поступала словно по-писанному, стараясь одновременно влиять на обе стороны: на брата, красавца-князя Ивана, чтобы действовал смелей и решительней (зная по своим чувствам о женских слабостях Елены, она указывала на них брату и поучала его), и на правительницу, обрисовывая перед ней достоинства брата, князя-красавца, по ночам, при восковом свете горевшей свечи (и перед иконой Богородицы, на которую денно и нощно теперь молилась, соединяя образ Елены с образом Богородицы), — при восковом, тусклом свете горевшей свечи шепталась с мужем, тоже служившим при Дворе боярином Челядниным, втягивая его в дело, открывая ему перспективы будущего успеха и возбуждая его. Слово бы само собой Елена то заставляла князя Ивана Овчину-Телепнева-Оболенского в детской у Аграфены, куда тот заходил будто бы проведать сестру, тут же возникал непринужденный будто, но тщательно подготовленный князем и Аграфеной разговор, производивший нужное на Елену впечатление; то она заставляла его на заутрене в церкви, куда князь приходил тоже с сестрой и ради нее будто, становясь за ее спиной в отдаленное и затененное место; то, по совету все той же Аграфены, вошедшей в полное или почти полное доверие к Елене, Великая Княгиня начала приглашать красавца-князя к обеду, к ужину, оставляя затем для беседы в гостиной, и в тот первый вечер, когда князь Иван, засидевшись, как обычно, у Великой Княгини, ни в полночь, ни за полночь не вышел от нее, Аграфена, счастливо проследившись, крестясь и сознавая, что: «Свершилось!» — кинулась к себе, рухнула на колени перед образом Богородицы (подняв для этого и мужа с постели и поставив рядом с собой) и молилась, молилась, славя могущество Пречистой Девы и Господа, их благородные дела и милость.

Между тем, как и предполагал Михаил Львович, братья Шуйские, Иван и Андрей, прибыв в Москву и

явившись ко Двору, недолго оставались спокойными. Особенно это относилось к Андрею. Осмотревшись и по-своему оценив возможности малолетнего Государя и правительницы при нем (Глинских как чужеземцев, в том числе и Михаила Львовича, он даже не брал в расчет), то есть поняв, насколько возросли шансы дмитровского удельного князя Юрия на великокняжеский престол (из остававшихся братьев покойного Государя Юрий был старшим), Андрей Шуйский решил действовать. Не зная и не подозревая, что за ним следят и что от него только и ждут действий, он отправился к своему влиятельному родственнику и одногодке Горбатову-Шуйскому и начал уговаривать его отойти к князю Юрию. «У малолетнего — чего же выслужишь? — говорил он. — А возвысится Юрий, и мы первые при нем». Но Горбатый-Шуйский отклонил предложение, и тогда князь Андрей, боясь доноса и желая упредить его, сам решил донести на Горбатого-Шуйского, что будто бы это Горбатый уговаривал его, только что вернувшегося из заключения, бежать к Юрию. Михаил Львович, выслушав в присутствии Шигоны и Воронцова донос, велел схватить сперва Горбатого-Шуйского, а затем, когда оговор открылся, схватить князя Андрея, его людей, а заодно и людей дмитровского удельного князя и учинить им допрос. Чтобы придать делу характер чрезвычайности, допрос сказано было проводить под пытками, и хотя даже подобная мера не дала или почти не дала никаких результатов, разве что кроме одного, что многие из допрашивавшихся княжат, детей боярских и холопов были замучены до смерти, но Елене все же доложили, что Андрей Шуйский будто бы вновь взялся за старое и подбивал бояр перебежать от Великого (трехлетнего) Князя Иоанна к Юрию и что если на самого Юрия и не удалось добыть прямых улик в измене, то для вящей верности (и пока есть повод) следовало бы удалить и его, дабы спокойнее править, не оглядываясь и не чувствуя над собой висящий топор. «Вчера вы крест целовали сыну моему, — ответила Елена, глядя на стоявших перед ней бояр во главе с дядей, Михаилом Львовичем. — Так и делайте, что надо для пользы Государства». Она сослалась на то, что все еще скорбит по мужу, тогда как и чувства, и мысли ее были уже всецело поглощены неожиданно возникшими отношениями с князем Ов-

чиной-Телепневым-Оболенским; ей требовалось время, чтобы сжиться и со своей новой ролью при Дворе, ролью правительницы, и с той новой любовной связью, с которой, во-первых, надо было таиться (таиться пока, как думала она) и, во-вторых, которую ни на час, ни на день не в силах была прервать; и ради этого своего, личного (и по-женски понятного) малого счастья в сравнении с общей судьбой державы Елена готова была перепоручить Михаилу Львовичу, Шигоне, Воронцову все, что касалось государственных, то есть наиважнейших для жизни страны и народа, дел. Дмитровский удельный князь Юрий в ту же ночь был схвачен вместе со своими боярами, холопами, закован и отвезен в ту же темницу, в которой томился и умер определенный туда Василием III юный царевич Дмитрий. Стены темницы все так же сочились сыростью, на неубранном (с тех пор!) полу еще видны были следы сундуков с казной, отправленных Василием несчастному царевичу, и ошеломленный случившимся князь Юрий скорее почувствовал (с первых же минут этого своего заключения), чем осознал, что ему уже никогда не выбраться отсюда; именем малолетнего Иоанна он был обвинен в измене и спустя полгода, уморенный голодом (по западному образцу, видимо, как все это представлял Михаил Львович), тихо, в молитвах и муках скончался, отдав душу Богу.

Малолетний Иоанн, причастный к совершившемуся злодеянию лишь тем, что по смерти отца был наречен Великим Князем, сидел на коленях у матери, когда пришли доложить ей о кончине князя Юрия. Елена на мгновение словно бы замерла, выслушав Воронцова, выдвинувшегося вперед Шигоны и Михаила Львовича (по каким уж там своим соображениям, но на сей раз говорить поручено было именно этому заговорщику), затем, справившись с охватившим ее волнением (ведь преступление, под каким бы предлогом ни совершалось, хоть на миг, но непременно сомнением или болью — при известии о нем — отдается в душе преступника), опустила Иоанна на пол и, повелев боярам идти в тронный зал, спустя четверть часа уже обсуждала с ними детали предстоящих похорон. Несчастливого удельного князя решено было предать земле ночью, тайно, чтобы не вызывать ни среди народа, ни среди придворных и иных вельмож ненужных толков и пере-

судов, и эта-то сторона дела — тайная — и вовсе не была известна малолетнему Государю всея Руси, чьим именем только и могло подобное совершаться в державе. Если что-то и мог запомнить тогда Иоанн (что, повторяю, весьма и весьма сомнительно для его лет), то лишь смятение, с каким мать, увидев Воронцова, Шигону и Михаила Львовича перед собой, опустила его на пол, и поспешность, с какой, бросив мамке Аграфене: «Присмотри», покинула затем детскую. Да еще мог бы запомнить, как наиважнейший придворный боярин Михаил Львович, всегда знавший только одну ласку — погладить юного Великого Князя по головке, — на этот раз только снисходительно окинул взглядом малолетнего будущего самодержца России и, подумав, видимо, про себя, что сего и приручить можно, с поспешностью же кинулся догонять уже маячивших спинами в дверях Шигону и Воронцова.

XCIV

Можно было бы сказать и так: сделав свое черное дело, Михаил Львович радостно потирал руки; не в буквальном смысле, разумеется, потому что никогда и ни в чем не позволял себе опускаться до привычек простолюдинов, тем более что к заветной цели, по существу, был сделан еще только первый, хотя и важный и, возможно, самый значительный шаг. Вместе с Шигоной, часто даже не оповещая Елену, он принимал иностранных послов, прибывавших в державу, решал дела вотчинные, пытался влиять и на духовные, правда, пока только намеками, в беседах либо с митрополитом Даниилом, либо с троицким игуменом Иоасафом, метившим в Первосвятители и вполне при поддержке все тех же Воронцова, Шигоны и самого Михаила Львовича имевшим на это шансы; словом, если быть точнее, многоопытный в придворных расстановках дядя Великой Княгини, поддержанный умирившим Василием, не то чтобы уже чувствовал себя хозяином во дворце, но с достаточной откровенностью давал понять, что вопрос сей решен и что измениться уже ничего не может. В душе, да-да, в душе — он потирал руки, как если бы то, что хотел приобрести, лежало в кармане и оставалось только поговорить с

Еленой и затвердить все. Он полагал, что со стороны племянницы не будет отказа (да ей просто деться некуда, думал он), и был немало удивлен, даже озадачен, когда вдруг, словно на стену, наткнулся на ее холодность. Было это весной, а когда в середине лета во второй раз решился (все по этому же вопросу) зайти к ней, Елена принимала его уже не одна, а вместе с князем Овчиной-Телепневым-Оболенским, который стоял рядом, по правую от нее руку, и надменным выражением голубых глаз куда сильнее, чем словами, говорил о своей при Великой Княгине значимости. Светлые волосы князя волнисто спадали на плечи, на ратные доспехи, в которые был одет и которые придавали его молодой, стройной фигуре величие, светлая и тоже курчавившаяся борода его, отличавшаяся от боярских тем, что не свисала клином на грудь, а лишь округло обрамляла светившееся самодовольством и здоровьем лицо, подчеркивая — в самом соку — возраст, и Михаил Львович, прежде не замечавший или почти не замечавший этого князя (мало ли кто отирается возле Елены, но — есть ли что выше родственной связи?), — Михаил Львович впервые и с ясностью вдруг понял, что, устраняя одну опасность, не уберется от другой, вернее, не сообразил по своим преклонным летам, что и у вдовой племянницы есть женская слабость и что ни трон, ни обладание властью не способны оградить ее от потребностей любви и жизни. Он словно бы очнулся, пристально и с прищуром разглядывая молодого, светловолосого и голубоглазого красавца-князя, неожиданного и властного, как можно было заключить по виду его, соперника, сумевшего уже основательно преуспеть у Елены, и, как это обычно и бывает в таких случаях, не найдясь сразу, что сказать племяннице и как поступить, Михаил Львович затем, вернувшись к себе, еще более растерялся и засуетился, хватаясь как за соломинку за те мысли, нелепые и невыполнимые в большей части, какие еще с живостью будто, как это казалось старому прожженному царедворцу, приходили ему; он получил удар, от которого, если с реальностью посмотреть на все, трудно или почти невозможно было оправиться, и тут неважно, что он думал о племяннице (что будто не ему, а себе она вырыла яму), и неважно, что, может быть, впервые по-родственному искренне беспокоился

за нее, — Елена была холодна и неумолима, она не допускала его к себе, не отвечала на его настойчивые (в записках) просьбы принять и выслушать, и в первых числах августа он! наконец по распоряжению князя Овчины-Телепнева-Оболенского был схвачен, закован и отвезен в темницу. Вместе с ним в ту же ночь схвачены были со своими людьми и Воронцов, и Шигона, и жизнь только еще раз подтвердила, сколь неизбежны насилие и кровь там, где делят власть.

Есть преемственность трудовая и есть деляческая, плодящая похожих как две капли воды друг на друга придворных интриганов, и — не от великого ума, разумеется (ведь стать любовником правительницы еще не означает стать государственным мужем), князь Овчина-Телепнев-Оболенский, объявив Михаила Львовича заговорщиком и отравителем Василия III, — по аналогии с тем обвинением, по которому дядя Великой Княгини будто бы пытался отравить польского короля Александра, когда служил ему, — не нашел ничего лучшего, как с тем же утонченным коварством действовать против него. Точно так же, как Михаил Львович уморил голодом дмитровского удельного князя Юрия, Овчина-Телепнев-Оболенский приказал голодом же уморить недавнего своего предшественника-временщика, и могучий властитель-чужеземец не протянул и полугода, как был уже — скелет скелетом — положен в гроб и тайно, ночью, как все тайное издавна делалось и делается у нас на Руси, вывезен в одну из подмосковных обителей, отпет и похоронен на монастырском кладбище, вблизи церквушки, среди безвестных, пребывавших будто бы в блаженном покое за свои земные иноческие труды чернецов. Чтобы не высылать свидетелей, Овчина-Телепнев-Оболенский сам сопровождал гроб с телом усопшего (так просила Елена), затем стоял на панихиде в церкви и на кладбище перед могилой, пока не вырос над ней темный земляной холм с крестом, а на рассвете, едва забрезжило белизной небо, был уже во дворце и ждал пробуждения Елены.

И с этого утра — точно те же честолюбивые планы, какие вынашивал Михаил Львович, скрывая их даже от друзей-заговорщиков, вынашивал и любовник Елены князь Иван Овчина-Телепнев-Оболенский. Как всякий временщик он, во-первых, не считал себя времен-

щиком и полагал, что положение его если и не совсем еще прочно, то тут лишь дело времени, и, во-вторых, чем сильнее, как это казалось ему, привязывал к себе Елену, тем дерзновеннее подумывал уже о великокняжеском троне. В конце концов, в жизни всякое возможно: возможно было замыслить и такое при недалеком уме и раздутом честолюбии, в чем, надо сказать, сей князь мало чем отличался от прежнего временщика или, точнее, от подобного рода исторических личностей; но между замыслом и осуществлением всегда есть расстояние, которое надо умело, если хочешь достичь цели, пройти, и, как тать, как безумец, пожелавший занять то, что не может и не должно принадлежать ему (в данном случае речь шла о державе и державной власти), — как тать, как безумец, единственно сознающий, что действовать надо в темноте и дерзко, князь Овчина-Телепнев-Оболенский решительно как будто, хотя и таясь в душе и с оглядкой, двинулся на стезю так называемой государственной жизни. Обстоятельства ни при Дворе, ни в стране не благоприятствовали ему. Правда, ни смуты, ни вроде бы намек на нее пока еще не было, духовенство служило в церквах, бояре, выставив бороды, сидели в Думе, сельский, посадский, торговый, мастеровой люд, поглощенный заботами дня, делал свое, ратники — свое дело; но при кажущемся спокойствии чувствовалось, что назревают события и что опала на Юрия и на Михаила Львовича — это только начало того зловещего, что вот-вот вихрем обрушится на державу и кроваво разгуляется по ней. Ведь давно замечено, что есть предчувствие масс, народа, и хотя до сих пор никто толком не может сказать, на чем оно основывается (на каких-то очевидных, разумеется, для современников приметах, по которым мысль, устремляясь в будущее, приближается более или менее к истине), но — для времени Елены характерно уже то, что правление ее, какие бы меры она ни решилась предпринять, воспринималось как деяния слабовольной женщины после властного, твердого, мужского правления Василия. Возможно, что и мнение это было не случайным, так как и о Государях, и о их супругах всегда складывается определенное при Дворе суждение; было такое и о Елене, ей не доверяли уже по ее яде-перебежчику, косились на нее и как на чужеземку,

особенно когда после похорон мужа первым возле трона поставила именно своего дядю-чужеземца; когда же сей могущественный, как это казалось всем, временщик был схвачен и обнаружилась ее связь с Овчиной-Телепневым-Оболенским, принялись осуждать уже за эту связь, то есть за распутство и за то, что над старейшими, родовитейшими мужами отечества посмела возвести сего выскочку-верхогляда. В сущности же, недовольство, казалось, выросло из ничего, из местничества; одни, может быть, более разумные бояре продолжали молчать и мириться с подобным положением, другие позволяли себе хотя и не громко, таясь, но все же роптать, а третьи, более решительные, начинали задумываться о побегах в Литву и Польшу. Но, как гласит давняя пословица: пока гром не грянет, мужик не перекрестится, в равной мере это можно отнести и к народу, и к великокняжескому Двору (да и ко всем, всем, включая и нынешних наших правителей), и для Елены и ее опекунов таким громом оказался вдруг объявившийся побег князей Бельского и Ляцкого в ненавистную тогда для Руси Литву.

Когда знатные или незнатные люди бегут из державы, это первый признак ее неблагополучия; и неважно, какими (для современников) эпитетами правители награждают сих беглецов, сих изменников, коими нарекают их, — проходят десятилетия, века, и правда восстанавливается, рассаживая судей и жертвы их по надлежащим местам. Но не из трусости, конечно же, люди покидают родную землю, и не от великого ума и силы спешат заклеймить их властолюбцы; за риторикой обвинений, исходящей из дворцовых палат, если приглядеться, всегда можно уловить то паническое настроение, тот панический страх переворота, который как раз и подталкивает предержателей корон на жестокость и несправедливость. Побег князей Бельского и Ляцкого был воспринят Еленой и первейшим ее советником как сигнал назревавшего переворота, и взоры их, естественно (да и прежде всего), были обращены в сторону старицкого князя Андрея. После гибели Юрия только он мог еще претендовать на престол и только вокруг него могли объединиться недовольные бояре. Надлежало срочно что-то предпринимать, и Овчина-Телепнев-Оболенский, признававший, видимо, из всех государственных мер лишь меру насилия и веривший

лишь в одну силу — силу ратную, кстати, уже использованную им в деле с Михаилом Львовичем, начал решительно выдвигаться на арену действий.

ХСV

Нам стараются внушить, как внушали народу прежде, что государство не может ни на день, ни на час, ни на минуту оставаться без правителя, что иначе наступят разброд, хаос, всеохватное беззаконие, смута, двинутся поработители, чтобы грабить и убивать, и, главное, что, дескать, все огромное простолюдьё, испокон привыкшее видеть над собой защитника и покровителя в лице князя, великого князя или царя (кем, впрочем, мнят себя по отношению к народу и все нынешние представители власти), — что, дескать, все огромное простолюдьё, как стадо, лишившееся вожака (вот, вот оно, истинное их, а не фарисейское мнение о народе!), разбредется, обессилеет и погибнет; в суждении этом, разумеется, можно разглядеть некую видимость правды, иначе никто бы и не поверил в него, да, повторяю, только видимость, так как сама правда, всегда (и привычно уже) скрываема властителями за пологом славословия, заключена совсем в другом: в страхе потерять власть, как для клеща тот кровеносный сосуд, из которого черпаются его силы, и в надежде на то, что народ, запуганный хаосом и поработением (как если бы и то и другое действительно может произойти мгновенно, то есть за день, час или за минуту), безоглядно присягнет кому повелят. Нет, жизнь, поданная в словах ли, картинах ли. и жизнь, реально протекавшая, столь же, видимо, в данном конкретном случае соотносимы друг с другом, как живой с мертвецом, и лучшим примером для подобного утверждения служит история, единственно дающая нам, если не искажена и не приукрашена, живой урок жизни. Государства если и не оставались без правителей, говоря точнее, если правители ни на час, ни на день, ни на минуту не лишались своих — династических ли, иных ли — державных корон, приносящих им славу, достаток, власть, то народ... Народ либо бросался на произвол судьбы, это в лучшем случае, либо отдавался на разграбление временщикам, которые,

сменяя друг друга, как грибы, выростали у тронов. Народ не в счет, о нем забывают, едва открывается возможность делить власть; и неважно, происходит ли это сегодня или происходило вчера, столетие назад или во времена Елены и после, когда вокруг малолетнего Государя столпился сонм бояр и будущий самодержец всея Руси, именем которого вершилось все, еще лишь набираясь кровавой боярской мудрости, в коротких штанишках бегал по палатам дворца, — все течет, все-все, но мало что или, вернее, почти ничто в глубинной сути свей не изменяется в противостоянии народа и власти.

В жизни любого государства, даже самого могущественного, всегда достаточно проблем, чтобы решать их; и лишь условно можно разделить их на внешние и внутренние, смотря по тому, какие в данный конкретный момент выдвигаются вперед и привлекают внимание. Есть периоды подъема экономического и духовного, есть периоды войн и упадка, но есть и так называемое безвременье, когда все, что призвано составлять и направлять общественную жизнь, — все, все ветшает, приходит в разрушение и тлен, и не в порче народа, как пытаются доказать некоторые социологи, тут дело, не в том, что люди перестали трудиться, потеряли ориентир и вкус к бытию; у народа всегда была, есть и будет своя жизнь, и если бы не мешали ему в обустройстве, не притесняли и не грабили — поборами, кабалой, набегами, — он процветал бы вечно именно по своему естеству, трудолюбию и разуму; у него нет программ самоуничтожения, самоедства, их обычно навязывали и навязывают ему, миражно выставляя перед ним врата к благоденствию, и я глубоко убежден, что до тех пор, пока, опомнившись, народ не добьется для себя истинного просвещения, он вновь и вновь и даже, может быть, с еще большей легкостью будет подвергаться обману, ограблению и унижению. Историки говорят, что ко времени воцарения Иоанна собиранье русской земли было либо уже, либо почти завершено и что оставалось только сообразовать и укрепить саму государственность, то есть структуру власти, и что дед и отец Иоанна, да и сам самодержец настолько преуспели в этом сложном деле сообразовывания, что заслуживают (в историческом, конечно же, плане) полнейшего одобрения. Если встать на точку зрения быту-

ющего тотального патриотизма, с помощью которого бросали и бросают в бой цвет нации, ее отборнейшую молодую элиту, под град осколков и пуль и губят ее (да и на так называемых великих стройках, испытывая холодом, голодом, надрывая здоровье и калеча физически и нравственно), — если встать на точку зрения этого возвращенного и оберегаемого предержателями власти патриотизма, коим неизлечимо уже как будто заражено общество, то ответ будет однозначен: «Да!» Да, отгрохали отцы-благодетели державу (усилиями, потом, кровью, костями простолюдинов) и так, добавлю, чиновничьи спеленали ее, что народу ни дыхнуть, ни пошевелиться, ни тем более встать во весь свой могучий рост. Но если, отбросив этот навязанный, ложный государственный патриотизм, встать на точку зрения того истинного, который построен не только на защите общественного будто бы, но и личного блага и который познается лишь двумя путями: обретением собственности и просвещенностью, то есть познанием истинных человеческих ценностей, то оценка прошлого будет иной: да, державу отгрохали, а толку не смогли или не захотели дать ей и поставили ее и весь простой люд в ней (своих же подданных, искренне веривших им) в условия вечной кабалы, забитости и застоя. Всякий свежий росток жизни, от которого можно было бы ожидать пусть хотя бы плодов просвещения, — как он уничтожался прежде, так уничтожался и теперь, едва зародившись, да и не кем-нибудь со стороны, а самими же нашими людьми-люмпенами, коим по темноте своей, невежеству или корысти нет будто бы ничего слаще, чем поедом есть друг друга. И пусть не думает читатель, что я искусственно стремлюсь наложить обстановку нашей действительности на прошлое; нет, нет и нет, скорее наш день и наши события есть зеркальное отражение прошлого — тех самых времен, когда великие князья и государи земли русской закладывали для нас сии злосчастные державные гены.

В исторических источниках больше всего похвал достается Ивану III, умевшему будто бы править прозорливо и просвещенно, и если-де не смог до конца оторвать нас от Азии, то по крайней мере настолько — и в политике, и в экономике, и в науках и искусствах — подвинул к Европе, что, сделай следующие властители еще хоть шаг в этом направлении, Россия

счастливого влилась бы в семейство цивилизованных западных государств: при этом раболепно добавляется, что почти все его начинания в державе оказались столь основательными и перспективными, что Василию хватило на все царствование продолжать дело отца, да и Иоанн, несмотря на болезненное свое стремление к оригинальности, до смерти почти следовал им же. К слову сказать, и многие последующие Государя всея Руси не без пользы для себя оглядывались на деяния Ивана III. Но что же все-таки он совершил, чем прославился сей высочайший благодетель: удушением Новгорода, то есть последней на Руси вольности, подав пример коварства и жестокости Василию и Иоанну; развитием искусств, наук, ремесел, но — что же могло измениться в быту народа, в его жизнедеятельности, если плоды просвещения даже близко не попадали ему; ими пользовались лишь в палатах владык светских и владык духовных, и — не фарисейство ли, когда искусству для князей пытаются придать общенародный, чуть ли не общенациональный характер? Далее: развитием торговли? Во-первых, привозилось мало, да и то, что привозилось, оседало в кладовых великих князей и их челяди, а уж затем, если оставалось, перепадало иным, но тоже государевым людям. Простому же человеку полагалось лишь дивиться великокняжеским нарядам и вещам. Закордонные — ганзейские ли, английские ли — купцы за подобные ублажения предержателей власти и их вельмож получали преимущество в торговле по сравнению с купцами отечественными и, как это только и могло происходить, наживались за счет россиян и обирали их. Вслед за дедом и отцом Иоанн особенно поощрял подобную торговлю. Можно, конечно, возразить, что не все было так, что многое выглядело иначе, и — кто может сегодня измерить выгоду и ущерб от такого ведения дел? Нельзя отрицать, что было и полезное, да и я не отрицаю; народы должны общаться, обмениваться открытиями, торговать, но отчего лишь дурное воспринимается нами от подобных отношений и мы не перенимаем главного, что не разрушает, а укрепляет достоинство и личность в человеке, делает его гражданином, хозяином; до сих пор так и не отдана у нас земля крестьянам, и держим мы их в батраках, тогда как в тех самых западных странах уже тогда, в том

изначальном для нашей государственности веке, у каждого клочка земли был свой владелец, крестьянин трудился на земле, горожанин в городе, и ни те ни другие не были лишены собственности — самой органичайшей движущей силы жизни. Господи, да есть ли хоть кому-либо и ныне дело до народа, его нужд, страданий, радостей? Кто искренне хотел бы помочь народу — бессилен, а у кого сила и власть — озабочены ее упрочением и устройством. Так происходит сегодня; так было всегда; такой и досталась держава Елене с ее малолетним сыном-Государем, и вопрос для них заключался не в том, что России опять, как и прежде, угрожали Казань, Крым и Ливония, каждую минуту готовые вскинуть меч на ослабленную Москву, то есть не в жизненно важных для государства проблемах, а в интригах, поочередно, в третий уже за полугодие раз, вспыхивавших при Дворе и представлявших опасность для трона.

ХСVI

У Овчины-Телепнева-Оболенского, чтобы начать действовать против старицкого князя Андрея, не было под рукой Шуйских. Но, как и при всяком грязном деле, примкнув к которому, можно достаточно поживиться, сейчас же и словно из-под земли возникли нужные люди. Люди эти старательно донесли князю-временщику, что еще в сороковину по смерти Василия, когда Елена, отказав князю Андрею в просимых им городах, кои он собирался присоединить к своей вотчине, преподнесла вместо них традиционные собольи шубы да коней с отделанными серебром седлами и сбруей при них, — еще тогда, на сороковину, удельный князь будто бы выразил недовольство правительницей, а вернувшись в Старицу, даже прилюдно пригрозил, что будто бы никогда не простит ей этого. Так ли все было на самом деле и мог ли обычно веселый, жизнерадостный, добродушный и довольный всем князь Андрей проявить столь неразумное раздражение, или всего лишь сработала молва, пущенная в ход каким-либо затаенным завистником, кои всегда отираются возле личностей, кормятся за счет их и затем их же и предают, или, что достовернее, удельный князь и говорил, и действовал лишь в контексте общего недо-

вольства, поддавшись настроению большинства, вернее, искушению хоть раз в жизни подняться против силы, от рожденья будто бы нависавшей над ним и давившей его, — трудно установить; ясно лишь, что для Овчины-Телепнева-Оболенского это был повод, был тот порог, от которого следовало начинать дело, он тут же напомнил Елене о недовольстве Андрея, что старицкий добряк не столь уж и благодушен, если, не таясь, бросается подобной угрозой, и что нет ли тут связи между ним и бежавшими в Литву изменниками Бельским и Ляцким, то есть дал понять, что не затевается ли заговор против законных правителя и правительницы (чем, разумеется, встревожил и напугал Елену), а в Старицу были посланы люди, чтобы внушить князю Андрею мысль о недоброжелательстве к нему со стороны Елены, способной-де в одночасье расправиться и с ним, как с Юрием. Подобное (подстрекательское, конечно же) сообщение по замыслу Овчины-Телепнева-Оболенского должно было побудить старицкого князя к действию: засуетится, забеспокоится, а растерянность и раздраженность — не лучшие советники, натворит глупостей — и вот он, тепленький, в сетях; и династическая честь защищена, и вина доказана, а там — все в руках Божьих.

Подобный прием, когда обманом провоцируются и стравливаются стороны, известен давно; он не то чтобы стар, но древен, и можно только диву даваться, как это ни во времена Елены, ни теперь люди не могут уяснить для себя всей простоты сего ужасающего приема и, словно простаки, клюют на обман, возбуждаются, ожесточаются и плодят беззакония, страдания, смерть. Да есть ли, так и хочется задаться вопросом, такое понятие, как просвещенность, и предшествует ли вообще хоть что-либо нашей жизни, что мы могли бы воспринять, осознать и, осознав, не повторять? Увы, одно дело — удивляться, восклицать, сетовать и совсем другое — стоять на том повторяющемся кругу жизни, на каком так ли, иначе ли оказывается каждое поколение, отрицая и круг, и самую мысль о повторении. Власть сиюминутных страстей, видимо, всегда выше разума, и только это, наверное, и позволяет временщикам ли, когда на кон ставятся судьбы держав, иным ли каким (меньшего масштаба) злым силам создавать ситуации, нагнетать обстановку, очерств-

лять, губить и нравственно и физически души людей. Как и в великокняжеском дворце, в Москве, в палатах Елены и среди ее окружения, так и в Старице, на подворье удельного князя и среди его окружения, обстановка, казалось, нагнеталась не по дням, а по часам. Как челноки засновали между Москвой и Старицей посланцы чиновные и так называемые доброхоты, то есть явные и тайные подручники временщика; они доносили не то, что видели, что было в действительности, а то, что предписывалось им видеть и доносить, и — не прошло и двух, трех недель, как в напуганном воображении Елены старицкий князь предстал необратимым изменщиком и заговорщиком, а в столь же напуганном воображении удельного властителя зловеще встал образ правительницы, только и занятой будто бы тем, чтобы схватить и погубить его. Ни очное объяснение, на какое с неохотой и осторожностью, но все же решился князь Андрей, ни грамота, взятая с него о поддержке правительницы и Иоанна, не изменили положения, а, напротив, лишь еще более осложнили все.

Овчине-Телепневу-Оболенскому, между тем, казалось, что теперь стоит лишь, как медведя из берлоги, выманить князя Андрея из Старицы, как сейчас же все решится, князь почует неладное, еще более засуетится, боясь мстительной правительницы, побежит в Литву и, схваченный, так сказать, с поличным, уже не сможет оправдаться. Нужен был лишь предлог, чтобы пригласить старицкого князя в Москву, и вскоре предлог такой объявился. Елена решила собрать знатных бояр, воевод на совет по казанскому делу (это был как раз тот момент, когда освобожденного из заключения и обласканного великокняжескими дарами бывшего казанского царя Шиг-Алея вновь решено было посадить на казанский престол как надежного подручника Москвы и среди юртовой казанской знати уже зрел для этого заговор; Россия, к слову сказать, не раз уже пыталась с помощью подобных властителей-подручников усмирить и приручить Казань, и это была лишь очередная и неудачная, как выяснилось потом, попытка); боярам и воеводам было разослано приглашение от имени малолетнего Государя и Елены; послано таковое и в Старицу, да еще направлен доброхот, должный тайно предупредить князя, будто вызов в

Москву — это лишь уловка и что следует крепко подумать, прежде чем отправиться ко Двору. Можно представить, какое впечатление произвели на старицкого князя эти два сообщения. В сущности, он загонялся в угол, из которого, куда ни ткнишь, всюду погибель. Князь Андрей не то чтобы боялся Елены как правительницы, но боялся как чужеземки, не способной осознать всего глубинного значения корневых великокняжеских основ, и боялся бояр, которые, он знал, вились возле нее и которым еще важнее было для своего возвышения свести на нет династический род; но, кроме этих политических, как мы бы сказали, опасений, была еще житейская сторона дела, которая повлияла или могла повлиять на решение князя Андрея. Шла первая половина апреля, снега всюду поосели, дороги размякли, реки вскрылись, наступала пора морозящих дождей, заморозков, туманов, когда не только в поле, но и на подворье все казалось пропитанным промозглой сыростью, выезжать в такую погоду не хотелось, и, сказавшись больным, князь Андрей остался в Старице безвольно дожидаться (авось пронесет!) исхода столь неприятно складывавшихся для него событий.

Елена повторно направила гонца в Старицу, настоятельно требуя, чтобы князь явился в Москву, затем послала придворного лекаря-немца Феофила (того самого, который не столько лечил, сколько устраивал свое благополучие и кормился от щедрот покойного Государя), и когда Феофил доложил, что болезнь у князя мнимая, что дело, как видно, не в болезни, а в чем-то другом, более важном, чего он, лекарь, не может ведать; и когда следом за докладом Феофила пришло сообщение, что вокруг старицкого князя появились некие лишние люди, коих у него никогда прежде не было, и что люди эти не сказывают, откуда и для чего собрались у князя, — сомнений ни у Елены, ни у временщика при ней уже не было: предстояло действовать, и действовать быстро, решительно, чтобы не допустить бегства и перехватить изменника, и для этого в ночь к Волоку посланы были полки под началом князя Никиты Хромого-Оболенского и князя Овчины-Телепнева-Оболенского. Временщик со своим хотя и не очень близким родственником спешил, ему надо было выказать преданность и службу Двору, дабы оправдать перед честным миром свое возвыше-

ние. Но не вполне, видимо, доверяя ему, а, может, только для подстраховки, для надежности, желая избежать, как трактуют историки, излишнего кровопролития, Елена тут же, в ночь, снарядила в Старицу еще одно посольство, составленное из трех видных духовных лиц: крутицкого владыки, симоновского архимандрита и спасского протопопа, наказав им, чтобы попытались еще раз уговорить князя Андрея прибыть в Москву, а на случай, если откажется, наложить на него проклятие. Меры Москвы казались и в самом деле необходимыми и решительными, но и в Старице, чувствуя надвигавшуюся угрозу, по-своему готовились противостоять ей. К подворью удельного князя уже с вечера начали стекаться ратники, а сам князь, желая, как и Елена, видимо, бескровно уладить дело, в окружении близких к себе людей диктовал дьяку наказ, адресованный Великому (малолетнему) Князю и Государю всея Руси Иоанну. «Ты, Государь, — отчеканивал слова князь Андрей, которые дьяк едва успевал записывать, — приказал к нам с великим запрещением, чтобы нам непременно у тебя быть, как ни есть; нам, Государь, скорбь и кручина большая, что ты не веришь нашей болезни и за нами посылаешь неотложно; а прежде, Государь, такого не бывало, чтобы нас к вам, государям, на носилках волочили». Дьяк обернулся, намереваясь было сказать, что подобными речами мира не достичь, а что, напротив, это лишь сильнее раздражит и правительницу и бояр (в конце концов ведь не малолетнему же Иоанну предстояло решать все), но князь Андрей, поскольку в эту минуту и в нем, очевидно, страсти преобладали над разумом, резко прикрикнул на дьяка: «Пиши!» — и с тем же скрытым вызовом додиктовал послание. Его передали князю Федору Пронскому, и, едва начало смеркаться, он с надежной охраной на рысях отбыл из Старицы в Москву. Но ему не удалось добраться до столицы. По дороге люди Овчины-Телепнева-Оболенского перехватили его на берегу речушки, у переправы, вспыхнул короткий бой, Пронского и его людей заковали в колоды, но в этой скоротечной схватке одному из ратников, сыну боярскому Сатину, как повествуют летописцы того времени, удалось ускользнуть. На рассвете он прискакал в Старицу — весь в грязи, мокрый, с окровавленной рукой — и, рухнув на пол перед князем

Андреем, сообщил ему, что и Пронский, и все бывшие с ним люди схвачены и что, видимо, полки Еленины вот-вот будут в Старице, чтобы схватить самого князя. Почти тут же пришла весть из Волока, что и там полки и что путь на юго-запад, к границе с Литвой, отрезан.

ХСVII

Но оставался еще открытым путь на север, к Новгороду, и сподручно ли, не сподручно ли было князю Андрею идти туда, но он не имел выбора. К тому же с новгородцами, постоянно терпевшими притеснения от Москвы и признававшими (на тот период, разумеется) над собой лишь один княжеский род, род Шуйских, сложились у князя Андрея если и не дружеские, то, во всяком случае, неплохие отношения (ведь он тоже, как мы бы сказали теперь, притеснялся центром), и, может быть, это-то и подтолкнуло его к действию. Не медля ни часа, он собрался с обозом, семьей, воеводами, служившими ему, и ратниками и второго мая, еще всюду на полях и по низинам плотно лежал утренний молочный туман, двинулся к новгородским областям. Впереди себя велел отправить надежных детей боярских с грамотами, в которых, обращаясь к новгородцам и окрестным поместным людям, словно бы напоминал им, что «Князь Великий молод, держат государство бояре, и вам у кого служить? Я же вас рад жаловать». Видимо, ему ничего не оставалось, как пойти на такой шаг — открытое противостояние Елене и Иоанну; одни историки осуждают его за это, другие признают, что иного старицкий князь и не мог предпринять, чтобы спасти себя, семью, достоинство и честь рода, и упрекают лишь за недоразумительность, неподготовленность и поспешность, обрекавшие предприятие на провал. И все же — по мере того как князь Андрей продвигался с обозом и войском к новгородским областям, к нему присоединялись все новые и новые люди, частью недовольные тогдашней прижимной политикой Москвы, частью лишь просто для того, чтобы поразмяться, как говорили тогда, поиграть застоявшейся в плечах силой, а заодно и поднажиться за счет насилий и грабежей. При каждом серьезном деле непременно являются подобные охот-

ники, и сколько стоит мир, столь и не иссякает резерв сих темных, авантюрных примыкателей. Уже на второй день похода в полках князя Андрея открылась измена, несколько детей боярских бежали из стана, одного из них удалось поймать, его пытали, связав и опустив по самую шею в ледяную воду, и, когда он в числе заговорщиков назвал поименно почти весь свой полк, дело было прекращено и замято; и, может быть, на этом бы и завершился бесславный поход старицкого князя, если бы в это самое время не появился в стане верный князю Андрею воевода князь Юрий Оболенский с отрядом детей боярских и ратников. Неделю назад сей воевода по распоряжению Елены был направлен с этим же своим отрядом в Коломну, но, узнав, что его хозяин, покинув Старицу, спешным порядком движется к Новгороду, нарушил приказ правительницы и поспешил на подмогу к своему властелину. Он догнал князя Андрея на Березне, у Едровского яма, но в тот же день и почти в тот же час настиг князя Андрея другой Оболенский — Овчина-Телепнев, и, преградив Андреевым полкам путь к Новгороду, встал лагерем в Тухоле, верстах в пяти от Зайчьего яма, и изготовился к бою.

На рассвете полки князя Андрея, усиленные отрядом воеводы Юрия Оболенского и новгородцами, и полки князя-временщика Ивана Овчины-Телепнева-Оболенского, посланные будто бы Еленой и Иоанном, как если бы малолетний Государь и впрямь мог кого-то куда-то посылать, выстроились по обе стороны большого пахотного поля с только-только начавшей куститься озимой рожью, имея позади себя: князь Андрей — лес и деревню за лесом, в которой располагались обоз и резервный полк, а князь Овчина-Телепнев-Оболенский — раздольное, словно океанская волна, взгорье с кустившимися по нему дубровником и березняком. Пушек не было; предполагалось, что все решится в схватке, и оба князя в полном вооружении, на конях (и в окружении сопровождавших их лиц), чуть выдвинувшись вперед войск, старались разглядеть и оценить обстановку. Туман, застилавший округу, медленно, словно растворяясь над землей, стекал к реке, к оврагу и открывал пространство и ратников. На рожь, на траву ложилась роса, по-весеннему обильная и подернутый сиреневой дымкой березняк, вот-вот гото-

вый одеться в зелень, и сучковатые, не разбуженные еще от зимы дубы, и зеленыя озимых, и луг, и речка, и небо, спешащее расчиститься от облаков для солнца, — все, все это, словно картина на полотне, было развернуто перед глазами противостоявших друг другу князей, воевод, ратников. Великий Толстой в одном из рассказов написал с удивлением и недоумением, что как это люди на фоне неповторимой, умиротворяющей, созданной лишь для жизни и радости природы думают не о жизни, а готовятся убивать друг друга; великому гуманисту казалось, что любое сражение, большое или малое, противоречит естеству человека и его разуму и что только безумцы способны подвигать общество на подобные кровопролития. Но многовековая история наша и история мировая, к сожалению, изобилуют именно примерами неразумия и безумства, и ни красота, которая должна спасти мир, как заявил другой знаменитый романист и философ, ни столь же вековые призывы к справедливости и добру, прозвучавшие, может быть, в тот самый день, как образовалась первая общность, — ничто не удержало человечество от войн, разрушений и разграблений. Видимо, столь же в человеке заложено стремление к разуму, сколь и сильны в нем инстинкты к дикости, нацеливающие его к захвату территорий, богатств и власти. Но одно дело, когда стоят, изготовившись к бою, войска защитников и войска поработителей, и совсем другое, когда свои против своих, как было теперь, здесь, на Березне, вблизи Тухоля и Зайчьего яма (как, впрочем, не раз и не два и до, и после этого бывало у нас на Руси, и в чем, пожалуй, мы и по сей день держим первенство среди других народов и государств). Что же заставляет простых людей надевать доспехи ратников и идти на безумие? Россияне — может быть, самый по характеру незлобивый, терпеливый и доверчивый люд, им нечего делить, кроме разве клочка земли у порога, как было всегда и как сохраняется, несмотря на великие большевистские посулы, и теперь; но делеющие власть в Кремле втягивают их в свою кровавую схватку, и приведенные к верности и вдохновленные все тем же обманно-государственным патриотизмом вчерашние сеятели и кормильцы готовы убивать друг друга. Так и хочется воскликнуть: да будет хоть когда-либо воспринят народом сей поучительный исторический урок?

Ответа нет, глухо. Видимо, красота действительная не в силах соперничать с красотой воображенной, и прав обычно оказывается не тот, кто несет истину, а тот, кто пусть обманно, пусть самой что ни на есть грубой ложью возбуждает в людях надежду на благо и счастье. Так где же разум, где же справедливость, и озарит ли она когда-нибудь своим радужным светом души несчастных простолудинов?

Когда окончательно рассвело, полки увидели друг друга, и стало ясно, что сражения не избежать; когда, иначе говоря, пора было с той ли, другой ли стороны проявить решительность, — войска, словно замерев, продолжали стоять перед полем озимой ржи, как перед свеженакрытой малахитовой скатертью, которую нельзя было и страшно было запятнать кровью (во всяком случае, могло быть и это чувство: все по той же логике, что красота спасет мир), и со стороны ли князя Андрея, который не был уверен в своих ратниках, разумеется, по более важным причинам, чем только умиротворяющая ясность майского утра, со стороны ли Ивана Овчины-Телепнева-Оболенского, у которого тоже имелось немало оснований для беспокойства за надежность подчиненных ему полков (по количеству ратников, как говорят историки, силы были примерно равны), — как следствие нерешительности явилось предложение провести прежде переговоры, чем начинать дело. С той и другой стороны войск к середине ржаного поля выехали князь Андрей в сопровождении воевод (кстати сказать, настроенных на сражение и не желавших мира, который, как предчувствовали они, ничего не мог дать им, кроме обмана и расправы над ними и князем) и князь Овчина-Телепнев-Оболенский, окруженный верными ему воеводами и боярами, которые, напротив, понимая непредсказуемость исхода битвы, предлагали временщику пойти на любой обман, любую хитрость, лишь бы заставить старецкого князя отказаться от своей затеи и поехать с повинной в Москву к правительнице и малолетнему Государю. В нескольких саженьях друг от друга всадники остановились. Сняв шлем и оголив свою белокудрую голову, Овчина-Телепнев-Оболенский заговорил первым. Он сказал, что не имеет зла на князя Андрея, что и правительница и Великий Князь Иоанн полны христианской милости и готовы простить раскаявшегося и что него-

же родовитому князю оставлять «гробы родительские, святое отечество, жалование и бережение Государя своего, Великого Князя Василия, и сына его». «Да ехал бы ты к Государю и к Государыне без всякого сомнения, и мы тебя благословляем и берем на свои руки». Лицо Овчины-Телепнева-Оболенского выглядело настолько открытым и добродушным, да и весь он казался настолько искренним, будто никогда не задумывал и не способен был задумать ничего тайного ни против кого, что невозможно было даже предположить, чтобы он лгал; и хотя считается, что лицо и глаза — зеркало души, но скорее, не зеркало души, а тот основанный будто на правдивости инструмент обмана, каким испокон и успешно пользовались и продолжают пользоваться незаурядные в артистизме, но нечистые на руку люди. Но пока осознание этого обмана явится к князю Андрею, пока (в темнице уже) сей роковой миг предстанет перед ним в истинном значении слов и действий, вернее, доверчивости и бездействия с его стороны, — должны пройти время да и определенные события, чтобы охладилась страсть и возобладал разум; теперь же, когда, глядя на него, все ждали, что он ответит, и когда, предваряя ответ и в знак примирения, разумеется, старицкий князь снял шлем и оголил голову, вздох облегчения, казалось, прокатился по рядам доселе неподвижно стоявших полков.

ХСVIII

После устроенного Овчиной-Телепневым-Оболенским застолья, на котором князья, только что противостоявшие друг другу, в присутствии воевод, бояр с той и другой стороны по-братски обнялись, вполне будто бы удовлетворенные исходом дела, они в спешном порядке, чтобы к утру быть у Елены, сели на коней и, наказав полкам двигаться: одним — в Москву, другим — к Старице, — в сопровождении близких к себе людей покинули стан. До полуночи не слезали с коней, измотанных гонкой и почти уже валившихся с ног; затем, подремав несколько часов в обители, где перепуганный игумен предоставил им свои палаты и все имевшиеся лучшие кельи, согнав иноков в сырую и

холодную каменную трапезную, и, получив подставу, вновь были уже в седлах и мчались где по проселку, где напрямик, через посевы, топча их, к стольному державному граду. Овчина-Телепнев-Оболенский держался впереди, увлекая и торопя всех. Он, казалось, не скакал, а летел как на крыльях, восторженно воображая, с каким торжеством явится теперь к Елене (главное же, представляя себе, насколько ближе был теперь к заветной цели); и неважно, что не состоялось сражение, не пролилась кровь, не захвачены знамена, пленные, — он одержал победу, которую так ждала от него Елена, и мысленно уже принимал вознаграждение. По-своему испытывал удовлетворение и князь Андрей; хотя, кроме упреков и новых ограничений, нечего было ему ждать от Елены, и все же — мучительная неизвестность теперь отступит от него, все объяснится, и жизнь вновь — и для него, и для семьи: жены и сына Владимира — войдет в прежнее спокойное русло; он думал о Старице, о вотчине, которая хотя и мала, но своя, и утешительная мысль эта, будто и он, как Овчина-Телепнев-Оболенский, мчался к славе и власти, укрепляла его. Конь под ним (из великокняжеских, как видно, конюшен) шел играючи, легко неся его негрузное, хотя и в доспехах, худощавое тело, и, как ни символично было, что мчались навстречу поднимавшемуся утру и дню (навстречу определенности, как это воспринималось князем Андреем), что-то гнетущее все же, казалось, нависало над кавалькадой и сопровождало ее; даже окрыленный успехом временщик, мысленно принимавший, как уже говорилось, награды и поздравления, — даже он, гордо подставлявший ветру непокрытую белокудрую голову, нет-нет да и оборачивался на плененного удельного князя, как будто желая уже теперь соизмерить с историей ценность происходящих событий. Пожалуй, он один только знал, что совершалось или, скорее, уже совершилось в эту ночь в стане на Березне, близ Тухоля и Зайчьего яма, и в Новгороде, куда для укрепления будто бы были посланы полки Никиты Хромого-Оболенского, и где, с вечера войдя в город, свирепствовали ратники этого воеводы. Они хватали, как им представлялось, изменников, били кольями, заковывали, пытали; с княжеского подворья, на котором орудовали сии подручные Хромого-Оболенского, всю ночь доносились

мученические стоны, пугавшие затворившихся по избам и не смыкавших глаз горожан, и эти-то стоны, но не как предзнаменование затяжного народного бедствия, а как ступень восхождения к власти, казалось, умиротворяли душу временщика. Еще более ужасающее происходило в стане на Березне, близ Тухоля. Андреевы полки неожиданным, лихим наскоком были разоружены, воеводы и бояре схвачены; их согнали в избу, а в ночь, в эти сумрачные еще предрассветные минуты, когда не ведавший ни о чем старицкий князь приближался к Москве, их по одному вздергивали на дыбу, добываясь признания в измене и заговоре.

Коварство страшно тем, что от него нет защиты; когда оно открывается, обычно поздно бывает что-либо предпринимать. Мысль эта, что его обманули, пришла старицкому князю лишь во дворце, когда он дожидался приема правителя и правительницы. Великий Князь и Государь всяя Руси Иоанн еще нежился по малолетству своему в постели, да и Елена, желая, видимо, показать власть, не торопилась приступить к разговору. Сопровождавших князя бояр и детей боярских увели в соседнюю, как сказали, палату, чтобы покормить, но — шло время, а они не возвращались; кроме того, у дверей палаты, где находился князь, появились какие-то незнакомые, странные люди, державшиеся, однако, весьма вольно, и у князя Андрея складывалось впечатление, что если он и не схвачен еще, то с минуты на минуту, то есть вот-вот, должно произойти это страшное, чего он, помня об участии брата Юрия, больше всего опасался. Несколько раз к нему заходил Овчина-Телепнев-Оболенский. Князь Андрей вскакивал, чтобы объяснить с ним, но временщик, по-своему озабоченный чем-то или, может, только игравший в озабоченность, выказывая незаурядные свои задатки артистизма, столь всегда, как и ныне, необходимые деятелям при Дворах, — временщик лишь жестом давал понять, что надобно подождать еще, что он не в силах диктовать правительнице, и, подозрительно оглядев комнату, столь же торопливо, как входил сюда, удалялся из нее. Только в двенадцатом часу дня пришли от правительницы бояре и, словно под конвоем, повели князя Андрея в тронный зал. Елена, по подсказке ли временщика, по своей ли амбициозной прихоти, не захотела по-семейному решать

дело, а предпочла придать ему государственный характер, что заранее уже обрекало старицкого удельного князя на опалу и казнь.

Люди, взятые по отдельности, большей частью добры; но когда собираются вместе, уже не закон личности, а закон толпы начинает возобладать над всеми. Толпа по ложной, но красиво поданной посылке может одинаково возликовать и одинаково ожесточиться и творить беззаконие и зло. Подобное свойство вполне можно было бы назвать ахиллесовой пятой общества. Распознав ее, видимо, еще в древней древности, правители и поныне успешно используют ее, и хотя Елену, образованную будто бы по-западному, нельзя считать искушенной в подобных политических играх или интригах, но с точки зрения своих интересов она поступила так, как только и следовало поступить ей. Тронный зал, когда Андрей вошел в него, был полон, сошелся почти ведь Двор и все кремлевское духовенство во главе с Первосвятителем митрополитом Даниилом; ведь разбирался, как было оглашено, не династический семейный скандал, а дело о государственной измене, и желающих поглазеть (а тяга эта, равно как и в народе, бытует и среди вельмож), чтобы затем иметь право сказать, что и «я был» и «я видел», а при случае и выказать верноподданническую преданность, — желающих было столько, что за рядами бояр некуда было упасть яблоку, так стиснуто, голова к голове, стояли вельможные, всех родов и рангов дворцовые слуги. Прямо впереди, на троне, восседал Великий Князь и Государь всея Руси (как он именовался в ту пору) Иоанн. Шел ему четвертый год, и, как все мальчишки-барчуки в эту пору, ухоженные, богато одетые и причесанные, он выглядел кукольно красивым. Черные волосы его, то ли курчавившиеся от роду, то ли немного завитые, картинно обрамляли его розовощекое (горбоносость тогда еще не проступала так, как позднее, в зрелые годы и в старости) лицо, спадая крупными волнистыми локонами на спину и плечи, прикрывая маленькие уши и белую и в белом же воротничке шею, да и сам он в великокняжеской, шитой золотом (и, разумеется, на его рост) одежде словно бы утопал на безмерном относительно его детского тельца троне. Он сидел так, придвинутый к спинке, что не мог согнуть ног, и они, обутые тоже в позолоченные сапож-

ки, — снизу, от бояр, казались росшими прямо от головы. Малолетний Государь удивленно, даже слегка испуганно поводил глазами, не понимая, что происходит, для чего он здесь, среди взрослых, с вожделем и любопытством разглядывавших его; он то оборачивался на мать, сидевшую по правую от него руку и тоже одетую с необычной торжественностью, то на митрополита, стоявшего по правую (и тоже в торжественном облачении) руку, но более на мамку, боярыню Аграфену Челяднину, которая вернее всех по детскому пониманию его могла объяснить суть дела. Несмотря на то, что лучи солнца не проникали сюда сквозь окна, в зале было достаточно светло, так что вполне можно было разглядеть и хмурые лица бояр, сознававших, как было видно по ним, тяжесть государственного вопроса, который предстояло решить им (в сущности же, лишь подтвердить желание Елены и желание временщика), и лица особ духовных, выстроенных как по ранжиру, по сану и званиям от Первосвященителя к двери и тоже, как и бояре, с высшим будто бы осознанием ответственности и прав, предоставленных им людьми и Богом, готовые не на милость, как следовало бы ожидать от них, а на необходимую будто и оправданную жестокость; да, уже по этим лицам, на которые падал из окон дневной свет, можно было ясно понять, что готовилось совершиться; но то ли правительнице, то ли митрополиту Даниилу показалось, что света этого недостаточно, и по обе стороны трона были поставлены и зажжены свечи; они горели в высоких позолоченных подсвечниках и придавали грандиозность этому торжеству и великолепию.

ХСІХ

Но не великолепие, не торжественность удивили князя Андрея; он бывал и на более пышных, какие устраивались в великокняжеском дворце Василием III и на которых Василий усаживал князя Андрея справа от себя на почетном месте; удивило же и поразило теперь другое — обилие бояр, духовенства и всякого иного чиновного при Дворе люда, прежде и на порог не допускавшегося при разбирательстве подобных (семейных, как все же полагал старицкий удельный князь)

дел. Он чуть приостановился, пытаясь сообразить, для чего созданы были сюда эти люди и что могло скрываться за столь странной предусмотрительностью, но, как это обычно и бывает в таких случаях, когда готовишься к одному, а встречаешь другое, — только сильнее забеспокоился, и не обладавший и раньше необходимым для персон его круга и положения мужеством, так и продолжал, горбясь, стоять у дверей, словно простреливаемый обращенными на него тяжелыми взглядами бояр, правительницы, духовенства. То, в чем минуту назад князь Андрей еще сомневался, — что его схватят — теперь представляло более чем реальностью, и если на что и можно было еще надеяться, то лишь на честность временщика, на его заверение: «...а мы тебя благословляем и берем на свои руки», какое дано было им на ржаном поле близ Тухоля и Зайчьего яма и в которое, высказанное столь искренне, нельзя было не поверить. Князь Андрей, как ни было панически распылено его внимание, кинулся искать глазами этого спасительного для себя сейчас князя. Он искал его возле трона, где восседала правительница, но ведь при Дворах ни прежде, ни теперь не любят импровизаций; давно стоявший наготове возле дверей Овчина-Телепнев-Оболенский вдруг, словно вынырнув из-за спины князя Андрея, с резвостью, присущей его молодым летам, и степенностью, к какой обязывало положение, двинулся вперед, к трону, кивком пригласив старицкого князя следовать за собой. Временщик выглядел торжественным и красивым, как только могут выглядеть полководцы, вернувшиеся из победоносных походов, и хотя, повторяюсь, сражения не было, не пролилась кровь в открытом бою, но значение успеха от этого не умалялось, а, напротив, только более возрастало; ведь не города же ходил брать, не земли, а пресекал измену и спасал отечество, и — кто и в чем мог упрекнуть его? Поклонившись и испросив дозволения говорить, Овчина-Телепнев-Оболенский не стал лукавить; да и к чему мелочиться в домыслах, когда для обличения достаточно сказать лишь то, что было, — собрал войско, шел поднимать Новгород и рассылал грамоты, чтобы возмутить народ; не слукавил и относительно заверений, какие дал князю Андрею от имени Государя и правительницы; он как бы и себя выставлял на осуждение и тем еще выше (нравственно

уже) поднимался в своем успехе. Даже князь Андрей, совершенно уже как будто раздавленный тяжестью обрушившихся на него обвинений, — даже он, загнанный, по существу, в угол интригами временщика, благодарным взглядом окинул его.

Все смотрели теперь на князя Андрея и ждали, что он скажет; ждали покаяния, которое одно только и могло спасти его, но Елена не дала ему говорить. Она поднялась и волею своего малолетнего сына, Великого Князя и Государя всея Руси Иоанна, начавшего уже от неподвижности елозить на троне, неспешно и оттого, казалось, величественно перечислила все давние и недавние неправды, числившиеся за старицким князем, не преминув с укором добавить, сколь щедро он бывал жалован и своим братом, покойным Великим Князем Василием III, и сидящим теперь на державе ее сыном Иоанном, и ею; для Елены важно было, видимо, произвести впечатление, создать подобие справедливости, и, заметив по сосредоточенно притихшим боярам и духовенству, что желаемое достигнуто, кратко и резко, как научил ее (смею полагать) временщик, изложила суть главной вины старицкого князя — измена Государю и посягательство на его державный престол. Не-ет, женщины — это не только милые создания, и глубоко ошибается тот, кто рассчитывает на их сердечность и снисходительность; там, где делится власть, там все равны; равны в жестокости — и Великие Князья, и Великие Княгини. Отличавшаяся как будто бы мягким характером, доброжелательная и ласковая, пока жила с Василием, и особенно по-женственному расцветшая в своей новой вдруг открывшейся безоглядной любви, она казалась неузнаваемой — и в холодности, с какою произносила слова, и в той отнюдь не женской неприимиримости, с какою держалась перед деверем да и перед митрополитом, святителями и боярами, с удивлением (и не без затаенного страха, потому что знали, сколь тяжела бывает рука у предержателей великокняжеской власти) взиравшими на нее.

Это был ее звездный час. Ни до, ни после Елена не чувствовала себя столь властительницей, как сейчас, когда всё, всё, казалось, не только было подчинено, но было покорно ей. Говорят, что есть наслаждение в самом процессе повелевания, некий зловещий, я бы сказал, садизм, и если хотя бы на веру принять это

утверждение, но ведь и не принять его нет оснований, то становится более чем очевидным и устремленность, и поведение Елены; возможно, и белокудрого своего красавца, своего наделенного (ею же!) властью любовника она видела теперь лишь в толпе, в той череде слившихся воедино бородатых боярских и не боярских лиц, которые были перед ней. На мгновенье ли, с основательностью ли, огрубляя и ожесточая ее женскую душу, в ней страсть власти одерживала верх над страстью любви, материнством, жизнью, и — можно ли было ожидать от нее в эти минуты снисхождения и милости? Кроме того, имелось и еще обстоятельство, не дававшее поколебаться ей. Схваченные на Березне, близ Тухоля, служивые люди князя Андрея, среди которых были и довольно известные, связанные родством даже с временщиком, — князь Пронский, двое князей Оболенских, князя Иван и Юрий Пенинские, князь Палецкий и еще, еще, перечень коих занял бы всю страницу, — служивые люди эти, а вместе с ними и многие дети боярские подверглись пыткам, кое-кто был уже умерщвлен, и надо было хоть чем-то оправдать это творившееся беззаконие. Князь Андрей, ничего не знавший об этом, продолжал еще надеяться на лучшее, но Елена — она была осведомлена обо всем, и, оправдай она теперь старицкого князя, спрос за беззаконие будет с нее, нет, нет, измена и посягательство на трон не прощаются, и нельзя не то чтобы допустить, но даже подумать, чтобы хоть малая тень вины пала на великокняжеский Дом, и движимая уже этим чувством — чувством самосохранения — Елена обрушилась и на временщика. Она заявила, что ни ею, ни Великим Князем и Государем всея Руси Иоанном, на которого (продолжавшего вертеться на троне) обернулась, произнося эти слова, не давалось никаких подобных поручений, что князь Иван Овчина-Телепнев-Оболенский действовал от себя и что тоже должен держать ответ за это.

Не позволив ничего сказать князю Андрею (да и всем, наверное, как и ей, казалось, что в его оправданиях уже не было никакой нужды), она велела удалить и старицкого князя, и Овчину-Телепнева-Оболенского, ничуть, кстати, не огорчившегося таким поворотом событий. Уже спустя час, прощенный Еленой, он был у нее и обговаривал с ней (за вторым завтраком с чаем

и сладостями), как поступить с князем Андреем. На разговор приглашены были и митрополит Даниил, и дворецкий Шигона. Елена еще сомневалась, предавать ли казни старицкого князя; ведь как-никак родной дядя ее малолетнему, княжившему теперь Иоанну, а ей деверь; не лучше ли, как предлагала она, лишить его прежней вотчины, дать взамен какой-либо городок подалее от столицы и поселить там без права выезда и без права набирать и держать у себя служивых людей; митрополит колебался и готов был склониться на сторону правительницы, благо и сан, и положение обязывали его к этому, но Шигона и особенно Овчина-Телепнев-Оболенский настаивали на других, более решительных мерах. Временщик с проворностью, будто и в самом деле рвался схватиться с противником и поразить его, почти кричал, что если не убрать князя Андрея, то ни мира, ни спокойствия в державе не будет, и неважно, что нет сейчас достаточных против него улик (он-то ведь знал, насколько все было инспирировано, подложно), они будут, князь не утихомирится, не смирится, и коль уж не за теперешние, то за будущие его измены и посягательства следует освободить от него державу. Временщик наседали и на Елену, и на митрополита, поддерживаемый дворецким Шигоной, требовал искоренения всего рода, всех, кто так ли, иначе ли был связан со старицким изменником, и в конце концов решено было схватить князя Андрея, его жену, сына Владимира и, заковав, отправить в темницу. Кроме того и особо, на чем настояли Овчина-Телепнев-Оболенский и Шигона, предстояло определить относительно принявших сторону старицкого князя новгородцев.

Выведенный из тронного зала князь Андрей вновь оказался в знакомой уже палате — один, без какого-либо общения с внешним миром, и под охраной, безмолвно стоявшей за дверьми. Ему подали еду, молча, как заключенному, но затем, как если бы и в самом деле что-то произошло в его пользу, освободили из-под стражи и отпустили на его московское подворье. Уже вечерело, когда он, чуть ободренный, но все еще опасавшийся, что Елена не успокоится на этом и предпримет что-либо еще, чтобы унижить его и показать свою власть и власть своего малолетнего правителя, — ободренный, но продолжавший еще с опаской как бы

оглядываться назад, он вошел в дом и, пройдя по безлюдным почти комнатам на свою, княжескую, половину, в задумчивости остановился перед образом чудотворца Петра, висевшим в красном углу гостиной. Ни служивших ему бояр, ни детей боярских в доме не было; их все еще удерживали в великокняжеском дворце, как подумал он, да и от тех, что остались с войском и двигались к Старице, не было никаких вестей, обстоятельство это вызывало тревогу, и, чтобы хоть как-то успокоиться (да и потому, что, иначе как к Богу, не к кому было обратиться за справедливостью), князь Андрей спустился в маленькую семейную церковь, похожую скорее на часовню при монастыре, и, запалив свечи и припав на колени перед иконостасом, начал истово молиться, прося силы на покаяние и защиты у Всевышнего перед правительницей, правителем и судьбой. Но в то время как он начал уже чувствовать, что вот-вот будет услышан и Всевышний лицом повернется к нему, дверь в часовню с грохотом распахнулась и люди Овчины-Телепнева-Оболенского, бросившись к князю, жестко схватили его за локти и, выворачивая руки, потащили во двор, заполненный ратниками. К полуночи с тяжелейшей колодой на шее и на ногах он был водворен в темницу с сырыми стенами и постелью из прошлогодней прелой соломы, и с этой минуты ему уже не суждено было увидеть свет; он так и не узнал, что случилось с его женой и сыном Владимиром, которых тоже схватили, но на рассвете в Старице посланные туда временщиком люди, что случилось с боярами, верно и до конца служившими ему и которым он уже ничем не мог помочь, и какая участь уготовливалась народу, державе намерениями и делами великокняжеского Двора; князя Андрея, как и брата его Юрия, уморили голодом и похоронили тихо, бесшумно, увезя в Старицу, а упомянутых изменников-новгородцев, схваченных более по навету, чем за дело, били спустя два дня батогами на полом месте под кремлевской стеной, а затем по высочайшему повелению Иоанна, как значилось в грамоте, зачитанной им, повесили на столбах с перекладиной вдоль дороги, на определенном друг от друга расстоянии, ведущей от Москвы к Новгороду.

С

Между миром воображенным и миром действительности лежит не только то различие, что первый — бестелесен, послушен и повторим, а второй — жесток, непредсказуем и неумолим в своем естественном движении; сжатый во времени мир воображенный обычно бывает куда больше наполнен страстями и размышлениями (что как раз и делает человека либо человеком, либо безумцем, готовым в любом даже шорохе или звуке увидеть угрозу себе, державе, миру), чем реальность, требующая лишь сиюминутных, быстрых решений и действий. Если бы Иоанн, погруженный в воспоминания, смог бы теперь хоть чуть-чуть стать наблюдательнее, он бы наверняка заметил — по горевшим в камине поленьям, — что не прошло еще и четверти часа, как он, войдя в гостиную и сев в кресло, увидел перед собой бывшего своего духовника иерея Сильвестра, и что еще меньше времени прошло с той минуты, как иерей, скорее с лукавством, чем с мстительностью, задал тот обвинительный вопрос: «А что, царь, кровь-то с малолетства у тебя на руках: и дядьев, и бояр их, да и новгородцев, али не так?» — который, чтобы ответить на него, как раз и отбросил Иоанна в мир тревог, домыслов и волнений, столь вязко, как трясина, какую уже цепко засасывавший его. Лицо царя было каменно неподвижным, бледным, обычно сверлящие пространство глаза прикрыты, но он не дремал, нет, а жил; жил в том воображенном и со сгущенными страстями мире, который, казалось, более чем реально окружал его, а когда открывал глаза, все тот же Сильвестр со знакомым во всех черточках святительским лицом и характером (с добродетельной будто бы, как заверяют историки, лестью, без которой невозможно было бы ни завладеть умом и сердцем самодержца, ни отвратить его от злых намерений и безмерных жестокостей), — все тот же Сильвестр, являвшийся теперь словно бы для мучительства, иронично, взглядом разрушал все оправдательные построения Иоанна.

Любые видения являются к человеку по своим законам и не подчинены обычной, житейской логике, и вряд ли правомерно было, хотя бы и опальному иерею, обвинять Иоанна в том, что мать ли, бояре ли, поль-

зуюсь его малолетством, чинили жестокость и насилие; дело, конечно же, заключалось в другом — в той атмосфере жизни, в какой формировалась душа будущего самодержца России, и Сильвестр пытался лишь узаконить это исходное, лишь иронизировал пока, раззадоривал царя, чтобы затем перейти к главному и уличить в злонамеренных убийствах и лжи. В отличие от того, как иерей вел себя прежде, когда наставлял Иоанна, открывая ему библейские истины и стращая неотвратимостью кары (происходило ли это здесь, в гостинной коломенского дворца, или в палатах кремлевского), — теперь, вызванный к жизни лишь царским воображением, скорее напоминал по сомнению и предвзятости самого Иоанна, чем себя; в нем не то чтобы не было того благочестия, какое, к слову сказать, далеко не каждому святителю удается блюсти смолоду и до конца жизни, за которое как раз Иоанн и полюбил и приблизил его к себе, — нет, благочестие было, и Сильвестр готов был и теперь терпеливо и со смирением наставлять самодержца; но, воскрешенный Иоанном как противовес, как частица не до конца еще изничтоженной царской совести и подвластный (по законам являющихся людям видений) если и не во всем, то уж наверняка в главном царской воле, он и говорил, и делал не то, что хотел и мог бы сказать и сделать и что соответствовало бы его благочестивой натуре, а то, что требовалось для самоочищения Иоанну и не соединялось с постулатами христианской добродетели. В поведении Сильвестра проглядывало теперь точно то же садистское сладострастие, какое с юношеских лет запойно впитывал в себя Иоанн и какое затем стало для него столь же составной частью жизни, как воздух, земля, вода, потребности труда, пищи, переживаний и дум для каждого смертного. Но царь не возмущался Сильвестром, не уличал его в сем страшном, живущем, кстати, не только в хоробах властителей грехе, и не возводил гневного взгляда на бывшего своего духовника; ведь диалог с совестью — это нечто другое, чем с живым, способным на самостоятельное мышление оппонентом, и, задавшись целью определиться в истине, Иоанн не мог позволить себе опуститься до мелочей — бытовых, житейских, к коим, как увидим в дальнейшем, как раз и причислялось им садистское сладострастие; он чувствовал себя представ-

шим не перед Сильвестром, а перед историей, где полагалось утверждаться не насилем, а достоверностью фактов и словом, и в этом отношении стремление Иоанна не только понятно, но и объяснимо, и царю даже можно было бы посочувствовать, если бы он и в самом деле собирался принять истину и следовать ей; но все мучительство его заключалось в том или, вернее, происходило от того, что извечную ложь властей он старался обрядить в тогу истины; он не спорил с Сильвестром и не для него искал оправдания, когда, прикрыв глаза, опять и опять погружался в мир ушедших событий и стихнувших страстей; воспроизводя их и живя ими, он стремился вывести из них ту для истории правду, по которой зло прошлое, творившееся великими князьями и государями всея Руси над людьми, как и зло будущее, кем бы из кремлевских властителей ни творилось, получило бы прочную, неоспоримую и неискоренимую никем правовую основу.

Только что подброшенные в камин и охваченные пламенем сухие березовые поленья ружейно потрескивали, кидались искрами, теплом и светом обдавая словно бы уснувшую в кресле худощавую, уже не молодую, но далеко еще и не старую фигуру Иоанна; он пока еще был с шапкою черных волос на голове и такими же черными бородой и бровями, напряженно сдвинутыми к переносице, что одно, может быть, и выражало теперь истинное состояние его души; кресло напротив было пусто, Сильвестр объявлялся в нем только тогда, когда Иоанн открывал глаза, и призрачность, как и тишина, царившая в гостиной и за дверью, за которой, как и накануне, страждуще бдил архимандрит Левкий, — все, все, замерев, словно оттепельная ночь за окнами, державно сосредоточенное во мраке Иоанновой души дожидалось своего страшного для народа часа. В избе приходского священника в очередном кутеже забавлялись царевы любимчики: отец и сын Басмановы, Афанасий Вяземский, Грязной, Салтыков, Малюта Скуратов-Бельский; усиленные прибывшим из Москвы братом царицы князем Михаилом Черкасским, они уже не думали и не вспоминали о самодержце; воля державного властителя есть воля высшая, и — наскучит бездеятельность, явится сам, благословясь у чудовского архимандрита. Ни Басмановы, ни Вяземский уже не бегали в царский дворец и

не упрашивали архимандрита Левкия, чтобы зашел к царю и напомнил о них, не проносили охочему до кутежей святителю закусок и питья, и обделенный, во всяком случае, каким казался себе, чудовский настоятель с присущими ему желчью и цинизмом придумывал для себя новый объект при Дворе для интриг и гонений; козлиная бородака его, сосулькой спадавшая на грудь, вздрагивала и загибалась крючком — тем сильнее, чем напряженнее и циничнее были его мысли, и, словно спохватываясь, что его могут подслушать (сам ли Господь, Иоанн ли, что пострашнее), троекратно, воровски, торопливо накладывал на себя крест. На половине царицы стояла та же безмолвная тишина. Сказавшись больной, Мария (в девичестве Кученей, как уже говорилось) по-прежнему выходила только к молитвам да к обеду или завтраку, когда накрывался стол; она лежала теперь в постели и, как и царствующий супруг, не спала; лишь маленькая свеча, как ночник, освещала ее лицо, болезненно бледное, худое, но не лишенное той властной прелести, той лепоты, поразившей сперва Шиг-Алея, а затем и Иоанна, по которой, не соотносясь с титулом, уже можно было бы назвать царицей, ее худые, не знавшие работы руки и особенно глаза, которые полны были глубокой, ничем не вытравимой женской тоски. Ее мучили свои думы, свои воспоминания, то возвращая к ее прошедшему в мусульманстве детству, то к свадебным торжествам, к счастливейшему, как ей казалось тогда, но не принесшему счастья замужеству, к рождению, болезни и похоронам сына, князя Василия, столь трепетно ожидавшегося Иоанном наследника, но вместо надежд принесшего только горе и разочарование (все, все, что связано было с Василием, все, повторяясь, представляло перед ее глазами), то мыслью и воображением переносилась к мужу и холодела от той простой истины, которая открывалась перед ней. Она ждала любви, хотела семьи, дома, и материнское начало в ней, если бы ему суждено было развернуться, возобладало бы над всеми иными потребностями жизни; но чувствительная ко всякой даже малейшей лжи в делах любви, семьи, дома (как, впрочем, и любая благовоспитанная женщина) Мария не могла ни понять, ни принять холодности к ней Иоанна (по крайней мере, ей так представлялось), и, не находя сил от гордыни сделать

первый к сближению шаг, отвечала еще большей и даже в чем-то презрительной холодностью великому, но для нее чужому властелину России. Точно так же как Иоанн ждал ее в гостинной, она ждала, что он придет к ней, и, сбиваясь с православных молитв на свои, с детства вошедшие в кровь и сердце, просила у всевышних владык лишь одного, чтобы хоть как-то облегчили ее тяжелейшую с царствующим супругом женскую участь.

СИ

Люди часто по наивности полагают, что царь, как, впрочем, президент или премьер, только для того и стоят у власти, чтобы править, и что у них нет или, во всяком случае, не должно быть никаких иных забот, кроме как о благе народа и государства. Непросвещенность и непосвященность наша лишь усиливают это чувство, и, сколько бы ни подавала примеров история, — достоверных ли, вымышленных ли, обросших легендами, — нам всегда кажется, что то, что творилось в прошлом, неизменно уходит в небытие и не может иметь отношения к нашей действительности. Царь — это хозяин огромной общности с теми же в идеале функциями, что и несравнимые по масштабу у хозяина дома, семьи, двора; и точно так же, как трудно представить, чтобы глава семейства не позаботился о состоянии своего жилища, своих чад и не накормил бы скотину и не убрал за ней, — невозможно или по крайней мере почти невозможно представить, чтобы правитель занимался чем-либо еще, кроме насущных державных дел. Так подсказывает логика — обыкновенная, житейская, по которой живем и судим о жизни, равняя все на свое восприятие, мысли и чувства; в идеале, повторяю, так бы все, наверное, и происходило, если бы... если бы общество не делилось на народ и власть и если бы власть не нуждалась в постоянном, повседневном своем упрочении. В то время как народ печется о хлебе насущном, кормя себя и господ и создавая (уже за одно лишь это!) хвалу Господу; в то время как по великой доверчивости своей испокон надеется на справедливость и доброту власти (а как же, ведь все мы — и правитель, и пахарь — одинаково

люди), часто не только не вникая, но и не желая вникать во все то, что будто бы для него и его именем предпринимается во дворцах и хоробах, — венценосцы не думают о народе; жил-де всегда, сколько ни дави, ни угнетай его, и будет жить вечно; власть, власть, власть, безудержная, неохватная, — вот главное, вокруг чего сосредоточены их помыслы и деяния. Так во многом было и с Иваном III, в подобных заботах начинал княжение и Василий III, отец Иоанна, умертвив истинного наследника трона царевича Дмитрия; с опалы на деверей Юрия и Андрея и уничтожения их пыталась утвердиться на престоле и мать Иоанна, Елена, и не чем иным, как именно этим, то есть упрочением своей власти, как раз и был теперь занят Иоанн, неведомо на сколько из-за распутицы застрявший в Коломенском.

Он не знал, до какого часа просидел в кресле. Входили слуги, чтобы поменять свечи, — тихо, на цыпочках, боясь потревожить отдохновенно будто бы дремавшего царя; столь же бесшумно приносились и подбрасывались в камин поленья, и, казалось, не было в мире умиротвореннее уголка, чем эта великокняжеская в красных тонах гостиная, в которой, словно бы отделившись от трудов державных, уединенно отдыхал самодержец. Лишь время от времени лицо его конвульсивно вздрагивало, он кидал взгляд на кресло перед собой, которое было пустым, но в котором, вольготно развалиясь, восседал теперешний его мучитель иерей Сильвестр, и по этому короткому, гневному, почти бешеному, но в то же время испуганному, бессильному взгляду можно было если и не представить, то по крайней мере догадаться, какие страсти обуревали мятущуюся душу Иоанна. Тишина и безмолвие еще не означают, что жизнь замерла, что, погрузившись в обнадеживающий золотой сон, все вокруг обретает бесформенность и статичность; нет, в мире вообще нет ни статичности, ни покоя, камень неподвижен, но жив, в нем происходят свои страшные, растянутые на века разрушительные процессы, как они происходят и в обществе, и в человеке, будь то царь, посадский мастеровой или служитель церкви, и, может быть, как ни горька, как ни противна сия мысль, в самой теперешней миссии Иоанна было что-то неизбежное, подчиненное некоему вселенскому, что ли, за-

кону разрушения и распада. Но сила, руководившая теперь Иоанном, не представлялась ему вселенской; словно бы споткнувшись на чем-то незначительном, мелочном, как это часто бывает с людьми, Иоанн никак не мог перешагнуть через брошенное ему Сильвестром обвинение, что, дескать, руки-то с детства в крови, и, оскорбленный этой несправедливостью, он опять и опять мысленно возвращался то к аресту и заточению князя Юрия, то к расправе над старицким князем Андреем (оба они были ему родными дядями), то к действиям матери, Великой Княгини Елены, в которых, ничего не понимая тогда, но более чем понимая теперь, видел лишь жесточайшую необходимость и твердость, то к новгородцам, избитым и повешенным вдоль дороги, о коих, казалось, можно было бы и вовсе не вспоминать. Но Иоанн вспоминал и, вспоминая, приходил все к тому же выводу, что не на матери, не на Елене, а на самих дядях лежит вина за их опалу и смерть; сказано же: не пожелай ни дома, ни жены, ни власти (что добавлялось им уже произвольно) ближнего своего; не твори бы измен, то есть, иначе говоря, ходили бы хотя и в вельможных, но холопах, и никто бы пальцем не тронул. Иоанн лукавил; там, где идет дележ власти, — там «трогают» не за измену, а чаще лишь по подозрению и доносителству, и ночной коломенский бдитель более чем кто-либо знал об этом; но ведь ни царское восприятие, ни царское слово не бывает ложью, и самодержец не желал даже опускаться теперь до ответа Сильвестру, настолько убедительными казались ему приводившиеся доводы. О несчастных новгородцах Иоанн и вовсе не хотел слышать; то, что относилось к народу, имело для него иное звучание; в душе его давно уже созревала фраза, которую спустя несколько недель он с затаенным злорадством произнесет в Александровой слободе перед собравшимся от всех сословий посольством, прибывшим из Москвы просить его вернуться на царство, что «с давних времен... русские люди были мятежны нашим предкам, начиная от славной памяти Владимира Мономаха, пролили много крови нашей, хотели истребить достославный и благословенный род наш», — фраза, которой он разом оправдывал все злые деяния великих князей и обвинял народ, в сущности, лишь страдавший от этих деяний — дележа власти, между-

усобий, братоубийств, — и по которой, главное, отводил себе роль мстителя, то есть праведника и заступника за родовую, династическую честь и право повелевать; в общем, выходило так, что вопрос Сильвестра, должный позвать к раскаянию, приводил лишь к желанию мстить, этому страшному, противному всем христианским канонам чувству, и только потому, что обычно набожный до трусости Иоанн в эти минуты вспоминал не о Боге, а думал о себе и своей требовавшей, как это казалось ему, упрочения безраздельной царской власти (хотя, какой еще основательности и крепости было нужно ему?), — все и Божьи, и человеческие ограничения были сняты с его беспредельных и безрассудных по заданности лжи устремлений.

Сомнения и самоуверенность, гордыня несовместимы; когда возрастает гордыня, для сомнений не остается места, страдания заглушаются злорадным торжеством, то есть тем беззвучным, исполненным жестокости и коварства смехом, каким теперь, минутами, пока Иоанн еще сидел в кресле, разжигалась его душа; ему казалось, когда открывал глаза, что он уничтожал Сильвестра этим именно своим злорадством, пронзал, словно мечом, защищенную разве что крестом поверх святительских одеяний его слабую, впалую грудь. «Сгинь! Сгинь!» — хотя и не произносил, но будто бы произносил он, продолжая испепелять взглядом иерея, и произносил затем в спальне, когда, лежа при свете в постели, пребывал все в том же, мучившем его, воображенном мире, из которого так хотелось выйти не запятанным ничем властелином державы. Он велик, недосягаем и чист, и — что ему какие-то там безымянные новгородцы? Их, как травы на лугу, коси — не покосишь, и стоит ли вообще говорить о них? Ни кресла, ни Сильвестра теперь не было перед Иоанном, ответы бросались им в сумрачную пустоту спальни; но, может быть, как раз потому, что Сильвестра не было, что не было, в сущности, никого, перед кем, кроме собственного Я, он мог бы оправдаться, ему, с одной стороны, было легче и проще обосновывать свои доводы, а с другой — и обоснования, и сами доводы словно бы растворялись во тьме и не достигали цели; он чувствовал это, и от бессилия что-либо изменить, как случается это и с людьми сильными

духом, снова и снова входил в тот же круг переживаний, мыслей и дум, в котором, хотел этого или не хотел, досадно и неуязвимо вставала перед ним жесткая правда творившихся злодеяний.

СП

По малолетству своему Иоанн не мог ничего помнить и лишь из рассказов очевидцев знал, что когда тридцать житых новгородцев (зажиточных, как мы бы сказали теперь) приговаривались к битью палками принародно, на площади, и затем к казни (имущество их, само собой, отписывалось на счет великокняжеской казны, как это и практиковалось тогда и что было, в сущности, неприкрытым, но узаконенным грабежом), Иоанн восседал на троне, вытянув перед собой, словно маленькие оглобли от маленьких саней, свои в расшитых золотом сапожках ноги, и происходившее в тронном зале, естественно, занимало его лишь тем, что он видел лицо матери, лица бояр, святителей, и тем, что взглядом торопил мать и няню, боярыню Аграфену Челяднину, чтобы поскорее завершали свое взрослое дело и отпустили его. Единственным привлекательным миром для него был тогда мир детской свободы, увлечений и игр, и если слово «побить», повторявшееся чуть ли не каждым из бояр, еще хоть как-то воспринималось им, то понятия «казнить», «повесить» означали лишь, что есть, видимо, у взрослых и такое средство, каким они любят наказывать себя. Как все дети, Иоанн в том своем возрасте воспринимал жизнь, как воспринимают бесконечность, и сама мысль, что ее насильственно можно отнять у человека, показалась бы дикой и недоступной ему; он пребывал в том счастливом неведении, когда кажется, что все вокруг преисполнено не зла, а добра, и ни зависть, ни подозрительность еще не всходили ростком и не обременяли душу; но теперь, проливший уже сам немало чужой крови и научившийся смотреть на мир скорее даже глазами палача, чем правителя, — теперь он и видел, и воспринимал все иначе. Свеча на столике перед ним догорела, погасла, но сгустившаяся тьма не пугала Иоанна; для него, собственно, тьмы не было, а был только — тот июньский солнечный день, когда

несчастных осужденных, выведя на полое место за кремлевской стеной, готовили к экзекуции. Еще вчера седобородых почтенных мужей, их раздевали, привязывали к столбам и били нещадно, зверски, так, что лопалась кожа и брызгала кровь, обагрняя и руки палачей, и землю. Вокруг теснились толпы согнанного народа. Словно на убиенных уже, смотрели люди на окропленные, полуживые тела избитых. Тела эти оттаскивали к повозкам, окатывали водой и принимались за новую партию. Тут же, перед толпой, находился священник. Несмотря на суровость и заданность, с какою он только что по поручению митрополита Даниила провозгласил анафему изменникам, в душе, видимо, как и пристойно христианину, был потрясен совершавшимся и невольно, как благословляют на мужество, осенял крестом уводившихся к столбам бородачей. Строем, лицом от кремлевской стены стояло воинство — дети боярские как неизменный атрибут подобного действия; солнце с зенита серебром и позолотой расцветивало их доспехи, особенно доспехи князь-временщика на коне, подтанцовывавшем под ним. Как и на ржаном поле близ Тухоля и Зайчьего яма, князь держал шлем в руках перед собой, и спадавшие на плечи и спину белокурые волосы вносили нечто будто торжественное, даже парадно-праздничное во всю эту ужасающую трагичность. Тут же, позади столбов, стесненные народом и ратниками, причитали, вопили, истерично бились о землю жены и дети обреченных. Ни Великий (малолетний) Князь и Государь всея Руси Иоанн, ни Великая Княгиня Елена не приняли их, когда они накануне пришли за правдой и милостью; их прогнали, как прогоняют со двора бездомных, приبلудных собак, и даже не пустили в церковь Бориса и Глеба, что на Арбате, куда они хотели войти, чтобы помолиться во искупление неведомых им, как неведомых и их опальным мужьям и отцам грехов. Они провели ночь возле церкви, расположившись частью на паперти, частью прямо на земле, благо стояло лето, и ночь выдалась ясной, не дождливой, теплой; малые дети спали, закутанные в платки и прочую прихваченную одежку, а те, что повзрослее, вместе с матерями и бабушками, как беженцы, как табор, потерявший жоака и еще не оправившийся от этой потери, били поклоны на церковь, крестились и просили у Господа

защиты и крепости. Этот табор обезумевших и расстрепанных женщин, теснимый ратниками и детьми боярскими, оглашал теперь площадь рыданиями; многие просили только, чтобы пустили проститься, но и этого не разрешали и, конно и пеше тесня и давя их, наводили тот нужный порядок, какой по иронии злой судьбы, что ли, обычно строго блюдетя при казнях и не блюдетя в обыденной жизни державы. Эту-то картину и представлял себе сейчас Иоанн, даже чуть приподнявшись на локтях и оторвавшись головой от подушки, и при всей своей привычной уже безжалостности к подобным действиям чувствовал, что жестокость была непомерной, и, содрогаясь и не веря, что все могло происходить так, оборачивался будто на кресло, хотя был не в гостиной, а в спальне, и искал глазами Сильвестра, чтобы уличить во лжи этого бывшего своего духовника. Нет, для Иоанна не было тьмы, а была лишь эта трагичность, раскрывавшаяся во всей своей неопровержимой реальности, и хотя, если разобраться, вина его состояла разве лишь в том, что он не мог воспротивиться и принял на себя — трех лет от роду — титул Великого Князя и Государя, а вместе с титулом и державу, как всеми считалось тогда, и деяния бояр, материправительницы и временщика, смысла которых Иоанн не понимал, но которые уже тогда начинали развращать его незащищенную детскую душу, — деяния те переносились на него и вынуждали искать оправдание. Ведь если он правопреемник трона, то правопреемник и всего, что значилось хорошего и плохого за сим державным местом и святость коего не в том, что блюлась или блюдетя венценосцами, а в том, что в любом случае властитель и власть должны оставаться непогрешимыми. Иоанн от малолетства еще более, чем знал это, и, намереваясь уличить Сильвестра во лжи, лишь укреплял то династическое древо, от корней которого питался и жил.

Между тем расправа над новгородцами продолжалась до позднего вечера, некоторых, что были покрепче, по два и три раза выводили и привязывали к столбам, и народ, достаточно уже насмотревшийся сего ужаса, не то чтобы не расходился, но боялся под бдительным оком временщика, бояр, детей боярских и

ратников двинуться с места; к закату уже и на рыдания, как видно, не осталось сил, и в сумеречной вязи, когда избитых до немогущности изменников, закованных в тяжелейшие колоды, бросали, словно поленья, на подводы, толпа, обнажив головы и крестясь, безмолвствовала. Ни окровавленные столбы, ни окровавленные батоги не велено было убирать. Распоряжался всем сам временщик, светлокудрая голова которого, казалось, парила то над толпой, то над ратниками, то над обозом, готовившимся в ночь покинуть Москву и, выбравшись на новгородскую дорогу, уже на ней завершить свое черное дело. Молчаливо держались мужики-возницы, занаряженные по указанию князя-временщика, молчаливо, тупо, будто стыдясь чего-то (известно чего: участия в сем страшном злодеянии), выполняли команды дети боярские, ратники и холопы. Князь Овчина-Телепнев-Оболенский, объехав обоз, велел было уже трогать, как вдруг выяснилось, что где-то задержались и не подоспели ко времени подводы со столбами для виселиц (Боже, как знакома нам сия российская «пунктуальность»!); отправляться без них было нельзя, потому что нельзя без этих заготовленных столбов и перекладин исполнить с точностью Государеву волю, по которой изменников следовало вешать непременно у дороги, на обочине, чтобы на виду, как назидание, и чтобы на равном друг от друга расстоянии по всему с несчитанными по тем временам верстами новгородскому тракту, и недовольный этой заминкой князь-временщик, одетый уже по-походному и со шлемом на голове, то и дело посылал гонцов с грозным наказом гнать подводы сюда.

Сумерки уже сгустились, когда наконец обоз тронулся, провожаемый все еще не расходившимися людьми. Впереди, окруженный верными ему детьми боярскими, ехал князь Овчина-Телепнев-Оболенский. Он покидал Москву, но держался так, будто въезжал в нее после очередной славной победы. Главная цель его еще никогда не казалась ему такой близкой и достижимой, как теперь, он торжествовал, видя исполненным все, что столь коварно задумывалось, и хотя тогда уже было хорошо известно и среди простолюдинов и среди вельмож, что на несчастье других нельзя построить своего счастья, что лишь добро возвращается человеку

добром, а зло злом и что людской ли, Божий ли суд, или суд истории, он всегда беспощаден, а возмездие уже в самый момент совершения зла неизменно стоит у порога, — в упоении радостью каждый глуп, особенно когда примешаны мания величия и самомнение, так что князю было не до житейских мудростей; он чувствовал себя на коне и фигурально, и нравственно, на той вершине славы, прижизненной и потому ложной, с высоты которой все кажется десятикратно уменьшенным — и у ног, и по горизонту. Когда, желая словно бы приземлить витавшую в облаках душу князя, ему донесли, что за обозом, правда, держась на расстоянии, увязались жены и дети несчастных колодников, он резко бросил: «Гнать, а буде ослушаются, пороть нещадно!»

СП

Нам говорят, и я вроде бы тоже убежден в этом, что в природе все-все взаимосвязано и что связь настолько прочна, что разрушение ее может привести лишь к одному — неизменному разрушению мироздания. Торжество природы и страдания человека на фоне этого торжества (разумеется, как неотъемлемой части природы) — какую тут можно усмотреть связь, что соединяет или может соединить сии два крайних начала, а если связь все-таки есть, то должно быть и взаимодействие, то есть взаимовлияние, как при всяком соприкосновении вещей и явлений (и когда, как по законам физики или химии, масса большая поглощает массу меньшую и растворяет в себе). Ночь, летняя, лунная, сквозь которую двигался обоз, втягиваясь по ходу дороги то в хлебные поля и огибая их, то в рощи, в перелески и лес, где за шатром нависавших ветвей сейчас же исчезала вся бездонность звездного неба, высокого, ясного, каким южный человек его видит всегда, но каким перед россиянином оно предстает лишь в пору сенокоса или хлебной страды, когда разрыв между зарей вечерней и зарей утренней меряется не верстами, а аршином, — ночь эта, благоухавшая разнотравьем и ласкавшая глаз своей тихой, одухотворяющей красотой, и люди в этой ночи, закованные в колоды и стонущие от переломов и кровоточащих ран,

да есть ли что-либо связующее между этими двумя противоположностями: одухотворенностью и торжеством жизни и ужасающими страданиями на краю могилы человеческого тела и духа? Где логика, в чем она заключена, и что здесь от гармонии, тем более вселенской, о которой твердят, что она управляет миром, или, напротив, от дисгармонии, но в таком случае придется отказаться от всех нынешних научных постулатов бытия и признать козни дьявола; но, может, жизнь природы и жизнь человека так и задумывались, как несовместимые противоположности, и лишь для того только, чтобы, рассуждая о гармонии и стремясь к ней, люди разрушали самую основу своего существования? Или же, как утверждают наиболее правдивые философы, везде и во всем действует и торжествует лишь закон силы? Но если и в самом деле объективно лишь то, что слабый гибнет, а сильный торжествует, то отчего же тогда мы лукавим перед своими чадами, не готовим их смолоду к борьбе, а пускаем в жизнь такими доверчивыми простаками, которых каждый, кому только не лень, может унижить, обобратить и закабалить? Вопрос этот, впрочем, вызывает новое недоумение: с кем, на кого работали и работают все прошлые и нынешние идеологии, в том числе и церковные каноны, призывающие к смирению и непротивлению злу насилием, вся так называемая наша духовность, которая на поверку оказывается обязательной для народа и необязательной для властей? Зло торжествовало и торжествует, а добродетель вздергивают на перекладине и швыряют в могильную яму. Так где же логика, снова и снова готов спросить себя, в чем справедливость, в чем обман, ложь? Казнь житых новгородских мужей историки объясняют борьбой, то есть некоей закономерностью, неизбежно вытекавшей из необходимости объединения русских земель; новгородцы-де оказались под властной рукой времени, и личность не в счет, когда к событиям прикладывается государственная мерка. Настоящее оправдывается будущим — вот аргумент, жесткий, бескомпромиссный, заманчивый и ложный. Ведь общая жизнь людей — это не каша в котле, переваренная, размякшая и превратившаяся в студень, и, как бы ни хотелось кому-либо иметь сию в лице подданных кашу, каждый живущий на земле человек уже сам по себе представляет

вселенную и имеет или должен по крайней мере иметь право распоряжаться своим трудом, собой и жизнью. Но, к сожалению, о правах человека говорят и поныне; и чем больше говорят, тем решительней попирают, и мы в большинстве своем страдаем не от собственных ошибок, нет, а от ошибок правителей, которые по неумению, незнанию, преднамеренности ли, чего нельзя исключить, принимают решения за нас нашим же именем. В Москве правил Великий Князь, в Новгороде — вече; Москва, стремившаяся стать державой, силой присоединяла к себе земли соседних княжеств, тогда как Новгород, сам, по заключению многих историков, считавшийся державой и положивший в основу своей политики свободное, справедливое сожительство: никого не трогаем мы, никто не решится тронуть и нас, — Новгород неминуемо должен был стать жертвой этой своей гордой, но непростительно ошибочной (с точки зрения мирового закона или приоритета, если хотите, силы) государственной политики и потерять значение и волю. Хитрость ли, сила ли, все одно — захват и подчинение; Иван III брал хитростью, но, однако же, и силой, как свидетельствует история; его сын, Василий III, разумеется, уже по-своему притеснял новгородцев, еще надеявшихся тогда на возврат к утраченному вольности; точно с той же политикой они должны были столкнуться и в правление малолетнего Иоанна и его матери, и, возможно, не случайно вошедший уже в пору грозный самодержец России, коему еще предстояло совершить свой мамаев поход на Тверь и Новгород, — грозный самодержец столь пристально теперь, в Коломенском, вглядывался в это отдаленное даже от него событие. Ночь, ясная, лунная, теплая, полная чарующих красок и запахов, должна вносить и вносящая, видимо (главным образом, в упоенную успехом душу временщика, князя Овчины-Телепнева-Оболенского), умиротворение и легкость, — ночь эта, он с ясностью слышал, как она оглашалась стонами несчастных, зверски избитых и закованных в колоды людей. Где-то далеко позади обоза, откуда вот-вот должен забрезжить рассвет, разогнанные было, но вновь соединившиеся, толпой то ли бродяг, то ли цыган, то ли богомольцев шли жены и дети обреченных на смерть колодников.

CIV

Летние ночи в России коротки. Не проехали и пяти-шести верст, как скрылись из виду последние избы растянувшихся вдоль Яузы московских окраин и словно бы вдогон уходящему на запад обозу сначала узкой, но затем все разрастающейся полоской запыленной пыли, пробуждая сельчан к жизни. Из деревень, от монастырей зашагали к лугам косцы, чтобы по росе размять свои крестьянские плечи (без химических анализов, а ведь знали, что сено утреннего покоса куда лучше покоса послеобеденного); доились коровы, вспыхивали дымки у летних кухонь, выходили, волоча за собой кнутовища, пастухи и подпаски на окраины сельских улиц, и, если бы не явление государева обоза на дороге, ничто не нарушило бы набиравшего силу трудового крестьянского дня. Хотя ни крымцев, ни казанцев, ни отрядов из литовского и польского воинств, любивших еще более, чем татары, пограбить и поразорять, давно уже не появлялось здесь, но память на лихие години у людей так крепка — и у малых, наслушавшихся рассказов, и у стариков-очевидцев, — что от вида воинства и подвод, приближавшихся к деревне, многие всполошились, женщины хватали ребятишек и стремились укрыться в лес. Заметив этот беспорядок, князь Овчина-Телепнев-Оболенский выслал вперед холопов, чтобы остановить разбежавшихся сельчан и согнать их на площадь перед церковью, куда спустя чуть более четверти часа уже втягивался весь государев обоз с колодниками и со столбами и прекладинами для виселиц на подводах. На колодников страшно было смотреть, настолько они были избиты, в разодранных портах и рубцах и с неомытыми кровоподтеками на посинелых, в рубцах, телах, как страшно было смотреть и на ратников и холопов, стремительно бросившихся возводить первую по новгородской дороге виселицу. Они торопились не потому, что их подгонял временщик, но, видимо, лишь по известному чувству, по какому преступник спешит замести следы своих преступных деяний; одни рыли яму, другие сколачивали виселицу, третьи стаскивали камни, чтобы укрепить столб, и, как только сооружение было готово, ратники и дети боярские, как и в Москве, на полом месте линейно выстроились,

князь Овчина-Телепнев-Оболенский на коне игриво, опять же, как и в Москве, подтанцовывавшем под ним, сняв шлем и обнажив свою белокудрую голову, подал команду ударить в колокола и приступить к делу.

Ратники и холопы, кому поручено было вешать, подошли к крайнему, лежавшему на передней подводе колоднику, сбросили наземь, сняли колоду и со связанными за спиной руками хотели было повести к виселице, но у житого новгородца — сорокалетнего в соку мужика, как было видно еще по его сложению, по густой черной, с едва наметившейся проседью бороде, обрамлявшей лицо, и столь же густой черной шапке волос на голове, — у новгородца были перебиты ноги, он не только не мог двигаться, но не мог стоять, лицо сейчас же исказилось от боли, как только попытались его поднять, он не успел даже вскрикнуть, как, потеряв сознание, всем иссеченным, в синих рубцах телом рухнул на жесткую дорожную колею. Волна женских возгласов прокатилась над толпой, мужики, крестьясь, обнажили головы, а с подвод, приподнявшись на локтях, кто как мог со страхом и жадностью, как если бы и в самом деле им важно было запомнить, что происходило на их глазах (и должно было на следующем или еще на следующем этапе произойти с ними), — с подвод со страхом и жадностью смотрели колодники, для которых жизнь только и состояла теперь из этого последнего для них пути от подвод к виселице. На церковной колокольне столь же испуганный, как и все, старался звонарь, и было непонятно, вернее, не совсем понятно, что заключалось в производившихся им колокольных звуках: скорбь, тревога, роковое предупреждение или призыв к бунту? Овчина-Телепнев-Оболенский несколько раз оборачивался на колокольню, чувствуя, что что-то будто не совмещалось от сих звуков с творившимся на площади и с состоянием его души, но — прямо в лицо, от горизонта, скользя по земле, брызнули лучи солнца, на мгновение ослепив князя и придав всему, что творилось, некую будто торжественность и четкость. Нет, не сей восседавший на подтанцовывавшем под ним коне князь-временщик, не правительница Елена (ненавистного всем литовского рода, как говорили о ней), а малолетний, но грозный уже Великий Князь и Государь всея Руси Иоанн карал изменников в назидание своему многочис-

сленному тогда еще подвластному люду, чтобы люд этот видел и запоминал, сколь крепка и тяжела на расправу рука Государя. Преисполненный этих именно чувств и мыслей Овчина-Телепнев-Оболенский подал знак, чтобы не мешкали, и через минуту дотащенный волоком до петли несчастный новгородец, так и не пришедший в сознание, судорожно дергался на перекладине. Тело его налилось синевою, изо рта, пузырясь, хлынула на грудь и бороду кровавая пена, и солнце, должное высветить лишь карающую будто бы суть происходившего, высвечивало эту кровавую пену, пятном растекшуюся по давно не стиранной белой рубаше. Кто-то, застыв словно в онемении, не мигая смотрел на это творившееся насилие (ведь точно так же как от чарующей красоты, человек не может оторвать глаз и от ужасающего деяния); кого-то рвало от вида тела в петле и крови, женщины подолами закрывали головки лепившихся возле них детишек, чтобы не поранить, не поуродовать их неокрепших светлых душ этим человеческим, если сие можно назвать таковым, развратом; и хотя вместе с тем, как, безжизненно обмякнув, повисло тело, стих и церковный колокол, но исполненный надрывного трагизма набатный звон его продолжал еще будто бы нависать над площадью и держать в оцепенении толпою сгрудившийся возле виселицы люд.

Спустя четверть часа князь Овчина-Телепнев-Оболенский вместе со своими подручными детьми боярскими, помолясь сперва, как и положено, сидел за трапезным столом в близлежавшей и скромной, как считалось по тем временам, обители и между бокалами поглощавшейся им браги с живостью вспоминал подробности только что состоявшейся казни и благодарил всех за службу. Обоз и ратники оставались на площади. Для ратников в походных котлах готовилось сочиво (не обошлось, разумеется, и без мародерства: с крестьянских подворий тащили поросят и кур, приговаривая, что, дескать, из воды и топора ничего не сварить); колодникам разрешено было только поднести по кружке воды, а потом о них уже не вспоминали, будто на подводах были не люди, а некий бросовый, пусть даже и живой, груз, который велено было увезти как можно подальше от белокаменной стольной Москвы. Лишь около полудня возглавляемый повеселевшим от закусок и браги князем обоз вновь двинулся в

дорогу. Возле повешенного, дабы, чего ради, не пришло кому-либо в голову снять и похоронить его, был оставлен ратник в доспехах; он сидел под самую виселицей, притулившись спиной к столбу, и, едва только обоз, втянувшись за поворотом дороги в дубраву и лес, скрылся из виду, со стороны Москвы по залитой солнцем пыльной дороге стало видно, как подвигалась деревне толпа измученных, едва волочивших от голода и бессонницы ноги женщин, детей, стариков. Толпа эта, достигнув площади, остановилась и молча, в ужасе, смотрела на содеянное, не в силах ни причитать, ни рыдать, ни креститься; ратник под столбом тоже встал, изговываясь к отражению, если кто посмеет приблизиться; с подворий, от изб, глазели сельчане, тоже не смевшие пока выйти ни к толпе, ни к виселице, и, пройдет время, прежде чем, узнав, что за люди вслед за государевым обозом явились в деревню, выйдут к несчастным, чтобы посочувствовать им и покормить их. Под самой почти виселицей билась в рыданиях жена обезображенного в петле мужа, возле нее голосили дети, их пытались увести, чтобы успокоить, подкрепить молитвой и пищей, но — площадь только сильнее оглашалась их рыданиями. Старики, сопровождавшие детей и женщин, отправились было к настоятелю церкви с просьбой отслужить молебен по убиенному и похоронить по-христиански на кладбище, но приходской поп не захотел говорить с ними. «Изменникам, женам их и детям нет места в Божьем храме, скорбь их есть лукавство, и алтарь не должно осквернять сим анафемским делом» — так или почти так, видимо, полагал настоятель; старики вернулись ни с чем, и, как и в Москве у арбатской церкви Бориса и Глеба, помолвились лишь на купола и кресты и, исполнив таким образом христианский долг и испросив крепости, двинулись дальше, чтобы свидетельством своим запечатлеть в памяти народа сие ужасающее беззаконие.

Больше четырех недель обоз тянулся по новгородской дороге, и все это время колодники, почти не снимавшиеся с подвод, с ужасом ожидали своей участи. Многие не выдерживали, умирали, но и мертвых, их продолжали везти и вешать, дабы ведомо было всем, сколь наказуема строптивость, названная в данном случае для убедительности изменой, и сколь поощряемы смирение и покорность судьбе, то есть Государе-

вой воле, а еще вернее, безграничной и жесткой над людьми власти, которая, как ни тяжело признать это, была прежде, есть теперь да и по всем предпосылкам не исчезнет и в будущем, сколько бы мы ни рассуждали о демократии, правах человека и законах. Равенство? Да разве допустят подобное власти? Нет, люди должны знать это; и, зная, готовиться к жизни, а не к прозябанию в ней, ибо у венценосцев имеется лишь одна справедливость — сила и лишь один способ удерживать, словно в коровнике, подвластный им люд — устрашение. Новгородцев карали не потому, что они были преступниками, а потому, что так диктовали «государственные» обстоятельства, и, может быть, как раз эту-то традиционность, чтобы не искать иных обоснований для осуществления своих ужасающих замыслов, и стремился усвоить Иоанн; он словно бы репетировал будущий разбойный во главе опричного войска поход на Тверь и Новгород и вместо шапки Мономаха примерял лисий батыевский (для подавления свободолюбия) малахай.

CV

Когда после молитвы и завтрака одетый для конной прогулки Иоанн вышел к вельможам, среди которых, чуть выдвинувшись, чтобы быть на виду, стояли его любимцы: отец и сын Басмановы, Вяземский, Салтыков, Грязной, Малюта Скуратов-Бельский, брат царицы Михаил Черкасский и, конечно же, вездесущий чудовский архимандрит Левкий, всегда готовый к угождению, — все сейчас же заметили, что царь выглядел усталым, нездоровым. Но поскольку о царской особе обычно не принято рассуждать вслух (да и кто мог бы догадаться об истинных причинах Иоаннова недомогания?), — сановитые придворные лишь переглянулись и промолчали, а затем, присмотревшись и пообвыкнув, и в самом деле уже не замечали произошедших с царем перемен; готовые к веселью, словно к работе или службе, они шумно (и шубно!) толклись возле Иоанна. К самодержцу подвели коня под царским седлом и царской кумачовой попоной, помогли сесть и, любуясь его кавалерийской выправкой, а Иоанн любил и умел ездить верхом, свита двинулась за ним.

Ехали тем же, что и накануне, путем, забрав далеко к лесу, чтобы затем опушкой спуститься к дороге и к Москве-реке. Колея была достаточно утоптанной, лошади шли спокойно, без напряжения, крупы и бока их вскипали пеной, и совсем не зимний, теплый, почти весенний ветерок, дуновением налетавший то от леса, то от реки и села, освежал розовые и потные под шапками лица бояр и князей. Особенно приятно было ехать вдоль села. Дубы, ели, сосны, очистившиеся от снега, по-весеннему дышали прелой листвой и хвоей, кое-где по пахоте и на межах чернела оголившаяся земля, проглядывали зеленыя озимых, и над ними, над всем распахнутым взгляду пространством, словно бы сгустившись, держалось что-то мартовское, хотя свирепеть бы теперь, по зиме, морозам, готовое вот-вот пробудить к жизни и деятельности все сущее на земле. Царь, свита, кони — все чувствовали это пробуждение. Конь под Иоанном, разворачиваясь то одним, то другим боком к свите, шел мелкой, подтанцовывающей иноходью; было видно, что он готов с места рвануть в намет, лишь бы отпустили удила, но Иоанн сдерживал эту устремленную к свободе конскую силу, как сдерживал подобную же, но относившуюся к державе и власти над ней силу в себе, словно бы дожидаясь, когда, набрав могущества и облепившись подручными, готовыми на все, даже лечь костью за трон и государя, сила сия явится перед боярами и народом во всей своей устрашающей несокрушимости. «Ужо вам!» — будто бы осанкой и слитностью с конем говорил Иоанн, и казалось, нечто символическое заключалось в этой сдерживаемой пока, но готовой разгуляться на воле необузданной, бесшабашной и конской, и царской силе; и, трудно сказать, насколько понималось это состояние Иоанна или не понималось свитой, но одно было вполне очевидно: царь, поглощенный своими думами, был сам по себе, свита — сама по себе; и точно так же, как мир Иоанновых чувств и мыслей более чем читался в его символической угрюмости, не предвещавшей добра, так и мир свиты, сопровождавшей царя, но в противоположность царскому отмеченный беззаботностью и весельем, представлял во всей своей придворной прелести острословий, шуток, интриг и интрижек, затевавшихся обычно с утонченным коварством завзятых профессионалов. Ни Басмановы,

отец с сыном, имевшие (по известному рязанскому делу) определенные перед страной и самодержцем заслуги и оттого державшиеся с особым как будто достоинством, ни стройный и велеречивый князь Афанасий Вяземский, не хуже Сильвестра умевший проникнуть в душу Иоанна, ни Салтыков и Грязной, годившиеся, как говорили о них, лишь на мелкие царские поручения, ни соперничавшие друг с другом за верховенство в угодничестве (один — стараниями палаческими, другой — церковным христоотступничеством) Малюта Скуратов-Бельский и чудовский архимандрит Левкий, ни кто-либо еще из свиты, столь же высоко поставленный при Дворе, не могли даже отдаленно предположить, что мысли, занимавшие теперь Иоанна, были страшны не столько, может быть, для народа, державы, которая была, есть и будет, сколько для них самих, приговоренных уже, в сущности (и не только царем, но и историей), на опалу и казнь. Они не замечали, вернее, не придавали значения взглядам, какими, оборачиваясь в седле, Иоанн обдавал их. Царь смотрел на них с тем болезненным недоверием, какое, словно сгусток ненависти, собиралось в нем ко всем: к боярам, князьям, духовенству, народу, — и какое как раз и погнало его из Москвы и, оборачиваясь мстостью, набирало силу; он не выделял любимчиков, решение выносилось всем, жесткое и окончательное, и хотя до исполнения этого замысла пройдет еще немало кровавых лет, но — на что, на что, а на расправы Иоаннова память всегда оставалась крепка, он вспомнит и этот оттепельный день, и решение и, удесятерив зловещую свою мстительность, исполнит все, что задумывалось теперь. Угрюмо он въехал на косогор, с которого еще вчера, казалось, с напряжением следил за мужиком, санями и лошадью, спускавшимися к реке (снег теперь был осевшим, река вскрылась, так что нельзя было узнать ни места той несчастной для мужика переправы, ни сугроба, спасшего, если уж откровенно, жизнь Иоанну и свите); угрюмо затем, вернувшись во дворец, сидел у Марии, склонившись под тяжестью все тех же не отступавших от него дум, в которых проходило его не призрачное, нет, а вполне реальное, в поисках и мучениях коломенское житье.

Отношения с царицей, как и прежде, были для Иоанна предметом особых забот и раздумий. Он жаж-

дал супружеского тепла, семьи, обычного домашнего человеческого уюта, какого недополучил, как уже говорилось, в детстве, но затем сполна познал в супружеской с Анастасией жизни, еще острее именно здесь, в Коломенском, чувствовал, насколько этого простого счастья не доставало ему; и оттого-то, может быть, что к вопросам державным, отягощавшим его, примешивался еще этот, мешавший, как довесок, подняться и, развернувшись в плечах, то есть во всей своей мстительности, двинуться к цели, — оттого-то, может быть, он, с одной стороны, злился на Марию и ненавидел ее за ее холодность, неподступность и гордость, вернее, за то, что не делала первого и столь нужного в делах любви шага к нему, с другой — тянулся к ней, испытывая не угасшее еще чувство и находя ее, как и прежде, царственно красивой, красивой как раз в этой своей холодности, неподступности и гордости. Но, возможно, если убрать значение венценосности, все объяснялось гораздо проще: как и Мария, не находящая в себе сил переступить через достоинство и гордость, так и Иоанн, для которого смерти подобно было в чем-то и перед кем-либо унизиться, не хотел одолевать своей гордыни; два одинаковых характера, два упорствующих в своем царском величии человека, и вместо согласия и любви, одинаково желанных обоим, нарастало лишь противостояние, переходившее в неприятие, только еще более отчуждавшее их. Мария сидела в кресле, царственно, как она умела, держа голову; лицо ее было бледно, она смотрела на мужа, уместившегося на низенькой скамеечке у ее ног, и черные, да, по крайней мере так казалось при свете горевших по обе стороны ее свечей (ведь зимой вечерет быстро, особенно в пасмурный день), — черные глаза ее, как никогда, может быть, отражавшие в эту минуту весь глубинный мир ее женских — от неудачного замужества и неудачного материнства — переживаний и дум, были полны грусти и теплившихся еще на несбыточное счастье надежд. Ей хотелось заговорить о мюридстве, о чем просил брат Михаил, но — чем дольше она молчала, тем труднее становилось начать разговор (разумеется, не только о мюридстве, но разговор вообще) и тем острее, как удушье, поднималась в ней гордость и удерживала ее. Иоанн тоже молчал. Он сидел неподвижно, не поднимая головы и не глядя

на Марию; сухая, с выпиравшими лопатками спина его была сгорблена, словно, признав вину перед ней, он мучительно искал теперь выход из этого странного, как ему, наверное, казалось, положения. Но смирение внешнее отнюдь не отражало тех дум, какие, роясь, то есть сцепляясь и расцепляясь в противоборстве, поскольку правда и ложь, сколь великие люди всех эпох ни пытались соединить их, всегда оставались несовместимыми, поглощали его внимание. Он то обращался к делам державным, к воспоминаниям, то вдруг сознавал, что пришел к царице и сидит у нее, но мгновенное желание поднять голову и посмотреть на Марию сейчас же перебивалось другим и еще более сильным, заключенным в вопросе: «Для чего? Чтобы увидеть ее холодность, ее презрение?» — и, как и в приступы гнева, впалые щеки его только нервно подергивались, и он еще более замирал в той молчаливой позе, в какой, войдя, оставался все эти долгие минуты безгласья. Нет, здесь, у царицы, столь же не было покоя, умиротворенности, как не было их ни в красной гостиной, ни в спальне, и, скорее почувствовав, чем осознав это, Иоанн поднялся и молча, решительно, не оборачиваясь на Марию, как, впрочем, было уже привычно ему, вышел от нее.

СVI

Бездеятельность одинаково гибельна как для простого смертного, так и для венценосца. Лишенный главной потребности жизни — труда (ведь лень сладка чаще не от барства и праздности, а от обилия дел, которых, как у землепашца по весне или по осени, делать не переделать) — человек невольно опустошается душой, и к нему является та страшная болезнь, называемая одиночеством и тоской, которая, если не унять ее, достигнув криза, оборачивается либо безудержным озлоблением на всех и вся без разбора, как это, впрочем, и случилось с Иоанном (в самую пору зрелости, добавим), либо тихим, открывающим путь к иночеству и отшельничеству помешательством, когда из мира реальностей происходит добровольное перемещение человека в мир грез и несбыточных идеалов. Отрешившись от державы и трона — пусть на время,

для виду, из амбиций, что ли, если точнее, — Иоанн лишил себя той повседневной государственной жизни, той деятельности, какой подменялась потребность труда, и он теперь не то чтобы слонялся по палатам дворца, отыскивая, к чему бы (условно говоря) приложить руки, — нет, в этом внешнем проявлении он оставался царем, самодержцем, коему непозволительно выказывать душевную слабость перед холопами, пусть и вельможными; но, как и всякая болезнь, загоняемая в глубь тела, только расшатывает и подрывает здоровье, так и мучительное состояние Иоанна, в чем он не хотел и не мог никому признаться, его поиски истины и отчужденность делали пребывание в Коломенском невыносимым (может быть, потому-то позднее он и возненавидел сей дворец и сие место, переключив симпатии и любовь на Александрову слободу); он и в самом деле то сидел в гостиной, то отправлялся посмотреть сундуки с казной и драгоценностями, взятые им из Москвы, то заходил в кабинет, где прежде выслушивал доклады Адашева, разбирал местнические тяжбы бояр и где теперь все было мертво, глухо, кроме разве горевших свечей, зажигающихся сейчас же, как только он приближался к двери. Как и в гостиной, он усаживался в кресле (за письменным столом ему и в самом деле нечего было делать), и прежние встречи и разговоры оживали с такой ясностью, что, казалось, он слышал голоса то воевод, то Адашева, то митрополита Макария, без которого не решалось ни одно государственное дело. Макарий не брал ни сторону Адашева, предлагавшего воевать Крым и не ходить пока, до времени, на Ливонию, Литву и Польшу, ни сторону воевод, которые, соглашаясь с устремлениями самого Иоанна, склонялись в пользу войны северной. Им представлялось (по тому, как сдавались им крепости и города ливонские), что Россия здесь сильнее, что за Крымом стоят турки, занявшие к тому времени уже почти половину Европы, и что, наконец, переброска войск с севера на юг займет много времени, да к тому же откроется фланг, то есть простор, для Сигизмундовых и Радзивилловских полков; Иоанн слышал эти голоса, возвращавшие его к тем недавним еще временам, когда, занятый добыванием воинской для себя славы, какой, казалось, так недоставало ему как Государю всея Руси и самодержцу, он во главе войск ухо-

дил в походы и неделями, если так можно сказать, не слезал с коня и не снимал доспехов; но теперь — походы те не волновали его, как не волновали и споры, в которых выстраивался стратегический курс державы и которыми все минувшее десятилетие определялась его государственная жизнь; перед ним возникали теперь иные проблемы, иная цель — укрепление собственной в стране власти, — и в соответствии с этой целью настраивались все его нравственные и мыслительные возможности.

Воображение вновь переносило его к тем годам, когда правила его мать, поддерживаемая и наставляемая ее опекуном и любовником — князем Иваном Овчиной-Телепневым-Оболенским. Иоанн не то чтобы осуждал мать за эту связь ее с белокурым временщиком, оставившим о себе лишь палаческую память, — нет, чувства его в этом плане были более чем противоречивы; с одной стороны, он не верил в самую возможность подобной связи, унижавшей мать, и относил все к злым языкам, к наговорам, на кои, он знал, столь горазды люди, включая, разумеется, и бояр, и князей (такое наворотят, что и ума не приложить!), а с другой — если бы это и было правдой, не хотел, чтобы она распространялась в народе, и не позволял ни себе, ни другим укрепляться в ней. Но скрыв одно, что было связано с матерью и временщиком, Иоанн не мог скрыть другого — весьма странной, если не сказать загадочной смерти матери. Случилось это весной, в теплый апрельский день, когда ему было семь лет от роду. С утра Елена казалась веселой, принимала бояр и даже продолжительнее, чем обычно, беседовала с ними, потому что осложнились дела с Казанью да и накопилось много иных, требовавших внимания, но затем, ближе к обеду, занемогла, слегла в постель и во втором часу дня, не успели два немца-лекаря посоветаться и сообразить, что с правительницей, чем помочь ей, как она скончалась. Немцев-лекарей отстранили от покойницы, тут же, словно из-под земли, вырос в ее палате боярин князь Василий Васильевич Шуйский, взявший на себя роль распорядителя похорон. Ни в одном из летописных сводов не говорится, чтобы митрополит отпевал ее тело, зато из всех свидетельств следует, что не прошло и четверти часа, как усопшая была омыта, наряжена и уже лежала на одре,

что все сделалось так быстро, словно смерти ее ждали и готовились к ней. Князь Овчина-Телепнев-Оболенский, как это, впрочем, и происходит в подобных случаях, узнал обо всем последним; он примчался во дворец, когда Елену готовились положить в гроб, и, как замечают очевидцы, один он только и лил слезы по усопшей, потому что терял все, что стараниями сестры и своими было обретено им, да надрывался в рыданиях маленький Иоанн. Когда Овчина-Телепнев-Оболенский вошел к покойнице, Иоанн сейчас же, словно за спасением, бросился к нему. Это не понравилось боярину Шуйскому, но он только гневно сверкнул глазами и не стал ничего предпринимать, потому что судьба белокурого временщика, старавшегося через сестру, няньку Иоанна Аграфену Челяднину, сблизиться с малолетним Великим Князем, что как раз и вызывало неприятие у Шуйского и других думных бояр, — судьба временщика, в сущности, была предрешена. Иоанн хотя смутно, но помнил те минуты, когда кинулся от одра к князю; и если теперь, когда понимал все, поступок тот представлялся ему омерзительным, то тогда, в тот траурный день, он только и мог поступить так, как поступил. Чтобы успокоить малолетнего Государя, его увели в детскую, а спустя час гроб с телом матери уже опускали в свежевыврытую могилу на кладбище в Вознесенском монастыре.

Всех последующих исследователей, как и Иоанна, когда он, как было с ним сейчас, мысленно возвращался к тому осиротившему его дню, удивляла и приводила в недоумение поспешность, с какой, словно желая отделаться от чего-то неприятного, что, даже усопнув, продолжало осквернять дом, бояре во главе с Василием Васильевичем Шуйским похоронили правительницу. Тут же, по смерти, как делается только на войне, ее предали земле, не позволив святителям совершить над ее телом всех тех христианских обрядов, предусмотренных церковными канонами, без которых душа покойницы обрекалась на вечные скитальческие муки, и сколько же надо было иметь ненависти, чтобы поступить так. Однако боярин князь Шуйский поступил именно так, не побоявшись ни будущего царского гнева и мести, ведь малолетство Иоанна, когда-то же, но должно было кончиться, ни гнева Божьего, перед которым, как это, видимо, казалось ему, надеялся оправдаться (но более, наверное, от крутости характера,

как увидим позднее); да, все говорит о том, что Елена умерла не своей, а насильственной смертью, а проще, была отравлена, и можно даже предположить, на что рассчитывали отравители, идя на сей шаг, — на недоброжелательство за ее литовское происхождение и за то, что, не умея собластить себя как женщина перед лицом православного мира, пригрела возле себя, в постели, любовника и не по заслугам вознесла его над родовитыми боярами и князьями; разумеется, Иоанн понимал это, вернее, не мог не знать и не понимать, и с точки зрения обычной логики естественной было бы, если бы, повзрослев и окрепнув на троне, принялся мстить прежде всего тем, кто был или мог быть причастным к ее смерти; но, как свидетельствуют источники, дошедшие до нас, подобного не произошло; Иоанн не только не мстил за мать, но и ни устно, ни в ответах князю Курбскому, в которых более чем где-либо позволял себе откровенничать, не затрагивал этого болезненного для себя вопроса. Историки на этом основании (и они по-своему правы) высказывают предположение, что либо Елена не была отравлена, либо Иоанн ничего не знал и не хотел ни на кого наговаривать (Боже, этот-то царь, этот-то самодержец, столь многократно лгавший и возводивший напраслину?!); нет, на мой взгляд все обстояло куда как проще; Иоанн знал, знал все в подробностях, но, дорожа честью матери, мстил боярам не за нее (иначе пришлось бы оглашать причину отравления), а за те мелочные, конечно же, в сравнении с убийством обиды, о которых в обилии рассказывает все в тех же своих посланиях к Курбскому; Иоанн схитрил тут не только перед современниками, но и перед историей, и разве что — не вполне осознавал масштабов сей своей хитрости, вспомнив теперь здесь, в Коломенском, о том страшном дне своего сиротства.

СVII

На кладбище в Вознесенском монастыре еще скрипели лопатами, подгребая землю, ровняли крест, возведенный над могилой, и тихие и слезливые инокини, пришедшие проводить правительницу в последний путь, еще дочитывали молитвы, когда в тронном зале

дворца, собрав думных бояр, старейший из них боярин князь Василий Васильевич Шуйский (глава переворота, как мы бы назвали теперь), занимавший первое в совете место еще при Василии III, а затем при Елене (номинально, правда, потесненный временщиком), держал тронную или почти тронную перед всеми речь. Он говорил, что Государь мал, что держава не может оставаться безглавой, и, напомнив о предках своих, суздальских князьях, объявил себя Главою Правления, то есть «на высшей ступени трона», если по-летописному, со «свойством с Государем». Только один человек мог в соперничестве противостоять ему — тоже старейший боярин князь Дмитрий Бельский, родственник Иоанна. Но боярин молчал. Молчал потому, видимо, что клан Шуйских в то время был куда многочисленнее клана Бельских и потому еще, что знал о крутом нраве новоявленного временщика и опасался с его стороны непредсказуемых, как это обычно и бывает в минуты беззаконий, жестокостей. Впрочем, Василий Васильевича Шуйского опасались почти все при Дворе, помня о том, как он отстоял Смоленск после известной, с поляками и литовцами, Оршанской битвы. Когда поляки и литовцы, подойдя к Смоленску и осадив его, приготовились было уже к штурму, князь Василий Васильевич Шуйский, бывший тогда воеводой в Смоленске, велел в ночь переловить в городе всех богатых смолян (польского, как уточняют некоторые летописцы, происхождения), тайно ли, явно ли державших связь с королем Сигизмундом и готовившихся сдать ему город, и всех их — более тысячи человек — приказал повесить на крепостной стене. Утром, когда сошел туман, открывшееся сие ужасающее варварство настолько ошеломило польских и литовских воевод и ратников, что они не решились на штурм и к вечеру отошли от города, лишь пограбив и спалив прилегавшие к нему посады и монастыри. Повешенных долго не снимали с виселиц — для устрашения, как говорил успевший уже прославиться жестокостью смоленский воевода князь Шуйский; на площади перед смоленским кремлем его чествовал народ (по своего рода известному заблуждению), затем чествовали в Москве, приняв с торжеством, пожаловав боярство и посадив чуть ли не первым (уже тогда!) советником в Думе. Широкий в кости, с крупными чертами лица и богатырской

осанкой, как можно было бы сказать еще, глядя на него со стороны, князь Шуйский и в придворных делах, усвоив однажды, что перед силой и дерзостью гнется все, как трава под ветром, действовал сим же испытанным методом и, как провинциал, гордящийся неотесанностью, всячески старался поддержать эту сложившуюся о нем дурную, но казавшуюся полной достоинства, мужества и справедливости славу.

Уравнявшись в значимости с Государем, правда, пока лишь провозглашением, Шуйский, однако, не посмел занять пустовавший трон (из-за смерти матери да и по малолетству Иоанн не был приглашен на этот важнейший государственный совет), а стоял возле, одетый отнюдь не по-траурному, а во всем блеске своего богатства и положения, и громовым, трубным голосом оглашал свои заготовленные доморощенные мудрости. Ведь ничто, сменяясь, не движется к лучшему; так происходит и с временщиками, жаждущими власти и славы; как ни казался коварным и жестоким Овчина-Телепнев-Оболенский, но уже по первым предпринимавшимся действиям Шуйского было очевидно, какая взамен прежней и вроде бы даже сносной сила грозила теперь утвердиться при малолетнем Государе. Шуйский, поскольку равен с Государем, а как же, действовал по-воински решительно, быстро. Прежде всего послал освободить невинно отбывавших наказание князей Андрея Шуйского и Ивана Бельского, в свое время схваченных по распоряжению Овчины-Телепнева-Оболенского, а самого бывшего временщика вместе с сестрой Аграфеной приказал изловить, заковать и отправить в темницы. Из опасения именно, что его схватят, Овчина-Телепнев-Оболенский не решился ночевать дома, а пришел к сестре, мамке Иоанна боярыне Аграфене, полагая, что вблизи государя заговорщики не посмеют с колодой и цепями приступить к нему. Но, выйдя на путь насилия, мог ли боярин князь воевода Шуйский положить предел для себя в сем деле? Не найдя князя Овчину-Телепнева-Оболенского в доме, он с княжатами и детьми боярскими кинулся во дворец; ему более чем ведомо было, где искать этого белокудрого выскочку, и, с криком ворвавшись на женскую половину дворца, в покои Аграфены, люди Шуйского набросились на Телепнева, свалили на пол и, нещадно, зверски избивая, принялись заковывать в

колоду. Боярыня Аграфена была в это время в детской. Она выскочила на шум и кинулась было защитить брата, за ней выскочил и маленький Иоанн в ночной рубахе (он готовился уже отходить ко сну); в порыве детской справедливости он тоже бросился было заступиться за мамку, на которую, сбив ее с ног, надевали колоду, хватал боярина Шуйского за полы, кричал, просил, требовал со слезами, чтобы отпустили Аграфену и Телепнева, но на него не обращали внимания; лишь кто-то из детей боярских по указанию, видимо, Шуйского сгреб его в охапку, отнес в детскую и запер там. Иоанн хорошо помнил, как стоял на коленях перед дверью, прислушиваясь к возне, шуму и крикам, доносившимся до него, как затем все стихло и к нему явилась новая мамка, присланная новым временщиком.

Есть обиды государственного масштаба, наносимые не столько тому или иному правителю, сколько народу, трону, но есть и мелочные, ущемляющие лишь частный интерес, и государям, конечно же, не к чести замечать их и тем более болезненно реагировать на них. Казалось бы, чего проще, ибо достоинство Великого Князя и Государя превыше всего; но тем, может быть, и непредсказуема, парадоксальна и интересна жизнь, что редко когда укладывается в схему логических построений (или предположений, если кому-то хочется так); не отравление матери, не арест и заточение чтившего ее князя Ивана Овчины-Телепнева-Оболенского (его уморят голодом и спустя несколько месяцев предадут земле в одной из безвестных подмосковных обителей), не судьба мамки, боярыни Аграфены, о которой Иоанн до конца дней будет вспоминать с теплотой и любовью (ее насильственно постригут и заточат в Каргопольский монастырь), наконец, не узурпаторство Шуйского, его провозглашенное равенство с государевой особой (кстати, не пройдет и года, как сей временщик скончается — скоропостижно, неведомо отчего, будучи в полном как будто бы здравии, а на его место, место временщика, явится брат, князь Иван, еще более честолюбивый и дерзкий), — нет, не это, что затрагивало интересы державы, а совсем другое, личное, мелочное, выраженное лишь в том, что отнесли в детскую, заставили стоять на коленях перед дверью и, не поговорив и не получив согласия, прислали новую,

незнакомую и неприятную ему (из клана Шуйских) мамку, жгло теперь уже огрубевшую царскую душу Иоанна. Он не мог оставаться в кабинете, где тяготили его эти, мелочные воспоминания; и перед современниками, и перед историей, и перед самим собой он хотел предстать натурой крупной, когда все, к чему бы ни прикасались его чувства и ум, — все должно измеряться мерой державной власти. Но изначально заложенная в человеке суть не всегда согласуется с позднейшими, пусть даже благими его желаниями. Не как царь, а как человек, да, именно как человек, Иоанн был мелочным; и хотя история не оставила явных свидетельств, насколько мелочность эта проявлялась в быту (да ведь как посмотреть?), но зато более чем щедро Иоанн сам в переписке с Курбским приоткрыл перед нами сию свою слабость. Он жаловался беглому князю, что, дескать, «нас с единокровным братом моим, святопочившим в бозе Георгием, начали воспитывать как чужеземцев или последних бедняков. Тогда натерпелись мы лишений и в одежде и в пище. Ни в чем воли не было... Припомню одно: бывало, мы играем в детские игры, а князь Иван Васильевич Шуйский сидит на лавке, опершись локтем о постель нашего отца и положив ногу на стул, а на нас не взглянет — ни как родитель, ни как опекун и уж совсем ни как раб на господ. Кто же может перенести такую кичливость? Как исчислить подобные бесчисленные страдания, перенесенные в юности? Сколько раз мне и поесть не давали вовремя». Иоанновы биографы любят приводить эту цитату. Одни для того, чтобы подчеркнуть боярскую вину перед грозным самодержцем и таким путем хоть частично, но все же оправдать царскую свирепость к ним, хотя, если глубже и основательнее взглянуть на дело, бояре в этот именно период своего правления более были виноваты перед народом, который бесконтрольно и нещадно угнетали и разграбляли, чем перед царем, пусть даже и малолетним (а что запускали руку в государеву казну, так ведь кто из временщиков и в какие времена не запускал в нее руку?); другие же — из тех лишь соображений, чтобы указать, на что восприимчива детская память и сколь зорким и чувствительным мальчиком рос Иоанн. Но сам Иоанн более чем болезненно переживал свою мелочность; вспомнив теперь (в который раз!), как в

ответном послании Курбскому пожаловался, словно прося снисхождения, на свое сиротское детство, Иоанн нервно, как с первого же дня позволял себе здесь, в Коломенском, поднялся с кресла и решительно направился из кабинета.

СVIII

В неприкаянности человек страшен; неприкаянность царская страшна вдвойне, потому что оборачивается гневом. Чем дольше оттепель задерживала Иоанна в Коломенском, тем мучительней переносилась им затяжная уже неприкаянность, которая вырастала в безудержную на всех озлобленность: на вельмож, слуг, царицу, державу, наконец, на святителей, не умеющих, казалось, и службу-то как следует отслужить, как служат митрополиты в Москве (да ведь на то они и митрополиты!), и если бы не глобальный замысел перемен, занимавший воображение и душу, не исключено, что мрачное состояние самодержца давно вылилось бы гневом на ближних и кто-то был бы уже обезглавлен, или корчился на дыбе, оговаривая себя и других, или насильственно пострижен в монахи, сослан, заточен, пущен под лед или посажен на кол, как любил еще иногда «разряжаться» Иоанн, прибегая к сей азиатчине (и чтобы жена, дети непременно взирали на мученическую смерть родного им человека), — да, да и еще раз да, вылилось бы гневом на ближних, изломав судьбы, оборвав надежды и жизнь, окажись Иоанн хоть на час свободным от дум, то уносивших его в прошлое, в будущее, то возвращавших к действительности, в которой так недоставало ему того монолита, того единства, то есть того спущенного с небес (монашеского, добавлю, для общества, для всех) устава, которым бы раз и на все времена закреплялась над людьми незыблемость державной власти. Он думал об этом и днем и ночью; и когда в гостиную являлся ему Сильвестр, и когда затем, перейдя в спальню, лежал на кровати, не смыкая ни при свече, ни в темноте глаз; и когда выходил к заутрене, обедне, садился за трапезный стол или заглядывал к царице, чтобы найти успокоение; но успокоения не было, спущенное с поводов воображение, как тот самый конь под царской кумачо-

вой попоной, что просился в намет, — воображение ставило вопросы, заставляло искать ответы, являло жизнь минувшую и грядущую, сталкивая страсти, перемешивая краски и тасуя события с ловкостью игрока, взявшего в руки затасканную уже, с крапленными (на выигрыш) картами колоду.

Но кто из придворных коломенских обитателей мог проникнуть в душу Иоанна, постичь тайну тайн его мучительных переживаний, цель и смысл которых, определившись в чертах общих, не были еще в деталях ясны самому самодержцу, да и кому вообще из холопов, пусть и вельможных, приходят или могут придти подобные, равные царским мысли, которые (согласимся ли, не согласимся ли), как плоть от плоти, передаются венценосцам от древа власти, как гены жизни или выживания, помеченные бездушной, бескомпромиссной, смертной схваткой за трон? О правителях, как о покойниках, не принято в народе говорить плохо; обычная вера в справедливость в сознании простого человека переносится на правителя, и хотим ли мы или не хотим признать, но как раз этой извечной людской добротой, этой несбыточной в сути своей надеждой, от которой вроде бы и сносней, и теплей становится жить и переносить тяготы, — этой-то добротой, познав ее естественную неисчерпаемость, столетиями манипулировали и манипулируют во дворцах, как агнцев, обманывая и каждый раз с большей основательностью закабалая народ (разумеется, не исключая и наше время и несмотря на возросшую будто бы просвещенность и цивилизованность). Но, как уже отмечалось, история, к великому сожалению, еще ничему не научила люд; знания знаниями, а в обыденности человек всегда остается столь же прост и доверчив, полагаясь на изначальность и верховенство добра и справедливости, как, наверное, века и тысячелетия назад, и, может быть, на этом не во всем, видимо, бесспорном основании я и позволю себе сделать относительно Иоанна и его окружения в Коломенском некоторые обобщения. Если все более или менее одинаково старались услужить Иоанну — вельможи, святители, просто холопы, — то не все, надо полагать, одинаково хорошо думали о нем; одни — от боязни подвергнуться гневу, другие — от ревности, что возвысил не их, а противников, третьи — за некое скряж-

ничество, какое замечали за самодержцем, четвертые — лишь оттого, что недовольны были этой невесть зачем и для чего затеянной поездкой в зиму, доставлявшей им теперь, здесь, в Коломенском, массу непредвиденных (по многолюдству) неудобств, пятые, шестые, седьмые — каждый хоть что-либо находил для себя неприемлемое, стеснительное, но вместе с тем над всеми словно бы витала одна поглощавшая всех мысль, что царь Иоанн, как только покинул Москву, вроде бы поостыл от гнева, притих, отдался Богу и обстоятельствам и что — словно бы повеяло от него той благочестивостью, той, так сказать, домашностью, которая в сознании бояр, князей, духовенства, народа связывалась с именем царицы Анастасии, ее добросердием и основательностью. Иоанновы угрюмость, мрачность, замкнутость, тяга его к уединению — все это, замечавшееся за ним, представляло перед всеми обманчиво обеленным, и мало того, что так думали о самом Иоанне, но начинали думать и о Марии, находя в ней перемены к лучшему, и даже отслужили молебен в честь ее духовного выздоровления. «Слава Богу! Господь всемилостив!» — если не вслух, то хотя бы взглядами, встречаясь, выражали свое удовлетворение придворные. Правда, как исключение, находились и такие, кто не верил ни в душевное исцеление царицы, ни тем более самого Иоанна, и к таким в первую очередь относились либо те обычно скромные, державшиеся в тени третьестепенные, как о них еще можно сказать, люди, коих немного бывает при Дворах, и они ведут летописные книги, или дневники, как это называется теперь, либо подобные Левкию, всегда готовые (со своим пониманием) на злорадство, особенно если предвидят или предугадывают беду относительно вельмож, народа, державы; чудовский архимандрит, какую уже ночь проводивший под дверью Иоанновой гостиной и знавший, пожалуй, если не считать царицы, более чем кто-либо о душевном состоянии Иоанна, — чудовский архимандрит, в каком бы обществе теперь ни появлялся, смотрел на всех с той радостно-зловещей улыбкой, не сходявшей с его лица, которую можно было бы расшифровать, если бы не ряса и не святительский сан, коими раз и навсегда определилось к нему отношение, как злорадство по поводу предстоявших расправ. Он понимал Иоанна,

хотя и боялся своего понимания; и в складывавшейся ситуации, как никогда прежде, видел ясную для себя возможность получить из царских уст благословение на Первосвятительский сан.

Мир един, материален, и трудно предположить, чтобы существовала еще какая-либо ипостась, в которой возможно было бы пребывание человека. Однако Иоанн, если бы в этом только и заключалось дело, коломенским житьем своим вполне мог бы доказать, что жизнь, во-первых, не едина и, во-вторых, не всегда материальна, что есть мир реальный и есть воображенный и что неизвестно еще, какой из них способен доставить человеку больше хлопот. Суть не в материальности или нематериальности; и то, и другое сопряжено со страстями, с мыслями и чувствами, изменяющимися в конце концов материальный лик мира, и в этом плане, может быть, существует и в самом деле единство, подчиненное некоей не известной нам высшей цели; но — что было Иоанну до этих философских формул, его звала своя цель, и, чтобы достичь ее в реальном мире, то есть в действительности, надо было пройти через испытание прошлым, и, проходя теперь через это испытание, он настолько был весь поглощен им, что все окружавшее его — люди, вещи — воспринималось лишь как та домашняя недвижимость, которая, смотря по настроению, то представляется удобной, уютной, радующей глаз, то вызывает желание поскорее освободиться от нее. В церкви, когда Иоанн выходил к заутрене и когда блеском свечей, окладов, риз на иконостасе и святительских облачений приглушались его ночные кошмары, он недолго оставался в этом реальном мире; вместо общения с Богом, что разумелось, если отдаваться молитве, через минуту-другую вновь уже был в плену своих постоянных теперь дум, и на лице застывала отчужденность, которая и производила на всех обманчиво-благодное впечатление. Почти то же происходило и за трапезным столом, за которым сживало обычно до двух, трех десятков вельмож, не считая любимцев, привносивших своей молодостью и беспечностью в общую торжественность обеда некую забубенность; разумеется, не обошлось и тут без чудовского архимандрита Левкия, начавшего уже распространять о себе слух как о царском духовнике, хотя Иоанн не объявлял и не собирался

объявлять этого; он и на Левкия смотрел, как на предмет обихода, видя и не видя его обеспокоенное личико, как не видел и всех иных, занятых либо разговором, либо едой, которую блюдо за блюдом подавали здесь куда с большей будто бы щедростью, чем за подобным царским обедом в Москве. Иоанн же, любивший выпить и хорошо поесть, казался равнодушным, безучастным; иногда он вдруг посреди обеда в задумчивости вставал из-за стола и покидал трапезную, иногда, напротив, засиживался, хотя пора было уходить, и все в ожидании смотрели на него, не смея нарушить его умиротворенности; да, именно так и воспринималось и, возможно, продолжало бы восприниматься это, если бы не те физические перемены — бледность, худоба, — которые с каждым новым днем все резче проявлялись на державном лице царя.

СIX

Иоанн как будто старел на глазах. Но сам он не замечал этого. На голове еще черной шапкой держались волосы, начавшие, однако, кое-где уже выпадать клочьями, и черная борода еще густо обрамляла лицо, величественное теперь не довольством и сытостью, не спокойствием, с каким венценосцы обычно взирают на подвластный им мир, а, напротив, той сменой страстей, желаний и мыслей, той, если хотите, одержимостью в поисках своей и для себя истины, какой как раз и наполнено было его коломенское бытие; и хотя затягивавшаяся оттепель и раздражала Иоанна, но все складывалось так, словно природа давала ему шанс на обдумывание и он должен был решить: либо войти в историю государем справедливым, добрым, великим, либо крутым на расправу самодержцем, грозным, безжалостным и жестоким, способным кровью залить державу; да, природа давала шанс, и, выбирая доброту и справедливость, как он понимал это, вернее, как диктовалось выживанием древа власти, Иоанн выбрал в итоге расправы и казни, потому что стезя правителей predetermined, они не делятся на плохих и хороших и распределяются в исторической иерархии по степени разоренных ими народов, чужих ли, своих ли, что для нашей страны

имеет особый смысл, по количеству захваченных и розданных вельможам богатств и земель да величественности дворцов, символов могущества власти, возведенных на средства обобранных (опять же своих ли, чужих ли) народов. Историки констатируют, что характер Иоанна складывался как раз в те годы, когда из-за его малолетства страной управляли бояре. Период этот так и назван боярским правлением. Именно они, бояре, дескать, преподнесли ему тот кровавый урок борьбы за влияние и власть, который был затем spolна усвоен Иоанном, и что, дескать, получи будущий самодержец иное воспитание, то есть иной пример, народ и держава не испытали бы всех тех страшных потрясений, от которых, как показывает жизнь, мы до сих пор не можем оправиться. Но ведь и боярам кто-то преподносил урок, и те, что преподносили боярам, тоже усвоили от кого-то, а те, дальние, еще от кого-то, и — к каким же корням ведет сия связующая цепочка, сия наука зверствования людей над людьми, дошедшая в неизменности и до нас и готовая в какой уже раз только за нынешнее столетие обогреть кровью русскую землю? Я денно и нощно задаю себе этот вопрос, будто ответом на него и в самом деле можно решить проблемы страдающего человечества; и хотя, в сущности, ответ есть и он прост, как проста жизнь, которая — либо она есть, либо ее нет, но, как и всем, мне страшно признать его, настолько в оголенности своей он обезоруживающе грозен и неумолим. Он отбирает надежду, тогда как люди не могут, не видя просвета, идти вперед; признать — значит заслонить просвет и отобрать надежду, не признать — народам не выбраться из нищеты и закабаления. Ученые утверждают, что в природе происходит круговорот материи; в представлении же простых людей — одни поедают других, тем и жива природа, и сей изначальный инстинкт поедания и выживания, как и во всем сущем на земле, заложен и в человеке, и, как показывает история, он невытравим и повторяем до бесконечности в мелком ли воровстве, разбойных ли нападениях или дворцовых переворотах, и ни религии, ни культуре, ни всем иным идеологическим наслоениям не удалось за века ничего изменить в сей страшной изначальности. Я не хочу верить в это, гоню разрушительную мысль, но — истину не прогонишь; минули столетия со времен

великокняжеских, времен Иоанна, а что, давайте спросим себя, изменилось в том отгороженном от народа, от России кремлевском пространстве, где временщики, те же бояре, только бритобородые и поименованные иначе, столь же алчно суетятся у властных кормил, столь же, как и в малолетстве Иоанна, смертно бьются за должности, дающие привилегии, интригуют, доносят, организуют, имея уже власть (и достаточно уже пограбив народ), заговоры, перевороты, путчи; они огораживают себя войсками, как будто мало им высоких кремлевских стен, и — кто же, какие бояре преподнесли им урок, какую (и, главное, с чьей подачи и для чего?) школу прошли они, — комсомола, профсоюзов, компартии или Советов? — чтобы столь в деталях повторилась, вернее, повторялась история? Есть вопросы, нет ответов; и потому, видимо, нет, что сильный и слабый — это одна ситуация, то есть сильный правитель и слабый, непросвещенный, задавленный нищенским бытом народ, а сильный, и сильный — это другая, когда уравниваются чаши весов — народа и власти — и в силу вступает не страх перед государем-самодержцем, не перед его вседозволенностью, а смирение перед законом. Как же все просто, Боже (на словах, разумеется, только на словах!), и, кажется, стоит лишь усвоить истину и следовать ей; но есть тысячи средств, чтобы истина сия не дошла до народа и не была усвоена им, и средства эти, припудренные обещаниями то рая вечного, то в будущем, неизменно производят свое воздействие на народ. И тут вольно или невольно приходит на ум то в какой-то мере даже мистическое предположение, что цитадель нашей государственности, заложенная Иваном III, — Кремль с его дворцами, соборами и всеми другими атрибутами власти, — за минувшие столетия настолько пропитался самодержавным духом, настолько все уголки его заполнились биотоками царских или, скажем, царствовавших натур вкупе с развратным их окружением, что каждый новый властитель, будь то генсек, президент, премьер, и с какими бы намерениями ни являлся он под сии стены, невольно подвергается сей дьявольской обработке, и, чтобы разрубить непрерывающуюся цепь, нужно не день, не два, а десятилетие, может быть, денно и ночью святой водой и молитвой очистительно обрабатывать его. Но вернемся, однако, к малолетнему Государю и боярскому при нем правлению.

СХ

Боярское правление, если кратко и обобщенно сказать о нем, представляет собой, в сущности, борьбу двух могущественных по тем временам княжеских семейств, или кланов, с которыми именно по их могуществу вынуждены были считаться и Иван III, и Василий III, — клана Бельских (Гедиминовичей), выходцев из Литвы; но давно и прочно обосновавшихся на московской земле, и клана Шуйских, прямых потомков князей суздальских, изгнанных, как значит в летописных источниках, еще сыном Дмитрия Донского со своих наследных земель; и если у Бельских вроде бы не было причин для недовольства на московских Государей, а, напротив, представители этого семейства стремились, и не безуспешно, как свидетельствует история, породниться с великокняжеским Домом (глава клана Федор Бельский сумел жениться на княжне рязанской, родной племяннице Ивана III), то у Шуйских, лишившихся вотчин и примкнувших к Новгороду (они избирались там воеводами, и последним из воевод, пытавшимся защитить новгородскую вольницу, был князь Шуйский-Гребенка), имелись более чем веские основания для затаженной, исторической, сказать точнее, ненависти к своим московским притеснителям, и если и служили Великим Князьям и Государям всея Руси, то лишь из необходимости, потому что некому и негде было еще служить им. По осознанию ли своих корней, по смелости и воинственности (по крайней мере, воеводами они были отличными и немало способствовали упрочению державной воинской славы) князья Шуйские, начиная от боярина князя Василия Васильевича, провозгласившего себя равным в значимости с Государем, действовали при Дворе открыто и с присущей им ратной прямоотой усиливали свой клан; Бельские же, защищенные будто бы родством с Государем и полагавшиеся на это родство, внешне, казалось, ничего не предпринимали, хотя и не дремали, как затем показало время, а, как и Шуйские, только скрытно, с расчетом на неожиданность старались укрепить свое влияние и власть. Они решили действовать через малолетнего и не разбиравшегося еще ни в чем Государя, то есть тем изощренным коварством, с каким обычно наносится удар в спину (да и в тот момент, когда этого

удара противник не ожидает), и во главе этого первого к заговору шага, оттеснив нерешительного и трусоватого старшего брата Дмитрия, встал только что освобожденный из заточения князь Иван Федорович Бельский. Придворная изощренность должна была столкнуться с прямою кавалерийского рубаки, и в этой схватке, как и во всякой иной при дележе власти, было очевидно, что не обойдется без пролития крови; в дворцовых палатах за кремлевскими стенами, где не остыли еще страсти четырехлетнего Елениного правления, начинался новый, а вернее, очередной виток смертных за власть схваток, и — что сулило это народу (разве лишь ужесточение кабалой и разорительными поборами?), какими потрясениями должно было обернуться для малолетнего Государя (исследователи для самоуспокоения говорят, что у него открывались глаза на алчность и жестокость мира), было еще неясно, скрыто за шторой торжествующих пиров, на которых многочисленный род Шуйских, гордившийся расправой над временщиком и правительницей из чужеземного и ненавистного всем рода, предвкушал уже свое великое возрождение. Но, с одной стороны, эти победные пиры, а с другой — тайная озабоченность и созревание тех самых интриг, того коварства, а еще вернее, удара, какой Бельские и их сторонники готовились нанести воинственным потомкам суздальских князей. В палатах боярина князя Ивана Федоровича Бельского сходились по ночам его братья: старший Дмитрий и младший Семен, кстати, тоже, как и Иван, имевший характер дерзкий, строптивый (именно он сразу же после кончины Василия III начал добиваться для себя, правда безуспешно, Рязанского княжества); непременно участниками этого тайного сговора были князь Михаил Тучков, митрополит Даниил и дьяк Федор Мишурин. Дьяк этот, игравший почти государственную роль при Василии III и явно и тайно всегда действовавший против Шуйских, — дьяк Мишурин, словно архимандрит Левкий в позднейшей уже своей компании, был, в сущности, душой, мотором, говоря по-современному, заговора. Он торопил и Бельских, и Тучкова, и Даниила, пока, дескать, еще не опомнились, еще пируют пресловутые суздальские претенденты, и в один из теплых майских дней, ведомая как будто бы князем Иваном Бельским, но в действительности дья-

ком Мишуриным компания заговорщиков направилась во дворец к малолетнему Государю.

Они застали его в саду. Мамка (из Шуйских), следившая за ним, отошла попить чаю, что как раз и нужно было Бельским, Тучкову, Даниилу и Мишурину. Они пригласили Иоанна в беседку. Государь, только что беззаботно игравший и теперь недовольный тем, что его оторвали от его детских занятий, явился настроженным, пасмурным; после того, как на его глазах были схвачены и закованы в колоды Овчина-Телепнев-Оболенский и мамка Аграфена, он опасался бояр; но, увидев, что это были не те, что хватали близких ему Аграфену и Телепнева, не боярин князь Василий Васильевич Шуйский с детьми боярскими и ратниками, а другие, которые обычно, как это казалось ему, бывали с ним добрыми и ласковыми, увидев, главное, митрополита и дьяка, к которым, он знал, как относились отец и мать, принимая их и советуясь с ними, то есть которых он чаще других встречал во дворце и оттого имел к ним доверие, — увидев именно этих близких, как подсказывала тогдашняя осведомленность, людей, он кротко, по-детски мило улыбнулся им и, получив благословение от митрополита, через минуту уже сидел на коленях у Бельского и принимал почти родительские от него ласки. Бельский гладил его по головке, одновременно говоря, что для устройства державных дел надо бы князя Юрия Михайловича Голицина (Патрикеева) пожаловать боярством, а Ивана Хабарова возвести в окольничии; для малолетнего Иоанна просьба сия казалась сущим пустяком, тем более что исходила еще и от митрополита, тогда как сторона Бельских получала очень важное для себя подкрепление. Иоанн, улыбаясь, дал государево согласие и, спрыгнув с колен, умчался к своим забавам, удовлетворенные просители покинули беседку, и, когда явилась Иоаннова мамка, никого из них ни в саду, ни во дворце уже не было.

Воля государева, как известно, есть воля непрекословная. И хотя первым порывом боярина князя Василия Васильевича Шуйского, когда он узнал о государевых пожалованиях, было пойти к Государю и объяснить с ним, но что проку толковать с несмышленьшем, да и в Государе ли дело? Суть в другом: Бельские дерзнули бросить вызов боярину из старейшего рода, по значимости сравнивавшемуся с Государем,

и должны нести ответ за сию свою дерзость. Герой Смоленска, словно бы вспомнив о своей ратной молодости, велел достать прежние воинские доспехи и, облачившись в них, грозным воеводой (но с добавлением государевой «значимости») вышел во двор к собравшимся там детям боярским и ратникам. Он не хотел медлить; обдумывать, заводить разговоры было не в его правилах; тут же, в ночь, он приказал своею, то есть Государевой, как надо было полагать, волей Андрею Шуйскому с детьми боярскими схватить главного заговорщика князя Ивана Бельского и отправить в ту же темницу, из которой не прошло и полугода, как он был освобожден, советников же сего злодея тоже похватать и разослать по отдаленным глухим деревням, а что касалось дьяка Мишурина, как самого зловредного, чтобы не ускользнул паче чего, князь Василий Васильевич брал на себя. Меры представлялись решительными, во всяком случае, так казалось всем. Нетронутым остался лишь один из заговорщиков — митрополит Даниил. Трудно сказать, что подтолкнуло бывшего Смоленского воеводу на такую снисходительность; боязнь ли, нежелание ли тягаться с церковниками (ведь чтобы лишить Даниила сана Первосвятителя, пришлось бы созывать архиепископов, епископов и архимандритов) или убежденность в том, что митрополит неповинен или почти неповинен (что, разумеется, весьма и весьма сомнительно), но только когда Андрей Шуйский, успешный, однако, тоже получить боярство, осмелился было усомниться в подобной снисходительности к митрополиту Даниилу («Служит-то Богу, да прислуживает дьяволу», — резко заметил он), — главный по старшинству, хорошо, видимо, понимавший, что все, что ни произойдет теперь, ляжет на него, решительно отклонил возражение, затем сел на коня и до утра уже не слезал с него.

Ночь та выдалась в Москве теплой, темной, луна не всходила, звезд на небе не было видно, их заслоняли тучи, набрякшие весенним дождем; зарождаясь где-то за китайгородской стеной, они ползли над Кремлем, напарываясь подбрюшьями на кресты куполов и башен, и вся эта предгрозовая атмосфера ночи казалась настораживающей, словно приготовленной, как тьма для татей, для коварных, жестоких дел. Но ни Василию, ни Андрею Шуйским, ни детям боярским и ратникам, воинственно галдевшим во дворе, замышлен-

ное не представлялось несправедливым или незаконным; поименованный равным с Государем боярин князь Василий Шуйский, вновь как бы ощутивший себя в осажденном Смоленске, и в самом деле казался Государем, сытый, лоснившийся крупом конь играл под ним, перебирал ногами, просил повод, и в свете зажженных факелов картина представляла еще более величественной. Так же, как настроение паническое, возникнув у одного бойца, у другого, с быстротой молнии передается войску и войско бежит с поля сражения, бросая все, давя друг друга и погибая больше от этой давки и неразберихи, чем от вражеских стрел, мечей, пуль, так же распространяется и шапкозакидательский дух, особенно если он исходит от полководца. Шуйские чувствовали за собой силу, самонадеянность их была подкреплена тогдашней расстановкою сил при Дворе, они не только верили в свой успех, но даже в мыслях ни секунды не колебались в нем, как, впрочем, и в правоте и дозволенности затеянного; разбившись на отряды, они с зажженными факелами в руках ринулись по московским улицам к намеченным подворьям и обложили их; у ворот и у входа во дворец Бельских возникла сеча, многие пали с той и другой стороны, иных хватали, били, волокли со двора, князя Бельского застали в спальне, он попытался было отбиться, но потом бросил меч, его заковали и отправили на подворье Шуйских, а дом и кладовые нещадно разграбили; «многие богатства», как замечают летописцы того времени, были унесены детьми боярскими и ратниками, и клан Шуйских значительно прибавил в богатстве и могуществе. Подобное же происходило и в доме князя Тучкова, да и в домах других соучастников, что помельче, а дьяка Мишурина изловили уже за Яузой; полураздетого, с потеками крови на теле, его привезли на подворье, когда начало светать и когда Бельского, погруженного на подводу, под усиленной охраной уже вывозили из Москвы.

СХІ

Иоанн стоял на заутрене, митрополит Даниил вел службу. Надо сказать, в великокняжеском дворце никому не дано было нарушать раз и навсегда положенный распорядок жизни. Чуть свет обычно вся вели-

кокняжеская семья выходила к заутрене, так было и при деде Иоанна, и при отце, и при Елене; трехлетнего Великого Князя и Государя всея Руси Иоанна, правда, тогда, при матери, еще щадили, и мамка Аграфена, боярыня Челяднина, стеной вставала за своего воспитанника; но теперь, когда Иоанну шел уже восьмой год, и ни матери, ни боярыни Челядниной рядом не было, и некому было подать за него голос, к нему относились (но только лишь в этом плане пока) как к царствующему венценосцу, будили чуть свет и уводили в церковь, где он, стоя у алтаря на великокняжеском месте и в царском, разумеется, одеянии, должен был часами повторять молитвы, креститься и слушать тяжелый, хотя и мелодичный будто, напевный голос митрополита. С заутрени шли на завтрак, потом разрешался короткий сон, после которого опять благодарения Господу, второй завтрак, и, смотря по обстоятельствам, либо вели Иоанна в тронный зал для решения державных дел, где он еще больше тяготился и скучал, чем в церкви, либо отпускали для развлечений и игр, что с верховенством Шуйских сделалось почти нормой, но и тайло в себе, для Шуйских, разумеется, определенную, скрытую до времени опасность. Ведь восприятие обид всегда адекватно восприятию мира, и болезненность Иоанна к оскорблениям мелочным, за которые, впрочем, он затем отплатил круто, полной мерой, вовсе не связана с какой-либо особенностью его натуры; как и всякий подросток, он запоминал и накапливал в себе лишь то, что ущемляло его детско-юношеский интерес жизни, и недоспать, недоеть или недоиграть ставилось им куда выше любых государственных дел, в кои он пока еще по возрасту своему не хотел и не мог вникать. Все это говорит лишь о том, что будущий самодержец России рос вполне нормальным ребенком, пробуждался и вставал с постели с неохотой и с еще большей неохотой шел в церковь; бывали даже случаи, когда во время службы сон настолько одолевал его, что святители, бывшие рядом, едва успевали подхватить его, чтобы он не упал; детская чернокудрая головка его клонилась на грудь, и уже ни огоньки свечей, ни переливный отблеск окладов и риз в свете этих огоньков, ни взлетающий под купол голос служителя — ничто не воспринималось по отдельности, а слившись вместе, как некая

умиротворяющая, что ли, благодатная музыка ватно окутывала и взгляд, и душу и словно бы опускала куда-то в уютное и теплое небытие.

В таком состоянии Иоанн пребывал и в это утро, стоя у алтаря и слушая митрополита. Время от времени он то проваливался в то самое уютное и теплое небытие, убаюканный видом горевших свечей, блеском икон и голосом митрополита, то вдруг, словно вынырнув из глубины ватного блаженства, открывал глаза, чтобы через мгновенье опять погрузиться в небытие; ему казалось, что все на заутрене было так же, как и вчера, и третьего дня, и неделю и две назад; и разве что сильнее откуда-то тянуло сыростью, то ли от пола, то ли от стен, еще не успевших просохнуть и отогреться после зимы, и только чуть дольше обычного длилась служба, как будто то ли недомогал митрополит, то ли введено было им же и по своему усмотрению какое-то усложнявшее ритуал новшество. Хотя все при Дворе уже знали о дерзкой ночной вылазке Шуйских, что схвачен ими князь Иван Бельский и схвачены Тучков и Мишурин, и более чем осведомленный в подробностях митрополит Даниил не столько вел службу, сколько каждую минуту ожидал, что вот-вот люди Шуйских ворвутся в церковь и схватят его (вся надежда была только на малолетнего Государя, дескать, при нем не посмеют самовольничать, и что Государь, в конце концов, на то и Государь, чтобы держать справедливость), — Иоанн оставался в полном неведении; бывший смоленский воевода боярин князь Василий Васильевич Шуйский, повелев не тревожить державного отрока (на том будто основании, что, во-первых, не поймет и, во-вторых, мал еще до подобных государственных дел), опьяненно довершал на своем подворье начатое ночью дело. Бельский был уже отправлен к месту своего заключения; отправлены и Тучков, и другие его ранга соучастники, и только не был еще решен вопрос с дьяком Мишуриным. Боярин князь Василий Васильевич Шуйский, помня зловредность дьяка еще в бытность Государя Василия III, отца Иоанна, не хотел так просто расставаться с сим страшным, как думал о дьяке, человеком. Полураздетого, растянутого на веревках, словно разъяренного быка, хотя дьяк едва держался на ногах, его поставили в центре двора; с одной стороны, со стороны ворот, полукольцом окру-

жив его, выстроились дети боярские и ратники, а с другой, со стороны крыльца, на вспененном коне и в доспехах победно гарцевал боярин князь Шуйский; он то не в силах будто справиться с конем наезжал на дьяка, то разворачивался и уже конским задом под смех и гогот теснил его; затем, натешившись таким образом, напустил на Мишурина ратников, и те принялись бить его нещадно кулаками, ногами, палками, а когда дьяк, как мешок с овсом, рухнул на землю, раздели донага, облили водой и через весь город повели к тюрьме. Было уже светло, в церквях по Москве и в Кремле люди уже отстояли заутреню, малолетнего Государя повели на завтрак, Даниил же в парадном облачении еще не покидал церкви, каждую минуту оглядываясь на дверь и ожидая непоправимого, поднятые им монахи (из Чудова, конечно же, монастыря, как и всегда) попеременно доносили о том, что творилось в городе и на подворье Шуйских, а боярин князь Василий Васильевич, упоенный успехом, как и в то памятное утро, когда отстоял для России Смоленск, ехал на коне впереди всей этой ужасающей, шумной процессии, окруженный верными ему боярами, детьми боярскими и ратниками. Обычно многолюдные — улицы Москвы были пусты перед ним, горожан, словно ветром, сдувало с них, и только из окон, через щели оград и из подворотен выглядывали их испуганные лица; люди, крестьяне, вопрошали друг друга: не крымцы ли уж, не казанцы ли, не Литва ли с Польшею подступили к городу и обложили Кремль?

Возле тюремных ворот шествие остановилось. Дьяка Мишурина опять поставили в центре, держа на растянутых веревках. Боярин князь Шуйский, словно ему не хотелось или жаль было расставаться с жертвой, над которой не сполна еще, как полагал, наверное, успел натешиться и поизмываться, — боярин князь Шуйский, подогреваемый смоленским своим молодечеством, о котором не раз за эту ночь и утро бояре и дети боярские напоминали ему, опять под гогот и крики воинствующей толпы то наезжал на несчастного дьяка, тесня его лошадиной грудью, грозясь опрокинуть и затоптать, то, разворачиваясь, теснил конским задом, а затем, отъехав и преобразившись, даже привстав на стремянах, как перед атакой, гортанно взревел: «Плаху!» Он несколько раз повторил это слово,

сурово с гарцующего под ним коня обводя взглядом ратников и детей боярских, и, как испокон и доньше ведется у нас на Руси, — те из первых рядов, на кого падал взгляд бывшего смоленского воеводы, а ныне уравненного по значимости с Государем первого боярина, ретиво кинулись исполнять приказание; плахи, разумеется, ни в тюремном дворе, ни где-либо поблизости не нашлось, как не было и материалов, из чего бы соорудить ее, и исполнители — прояви смекалку, умри, а выполни, как это поощряется и поныне и объявляется доблестью, — бросились к первым оказавшимся на виду воротам, свалили их, доски и стойки приволокли на площадь, и вот уже вскинулись топоры, полетели щепки, и к свежеосооруженной плахе, заламываемая и без того связанные уже за спиной руки, потащили едва живого, обезумевшего дьяка. Шуйский слез с коня, подошел ближе, вглядываясь, как пульсировали набухшие кровяные жилы на шее обреченного, потом взмахнул рукой — и голое тело дьяка судорожно дернулось, голова отлетела, и кровь, хлынувшая будто из горла, окатила одежду князя. Шуйский брезгливо, ладонью, соскреб липкую красную жижу, затем поднял руки, призывая всех к торжеству, и воинственно опьяненная победой толпа детей боярских и ратников ответила дружным, ликующим кличем.

СХII

Затем участники сего страшного, незаконного ночного дела направились к подворью Шуйских, где к середине дня уже буйно шумело пиршество. На задах, за сараями, забивали бычков, кололи кабанчиков, тут же горели костры под котлами, и расторопные, вспотевшие и раскрасневшиеся холопы едва успевали подносить гостям питье и еду. Даже когда начал было накрапывать теплый весенний дождь, разгулявшееся воинство, ожидавшее, видимо, обещанных подарков, долго еще не расходилось со двора. Сам же боярин князь Шуйский был в это время в великокняжеском дворце у малолетнего Государя. Он отправился в Кремль сразу же, как только на площади перед тюремными воротами все было покончено с дьяком (голое, окровавленное, обезображенное тело несчастного бы-

ло выброшено собакам, а голова нанизана на крюк над воротами); ему не то чтобы надо было успокоить Государя, — нет, бывший герой Смоленска, а теперь герой московских ночных расправ был далек от каких-либо и с кем-либо объяснений; он полагал, что восстановил справедливость, то есть совершил то, что все, да, да, все, и я не удивляюсь подобному преувеличению, ожидали от него (а разве нынешние временщики не объявляют свои деяния требованием народа?), и только по холопской привычке докладывать о содеянном, по которой так ли, иначе ли всех нас тянет предстать перед начальством в минуты победных торжеств, — да, лишь по этой холопской привычке, от рожденья будто бы сидевшей в нем (несмотря на воинственность и на то, что был теперь уравнен в значимости с Государем), как раз и торопился предстать перед Иоанном.

Торжественно прошагав через анфиладу дверей, услужливо распахивавшихся перед ним, он ступил на ту половину дворца, где была детская и где после мамки Аграфены, боярыни Челядниной, и в тех же палатах хозяйничала ставленица Шуйских боярыня Евдокия, происходившая тоже будто из знатного, но довольно захудалого рода и оттого дорожившая своим нынешним возвышением. Она не то чтобы ждала, но чувствовала, что кто-то из Шуйских непременно должен зайти если не к малолетнему Государю, то хотя бы к ней, чтобы удостоверить, что державному отроку не донесено превратно о заточении князей Бельского и Тучкова и о расправе над дьяком Мишуриным, что отрок не омрачен, не гневен (малолетство малолетством, но ведь — восьмой год!), что во дворце спокойно и что она, мамка боярыня Евдокия, твердо держит наказ; она чувствовала, что вот-вот кто-то должен явиться, и, едва послышались тяжелые, грузные шаги, по которым нетрудно было догадаться, кто приближался к детской, кинулась к двери. Она столкнулась с боярином князем Василием Васильевичем, когда тот уже переступил порог, и, торопливо оглянувшись на игравшего Иоанна, выражением лица, глаз, движением губ, то есть всем, чем только и передаются обычно сведения, когда их нельзя произнести вслух, дала понять скорому на расправы и гнев боярину, что малолетний Государь в неведении, что вообще во дворце тихо, спокойно и что высокочтимый

ею князь Василий Васильевич и впредь может полагаться на ее верную службу. Шуйский кивнул головой, что понимает и принимает, и, делая на ходу знаки Иоанну, чтобы продолжал играть, прошел в глубину детской и грузно опустил свое уставшее тело в кресло; и с этой минуты и до той, когда боярин князь Шуйский покинул комнату, ничего, в сущности, не сказав Государю, а выразив только удивление, что держат его здесь, в затворе, что мамка боярыня Евдокия не вывела его в сад погулять в такое весеннее, майское утро (чем насмерть перепугал эту самую боярыню и заставил искать оправдание, что, дескать, ей показалось, будто на дворе хмаро, сыро и может пойти дождь), — до самого ухода Шуйского царила та напряженная тишина, в которой три человеческие судьбы, три совершенно разных мира, объединенных лишь местом и временем пребывания, определяли значение и цель своего земного бытия: мир временщика с его иллюзорной (в глубине души он, конечно, сознавал это) властью, детский (на переломе взросления) мир будущего самодержца, уже начавшего, хотя смутно и не до конца еще, осознавать свое историческое наследное на державу право, и страшный, зависимый и заискивающий мир вельможной холопки, готовой и на унижение, и на ответный удар. В подобном раскладе, разумеется, нет ничего исторического; состояние души, что ж, его не рассмотришь на срез, когда не то чтобы души, но и тела тех горевших страстями людей давно обернулись прахом; и все же, если бы происходившее относилось только к тем трем лицам и не имело бы далеко идущих последствий, — это одно, но коль скоро отсюда, от этих пусть малых еще потрясений начинал складываться характер будущего беспредельного властелина России, сцена обретает, во-первых, оттенок примера или урока, дающего ключ ко многим зловещим явлениям нашей истории, и, во-вторых, некой роковой, что ли, обреченности, когда эгоистические интересы отдельных личностей, сталкиваясь, определяют судьбу миллионов, ввергая их в пучину несчастий и бед.

Боярин князь Шуйский, забыв, видимо, в радостной суете, что одежда и доспехи его обрызганы кровью дьяка и что следовало бы прежде переодеться, чем являться сюда, к Государю, — боярин князь Шуйский, как это и бывает с людьми, пытающимися скрыть беспокойство (как-никак, а последствия совершенного

настораживали его), старался выглядеть самоуверенным и, переигрывая в этом своем старании, как раз и допускал те непозволительные в присутствии будущего самодержца и болезненно запоминавшиеся им вольности, о которых, как уже отмечалось, Иоанн и написал в ответном послании Курбскому; мало того, что бывший смоленский воевода полулежал теперь в кресле, словно был не в великокняжеском дворце, а у себя дома, где можно было расслабиться и отдохнуть, но и позволил положить ногу на царскую постель, примяв шитое золотой ниткой покрывало, так что и мамка боярыня Евдокия, смотревшая то на кровавое пятно, то на вытянутую поверх покрывала ногу и не смевшая ничего сказать, и Иоанн, всегда теперь испуганно собиравшийся в комок при появлении сего развязно-громогласного боярина и тоже смотревший и на пятно, и на ногу, словно онемев, как обреченные, ждали дальнейших от него действий. Но Шуйский не замечал этих испуганных лиц, ему было не до них; в душе его шла борьба между привычкой холопства, словно бы (как, впрочем, и у всякого человека) врожденной в нем, и желанием свободы и вседозволенности, то есть осознанием власти, которой только что, казалось, наслаждался сполна, и задавался вопросом, к чему склониться, к холопству или свободе и власти, единственно будто бы позволяющим познать достоинство бытия; холопство (да что ж это за холопство в боярском-то звании?), он понимал, предполагало, если сказать обобщенно, жизнь ровную, спокойную, благополучную в делах семьи и в делах службы, когда богатство и слава, прирастая малыми долями, лишь к концу жизни достигают неких означенных высот, тогда как обладание свободой и властью способно принести плоды мгновенные и в любых желаемых (по крайней мере, так кажется) размерах; он понимал также, что стезя холопства, чтобы двигаться по ней, не требует усилий, а надо лишь вовремя унизиться и подчиниться, в то время как власть, вернее, обладание ею — дело зыбкое, требующее постоянных подкреплений, и, убрав князя Бельского и дьяка Мишурина, надо было теперь убирать и этого несмышленища Государя, дабы избежать опасений. Мысль эта, и прежде приходившая беспокойному боярину, теперь, минутами, настолько неотступно овладевала им, что он, чтобы не накинуть-

ся на исподлобья смотревшего на него Иоанна и не натворить бед, опускал голову и усиленно ладонью тер лоб, чтобы отогнать от себя сие страшное искушение. Временами бородатое лицо его вдруг оскаливалось какою-то будто зловещей улыбкой, он встряхивал головой и, произнося что-то невнятное, наподобие «а-а, трын-трава» или «где наша не пропадала», рубил ладонью воздух, чтобы через минуту, словно бы спохватившись, вновь начать ею растирать лоб. Смотревшая на него со скрещенными на груди руками боярыня Евдокия, казалось, вполне понимала его, и первым и невольным порывом ее было — броситься к Иоанну и защитить его; и она, не раздумывая, сделала бы это, несмотря на только что высказанное боярину заверение, что готова служить ему, и ожидала лишь, чтобы он хоть чем-либо (и открыто, разумеется) проявил свое намерение; но он не проявлял, и Евдокия оставалась у двери — на той грани душевного напряжения, которое, как струна, натянутая до предела, разорвавшись, могла бы наделать не меньше бед, чем неумное боярское властолюбие. В конце концов именно у нее первой не выдержали нервы, и она, подойдя к Иоанну, спиной заслонила его. В ней, видимо, верх одержала обычная женская дальновидность, ясно подсказавшая ей, что ложно, временно и непрочно и что законно и долговечно, и на основе этого инстинктивного вывода готова была стеной встать за своего державного воспитанника. Никто ничего не говорил, слова не произносились; через них оголились бы намерения, тайное сделалось явным и невозможным; но боярин князь Шуйский продолжал, словно это доставляло ему наслаждение, искушать и себя, и других и вскидывал прищуренный взгляд то на боярыню Евдокию, то на малолетнего Государя, вернее, его головку, высунувшуюся из-за ее спины.

СХШ

Нет прошлого, которое с годами не обрастало бы в сознании человека новыми, иногда совершенно неожиданными подробностями. Иоанн, вспоминая, старался быть правдивым хотя бы перед собой; но несмотря на это старание и вроде бы даже вопреки ему, давнее, реальное, и теперешнее, воображенное и до-

мысленное, виделись не иначе, как целостным состоянием жизни, и если что-либо прибавлялось к этому целостному, то не разрушало, а, напротив, лишь укрепляло его. К событию, когда боярин князь Шуйский, обрызганный кровью и не остывший еще от своих ночных погромных дел, ввалился в детскую, Иоанн не то чтобы в разное время относился по-разному, — нет, он однозначно не мог простить Шуйским их разнузданной вседозволенности; но сама та немая утренняя сцена в палате, когда жизнь его, казалось, висела на волоске, — сама сцена та представляла перед ним как бы в трех измерениях; как все виделось и воспринималось тогда, в малолетстве, как виделось и воспринималось затем, когда писал Курбскому, чтобы обвинить бояр и оправдать свои мстительные меры по отношению к ним, и как увиделось уже здесь, в Коломенском, когда прошлое и пережитое подвергалось им пересмотру и оценкам. Испуганно выглядывая в то майское утро из-за спины мамки Евдокии, малолетний Иоанн чувствовал лишь стихийную, необузданную силу в Шуйском и свою перед ним беспомощность и, съезжаясь в комочек от этой своей беспомощности, прижимался к мамке Евдокии, надеясь защититься возле нее; ему было не до кровавых пятен на одежде боярина, и думал он вовсе не о смертельной опасности, нависшей над ним, а лишь боялся боли, какую, притянув к себе, чтобы приласкать, мог причинить самозванный (по выражению самого же Иоанна) радетель и опекун. Обида была, в сущности, детской, но, возведенная до державного почти оскорбления, она долгое время не давала покоя Иоанну. Он скапливал на Шуйских все, что только значилось или могло значиться за ними, приписывая им и прямое узурпаторство власти, — «воцарились», «сами стали царствовать», — и что тех, кто «более всех изменял отцу нашему и матери нашей, выпустили из заточения и приблизили к себе», а «доброжелателей нашего отца и воевод перебили», и что, поселившись «на дворе нашего дяди», устраивали там сборища «подобно иудейскому сонмищу», а «бесчисленную казну деда нашего и отца нашего забрали себе и на деньги те наковали для себя золотые и серебряные сосуды и начертили на них имена своих родителей, будто это их наследное достояние», и что затем, не насытившись этим, «нападали на

города и села и подвергали жителей различным мучениям, без жалости грабили их имущество». Сколько здесь было воображенного и сколько действительного, и верил ли сам Иоанн во все это, когда диктовал ответное послание Курбскому, вряд ли кто может установить уже потому, что уверенность внешняя, то есть та убежденность, с какой он обычно подавал свои царские соображения, не всегда и не во всем соединялись с убеждениями душевными; он мучился этим несоответствием так же, как мучаются все люди, и только выход находил не в собственном очищении, а в очищении пространства вокруг себя от всех тех — бояр, князей, воевод, — которые, как это казалось ему, создавали для него неудобства жизни. Отношение к Шуйским хотя и являлось лишь малой частицей в общем его теперешнем гневе на всех и вся, то есть на державу, которую он решил наказать своим отъездом из Москвы, но — с этой-то малой частности как раз и начиналось все теперешнее его страшное состояние, и если бы даже не Сильвестр, видением являвшийся к нему по вечерам, и не его возбуждавшие память вопросы и упреки, что, дескать, руки-то с малолетства в крови, Иоанну все равно пришлось бы непременно искать новые и более веские обоснования для своих всеохватных, а не только по отношению к Шуйским, мстительных замыслов.

Но — у воспоминаний нет выбора; они тождественны или почти тождественны пережитому; и потому — как ни покажется нам теперь бессмысленным топтание Иоанна, то есть непрерывное возвращение к одним и тем же будто эпизодам жизни, в которых, как в чердачном хламе со свечою в руках человек иногда сутками роется и не находит того, что ищет; нет, искомое было у Иоанна в руках, и он вглядывался в пережитое только с одной целью, чтобы получить еще и еще доказательства правоты своим свершенным мстительным злодеяниям. Если верить биографам, то Иоанн только и делал, что обвинял бояр, что они будто бы покушались на его жизнь. Ведь за подобное преступление надлежало безоглядно казнить смертью, да и святителям не всегда с руки было вступить за обреченного. Другое дело — являлись ли обвинения правдивыми или составлялись, придумывались часто даже самим Иоанном или его окружением, но ему же в

угоду; история, по крайней мере, отвечает на этот вопрос однозначно: Иоанн знал, на кого и для чего возводилась ложь, и потому провозглашал ее с легкостью; провозглашал и тут же забывал о провозглашенном; но в столкновении с Шуйским он видел теперь, что жизнь его и в самом деле держалась на волоске, и впервые — не тогда, а теперь, когда истина в полной мере, как полагал, открылась ему — ощутив не то чтобы близость смерти, но самое дыхание могилы, дыхание небытия, был настолько подавлен этим открытием, что не вышел ни к вечерней молитве в церковь, ни к ужину в трапезную; более того, даже не находил сил перейти из кабинета в гостиную, где было куда уютней, горел камин, зажжены были свечи и где поджидал уже, наверное, невесть откуда и как являвшийся туда иерей Сильвестр. Отсутствие Государя, как и должно, вызвало переполох, чудовский архимандрит Левкий неотлучно фланировал теперь у двери кабинета, за которой, словно притаившись, находился Иоанн; то поодиночке, то группой к архимандриту вваливались Иоанновы любимцы, встревоженные недомоганием царя, Алексей Басманов, как старший, предложил даже отменить намеченное на этот вечер собутыльничество и велел послать за немцами-лекарями, все эти дни лечившими ослабевшую царицу. Иоанн, неподвижно смотревший перед собой в стену, холодно обернулся на них, как и на Басманова и на чудовского архимандрита, вошедших вместе с лекарями; занятый своими догадками и разбирательствами, он был настолько далек от действительности, что ни в самый момент явления врачей с Басмановым и архимандритом, ни позднее, когда немцы-лекари приступили к осмотру, не мог постичь значения происходившего; глаза его то наливались гневом, едва только, возникнув в очередной раз, боярин князь Шуйский в обрызганной кровью одежде входил в детскую (не повторялась, однако, сама та немая сцена, в которой все до конца теперь было ясно Иоанну, а жгла досада, что Шуйские не получили от него тех наказаний, каких заслуживали), то вдруг гнев угасал и на смену являлись испуг и беспомощность, и он, как и на Шуйского из-за спины мамки Евдокии, смотрел сейчас на лекарей и на Басманова с архимандритом, которые, в свою очередь, словно им по службе вменено было это, следили за

действиями врачей. Точно так же, не поняв всей значимости ее появления, оглянулся Иоанн и на вошедшую к нему царицу, и продолжал затем бессмысленно будто смотреть на стену перед собой, в то время как Мария, опустившись возле него, гладила его лежащую на подлокотнике кресла руку и порозовевшей щекой прижималась к ней.

Действия людей никогда не бывают беспричинными или неизъяснимыми; беспричинны и неизъяснимы они только для окружающих, которым открыта лишь внешняя сторона, то есть сам поступок, но неведомым и загадочным остается душевный мир, как это и было теперь с Иоанном, придворными и женой, пришедшими помочь ему. Движимый лишь видениями и страстным желанием бросить Сильвестру, что бывший духовник не прав в своих упреках и что кровь не на государевых руках, а на руках и совести бояр и что нечего изображать их праведниками и мучениками (перед глазами как довод стоял во весь рост боярин князь Василий Васильевич Шуйский), — движимый лишь этим порывом, как если бы, уличив в неправде иерея, Иоанн разом оправдывался перед всеми, он вдруг решительно поднялся и, расталкивая всех и не произнося ни слова, а только гневно глядя на дверь, устремился к ней. Он шел настолько уверенно, что ни о каком недомогании не могло быть и речи, и, когда немцы-врачи, Басманов и некоторые другие из Иоанновых любимцев, проникшие в кабинет, двинулись было за самодержцем, чудовский архимандрит, забежав вперед на правах будто бы царского духовника, остановил их; он дал понять, что нельзя было теперь тревожить царя, что недомогание его нравственное, что государева душа требует уединения, дабы пообщаться с Богом, и что он как духовник и как близкий и желанный Иоанну человек (Господи, ни хитрости, ни лукавству, даже святительскому, нет предела) побеспокоится об этом. Вместе с Басмановым и подошедшим сюда братом царицы князем Черкасским он проводил Марию в ее покои и затем вернулся на свое привычное уже дежурство под дверью гостиной, возле которой на лавке — сколько же разных планов, великолепных, кощунственных и неосуществимых было продумано им для своего возвышения.

СХІV

Видения — существа капризные; может быть, даже более капризные и своенравные, чем люди. Едва войдя в гостиную, Иоанн кинулся к креслу, в котором должен сидеть Сильвестр; но Сильвестра не было в нем. Взглядом безумца, желавшего что-то совершить, но не знавшего что, Иоанн принялся осматривать все вокруг. Но вокруг — все стояло и лежало на своих местах, горел камин, вздрагивали огоньки свечей, перебрасывались бликами рамы картин, оклады, ризы, золоченые на столе и стенах подсвечники, и в теплом, всегда располагавшем к спокойствию и отдыху красном свете гостиной, словно бы сгустившись в крутой, трогающий душу замес, чувствовалось всегда радовавшее Иоанна прежде, как радовавшее (в воспоминаниях об Анастасии) и теперь царское семейное благополучие. Он смотрел, смотрел, переводя взгляд с предмета на предмет, и ожесточившаяся было душа его размягчалась, приходя в норму, да и сам он, будто из небытия, возвращался из прошлого, вернее, из воспоминаний в ту реальную действительность, в которой, однако (и каждый хорошо знает это), всегда неизмеримо больше проблем и волнений, чем в любом, с каким бы реализмом ни представлял он перед нами, воображенном мире. Иоанн вспомнил, как дважды в этот день докладывали ему о людях, прибывших будто бы от митрополита Афанасия из Москвы (один из этих людей посылался архимандритом Левкием и Малютой Скуратовым-Бельским; как и архимандрит к сану Первосвященителя, Малюта все основательней примеривался к роли доносителя и палача при Дворе), но Иоанн не захотел принять их; Москва не то чтобы не интересовала его, но надо же было выдержать свое так называемое отречение, и, чувствуя себя как бы в мышеловке, самим же поставленной на себя, и раздражаясь от этого неудобства, он вновь, как и во время разговора с чудовским настоятелем и Малютой, гневно сморщился, как если бы не он, а они были виноваты в этом неудобстве. «Так где же Сильвестр?» — вспомнив, для чего он пришел в гостиную, подумал Иоанн. Затем, постояв еще некоторое время, опустился в свое насиженное кресло перед камином, откуда хорошо было видно, как горели поленья, обдавая теплом

лицо, грудь, ноги, и видно было то кресло напротив, в котором, как и в бытность Анастасии, каждый вечер теперь являясь сюда, сиживал отвергнутый и желанный иерей; но кресло оставалось пустым, сколько ни всматривался в него Иоанн, и только когда после мягкого и глубокого забытья вдруг открыл глаза, — видение в образе Сильвестра, какую уже ночь сопровождавшее раздумья и поиски самодержца, вновь с ясностью предстало перед ним. Сильвестр пребывал в той минуте радости, в какой некогда преподносил Иоанну свой многолетний, «зело вымотавший душу» труд — «Домострой». Иерей был тогда еще достаточно молод, безвестен, хотя и служил уже в Благовещенском соборе Московского Кремля, считавшемся царской фамильной церковью, но не от тщеславного стремления выдвинуться, в чем некоторые современники упрекали его, а из одной лишь болезненной почти потребности обустроить на началах послушания и благочестия русскую жизнь сочинил он это свое творение и явился затем с ним к тоже молодому, только-только собравшемуся венчаться на царство Иоанну. Эпизод сей был такой давности и так перекрывался множеством других, куда более значительных (в том числе и событиями в Воробьеве, принесшими Сильвестру и возвышение, и гибель), что Иоанн не сразу вспомнил, где, когда и при каких обстоятельствах видел столь одухотворенное счастьем лицо иерея, а когда вспомнил, уже не желание укорить за неправду, что, дескать, «руки царские с малолетства обогрены кровью», а совсем иное чувство охватило Иоанна; ему захотелось разрушить и как можно скорее это счастливое состояние бывшего своего духовника (да кто и чему может радоваться, если царь мрачен?), и он решил напомнить зарвавшемуся иерею, что и на его руках кровь безвинных. «Других оберегал, отвращал, а сам? Отчего же сам-то не уберегся?» Словно игрок, получивший козырную карту, Иоанн весь торжествующе вспыхнул; несмотря на то, что во всех случаях жизни ему привычно было быть правым, а иногда и вовсе заканчивать спор казнью противника, — аргументированность, то есть победа умом, словом, доводами доставляла ему особое удовлетворение; именно такую победу, умом, доводами и хотелось теперь одержать над Сильвестром, и он вновь и беззвучно, разумеется, как только и

могут вестись подобные диалоги, повторил: «Сам-то, отчего же сам не уберется?»

Сильвестр, как и следовало, видимо, удивленно пожал плечами; он тоже не сразу понял царя, и хотя радости заметно поубавилось в нем, но все же было еще достаточно, чтобы не возмутиться и не начать перепалку с самодержцем (наподобие «дурак, сам дурак», что только и слышишь ныне от политических лидеров и всяких иных деятелей); ведь зло не творится из намерений зла, потому и не запоминается как зло, а если кто и позволяет себе преступить что-то, то, конечно же, во имя добра, а не из злых убеждений; это или почти это было написано на недоумевавшем лице Сильвестра, он ждал от Иоанна пояснений, дескать, когда, где и в чем автор известного уже тогда всем «Домостроя», проповедовавший лишь покорство и благочестие, преступил первейшую христианскую заповедь и пролил кровь единоверца? На троне не сидел, власти не имел, всегда верил святой Троице, жил по Божьим законам, а если и брал в чем грех на душу, то разве лишь, когда пытался удержат палачески заносившуюся над народом царскую руку. «Эко вывернулся, эо грех нашел», — молвил в ответ Иоанн, продолжая чувствовать превосходство над Сильвестром и не желая пока торопиться и открывать приготовленную козырную карту; садизм нравственный столь же, если не больше, иногда приносил удовлетворение Иоанну, как и садизм насилия, и как ни являлся иллюзорным сей теперешний разговор его с видением, а точнее, с самим собой, но поскольку, как и в реальности, был противник, сидевший напротив в кресле, и был сам Иоанн со своими страстями, желанием и властью, все обретало видимость правды и возбуждало мысли и интерес. С присущей ему живостью ума и восприятия Иоанн следил за Сильвестром, не желая упустить тех перемен, какие так ли, иначе ли должны были отразиться на его лице, и хотя вместо испуга стойко держалось лишь простодушное недоумение, но Иоанн по себе, своему опыту знал, что любая чаша, наполняясь, непременно прольется через край и что, пролившись, обожжет и тело, и душу; и хотя вряд ли даже себе мог бы объяснить, для чего надобен был ему этот ожог (дабы уравниаться мучениями и таким образом обрести покой?), но нетерпение нарастало, и он даже приподнялся

в кресле, чтобы не упустить ничего. «Ну же, ну», — подталкивал он к воспоминаниям Сильвестра. Но иерей все с тем же простодушным недоумением смотрел на Иоанна, и в самом деле не понимая, что требует от него царь; он привык к разговору прямому, откровенному (хотя и говорят, что всяк человек себе на уме, даже распинающийся в искренности) и, продолжая держаться в этом свойственном для себя стиле, не то чтобы не хотел, но не мог уступить Иоанну.

«Так не тяни душу, скажи», — глазами, безмолвно просил он царя.

«Эко невдомек, а Башкин со товарищи?.. Сие кровавое дело не твоих ли рук еси?» — наконец, не выдержав, обронил Иоанн.

«Башкин? Со товарищи?» — переспросил Сильвестр. Он не стал возражать, не рассмеялся, как бывает с людьми, когда уличающий, они видят, уличает их совсем не в том, в чем можно бы; иерей и смолоду не принадлежал к тем, кому злорадство над ошибкой или оплошностью противника — хлеб насущный; ведь люди — из простых ли, из венценосцев ли — грешат не по своей воле, и христианский долг — направить их на путь истины, обратить взор их к Богу; потому-то иерей, следуя и теперь этой же заповеди, не кинулся с поспешностью опровергать самодержца, как этого ожидал Иоанн; вина, если она есть на ком, ее не смыть ни ответной горячностью, ни молчаливым неприятием или упреком, тайное рано или поздно всегда становится явным, и возмездие настагает, неумолимое и страшное; но должный, казалось бы, смириться и признать хотя бы часть вины за собой (согласно этим своим убеждениям), Сильвестр, однако, не собирался пока ничего опровергать и с простодушным недоумением, словно застывшим на его лице, продолжал смотреть на царя. Видение-то видением, но ведь Сильвестр предстал теперь перед царем в той поре, когда только еще преподносил будущему самодержцу свой знаменитый «Домострой» и до событий, в которых судьба столкнет его с боярским сыном, писателем Матвеем Семеновичем Башкиным «со товарищи», было еще далеко; еще надо было набраться придворной мудрости, получить звание государева духовника, и возвыситься деяниями до значения государственного мужа, и на пути сего жизненного восхождения преодолеть несчетно рытвин, оврагов, омутов, ям.

Но Иоанн был глух к этим соображениям Сильвестра. Жизнь иерея не делилась для него на периоды ранний и поздний; он воспринимал ее целостной, как и свою, и, не скидывая ничего на молодость (но ведь и видения, как уже говорилось, своенравны), настаивал на своем. «Не признаешь своих кровавых дел еси?» — совсем уже почти приподнявшись в кресле, продолжал наседать Иоанн.

СХV

Безгрешен ли человек вообще? Нет. И об этом известно с древности. Каждый хоть раз в жизни, но непременно совершает что-либо противное наивысшим канонам человечности. Сознательно ли, не сознательно ли — это другой вопрос, потому что все мы живем под властью убеждений своего времени и совершаем деяния в согласии с ними, разумеется, полагая при этом, что убеждения, во-первых, наши собственные и, во-вторых, единственно верные. Так действовал Иоанн, так действовал Сильвестр; и по крайней мере сия житейская мудрость не представлялась Иоанну тайной, он признавал за собой грехи, каялся в них, хотя и не без определенного лукавства, как в послании к монахам Кирилло-Белозерской обители. «А я, пес смердящий, — писал он инокам, — кого могу учить и чему наставлять и чем просвещать? Сам вечно в пьянстве, блуде, прелюбодеянии, скверне, убийствах, грабежах, хищениях и ненависти, во всяком злодействе, как говорит великий апостол Павел: «Ты уверен, что ты путеводитель слепым, свет для находящихся во тьме, наставник невеждам, учитель младенцам, имеющий в законе образец знания и истины: как же, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь? Говоря «не прелюбодействуй», прелюбодействуешь; гнушаясь идолов, святотатствуешь; хвалишь закон, а нарушением его досаждаешь Богу?» Полагая так о себе, Иоанн, конечно же, не мог думать иначе об окружающих, в том числе и о Сильвестре, и, найдя теперь, в чем уличить его, хотел увидеть, как съдаемый совестью иерей будет мучиться; и, хотя исторический образ Сильвестра, дошедший до нас, светел, но все же Иоанн в своих суждениях был недалек от истины, а если и ошибался, то лишь во времени; автор

знаменитого «Домостроя» уже сполна все пережил в келье Соловецкой обители, куда после заочного суда над ним и Адашевым (и с ведома, конечно же, и согласия Государя) был препровожден в оковах как преступник, убийца-тать, опасный для общества. Везли его на подводах, затем водой, затворенного в клетку, содержали впроголодь — кусочек хлеба да ковш воды, — а потом заточили в сырой, промозглой келье и держали под стражей, словно боясь, что опальный иерей вздумает, чего ради, бежать из обители. Но с Соловецкого острова, особенно в преддверии зимы, нельзя было никуда убежать; пуститься в какой-нибудь утлой лодчонке по холодному и беспокойному осеннему морю было безумием, да и здоровье, и годы не позволяли Сильвестру даже подумать об этом; падение с высот власти так надорвало его духовно, а бескормица и оковы надорвали физически, что если бы Иоанн теперь увидел своего бывшего духовника, то есть если бы Сильвестр в этом старческом своем обличье начал являться Иоанну в Коломенском, царь не просто бы не узнал его, но отшатнулся бы, как от чумного, или прокаженного, или, по крайней мере, зараженного какой-либо еще страшной, неизлечимой болезнью. Ничего телесного, казалось, в иерее уже не было, а торчали только усохшие косточки, обтянутые синевато-тонкой пергаментной пленкой, и лишь глаза еще оставались живыми, и по не угасшим в них огонькам можно было понять, сколь сильно в сем человеке желание жизни и справедливости.

Не всем в истории удается достичь величия; даже когда величия достигает тот или иной народ, люди, составляющие его, все так же остаются безвестны, просты и смертны. Иерея Сильвестра по его деяниям можно было бы отнести к тем драматическим личностям истории, кои, являясь во всех столетиях, казалось бы, для утверждения на земле добра и справедливости, большей частью не только не достигают поставленных целей, но, напротив, лишь способствуют распространению после себя ожесточенности, насилия, зла. Достигая высот славы, то есть восходя как защитники народа до самых почти подножий тронов (приверженностью к старине служа одновременно этим именно тронам), они, как правило, заканчивают свои жизни либо в темницах, либо на плахах, пополняя таким

образом ряды подобных мучеников за народ. Эта однозначность деяний их и общность судьбы, столь вроде бы очевидная на фоне любого, даже самого малого исторического среза, ничему, однако, не учит ни народы, из коих выдвигаются подобные личности, ни самих тех деятелей, часто умных, прозорливых, в какие-то минуты даже решительных, когда волею обстоятельств они вынуждены вступать на сию драматическую стезю. Сильвестр удерживал царя от расправ над боярами и народом — дело доброе и великое; казалось бы, только честь и хвала ему за этот нравственный подвиг; но вместе с тем и, может быть, даже ретивее многих иных святителей да и Государя стоял за незыблемость как церковных, так и светских догматов жизни, по которым народу отводилось лишь вечно оставаться безгласной, смиренной паствой, а власть имущим — столь же вечно восседать на тронах, повелевать, миловать и казнить; особенно же он не терпел свободомыслия и относился к явлению этому как к ереси, за распространение которой следовало нещадно карать. Он полагал величайшей ошибкой тогдашних отцов церкви, что они не пресекли в самом зародыше деяний преподобного монаха-отшельника Нила Сорского, не резонили карающей дланью ученика и последователя его инока Вассиана и уж вовсе снисходительно будто бы обошлись с единомышленником их Максимом Греком (хотя, если следовать правде, еще при Василии III были наложены многие запреты и на Вассиана, и на Максима Грека, но — не та мера, не та, как любил выражаться Сильвестр). Выступая на стороне так называемых церковников «осифлян», то есть святителей, стоявших за незыблемость любых церковных ли, светских ли порядков, Сильвестр не раз говорил об этом и с митрополитом Макарием, к тому времени получившим сан Первосвятителя. (Получившим, стоит заметить, сразу же после того, как, будучи Новгородским архиепископом, преподнес Иоанну первую книгу своих не менее знаменитых, чем «Домострой», «Четьи-Минеи».) Сильвестр напоминал Макарию, что хотя водяная капля и мала, но камень точит, и что не подвергается ли и вера наша подобному разрушительному воздействию от вольнодумства и ереси? Он не преувеличивал, опасения и в самом деле были не случайными; вот как, например, известный историк прошлого столетия характеризует то время:

«Они (то есть Нил и Вассиан) ставили сущность выше формы, внутреннее выше внешнего, ополчались против злоупотреблений существующего порядка, возбуждали к мысли и к самобытному изучению основ веры и своею снисходительностью к еретикам, хотя даже, быть может, против собственной воли, требовали уважения к полной свободе мысли. Такое направление не могло остановиться на полдороге». Это-то как раз и настораживало и пугало иерея; в только-только начавшем пробуждаться в народе свободомыслии он предугадывал ту огромной мощи разрушительную силу, которая, если в зародыше не подавить ее, может прокатиться такой по стране разорительной стихией, что и насильства татар в их трехсотлетнее почти иго над Русью покажутся шалостью некоего разгулявшегося будто бы восточного владыки; и тем страшнее представляла перед ним эта надвигавшаяся разрушительная сила, чем выше поднимался он по иерархическим ступеням к почестям, влиянию и власти (пусть не светской, пусть духовной, нравственной, но — разве не условно подобное разделение?); ему, достигшему положения царского духовника и успевшему уже привыкнуть к определенным благам жизни, естественно, было что терять, и потому (как по пословице: своя рубашка ближе к телу) он не мог допустить, чтобы разрушился установившийся порядок жизни, вернее, чтобы вдруг, в одночасье, все достигнутое им превратилось в ничто; народ народом, и всякое замолвленное слово за него уже само по себе великое дело; Господь страдал за народ и велел страдать нам, но тем лишь способом, как понимали да и ныне, видимо, понимают рядящиеся в пастыри деятели, когда после очередного подобного в молитвах страдания, отдавши, говоря иначе, долг и очистившись таким образом, можно вновь со спокойной совестью возвращаться к своему земному благоденствию. Сильвестр не был исключением, он принял сии условия жизни и, более того, держался за них; и, хотя принадлежность его к «избранной раде» должна бы как будто сказать нам, сколь иерей был высок деяниями и духом, но — десятилетие спокойной жизни в Государстве, после которого, как взрыв, начинают вершиться расправы и казни, вряд ли может служить аргументом, будто политика, проводившаяся «радой», была единственно правильной, мудрой; «избранная рада», возглавлявшаяся

Адашевым и Сильвестром (экономистом и идеологом, как сказали бы мы теперь), не вывела державу нашу на европейский путь развития не потому только, что натолкнулась на властолюбие Иоанна; власти домогались все, к ней стремились и Адашев, и Сильвестр; жестокости, кровь, увы, есть и на совести Адашева, и на совести Сильвестра, так что одно дело — страдать за народ, денно и нощно в молитвах заботясь о его благе, и совсем другое — разрешить ему свободно жить и свободно мыслить. Ведь людям извечно не давали этих прав, как не дают и ныне, и, словно камень преткновения, незыблемо, в веках, возвышается эта проблема над народами и государствами, особенно почему-то над нашим испокон будто смиренным народом, держась, как на подпорках, на истинных вроде бы, какими в истории представляют их, защитниках общих благ. В ряд именно подобных защитников как раз и пытаются сегодня вписать имя иерея Сильвестра. У него, впрочем, была возможность что-то действительно нужное сделать для народа, но ведь не по воображению, а по жизни складывалась пословица о своей рубашке на теле, так что биться за благо общее, лишаясь при этом своего, — да подобного примера просто нет в истории человечества; даже большевистские вожди, бившие себя в грудь, что они плоть от плоти простого народа, что сделали они, придя к власти? Люду оставили людово (эх, да хотя бы оставили!), а для себя — позахватили барские особняки, обложились охраной, прислужгой, сиречь холопами, дворней, иначе лишь называемой, и зажили по-княжески. Изначально, видимо, понимали, что дать землю и волю людям — это означает потерять веками возводившуюся над ними власть, и народы должны знать и помнить, что нет посулов выполнимых, что, сколько бы восходящие политики ни твердили, что, придя к власти, дадут землю и волю народу, обещание их — всего лишь подслащенный пряник, тот красивый обман, с помощью которого, как ни огорчительно это писать, и поныне доверчиво открываются людские сердца. Знал ли Сильвестр досконально эту простейшую, иначе не скажешь, механику обмана или как человек начитанный, достаточно просвещенный для своего времени, интуитивно осознавал ее и, подстраиваясь под сей поистине незыблемый ход жизни, удачно сочетал (до времени, правда, потому что не открыва-

ются только тайны глобальные, а личное, мелочное, оно, как навоз, всегда устремляется на поверхность) либерализм внешний, то есть как должны были воспринимать его окружающие, с закоренелым консерватизмом, предоставлявшим по крайней мере ему земные блага, — шторы души захлопнуты, все непроглядно в этой личности и темно; одно только остается высвеченным, что Сильвестру, может быть, как никому другому, выпала возможность, общаясь с самодержцем и не растеряв еще связей с жизнью, воочию наблюдать, как, с одной стороны, Иоанн стремился укрепить власть, а с другой — народное самосознание, как оно из глубин, хотя и робко, но уже начинало поднимать пробудившуюся голову. Уже не было в живых преподобного монаха-отшельника Нила Сорского, на обительском кладбище, возле церкви, покоился прах инока Вассиана, да и Максим Грек, с кем мало кто может сравниться по драматичности судьбы (даже дряхлому старику, ему так и не разрешили вернуться на родину), дотягивал последние уже часы в мрачной монастырской келье, а на Ниловой пустоши вокруг Белозерья, как доносили Государю и Первосвятителю, вновь возродились «еретические мнения между старцами и оттуда распространяются по всей Руси». Сильвестру очевидно было, что старцы выступали не просто за очищение Церкви от ненужных, показных обрядовых наслоений, не только против монастырских и прочих духовных стяжательств, но замахивались на всю устоявшуюся систему жизни; он чувствовал это так же, как старые люди предчувствуют перемену в погоде, и как только глаз в глаз, как говорится, столкнулся с этим явлением — деятельностью Башкина со товарищи — действовал, как и должно, решительно, жестко и безоглядно.

СХVI

Случилось же это, когда Сильвестр находился в зените своего могущества. Он был близок к Адашеву, как никто, пожалуй, пользовался благосклонностью царя, и это именно делало его фигурой заметной не только при Дворе, но и среди многочисленной церковной иерархической братии. Жил он уже не в келье, а в палатах, примыкавших чуть ли не к великокняжескому

дворцу, прислуживать приходили к нему монахи из Чудова монастыря, и почти каждый вечер после молитвенных бдений и трапезы царь оставлял его у себя для душевных бесед. Сильвестр готовился к ним, словно к торжеству, на котором блистать надо было не одеждой, а широтой ума, острословием, и, чтобы всякий раз держаться на высоте, читал и перечитывал чуть ли не наизусть известные ему церковные и светские рукописи. В полдень, после сна, каким иерей позволял себе теперь ублажать тело, он устраивался у стола, перед свечой, на лавке, и углублялся в тот известный всякому церковнику мир нравственных наставлений, в котором, если отбросить иллюзорность, оторванность его от реального состояния жизни, все настолько аккуратно расставлено по местам и столь густо насыщено добродетелью, что самая мысль о недовольстве судьбой, если бы у кого возникла, показалась бы кощунственной, будто человеку на земле только и дано радоваться: нищему — нищетой, богатому — богатством; отпущенного не изменить, каждый несет свой крест, как нес свой и Сильвестр, благоденствуя пока что в еде и душевных с царем беседах и подменяя потребность страданий (за народ!) рассуждениями о них. Он был теперь лицом свеж, густая борода его, тщательно расчесанная, словно нагрудник, пушилась поверх нашего креста, жирком благодушия, казалось, налиты были щеки, довольством и достатком выпирал из-под рясы живот, становившийся особенно заметным, когда иерей скрещивал на нем свои белые, пухлые, по-царски или по-святительски, как можно бы сказать еще (и что характерно вообще для отцов церкви, не знавших никогда иного труда, чем держать молитвенник и крест и осенять ими жаждущую приобщения к святости толпу), холеные руки; заботясь будто бы только о душе, как и положено по служительскому сану, и не заботясь будто о брэнном своем теле, Сильвестр, однако, производил совсем иное впечатление, чем должен бы согласно наставлению апостола Павла: «...как же, уча другого, не учишь себя самого?» Но ведь известно, что поучения пишутся не для себя; для себя же — важно провозглашать их, и чем чаще, тем лучше; и тогда никто не сможет указать на тебя как на нехристиа или грешника. Во всяком случае, Сильвестр безоглядно придерживался этой простой мудрости, этого столь

очевидного, но и столь же нераспознаваемого житейского обмана, то есть правила, или привычки, или обиходной, что ли, условности, какой придерживались если не все, то, по крайней мере, большинство святителей да и прочей придворной боярской братии, так что в образе жизни царского духовника не было ничего, что выделяло бы его среди других служителей и прислужников великокняжеского Двора. Он предстал сытым, довольным, и в этом-то благодушном послеобеденном состоянии и застал его священник кремлевского Благовещенского собора отец Симеон, неурочно и с достаточно возбужденным, испуганным выражением лица явившись к нему.

В самом появлении Симеона, казалось, не было ничего необычного, священник заходил к Сильвестру и прежде как ученик, некогда облагодетельствованный учителем, чтобы, во-первых, не терять связь со столь знаменитым (высокостоящим, вернее было бы сказать) иереем, выходящем все из того же Благовещенского собора, и, во-вторых, засвидетельствовав почтение, потолковать о делах Государства и Церкви, к коим во все времена и у всех не иссякает интерес. И, хотя час на сей раз был выбран неурочный, после укоризны, с какой Сильвестр обернулся на отца Симеона, переступавшего с ноги на ногу у порога, кивком пригласил его пройти и сесть на лавку. «Ну что там еще?» — было в глазах Сильвестра. Он не любил доноительства, особенно если при этом открывалась тайна исповеди. «Покаяния приносятся Богу, — любил назидательно произнести он. — Ему же, Господу, и соизмерять грех, и вершить суд». Но несмотря на это ясное, казалось бы, толкование — что адресованное Богу негоже брать людям для оговоров и обвинений, — соблазн прикоснуться к чужой тайне обычно возобладал над святостью церковного предписания, и Сильвестр, хотя и морщась для видимости, позволял себе терпеливо выслушивать доносителя. Он и теперь первое, о чем подумал, глядя на взволнованное лицо Симеона, что тот не иначе как с чем-то подобным явился к нему. Но вместо того, чтобы указать на дверь, — ведь дело-то противное Богу! — продолжал лишь смотреть на священника, правда, не столько уже с укором, сколько с любопытством, твердо усвоив за годы дворцовой службы, что не знатностью и богатством, а степенью

информированности значим человек при Дворе. Однако что важное мог сообщить служитель Благовещенского собора? Разве что какую-нибудь ужасающую мелочь. Но услышанное превзошло ожидание и насторожило и озадачило пребывавшего в послеобеденном благодушии царского духовника. Отец Симеон поведал, что якобы еще в Петров пост явился в Благовещенский собор некий боярский сын Матюша (Матвей) Башкин и, объявив себя православным христианином, верующим в Святую Троицу и поклоняющимся иконам, словно кто-то уже заподозрил его в иноверстве и ереси, попросил принять на дух (на исповедь) в Великий пост; придя же в Великий пост на дух, вместо исповедания начал задавать многие и многие «недоуменные» вопросы. «От меня поучений требует, а меня же и поучает», — возмущенно доносил Симеон. Вопросы главным образом относились к несоответствию земных церковных дел с Божьими заповедями. В священных писаниях говорилось одно, а духовные да и светские иерархи творили совершенно другое, противное и писаниям и Богу. Метод же Башкина был прост: он зачитывал цитату из «Апостола» или «Бесед Евангельских» и, накладывая их на действительность, высвечивал все те греховные отступления, в коих погрязши, пребывали отцы церкви и отчества. «Написано же, — зачитывал он из «Апостола», — весь закон заключается в словах: возлюби искреннего своего, как сам себя; если вы себя грызете и терзаете, то смотрите, чтобы вы не съели друг друга. Вот мы Христовых рабов держим у себя рабами, — уже от себя продолжал он, — а Христос всех называет братьями; а у нас на иных кабалы нарядные (фальшивые), на иных полные, а другие беглых держат. Благодарю Бога моего, у меня были кабалы полные, да я их все изодрал, держу людей у себя довольно! Кому хорошо у меня — пусть живет, а не нравится, пусть идет куда хочет. А вам, отцам, — не без иронии добавлял он, — надобно посещать нас, мирян, почаще да научать нас, как самим жить и как людей у себя держать, чтобы их не томить». Конечно же, не отступления ради хочу заметить, что Башкин, пожалуй, был одним из первых в нашей истории, кто бунтарское слово свое начал подтверждать делом, следуя прежде всего сам своим выкладкам и уничтожив кабальные записи на людей и

отпустив их, и — можно только предположить, как подобная дерзость некоего Матюши, рассказанная отцом Симеоном, была воспринята Сильвестром. Бросался, в сущности, вызов церкви, обществу, строю, охранителем которого (охранителем старины будто) как раз и считал себя иерей. Но он пока не перебивал благовещенского священника, и Симеон, самовозгораясь негодованием, так закончил свой рассказ: «Да еще и угрожал, из «Апостола» угрожал». И, стараясь подражать Башкину, повторил заключительные его (из «Апостола», на исповеди) слова: «Великое дело ваше, сказано в писании, ничто сия любви больше, еже положить душу за други своя; вы за нас души свои полагаете и печетесь о душах наших и за нас будете отвечать в день судный».

На минуточку ли, на две ли, больше ли — в иереевской палате воцарилась тишина; Сильвестр, обескураженный сообщением и совсем забыв, что произошло разглашение исповеди, то есть противное Богу дело, смотрел на отца Симеона тем испытующим взглядом, как если бы и в самом деле что-то главное не было еще сказано благовещенским священником, должное приоткрыть истину и разъяснить все, отец Симеон тоже старался с беспокойством понять, насколько тревога его передалась Сильвестру и каковы будут указания на случай, если означенный Матюша Башкин вздумает вновь явиться в собор на дух. Ведь к людям, стремящимся мыслить самостоятельно да к тому же умеющим письменно изложить свои соображения о возможностях и смысле жизни, проще говоря, к писателям, правители во все времена, как, впрочем, и теперь, относились и относятся с пренебрежением; при Дворе уже возникали разговоры о Башкине, что, дескать, мутит, преступает, самовольствует, и хотя Сильвестр только слышал, но не знал толком, в чем заключалось Матюшино самовольство, но первое, о чем счел нужным сказать теперь Симеону, что дело с Матюшей Башкиным, видимо, непростое и что за сим боярским сыном, он слышал, давно ходит недобрая слава. «Не горазды ни дела его, ни помыслы», — строго, словно митрополит на Духовном Соборе, когда после слов «не гораздо» следует только «ставится в вину», проговорил он. Затем после достаточно продолжительного молчания, которое нужно было Сильвест-

ру для обдумывания и во время которого он вскидывал взор на икону Спасителя и крестился (как если бы на самом деле либо общался, либо ожидал общения с Богом), то есть после этого символического и важного для того времени ритуала, после которого обретается будто бы милостью Божьей прозрение, обернулся к отцу Симеону и поучительно произнес: «А ты не отталкивай, не отчуждай раба сего от себя, пусть говорит, привечай, слушай, записывай. Если что, сам спроси да и опять же запиши. Да попроси, чтобы навоицил «Апостол» (подчеркнул, переводя на современность, карандашом те места, на которые ссылался) да отдал бы нам для просмотра». И, наставив таким образом отца Симеона на угодное будто бы Богу доносительство и отпустив его, как ни старался затем вновь углубиться в чтение, но мысль о том, что какой-то Матюша осмелился поднять голос против устоев Церкви и государства (главное же, подал пример, разорвав кабальные записи и отпустив на волю людей), — мысль эта основательно встревожила иерея.

СХVII

С о стороны, конечно, трудно бывает определить, чего больше при царских (правительственных, применительно к современности) дворах: так называемой государственной (мелочной) суеты или действительно важных державных дел? Но еще труднее бывает определиться людям, втянутым в эту суету и растворенным в ней. От тех истинных порывов и целей, с которыми Сильвестр столь стремительно, по определению современников, возвысился до царского духовника и в коих главным ставилось достижение общего блага, — от порывов тех и целей если что еще и оставалось в его сознании (на фоне интриг придворной жизни, далеко и далеко не обходивших его), так только лелеявшие душу воспоминания; себе он все еще представлялся человеком от народа, носителем идей прогрессивных и созидательных (прогрессивных и созидательных в том смысле, что был будто бы готов костями лечь за христианские добродетели), тогда как вся практическая деятельность его давно уже сводилась лишь к охранению существующего порядка вещей, то есть

незыблемости строя, с которым, обретя свое теплое местечко, он уже не хотел расставаться. Не будь, к примеру, царя, не было бы надобности и в царском духовнике; а ежели (и тоже к примеру) упростить церковную обрядность, раздать монастырские богатства, упростить службу, растворить вообще Церковь в народе, как того требуют старцы из Ниловой пустоши, то есть, чтобы каждый принял веру не как ученик, но как суть бытия, не отделяемую от человека, для чего тогда нужны будут священники-поучители да и вся сановитая иерархическая верхушка, именем Божиим предержащая вполне реальную земную власть? Разумеется, столь прямо не думал и не мог думать Сильвестр; но среди разных предположений, возникавших в сознании и смущавших его, являлось и это, казавшееся особенно еретическим, он возбужденно вскакивал из-за стола, несмотря на довольно округлый, оплывший жиром живот, и метался по палате то к иконам, то к окну, то опять к столу, не находя места. Для чего нужно было беспокоиться люду, когда так тепло и покойно жилось ему? Выходило так, что прежде, в молодости, когда Сильвестр только начинал святительскую жизнь, он более сострадал другим, чем заботился о себе; теперь же (и это было предметом его смущения) жизнью своей в достатке и почестях пытался измерить жизнь общую и, не находя сил признать заблуждений и отступлений за собой, негодовал то на старцев из Ниловой пустоши, для чего-то положивших себе за право ересью возмущать народ, то еще более на Матвея Башкина, позволившего себе, главное, разорвать кабальные записи и отпустить на волю людей. Отложив теперь в сторону все, что читал прежде, Сильвестр взялся за «Беседы Евангельские» и за «Апостол», чтобы в них же найти опровержения доводам Башкина; он знал, что опровержения эти были, не могли не быть, и хотя они тоже носили общий характер, но глаза Сильвестра всякий раз отрадно загорались, когда он натыкался на нужное и митрополичьим же, словно на Соборе, голосом — «не гораздо» и «ставиться в вину» — зачитывал поучение. В сущности же, он боролся не столько с Башкиным и старцами из Ниловой пустоши, сколько с самим собой, тем, прежним, когда готов был костями лечь за христианские добродетели, и еще неизвестно, чем бы закончился сей

душевный поединок, если бы, во-первых, не суета придворной жизни, та мелочная, состоявшая в основном из интриг, но подаваемая на общественный стол мнений как нечто государственно-важное, и если бы, во-вторых, не ежедневные почти встречи и беседы с царем, встречи и беседы с Первосвятителем всея Руси митрополитом Макарием, умевшим блеснуть и своим духовным достоинством, и глубиной и остротой святительского ума; чаша на весах жизни перетягивала в сторону умиротворенности и покоя, к незыблемости порядка и строя, и когда благовещенский священник отец Симеон, с усердием выполнивший порученное ему доносительское дело, принес наконец навощенный «Апостол» и записи, сделанные за Башкиным, Сильвестр, не колеблясь ни минуты, отнес их сначала к Иоанну, а затем и к митрополиту Макарию.

События после этого развивались стремительно. Иоанн в те дни, подражая отцу и деду, собирался вместе с Анастасией отправиться на богомолье в Кирилло-Белозерскую обитель, и, так как путь предстоял нелегкий и долгий — сушей, водой, потом опять сушей, все при дворе и сам он были заняты приготовлениями в дорогу; может быть, потому-то, как полагают некоторые историки да и полагал тогда сам Сильвестр, царь не то чтобы не хотел вникнуть в «Матюшино дело», о котором, впрочем, со всеми деталями было доложено ему, но не хотел по царской своей амбициозности хоть чем-либо прервать намеченную поездку и, лишь полистав навощенный «Апостол» и не заглянув даже в записи, как это показалось Сильвестру, с холодной молчаливостью отложил разбирательство до своего возвращения (что, впрочем, и позволяло ему теперь, в Коломенском, предстать перед Сильвестром таким ничем будто бы не запятанным, чистым в «Матюшином деле»). Но совсем иная реакция была у митрополита Макария и его окружения. Там тоже давно уже присматривались к деятельности Башкина и прислушивались к высказываниям старцев из Ниловой пустоши, особенно к проповедям бывшего Троицкого игумена-вольнодумца Артемия, который, сложив в одночасье с себя игуменство, удалился на отшельничество вместе с другом, старцем Порфирием. Наблюдавшие за Башкиным доносили Макарию, что у сего пишущего мирянина по вечерам сходятся для

еретических речей люди, в том числе и духовного звания, и что от сего антихристового гнезда исходит смрад неверия и разврата; позднее, на Соборе, который будет проходить под председательством Макария, Башкина со товарищи станут обличать в том, что «они признавали Иисуса Христа неравным отцу, называли тело и кровь Господню простым хлебом и простым вином, отрицали святую соборную и апостольскую церковь, выражаясь, что церковь есть только собрание верных, а созданная ничего не значит; отвергали поклонение иконам, называя их идолами; отрицали силу покаяния, выражаясь так: как перестанет грех творить, так, хоть у священника не покается, все равно не будет ему греха; считали церковные предания и жития святых баснословием; отзывались с пренебрежением о постановлениях семи Соборов, говоря: это все они для своих выгод написали; наконец, и в самом священном писании видели баснословие, излагали Евангелие и «Апостол» так, как бы эти книги содержали истину в неправде», и как бы это обвинение ни звучало теперь, но тогда — даже сама возможность подобных мыслей казалась преступлением. Башкина вместе с братьями Борисовыми Георгием и Иваном и еще двумя соучастниками, Тимофеем и Фомой, постановили схватить и заковать в цепи, а когда вернулся в Москву Иоанн, он велел их как особо важных преступников перевести из монастырской темницы в подклети своих палат и, не мешкая, созвать на них (для разбирательства и приговора) церковный Собор.

Но еще прежде, чем был созван Собор, между святыми с новой силой развернулись споры по вопросам веры и началось то доносительство друг на друга, в том числе и для сведения счетов, из которого — после прочтения сих клеветнических писаний — митрополит Макарий и Иоанн могли вынести лишь одно заключение, что вольнодумство, распространившись по державе, сообразовывалось в некое единое опасное противостояние догматам Церкви и власти. Вновь, как и при Великих Князях и Государях Иване III и Василии III, оживились подавленные как будто бы в свое время судом и кострами на полом месте так называемые «стригальники», то есть святители, требовавшие возврата к изначальным канонам веры, и еще ретивее подняли головы так называемые «осифляне»,

последователи учения Иосифа Волоцкого, выступавшего не просто за сохранение старины и неизблемость устоявшихся порядков, но призывавшего в своих трудах к беспощадному суду и физическому уничтожению еретиков. Это был своего рода воин в рясе, готовый (за многие и многие свои блага, разумеется), как водицу, лить человеческую кровь во имя утверждения будто бы христианского православия, и, как ни покажется это странным, последователей его учения в описываемый период, как, впрочем, и всегда да и в наши дни, то есть «осифлян», было куда больше, чем «стригальников», и, почувствовав, видимо, это свое превосходство и воспылавши духом борьбы, в которой победа не иначе как только могла достаться им, означенные святители не просто готовы были съехаться на Собор, но рвались дать бой своим застарелым духовным противникам и заранее посылали доносы на старцев из Ниловой пустоши, главное же, на бывшего Троицкого игумена Артемия, да и не хотели оставлять в покое старого, больного, почти уже лежавшего на смертном одре знаменитейшего в православном церковном мире (тем и страшного, видимо) Максима Грека. На Артемия писали — и митрополиту, и царю, — что он-де «еретиков новгородских не проклинал; латынь хвалил, поста не хранил, во всю четырехдесятницу рыбу ел и на Воздвиженьев день у царя за столом рыбу же ел». По словам Феррапонтовского игумена Нектария, числилось за Артемием и такое, что он будто «из псковского Печерского монастыря (история более чем десятилетней давности) ездил в Новый Городок немецкий (Нейгауз) и там веру немецкую восхвалял», а Кирилловский игумен уличал Артемия же в том, что будто бы на известие об открывшейся ереси Башкина тот ответил: «Не знаю, что за ересь такая! Сожгли Курицына да Рукавого и теперь не знают, за что их сожгли». «Не гораздо», — угрожающе, как и все почти другие доносы, заключено было это послание. Приводили и такое высказывание Артемия, кстати, повторенное им затем на Соборе, что, дескать, «по храмам на службах провозглашают: «Иисусе сладкий!» А как услышат слово Иисусово о заповедях его, как велел быть, — и горько становится, что надобно их исполнять. В акафисте повторяют: радуйся да радуйся, чистая! А сами о чистоте не радят и в празднословии

пребывают: так что говорят только по привычке, а не в правду». «Не гораздо», — опять же обвинительно приписывалось в конце. Волна за волной покатались обвинения и на Максима Грека, начали ворошить его прошлые прегрешения (деяния неоспоримо полезные, как, впрочем, оценивает история), вернулись к его еретическим будто бы (за что и страдал) высказываниям и направили требование явиться на Собор. Максим Грек сразу разгадал, для чего вызывают; хотя уже по немощности своей он не мог приехать на Собор, но, не потерявший достоинства и не желавший на краю жизни ни перед кем склонять голову, он решительно отказался предстать перед судом. Поступок его мог сыграть на руку «стригальникам», подкрепить их позиции, и, чтобы нейтрализовать знаменитейшего старца, а буде возможно, то и перетянуть на свою сторону, Иоанн сам вызвался написать ему: «Слышали мы, что ты оскорбляешься, думаешь, что мы тебя соединяем с Матвеем и потому за тобою послали: никогда мы не сочетаем верного с неверным, — фарисействовал царь. — Отложи сомнение и данный тебе от Бога талант умножи, пришли ко мне писание на нынешнее злодейство». Иоанну хотелось, чтобы Максим Грек выступил на Соборе обвинителем, пусть хотя бы и заочно, но славный духовный муж ничего уже не в силах был со своего смертного одра ответить царю.

СХVІІІ

Дело Башкина со товарищи по меркам того времени действительно выглядело непростым. Во-первых, Башкиным было нарушено правило шестого Вселенского Собора, запрещавшее простым людям «принимать на себя учительский сан», во-вторых, не имея этого святительского сана, то есть будучи непосвященным в дела Церкви, он осмелился выступить против ее догматов (против государственной, как по нынешним временам, идеологии послушания и смирения, в то время как изначально религии отводилась роль защитницы народа, а не властей), и, в-третьих, не вполне все же ясно было и митрополиту Макарию, и Иоанну, каким судом судить сего злобесного Матюшу, светским или церковным; вопрос обсуждался и до того,

как решено было созвать Собор, и возникал позже — по сомнениям Макария. В конце концов приговорено было вынести все на Собор, так как разбирать предстояло не только, вернее, не столько «дело Матюши», сколько инакомыслие лиц святительского звания, погрязших в ереси или поддавшихся искушению сих еретических толкований, а если добавить, что и Башкин прежде всего выступал против Церкви, то и на Соборе и венчать все. Правда, была еще одна небольшая неловкость: на Соборе 51-го года, получившем название Стоглав, высшими церковными иерархами было постановлено, что «весь священный и иноческий чин судят сами святители и с великим истязанием и обычаями, соборно, по священным правилам», и, казалось бы, мирянин Башкин не попадал под это правило и его нельзя было судить с «великими истязаниями», но в конце концов и на это (словно бы по-современному!) закрыли глаза, и в один из летних дней, когда держава, руководимая будто бы царем и направляемая Церковью, а, в сущности, лишь ограбляемая ими и принужденная в поте лица и с Божьим на устах словом добывать для себя хлеб насущный, буднично, трудясь, приумножала действительные земные блага, — в просторных митрополичьих палатах в обстановке будто бы торжества и святости и в присутствии самодержца с теми же Божьими на устах словами открылся Собор, то есть началось очередное в нашей русской истории неправое, позорное действие.

Сильвестр не участвовал в работе Собора. Он только посидел на открытии и затем вместе с царем удалился, предпочтя издали, со стороны, наблюдать, как будут развиваться действия. Понимал ли он, что дело было неправым, что готовилась лишь расправа над людьми, позволившими взглянуть на мир по-иному и по-иному помыслить о нем, или, только полагая себя противником казней, хотел лишь, чтобы чистая будто бы совесть его не запятналась сим жестоким судилищем, — две недели, пока заседали отцы Церкви, Сильвестр почти не выходил из своих кремлевских палат. Между тем на Соборе, как он и предполагал, вернее, как это и случается на подобных, с определенной заданностью, судилищах, верх брало лжесвидетельствование и никто не хотел выслушивать оправданий; приговаривались не по справедливости, а по неправдам, и

из уст митрополита Макария то и дело звучало с холодной неизменностью: «не гораздо» и «ставится в вину». Одних обрекали на казнь, других — на заточения по монастырям и темницам. Но ведь на силу всегда есть противодействие. Осужденным на пожизненное заточение белозерскому монаху Федосею и заволжскому отшельнику Игнатию уже через год удалось бежать в Литву и оттуда уже проповедовать свое учение. По-особому, надо сказать, сложилась судьба Артемия. Его хотели было приговорить к смертной казни, все шло к этому, и оставалось только, чтобы названные феропонтовским игуменом Нектарием в качестве свидетелей три старца из Ниловой пустоши подтвердили возведенное обвинение; но старцы, явившись на Собор, объявили, что никогда не слышали от Артемия никакой хулы на христианские законы, и это-то и спасло бывшего Троицкого игумена; его приговорили сослать на Соловки и поместить на вечное заточение в молчательной келье, чтобы «душевредный и богохульный недуг не мог распространиться от него ни на кого; он не мог ни говорить ни с кем, ни писать ни к кому, ни получать ни от кого писем или других каких-либо вещей; он должен был сидеть в молчании и каяться». К нему был приставлен монах для надзирания, который ежедневно доносил игумену о поведении Артемия, и лишь в случае смертной болезни по высочайшему изволению могло быть разрешено ему причаститься. Но и при этой строгости Артемий сумел совершить побег из Соловков и, объявившись в Литве, как и единомышленники его, еще более возвысил голос в защиту своего учения и оставил миру ряд известных (в этом плане) обличительных трудов.

И все же трагичнее всего оказалась судьба боярского сына, писателя Матвея Башкина. Его начали допрашивать первым и с «великими истязаниями», как и было постановлено в 1551 году Собором Стоглав, некоторое время Башкин еще держался, когда на дыбе выворачивали ему руки и ломали хребет, он твердил только, что жаждал истины, что Бог един и не в словах, а в душах, но затем, когда стало уже невозможно, сначала кричал (от боли, разумеется) дико, нечеловеческим голосом, потом как-то разом вдруг притих, смолк, глаза сумасшедше выпучились, и, возгласив, что услышал голос Богородицы, не только признался

в ереси, но и выдал всех соучастников и единомышленников своего дела. С ним произошло то, что можно бы назвать тихим и глубоким помешательством, и, так как ни допрашивать, ни истязать его уже не было смысла, — тут же, на Соборе, приговорили отправить на вечное заточение в монастырь, установив, как и для Артемия, режим молчания и строгости. Сильвестру в подробностях было передано обо всем этом, но, отмежевавшись от Собора вообще, он считал себя непричастным и к этой страшной в сути своей, трагической истории, хотя вся трагичность судьбы Башкина как раз и была заложена самим же Сильвестром. Но, видимо, так уж устроен человек, что всегда находится под рукой у него аргумент для оправдания своих поступков, да и недаром говорят, что за лесом деревьев не разглядеть; за делами духовными, за ежевечерними общениями с царем и множеством других разных государственных, можно было бы сказать и так, забот, какими все больше и больше отягощался Сильвестр, действуя заодно с Адашевым, помогая ему поступками, словом, — за всем этим немудрено было забыть не только о Башкине, но и о самом Соборе, положившем будто бы предел и ереси на Руси, и, может быть, все бы так и кануло в Лету, если бы, возвращаясь однажды с царем и царицей с очередного богомолья и достигнутый в степи непогодой, царский обоз не свернул бы в ближайший от дороги монастырь на ночлег — в тот самый монастырь, в котором и отбывал заточение Башкин, — и если бы Сильвестр, узнав об этом, не любопытствовал взглянуть на сего тронувшегося умом несчастного человека.

После ночной непогоды утро было ясным, солнечным; омытая дождем малахитово сияла зелень деревьев, трав; даже монастырская стена с глухо закрытыми на засов воротами, за которыми начинались монастырские же и с монастырскими крестьянами земли, — даже эта крепостная будто, как она воспринималась тогда да и воспринимается теперь, стена выглядела словно обновившейся, помолодевшей, как, впрочем, и все другие каменные и деревянные строения с неизменной посреди двора удивительной, украшавшей все вокруг обительской церковью. В отличие от аскетической жизни, какую по ниспосланному будто бы

Богом уставу принуждены жить иноки, и как бы в противовес, что ли, самой идее отречения человека от земных благ, от какой-либо возможности проявить личность, кроме как в молитвенных бдениях да истязаниях плоти (и чем изощренней, тем угодней вроде бы Богу), монастырские подворья, как ни покажется это странным, производят впечатление не то чтобы радости, но основательности и полноты жизни, в них нет ничего преходящего, а есть только вечное — нет, не по прочности стен или кровель, а по самому тому человеческому духу, то есть человеческому естеству, призванному с основательностью и любовью обустроить свой земной быт. Человеческое, жизнерадостное непременно брало верх над аскетическим, и, видимо, точно так же, как испытывали это и к чему стремились устроители монастыря да и вообще церковные и монастырские зодчие, создававшие своего рода жемчужины на общем сером фоне российского провинциального крестьянского бытия, испытывал Сильвестр, выйдя в это утро на монастырский двор и сыто оглядывая округу. Иоанн с царицей Анастасией еще сидели за утренней трапезой в игуменских палатах, ратники седлали коней и чистили амуницию, готовясь в дорогу, ездовые с меньшим усердием готовили повозки, время от времени, как и Сильвестр, поглядывая на чистое небо, на церковь и купола с крестами на ней, возносившиеся к Богу, и все это, занятое живым будничным делом, только дополняло и усиливало общее впечатлительное неповторимой радости бытия. Договорившись накануне вечером с келарем, что навестит утром Башкина, не нарушив, разумеется, приговора молчания, Сильвестр ожидал теперь на крыльце игуменской избы этого служителя и, как только келарь объявился, направился вместе с ним в самый отдаленный конец подворья, где в келье, скорее напоминавшей яму с пробитым в перекрытии окном, чем даже самое аскетическое иноческое жилище, содержался сей опаснейший преступник.

Известно, что не все увиденное одинаково запоминается людьми. Грандиозное, судьбоносное для державы не всегда помнится так в деталях, как запоминаются, казалось бы, события незначительные, затрагивающие лишь нечто личное, сокровенное, что каждый человек непременно хранит в душе и на что как раз и

бывает в большинстве своем ориентирована наша жизнь. Осознавал или не осознавал Сильвестр, насколько его судьба связана с судьбой Башкина (ведь если взглянуть пошире, то оба они были одинаково литераторами, философами и политиками для своего времени), но увиденное настолько глубоко затронуло его и отложилось в памяти, что, будучи уже отправленным на Соловки, он мысленно только и возвращался к этому утру и ко всей той картине, которая открылась перед ним, когда келарь подвел его к монастырской темнице Башкина. Ужасающим показалось уже то, что на фоне утренней благодати, только что во дворе со всех сторон обступавшей Сильвестра, того Божьего дара жизни, если по-церковному, который дается не для печалей, а для радости, возможны были темница, сырость, страдания, — и всего лишь за некие слова, ущемлявшие будто бы достоинство Бога; контраст этот как-то не соединялся в душе Сильвестра, и к этому-то несоответствию дара и реальности жизни, когда ниспосланное Богом (ниспосланное для всех) насильственно отнимается одними людьми у других и во имя все того же Бога, Сильвестр и возвращался мысленно на Соловках. Но теперь — царский духовник, он пока еще не тревожился о своем будущем, и когда келарь, открыв дверь в келью Башкина и отступив в сторону, обнажил перед ним это его будущее, Сильвестр так до конца и не осознал, что предстало перед ним; он увидел лишь серые земляные стены, отсыревшие после ночного дождя, стол из нескольких неоструганных досок на козлах, столь же грубо сколоченную скамью, потухшую на столе свечу возле крохотной иконки и посреди кельи, на соломе, свернутое в комочек подобие человеческого существа. Башкин лежал в кругу солнечного света, падавшего сквозь провал в крыше, и, пригревшись, видимо, в этой и до него дошедшей Божьей благодати, дремал, убаюканный своими видениями; какое ему было дело до того, кто и для чего смотрел на него; душа его, как видно, уже общалась с Богом, хотя тело, которое положено только истязать в земной жизни, еще требовало тепла, солнца, покоя, и Сильвестр, может быть, оттого, что понял или почувствовал это, велел келарю закрыть дверь кельи и торопливо, ни на кого и ни на что не оглядываясь, зашагал к выстраивавшемуся уже во дво-

ре обозу. На вопрос царя, чем озадачен, Сильвестр ответил: «Да так, ничем» — и затем всю дорогу до Москвы сидел молча, в раздумьях, поднимая мрачный взгляд свой лишь на проплывавшие мимо серые крестьянские и монастырские подворья.

СIX

Может быть, и в самом деле за грехи каждому воздается Богом, в боярском ли, царском ли, духовном ли одеянии человек пребывал в земном своем бытии и творил грех или в армяке простолодина, татъствуя, то есть промышляя разбоем на больших дорогах; в конце концов можно ведь заглянуть и в историю, в которой мало кто из великих заканчивал жизнь естественно, без физических или душевных мучений; Ганнибал принял яд, окруженный преследовавшими его мстителями, Александр Македонский скончался во цвете лет в страданиях от настигшей его тропической лихорадки, Цезаря закололи Брут и Кассий, хотя этим и сами преступили святой закон жизни и затем понесли неминуемое наказание, Цицерону, казалось бы, что там, оратор да и только, — за филиппики на Антония, как барану на жертвеннике, полоснули ножом по шее и отрезали голову и т.д. и т.п.; страшная, мучительная смерть подстерегала уже и Иоанна, несмотря на прижизненный еще титул Грозный, и не минула неотвратимая сия чаша пусть даже за малые — всего за одну лишь сломанную судьбу, если не считать «со товарищи» — грехи и Сильвестра; быстро, как зимний день, промелькнули годы могущества и блаженства, и не успел он, как говорят, оглянуться, как свершен был над ним и Адашевым заочный неправый суд, хотя и без великих, как над Башкиным, истязаний, и то будущее, какое символично как бы приоткрыл ему тогда в монастыре келарь, — будущее то со всеми реальностями заточения настигло Сильвестра. В то время как Иоанн в Коломенском вызывал его дух, чтобы уличить в злодеянии, а главное, с помощью подобного «уличения» оправдаться перед собой, людьми и историей; в то время как самодержцу до боли хотелось приобщить, точнее слова не подобрать, своего бывшего духовника к тем же душевным мучениям,

какие из ночи в ночь испытывал сам, стараясь вместо объективной истины утвердить истину свою и найти обоснование своим судьбоносным (во злодействе) державным замыслам, — Сильвестр на Соловках, отдаленный от царя заснеженным пространством лесов, полей, моря, терзался совсем иными, чем только найти оправдание для себя, мыслями. Он точно так же, как и Башкин, свернувшись в калачик, лежал на соломе посреди промозглой кельи, с той только разницей, что не было над ним в крыше провала и не лился оттуда пучком солнечный свет, в кругу которого так приятно было бы ему теперь погреть свое немощное, старческое тело. Еще острее, чем Башкин, он чувствовал это насильственное (и несправедливое, главное) отторжение от Божьего дара жизни, а вернее, от той благодати — вольности, достатка и почестей, — которая хотя условно и сравнима с пучком солнечного света, в котором радо понежиться всякое живое существо на земле, но по утолении человеческих сверхжеланий и амбициозности (как царя царей будто бы природы) возносится почти до небесных высот. Падение свое Сильвестр переживал особенно болезненно, но как человек мыслящий и не забывший еще тех добрых намерений, с какими начинал жизненный путь, он не опу­скался теперь до неудач личных, до тех мелочей, разбирательство которых привело бы лишь к столь же мелочной, хотя бы и на царя, озлобленности; он старался, насколько это было в его силах, охватить всю тогдашнюю систему жизни с ее церковными и светскими постулатами, и невольно, но все более основательно приходил не столько, может быть, к страшному, сколько к великому в истинности своей или, точнее, в своей реалистичности выводу, что не добродетель, справедливость и правда, а насилие, жестокость и ложь всегда правили и правят миром. Несмотря на то что Бог будто бы все видит и слышит, и на то, что усилия его, если верить учению, всегда направлены на защиту заблудших и бедствующих, — заблудшие и бедствующие как пребывали, так и продолжают пребывать все в этом же своем состоянии, а на могущество и власть неизменно благословляются лишь те, кто, погрязши во лжи и жестокостях, готов лить потоками человеческую кровь, чтобы только (пусть и по сей кровавой реке) вознестись к вершинам корон и тронов.

Он тяготился этой именно всеохватной мыслью, в подтверждение которой вся доступная ему по тогдашним меркам человеческая история лежала у ног; она, как и Башкин на подстилке из соломы да и как сам Сильвестр, жаждавший тепла и солнца, — распластавшись все на той же подстилке и в окружении великих имен и безликих истощенных народов, точно так же жаждала тепла и солнца, чтобы согреть свое в лохмотьях эпох историческое тело.

Для него не было отдельно виноватых личностей, он не видел их; в изначально-историческом несчастье большинства людей, ему казалось, повинны были все: и те, кто подавлял, грабил, закабалял, насильствовал, и те, кто, несмотря на многочисленность, поддавался грабежу, закабалению и насилию; да, соучастниками великой и, по-моему, не вполне еще до конца осознанной нами исторической драмы человечества были все, все, без разделения на пастырей и овец, вождей и толпу, на борцов (за народ, как подавалось да и теперь, словно слепцам, подается со всех политических и научных кафедр) и безмолвную, аморфную массу, и коль скоро Сильвестр в силу тогдашнего уровня знаний был лишь на подступах к пониманию этих и поныне не до конца открытых или по крайней мере признанных наукой объективных реальностей (а только истина способна открыть дверь народу для движения в будущее), то и мысли его нет-нет да и возвращались к тем ужасающим (для него, разумеется) частностям, от которых днями, ночами, неделями и месяцами, угасая физически, но не угасая в умственных своих силах, он не мог отойти. Да, глобальное глобальным, а частное, однако, всегда стоит ближе к человеку, и виноватые для Сильвестра все-таки были. Но он искал их не столько в других, сколько в себе, в своих казавшихся теперь ему странными и необъяснимыми поступках. Невольно вновь в условиях заточения вернувшись к истокам христианских добродетелей, он, бывший царский духовник, с удивлением думал, как же могло случиться, что, написав «Домострой», то есть изложив в обращении к сыну, что людей при себе в домах следует держать вольно, как братьев, не унижая ни словом, ни действием, — как могло случиться, что, едва столкнувшись с применением на деле этой прекрасной заповеди (разорванные Башкиным кабальные

записи все еще и теперь, хотя и по-иному, не давали ему покоя), вознегодовал с такой силой, словно боярским сыном Матюшей нанесено было ему личное и глубокое оскорбление. «Нет, нет, прав он, а не я, — думал теперь Сильвестр, стараясь переменить положение, чтобы отошли затекшие плечо и нога, шевелясь и гремя цепью. — Я преступил не свою заповедь, но Божью», — продолжал он, лишь в эти, может быть, минуты со всей глубиной осознавая значение того, что когда-то, в молодости, находясь под обаянием «Апостола» и «Бесед Евангельских», изложил в своем «Домострое». Как и каждый из нас в свое время, он пребывал тогда в кругу тех нравственных постулатов, которые не столько осмысливаются, сколько принимаются на веру (как, впрочем, и Божественное устройство мира), и, повторив их в своем изложении на бумаге и затем как о найденном и отданном, забыв о них, он уже только говорил о христианских добродетелях, но не следовал им. И, естественно, поучения «Домостроя», построенные на поучениях «Апостола», не могли ни у кого в обществе вызвать возражений; оттого и приняты были многими не душой, а умозрительно, тогда как, если уж быть откровенными, то ведь и ныне многие положения Сильвестрова труда могли бы оказаться полезными и для укрепления семьи, жизни общества и государства, если бы не заведомый скептицизм, коим, к сожалению, заражены мы все по отношению к своей, конечно же, нелегкой и непростой старине. Явление же сие нельзя назвать только печальным; оно наносило и продолжает наносить непоправимый вред нашему национальному самосознанию, нашей самобытности, наконец. И все же — хороша ли, плоха ли жизнь, я не склонен беспредельно топтать и порочить ее; народ не виноват ни в чем, он, как дите с коварным поводырем, и не лучше ли, не полезней было бы докопаться до изначальных пружин движения? Да не с какой-либо заданностью, работая на ту или иную идею или власть, а с одной лишь целью сказать людям правду, что, впрочем, и предпринимал теперь — не первый и не последний — Сильвестр; и жаль, что, как и многим до и после него, сама эта надобность явилась на исходе жизни, когда у человека уже ни на что не находится ни возможностей, ни сил. Сильвестр мучился именно этим — своей физической

немощностью, и, не страшась смерти (да и что могло быть хуже того, что испытывал он?), страшился, что прервется нить его теперешних размышлений, то есть понятий о жизни, и все это объясненное и выстраданное, не дойдя до людей, канет вместе с ним в небытие. Рассуждал же он просто: преступил я, преступил другой, третий, преступили правитель, народ, держава, и вот уже, связуясь во лжи, как раз и образуется тот ужасающий в своей несправедливости и жестокости мир, в котором принуждено пребывать человечество. «Где же спасение, в чем? — спрашивал он себя. — Спаситель, явившись однажды, не спас, да и нет признаков, чтобы оттуда, с небес, производилось какое-либо движение во спасение рода человеческого». Над головой, громыхнув, открылся люк, из него спустили Сильвестру ковш с водой и корку черствого черного хлеба — все, что монастырской властью, но не без царского благословения положено было ему для поддержания духа и возможности для покаяния, и, прежде чем приступить к трапезе, бывший иерей и царский духовник долго затухающим взором смотрел на воду и хлеб.

СХХ

Никто в Коломенском даже отдаленно не мог предположить, чтобы в уютном царском дворце, в гостиной, где горел камин, было тепло и все располагало к покою и отдыху, — чтобы в окружении этой мягкой, в красных тонах, прелести, живущей своей особой будто (для царского семейного расположения) жизнью, могли явиться какие-либо иные, чем умиротворенность и благодушие, чувства и мысли; Иоанн, как это казалось всем (кроме, разумеется, царицы, хотя тоже вроде бы не посвященной в его замыслы, но, как самый, может быть, близкий к нему человек, о многом догадывавшейся и во многом понимавшей его), лишь отдыхал, отстранившись от державных забот, и неослабевавшая оттепель, согнавшая с полей снег и расквашившая дороги, — оттепель, которую ругал Иоанн и ругали все, полагая, что из-за нее-то и происходила вся их неопределенность, была куда большим предметом для разговоров при Дворе, чем заметно ухудшав-

шееся от бессонниц и дум состояние Иоанна. Он избегал общения, даже Левкий, положивший для себя дежурить по ночам у дверей гостиной, — даже он не смел являться пред Иоанновы очи, воровским, видимо, чутьем чувствуя, сколь опасен подобный шаг. Чудовский архимандрит, возможно, тоже догадывался, что происходило с Иоанном, потому что — ведь известно, насколько подобные люди обладают пронизательностью; но и его догадки и предположения, как небо от земли, были далеки от действительности. Вызванный силою воли дух Сильвестра во всем своем известном Иоанну обличье вот уже который час сидел перед ним в кресле, готовый ответить на царский упрек, но, то ли не желал огорчить самодержца, то ли по какой-то еще причине, удерживавшей его, не вступал в разговор.

Принято считать, что видения безмолвны и подчинены только воле вызвавшего их. Нет, видения не безмолвны и тем более не приемлют насилия; они — как совесть, которая если уж пробудилась, то, сколько бы ни подавлял ее в себе человек, не утихнет, пока не уяснится, не признается истина и не будет совершено то глубокое покаяние, через которое только и возможно очищение души. Но Иоанн не хотел ни этого очищения, ни правды; он боролся с сидевшим перед ним Сильвестром, то есть с видением, как преступник с совестью, прежде чем выйти на мокрое дело, и, коль скоро на подобную борьбу у самодержца всегда находилось достаточно и сил, и воли, чтобы настоять на своем, он тоже не начинал разговор и с достоинством, присущим царской особе, стоически выжидал, пока под угрожающим его взглядом не надломится, не смирится бывший духовник. Противостояли друг другу не просто два человека, пусть даже воображенный и реальный, не просто две сильные натуры или личности из духовной и светской сфер жизни, а два мира, некогда пытавшиеся ужиться, но разошедшиеся теперь: один — в сторону очищения, утверждения истины, другой — умножения лжи, насилия и грабежей, и если бы хоть на мгновенье удалось представить это противостояние как противостояние войск перед сражением, то едва ли хватило бы для этого (по пространству и значимости) исторического Куликова поля. И дело не в том, что произнесено было затем лишь несколько фраз Иоанном и Сильвестром, и не в том, что бывший царский

духовник, томившийся в Соловецкой обители, предстал перед самодержцем всяя Руси не реально, не в той нравственной силе, какой обладал теперь, очистившись от дворцовых привычек и наслоений, а лишь неким призраком, видением, уподобившись царской совести, и не в том даже, что потерпел поражение, неизбежное при подобной расстановке сил (и при непреклонной царской воле), а в известном и страшном для общественной жизни людей выводе, к какому, исходя даже просто из житейской логики, пришли и Иоанн, и Сильвестр.

Выглядело же все даже более чем буднично.

Иоанн спросил:

— Ты отказываешь мне в праве миловать и казнить, упрекаешь, что с малолетства руки в крови, но отчего же сам не следуешь истине, которую проповедуешь, и за слово хулы на Церковь обрекаешь отступника на мучения и смерть? Ведь храмы Божьи бессмертны, как и спаситель наш Иисус Христос.

— Судил Собор.

— Но именем Бога?

— Все на земле творится именем Его.

— Верю и принимаю, но ведь хула — не угроза, чем же она может повредить Небесной власти?

— Вольнодумство, разномыслие точат основу веры, ведут к хаосу и гибели, так сказано в «Апостоле».

— Тогда ответь мне: если власть Небесная имеет право на защиту, хотя и незыблема, то отчего же отказывать в подобном же праве власти земной? Ведь земная хрупка, и всякий норовит извести ее.

— ?..

— А-а, нет ответа! — воскликнул Иоанн. — Или фарисействуешь, прячешь истину? Вольны миловать и казнить вольны же!

Он давно уже не только выговаривал себе это право — миловать и казнить беспредельно, лишь по своему усмотрению, — но и следовал ему, о чем и написал в ответном послании Курбскому; но одно дело — право провозглашенное, продекларированное, как мы бы сказали теперь, и совсем другое — когда у этого же права находится историческое обоснование. Конечно же, если Небесная власть, считающаяся по святым писаниям незыблемой, бросается столь рьяно защи-

щать себя кострами и казнями, то что же остается делать власти земной, которая хрупка, уязвима и немощна? Следовать примеру власти Небесной — казнить, казнить и казнить за малейшее посягательство на нее. Модель диктата небесного — вот исток права, и то, что принято Богом там, на небесах, не может отвергаться им на земле; и так же, как перед Господом все — рабы Божьи, рабы же и перед земной властью, — и кто и в чем смеет возразить или перечить? Сама постановка вопроса для Иоанна, повторяю, не была и не могла быть открытием, но найденное им теперь обоснование — обоснование это столь укрепляло его в искомой истине, что он более с высокомерием, чем со скрытым восторгом, как человек, давно и твердо знавший свою правоту и не увидевший ничего необычного в том, что одержал верх, — не смотрел, нет, а поедал глазами ничтожного, подавленного напором царской воли Сильвестра. Ему не дано было понять, что если бы истощенный, но нравственно обновленный условиями темничной жизни иерей Сильвестр во всем теперешнем облике явился сюда, то разговор был бы иным и у бывшего царского духовника нашлось бы, что ответить Иоанну; но перед самодержцем был только дух, только видение, то вдруг исчезавшее и оставлявшее кресло пустым, когда минутами, открывая глаза, Иоанн из жизни воображенной перемещался в реальную, получая своего рода передышку и с удивлением узнавая и не узнавая, вернее, не принимая за реальность реальный мир гостиней, то возвращался и вновь усаживался в кресло, как только прерванное было движение воображенной жизни смыкалось в единую и столь важную для самодержца, главное же, оправдательную для него цепь событий. Вот так, может быть, странно и уж наверняка неприемлемо для нас, в тишине и уединении, определялась судьба людей, судьба державы, обосновывался тот особый для нас путь, по которому миллионы россиян должны будут двинуться затем к своей безысходности. Земля — да может ли она принадлежать крестьянам? Это, что одно подняло бы достоинство и благополучие нации, не тревожило Иоанна. Свобода распоряжаться собой, своим трудом — да может ли сие волновать венценосца? Рабы Божьи, рабы же и перед земной властью, и обоснованность подобного идеологического постулата для пре-

держателей власти столь велика, что вряд ли хоть когда-либо в обозримом будущем они позволят народам освободиться от этого самого крупного, простого и коварнейшего обмана. Иоанн ликовал; он не хотел открывать глаза, чтобы не отпустить Сильвестра — предмет своего человеческого, нравственного, царского торжества. Казалось, ни по взятии Казани, ни по взятии Полоцка он не торжествовал, как теперь; то были победы великие, прирезались к державе новые земли, восстанавливалась, как было с Полоцком, историческая справедливость; но что может сравниться с победой нравственной, победой духа, когда речь идет не о землях, нет, не о повергнутых и присоединенных царствах и городах, а о самой сути власти, которая бессмертна и которой стоять и стоять в веках над народами и государствами; как и вера, и Церковь, она должна быть незабываемой, и — в полной ли мере Иоанн понимал то, что так вдруг из нескольких будто бы фраз открылось ему, или понимал лишь частично, видя в этом не историческую устойчивость власти, а лишь устойчивость своей, основанной на безграничных насилиях и произволе, но в эти минуты ему, наверное, казалось, что и в самом деле все творимое на земле творится Богом и с его согласия и что все милостивый Господь открыл теперь глаза и ему, держателю Российского трона, на право власти и вложил в сознание и уста высшую справедливость бытия. Святители суть люди, устраивающие свое благополучие на имени Божьем, лицемерие и фарисейство их беспредельны; так или по крайней мере близко к этому не раз и не два думал Иоанн; и, словно бы встрепенувшись сейчас от дремоты, он открыл глаза, чтобы высказать прямо в лицо сию сущую правду бывшему своему духовнику, но — кресло было пустым. Иоанн поднялся и ощупал кресло руками — нет, в нем никого не было, оно не отдавало теплотой человеческого тела; брови царя сомкнулись, как перед очередным взрывом гнева, но сознание только что одержанной победы над иереем (да и Божественное будто бы начало самого этого события), — торжество от одержанной нравственной победы одолело гнев, и в порыве странного вроде бы желания — то ли отблагодарить Бога, то ли в чем-то покаяться перед ним — Иоанн обернулся к иконе Богородицы с младенцем Христом и, крестясь, принялся долго, истово, в поклонах изнурять себя.

СХХІ

В эту ночь Иоанну удалось немного поспать, и в церкви, на заутрене, он выглядел приободренным, в глазах явилась некая просветленность, это дало лишь новый повод полагать всем, что царское затворничество и в самом деле идет ему на пользу, что затянувшуюся распутицу следует воспринимать ни больше ни меньше как благо и что, не вскройся теперь река, не раскисни дороги, Бог весть, что бы могло случиться с царем, царицей, еще более, казалось, недомогавшей, чем ее венценосный супруг, да и со всеми, кто, каждодневно подвергаясь опасности попасть под горячую руку самодержца, и всегда-то предпочитал скорее думать о себе, чем о властителе. Конная прогулка вдоль леса к реке не состоялась. Еще затемно начавший моросить дождь, нудный, временами переходивший в мокрый снег, не прекращался весь день, на облысевшей от снега пашне кони после первой же версты взмокли бы и остановились, да и неудобно пришлось бы седокам, и, чтобы хоть чем-то заполнить тусклый зимний день (от выполнения государственных дел Иоанн наотрез отказался, в очередной раз дав понять этим, что отречение его от державы не шутка и что ой-ой как придется поклониться ему, прежде чем он соизволит вернуться на трон), решено было между обедней и вечерней молитвой собрать застолье, чтобы если и не повеселиться, что при недомогании царицы выглядело бы не весьма пристойно, то хотя бы пообщаться, пустившись в воспоминания и разные прочие (пустые, как я бы заметил, но важные, видимо, для придворных) разговоры.

Столы были накрыты в одном из просторных залов дворца, всюду зажжены были свечи, уже сами по себе говорившие о предстоящем торжестве, и все те князья и бояре, которых Иоанн счел возможным прихватить из Москвы в свою столь странную отлучку (и они должны были ехать с семьями и со всем своим нажитым боярско-княжеским скарбом), — все эти князья, бояре, облаченные в лучшие свои наряды, задолго еще до появления царя начали стекаться в зал. Здесь между разными, худыми и полными, но непременно бородастыми (и чем пышней и окладистей борода спадала на грудь, тем больше, казалось, было солидности и значимости у сего князя или боярина) лицами мелькали

молодые лица царских любимчиков: отца и сына Басмановых, Вяземского, Салтыкова, Чеботова, Грязного, Малюты Скуратова-Бельского да и неизменного участника подобных затей чудовского архимандрита Левкия. После каждодневных ночных попок молодежь эта, уверовавшая с царского благословения в свою вседозволенность, держалась не то чтобы отдельной группой, как-то обособленно, что ли, — нет, внешнего обособления не было, но если бы кто захотел повнимательней присмотреться к ним, без труда мог бы заметить в них по их разговорам и поведению признаки того известного высокомерия, коим обычно отличаются только что получившие возвышение — не по уму и заслугам, а по собутыльничеству, как мы бы сказали сегодня, — барские слуги, которым даже невдомек по укороченности их ума, что отнюдь не высокомерием может и должна выражаться значимость. Холопы, суетясь, разносили напитки и предобеденные угощения, потные, раскрасневшиеся от этой своей суеты, на столах все больше и больше выросло яств, манивших видом и запахом, так как ожидалось, что вот-вот, с минуты на минуту, явится Государь, и, освещенное десятками зажженных свечей, все это — яства, люди — дышало какой-то будто особой приподнятостью, словно происходило не в Коломенском и не при отрекшемся от венца самодержце, а в Москве, в кремлевском царском дворце, где так привычно было, чувствуя за собой могучую поступь державы и сознавая в этом свое величие, блюсти княжеское достоинство и честь. У меня нет сомнений в искренности подобных чувств; возносимые чаще с помощью подлогов, интриг, чем по заслугам, люди эти с убежденною правотою полагают себя отцами отечества, хотя как раз на отечество-то, то есть на народ, чтобы заняться его заботами, у них обычно не достает ни времени, ни желаний; они вспоминают о народе лишь в тех случаях, когда возникает нужда защитить трон, себя или прирезать к державе, чтобы затем между собой же и поделить, какой-либо новый лакомый кусок чужой земли. Тогда-то и даются народу некоторые послабления, а больше — отделяются посулами, о которых тут же и забывают. Формула эта вечна. Сменяются столетия, присваиваются новые звания, выдаются новые награды и ордена, но не меняется сама суть при-

дворного бытия, и на званых торжествах в Кремле вновь толпятся все те же «отцы отечества», лощеные, в звездах, партократы, словно желтым старческим жирком, оплывшие кольцами собственного величия и значимости. Они, как и предшественники их, тоже чувствуют дыхание могучей (лишь в бравадных речах их), а в сущности, обобранной и униженной ими державы. Не думаю, чтобы затеянное Иоанном в Коломенском торжество могло хоть чем-то выпасть из общей цепи подобных событий; мосты, связующие эпохи, не стареют и не рушатся, как бы мы того ни хотели и каких бы ни принимали мер; Двор в Коломенском, как и недавно еще в Москве, — царский Двор жил своими заботами и проблемами, главными из которых были и есть соперничество и борьба за власть, тогда как народ, обычно сиротливо предоставленный сам себе, — народ, в поте лица добывавший для себя хлеб, молил Господа лишь об одном, чтобы Всевышний оградил его от все новых и новых княжеских и боярских поборщиков. Если же что и связывало его с царским именем и Двором, то лишь мечта о правителе справедливом и добром. Людям и в голову не приходило, чтобы царь занимался еще чем-либо, кроме государственных дел; венценосец тем и силен, что свят и непогрешим. Был ли Иоанн достаточно осведомлен об этом настроении народа, догадывались ли князья и бояре, или подобная доверительность людей представлялась им как бы сама собой разумевающаяся, вечная, — история не оставила этих свидетельств; но ведь каждое поколение только оглядывается на прошлое, а живет настоящим, как было и теперь в Коломенском, где ожидали выхода Иоанна, и от двери, откуда он должен был появиться, уже обозначился меж боярами и князьями коридор, открывавший самодержцу дорогу к столу.

Но, когда распахнулась дверь, перед боярами и князьями, готовыми сесть за стол, явился не царь, а лишь посланный от него и с бесстрастной торжественностью, с какой обычно оглашались великокняжеские и царские грамоты, объявил, что Государь всея Руси желает еще отдохнуть, что к столу не выйдет и что велено всем без него начинать трапезу. Иоанн и прежде бывал непредсказуем, позволял все, что требовала душа; собрав думных бояр, мог затем не явиться к ним или, напротив, молча встать и уйти, оставив всех в

недоумения; он был, как говорят о таких, человеком настроения и мог мгновенно от одного лишь неудачно оброненного слова возбудиться гневом или удивить непомерной и тоже мгновенной милостью, и многие, считая, что таков уж царский характер, относились к подобным переменам самодержца снисходительно и склонны были, побаиваясь царя, прощать ему; но более прозорливые полагали, что дело было не в характере, а в стремлении выказать власть даже над теми, кого ставил рядом с собой, и если терпели сие унижение, то лишь от бессилия и полного бесправия перед венценосцем. Торжественности, разумеется, уже не было; несколько мгновений все молча смотрели друг на друга, затем взоры были обращены на царских любимцев, как если бы, свободно входя к царю (так, во всяком случае, считалось), они могли прояснить что-то. Но и они были в растерянности и в свою очередь смотрели на чудовского архимандрита как на царского духовника, полагая, что он-то уж наверняка осведомлен обо всем. Однако смущен был и Левкий, и на заостренном, с редкою козлиною бородкой святительском личике его лежала тень все того же недоумения. Но, живо поняв по обращенным на него взглядам, чего ждут от него, и, главное, сообразив всегда готовым на интриги умом, какой шанс выпадал ему, — со святительским, как ему казалось, наверное, достоинством дав понять всем, что направляется к царю, скрылся за дверь. Он долго не возвращался, все ждали его; и хотя чудовский архимандрит не дошел до царя, а лишь трусливо постоял в прихожей, молясь и оглядываясь, не подсматривает ли кто за ним, но, когда вернулся в зал, держался так, будто встреча и разговор с царем состоялись, и так как ничего нового, что уже слышали все, добавить не мог, — молча и решительно шагнул к накрытым столам.

СХХII

Э то только говорят, что людские причуды непредсказуемы и все объяснимо; все имеет причину, из которой и вытекает следствие, и для Иоанна вполне естественно было в этот день, когда он отменил конную прогулку и когда ему, царю, действительно нечем

было занять время, — вполне естественно (и не по неопределенности, а по скряжничеству характера), что захотелось воочию убедиться, насколько сохранно здесь, в Коломенском, содержится его царская казна и все иные богатства, взятые им с собой из Москвы; и вполне естественно, что, вызвав казначея, отправился с ним к тем навесам и амбарам, в которых размещены были сокровища, усиленно охранявшиеся детьми боярскими и ратниками, и еще более естественно, что вид этих богатств, а вернее, скудость, как должно было по жадности его природы показаться ему, — скудость сих царских сбережений, сам облик груженных саней, упакованных сундуков, ларцов, да и сырость амбаров, в которых они лежали, — все это не могло не вернуть Иоанна к страшной и всю жизнь не покидавшей его мысли о том, как бояре, воспользовавшись его малолетством, растаскивали по своим домам наследную государеву казну. В шубе, в шапке, облепленной мокрым снегом, он долго в задумчивости стоял перед неразгруженными санями, пугающе уставившись в какую-то одну на этих санях точку и не оборачиваясь на казначея, и уже в эти минуты, если бы кто мог заглянуть в присмирившую будто бы царскую душу, — маховик мучительного нравственного труда, способный приносить лишь страдания и простолюдинам, и венценосцам, уже начал свои первые и плавные пока еще обороты. Они затем нарастали вместе с тем, как Иоанн, продвигаясь от амбара к амбару, останавливался в своей непродуваемой шубе в дверях, не переступая порог и прося посветить зажженной свечой в темное перед собой пространство; может быть, сильнее, чем когда бы то ни было, он ощутил себя обобранным, нищим, и алчность, уже вскоре разросшаяся в нем до пределов ограбления народа и мести ему (бояре что ж, взятые в опричное войско, они стали лишь опорой ему), — алчность, как пружина, приводящая в движение маховик воспоминаний и замыслов, гримасой жестокости застыла на его горбоносом, измученном от бессонницы лице. Он возбуждался гневом, и возбуждение передавалось казначею, старавшемуся держаться за спину царя и не вступать в разговор, и детям боярским, мокнувшим на постах, и, казалось, всему тому неодушевленному, что лежало в амбарах, пропитываясь сыростью, самим этим амбарам и даже мокрому снегу, застилавшему двор.

Хмурый, сгорбленный, безразборно ступая по грязной снежной жижице, Иоанн вернулся во дворец. Едва сбросил с плеч свою тяжелую меху непродуваемую шубу, как на церковной колокольне ударили к обедне, и тягучий, даже будто напевный звон колоколов, как и в день отъезда из Москвы, когда затемно еще вся державная столица с прилежавшими к ней деревнями, монастырями, погостами была разбужена подобным торжественно-тревожным набатом, — звон сей словно пробудил Иоанна, он шагнул к окну, как и тогда, в Кремле, готовый к выходу, и несколько мгновений смотрел на пустынный — только ратники, то есть дети боярские, у амбаров да стражники у ворот — двор. Но ни природа, ни сознание и ум человека, как известно, не терпят пустоты, и, хотя за окном ничто вроде бы не изменялось, пустынный двор для Иоанна то обретал черты соборной, перед кремлевским царским дворцом, площади, кипевшей многолюдьем, как бывало в дни государственных торжеств или рождественских и пасхальных праздников или в периоды смут, когда разгневанные толпы, нацеленные на самосуд, начинали творить свои страшные расправы, то эта же соборная площадь, заполненная народом, виделась притихшей, присмирившей, как было в летнее равноденствие 1541 года, когда Саип-Гирей со всем своим крымским и турецким воинством, явившись на берегах Оки, грозил захватить и разграбить Москву; те, кто мог держать оружие, уходили в ополчение, по церквам и монастырям шли службы, молился и юный Иоанн с братом-калекой Юрием в соборе Успения, коленопреклонясь перед Владимирской иконой Божьей Матери и гробом святого Петра Митрополита; между боярами, князьями забыты были распри, все соединились на спасении отечества, — и Бог не оставил, как говорили тогда, русское воинство, Саип-Гирей позорно бежал, Москва торжествовала победу, и юный (тогда еще не царь, а Великий Князь) Иоанн вышел из собора Успения к народу признанным спасителем державы. Он и в самом деле в глазах духовенства, бояр, всего русского люда выглядел героем, и честь эта оказывалась ему неспроста. Обычно в трудное для Москвы время, когда враг подходил к столице, Великие Князья, предшественники Иоанна, под предлогом собирания войск удалялись во Владимир; с подобным же предложени-

ем — не нарушать традиций отцов и дедов — некоторые влиятельные бояре обратились и к Иоанну, опасаясь, конечно же, за его жизнь, но будущий царь был молод, полон патриотических чувств и, испросив благословение у митрополита и думных бояр, остался в Москве; разумеется, и по нынешним временам подобный поступок был бы оценен по достоинству и назван мужеством; схоронившись с братом Юрием в соборе Успения, Иоанн только и делал, что беспрестанно молился, славя Господа и прося защиты у него, да подписал принесенную дьяком Курицыным грамоту, в которой, обращаясь к ополченцам и ратникам, наставлял их, чтобы, «соединившись духом и сердцем за отечество, за веру и Государя», сражались бы «крепко за Бога всемогущего». «Обещаю любовь и милость не только вам, — писал Иоанн, — но и детям вашим. Кто падет в битве, того имя велю вписать в Книги Животные; того жена и дети будут моими ближними». (Кстати, подобные обещания никогда не были на Руси только словами; они выполнялись и Великими Князьями, и затем государями-императорами — в отличие от большевистских вождей, которые после Великой Отечественной предали забвению не только миллионы солдатских вдов и детей их, но и самих фронтовиков обрекли на бесправную, нищенскую жизнь.) Послание читалось в войсках, его слушали с умилением, и как бы ни оценивали теперь историки этот поступок юного Иоанна (некоторые вообще опускают его, полагая малозначительным и не объясняющим ничего), но истину нельзя ни укорачивать, ни удлинять, ибо она тогда перестает быть истиной; да и было же в Иоанне что-то достойное, привлекательное, тогда же отозвавшееся в народе надеждой и верой, и, наконец, не с пленок же, в самом деле, начал зверствовать будущий самодержец, были и у него счастливые минуты державного торжества, поднимавшие дух его до высот благородства и мужества. Пустынный двор все еще виделся ему той ликующей площадью, на которую, окруженный духовенством, боярами и поддерживаемый митрополитом, он вышел из собора Успения к народу после недельного почти, непрерывного молитвенного бдения. Ратники, воеводы, ополченцы, городской люд — все ликующе приветствовали появление Иоанна, будущего лютого самодержца России, не ведая пока, что

вместе с этим самодержцем падет на них, и упиваясь лишь сиюминутным чувством восторга и любви к молодому, красивому и столь мужественному уже властелину. В великокняжеском одеянии, в меховой с позолотой шапке, напоминающей шапку Мономаха, Иоанн величественно стоял на паперти перед народом; глаза его счастливо наливались слезами, он невольно прижимался к митрополиту, словно ища защиты от избытка нахлынувших волнений, и, может быть, в те именно мгновения впервые посетила его мысль, что есть деяния личные и есть деяния общественные и что лишь в согласии с этой мерой воздается человеческой душе; он искренне желал тогда служить людям, отечеству, сеять добро и умножать справедливость и, стоя теперь у окна перед пустынным двором, не только видел перед собой ту ликующую площадь, но и с обновленной будто бы силой те юношеские мысли и чувства повторялись в нем. «Я же хотел! — невольно вырвалось у него теперь. — Нет на моих руках крови. Не-ет!» — беззвучно выплеснул он. Разумеется, в воспоминаниях все склеивается не так, как в жизни; события тянутся серпантинном, фиксируясь, проплывая и опять фиксируясь, и точно так же, как дорога неизбежно ведет к мосту, — Иоанн даже не заметил, как берега воспоминаний добрых и мучительных сомкнулись и он вновь очутился в кругу своих видений и дум, уже сутки мучивших его. Ведь спустя полгода после победы над Саип-Гиреем при Дворе вновь начались боярско-княжеские раздоры; сии родовитые столпы, не думая ни о народе, ни о державе, жаждали власти, которой, впрочем, было вполне достаточно у них, но — человек, видимо, бессилен перед УЖАСАЮЩИМ МИКРОБОМ, а там, где делится власть, там неизбежны интриги, заговоры, страдания, кровь.

СХХІІІ

К обедне Иоанн явился мрачным, от него так и веяло нелюдимостью. К нему никто не решался обратиться, даже царица, стоявшая рядом, не смела поднять на него глаз. Но вместе с тем казалось по углубленному в себя выражению его лица, что он не то чтобы искренне предавался молитве, но словно бы с помощью этой

молитвы, как, впрочем, и положено верующему, общался с Богом, открывая Господу душу и внимая его наставлениям и советам. На самом же деле, то есть в действительности, все было иначе, и минутами Иоанн даже забывал, что он в церкви; в сознании его продолжалась все та же работа мысли, те же поиски своей истины, которыми как раз и наполнено было все его пребывание в Коломенском и которые после восторженной накануне нравственной победы над Сильвестром теперь вновь как нечто неизбежное, должное непременно дойти до логического завершения, возобновились в нем. Начищенный служителями церкви иконостас сиял в этот день по-особому выразительно своими позолоченными окладами и ризами, но Иоанн не замечал этого; да и свечи, казалось, светили куда ярче, чем обычно, может быть, потому, что их зажжено было больше, или же, как сказали бы прихожане, на служителя и на всю службу снизошла в этот день истинная Божья благодать, но — что означает для человека мир внешний, когда он занят миром душевным, в коем происходит свое упорядочение дел, вещей и событий; не до свечей, не до молитв, не до окладов и риз, обрамлявших лики святых, Спасителя и Пречистой Матери Божьей, было теперь Иоанну, ему даже показалось, что служба в церкви была столь короткой, что едва только он вошел в храм, как надо было уже покидать его. Он вышел вместе с Марией, вряд ли с ясностью сознавая, с кем и куда идет, и только когда, проводив, как обычно, до палат, или светелок, как можно было бы еще назвать их, остановился, чтобы проститься, весь окружавший его мир (вместе с царицей, разумеется) словно бы вдруг ожил перед ним. Он спросил у Марии о ее здоровье, не столько вглядываясь в ее бледное лицо, сколько исходя из тех смутных соображений, что он слышал или помнил, что она недомогаала и что к ней вызывали немца-лекаря, осведомился, не испытывает ли каких-либо неудобств и не распорядиться ли о чем-либо насчет ее, и, произнеся затем со злой усмешкой, что теперь он не царь и что следует ожидать не лучшего, а худшего, кивком попрощался и покинул ее.

В кабинет он вошел так, будто его ожидала масса неотложных государственных дел. Но дел не было, лишь сиротливо посреди комнаты возвышался стол с

подсвечником и горевшими в нем свечами, сиротливо стояло кресло, давно покинутое хозяином, голо, неуютно зияло окно, выходявшее на пустынный двор. Нет, кто бы что ни говорил, а безделье мучительно; оно мучительно вдвойне, если к нему добавляется неопределенность, как было теперь с Иоанном. Продолжавшаяся оттепель раздражала его, и ему казалось, что в этом странном посреди зимы природном явлении был заложен какой-то знак, какое-то, скорее всего, недоброе предупреждение и что — не вернуться ли назад в столицу и не переждать там до лучших времен; как ни казалось ему продуманным все связанное с мнимым отречением и как ни старался он не выказывать ни перед кем своих опасений на сей счет, опасения нет-нет да и будоражили душу, он не верил ни в честность бояр, ни в честность духовенства, включая и Первосвященителя всея Руси митрополита Афанасия, оставшегося в Москве; духовенство, как и бояре, или, вернее, бояре, как и духовенство, озабочены отнюдь, как он думал, не службой Богу и отечеству, а «бережением живота своего», улаживанием своих выгод, и не мог простить им этого извечного их порока. Порок сей, впрочем, и поныне остается неистребленным, достаточно лишь присмотреться к правительственным кругам; это ведь только в воображении философов мир движется и обновляется, а в действительности — о Господи, если и движется, то по кругам бесконечности, большим ли, малым ли: день, ночь, зима, весна, лето, осень и опять зима, весна, лето, осень, десятилетиями, столетиями, тысячелетиями все те же войны, грабежи, насилия, страдания и власть; так было при Иване III, при Василии III, да и чем глубже в пласты истории, тем больше подтверждений. Но Иоанн не искал подтверждений и уж совсем не желанием справедливости руководствовался в своих размышлениях; он знал цену своему окружению и смотрел на бояр и духовенство, как на неких личных врагов, которые только и замышляли, как извести царский род и самим угнездиться на троне; нет, ему не нужны были подобные подтверждения, достаточно было только обернуться на детство; и он оборачивался; какой день уже в Коломенском оборачивался на все то пережитое им, что в историографии нашей называется периодом боярского правления и откуда, словно от корня, как

это понимал он, как раз и вырастали страшные столбы его царских деяний. Пустынный двор, на который он бросал взгляд, подходя к окну, был для него теперь и в самом деле пустым. Стражники у ворот, дети боярские у амбаров — да что они охраняют? Казны, в сущности, нет, он обобран, гол и, как последний нищий, принужден был бежать из столицы. «Где Бог? Можно ли терпеть подобное злодейство?» — невольно вырвалось у него, и брошенные ему накануне Сильвестром слова, что, дескать, руки-то с малолетства в крови, — слова эти, требовавшие оправдания, с новой болью резанули его. Он опять весь углубился в воспоминания, и не было только перед глазами того кресла, в котором явился бы ему иерей. Иоанн собрался было уже перейти в гостиную, чтобы продолжить вчерашний разговор с Сильвестром, хотя говорить-то, собственно, было не о чем, разве что оправдываться перед ним, но в ту самую минуту, как он обернулся на дверь, чтобы шагнуть к ней, — дверь отворилась и в нее вошли доложить царю, что, как и было с утра еще велено им, столы в зале накрыты, гости собраны и что не соизволит ли и он выйти к столу и гостям и открыть торжество. Иоанн долго удивленно смотрел на вошедших, затем, пройдя до окна и обратно, опять уставился на них, но уже с угрожающим прищуром, значение которого знали все от вельмож до холопов; он не то чтобы не хотел, но не мог прервать в себе той цепи событий, то есть цепи воспоминаний, по которой шаг за шагом продвигался к искомой истине, и, естественно, ему было не до трапезы, тем более не до торжеств, для проведения которых, в сущности, и повода-то не было, и он гневно, как если бы не понимали несколько раз повторенных им слов, продолжал сверлить глазами вошедших. Они поклонились и, опасаясь беды, вышли, так и не уяснив для себя, что происходило с самодержцем; одно лишь было им ясно, что от трапезы он отказался, отсюда и родилась версия, которая и была затем объявлена гостям.

При царских ли, правительственных ли, как ныне, дворах бывает всякое; но не бывает, как известно, ничего непристойного, потому что сейчас же отыскиваются объяснения, и действительность настолько преобразуется в них, что правым обычно оказывается не

тот, кто прав, а тот, у кого выше звание и кто восседает на троне; даже убийство, как это не раз случалось с Иоанном во время застолий (или опричных пиров, как увидим дальше), когда кто-либо осмеливался перечить ему, превращалось в некую царскую шутку, над которой все обязаны были смеяться, или цинично подавалось как торжество справедливости, так что оскорбленные Иоанном князья, бояре не только не считали себя оскорбленными, но им и в голову не приходило усмотреть что-либо дурное в поступке самодержца, и застолье хоть и медленно, с неохотой будто, с раскачкой, но набирало свои хмельные обороты, тогда как Иоанн, предоставленный сам себе, перейдя в гостиную и уместившись в кресле, вновь чувствовал себя тем великокняжеским отроком, тем сиротой, уже восседавшим на троне, вокруг которого ужасающе разыгрывались беспощадные и кровавые боярские игры.

СХХIV

В о всем, что когда-либо происходило или происходит теперь, есть главное, то есть стержень, от которого и зависит происходящее, и есть тысячи мелочей, то есть то побочное, что всплывает, как пена в котле, на поверхность и отвлекает внимание. Период боярского правления, как и всякое иное безвременье, коих ой-ей сколько видано было на Руси, если считать со времен Святославовых, когда сыновья его Ярополк, Олег и Владимир подняли друг на друга меч, чтобы по братней крови явиться на великокняжеском месте (стоит также вспомнить, что и им было в ту пору по десять-одиннадцать лет и что и при них властвовали временщики Свенельд и Добрыня со своими личными интересами и интригами), — период этот характерен все той же борьбой за власть, то есть стержнем и пеной, по количеству которой (даже с прошествием стольких лет!) многие пытаются определить размах и значимость событий. Сталкивались, если вернуться к самим изначальным нашим истокам, не две политические линии, не два направления жизни, в чем пытаются убедить нас, вылепливая заодно исторический образ России, что, дескать, одни князья, мыслившие прогрессивно, категориями державными, прилагали усилия к

объединению земель, тогда как другие, не желавшие ничего признавать, кроме своих выгод, упорно пытались отстаивать самостоятельность вотчин и княжеств; правдоподобность сей версии столь велика и гипнотична, что на протяжении столетий никто не осмеливался даже просто усомниться в ней, тогда как если не с династических или каких-либо еще подыгрывающих клану властителей позиций, а с желанием познать истину, взглянуть на нашу историю, то однозначно можно прийти к выводу, что в действительности не было противостояния так называемых сторонников государственности и вотчинников, как не было и целенаправленной, на собиранье земель, то есть столь красиво уложенной в сие словосочетание, великокняжеской политики, завершающую точку в которой надлежало поставить Иоанну. На самом деле все происходило естественней, проще. Рюрик, явившийся к нам с братьями и «со всей русью», как сказано в летописи, и по-братски разделивший завоеванную землю на три вотчины, уже через два года владел всеми вотчинами один, да и дальнейшая история князей Рюриковичей обозначена лишь борьбой сначала за Киевский, а затем и Московский престол (на роль же Москвы, однако, претендовали и Владимир, и Суздаль, и Тверь), и, поднимая в этой борьбе меч брат на брата, сын на отца, отец на сына, вотчинники руководствовались отнюдь не нуждами общественного устройства жизни. Общественная жизнь требовала объединения, государственности, и кто знает, в каком соотношении сил встретила бы Русь татаро-монгольское нашествие, если бы на арене истории главной действующей силой выступало общественное сознание, а не власть; но, увы, правда у прошедших веков, как, впрочем, и у нынешних, иная. Разве с приходом Рюриковичей не завоевана была наша земля? И разве не из-за их княжеских амбиций россияне оказались столь разобщенными и беспомощными перед напором означенных уже восточных полчищ и разве не за властью, предавая друг друга, ходили держатели наших земель в Орду? История страшна, темны ее страницы (да простится мне, что повторяю слова самого близкого и дорогого мне человека); но темны не наслоением веков, нет, а ложью, вернее, тем сокрытием правды, которая, будь она вовремя оглашена, позволила бы народам по-

иному распорядиться своей судьбой. Тогда бы никто не придумывал за нас и нам так называемую «русскую идею» и не говорил бы, что жизнь француза, голландца, англичанина не для нас, а что-де у нас есть своя, обособленная, коей не поступимся и будем следовать века и суть которой заключена в том, чтобы бесправный крестьянский люд всегда бы работал на пашне, а дворянин бы барствовал, сидя у него на загривке, и рассуждал о терпеливости народного характера; мы бы осознали, что нас просто-напросто отсекают от мировых человеческих ценностей, от достижений цивилизации, и не позволили бы дурачить себя ни национальной обособленностью, ни тем более той самой «русской идеей», за которой, кроме нищеты и бесправия, ничего не стоит. Я позволил себе это отступление лишь для того, чтобы все мы смогли вынести хоть какой-то урок из прожитого, и еще потому, что не только события минувших столетий, но и сиюминутная наша действительность постоянно наталкивает на мысль, что власть, власть, власть, и только власть возвышается над всем и верховодит движением и что если мы хотим хоть что-то в жизни изменить к лучшему, должны думать о существовании или, вернее, об образе власти, какую хотели бы позволить над собой. А поскольку законы бытия были и остаются неизменными в отличие от государственных, принимаемых парламентами и обычно в угоду определенным слоям общества, — в малолетство ли Иоанна, к которому он так решительно теперь обращался, чтобы утвердиться в своей истине, во все ли последующие годы царствования, когда творил зло жестоко и безоглядно, они двигали и помыслами царя, и помыслами бояр, и в них, и только в них следует искать главный стержень событий.

СХХV

Два могущественных клана — Бельских и Шуйских, боровавшиеся между собой в Иоанново малолетство за первенство в державе (разумеется, первенство после Великого Князя и Государя, коим в ту пору уже являлся будущий самодержец России), добиваясь одной и той же прозрачной власти, — вынуждены были на

арене этой борьбы вести не просто разную, но прямо противоположную друг другу политику. Шуйские, уже в силу своего характера, вернее, своей провинциальной, солдафонской, я бы назвал, неотесанности положили действовать прямолинейно, силой, полагая, что жестокостями и устрашением можно подчинить даже волю самого Иоанна, тогда как Бельские, воспитанные более по-европейски, вынуждены были противопоставить потомкам суздальских князей снисходительность и добросердечие, что как раз и должно было выгодно отличать их. Преследуя, повторяю, одну и ту же цель — обрести как можно больше достатка, славы и власти, как будто у них по их первобоярству и в самом деле недоставало этого, — они вошли в историю не как одинаково алчные временщики, ослаблявшие своей придворной возней жизненные силы державы (потому-то и осмелел в ту пору Саип-Гирей и возобновили разбойные набеги казанцы, а если Литва и Польша пребывали в спокойствии, то лишь от дряхлости и немощности Сигизмунда), но как антиподы, привнесшие соответственно своей деятельностью то добрые будто, то злые начала в общественную жизнь страны. Так, впрочем, все виделось и воспринималось современниками Иоанна, по сотням разных причин не имевшими возможности заглянуть в корень происходившего, а многие и ныне, уподобясь тем современникам и беря за основу не стержень, а методы, то есть ту зафиксированную летописцами фактуру, по которой только и можно достичь подобных толкований, приходят все к этому же ложному выводу, по которому поступки Бельских облагораживаются, а Шуйских очерняются. Да, к слову сказать, «поправители» истории всегда (и резво!) действуют в одном направлении, будь то позднейшие исследователи событий или очевидцы и участники их, как, впрочем, сплошь и рядом поступают нынешние наши деятели, стараясь в скороспелых книжицах своих в нужное им русло направить общественную мысль; еще не успевают, как говорится, осесть пепел и дым, как совершившееся уже объявляется волеизъявлением народа, словно и не было тех иных, глубинных причин, ради которых, собственно, обычно и затевается все; но правда не на поверхности, она скрыта и за сиюминутной, и за многовековой риторикой, и — как ни старался Иоанн в

своих коломенских поисках добраться до глубин истины, но внешние, юношеские впечатления, как и у всякого из нас, были настолько сильны в нем, что виденное и пережитое более вставало в картинах, в лицах, чем в тех душевных устремлениях — обретении власти, — коими направляется все. Законы памяти неисповедимы, особенно памяти подростковой, и никто с определенностью не может сказать, почему одним людям запоминается одно, а другим другое; однако есть некая закономерность в том, что дела злые помнятся сильнее и дольше, чем дела добрые, и в этом отношении Иоанн не был исключением; как собирательный образ детства (и в который уже раз в Коломенском) являлось ему во всех подробностях то страшное утро, когда бывший Смоленский воевода, боярин князь Василий Васильевич Шуйский, не сменив даже на себе обрызганные мишуриной кровью доспехи, угрожающе ввалился в детскую. Я не хотел бы, уподобясь Иоанну, вновь возвращаться к этой описанной уже роковой сцене, в которой лишь мгновения отделяли малолетнего Иоанна от небытия, хотя все происходившее тогда с живостью встает и передо мной, и я вижу лицо, глаза, руки, да, почему-то именно эти широколадонные руки «славного защитника Смоленска», как еще именовали сего первого в Думе боярина и князя, и меня тоже бросает в дрожь перед тем возможным, что готово было совершиться (разумеется, не потому, что Россия навсегда бы осталась без кровавого своего правителя; ведь на место одного убитого самодержца всегда готовы явиться десять новых, а потому — нет большего на земле преступления, чем лишать человека жизни); так каково же было Иоанну возвращаться к тому ужасающему утру, когда жизнь его, в сущности, держалась на волоске, и могло бы не быть теперь ни самого Иоанна, ни Коломенского для него, ни этих воспоминаний. Он возненавидел тогда этого боярина и затем детскую ненависть перенес на всех Шуйских, видя в них только своих врагов, только заговорщиков, готовых на все, и даже физически представлял всех на одно лицо, с одинаковым злобесным взглядом, одинаковыми помыслами и с одинаково заграбущими, широкими, как лопаты, ладонями, вроде бы для того только и приспособленными, чтобы держать меч и накидывать петли на шею.

Иоанн не помнил, как, когда, при каких обстоятельствах не стало этого страшного по впечатлениям детства боярина, — видимо, кроме межклановой борьбы существовала еще и внутриклановая, столь же нещадно уносившая свои жертвы, — и как на смену одному Шуйскому, боярину князю Василию Васильевичу, явился первым при Дворе советником другой, Иван Васильевич, еще более, казалось, высокомерный, несдержанный, грубый, не успевший, правда, пока еще, как родич-предшественник в осажденном Смоленске, совершить что-либо подобное, что устало бы всех, но вполне подававший уже симптомы к такой решимости. Он был пониже ростом, кряжист и недальновиден, словно в подтверждение известной закономерности; мельчает правитель, мельчает и политика (что к временщикам, по-моему, особенно приложимо), и по этой своей недальновидности, совершенно не заботясь, как и что подумают о нем, почти сразу же после похорон брата, придя в Думу, занял место первого боярина, не испросив на это ни согласия Государя, ни согласия митрополита да и самих думных бояр, от расположения или нерасположения которых зависело многое. Он вошел в зал, как хозяин, словно провозглашенное братом равенство в значимости с Государем считалось уже наследным, и увенчанный будто бы этим мнимым равенством, как и брат после расправы над Бельским и Мишуриным, принялся за самовольство в державе. Прежде всего, разумеется, как делают это почти все временщики, таким образом приходящие к власти, он должен был позаботиться об упрочении своего положения и елико возможно заменить на влиятельных постах в державе людей прежних людьми своими (что по нынешним временам называется — решить кадровый вопрос и с чего, собственно, начинали да и продолжают начинать все наши избирающиеся правители), и первым, на кого неминуемо должен был упасть злой выбор новоиспеченного первобоярина, был митрополит Даниил. Уже по сану Первосвященника Даниил считался фигурой важной в державе, он был свободно вхож к Государю, и в самой этой беспреградной возможности общения с подраставшим правителем Шуйские усматривали для себя угрозу. К тому же Даниил был ставленником Бельс-

ких, всегда и явно, и скрытно держал их сторону, и если в день расправы над князем Иваном Бельским и дьяком Мишуриным был пощажен заговорщиками, то лишь, с одной стороны, из-за самоуверенности первобоярина князя Василия Васильевича, посчитавшего, что достаточно и того, что схвачены назначенные Бельский и Мишурин, чтобы присмирели остальные, а с другой — из-за того, что смещение Первосвятителя обычно бывает связано с немалыми и непредсказуемыми трудностями. Ведь действия духовенства не всегда подчинены силе, и этого-то — святительского своеволия — и опасался первобоярин. Еще тогда же, во дворе, между зачинщиками переворота братьями Шуйскими произошла ссора: младший, Иван, предлагал схватить и митрополита и отослать в заточение, и вот теперь, унаследовав будто бы место брата и его значимость в Думе, то есть получив поле для самовольства, решил не мешкать более с Даниилом. На княжеском подворье Шуйских опять начались тайные ночные застолья, на которые сходились единомышленники: князя Михаила и Иван Кубенские, князь Дмитрий Палецкий, казначей Иван Третьяков (как видим, и возле государевой казны имелась у Шуйских своя рука), многие княжата, дети боярские, дворяне, новгородцы; действовали, как и положено заговорщикам, без ведома Иоанна (мал, дескать, несмышлен, как поступим, так и будет, рассуждали они), а чтобы заручиться поддержкой духовенства, начали некоторые (тайные же) сношения с видными церковными иерархами, в том числе и с набиравшим тогда уже вес в духовном мире благодаря своим «Четьям-Минеям» Новгородским архиепископом Макарием. Макарий, во-первых (и опять же благодаря все тем же «Четьям»), имел уже достаточное влияние на Иоанна и выделялся в этом плане весьма важным прикрытием, и, во-вторых, как представитель Великого Новгорода в силу известной традиции новгородцев не мог не благоволить фамилии Шуйских. Оставалось только подобрать достойную замену Даниилу, и как только произнесено было приемлемое вроде бы для всех имя игумена Троицкого Сергиева монастыря Иоасафа Скрипицына, — Москва да и, казалось, вся держава застыли в ожидании новых ужасающих беззаконий.

СХХVI

Митрополита Даниила решено было брать ночью. Накануне же днем по санному морозцу в Москву были привезены Новгородский архиепископ Макарий, игумен Троицкого Сергиева монастыря Иоасаф, епископы рязанский, тверской, сарский, пермский и многие другие славные отцы Церкви, а с вечера к подворью Шуйских начали стекаться посвященные в дело княжата, дети боярские, некоторые избранные из мужей житых новгородцы, дворяне. Когда перевалило за полночь, в боярских шубах и шапках к собравшимся вышли боярин князь Иван Шуйский с родичем своим и тоже боярином князем Андреем Шуйским, князя Кубенские и князь Палицкий (один он, пожалуй, был облачен в доспехи, так как ему предстояло сразу же, в ночь, сопровождать к месту заключения схваченного Даниила); весело перешучиваясь, словно отправлялись на пир или прогулку, заговорщики-главари сели на коней и, гарцуя перед готовыми к делу шеренгами соучастников, двинулись к кремлевским митрополичьим палатам. Ночь стояла ясная, звездная, морозно похрустывал под копытами снег, кони жались друг к другу, сбиваясь и трясь боками. Сажан за сто до митрополичьих палат кавалькада остановилась. Как ни казалось всем, что дело будет простым, бескровным, легким, однако поднаторевший в воинском искусстве, как, впрочем, и все Шуйские, первобоярин князь Иван Васильевич предложил действовать не с ходу, как намечалось, а прежде оценить митрополичье гнездо, как он сказал, чтобы никто не мог выскользнуть из него, а уж потом начинать главное. Часть княжат и детей боярских кинулись по снегу оцеплять дом, князья-главари с подручными продолжали двигаться к парадному входу, и, когда уже подъезжали к крыльцу, с него, словно тараканы от зажженной свечи, прыснули в снег два чернеца-монаха; их тут же изловили, учинили допрос и, удостоверившись, что Даниил на месте, припасенным бревном, раскачав его на руках, вышибли дверь и, неся с собой сквозняк и морозную стужу, кинулись к келье, в которой успел уже запереться Даниил. В полном своем облачении он стоял перед иконой Богородицы, истово крестясь и прося о чуде, чтобы гонители отступились от него, когда, выломав и

эту дверь, ворвались к нему с шумом и проклятьями княжата и дети боярские. Первобоярин князь Иван Шуйский, злобно выдвинувшись вперед, сорвал с Даниила его первосвятительское облачение и, уподобясь брату, как тот на площади перед тюрьмой угрожающе наезжал и теснил конем обреченного на смерть несчастного дьяка Мишурина, — плечом, грудью толкал и теснил Даниила к стене, требуя, чтобы он немедленно подписал грамоту о своем отречении. Даниил не желал подписывать, протестовал, просил образумиться, но упорство его только сильнее озлобляло Шуйского, он дал княжатам сигнал, чтобы маленько подуняли Первосвятителя да подучили бы, что ему делать, и те, рванув с Даниила уже нательное, сбили с ног и нещадно на полу продолжали толочь его, пока кто-то из бояр не крикнул, чтобы остановились, ибо и подписывать-то отречение будет некому. Княжата расступились, и перед глазами всех на полу съезженное в комок лежало немощное тело Даниила. С головы и лица волосы клочьями были выдраны, от губ к подбородку стекала кровь. О подписании отречения уже не могло быть и речи, на шею несчастному Первосвятителю надели колоду, завернули почти бездыханное тело его в какой-то старый тулуп, бросили в сани и повезли вон из Москвы. Затем забрали все, что только можно было унести из палат, предоставив сквознякам гулять по опустелому пространству, и только под утро, спохватившись, послали людей, чтобы хоть как-то, хоть с внешней стороны замести следы своего ночного разбоя.

Утром, когда открылось, что митрополит схвачен и увезен в заточение, думные бояре всполошились; одни предлагали сейчас же послать депутацию к Иоанну, другие принялись возражать, говоря, что Государь мал, а Шуйские сильны, мстительны и что не исключено, что с Иоанном было обговорено все заранее, и что не накликать бы подобным досаждением на себя беды; одним словом, как это можно наблюдать и ныне, когда над мужеством и достоинством берут верх нерешительность и трусость и не находится никого, кто бы осмелился выступить с правдой, — все только волновались, шумели, и в ожидании то ли объяснений от Государя или Шуйского, то ли обычной в таких случаях подказки, что говорить и как действовать, чтобы

не ошибиться, готовы были принять любую ложь, которая с государственных, конечно же, высот будет подана им. И ложь эта, сочиненная заговорщиками, не заставила себя долго ждать. Явившиеся после полудня Шуйские с Кубенскими и с казначеем Третьяковым, еще возбужденные ночным успехом, начали говорить, что Даниил давно уже тяготился первосвятительством, что по немощности, по нерадению и службы-то как следует провести не мог, и что, слава Богу, надоумило удалиться в монастырскую тишину, и что, главное, церковные иерархи, оповещенные будто бы заранее Даниилом, уже съехались на Собор и размышляют между собой, кому быть на митрополии. Эта же версия была доложена и девятилетнему Иоанну, а чтобы не возникло у него сомнений, направлены были к нему епископы, игумены, архимандриты с Новгородским архиепископом Макарием, а на следующий день оповестили и народ, прошли в церквах службы, и обеспокоенный было православный российский люд, в очередной раз обманутый сочинением властолюбцев, со смирением и надеждой принял ждать избрания нового Первосвященителя. Были и такие, кто ходил посмотреть на разграбленные митрополичьи палаты, но словам правды никто не хотел верить, так как верить в них было, во-первых, небезопасно, а во-вторых, не хотелось принимать на душу то, что обычно подвигает людей к действию. Не этими ли соображениями объясняется и нынешняя пассивность народа, позволяющего ежедневно, ежечасно обманывать себя; известно, что сила власти заключена в искусстве лжи, и остается только гадать, на сколько же столетий или тысячелетий хватит еще у простого люда терпения и веры.

Да ведь и как сказать: в эти морозные дни на глазах Иоанна да и всего народа разыграно было, по существу, историческое или, вернее, по-своему историческое для того времени событие — избирался глава православной Церкви, важнейшая в стране после Государя личность, и все, что происходило, исполнено было в духе благочестивых традиций, в обстановке торжественности и величия, словно и в самом деле не было никакого ночного разбоя и митрополит Даниил, так и не подписавший отречения, не ежился от мороза в монастырском затворе, охраняемый не столько иноками, сколько княжатами и детьми боярскими, оставлен-

ными при нем, — да, словно не было ни поруганья, ни жестокости, ни самого заговора, а творилось лишь угодное Богу и людям благое дело. Еще затемно, как это обычно и бывает при подобных торжествах, народ начал стекаться в Кремль к храму Успения. В самом же храме, в приделе Похвалы Богородицы, руководимые Новгородским архиепископом Макарием сели в ряд епископы рязанский, тверской, сарский, пермский, чтобы, «имея с собою волю и хотение остальных епископов русских», как утверждается в летописных книгах, по старинному писанию и с достоинством избрать Первосвятителя. На притязание этого сана выдвинуты были три равнозначных будто бы святителя: чудовский архимандрит Иона, игумен Троицкого Сергиева монастыря Иоасаф и новгородско-хутынский игумен Феодосий. Имена сих славных мужей Церкви были запечатлены на листах, свернуты, запечатаны и опущены в специальную торбу, которую передали Макарию, и Новгородский архиепископ, благословясь, на глазах у всех достал наугад будто бы один из листов и, распечатав, громогласно нарек митрополитом Иоасафа. Святители облегченно вздохнули, а присутствовавший на церемонии боярин князь Иван Шуйский с единомышленниками тут же заявил, что как Богу угодно, так тому и быть, и велел назначить на 9 февраля (всего лишь четыре дня отводилось на сборы) поставление избранного.

В день поставления площадь перед храмом Успения еще более была забита народом. В храме находились только избранные князья, бояре да кое-кто из дьяков и детей боярских, которым еще со времен правления Елены разрешено было быть при Думе. Иконостас, ризы, оклады, иконы в них, одежда бояр — все, все, празднично начищенное, сияло величием и торжественностью, всюду горели свечи, и несколько служливых молодых иноков, выбегая на паперть, оповещали народ о том, что происходило в храме. Церемония еще не начиналась, ждали Государя, и, когда он в сопровождении первобоярина князя Ивана Шуйского и думных бояр проследовал через площадь, народ, сняв шапки и притихнув, во все глаза смотрел на Иоанна, облаченного в великокняжеские одежды, слегка побледневшего (от волнения ли или от значимости события и значимости своей в нем, начавшей уже познаваться

им), но спокойного, даже не по летам будто строгого, стараясь разглядеть в нем те желанные черты правителя, которые у простых людей обычно связываются с понятиями доброты, справедливости, мудрости и мужества. Но — что понимал тогда Иоанн по своей неосведомленности и молодости? Это ведь только в Коломенском все так картинно и ясно представало теперь перед ним, а тогда? Тогда — он с некоторым даже, может быть, изумлением смотрел на всю эту величественную парадность, на церковно-боярско-княжескую суету и приподнятость, с какою все вокруг говорилось и делалось, на обилие горевших свечей, блеск начищенных окладов, риз, шитых золотой нитью святительских одежд, будто святость происходившего, как и святость вообще, немислимы без богатства и роскоши и Бог отвернется от людей, как только они перестанут сопровождать свои славословия Ему этой полной внешнего блеска холодной атрибутикой (разумеется, юношеские мысли Иоанна несколько отличались от этих, что привожу, но ведь простота несурзаиц куда видней не отягченным еще канонами и привычками жизни, чем познавшим и уже погрязшим в них), и чем больше вглядывался в эту торжественность, в эти суету и блеск, должны пробудить в нем, как и в каждом (по первородству замысла сих поставлений), нечто патриотическое, высокое, — отовсюду веяло лишь зябкостью настывших кирпичных стен и каменного пола, хотя и застланного коврами и дорожками, но, как и все в храме, продолжавшего отдавать стужей, которая и проникала в душу и оседала в ней. Спустя полгода, когда Саип-Гирей, угрожая Москве, будет стоять со своим грабительским войском уже на Оке и когда события вокруг обретут совсем другой характер и другое значение, Иоанн, истово молясь в этом же храме и на этом же каменном полу, проникнется совсем иным чувством; юношескому великокняжескому сердцу его откроются понятия любви, долга, чести, он проникнется, хотя и на время, состраданием к народу и осознает величие его дел; откроется еще многое и многое, что способно даже правителей поднимать до высот человечности, но сейчас он с прозаичностью задавался вопросом: как могло случиться, что митрополит Даниил, столь по-отечески всегда приходивший к нему, не счел нужным, если уж действительно

но первосвятительство сделалось ему невольно, хотя бы сказать об этом? Иоанна охватывало то юношеское беспокойство, которое рождается не столько от неясностей дела, сколько от подозрительности, и так как происходившее в храме ничего не проясняло и не давало ответа, то и внимание сосредоточивалось не на этом красочном, на что смотрел, а на мыслях, которые не переставали занимать его. Он не слышал или почти не слышал, как дьяк, назначенный для этого, выдвинувшись перед алтарем, огласил государеву будто бы волю, что, дескать, «Великий Князь Иоанн Васильевич всея Руси со своими богомольцами, архиепископом Макарием Великого Новгорода и Пскова, с епископами, со всем освященным собором, со старцами духовными и всеми боярами избрал на митрополию духовного отца Троицкого Сергиева монастыря игумена Иоасафа и нарек его митрополитом всея Руси», не слышал или почти не слышал, как нареченный митрополит, предворя торжественную литургию, прочитал исповедание православной веры и обещал «соблюдать все по старине и не делать ничего по нужде ни от царя или Великого Князя, ни от князей многих, если и смертью будут грозить, приказывая что-нибудь сделать вопреки божественным и священным правилам», и как сразу же, едва Иоасаф кончил чтение, началась литургия. Сначала вел ее архиепископ Макарий, а затем, на третье «Святой Боже», Иоасафа «провели в алтарь в царские двери, и архиепископ с епископами поставили его митрополитом». Иоанн очнулся, лишь когда заметил, что литургию служил уже Иоасаф, после которой ему, Государю, надлежало с поздравительной речью подойти к митрополиту и подать ему как знак Первосвятительской власти митрополичий посох.

СХХVII

У каждого человека есть непременно то, что должно востребоваться жизнью, относится ли это к способностям государственной, духовной, иной ли какой общественной деятельности, к хлеборобскому ли труду, к делам торговли, профессии мастеровых или воинской службе; деление это не столько условное, сколько есте-

ственное, и, может быть, ни одно сообщество людей испокон не испытывало бы трудностей, если бы каждый человек сам, по своей воле и согласно со своими возможностями мог бы определять для себя историческое место, да, именно историческое, тут нет оговорки, потому что — ведь не только князья, бояре, великие и не великие, были личностями, просто одни оказались востребованными, другие — нет, вот и все; но жизнь — не идиллия, в ней все жестко, конкретно и необратимо, и все мы (опять же испокон) поставлены в одни и те же жесточайшие условия борьбы, как и деревья в лесу, травы в полях и всякая на земле живность, и, наделенные разумом, творим, однако, неразумного больше, чем все остальные, живущие на планете. Было бы наивно полагать, что никто до нас не задавался подобными вопросами, главное, не мучился невостребованностью своих умственных и физических сил, то есть, имея дар к обустройству общественного бытия, не искал бы возможностей высвободиться из-под условностей, с одной стороны, непрременной власти, а с другой — столь же непрременного (пожизненного!) подчинения; под тяжестью этих неизменных и ныне обстоятельств — сколько же прекрасных мыслей, чувств, порывов души принуждено было, так и не пробившись к людям, уйти в небытие! Я не берусь судить, насколько по способностям были востребованы эпохой как личности князья Шуйские, Бельские, Глинские, Кубенские, все эти думные бояре, казначеи, дьяки, подьячии, толпой кормящиеся при Дворе, да и сам Иоанн со своим стремлением к безмерной власти; не все одинаково черно, как и одинаково бело, было в их деятельности (а, впрочем, что же теперь попрекать историю, когда в ней, видимо, только и могло быть то, что было), но что касается митрополита Иоасафа, несомненно, знавшего, что он идет на живое место, соглашаясь принять столь высокий святительский пост, исключавший уже по самому символу сей духовной власти хоть какое-либо корыстолюбие или делячество, то историческая, в общем-то, безвестность его относительно, разумеется, других церковных иерархов еще не говорит о безликости этого духовного деятеля. Ведь мир церкви, как и мир светской жизни, нельзя рассматривать лишь как некую целостную, выраставшую на дрожжах православия духо-

вность; среди святителей, как и среди мужей государственных (о простолюдинах не говорю, тут только кабала и бесправие), были личности востребованные и не востребованные временем, но если жизнь царей и придворных вельмож, иначе говоря, мирская, светская, так ли, иначе ли, пусть контурно, пусть с исправлениями и пропусками, но обозначена в исторических и художественных источниках, то жизнь духовная, жизнь Церкви с ее светлыми и мрачными страницами, с более чем шекспировскими страстями и драматизмом и более чем судьбоносной слитностью с народом, как издавна твердят нам (и что, конечно же, не могло не отразиться на нашем характере, образе мыслей и восприятии мира), — жизнь Церкви большей частью запечатлена лишь в житиях святых да монастырских исследованиях и не получила столь же достойного освещения в литературе. Мне иногда кажется, что мы стоим перед огромной нетронутой глыбой, под которой упрятано то важное, что освободило бы нас от иллюзий некоей роли спасителей человечества (нравственных спасителей), предначертанной будто бы нам, некоего будто бы особого русского пути, по которому, однако, из столетия в столетие мы сползаем лишь к нищете и бесправью. Будет ли поднята когда-либо эта вековая глыба, и откроется ли нам тот полный светлых и мрачных страниц мир борьбы и противостояний — не идей, нет, не старого с новым, чем достигается лишь правдоподобие, но мир духовной борьбы и духовного противостояния личностей, положивших для себя служить Богу, но служивших людям и власти, вернее, одни — людям, другие — власти, среди которых были и востребованные, и невостребованные, навсегда унесшие с собой свои, может быть, не менее великие пастырские задатки. К подобным невостребованным личностям, пожалуй, и следует отнести нареченного митрополитом и Первосвятителем игумена Троицкого Сергиева монастыря Иоасафа.

Иноческая и предыноческая жизнь его была не так уж и темна, как это представляется нам теперь, с отдаления, хотя и не столь совпадала с теми шаблонными по житиям святых схемами, по которым будущим святителям непременно с младенчества почти приходит мысль о служении Богу, то есть мысль о спасении своем и об истязании своей плоти ради спасе-

ния человечества (конечно, не столь прямолинейно и оголенно, но в обрамлении привлекательном, благородном), — нет, будущий митрополит и Первосвященитель всея России не помнил, чтобы с младенческих или, вернее, детских лет посещали его подобные мысли или желания; он рос крепким, бойким, жизнелюбивым юношей, и, кто знает, как бы сложилась его судьба, если бы не мор, обрушившийся тогда на Россию (ведь по нашей земле не раз прокатывались и чума, и холера, и голод); вымидали целыми деревнями, пустели посадки, города, люди имущие и неимущие, бросая все, кидались искать спасения, и весь тот зимне-весенний ужас смертей и бегства, бегства и смертей всю жизнь затем ужасающею картиной сопровождал Иоасафа. Он потерял в тот год всех: отца, мать, сестер, братьев, — дом с пристройками и живностью в них был сожжен местными мужиками, и будущий митрополит с толпой столь же обездоленных, оборванных, голодных сельчан двинулся к Москве, надеясь найти кров и защиту в белокаменном, златоглавом — сорок сороков церквей, шутка ли, да где еще есть место ближе к Богу! — стольном державном граде. Традиция эта — при всякой беде отправляться в Москву за правдой и справедливостью — до сих пор прочно живет в народе, хотя, если оглянуться на историю, не так уж и одарила Москва свой страдальный российский люд правдой и справедливостью; оборванных, грязных, голодных стольный град не принял их, опасаясь, видимо, распространения мора: действия понятны, обоснованы, но каково было тем, отвергнутым, кого обрекали на гибель, отобрав самою надежду на спасение, надежду, с какой всякий русский человек в минуты невыносимых тягот обращает взор на Москву? Многие не вынесли этого удара. Дальше идти было некуда, большинство так и скончалось, прислонившись к стволам берез на виду у златоглавой столицы, не менее, впрочем, как и вся Россия, страдавшей от повального мора, а те, кто еще мог держаться на ногах, двинулись искать убежище к монастырям, церквям, ко всякого рода отшельническим пещерам, возле которых и обустроивались, обращаясь надеждами уже лишь к всемилоствивому и всемогущему Спасителю. Но и монастыри не могли принять всех, за стены их в переполненные кельи тоже проникал мор, и каждый почти день уноси-

ли двух, трех иноков на кладбище — с панихидным пением, панихидно опущенными глазами, с беспокойными, в окладах и ризах, лицами святых покровителей-чудотворцев, скорбевших от бессилия оказать помощь молящимся о ней людям. Не в одну обитель стучался тогда и будущий митрополит. Наконец, обессилев, упал возле ворот какого-то (он не знал, что это был Троицкий Сергиев) монастыря и более суток лежал без помощи, то приходя в сознание, то вновь теряя его, и лишь благодаря сжалившимся над ним по малолетству его инокам был отнесен в келью, обогрет, накормлен, хотя и скудно, да так затем и прижился в сей знаменитой, в общем-то, обители сначала послушником, затем иноком, а затем по своему особому усердию и благочестивости поставлен игуменом с согласия и по просьбе всей обитавшей тогда в монастыре братии. Но кротость и ординарность обительской жизни, как она обычно видится со стороны, отнюдь не означает столь же последовательную застойность жизни духовной; даже напротив — если у инока или послушника обнаруживается тяга к чтению; ведь от познания духовных книг еще шире, чем от познания светских, открывается взгляду мир вещей и понятий, объем и пространство жизни и философская связь времен и событий, вне которых нет и не может быть человеческого бытия; будущий Первосвятитель всея России, которому, впрочем, так и не удастся по краткости пребывания в сем сане ничего значительного предпринять для людей, — чем больше читал, чем пристальнее наблюдал жизнь монастырскую и жизнь мирскую, которая была вокруг и, как и монастырская, оставалась неизменной по своей кабальной (от посаженных на кормление бояр, князей, воевод и всяких иных пришлых служивых людей) зависимости, тем яснее сознавал, как две совершенно независимые друг от друга жизни, две структуры взглядов, проникая в душу, формируясь и оседаая в ней, все более начинали руководить им, с одной стороны, думами о благе вообще и благе общем, с другой — о благе личном, своем, пусть не телесном, нет, как и положено послушнику, иноку, игумену, а о духовном, но все же — своем, для себя, ибо, как сказано, нет и не может быть святости без благодати. В нем выработывалась привычка, которая затем, от условий жизни, обнаружится

в народе как традиционная: в поступках, то есть в том, что было на виду и позволяло судить о нем как о человеке, он представлял одним, а в думах, мечтах, что могло удерживаться в тайне и как нечто сокровенное греть душу среди молчаливой молящейся братии, представлял другим, видевшим и сознававшим всю страшную противоречивость и нелепость устройства жизни и готовым в самых благих целях взяться за новое и великое переустройство. Он не укорял ни в чем Бога, но укорял людей, отступивших будто бы и продолжавших отступать от начертанных Богом законов бытия, и прежде всего от законов порядочности и доброты, и, когда, уединяясь (по известному, действительному и поныне в монастырях примеру преподобных Антония и Феодосия), чтобы поусердствовать в посте и молитвах, обращался за советом и помощью к Господу, то просил Его лишь об одном, чтобы сниспослал прозрение и открыл инокам, святителям, народу, что истина бытия в добре, что она неизменна и что жизнь земная, хотя и преходящая, но и она не должна омрачаться ни злом, ни насилием, ни жестокостью. Да, все, все заключалось лишь в делах добрых, полагал будущий митрополит; он не затрагивал корневых основ жизни, социальных, как мы бы сказали теперь, мысли его не имели вертикальных стремлений, не углублялись в прошлое и не поднимались в будущее, а лишь широко растекались по горизонту, и в этом плоскостном восприятии вся суть преобразований, видевшаяся ему, представляла как осознание каждым изначальности закона бытия — доброты и сострадания к ближнему. Жизнь преобразится, если преобразится каждый в ней и не будет творить неправд и насилий; этой-то горизонтальностью взгляда (но все же — шаг к благополучию!) и подпитывались все его иллюзорные надежды на духовное оздоровление. Внешне он выглядел человеком благочестивым, служителем ревностным, на Соборах держался со смиренным достоинством, то есть, как мы бы охарактеризовали, производил впечатление бескорыстного, покладистого, не властолюбивого, но стойкого в основах веры служителя; как и ныне, когда мы видим, с какой легкостью получают посты люди безликие и оттесняются инициативные, способные настоять на своем, проявить характер и мужество, — именно своей будто бы бесстер-

невостью как раз и устраивал Иоасаф и князей Шуйских, собиравшихся управлять им, и архиепископа, епископов, игуменов и архимандритов, кои, как и мужи государственные, не любят или, вернее, не приемлют над собой жесткой власти. Но избиравшиеся обманулись, они не учли, что за смиренностью показной скрывалась совсем иная и достаточно могучая сила, с которой уже по истечении нескольких месяцев, то есть почти сразу же, предстояло столкнуться прежде всего Шуйским и их сторонникам и новым, более обширным и коварно-жестоким заговором ниспровергать ее.

СХХVIII

Оттого ли, что слишком долго и терпеливо он ждал, когда пробьет его час, или, что также вполне вероятно, лишь по старости, сознавая, что у него нет почти времени, чтобы развернуться в осуществлении своих благородных, чего нельзя не признать, целей, Иоасаф еще накануне своего поставления велел приготовить ослия, как говорили тогда, то есть осла, чтобы, уподобясь Христу, въезжавшему в Иерусалим, сразу же после торжеств поставления отправиться на нем сначала с благословением к Государю, а затем к народу; подобная манера величать себя, уравнивая хотя бы и косвенно со Спасителем, не была чем-то новым и неожиданным (а чуть позднее даже войдет в некую традицию, и за неимением ослия будут коню прилаживать бутафорские ослиные уши, как было при становлении на Казанско-Свияжскую епархию архиепископа Гурья); Иоасаф если и не видел сам, то хорошо знал из многочисленных устных и записанных рассказов, как знаменитый Максим Грек, правда, в ту пору знаменитый лишь тем, что пребывал в качестве знатока и эксперта (если по-современному, чтобы понятней) по канонам и учению православной веры, — как этот прославивший затем себя на Руси проповедник пересел перед въездом в Москву на осла и в окружении греков-монахов, сопровождавших его, словно ученики Христа, явился на улицах избяной тогда еще в основном, по-северному неприглядной и тусклой, по мнению иностранцев, Москвы. Русские люди впервые тогда увидели сие диковинное, с длинными ушами, животное и с

изумлением, толпой, до самых митрополичьих палат следовали за невесть откуда объявившимся чудом. Но ни лавры Максима Грека прельщали теперь Иоасафа; с простодушием, на какое только и способны бывают подобные ему люди, коих судьба вдруг возносит на вершину благополучия и власти, он хотел в первый же час своего Первосвятительства дать понять всем, что если и не равен Спасителю, то, по крайней мере, волен и тверд в своих помыслах и делах и ни в чем, что касается основ духовности народа и веры, не позволит ни перечить себе, ни тем более управлять собой. От храма Успения до парадного входа в великокняжеский дворец не насчитывалось и ста сажен, кои проще было бы пройти пешком, чем взбираться на осла и сгружаться с него во всем торжественном митрополичьем облачении, в шубе, по длиннополости и тяжести не уступавшей боярским, да и при той полноте, в какой давно уже по игуменской сытости, покою и преклонности лет пребывал Иоасаф. Но это не смутило и не остановило его, он поднял перед собой крест с изображением распятия и в сопровождении Макария, епископов, игуменов и архимандритов величественно двинулся из храма. Площадь между дворцом и храмом Успения все еще была заполнена народом, на колокольнях ударили благовест, и в расступившейся с обнаженными головами толпе, в живом людском коридоре подсаженный на осла и казавшийся в широченном своем зимнем одеянии куда больше, чем осел под ним, Иоасаф проследовал к великокняжескому дворцу. Осла, взяв с двух сторон под уздцы, вели государев конюший и митрополичий боярин, следом за ослом, напоминая некий крестный ход, двигались с поднятыми перед собой иконами святители; кое-кто из толпы, как это, к сожалению, принято в христианском мире, пытался дотянуться до полы митрополичьей шубы, чтобы приложиться губами к ней, то есть приложиться к святости, их сдерживали, не пускали; следом за церковниками, выказывая явную противоположность им худобой и одеждой, напомилавшей скорее лохмотья, чем нечто приличествующее даже самому бедному бедняку, ползли, скакали, прыгали на костылях юродивые, коим одним, пожалуй, только и разрешалось (относя, видимо, к святости) подобным действием нарушать величие державных торжеств; люди

же, видя все это, крестились и во все глаза смотрели на осла и на Иоасафа, словно и в самом деле ни больше ни меньше, как сам Спаситель с учениками явился Москве, народу, Государю.

У входа в великокняжеский дворец процессия остановилась, Иоасафу помогли слезть с осла, подали митрополичий посох, крест с изображением распятия, и он, не оборачиваясь на продолжавшую кипеть народом площадь, шагнул в распахнувшееся перед ним дверное пространство. Нет, я не нахожу здесь ничего символического, ибо дорога во дворец никогда еще не была дорогой к народу, если бы Первосвятитель и попытался теперь кого-либо убедить в этом; да ему, собственно, и не приходила в голову подобная мысль, он хотел лишь, во-первых, угодив юному Государю, заручиться его поддержкой в будущей своей первосвятительской деятельности, и, во-вторых, что тоже представлялось не лишним, напомнить все тому же юному венценосцу о значимости духовной власти. С внешней стороны все, казалось, было строго подчинено известному церковному ритуалу, но по состоянию души Иоасаф пребывал словно бы совсем в ином мире — том, который измеряется не святостью, дарованной будто бы Богом, а простотой и естественностью человеческих чувств. Ведь в людях независимо от одежд, санов, общественного положения, духовной или государственной значимости заложены одинаковые возможности радоваться, страдать, думать о жизни, задаваясь неразрешимыми вопросами, и обет монастырского отречения от земных благ, от себя, то есть от своей воли и плоти, еще не означает, что вся духовная жизнь разом убивается в человеке; нет, наступает минута, и сквозь наслаения молитв и покаяний, сквозь все истязавшие плоть вериги и схимы вдруг, словно взрыв, пробуждаются нравственные потребности и, разгоняя мрак пережитых лишений, открывают величественный храмовый свет; и как ни старался теперь Иоасаф скрыть в себе сие греховное ликование, но — тьмы не было, а был перед глазами только этот храмовый свет, было только счастливое возвышение души, когда кажется, что все вокруг, весь мир исполнены добра, что дающая длань Божья прикоснулась и к тебе, распростершись над всем российским православным миром, и с этим-то обновленным восприятием жизни Иоасаф и подходил

теперь к детским палатам Государя. Для Иоанна же появление митрополита было неожиданным. Изрядно продрогший на холодном полу в храме Успения и успевший уже облачиться во все домашнее — великокняжеская одежда его еще не была убрана и лежала на сафьянной лавке, — он по настоянию мамки-боярыни и под ее присмотром пил теплое молоко, только что принесенное ею, и боявшийся неожиданных гостей с того памятного утра, когда боярин князь Василий Шуйский после расправы над дьяком Мишуриным в обрызганных кровью доспехах явился в детской, — как только скрипнула дверь, невольно (и испуганно, разумеется) прильнул к мамке-боярыне, чтобы, как и в то именно памятное утро, укрыться за ее по-матерински теплой и пухлой спиной; при этом так молитвенно-выразительно посмотрел на нее, что и она, словно бы переняв его беспокойство, двинулась было вперед, чтобы встать между входившим и опекаемым ею великокняжеским отроком, к которому, следует заметить, успела уже достаточно привязаться, но, увидев Первосвятителя, увидев, главное, его лицо, светившееся добротой и полное самых благих намерений, тут же, поклонившись, отступила назад, открыв (во всей юношеской притягательности, добавил бы я) перед Иоасафом все еще пугливо озиравшегося на мамку-боярыню Государя. В руках Иоанн держал чашку с недопитым молоком; молоко было на губах (как по той известной пословице), на подбородке, да и все безусое лицо его выглядело столь по-детски застенчивым, робким, исполненным душевной чистоты и равно готовым на доверчивость и страх, что Иоасаф, как ни был далек от понятий семьи, отцовства, не мог не умилиться сим трогательным видом Государя и не проникнуться к нему той родительской лаской и теплотой, которые, несмотря на все монастырские отречения, обеты, оказывается, были живы в нем и, словно бы освободившись теперь от пут, захватили его. Может быть, именно в эти мгновения все копившиеся в Иоасафе силы добра, искавшие выхода, вся готовность творить благо, суть которого заключалась для него не в исправлении общих начал жизни (Богом положено, Ему же и вольно и менять все), а в том конкретном, что ближний может сделать для ближнего и что одно только будет зачтено Господом там, на суде, — все эти копив-

шиеся силы добра, сойдясь на Иоанне, вдруг как бы открыли Иоасафу то искомое, на чем он только и мог и должен был сосредоточить свои усилия; и хотя никакой клятвы не было произнесено, чтобы отныне и по гроб жизни служить верой и правдой этому светлому созданию (да подобное даже в мыслях было бы неприемлемо Первосвятителю), но ведь не те обеты, что закрепляются словами, а те, что принимаются сердцем, руководят затем поступками и делами людей. Как историки прошлого, так и нынешние, упоминая об Иоасафе, ограничиваются лишь констатацией, что, дескать, изменив Шуйским, давшим ему первосвященство, и переметнувшись к Бельским и Государю, он положил начало новым кровавым боярским распрям, немало потерзавшим и ослабившим державу; но мне кажется, что Иоасаф никому и ни в чем не изменял, а просто ошиблись Шуйские, приняв этого тихого, ретивого к вере святителя не за того, кем тот был на самом деле. Часто между внешним проявлением и внутренним миром человека лежит такая непроходимая пропасть, что и после смерти он остается нераспознанным либо кумиром, либо убийцей, который разве что не выходил сам на ночную дорогу и не сек безвинных голов. Иоасаф, пораженный юношеским видом Государя (одно дело — в великокняжеском одеянии, и совсем другое — когда в домашнем), некоторое время лишь с нежностью смотрел на него, восторгаясь этим вдруг обретенным новым обликом Иоанна, и лишь после того, как справился с безмерно охватившим отцовским чувством, произнес слова благословения, но не те, что были приготовлены заранее, а те, что не могли не вырваться теперь из его расстроганной, готовой к новой деятельности души.

СХХІХ

В исторических источниках так сказано о первом дне Иоасафова первосвященства: «Побывав у Государя, митрополит ездил на свой двор завтракать с архиепископом и епископами; после завтрака отправился опять на осле около города каменного благословлять народ и весь город, после чего обедал у себя с архиепископом и епископами». Как видим, отдавая должное

Богу, не забывали наши святители и о своем чреве, столы накрывались с более чем великокняжеской роскошью, и на фоне аскетических лиц угодников-чудотворцев, из окладов и риз смотревших на них, архиепископ, епископы да и сам митрополит со своей игуменской еще грузностью напоминали скорее довольных собою мирян, чем служителей, давших каждый по своему обеты отречений от мирских благ и соблазнов; более трех десятков монахов с келарями прислуживали им за столом, но еще более — толклись на кухне, где готовились блюда и напитки, и лишь глубоко за полночь, когда чудовским послушникам уже надоело менять свечи, а благословенный «Спасителем на осле» московский люд досматривал третьи сны, готовясь к пробуждению и к новым своим (повседневным, вернее было бы сказать) заботам, церковные иерархи наконец разошлись по кельям-опочивальням и, разоблачившись, блаженно предались покою. Они были под защитой Бога, их не терзала совесть; важно было только, чтобы без молитвы не садиться за стол и не вставать из-за стола без нее же, не отходить ко сну и не пробуждаться без имени Бога и без мысли о нем, что и соблюдалось ими — не по обязанности, нет, а давно уже по привычке, то есть автоматически, как мы бы сказали теперь, но с тем обманчивым впечатлением искренности, которая так ясно отражена была на лицах, но которой давно уже не было в душе. Даже богобоязненный Иоанн, будучи уже взрослым, уже царствуя (во славу народа, державы, как он, наверное, полагал), не раз замечал в своих обращениях и посланиях к отцам Церкви, что они-де не столько усердствуют в служении Господу, сколько устраивают, прикрываясь именем Его и святостью, свое благополучие; он говорил об этом на Стоглаве и после, с одной стороны, преклоняясь перед духовенством, а с другой — расправляясь со многими иерархами так же, как расправлялся с боярами и народом (расправлялся именно за то и тогда, когда иерархи, как это и положено им, начинали выказывать непокорство царскому своеволию и возвышать голос Божьей справедливости); разумеется, суть подобной борьбы заключалась не в подавлении веры, не в истреблении ее евангельских основ, церквей и храмов, как положили себе вожди большевизма, захватив в нашем уже столетии власть, а лишь — в главенстве

амбиций и сил, вернее, в том пастырском первенстве, на которое претендовали, как претендуют и ныне начало духовное и начало материальное, и — трудно даже предположить, когда и чем закончится этот извечный спор да и закончится ли вообще; политизируется народ, трезвеют взгляды, но не стихает борьба, выплеснувшаяся из дворцовых стен на простор державы и уносящая в небытие все новые и новые жертвы. Но сколь ни страшна жизнь, предстающая в обобщениях, реальность ее такова, что все в ней как было, так и остается незыблемым, благие пожелания и призывы образумиться, кем бы ни произносились, повисают в воздухе, и некогда установленный уклад жизни — стихией ли разума или безумия, что ближе к истине, волей ли Божьей, — словно клетка с невидимыми и непреодолимыми стенами, держит мирян в мирских, а церковников в церковных ограничениях. Для каждого поколения действительность — это смирительная рубашка, и нет на ней более крепких узлов, чем узлы устоявшихся традиций, к какой бы сфере деятельности они ни относились; помыслы чисты лишь изначально, но значение чинов, званий, духовного сана всегда оказывается куда выше любых помыслов, и с явлением нового митрополита или епископа ни в митрополии, ни в епископии не только не происходит каких-либо существенных перемен, которые затронули бы бессмертную основу власти, но и в житейском плане уже спустя неделю или месяц все возвращается в первоначальное и привычное русло удобств, достатка, славы и почитания.

Так и не сумевший оправиться от волнений дня и застолий, разбуженный затемно, вялый и недоспавший Иоасаф сам в присутствии юного Государя служил заутреню. Обилие горевших у алтаря и перед иконостасом свечей, блеск окладов, риз и лики святых в этом обрамляющем блеске — все это создавало впечатление непрерывности торжества, начавшегося еще накануне утром. Храм Успения вновь был полон высокочтимых прихожан: думные и не думные бояре, чины придворные и духовные, среди которых, как и во время поставления, заметно выделялась фигура Новгородского архиепископа Макария, — все, казалось, были не просто поглощены торжественностью минуты, но, словно бы находя в этой торжественности некое Божье предзна-

менование, укреплялись надеждой, что наконец-то отныне в державе наступит спокойствие и русскому люду откроются врата для добрых дел. Да много ли надо человеку, народу для веры: глоток подслащенной лжи, чуточку воображения, — ведь жаждет обмана не только простой люд, но жаждет его и интеллигенция, как бы и в каком веке ни называлась; и покидавшие храм были в умилении, говорили, что даже боярин князь Иван Шуйский уступил от щедрот то ли благородства, то ли снисходительности дорогу боярину князю Дмитрию Бельскому и что будто бы Иоанн, сразу же после заутрени уложенный мамкой-боярыней досыпать в свою детскую великокняжескую постель, — что даже он высказал удовлетворение службой новонареченного Первосвятителя. Затем, после завтрака, на котором опять прислуживали чудовские послушники и чернецы, начался столь же торжественный отъезд гостей-святейтелей по епархиям и монастырям. Первым отъезжал Новгородский архиепископ Макарий. Его крытая санная кибитка, запряженная тройкой цугом, два его боярина, облаченные в доспехи, несколько новгородских духовников и мужиков житых, тоже облаченных в доспехи и восседавших на конях, давно уже наготове стояли у митрополичьего двора, поджидая владыку. Несмотря на то что мороз, ударивший еще с полуночи, к утру усилился настолько, что, казалось, даже при неподвижности все кругом отдавалось жестким снежным хрустом, несмотря, главное, на то, что и кони, и люди, и архиепископская кибитка от полога до черной холщовой крыши были покрыты сизым игольчатым инеем, — никто не выказывал нетерпения, не роптал, даже из тех, кто от монастырей и церквей был послан на сии торжественные проводы. Провожали как будто бы не просто архиепископа, известного уже своими первыми книгами из ставших затем знаменитыми «Четых-Миней», но словно бы влиятельнейшего (в самом скором времени) церковного иерарха, чье первосвятительство счастливо совпадет с десятилетием мирного Иоаннова правления и кому выпадет честь венчать на царство, а затем и на супружество грозного российского самодержца. Разумеется, никто не произносил этого вслух, но по какому-то странному, а может, вовсе и не странному предчувствию одна и та же эта мысль охватывала всех и вызывала угодничество; под-

талкиваемый, видимо, этими же соображениями Иоасаф прошел вместе с Макарием до ворот и, трижды обняв и благословив Новгородского архиепископа, недвижно стоял затем, пока кибитка не скрылась из виду.

Епископы, архимандриты, игумены отбывали уже с меньшими почестями. Одна за одной подъезжали заиндевелые епископские кибитки к митрополичьему двору, главы епархий поднимались в палаты к Перво-святителю и награжденные коротким разговором и осененные крестом удалялись и отбывали; игуменам же и архимандаритам Иоасаф давал лишь целовать руку и, принимая от них поклоны и в поклонах же благословляя их, под конец начал тяготиться и этим, что ждали от него святители и чем он не мог обделить их; оставшись затем один в настывшей после проводов палате, он велел подтопить печь и, облегченно вздохнув, прилег да так и заснул, не раздеваясь, во всем своем торжественном святительском облачении, пока не явился к нему посланный от Государя и не объявил, что Государь был бы рад видеть его за вечерней трапезой и чаем. Вот так, не успев еще остыть от торжеств поставления и осмотреться в своем новом значении, Иоасаф должен был войти в ту придворную жизнь, в которой предстояло ему отныне проводить дни и ночи, лавируя меж нестихающих интриг, мстительных ударов и зависти. Заутрени, обедни, службы вечерние и службы торжественные; беседы с Государем, стояния в Думе во время государственных актов, разбирательства тяжб церковных, монастырских и услаждение между этими неизменными делами своей старческой плоти едой и сном — весь этот издавна заведенный уклад митрополичьей жизни, сдобренный достатком и почестями, уже спустя лишь несколько недель представлялся Иоасафу вполне добропорядочным, привычным, он не замечал неудобств и не помышлял о введении хоть каких-либо новшеств.

СXXX

Но затишье при Дворе, как вскоре стало очевидным для Иоасафа, было всего лишь застенным. Шуйские, окончательно уверовавшие в безнаказанность и силу, держались теперь и с Государем, и среди думных

бояр так, словно, кроме них, не было в державе никого, кто по правам на власть сравнился бы с ними. Вместе с казначеем Иваном Третьяковым, который считался у них своим человеком, распоряжались государственной казной как своей, всюду старались поставить людей верных себе и притесняли сторонников Бельских, заточая их по монастырям и темницам и деля богатства их между собой. Из трех братьев Бельских только старший, Дмитрий, оставался на свободе. Но он (большей частью от трусости, видимо) не хотел ни во что вмешиваться. Средний брат, князь Иван, вторично посаженный Шуйскими, хотя и негодовал на несправедливость и рвался в душе к мести, но оковы и каменные, без окон, стены превращали его лишь в безголосое, мечущееся в бессилии существо. Третий же, князь Симеон, домогавшийся себе во владение Рязанского княжества и сосланный при Василии III в монастырь, еще в правление Елены бежал из монастыря в Литву и, грозясь явиться оттуда с войском на Русь, этой зимой, по слухам, переметнулся в Крым к хану Саип-Гирею с недобрыми, конечно, как надо было полагать, целями. Иоасаф также видел, что разбойная деятельность потомков суздальских князей не ограничивалась пределами великокняжеского Двора; она распространялась далеко за кремлевские стены, оборачиваясь непосильными с крестьян, посадских людей и мастеровых поборами, и толпы разоренных подобным притеснением россиян двинулись по дорогам, учиняя уже свои грабежи и разбои; к ним присоединялись бежавшие из полков ратники, некоторые дети боярские, и к Иоасафу почти из всех епархий приходили тревожные вести о самочинствах, бунтах, поджогах, словно на Россию вновь надвигались смутные времена. Вскоре через людскую молву начали докатываться более зловещие известия, что будто бы заворошились казанцы и крымцы (не без усилий, видимо, князя Симеона, переметнувшегося к ним); воинственные толпы сих басурманских полчищ всегда при ослаблении России набрасывались на нее, так что с наступлением теплых весенних дней следовало и с их стороны ожидать крупных разбойных действий. Но постичь события в той государственной значимости, с какой надвигались они, Иоасаф не мог; ему не по силам было широким обобщенным взглядом охватить происходи-

вшее, тем более не по силам было понять той главной социальной причины, вернее, той несправедливости устройства общественной жизни, при которой, как и теперь, всеилию пастырей противостоят лишь робость, покорность и безмолвие масс, и потому беспокойство за судьбу государства выливалось в беспокойство за судьбу Государя, теперь особенно нуждавшегося в защите и помощи. Мысли Иоасафа опять и опять возвращались к подвигу добра, к которому, казалось, всю свою иноческую, а затем игуменскую жизнь он готовил себя и который виделся ему не в проявлениях общих, а в проявлениях конкретных, как помощь ближнего ближнему, и суть этого угодного Богу деяния, то есть суть человеческого бытия, обретая конкретные очертания, как раз и подвигала к решительным мерам. Устраиваясь после трудов церковных или сытной митрополичьей трапезы на сафьянной скамье, чтобы предаться отдохновению и покою, он предавался, однако, не отдыху, а все той же мучительной работе души, временами чувствуя в себе ту же готовность, с какой, не задумываясь, человек способен иногда броситься в горящий дом на крик ребенка. Все чаще и чаще Иоасафу и в самом деле мнилось по живости святительского воображения, что некий злобесный огонь уже проник в палаты государя и вот-вот начнет лизать его юное тело, и картина представляла в такой реальности, что он вскакивал со скамьи и принимался оглядываться, будто и впрямь откуда-то тянуло теплом и гарью. Но гарью пахло не в его опочивальне, а в державе, и, словно пробуждаясь и осознавая это, Иоасаф опять погружался в раздумья о государевом сиротстве, беззащитности и необходимости заступиться за него. Но, чтобы выработать хоть какой-либо план действий, надо было уединиться. Будучи еще игуменом, он не раз по примеру преподобного Феодосия Печерского на неделю, на две уходил в затворничество, чтобы, истощив строгим постом тело, молитвенным покаянием очиститься и обновиться душой; и хотя Первосвятителю всея России не с руки было удаляться на подобное действие (ведь затворничество требовалось объяснить), но Иоасаф не мог не поддаться сему, несомненно, угодному Богу искушению и с первой весенней капелью, оставив на время первосвятительские дела, затворился в одной из келий

кремлевского Чудова монастыря. К нему никто не входил; лишь через окошечко в двери подавались питье и хлеб, и в этой-то маленькой, чуланного типа келье, куда не проникали ни свет, ни звуки, перед ликом Пресвятой Богородицы — во все времена самой чтимой у нас на Руси иконы — и ликом святого угодника-чудотворца Петра Митрополита, покровителя и заступника великокняжеского рода и трона, при одной тускло горевшей перед этими ликами свече Иоасаф как раз и провел те несколько дней (в воздержании и молитвах, как объявил по выходе Государю и святителям), после которых, словно бы и впрямь прозрев и очистившись, приступил к делу. Конечно, теперь трудно сказать, насколько митрополит осознавал рискованность своего предприятия и на что надеялся, не имя, в сущности, ни опоры, ни средств к осуществлению замысла (ведь известно, что в случае ошибки или оплошности еще никому и ничто не прощалось при Дворах), — в грузной старческой плоти его, согретой первосвятительскими одеждами, обнаружилось, однако, столько проворства и живости, что как и современникам, так и нам, на столетия отстоящим от тех давних событий, непросто поверить, что Иоасаф действовал в одиночку, полагаясь лишь на Бога и на себя. Но, может быть, подъем сил духовных, как, впрочем, и сил физических и в самом деле зависит от благородства целей, какие человек ставит перед собой? Во всяком случае, Иоасаф был неудержим, он не то чтобы рисковал, но в риске этом видел венец своих жизненных устремлений, и, если бы хоть кто-либо из Шуйских, знай они о его замыслах, пригрозил бы ему сейчас, митрополит все равно не отказался бы от своего шага. Для того чтобы унять самоуправство Шуйских, он понимал, что следовало прежде всего вызволить из заточения боярина князя Ивана Бельского. Только он, объединив вокруг себя сторонников Государя, мог противостоять могущественному клану потомков суздальских князей. Иоасаф не стал хитрить, нет, он только дождался случая, чтобы остаться наедине с Государем, и — не прошло и недели, как в руках у него была уже подписанная Иоанном грамота об освобождении князя Ивана Бельского и оставалось только скрытно от Шуйских, чтобы не упредили ни в чем, отправить за ним людей и подводы. Сделать это

вернее всего было ночью. Выждав, пока после весенней распутицы установятся дороги, Иоасаф наконец велел готовить лошадей и повозки в путь.

СXXXI

Теперь в Коломенском, вспоминая об этих событиях, Иоанн представлял их совсем не так, как они происходили на самом деле. Его не интересовали ни их глубина и масштабность, ни те ужасающие начала, какие обычно бывают заложены в дворцовых усобицах, переворотах и заговорах, ни судьбы участников, как все сложилось для князей Шуйского и Бельского и митрополита Иоасафа, коих постигли кара и смерть, то есть, говоря обобщенно, не государственная значимость, а лишь то, что относилось лично к нему, Иоанну, и могло подтвердить или укрепить, что вернее, правоту его убеждений и действий. Он обращался лишь к двум эпизодам: к подписанию грамоты, когда митрополит Иоасаф после многодневного своего затворничества явился с разговором и с этой грамотой о помиловании князя Ивана Бельского, и к моменту, когда привезенного в Москву помилованного князя, не дав ему даже как следует отходнуть и осмотреться, привели во дворец, где уже были собраны думные бояре, и с повеления Государя, как было объявлено, посадили рядом с князем Иваном Шуйским на перво-боярском месте. Воображение настолько живо переносило Иоанна в те дни, когда осуществлялся этот маленький, задуманный в пользу Государя и державы митрополитом Иоасафом дворцовый переворот (разумеется, значение его куда больше, чем о том полагают историки), что он вновь словно бы с высоты трона, на котором сидел тогда, видел бледного после темницы, смущенно оглядывавшегося на бояр князя Ивана Бельского и налитое гневом лицо князя Ивана Шуйского, который, застигнутый врасплох и не находивший что сказать, только и смог, что, уподобившись родичу своему, спасителю Смоленска перво-боярину князю Василию Васильевичу, встать и с некой гордостью, будто бросал вызов юному Государю, покинуть Думу. Но ни в те минуты, ни теперь, когда все в красках и деталях

лишь повторялось перед могущественным царем, каким, несмотря на свое мнимое отречение, все же признавал себя здесь, в Коломенском, Иоанн не возмутился, не вспыхнул гневом; в нем происходило то возмужание, когда страх бессилия сменяется в подростковом сознании силой и духовного превосходства, а желание мести — удовлетворением от исполнения ее, и это-то удовлетворение, как исток будущего садизма, как торжество зла, обряженное в тогу торжествующей истины, выставлялось Иоанном на передний план и волновало его. «Вот как оно было», — говорил он, вскидывая взгляд на кресло, в котором то появлялся, когда особенно хотелось этого Иоанну, то исчезал, таяя иерей Сильвестр. Иоанну казалось, что он думал о державе; но он, как последний портняжка, думал лишь о себе, сообразуясь разве что не с проблемой добычи хлеба насущного, а с нуждами трона и власти, и сколь ни была для него очевидной подобная подмена понятий, однако, ведь и царь слаб, ибо — человек, хотя и мнится помазанником Божиим, и — столь же груб, гол, невоздержан и прост в своих монаршьих страстях, как и всякий смертный, отягченный заботами повседневной жизни. Он радовался не тому, что познал корень народных бед, но тому, что в споре с Сильвестром был чист и светел перед ним; не он, Иоанн, начинал неправды и зло, а бояре, и потому — не у него руки в крови, тем более с малолетства; ведь правда истории не в том, как видят ее другие, а в том, как видит ее он, Иоанн, и если это не убеждает иерея Сильвестра, то тут уж не его, самодержца, вина. Ночь, тишина, горящие светильники, тоскующая в своей опочивальне Мария, архимандрит Левкий, борющийся со сном в передней, — этот глухой, замкнутый дворцовый мир, в котором томился, иначе не скажешь, именно томился Иоанн, как ни казалось, что заключал в себе мощь, ущерб и славу державы, оставался, однако, лишь обычным, хотя в позолоте и роскоши, притомном низменных человеческих страстей и целей.

Конечно, получив в малолетстве державу и не в состоянии по этому как раз своему малолетству управлять ею, Иоанн не мог отвечать за происходившее в ней; правили бояре, самовластно, хотя будто и волею Государя распоряжаясь в ней, но — простой констатацией фактов не оправдываются деяния; вместо тех

размышлений и воспоминаний, в которых все, все, даже малейшее событие, должно не иначе как вращаться вокруг государевой личности и государевых забот и дел (но правитель — не держава!), — Иоанн, если бы он действительно воплощал в себе идеал царя православно-славного, как идеал этот по вековой надежде на справедливость виделся народу, должен был бы прежде всего подумать не о себе, а о том реальном положении дел в державе, каковыми они на самом деле были в годы правления бояр, особенно правления Шуйских, а не выискивать оправдание той дороге тиранства, по которой, выбрав ее по безграничности своего властолюбия, намеревался пойти, устелив обочины трупами виновных и безвинных бояр и простолюдинов. Народ, придавленный тяготами жизни, вправе был ожидать от него этого. Но, как и ныне, ни за кремлевскими стенами, ни в стенах Коломенского дворца, в которых, повторяюсь, тяготился своей царской участью Иоанн, не возникало подобных благих намерений; нужды народной жизни — да сравнимы ли они с властолюбием и озбоченностью царей? Между тем были и тогда, хотя и не во дворцах, государственные мужи, которые думали и о народе, и о державе и в тесных монастырских каморках с коптящимися светильниками на столах, смирясь с убожеством одежд и жизни (да и что может бесправный, обобраный до нитки простолюдин?), но не упав духом, во всей достоверности писали для нас драматическую историю России. Они, не имевшие позолоченных хором и потому свободные от корней и древа насилия, не менее мучились душой и истощались плотью, заноса на бумагу надежды и боль людей, и свидетельствами сих безвестных очевидцев мне и хотелось бы теперь восполнить то, что по царской ограниченности Иоаннова воображения могло остаться за пределами повествования. О боярах Шуйских в летописях сказано, что они, разоряя поборами не только посады, города, деревни, но и монастыри, действовали «с лютостью монгольских хищников». Будучи наместниками в Пскове, боярин князь Андрей Шуйский (запомним, пик его злобесных деяний в Кремле и час ужасающей расплаты еще впереди) и князь Василий Репнин-Оболенский «свирепствовали, как львы»; они, как далее говорится об этих князьях, «не только угнетали земледельцев, горожан незаконными

налогами, вымышляли преступления, ободряли лживых доносителей, возбуждали дела старые, требовали даров от богатых, безденежной работы от бедных», но искали добычи у игуменов и иноков, словно нехристи, явившиеся на русской земле. В Кремле, пребывая в трусости, государева боярская Дума вновь и вновь посылала дары царю Казанскому и хану Крымскому, то есть, имея силы для обороны, но не желая рисковать своим покоем и достатком, стремилась лишь откупиться сим непристойным ни для какого народа способом. Но крымцы и казанцы, принимая дары, не успокаивались, а требовали новых и новых; два года сряду, как замечает летописец, казанцы беспрестанно злодействовали в окрестностях Нижнего, Балахны, Мурома, Шуи, Юрьевца, Костромы, Кинешмы, Галича, Готьмы, Устюга, Вологды, Вятки, Перми. Тот же безымянный летописец полагал, что бедствие сие несравнимо было даже с нашествием Батыея. Вот подлинная его запись: «Батый протек молниею русскую землю; казанцы же не выходили из ея пределов и лили кровь христиан как воду. Беззащитные укрывались в лесах и пещерах; места бывших селений заросли диким кустарником. Обратив монастыри в пепел, пили из святых сосудов, обдирали иконы для украшения жен своих усерзиями и монистами; сыпали горящие уголья в сапоги инокам и заставляли их плясать; оскверняли юных монахинь; кого не брали в плен, тем выкалывали глаза, отрезали уши, нос; отсекали руки, ноги и — что всего ужаснее — многих приводили в свою веру, а сии несчастные сами гнали христиан как лютые враги их. Пишу не по слуху, но виденное мною, о чем никогда забыть не могу». Защитники Иоаннова правления вправе сказать, что именно он, Иоанн, взял Казань и положил предел разбойным набегам; но точно так же и мы вправе сказать, обращаясь к его коломенским раздумьям, что после них-то и введена была причина, то есть в основу государственной политики положен был геноцид против своего же народа, словно мало было на этот народ казанцев и крымцев; опрочнине, этому страшному над всем и вся в державе тиранству, будет еще достаточно отведено места в повествовании как явлению куда более бедственному (и устойчивому!), чем иго орды или набеги заволжских и южных племен, но — исток этого и поныне не

преодоленного геноцида хотя и считается, что закладывался в Коломенском, то есть как раз в эти бессонные ночи, когда в мучительных спорах с Сильвестром Иоанн одерживал верх и над иереем, и над собой, и над здравым смыслом и человечностью, как основой бытия, однако без накопления определенной массы, определенных причин нет и не может быть взрыва, тем более социального, и поиски этих причин невольно заставляют меня вновь и вновь возвращаться к тем изначальным событиям, как они виделись Иоанну, искавшему в них свою истину, и как все происходило на самом деле, судьбоносно отразясь затем и на делах державы, и на духовном становлении подраставшего великокняжеского отрока.

СXXXII

В стане Саип-Гирея, в Крыму еще задолго до поставления Иоасафа митрополитом и Первосвятителем начались приготовления к походу на Русь. Бежавший к хану князь Симеон Бельский настойчиво убеждал вороватого правителя, что, дескать, Государь в Москве мал, бояре и воеводы враждуют между собой, войска нет, а те полки, что были, распущены и собирать их некому и что грех не воспользоваться этим и не поковать города, захватив полон и богатства. У Симеона, конечно же, была и своя цель: вместо княжества Рязанского, на которое претендовал, он мог заполучить теперь великокняжеский стол и царский титул (воистину аппетит приходит во время еды), и предвкушение сей державной значимости и славы поднимало в нем дух воинственности, словно не с предательством на отечество, а с некоей будто спасительной миссией готовился вступить в пределы Москвы. Одетый по-басурмански в шелка и бархат, чтобы не выделяться среди ханских вельмож, а, главное, подчеркнуть свою преданность хану, Симеон помогал собирать вражеские полки, открывал воеводам их секреты русского воинства, не понимая или, вернее, не желая понимать (в подобном состоянии люди обычно гонят прочь дурные мысли), на какие проклятия обрекал себя; распорядившись судьбой своей, он, в сущности, решал и судьбу братьев Дмитрия и Ивана, которым и без того нелегко

было противостоять Шуйским, и чтобы не мучиться сим страшным (двойным) предательством, пытался заглушить его удалью; удалью от безысходности, от тупика, в который загонял себя, отрезая путь к примирению с отечеством и обретая в ясных очертаниях лишь одно — неотвратимость возмездия и смерть. Однако если оглянуться на нашу историю, то без труда можно обнаружить нечто даже традиционное в действиях князя Симеона; сколько раз мономаховичи, ольговичи, ярославичи, мстиславичи, ростиславичи, изяславичи, чтобы добыть стол для княжения — не Киевский даже, нет, а Черниговский или Переяславский, скажем, — приводили с собой толпы печенегов, половцев, торок, берендеев (в народе их называли черными клобуками), отдавая на разграбление русские города, волости, а православный люд обрекая на полон и рабство; история наша столь изобилует подобными междоусобными сечами, что, кажется, народ уже ничем нельзя удивить; проклятие — лишь звук, слетающий с уст поколений, и могильный прах утомленных в сечах князей не способен воспринять его; мертвые сраму не имут, тогда как наслаждение властью есть жизнь, и, видимо, совершенно неважно, какой низостью и кровью бывает добыто подобное наслаждение. Так что удивляться следует не предательству Симеона, а скорее терпению народа, который и ныне готов держать над собой лидеров, ищущих авторитет и силу для подкрепления власти в любом другом государстве, но только не у себя в стране.

Из Крыма шли сношения с Казанью и с турецким султаном. От казанцев требовали дерзких вспомогательных действий, от султана — войск, оружия, дружину с «огнестрельным снарядом», то есть с пушкой. Кроме того, призывались толпы степняков из Ногайских улусов, из Астрахани, Кафы, Азова; в общей сложности несметное воинство должно было встать под стяги Саип-Гирея, и ожидали только наступления весны, чтобы двинуться в поход. Замысел же свой старались пока держать в тайне. В Москве ханский посол Тагалдый продолжал льстиво заверять государевых думных бояр в миролюбии; посол Иоаннов, князь Александр Кашин, находившийся в Тавриде, тоже не подавал никаких настораживающих извест-

тий — то ли от небрежения к службе, что и ныне замечается за высокопоставленными государственными мужами, выезжающими с поручениями за кордон, то ли от неумения разглядеть и понять происходившее у него на глазах; но тайна не могла долго оставаться тайной, в народе всегда найдется человек, который и разглядит, и поймет все, так что вслед за слухами, с зимы начавшими распространяться по Москве, что Гирей-де, замышляет что-то, явилось если и не официальное, то, во всяком случае, вполне достоверное сообщение о приготовлениях хана. Принес его очевидец, бежавший из крымского плена (произошло это как раз накануне Иоасафова затворничества), но бояре, выслушав рассказчика, не сразу поверили ему; раздались даже голоса, что не допросить ли его с пристрастием, вздернув на дыбу, но затем здравый рассудок возобладал над жестокостью, крымского пленника лишь заточили на время в темницу, чтобы не возбуждал народ, а в Путивль к наместнику Федору Плещееву поскакал гонец с повелением направить в степь усиленные заставы и обо всем замеченном тотчас оповестить Москву. Но, как известно, на всякое дело, чтобы исполнить его, требуется время; пока гонец добирался до Путивля и пока затем наместник, сообразовавшись с повелением и со своими возможностями, собрал и направил заставы, бояре в Москве (о Государе не говорю, беспечность его обусловлена его же летами), удовлетворившись принятыми мерами, продолжали благодушествовать, более заботясь, как и всегда, об устройстве дел своих, чем дел державных; Шуйские упивались самоуправством, Иоасаф затворнически молился, истощая плоть и возвышая душу, как он думал, будто подобными усилиями и в самом деле можно было хоть что-то изменить к лучшему, и над всем, казалось, нависало затишье, как перед грозой, когда небо еще чисто, светит солнце, но предчувствие надвигающейся стихии уже бередит душу и заставляет посматривать то на замаячившие на горизонте облака, то вокруг себя, на людей, словно в поведении их заложена истина; подобная неопределенность как раз и склоняла россиян к бездеятельности — той, порочной, за которую приходилось затем всегда расплачиваться народу, его призывали на защиту земли, лучшие сыны

его складывали головы в сечах, пустели крестьянские дома, сиротами наполнялись монастыри, христианскими невольниками — восточные работорговые базары; может, это-то и виделось молившемуся в затворничестве Иоасафу, и никто при Дворе не ждал так вестей из Путивля, как он.

Между тем посланные в степь заставы, полагая, что крымцев следует искать на подступах к границам державы, не то чтобы разминулись с Саип-Гиреем, но наткнулись на следы только что прошедших несметных — сто тысяч и больше, как доложили затем наместнику Плещееву, — войск. Зазеленевшая весенняя степь, успевшая уже покрыться разноцветьем, казалась вспаханной от бесчисленного количества протопанных по ней конских и людских ног, проехавших арб и повозок, а там, где полчища этих диких воинов останавливались на ночлег или на день, чтобы дать передохнуть лошадям и людям, видны были пепелища остывших костров, следы от ханского шатра, юрт, очагов и прочей и прочей человеческой деятельности, сопутствующей подобным походам. Вокруг стоянок на много верст зияли, словно пролысины, конские потравы, по которым тоже можно было судить о количестве конников в войсках Саип-Гирея. Но наместник Плещеев, так как он отвечал за достоверность сведений, выслушав донесения и усомнившись в их правдивости (традиция, не изжившая себя и до наших времен), решил сам поехать и посмотреть все, на что, разумеется, ушло несколько дней; примчавшись затем в Путивль, тут же, в ночь, отправил гонца в Москву, а лазутчиков в степь, чтобы, догнав Саип-Гирея, скрытно следили бы за движением его войск. Крымский хан спешил, как спешит всякий, выходящий на подобное разбойное дело; но и как всякий, причастный к разбойным делам, не в силах был не пожиться тем, что подворачивалось на пути и могло быть взято. Перейдя Дон и увидев перед собой Зарайск, он приступил было к городу, рискуя потерять время и темп, но, не сумев взять его с ходу благодаря мужеству воеводы Назара Глебова и стойкости осажденных, не рискнул более недели оставаться под его стенами и, сняв осаду, опять спешным порядком двинулся напрямик на Москву.

СXXXIII

Чтобы успешно завершить дело, мало только хорошо замыслить его; необходимо еще, чтобы оно сопровождалось определенным везением, то есть чтобы вокруг него возникали те счастливо сопутствующие случайности, от которых подчас как раз и зависит весь исход предприятия. Митрополита Иоасафа в этом отношении можно было бы считать человеком более чем везучим; и хотя сам он не признавал никакого везения, а все приписывал лишь своему затворническому усердию, молитвам, которым внял Господь Бог, но так ли, иначе ли, а нараставшие в разных местах события — при Дворе Иоанна и в стане Саип-Гирея — должны были в какой-то день и час сойтись, как линии пирамид сходятся к их вершинам, столкнуться и, изменив пусть не исторически, пусть на время привычный ход жизни в державе, пробудить людей к иной, чем только что была у них, деятельности. И в самом деле, еще неизвестно, чем обернулось бы все для Иоасафа, Государя, а главное, для возвращенного из заточения ко Двору боярина князя Ивана Бельского, если бы в день представления его в Думе, когда возмущенный первобоярин князь Иван Шуйский с советниками вызывающе покинул зал, не прибыл бы гонец из Путивля от наместника Федора Плещеева и не сообщил бы ужасающую весть о стремительном движении крымских полчищ к Москве. На подворье Шуйских к этому часу уже собирались дети боярские и ратники, готовые вновь, как проделали это с митрополитом Даниилом, пойти в ночь к Иоасафу, побить его людей и пограбить его палаты. Столь же решительно были настроены и князья-единомышленники, сидевшие в доме первобоярина князя Ивана Шуйского. Многие из них, успев уже по-походному облачиться в доспехи и горячася от избытка воинственности, предлагали не только схватить Иоасафа и отстранить его от Первосвятительства, но и двинуться к князю Ивану Бельскому, чтобы, если не убить сразу, то, заковав, отправить в монастырь и там, в келье, удавить, не оставив ни духа от него, ни тела. Иван Бельский по родству с Государем представлялся им особенно страшным; не физической силой, коей не отличался по природной низкорослости, не умом или добрыми делами, так ли, иначе ли значившимися за

ним и которых не признавали Шуйские, но сближением с юным Государем и влиянием на него. Государь вырос, и нетрудно было предугадать, чем могло для Шуйских завершиться подобное сближение. Первоболярин князь Иван Шуйский, тоже воинственно облаченный в доспехи и переполненный решимостью пресечь «зло», пока оно не укрепилось и не разрослось, держался, однако, более умеренно и предлагал прежде сообразоваться с обстоятельствами. Ведь и на той стороне не дремлют, и не послать ли сперва за житыми новгородскими мужиками да за архимандритом из Новгорода же Макарием? Он опасался, что духовенство, простившее ему отстранение Даниила, могло воспротивиться и возбудить народ. Князья Кубенские, Пронские, казначей Иван Третьяков готовы были согласиться с князем Иваном, так как доводы его казались им убедительными, но князь Андрей не хотел ничего слышать; Иоасаф предал дело и должен понести кару, настаивал он, между братьями вот-вот могло дойти до мечей, когда вбежал один из служивых княжичей и доложил, что из Путивля пришло Государю подтверждение, что крымцы несметным войском идут на Москву и что Государь повелел всем теперь же быть в думе. Известие было настолько ошеломляющим, что князей будто подменили; словно на их игорный стол легла прежде неведомая им козырная карта, которая перекрыла все. Это ведь только кажется нам, что в мире есть постоянство, особенно в мире человеческих страстей и мыслей; нет, и мысли, и чувства человека столь же скоротечны, как и сама жизнь, и столь же подвержены переменам, как и все земное и неземное, окружающее нас. Гнев Шуйских (вкуче с сообщниками, разумеется), носивший личный характер, должен был замениться более значительным — за державу, за русскую землю, как говорили тогда, на которой жили, которую создавали и защищали их отцы, деды, прадеды и в которой, гордясь боярством и дорожа им, должны были ощутить себя теперь частью народа с его историей, традициями, настоящим и будущим. Может быть, сама возможность подобного соединения понятий кому-то покажется ложной, потому что, как любят у нас утверждать сегодня, для человека нет будто бы ничего дороже и выше, чем интерес личности и семьи; но факты истории — они

повествуют о другом; даже Иоанн, сей не знавший предела тиранству самодержец, — даже он, бывали минуты, проникался высшим национальным чувством и выступал не как разоритель, но как покровитель и защитник отечества. Такая минута как раз и выпала теперь Шуйским, и у них не было выбора, кроме как принять то, что преподносила им реалистическая суровость жизни и, покинув поле придворных междоусобных сеч, схватиться с врагом истинным, посмевающим посягнуть на их общее благо.

В тронном зале, когда Шуйские явились туда, почти все думные бояре были в сборе. Они сидели вдоль стен друг против друга — мрачные, молчаливые, положив бороды поверх боярских одеяний, и встревоженное состояние их, отражавшееся на лицах, словно бы тенью стекало по бородам к полу и, наполняясь холодом каменных плит, поднималось и витало, как сгусток незримых, тяжело надвигавшихся на державу бед. Свечи были уже зажжены. Особенно во множестве они горели у трона, высвечивая немую пока еще торжественность этого святого для жизнедеятельности государства места, к которому сходились и от которого расходились все тончайшие нити взаимозависимости людей и власти; золото, серебро, бронза — эти неизменные атрибуты величия, обычно отдающие теплотой жизни, — дышали теперь отчужденностью, будто происходили не из этого земного, благодатного, а из потустороннего, заряженного лишь вечною стужей мира. Может быть, и впрямь есть некая истина в том, что жизнь воспринимается нами не такой, какая она на самом деле, а в зависимости от настроения и хода мыслей; настроение и ход мыслей бояр, чинно восседавших вдоль стен в ожидании Государя и митрополита Иоасафа со святителями, сейчас же передалось Шуйским, едва они переступили порог, лица князей столь же мрачно вытянулись, и та черта напряженной суровости, что лежит на челе ратников, выходящих на бой, объединяла теперь бояр в их державной решимости. Подобную однозначность дум можно объяснить еще тем, что обычно гордившаяся своей силой Россия оказалась вдруг столь беззащитной, что, как и во времена Чингисхана или Батыея, в пределы ее безнаказанно вошли пограбить и похозяйничать толпы теперь уже крымских орд. В душах бояр, как и в душах простолю-

динов, когда наутро ужасающее известие выплеснется из стен Кремля и в народ будет брошен клич идти в дружины и ополчения, оскорбленных не столько даже за себя, сколько за отечество, вспыхнет и укрепится одно и то же патриотическое, как мы бы сказали теперь, чувство, а вернее, чувство национального достоинства, и с этим-то чувством, не сняв шапок, в низком поклоне встретили бояре появившегося в дверях юного государя. По одну руку Государя шел митрополит Иоасаф, державший перед собой крест, по другую — боярин князь Иван Бельский, значение которого, как надо было понимать, ставилось вровень с Государем (чего как раз и не смогли затем простить ему Шуйские); протоиереи Благовещенского и Успенского соборов, как бы наперед освящая деяния юного Иоанна, несли иконы Богородицы и святого угодника-чудотворца Петра Митрополита (перед ними-то и будет затем молиться Иоанн о спасении державы); следом двигались святители тоже с иконами и зажженными свечами, олицетворяя собой, как видно, тот самый национальный православный дух народа, тот нетленный, как нетленна любая идеология власти, алтарь отечества, за который, не спрашивая пока еще себя, хорош ли, плох ли он, отдавали жизни. С юношеской напуганностью и бледностью на лице даже словно бы повзрослевший за эти часы, лежавшие между утренним и теперешним выходом его к думным боярам, Иоанн степенно, как и надлежало будущему царю и самодержцу всея Руси, угнездился на троне, и бородатые, умудренные как будто бы жизнью люди — все смотрели теперь на него, не замечая ни его малолетства, ни испуганности, а видя и воспринимая лишь значимость, какая всегда стояла за восседавшим на сем державном месте венценосцем. Трудно сказать, насколько в государственных масштабах юный Иоанн осознавал надвигающуюся опасность, но несомненно одно, что в душе его поднималось то же чувство, какое охватывало бояр (и наутро охватит весь русский люд, разом удесятерив защитную мощь державы), и чувство это, за которым открывалась совершенно новая сторона смысла и целей бытия, оформлялось в тревожную и ликующую готовность, что особенно характерно для подростков, пожертвовать собой и всем ради общего блага. Как и в день торжества над Саип-Гиреем, когда все опасения

и трудности останутся позади, и ополченческие дружины и полки ратников с победными стягами вступят в Кремль и разместятся на площади между великокняжеским дворцом и собором Успения, и молодой Иоанн, ободренный и изможденный после молитвенных бдений, выйдет к войскам и народу, — жизнь преподнесила ему урок гражданственности, и не вина учителей Иоасафа и Бельского, стоявших возле него по обе стороны трона, что урок сей явится не уроком, а лишь проходным эпизодом в тиранском сознании самодержца; сторонник добрых начал и добрых свершений, митрополит Иоасаф, пройдет время, будет потрясен Иоанновой глухотой, и сама мысль о сути бытия как о сгустке добрых деяний подвергнется сомнению и пересмотру, а пока — лишь он один, казалось, понимал всю историческую глубину происходившего в тронном зале и верил в неизменное главенство человеческого духа и разума. В наступившей тишине, когда на свечах, поддавшись общей тревожной настороженности, замерли желтые язычки и со святительских одежд, с риз, окладов, крестов, с трона и одеяния Государя, как нечто неуместное, приглушенно спала величественная россыпь золотых и серебряных бликов, Иоасаф чуть заметно повернул голову к Иоанну, давая понять ему, что пора начинать, и Россия — да, беру право сказать: Россия — впервые услышала хотя и робкий, подростковый, но зазвучавший с державными нотками голос будущего грозного венценосца. Минуты подобных волнений обычно бесследно исчезают в потемках истории: да и то сказать, соизмеримы ли подвиги ратные с подвигом нравственным, о котором можно только подумать, что таковой был, но нельзя ни лицезреть, ни физически ощутить его; однако что-то будто встающее над этим традиционным восприятием жизни снова и снова переносит меня в тот зал с застывшими на свечах желтыми язычками, вернее, в ту величественную атмосферу холодной торжественности, в которой, смиряясь в гордыне, трогательно ослаблялись суровые боярские души, и я вижу этих пышнобородых, в шапках отцов отечества, внимающих словам юного государя, вижу святителей, трон и Иоанна на нем, еще только чуть зараженного вирусом власти, но не успевшего ничем пока запятнать себя, и в молодом облике его, в его незащитности ясно ви-

дится, как, наверное, виделось это и боярам, и Иоасафу, и Бельскому, некий юный и незащитный образ России, взывавший о помощи и защите; в душах думных бояр не просто воссоединялись понятия Государь и Отечество, но осознавалась необходимость того единства усилий народа и власти, какое одно только и во все времена позволяло отстоять честь и достоинство державы.

СXXXIV

Объяснения между боярами были краткими: князь Иван Бельский с митрополитом Иоасафом и юным Государем оставались в Москве для общего, как мы бы сказали теперь, руководства, князь Иван Шуйский сразу же из дворца в ночь поскакал во Владимир, чтобы совместно с царем Шиг-Алеем встать с дружиной к востоку от столицы и прикрыть ее от возможных действий казанцев, а князь Дмитрий Бельский, тут же возведенный в ранг главного воеводы, помчался в Коломну, где был уже сформирован полк и откуда сподручней всего можно было действовать против крымского хана, выдвинувшись к Оке и перекрыв ему путь. В ночь же во все сопредельные города посланы были воеводы собирать дружины и ополчения и двигаться с ними к Серпухову, Калуге, Туле, Рязани. Дни и ночи, по свидетельству летописцев, слились воедино; все делалось спешно и споро; от лазутчиков, следивших за войсками Гирея, каждый день поступали к главному воеводе сообщения, так что рассчитывавший на внезапность крымский хан уже не имел ее, и, когда конные отряды его вышли к Оке, на противоположном берегу реки уже стояла, изготовившись к бою, московская передовая дружина под началом князей Ивана Турунтая-Пронского и Василия Охлябина-Ярославского. Малочисленность ее удивила татар, они тут же послали сказать своему хану, что изменные речи князя Симеона подтвердились и что заслон без труда можно смять и теперь же, с ходу, начать переправу. Но хан не любил поспешности; великие дела, как он понимал, вершатся без суеты, с основательностью и степенностью. С крутого восточного берега, на который он, спешившись, вышел с князем Симеоном, был ясно

виден не только наспех сооруженный лагерь московских дружинников («Кучка смертников, не больше», — решил про себя хан), но словно бы открывалось все великое — до Москвы и дальше — пространство России, готовое будто бы уже теперь подчиниться ему. Но взгляд его падал не только туда, в пространство; прямо перед ним, в нескольких шагах, как знак не добытого еще, но неотвратимо надвигавшегося торжества, как если бы и в самом деле от подобных символических действий могли зависеть исторические судьбы народов и государств, торчали вонзенные в землю несколько мечей и копий; они, будто стрелы на только что рухнувшем наземь звере, впившись в тело, кровотока и олицетворяя удачу, вызывали отнюдь не охотничий, а завоевательский (для того, видимо, и втыкались) азарт, и, казалось, от предвкушения грядущих побед лицо хана обретало торжествующе-хищное выражение. Далеко-далеко у горизонта догорал тихий, розовый, мирный закат, и оттого, может быть, что даль, куда всматривался Саип-Гирей, была светлей, чем то, что лежало у ног, — от этой несколько даже странной игры красок уходящего в небытие дня все на десятки верст простиравшееся впереди пространство представляло еще более величественным, таинственным и прекрасным. Но манили не красота и не богатство, скрытые в ней, а слава властелина, перед которым склоняется все — князья, цари, народы, державы. Хотя и принято считать, что все завоеватели, большие ли, маленькие ли, разнятся между собой по характеру действий и количеству набранных ими войск, но есть сходное, что неизменно роднит их, — самоуверенность, с какою все они начинают дело, и трусость, с какою затем, терпя поражение, бросают войска и спасают себя. О чем думал Тамерлан, покоривший Азию и вступивший в пределы России (кстати, ему удалось только взять Елец, дальше его не пустили), когда сквозь приоткрытый полог своего царского шатра вглядывался в немеряные просторы лежавшей перед ним державы, что испытывали Чингисхан и Батый, движением бровей бросавшие свои орды на стены наших городов, заливая их огнем и кровью и проезжая затем по трупам ратников, стариков, женщин, детей, или Наполеон, когда, выдвинувшись перед свитой и картинно отставив ногу, смотрел с высоты кургана,

как посылаемые им в Скифию (так мысленно называл он Россию) отборнейшие европейские дивизии переправлялись по трем наведенным через Неман мостам? Всяк смертен: и великий полководец, и безвестный солдат; и каждый по-своему входит в историю: поштучно — завоеватели, скопом — солдаты, и что оттого, что могила Наполеона в центре Парижа и в мраморе, а кости солдат рассеяны по землям Египта, Италии, России? Ничто в мире не возвращается из небытия, и громом побед, как ни хотелось бы того историкам и философам, словесами и доводами своими вдохновляя на «подвиги» новых владык, — громом побед не заглушить тех бесчисленных страданий, какие на всем пути человечества выпадали и выпадают простым людям. Нет, я не отношу Саип-Гирея к разряду так называемых великих завоевателей, да и вся цель его была — пограбить, то есть наказать, как это делают и ныне одни державы по отношению к другим, московских владык за непочтение и отказ платить дань (как если бы российский народ и в самом деле обязался пожизненно кормить своих разбойных соседей — крымцев и казанцев); но и нельзя забывать, какую оценку подобным нашествиям давали очевидцы событий, чьи летописные свидетельства полны боли, крика и слез; когда оседает пыль сеч — открываются раны земли и, как очистительный дождь, проливается свет на жестокости и безумства; но что было Гирею до подобных человеческих мудрствований, когда от ног его в вечернюю даль убежала богатейшая, еще не завоеванная им земля и когда по всем символическим приметам и могуществу собранного им войска, все подходившего и подходившего к берегам Оки и уже разводившего костры и ставившего палатки и юрты, — да, по этой силе и приметам он представлял уже себя в славе великого полководца, диктующего условия покоренной стране. На коротких, толстых ногах при непомерно могучем торсе, в пышной ханской одежде поверх лат и кольчуги, он весь, казалось, был собран из порывов решимости, и обрамленное черной подбритой бородкой и тонкими, словно бровь по верхней губе, усиками лицо его как нельзя лучше выражало готовность к насилиям, грабежу и убийствам. Он повернулся к Симеону и молча, как барин холопа, похлопал князя-наводчика по плечу и зашагал к шатру, на самой вершине откоса уже возведенному для него.

С противоположного берега за крымцами внимательно наблюдали воеводы московской передовой дружины. Им хорошо был виден и белый ханский шатер, к которому сопровождаемый свитой направился крымский властитель, и князь Симеон, по одежде и доспехам тоже пока еще причисляемый к свите Гирей, и юрты, и костры возле них, и выдвинутые уже на позиции султанские пушки, да и все бесчисленное ханское войско, продолжавшее прибывать и размещаться по склонам прибрежных откосов и облеплять их. И князю Ивану Турунтаю-Пронскому, и князю Василию Охлябину-Ярославскому очевидно было, что дружине не устоять, когда наутро вся татарская силища навалится на нее, и раз за разом снаряжали гонцов в Коломну, прося главного воеводу сразу же, в ночь, выслать полки для подкрепления, и лагерь россиян жил только этой надеждой, что главный воевода князь Дмитрий Бельский распорядится, что их не оставят одних и что полки, возможно, уже выступили из Серпухова и Коломны и спешным порядком подвигаются к ним. Князьям подали ужин, лагерь не спал, костров не разводили, по всему берегу вверх и вниз по реке на многие версты были высланы пикеты, и тихая летняя ночь, лунная, теплая, какой она бывает, видимо, только в России и только в этой серединной ее полосе с неповторимостью красок и трав, — ночь, вызывавшая к умиротворению и покою, словно голые тела от срама, накрыла страшные и бессмысленные приготовления людей. Перед кровопролитием, как и перед грозой, хоть на мгновение, но всегда наступает тишина, как будто природа или Всевышний дают враждующим сторонам время опомниться и приостановить безумие; это ведь только в сказках добро превозмогает зло, а в действительности — страсти всегда оказываются сильнее разума, и ни Божье, ни чье-либо еще посредничество не в состоянии притушить разгоревшийся захватнический пыл; соотношение сил — вот чем определяются решения, и разве Саип-Гирей, видевший свое превосходство, мог упустить победу, буквально шедшую ему в руки, не обогатиться и не побрать полон для восточных невольничьих рынков? Омыв руки и сотворив намаз, он вместе со своей приближенной ханской челядью и с князем Симеоном, к которому испытывал теперь как бы особое почтение, нетороп-

ливо, словно не в походе, а во дворце, отужинал, и перед тем как собрать войсковых начальников на совет, то есть распределить роли в предстоявшем наутро бою, решил проехать по стану и осмотреть войска. Ему подвели коня, помогли сесть в седло, и он, милостиво позволив князю Симеону ехать рядом с собой, двинулся сперва к султанским пушкам, на которые возлагал особые надежды, затем к лучникам, составлявшим передовой отряд (им-то как раз и предстояло с восходом солнца начать переправу), и дальше, к крымцам, расположившимся в центре как главная ударная сила, к ногайцам, астраханцам, азовцам, наконец, к замыкавшим армаду войск обозам с награбленным по ходу движения скотом — стадами коров, коз, овец, которых тут же забивали, освежевывали и передавали полкам на корм. Властителя, как и принято по мусульманскому обычаю, встречали не ликующими криками, а молитвенными поклонами; все разом падали ниц, едва он приближался, и, задрав зады и уткнувшись головами в землю, во все время, пока он проезжал, не смели поднять на него глаз. Современному человеку, подобный воинский лагерь, несомненно, показался бы хаотическим табором, которым и управлять-то неведомо как; однако у людей прошлого было свое представление о дисциплине и порядке, говоря нашими словами, и за всей этой видимой хаотичностью, если внимательней присмотреться, скрывалась жесточайшая пружина власти, рычагами сходявшаяся к хану, и оттого-то, сознавая в себе эту власть, Саип-Гирей со спокойствием взирал на копошившийся в ночи людской табор. Только одно, что, впрочем, бывает обременительным для всякой армии, несколько беспокоило его — обилие повозок, нагруженных уже добытым по дороге скарбом, и количество взятых в полон русских людей, которых, сбив в кучи между повозками, избивали, насиловали, уподобив скоту и наслаждаясь сим страшным разбойным садизмом. Саип-Гирей придерживал коня перед очередной подобной группой и оборачивался на Симеона, словно бы приглашая его порадоваться этому столь славному, предвещавшему удачу началу.

СXXXV

Когда утром Саип-Гирей вышел из шатра, сражение уже началось. Султанские пушки хотя и вяло еще, но уже начали забрасывать ядрами русский лагерь, лучники и пищальники, подтащив к реке плоты, сколоченные ночью, спускали их на воду, а ногайские и астраханские конники еще только разбирали и седлали лошадей, пригнанных из ночного. Облаченный в доспехи и со свитой и старцами, сопровождавшими в походе его, и ни на шаг не отстававшим теперь от него князем Симеоном, Саип-Гирей, чтобы видеть, как будет разворачиваться сражение, вышел опять на тот же откос, с которого накануне вечером разглядывал русский лагерь и даль; и хотя все впереди против вчерашнего было другим, лишенным таинственности, четким, реалистичным, но ведь и сам он готовился отнюдь не к восприятию прекрасного; легкое ли, тяжелое ли, но сражение всегда есть сражение, и Саип-Гирей, за тысячи верст приведший сюда свои полчища, не хотел рисковать ни собой, ни войском. За спиной его держали оседланных коней; тут же, под рукой, находились советники, вестовые, готовые каждую минуту поскакать к войскам, и все с оживлением смотрели, как в лучах всходившего летнего солнца люди втягивались в противоестественное разуму, но отчего-то считавшееся необходимым и важным для них кровавое дело. Над султанскими пушками, стрелявшими с косогора, после каждого залпа поднимались белые пороховые дымки; они вспыхивали прежде, чем доносились раскаты выстрелов, и затем малыми игрушечными облачками скатывались к реке. На противоположной стороне, куда падали ядра, почти у самой кромки воды стояли московские ратники. Они пускали стрелы по ханским лучникам, суетившимся возле плотов, и точно так же, как их стрельба почти не причиняла никакого вреда крымцам, так и ядра из султанских пушек, то перелетавшие через дружинников и зарывавшиеся в топкую луговую землю, то падавшие впереди, в воду, и поднимавшие тучи брызг, досаждали лишь жужжанием и свистом и заставляли с беспокойством оглядываться вокруг. Изредка, когда ядро попадало в гущу людей, в свите Саип-Гирея раздавался вскрик одобрения и всех охва-

тывал тот штабной прилив духа, то есть та изначальная, не истощившаяся и поныне дикость, упакованная в обертку воинской доблести, по которой радость жизни, подмененная радостью убийств, становится смыслом и целью бытия. Сам хан, однако, не подавал пока ни признаков радости, ни признаков озабоченности; сражение развивалось, видимо, точно так, как оно еще накануне задумывалось им, и если что-то и вызывало недоумение, так только — стойкость московских дружинников, которые, видя перед собой такое количество войск, должны бы дрогнуть и побежать, да медлительность лучников, грузившихся на плоты. Желая поторопить их, Саип-Гирей послал вестового, но не успел тот добраться до места, как все изменилось, один за одним отрываясь от берега, плоты выходили к середине реки и, сносимые течением, правили к песчаной отмели. И на плоты, и с плотов летели тучи стрел. Наконец, неся потери, лучники высадились на отмель и с воинствующим кличем двинулись на дружинников. Дружинники же, обнажив мечи и выставив копья, плотной молчаливой стеной готовились встретить их. Через минуту-другую, словно встречные волны, противники сшиблись, блеснули клинки, мечи, люди кинулись бить, колоть, сечь друг друга, и сражение во всей своей кровавой зрелищности все четче и четче представало перед ханом. Я не певец воинской доблести. Любая война есть преступление. Но если защитников еще можно понять, для чего поднимают меч, то у пришедших пограбить и разорить чужие народы нет и не может быть оправданий. Однако и ханские лучники, и московские дружинники бились с одинаковой жестокостью. Лучники, пополняясь с новых прибывавших плотов, усиливали натиск, редевшая стена дружинников, словно размякшее коромысло, прогибалась под этим напором и вот-вот могла дать трещину и разорваться, левый фланг, оттесненный почти к самому березняку, уже дрогнул, смешался и побежал, открывая простор крымцам, советники кинулись к Саип-Гирею поздравлять его, но на песчаной отмели и возле березняка, где шла сеча, вдруг все переменялось, и теперь лучники, замешкавшись, бросились назад, к плотам. Лицо Саип-Гирея злобно перекошилось, он решил, что лучники его наткнулись на засаду, укрывавшуюся в березняке или

за березняком, но так как засада, по его мнению, не могла быть многочисленной, то и бегство своих представлялось неоправданным и как раз и вызывало гнев; чтобы остановить трусов и исправить положение, он велел послать на подмогу астраханцев и затем вновь, но уже с беспокойством, принялся наблюдать за ходом сражения.

Но, как известно, побеждает не тактика, а стратегия, в чем бы ни заключалась ее суть — в подготовленных ли резервах или в духовной крепости войск. Переменный успех боя, конечно, еще не означал поражения, но — ханские лучники побежали отнюдь не оттого, что натолкнулись на укрывшуюся засаду; нет, это была не засада, а подоспевший к месту сражения полк князя Микулинского, который с ходу, не тратя время на построение, обрушился на крымцев и, опрокинув, погнал их к плотам, насаживая на копья, рассекая мечами и убивая. Всю ночь ратники Микулинского двигались от Серпухова к Оке, а когда утром услышали пальбу султанских пушек и поняли, что бой начался, уже не шли, а бежали к месту сражения, и, кто знает, как бы все повернулось, не подоспей они вовремя; они ударили именно с фланга, явившись из березняка, и натиск их оказался столь неожиданным и мощным, что крымцы, чтобы успеть к плотам, неслись налегке, побросав щиты и оружие. Но в центре и на другом фланге схватка еще продолжалась. Получив подкрепление, ханские воины опять начали теснить русских; опять стрелка успеха сдвинулась в пользу Саип-Гирея, но в это время подоспел полк князя Серебряного-Оболенского, шедший со стороны Коломны, русские ободрились, воспряли и окончательно уже погнали лучников и астраханцев к плотам. Лишь жалкая кучка их, оставив трупы и раненых, смогла добраться до своего берега. Вместе с полком князя Серебряного-Оболенского прибыли пищальники, а затем подтянулось и несколько пушек; их тут же выдвинули на позиции и начали бить из них по султанской батарее и лагерю. Но торжествовать победу было еще рано, главные силы хана еще не вводились в бой, и собравшиеся на совет князья, понимая это, принимали меры для отражения новой атаки. С песчаной отмели между тем убирали раненых и убитых; уносили только своих; басурман же прикалывали и оставляли на месте, и

Саип-Гирей, видя это бесчестье, казалось, весь исходил гневом и торопил войско к новым действиям. Лагерь его кипел работой, отовсюду к реке свозились бревна, и там под ядрами связывались плоты. Хан не мог теперь спокойно стоять на месте, а нервно ходил из стороны в сторону, поглядывая то на солнце, быстрее, чем было нужно ему, клонившееся к закату, то на трупы своих воинов на откосе, вид которых, он понимал, сколь удручающе мог действовать на людей. Посланные им с утра еще искать брод конные разъезды вернулись ни с чем, и огорченный теперь еще этим Саип-Гирей сам наконец решил спуститься к реке, чтобы поторопить сборщиков плотов и приободрить духом готовившихся к переправе воинов. Но поездка не состоялась. Только что подвели ему коня, как из русского стана донеслось какое-то радостное оживление. Хан задержался, чтобы взглянуться, что произошло там, и вскоре увидел, как со стороны все того же березняка подошли еще два полка. Это были полки князя Михайлы Кубенского и князя Ивана Михайловича Шуйского. Князя водрузили свои стяги на берегу в знак того, что твердо стали ногой здесь, и принялись разбивать лагерь. Теперь ханским ратникам, готовившимся к переправе, противостояло уже целое войско. Но и это было еще не все, что готова была выставить Русь против полчища Гирея. Ближе к закату, когда хан заколебался, начинать ли ему сражение в ночь или, подготовившись основательней, то есть отыскав брод, все же переправить конницу на тот берег, — по русскому лагерю опять прокатилось ликование; на сей раз оно оказалось столь могучим, что можно было, не всматриваясь, определить, какие силы подошли туда. Прибыл же в лагерь главный воевода Дмитрий Бельский. Он разместил свой полк в центре, поднял стяг, взяв под единое начало оборонявшиеся полки и дружину, и Саип-Гирей, увидев это, не смел уже даже помыслить, чтобы завязывать сражение на ночь. Чтобы выиграть дело, теперь надо было только разом всем войском навалиться на русских, и, распорядившись, чтобы вязали плоты для всех, исключив разве что обозников, Саип-Гирей удалился в шатер. Он все еще не хотел сомневаться в успехе, то есть старался верить, что удача не покинет его, хотя беспокойство, вкравшись, уже начало разъедать душу: он то возвращался мыслью к перипетиям прошедшего дня, то ко всему

походу, главное к Зарайску, к которому, вклинившись в пределы России, приступил было со всем войском, но которого не мог взять; снять же осаду с города уговорил его князь Симеон, полагавший, что следует идти на Москву, пока дорога открыта, и если будет взята Москва, то все остальное само собой падет к ногам хана; этот совет как раз и представлялся теперь Саип-Гирею сомнительным, как, впрочем, и утверждение о слабости России, и — в сознании хана постепенно начала вырисовываться та причина гнева, на какую, чтобы оправдать себя, правители всегда готовы свалить вину; и причиной этой был князь Симеон Бельский.

СXXXVI

Можно усомниться, а можно и вовсе не поверить, что между человеком и событиями, происходящими за сотни верст от него, существует некая невидимая связь, некий словно бы голос или пульс, подающий либо ободряющие сигналы торжества, как бывает с осажденными, которые верят, что помощь вот-вот подойдет, бьются и одерживают победу, либо сигналы беспокойства и бедствия, как это не раз в истории случалось с полководцами, вдруг и беспричинно будто бы, будто бы лишь из трусости, то есть, иначе говоря, по пословице, что у страха глаза велики, бросали войска и кидались в бегство; явление это можно, конечно, отнести к разряду загадочных, мистических, приписав все либо божественным, либо дьявольским наущениям, но можно, прибегнув к новейшим исследованиям человеческих возможностей, найти совсем иное и вполне естественное объяснение, увязав все с физическими законами бытия. Но — дело не в этом. Осознание поступков обычно является людям после того, как они бывают совершены, и если с точки зрения науки жизнь предстает перед нами как непрерывная цепь развития, то стоит лишь в эту формулировку внести конкретное уточнение, основанное на реалистическом восприятии (или памяти простолыдинов, что точнее) событий, как та же самая жизнь предстает цепью бесконечных ошибок и неверных, предвзятых решений, подвигавших народы не к процветанию, а лишь к войнам, разорению, нищете. Говорю об этом, разумеется, вовсе не для того, чтобы исследовать ошибки

Саип-Гирея; не та личность в истории, не тот «полководец», чьи даже ошибки могли бы стать поучительным уроком или по крайней мере привлечь внимание историков, — нет, роль сего хана столь ничтожна в сравнении с теми завоевателями мира, чьи имена и ныне, и в будущем, удивляя и содрогая сердца, останутся на устах выживших и выживающих народов, что едва ли достойна упоминания; есть примеры личностей, так ли, иначе ли творивших историю, и есть трафареты мышлений и дел, к коим прибегают обычно князьки и батьки всех времен, чтобы с амбициозностью заявить о себе, и разве что в этом плане Саип-Гирей может еще представлять некий — в нравственном плане, так точнее, — интерес. Нерешительность его на Оке была лишь следствием той главной ошибки, которую он совершил, приняв у себя во дворце изменника Симеона, поверил его речам и предпринял сей безумный поход, изначально уже уготовив и себе, и тысячам сородичей своих, не раз и прежде обольщавшихся возможностью пограбить чужой народ, бесславию и смерти. Каждый в истории — зазнавшийся ли властелин или обманутый им народ и втянутый в его преступные деяния — в конечном итоге пожинает свое, и не те государства, которые полагали существовать грабежом и насилием, но те, что хоть как-то пытались защищаться и созидать, крепили и получали развитие: нет ни ханства Крымского, нет ни Астраханского, ни Казанского (и не по малочисленности и беспомощности их народов перед могущественным соседом, как пытаются это представить теперь, искажая историю и внося новую рознь; в политике разбойных набегов лежит корень зла), а есть Россия, от века сопрягавшая защиту с экспансией, и в силу, может быть, именно этого сопряжения несла и несет свой нелегкий крест. Но кому же мы обязаны сей тяжелой долей, разбойным ли соседям, вынуждавшим нас обнажать меч, как случилось это теперь, в Иоанново малолетство, или, если следовать научной терминологии, в период боярского правления (а ведь на нас непрерывно шли и с востока, и с запада, не исключая и нынешнее столетие), или великим, как принято называть их, Рюриковичам, основателям нашего государства, «собирателям» земли русской, перед деяниями которых многие и ныне готовы склонять головы ниц, с легкостью отмечая те жестокость и кровь, с какими происходило это их «славное» собирательство. Мера защиты — да не

прикрывался ли этой мерою самый оголтелый экспансионизм, то есть притязания властителей, переносимые ныне на народ, не только ничего общего не имевший с этой государственной политикой, но лишь страдавший от нее? И тут, пожалуй, лишь одно может служить утешением, а может, и уроком; что жизнь всегда сложнее наших представлений о ней и что если что-то и движет правителями и народами в процессе развития человечества, то отнюдь не перспектива исторической целесообразности и справедливости; то, что видится в идеале, никогда не совпадает с действительностью; амбициозность масс, взращенная амбициозностью, а проще, властолюбием правителей, — вот чем определяются судьбы народов и государств. Конечно, я далек от мысли, что все это понимал или хотя бы мог понимать Саип-Гирей, явившийся с войском в пределы России и стоявший теперь на Оке; ведь народы, правители, истины — это самостоятельные, замкнутые в себе субстанции жизни, и соподчиненность, а следовательно, и взаимовлияние их столь же условны, как и единство и взаимовлияние монархов и толп; истины — в хранилищах, властители — на тронах, окруженные стенами льстецов и зубчатыми стенами замков и крепостей, народ — попеременно то на хлебных полях, то на полях сражений, исходящий то потом, то кровью, и реализм этот, к сожалению, необратим, вечен и страшен; в предпринятом Саип-Гиреем походе не только не проглядывало для народа никакой исторической целесообразности и тем более исторической справедливости (собиратели дани — всего лишь государственные рэкетеры), а в десятый, в сотый раз повторялась одна из тех — пограбить, поразорять — ошибок, исторический итог которых столь очевиден сегодня всем.

СXXXVII

Пожалуй, со времен Дмитрия Донского Россия не выказывала такого могучего подъема духа, как в год этот, когда народ, никем, в сущности, не управляемый, собрался с силой и, явив собою личность, решительно выступил на арену исторических действий. В обычной чередѣ жизни подобное событие всегда вызывает интерес; и тем больший — у историков и филосо-

фов, — чем масштабней это событие и чем нешаблонней вписывается оно в общую цепь исторических дел. Ведь на великокняжеском престоле, когда Саип-Гирей подступил к берегам Оки, сидел не умудренный опытом государственный муж, чей авторитет уже сам по себе мог бы послужить объединяющей силой, а лишь притесненный боярами юный Иоанн, и не было под рукой такого великого вдохновителя, каким из праха веков предстает перед нами Сергей Радонежский, почитаемый ныне в народе даже как будто сильнее, чем князь, выведший на Куликово поле полки, и чем ратники, сложившие головы на этом святом для нас поле, а был только возведенный в митрополиты и посаженный Шуйскими на Первосвятительский престол ничем еще не проявивший себя игумен Троицкого Сергиева монастыря Иоасаф, но — есть, видимо, нечто более важное, чем нисходящая с тронов воля венценосцев или призывы и благословения духовных иерархов; в то время как против Саип-Гирея стояли уже полки князей Микулинского, Серебряного-Оболенского, Михайла Кубенского, Ивана Михайловича Шуйского и полк главного воеводы князя Дмитрия Бельского, подкрепленный пушками и пищальниками, к месту сражения все подходили и подходили то дружины ратников, не успевшие к сроку присоединиться к своим полкам, то отряды ополченцев, возглавлявшиеся деревенскими целовальниками, а иногда и тиунами, то есть собирателями пошлин, чтобы, не отстав от общих усилий народа, приложить и свои в предстоявшем ратном деле. Если бы можно было хоть на мгновение и хоть частично обозреть Русь с высоты, то взору открылась бы удивительная картина людских потоков, которые, как ручейки к огромному водоему, стекались к уже на версты раскинувшемуся по луговой стороне Оки стану русского войска, и всякий раз, как только, взбивая пыль, подходило такое пополнение, весь лагерь взрывался ликующими криками, и к тысячам разведенных костров прибавлялись новые, вызывая у крымцев недоумение и страх. Пушки уже не стреляли, ни наши, ни султанские, небо не озарялось огненными вспышками, и по вечереющей степи не разносились, подбадривая подходившие войска, раскаты выстрелов; не успев как следует разгореться, сражение затихало, на землю ложилась ночь, теплая, лунная, безмолвная, и в этом

обволакивающим безмолвие ополченцы и дружинники только ускоряли шаг. До самого утра русский лагерь продолжал оглашаться восторженными кликами, держа ханское войско в напряжении. Султанские пушкари, ногайцы, астраханцы, ратники из Кафы, Азова — все, все, облепив гребни откосов, вглядывались в противоположный берег. К ним, чтобы не остаться в неведении, приезжали из ночного, прибегали от обозов; лучникам же, у самой воды вязавшим плоты, видны были полковые стяги и даже лица русских князей, вышедших взглянуть на трупы порубленных и заколотых в бою ханских вояк, разбросанных по песчаной отмели; их не убирали, может быть, в назидание или для острастки, и все это, озвученное и представавшее зримо, вызывало гнетущее впечатление. Примчавшись сюда за легкой победой, которая была обещана им, они видели, что могли только лечь костями на этой чужой им земле, а не обогатиться, но так как умирать за просто так никому не хотелось (лежать на прокорм воронью, как те, что на отмели), то и чувство, какое охватывало их, напоминало чувство вора, пришедшего пограбить, но попавшего в западню и думавшего теперь лишь о том, как бы поскорей унести ноги. Историки говорят, что, выйдя около полуночи из своего ханского шатра и увидев море костров, горевших на противоположной стороне Оки, Саип-Гирей испугался и, опередив войско, пустился в бегство. Что ж, возможно, так оно и было, хотя и в этой ситуации у него имелся выбор: либо, дав сражение, смириться затем с позором поражения и принять его, либо принять еще больший позор, то есть позор бегства и трусости (что, впрочем, не меняет сути), и если в первом варианте у него еще сохранялась возможность хоть как-то, хоть чужой кровью омыть свое ханское достоинство и ханскую честь, то во втором — тяжесть вины за бесплодный поход целиком падала на него, и он мог поплатиться троном; но он принял именно это, второе решение, и, как свидетельствовали очевидцы, стоявший на возвышении и отовсюду обозревавшийся белый ханский шатер вдруг в середине ночи словно ветром сдуло, и на месте его осталась лишь помятая трава, валявшиеся обрывки веревок, колья да что-то из походной ханской утвари, в спешке и за ненадобностью брошенной здесь.

Когда войско бежит, никто не соблюдает парад-

ности. Саип-Гирей не гарцевал уже, как в начале похода, на коне, а сидел в крытом возке (кибитке), увозишем его будто бы от позора, несмываемо уже лежавшего на его некогда властных плечах; вознамерившись было решить судьбу России, он вынужден был теперь думать о своей, и рассвет, проникавший сквозь неплотно завешенное окно в кибитку, мрачно освещал его налитое стыдом и гневом лицо. Следом в другой, но уже открытой повозке везли закованного в цепи и с тяжелейшей колодой на шее князя Симеона Бельского. Участь сего князя была решена, и Саип-Гирей не хотел только убивать его здесь, в степи, а намеревался казнить в Крыму принародно, объявив изменником и обманщиком и свалив таким образом вину на него (хотя, забегая вперед, скажу, что обстоятельства продиктуют другое, и уже через несколько суток под Пронском хан самолично проткнет мечом грудь сего несчастного искателя великокняжеского трона). За возком хана и его свитой едва успевали ногайские конники, и уже за ними, растянувшись по степи на версты, шли, бежали, сбрасывая все, что отягощало их, крымцы, астраханцы, азовцы, султанские пушкари. Они оставили свои пушки на берегу, как и обозники телеги с награбленным; полон же, что теснился в ночи между возами, был безжалостно порублен выделенными специально для этого ногайскими конниками, которые и замыкали теперь все бежавшее Гиреево воинство. В русском лагере полки и дружины встретили рассвет уже изготовленными к бою, и какво же было удивление этих пришедших постоять за свою землю людей, когда они увидели, что ханский лагерь пуст, что крымцы бежали, испугавшись их силы, и что свершилось великое, угодное Богу и людям дело. Но воеводы, собравшись и поразмыслив, не спешили огласить победу; тут могла быть некая военная хитрость, некое коварство, на какое, они знали, горазды бывали и крымцы, и казанцы; лишь после того, как посланные осмотреть и разведать все дружинники, вернувшись, доложили, что враг бежал, оставив пушки, возы, юрты, оружие, даже стяги и побив содержавшийся при обозе полон, сомнений уже не было; в Москву тут же был послан князь Иван Кашин с радостной вестью, а полкам князей Микулинского и Серебряного-Оболенского велено было пуститься в погоню за крымцами и

преследовать их. А среди тех, кто оставался в стане, не смолкало ликование. Перемешавшись полками и переправившись на тот берег Оки, на котором еще вчера располагалось ханское воинство, ратники осматривали султанские пушки, удивляясь и гордясь, что захвачен был ими (впервые, надо сказать, для русского войска) подобный трофей; главный воевода князь Дмитрий Бельский распорядился похоронить со всеми полагавшимися почестями убиенных ногайскими конниками христиан, соборовав и освятив их за мученически принятую ими смерть; затем уже по песчаной отмели собраны были и пущены по реке трупы ханских ратников, и лишь под вечер, сойдясь под стяги своих полков, русское войско выступило к Коломне и Серпухову.

Но война еще не окончилась. В то время как впереди победителей, со славой возвращавшихся домой, неслась, опережая их, всенародная, да, только так по тем временам и можно охарактеризовать ее, радость, — впереди войска ханского, столь же стремительно опережая его, неслась весть о небывалом будто бы в истории крымцев поражении, и Саип-Гирей, несколько оправившийся после пережитой на Оке кошмарной ночи и понимавший, что следует хоть как-то поправить дело, отрядил царевича Иминя с частью войск пограбить и поразорять Одоевский уезд, прихватив там какой-никакой полон, а сам с крымцами, астраханцами и ногайцами подступил к Пронску. Он хотел было обманом взять город и послал мурз для переговоров, но воевода Василий Жулебин, у которого, по словам очевидцев, «было не много людей, но много смелости», не открыл им ворота и не принял их; он вышел на стену и на угрозы мурз решительно заявил: «Божьей волею ставится город, и никто не возьмет его без воли Божьей». Гиреевы ратники кинулись было на штурм, но были отбиты; затем хан приказал готовить туры для нового и основательного уже штурма, но и воевода Василий Жулебин не терял времени; он поднял не только мужчин, но и женщин, и к утру на городских стенах припасены были груды камней, колья, тут же кипели котлы с водой, а возле пушек встали орудийцы с зажженными факелами, но — трусость, видимо, как неизлечимая болезнь, которая, однажды поразив организм, не отпускает затем до конца

жизни, и Саип-Гирей не решился на штурм; он испугался не пронских защитников, а князей Микулинского и Серебряного-Оболенского с полками, нагонявших его, велел пожечь туры и, чтобы не иметь более обузой в цепях и с колодой на шее князя Симеона, заколол его и кинулся в новое и неостановимое бегство. На Иминя же, начавшего в уезде свое разбойное дело, отряжен был князь Воротынский с отрядом (давайте запомним имя этого молодого, смелого воеводы, коему предстоит еще всенародно прославиться и принять затем мученическую смерть от Иоанна); он нагнал царевича почти у самого Дона, разбил и пленил его.

СXXXVIII

В деянии народов ничто как будто не должно предаваться забвению, по крайней мере так подсказывает логика жизни; но человечество, увы, развивается не по этой известной логике, то есть не по той упрощенной схеме, по какой мы привычно представляем себе это развитие. События прошлого, кажущиеся нам исключительными по проявлению могущества духа, единства, воли нации, от которых, как от неких достигнутых высот совершенства как раз и должна бы двигаться жизнь в грядущее, — достигнутое это не только не кладется в основание движения народов и государств или, скажем, не берется как урок или пример для нового совершенства, но, напротив, всячески вытравляется из сознания современников, и происходит это вовсе не потому, что так якобы положила от века природа; нет, не в тяге к статичности следует искать ответ на поставленный вопрос, а в тех изначальных интересах власти (по отношению к народу как к питательной среде или почве, на которой только и может возрастать сия власть), которыми и продиктовываются эти странные, казалось бы, на первый взгляд исторические условности. Разве нам в нашем столетии не довелось познать взлет и величие духа, разве не мы одолели в упорнейшей схватке фашизм и положили на лопатки, как говорят фронтовики, всю тогдашнюю военную мощь Европы, и разве тяготы послевоенной жизни, нищета, бесправие, навязанные нам кремлевс-

кими правителями, не истребили в нас само понятие этого духа, и разве не власть, прежде раздев нас до социальной и нравственной наготы, заставила народ-победитель унизительно принимать от побежденных благотворительные посылочки на прокорм? Можно, конечно, признать для самоутешения, что да, история повторяется и что нет в ней восходящих спиралей, а есть только круги, кольца, наслаивающиеся на древо истории и разнящиеся между собой лишь по размерам содеянных против народов насилия и зла. Так было после Отечественной войны 1812 года, да и после Полтавы, после сражения на Чудском льду, когда были разбиты тевтонские рыцари, да и после Куликовской битвы; слава, величие, единство и могущество духа, как некие будто бы отслужившие атрибуты жизни, отправлялись властителями на полки хранилищ покрываться пылью, чтобы затем, если придет нужда, было чем вдохновить новых защитников земли и Кремля, а для повседневности оставлялись лишь нужда, бесправие да груды неодолимых, беспросветных забот. Эта дорога от славы к бесславию, как рок, всегда нависала над Россией, и сколько раз, истощившись в усилиях борьбы и окрылившись в надеждах, русские люди проходили по ней, до дна выпивая чашу бесправия, обмана, позора и заканчивая жизни свои в ночлежках и на папертях деревянных и каменных церквей, воздавая хвалу Господу и бранно ругая царя. Триумфально, с песнями, барабанным боем прошествовали из поверженного Парижа через всю Европу войска Александра I, чтобы, придя домой, терпеливо подставить шею под крепостническое ярмо; с еще большим триумфом возвращались из дымившегося еще Берлина гвардейские воинские эшелоны, чтобы, хлебнув на Красной площади, перед мавзолеем, обманного торжества, погрузиться в свое, названное социализмом крепостничество. Различны масштабы, но неизменна завершающая суть подобных событий, и если в этом мрачном взгляде на историю что-то еще настораживает и останавливает меня, то отнюдь не боязнь очернительства; нет правды без горечи, как нет и похвал, которыми не порождались бы неведение и слепота; может быть, как раз тем и мудра власть, прискорбно мудра, что неусыпно бдит свои интересы, не теряясь и не расслабляясь в радости, тогда как

народ, подобно дитяти в своей безграничной доверчивости и простоте, — народ в минуты торжеств обычно забывает о своих интересах и предает их. Разумеется, детство по уму — не оправдание, как не могут служить оправданием ни доверчивость, ни наивность, ни простота; тут либо эпохи ничему не учат нас, либо мы не хотим ничему учиться у этих эпох, а потому и выглядим среди других народов как некий недоросль-переросток, не умеющий сообразить, для чего явился на свет и живет; ведь честь и достоинство отстаиваются не только в сечах с врагом внешним, но и в борениях с теми ползучими силами зла, которые, укрепившись за зубчатыми стенами и обложившись со всех сторон роскошью, пытаются внушить нам, что власть их от Бога (в терминологии нынешней — от Народа, что не меняет сути) и что удел их править и угнетать, а наш — тянуть ярмо нищеты и бесправия. Нет, нет, повторяюсь: не из современности вглядываюсь в прошлое, а из прошлого в современность как в некое зеркальное отражение отшумевших эпох и пытаюсь понять, чем же подпитывались в народе неизживные и гибельные для него доверчивость и простота?

По трем параллельным дорогам, неся победу и славу на стягах, стекались от Оки к Москве русские полки и дружины, и неважно, что не было генерального сражения, а важно, что враг бежал, испугавшись силы, вставшей против него, то есть что народ обладал способностью собраться и защитить себя, и это-то и являло собой стержень величия и торжества. По деревням и в городах, через которые проходили войска, всюду простой люд встречал их ликованием, в церквях служили молебны, на площадях возникали стихийные пиры и веселье, в каждом дворе считали за честь принять и накормить ратника, и, казалось, гостеприимству этому и радушию не будет конца. В Москве с утра уже били в колокола, весь люд от мала до велика высыпал за город, чтобы встретить полки, а затем вслед за полками, теснясь в проемах ворот, все ринулись в Кремль на площадь перед великокняжеским дворцом и собором Успения, на которой, как и всегда, должно было развернуться главное державное действие. Не знаю, но мне представляется, что было что-то единое в этом порыве народного торжества, словно вся Россия, собравшись, решила выказать могущество

духа, и это одинаково можно было прочесть и на лицах ратников, и на лицах простолюдинов, холопов княжеских и государевых, как и на лицах духовенства, бояр, дьяков, подъячих и всякого рода иных чиновных людей. Все ожидали выхода Государя. В мертвом молчании, выстроившись в колонны, стояли полки; перед ними, чуть выдвинувшись вперед, восседали на сытых, отдохнувших конях воеводы — в доспехах, при оружии, молодец к молодцу, как восклицал, глядя на них, народ, заполнивший все свободное пространство площади, подъезды и подступы к ней, дворы и даже крыши, с которых ловчее будто бы можно было разглядеть происходившее; и все это — замершее, молчаливое, шумевшее, кипевшее суетой — словно бы для усиления торжества было залито ярким августовским солнцем, будто природа как некое разумное существо (или, может, проще: с благословения Божьего, как говорили между собой, крестясь, люди), поразмыслив, решила присоединиться ко всеохватной народной радости. Но в соборе, в остужающей прохладе, исходящей от не просыхающих и летом кирпичных стен и каменного пола, еще продолжалась благодарственная литургия; здесь, среди зажженных свечей и под строгими ликами святых, заключенных в сверкающие золотом оклады и ризы, был сосредоточен совсем иной мир чувств и мыслей, и, пожалуй, лишь митрополит Иоасаф да юный, не испорченный пока интригами придворной (читай: государственной) жизни Иоанн могли еще испытывать нечто схожее с тем, что господствовало в толпе на площади. У митрополита Иоасафа были на это особые основания. Ему казалось, что он достиг той цели, к какой устремлена была его первосвятительская душа, добро восторжествовало, Бог услышал людей, люди услышали Бога, и, как и народу на площади, Иоасафу представлялось, что теперь все пойдет от достигнутого, что возврат к прошлому уже невозможен, и всю радость, вернее, силу этой переполнявшей его радости вкладывал в произносившиеся им слова литургии; он чувствовал себя героем, хотя ничего зримого, броского, чем осветился бы перед современниками да и перед историей его нравственный подвиг, вроде бы не было совершено им, и, на мой взгляд, есть нечто несправедливое в том, что подобным негромогласным деяниям изначально уже пред-

определено уходить под мрачную тень забвения. Да что прошлое, когда и ныне, если присмотреться, возвеличивается не то, что судьбоносно по сути, а то, что судьбоносно напоказ и сопровождается барабанным боем, то есть ложь, подаваемая в псевдонародном одеянии, и нет ничего унижительней и больней, чем видеть, как обманывается народ, принимая по беспробудной своей темноте и невежеству сию ложь за истину, и как оплевывается и попирается то, что могло бы принести свет и благо. Но Иоасаф не со стороны смотрел на себя, а жил и воспринимал жизнь в согласии со своими святительскими устремлениями, и, если бы можно было хоть что-либо изменить в ритуале проходившего торжества, он, не колеблясь, направился бы теперь к народу на осле, как Спаситель, чтобы благословением своим навечно закрепить в сознании людей познанное добро. Может быть, этот-то неоглашенный порыв и передался от митрополита Иоанну и заставил затем будущего самодержца, облившись слезами счастья, поклониться с каменной паперти собора на три стороны народу и ощутить пусть ненадолго, пусть всего лишь на миг свою причастность к корням и древу извечного и нескончаемого народного бытия.

СXXXIX

Все, что имеет начало, — имеет вершину и конец; и сколько бы ни длилось восхождение к вершине и как бы ни был долог путь схождения с нее, час торжества всегда краток, он мгновенен по отношению к общей жизни державы, и если в исторических описаниях и придается подобным торжествам некая особая значимость, то лишь потому, что с высот геройства и славы всегда легче затушевать трагизм восхождений и спусков. И все же, думаю, не светом с вершин следует освещать содеянное народом, ибо нигде, как на вершинах, закладываются таинства обманов и предаются интересы людей. Народ, кровью и потом заслуживший славу и по праву должный бы увенчаться ею, — народ, как если бы слава эта только занимала ему руки и мешала работать и жить, передает ее правителю и кормящейся возле него свите, как это и произошло

теперь, когда Иоанн, сопровождаемый с одной стороны митрополитом Иоасафом, а с другой — первобоярином князем Иваном Бельским, явился на паперти собора Успения перед ратным и мастеровым державным людом. Все разом словно бы замерли, разглядывая будущего самодержца, затем взорвались восторженным приветствием, и — действие венчания Государя великой народной славой совершено, событие внесено в анналы истории как заслуга не Иоасафа даже, нет, а юного Иоанна, и к вечеру того же дня лишь кучки захмелевших горожан еще толпились на площади и прилежавших к ней улицам в ожидании чего-то, что, по их соображениям, должно было произойти, да ветерок, налетающий с Москвы-реки, сгонял к обочинам мусор, по преимуществу подсолнечную шелуху, как свидетельство только что отшумевшего здесь многолюдства, всеобщей бестолковости, беспечности и простоты. Полки ратников потянулись к местам своего постоянного пребывания — к Серпухову и Коломне, ополченцы двинулись по домам, воеводы с боярами и детьми боярскими — к своим княжеским подворьям, чтобы, довершив каждый в своем кругу торжества, вновь приняться за поборы, коими, получив волости на кормление, они притесняли народ, бояре думные, великокняжеские — к своим полным интриг и раздоров государственным, если так можно выразиться, делам и заботам по дележу власти и значимости, духовенство — к своему пасторскому будто бы предназначению бдиль за нравственностью, смирением и послушанием прихожан, устраивая меж тем, да и прежде всего, свое благополучие, а увенчанный славой Иоанн — к своей на грани детства и юношества беззаботности, в какой только и должно бы по законам естества протекать его хотя бы и великокняжеское отрочество. В общем, через неделю-другую все как-то незаметно, будто само собой, вошло в ту привычную житейскую колею, то есть в то традиционное для тогдашней российской действительности состояние, в котором между понятием государственности как некой общности, создающейся для блага людей, и истинным положением дел в стране пролегла неодолимая, как, впрочем, пролегает и теперь, извечная пропасть. Волею судьбы ли, по историческому ли своему недомыслию привыкший доверяться властям и передавать им все свои

человеческие права на жизнь, как если бы у простолюдина и впрямь не было ни своего ума, ни интересов семьи и личности, народ с еще большей теперь надеждой, полагая, что у него есть на то основание, обращившись на Кремль, ожидая послаблений и справедливости; ведь и зубчатые стены, и все-все, что за ними во дворцах и соборах, — все для того только и возводилось и существует, чтобы оберегать труд, покой и благополучие граждан; но эта азбучная вроде бы истина, столь естественная, простая и столь долго внушавшаяся нам как неизбежность, — истина эта на поверку оказывается всего лишь ширмой, за которой, отгородившись от народа, живет, самовоспроизводясь как особь, своя и по своим законам борьбы дворцовая общность людей; и так как составные этой дворцовой общности после изгнания Саип-Гирея и всенародного подъема духа остались неизменными — малолетство Иоанна, боярские притязания и митрополичья вера во всесилие канонов добра, — то борьба двух могущественных кланов, клана Шуйских и клана Бельских, неминуемо должна была возобновиться с новой ожесточенностью, подвигая народ и державу на край беззакония, разорения и смут.

Первобоярин князь Иван Бельский и митрополит Иоасаф как предтеча или прообраз двух других и более удачливых деятелей России Адашева и Сильвестра, хотя, казалось, и находились теперь на вершине своей столь быстро обретенной власти и значимости при юном Государе, но положение их при Дворе осталось непрочным, зыбким, сторонники Шуйских да и сами Шуйские, князья Иван и Андрей, не появлялись в думе, словно государственная жизнь и в самом деле перестала интересоваться их, а князь Иван, бывший в войсках во Владимире, не желал даже возвращаться в Москву и сносился со своими столичными единомышленниками через вестовых, тайно готовясь к новому мини-дворцовому, как мы бы сказали теперь, то есть своего рода гекачепистскому (ведь свергался не Государь, а временщики, обитавшие возле него и подгребавшие под себя власть) перевороту. Разумеется, ни Государь, ни первобоярин князь Иван Бельский, ни тем более митрополит Иоасаф, по-детски ослепленный успехом и не находивший сил трезво взглянуть на реальность жизни, ничего не знали о готовившемся загово-

ре; как всякому подростку, Иоанну более хотелось развлечений и игр, а то, что лежало за пределами этих отроческих интересов, отторгалось как нечто чужеродное, осложнявшее жизнь; он не вникал в дела государства, а лишь выслушивал первобоярина и соглашался с ним, и вся эта атмосфера беззаботности, проистекавшая от общей словно бы умиротворенности народа в державе, в сущности, и привносились в юношеские государевы покои и поддерживалась в них Иоасафом. Сей возведенный в первосвятительский сан России безвестный игумен Троицкого Сергиева монастыря, которому не суждено было и года пробыть в этом высочайшем церковном звании, не только не мог (в своей, повторюсь, счастливой ослепленности) предположить, чтобы мир, постигнув сладость добра, вдруг решился бы вновь отказаться от этого Божьего предначертания, но отвергал даже самую возможность помыслить об этом, и в каждом удобном случае — в соборе ли, где положено было делать это, в нравоучительных ли беседах с юным Государем или в думе с боярами — воздавал хвалу Господу, искренно веря и полагаясь на Его всеилие и приобщая к этой своей искренности восприимчивую еще в те годы к добру подростковую душу Иоанна. Но совсем по-иному смотрел на действительность и воспринимал ее князь Иван Бельский. Невысокий ростом, живой, смекалистый, точно так же, как и Шуйские, властолюбивый и умеющий не упустить своего, то есть не только взять то, что плохо лежит, как сказали бы в народе, но и то, на что упадет взгляд, как это испокон заведено среди русских князей, княжичей и бояр Рюрикава Дома (и что, кстати, «достойно» унаследовано и многими нынешними правителями Кремля), князь Иван Бельский был убежден, что никто, кроме него или его братьев, не мог занимать место первобоярина, что право на сей важный пост в державе — пост канцлера при Государе — исходит от родственных связей клана Бельских с великокняжеским семейством, и если младший брат князь Симеон хотел добыть это право наведением крымцев (что, кстати, тоже было в традициях Рюрикава Дома), а старший, Дмитрий, умевший изъяснить храбрость в сечах, но старательно уходивший в тень в делах придворных, уповал лишь на терпение и смиренность, то, ствергая и смиренность и тем более предательство,

князь Иван предпочитал либо быть в полной славе, либо — в заточении, хотя бы и по гроб жизни, ибо полагал, что лучше умереть в достоинстве, чем существовать в унижении и позоре. Поставив принцип жизни выше самой жизни, он внешне казался многим князем надменным, высокомерным, как будто и в самом деле, презирая всех, уважал только себя и считался только со своими безмерными, как это опять же представлялось многим, притязаниями и желаниями, тогда как сам для себя, то есть по убежденности своей, лишь не хотел быть рабом, пусть даже в высоком, вельможном значении, и предпочитал свободу мыслей и дел свободе внутренней, коей, впрочем, и ныне так любят со щедростью награждать нас правители Кремля и Церкви; да, сей невысокий, в чем-то даже казавшийся тщедушным, мелочным князь Иван Бельский был рожден словно бы не для своей эпохи, как оценили бы мы подобного деятеля сегодня, приложив к этому редкостному, в общем-то, явлению, когда пробужденное достоинство делает человека действительно человеком, свою будто бы объясняющую все и в то же время ничего не объясняющую мерку; во всяком случае, не в действиях, которые можно было легко нейтрализовать, а именно в характере князя Ивана Бельского видели Шуйские для себя угрозу, они чувствовали в нем точно ту же душевную стойкость и волю, какую осознавали в себе, и, столкнувшись, как стенка на стенку в сельском кулачном бою, тем сильнее напирала на нее, чем яростней встречали сопротивление. Мне иногда кажется, что если бы в свое время не воевода князь Василий Шуйский, а Иван Бельский оборонял Смоленск, то предпринял бы еще нечто более решительное и жестокое, чем только расставленные на городской стене виселицы со вздернутыми на них инакомыслящими горожанами для устрашения осаждающих; но у истории нет повторных дорог со столь же громкой повторной славой; чтобы найти свое, князю Ивану Бельскому предстояло выбрать (без выбора, в сущности) иную, на первый взгляд, противоположную Шуйским дорогу — не через зло, а будто бы через добро, но к той же цели, а потому и методы, коими принужден был действовать, производили на фоне кровавых приемов противоположной стороны благоприятное на всех впечатление.

СXL

Однако с каких бы высот мы ни смотрели на жизнь, тем более на прошедшую, и как бы ни обобщали все в ней, разделяя на белое и черное, то есть хорошее, приемлемое для нас, и нехорошее, неприемлемое (и чем контрастней, тем будто бы лучше), на самом деле нет в ней ничего, что могло бы предстать в однородном, очищенном виде; как в природе, так и в явлениях общественной жизни или деяниях личности все настолько многогранно и так соединено, стусшевано переходными, вводящими в заблуждение красками, что одно и то же событие то предстает в ярком, возвышающем народ и личность свете, то оборачивается такой стороной, что, кроме неприятия и осуждения, ничего не вызывает в душе. Понятие «достоинство» тоже как будто бы однозначно. Но и достигается, и проявляется в человеке это чувство столь по-разному, что вместо величия открывается вдруг такая чернота, о какой бывает даже страшно помыслить, чтобы она могла гнездиться в человеческой душе. Нечто подобное, хотя и не в столь завершенном виде, можно было бы при желании разглядеть и в поступках князя Ивана Бельского. Когда после смерти Иоаннова отца Великого Князя и Государя Василия III между боярами возникло сомнение, венчать ли малолетнего Иоанна на государство или не венчать, — лишь из благих будто бы побуждений, как подавалось ими теперь, что державе нужен не малолетний отрок с матерью-опекушкой, а муж зрелый, достойный да к тому же имеющий право на великокняжеский престол, князь Иван Бельский решительно взял сторону старицкого князя Андрея, поставив себя изначально уже в противники Иоанна. Не без содействия временщиков правительница Елена тут же отправила его в заточение, а когда после ее смерти опального князя вернули ко Двору, — словно небезызвестный нынешний форосский «заточник», не потрудившийся даже узнать, в какую страну вернулся после своего «заточения», князь Иван, полагая, что ни юный Государь, ни его окружение не смогут до конца простить ему содеянное, возобновил в прежнем же духе свои интриги и был опять, но теперь уже Шуйскими, взявшимися опекать Государя и государев престол, отправлен в темницу. Ему, видимо, казалось,

что он страдал безвинно, и осознание этого, что с ним поступили несправедливо, как раз и пробуждало в нем то чувство упрямства и гордости, с каким, освобожденный по ходатайству Иоасафа, он и явился во дворец. Столь же прямолинейный в душе, как и Шуйские, но достаточно наученный жизнью и не желавший более возвращаться в темницу, он хотя и принялся за свое, но с осторожностью, подавляя в себе, когда нужно, и прыть, и гордость, и потребность немедленной и жестокой мести. Чтобы войти в доверие к юному Государю, перед которым, конечно же, надо было еще найти способ оправдаться, князь Иван Бельский старался как можно искреннее выказывать послушание, преданность и ревность к службе, а чтобы приободрить и привлечь к себе запуганных и разогнанных Шуйскими по монастырям прежних сторонников (ведь и ныне ни премьерам, ни президентам не усидеть без определенной партийной поддержки в своих чиновных креслах), решил во что бы то ни стало похлопотать перед Государем за сына старицкого князя Андрея Владимира Андреевича и его мать, княгиню Ефросинью. Он понимал, что снять с них опалу и вернуть в Москву будет непросто; но еще более понимал, насколько важно было предпринять этот шаг; с одной стороны, если дело увенчается успехом, он мог бы сразу предстать перед всеми как человек, не меняющий ни своих взглядов, ни позиций, в котором темница не надломила духа правоты, а с другой — предстал бы перед Государем при определенной подаче как блюститель его, то есть государевых, интересов, справедливый, добросердечный, милостивый; да что может быть важнее для венценосца, чем подобная, основанная на поступках молва о нем в державе? Тщательно обдумав все, князь Иван решил действовать на юного Государя через митрополита Иоасафа; митрополит же, которого не требовалось в его упоенности и слепоте долго склонять к тому, что само по себе уже заключало доброе начало, столь ретиво взялся за дело, что не прошло и месяца, как Владимир Андреевич с матерью княгиней Ефросиньей, ко всеобщему удивлению и гневу Шуйских, были уже в Москве и явились к великокняжескому Двору, а затем возвращена была им и прежняя отцовская вотчина — Старица с прилежавшими землями, — и не велено было только держать

прежних бояр, которые тут же были заменены новыми. Нужно ли говорить, как это вдохновило князя Ивана да и митрополита Иоасафа; оба они, но особенно князь Иван, незыблемо уже, казалось, утвердившийся на первобоярском месте, — оба с еще большим основанием, чем после торжества над Саип-Гиреем, позволяли себе ликовать душой; митрополит — потому, что в совершившемся увидел новый знак Божьей благодати, сошедшей на державу, а первобоярин князь Иван Бельский — потому, что с иным, чем даже мог предположить, достоинством вышел из труднейшего для себя положения при Дворе. Вслед за Владимиром Андреевичем и княгиней Ефросиньей он снял опалу еще с некоторых важных для себя княжеских особ, но чем сильнее укреплялся в своей первобоярской власти и чем ошутимее становилось его влияние на юного Иоанна, тем с большей озлобленностью присматривались к его деяниям Шуйские и тем решительней, сносаясь из Москвы с Владимиром и Новгородом, заговорщики готовились к восстановлению поправных будто бы митрополитом Иоасафом и князем Иваном Бельским своих исконных прав.

Но внешне — как в державе, так и в великокняжеском дворце и в соборе Успения — ничто, казалось, не собиралось менять своего привычного житейского ритма, простой люд по городам, посадам, деревням спешил наверстать упущенное в делах за время похода на крымцев и за дни столичных торжеств, по обителям, истязая плоть, усердствовали чернецы, схимники, без усталости хваля Господа за сие щедро предоставленное им право (неужели кто-то и в самом деле полагает, что подобным образом можно спасти погрязшее в грехах человечество и что путь мученичества, пройденный Спасителем, есть единственно очистительный, по которому следует идти?); в Москву, в Новгород на торжища спешили купцы — отечественные, закордонные, чтобы не упустить выгодных сделок и барышей, тянулся люд мастеровой, посадский со своими поделками; приближалась пора свадеб, осенних престольных празднеств, по утрам ложилась на стерню серебристая изморозь, лоскутно чернели со взгорий убранные нивы, оголялись леса, и кому на этом немалом пространстве русской земли было дело до тех дворцовых по дележу власти страстей, коими отяг-

чались боярско-княжеские кланы Бельских и Шуйских? Нет, кто бы и что ни говорил мне, а власть всегда — только номинально считалось, что печется о благе народа и правит им; народ как жил своей закольцованной кругом насущных забот жизнью, брошенный на произвол судьбы, на выживание, так и живет — в веках, в неистребимом обмане, а правители — в своей и тоже замкнутой в себе непрерывной схватке за власть. У первобоярина князя Ивана Бельского, как и у первобоярина князя Ивана Шуйского, была одна и та же цель — главенствовать поверх юного Государя в державе, и только лишь методы достижения ее — поступать противоположно тому, как поступает противник, — были разными и по своей отталкивающей и привлекательной значимости. Все, что делал князь Иван Бельский, — все, все являло собой для внешнего восприятия неподдельное будто бы бескорыстие, устремленное лишь к одному — к добру и согласию; все, все, разумеется, благодаря стараниям митрополита Иоасафа, казалось наполненным христианской благочестивостью, и в плане этого-то христианского всепрощения князь Иван Бельский и заговорил с Первосвятителем о своем убиенном под Пронском брате, князе Симеоне, как о заблудшем будто бы мученике, который не знал, что творил, и за смятенную душу которого следовало бы просить Бога, чтобы принял покаяние и дал ей вечный покой. Однако суть задуманного князем Иваном Бельским дела заключалась не в обращении к Богу, а в обращении к Государю, чтобы разрешил перевезти прах убитого князя в Москву и предать земле в фамильной княжеской церкви. Дело это было настолько деликатным (ведь все, вплоть до юного Иоанна, знали о предательской роли Симеона в наведении крымцев на Русь), что Иоасаф, обычно скорый на поддержку добрых начал, на этот раз долго обдумывал, прежде чем положил дать свое святительское согласие. Обратившись к святому писанию и найдя нужный пример, он зачастил затем с беседами к Государю, а когда юный Иоанн, восприимчивый, как и все в его годы, к Божьему слову, присоединился к церковному посмертному печалованию, на дворе уже был декабрь, трещали морозы, реки сковались льдом, дороги установились, так что в самую пору было снарядить конвой и подводы в Пронск за прахом убиенного

князя. Старший из Бельских князь Дмитрий, стоявший главным воеводой со своим полком на Оке перед Саип-Гиреем, хотя и не выступил против затеи брата, на что имел и гражданское, и всякое иное право, но от участия решительно отказался и, полагая, что рано ли, поздно ли, а за подобные «христианские» поступки придется держать ответ, словно медведь в берлоге, залег на своем подворье, и все приготовления в дорогу проходили лишь под присмотром князя Ивана да Первосвященника Иоасафа. Отправлявшихся в Пронск бояр и детей боярских привели к крестному целованию на верность князю Ивану, а затем, после молебна в церкви, в которой как раз и предстояло предать земле прах князя Симеона, бояре и дети боярские сели в сани и на коней, и поутру, но затемно еще, чтобы не вызвать ненужных толков, обоз с конвоем покинул Москву. Дорога предстояла долгая и опасная, так как Шуйские, прознав, могли перехватить на обратном пути обоз, и, чтобы не допустить нежелательного поворота событий, князь Иван выслал на дорогу дополнительные подставы охранников. Но, несмотря на эти принятые меры, беспокойство не отпускало ни князя Ивана, ни митрополита, словно вот-вот что-то должно было разразиться над ними и захлестнуть их; ведь не только Шуйским, но и народу небезразлично было подобное перезахоронение, когда, в сущности, изменнику отдавались почести; но — как и в Москве, так и по всей России, отчужденной от кремлевских страстей, все готовились к празднеству Рождества Христова, на площадях шумели зимние ярмарочные базары, одни покупали, другие торговали — всем, бойко, с прибаутками, веселя неприхотливый в житейской своей повседневности российский люд, в соборах, церквях, в монастырях, даже в кельях отшельников — всюду все начищалось, прихорашивалось в преддверии славного церковного торжества; но как ни успокоительно было смотреть на эту общую (от неведения) умиротворенность, ни князь Иван Бельский, ни митрополит Иоасаф не могли унять душевной тревоги, и тяжелое предчувствие тем сильнее охватывало их, чем тише, словно перед грозой, вели себя Шуйские и чем дольше не поступало вестей от посланных за прахом князя Симеона бояр.

CXLI

Но князья Шуйские действовали совсем иначе, чем думала о них противоположная сторона, и не высылали людей на перехват обоза; заниматься мелочами — это было не с руки им, они полагали по провинциальной своей напористости и прямоте, что, коли рубить, так уж под корень, чтобы раз и навсегда лишить Бельских самой возможности верховодить в державе. «Какие они родственники Государю?» — говорили Шуйские, отвечая на ту крепнувшую среди бояр и народа молву, какую прикрывались Бельские. Родство сих выходцев из Литвы с московским правящим Домом и в самом деле было столь отдаленным, сомнительным и случайным, что Шуйские не то чтобы совсем не признавали его, но прежде и выше подобной породненности ставили то родственное начало, которое уходило основанием к прародителю Рюрику и к более близкому прародителю Великому Князю Александру Ярославичу Невскому, чьи сыновья Андрей и Даниил, сев соответственно на уделы Суздальский (Тверской) и Московский, породили ветвь князей суздальских — Шуйских и ветвь князей, а затем великих князей и царей московских. Уже само это право на власть, позволявшее претендовать не только на первоначальное боярство, но при случае и на великокняжеский трон (что, кстати, в свое время и попытался сделать боярин князь Василий Шуйский, объявив себя в думе после расправы над дьяком Мишуриным, Иваном Бельским и митрополитом Даниилом равным с Государем), — само это право, столь бесцеремонно узурпированное ныне выходцем из Литвы, открывало князьям Шуйским простор для действий. Их замысел был прост, как вообще бывают просты замыслы людей, полагающихся не на здравый смысл, не на доводы, а на силу, и, как, впрочем, испокон повелось у нас на Руси — кто смел, тот и съел, кто первым занес меч, тот и сечет голову; силой ставятся троны и создаются державы, и хотя сама по себе мысль эта не нова, но для объяснения нашей истории имеет особое значение, потому что все, что сотворено в ней, сотворено силой, начиная с навязанного понятия «русь» (в переводе: дружина, войско) и до крещения в водах Днепра и всех последующих катаклизмов, конца и края которым нет и поныне. А

ведь все в том, что с первого шага нашей столь прославляемой государственности и по сегодняшний день не стихают схватки за власть; дрались, истребляя народ, за великокняжеский стол, за уделы, за роли при Дворе — вторые, третьи, четвертые, начав еще до Ивана Калиты и не прекратив доныне, как если бы, некогда взяв наши города и землю «на щит», князя Рюриковичи положили растянуть трехдневное свое «право» грабежа и насилий на тысячелетие, так что и Шуйские, и Бельские лишь следовали традиции и ни в чем не могли упрекнуть себя. Под прикрытием праздника Рождества Христова они спешили провернуть каждый свое дело; князь Иван Бельский с Иоасафом — успеть с перезахоронением, князя Шуйские — сосредоточить силы для решительных действий. В то время как из Пронска, переменяя лошадей на подставах, люди Бельского и Иоасафа мчались с прахом князя Симеона в Москву, из Новгорода, и тоже спешно, подъезжали к стольному граду на санях житые мужики, готовые не столько постоять за Шуйских, сколько отомстить москалям за недавнюю и памятную им расправу над земляками; словно бы на церковные торжества прибыл в Москву и новгородский архиепископ Макарий, а из Владимира группами и поодиночке стекались ратники и дети боярские, целовавшие волею ли, неволею ли крест на верность своему воеводе боярину князю Ивану Шуйскому, так что — хотя в Рождественском колокольном благовесте, разливавшемся над Москвой, казалось, не было и намека на то затаенно-тревожное, что сгущалось над великокняжеским дворцом, митрополичьими палатами и подворьем первобоярина князя Ивана Бельского, — и Иоасаф, и Макарий, сидевший у него в гостях, как и князя Бельские и Шуйские, попрятавшиеся по своим княжеским хоромам, каждый со своей настороженностью вслушивался в сей праздничный колокольный звон.

Главные события по плану заговорщиков должны были развернуться в ночь со второго на третье января, когда Рождественские торжества уже сходили на нет, а будни ни в народе, ни в великокняжеском дворце, ни в думе еще не начинались, и в этом ленном междуделье, когда все в человеке еще расслаблено, неспешны мысли и нет собранности, — в этом-то ленном междуделье и намечались застать и схватить своих противников

Шуйские. Еще первого днем Иван Шуйский призвал к себе сына, князя Петра, и Ивана Большого Шереметева и, наказав им с тремя сотнями дружинников ехать из Владимира в Москву, спустя час (и, естественно, без великокняжеского на то согласия, что по тем временам считалось тягчайшим делом), нагнав их по санной дороге с советниками, возглавил отряд. Второго числа около полуночи конники, миновав распахнувшиеся перед ними городские ворота, сразу же на рысях двинулись в Кремль к подворью Бельского. Надо заметить, что все заговорщики были разделены на группы, и каждая группа имела свое задание. Несколькими часами раньше, чем князь Шуйский вместе с сыном и дружиной появился в Кремле, соучастники дела князя Михайла и Дмитрий Кубенские, князь Дмитрий Палецкий вместе с казначеем Иваном Третьяковым и верными им детьми боярскими успели уже схватить двух главных советников свергнувшегося князя Петра Щенятева и Ивана Хабарова, причем Щенятева взяли «у Государя из комнаты задними дверями», так что не успевший ничего сообразить Иоанн услышал только стук, шум и возню за дверью. Он послал было оказавшегося под рукой казначея Третьякова узнать, что там произошло, и, услышав, что «ничего, так, холопы что-то уронили», вскоре уже спал, уложенный в кровать мамкой-боярыней. Новгородцы же еще не включались в дело. Им предстояло, присоединившись к конникам Шуйского, обложить подворье перво боярина князя Бельского, который, и заговорщики это знали, держал теперь удвоенную охрану. Спешившись, цепью конники и новгородцы оцепили подворье, кинулись к воротам, вышибли их — и началась та упорная сеча, которая длилась более часа, пока дети боярские и ратники Шуйского вместе с новгородцами пробилась к крыльцу и ворвались в дом. Видя упорство и чтобы ускорить дело, князь Шуйский в первых рядах с мечом пробивался к парадному входу (сражение шло и у черного входа, где бился его сын, князь Петр, с Иваном Большим Шереметевым); люди кололи друг друга, падали, заливая и окрашивая снег своей теплой кровью, отовсюду слышались стоны, крики, лязганье металла о металл, и морозно-бледный серп ущербной луны тускло освещал это кремлевское ради замены власти властью побоище, этих погибавших неведомо

за что русских людей, о которых нельзя будет даже сказать, что они отдали жизни за отечество. Первобоярин князь Иван Бельский, понимая, что ему некуда деться, но и не находя в себе сил взяться за меч (он и всегда-то не отличался воинственностью, а предпочитал действовать умом, смекалкой, хитростью), одевшись во все боярское, ожидал своей участи. Он не произнес ни звука, когда ворвавшиеся дети боярские и новгородцы сбили его с ног и, заломив руки, принялись надевать на него колоду, и ничего не ответил Шуйскому, когда тот, войдя и пнув ногой поверженного князя, злорадно спросил: «Ну что, первобоярин?» Затем, взяв за ноги, Бельского волоком вытащили из палат, бросили в сани и отправили на подворье к Шуйским, где уже закованные в такие же колоды лежали на снегу другие схваченные заговорщиками князя.

Покончив с Бельским, то есть побив еще оставшихся в живых холопьев и разграбив дом, люди Шуйского вместе с самим князем двинулись к митрополичьим палатам, но Иоасафа в них уже не было. Полагая, что в великокняжеском дворце заговорщики не смогут достать его, он кинулся было туда, чтобы укрыться, но люди Шуйского бросились за ним; Иоасаф, обезумев, ринулся в спальню к Иоанну (было около трех ночи), на шум туда, взяв подсвечник с зажженными свечами, вбежала мамка-боярыня и, увидев чью-то согнутую черную фигуру возле кровати Государя, а самого Государя — стоящим во весь рост в ночной рубашке на постели с подушкой в руке и готовым то ли прикрыться, то ли отбиваться ею, ринулась к нему, как в то памятное и ей, и Иоанну утро, когда в окровавленных доспехах вдруг объявился в детской князь Василий Васильевич Шуйский. Но в это время из коридора донесся топот приближавшихся к государевой опочивальне вооруженных людей — житых новгородцев, детей боярских и ратников, — и Иоасаф, понимая, что и здесь, у Государя, не укрыться ему, кинулся к задней двери и исчез в ней. Ворвавшиеся, разглядев, что митрополита нет, шумно, толпой, будто они были не в спальне Государя и будто не Государь, заслоненный мамкой-боярыней в ужасе смотрит на них, — шумно, толпой ринулись вслед за Иоасафом к оставленной им раскрытой двери. Затем все стихло, но Иоанн, утешаемый мамкой-боярыней,

столь же, впрочем, испуганной, как и он, так и сидел до рассвета, дрожа и не смыкая глаз, и из-под ее руки оглядывал тускло освещенное пустое пространство спальни; может быть, если есть черта, отчуждающая человека от детства, то для него она пролегла именно через эту страшную и пробудившую все темные силы в нем ночь, когда вместо подростковой беспечности на хрупкие еще плечи будущего самодержца всея Руси взваливалась тяжесть грядущих венценосных забот.

СХЛII

Заговорщики между тем продолжали свирепствовать, они нагнали Иоасафа уже на Троицком подворье, сорвали с него святительские одежды и добились бы до смерти, если бы игумен Алексей, оказавшийся на подворье, и подоспевший князь Дмитрий Палецкий не остановили именем святого Сергия их. Особенно зверствовали новгородцы, для которых Иоасаф был воплощением ненавистных им москалей. Полуживого или, вернее, полумертвого Иоасафа приволокли на двор к Шуйским, где для него, как и для всех, кто был схвачен в эту ночь вместе с князем Иваном Бельским, приготовлены были конвой и сани, чтобы отправить в заточение. Шуйские торопились. Им, как и всегда, хотелось все завершить потемну, и, когда тихой морозной синевой забрезжил на востоке рассвет, санный обоз, в котором везли колодников, сопровождаемый тремьятами детьми боярскими под началом юного князя Петра Шуйского и Ивана Большого Шереметева, уже был на выезде из Москвы. История знает много курьезных и драматических случайностей, и, видимо, не иначе как к одной из подобных случайностей следует отнести и эту, что в сей рассветный час произошла с князем Иваном Бельским и митрополитом Иоасафом. В то время как их вывозили из Москвы, навстречу им двигался к городским воротам другой обоз, доставлявший по их повелению прах князя Симеона в столицу для перезахоронения. Встречные, повернув к обочине, чтобы уступить дорогу (по малочисленности своей они не могли поступить иначе), с удивлением и ужасом увидели своего князя в колоде и, не зная, что предпринять и как им быть теперь, долго затем, словно сцепенев, смотрели вслед удалявшемуся обозу.

Хорошо ли это или плохо, но люди привыкают ко всему. В малолетство же Иоанна, как и в правление его матери Елены, в Москве столь часто происходили боярские, так я бы назвал их, перевороты и погромы, что зрелища разграбленных в Кремле подворий, митрополичьих ли, боярских ли (лишь великокняжеский дворец оставался нетронутым), не вызывали уже ни у кого удивления; говорили только, что «опять бояре дерутся», и толпы зевак приходили посмотреть на результаты побоищ, а при случае, если удастся, и прихватить, что было еще не унесено и бесхозно валялось во дворе или в доме. Иногда возникали попытки продолжить погром, ведь охочих поживиться за счет разбоя всегда, как и теперь, достаточно, но толпы сих возбужденных горожан разгонялись, и в примолкнувшем, укрывшемся по домам народе лишь нарастало тревожное предчувствие надвигавшихся на державу смут. На сей раз первобоярин князь Иван Шуйский сам решил съездить к разграбленному подворью Бельского и митрополичьим палатам, чтобы посмотреть на свои ночные дела. На коне под красной попоной, сыто гарцевавшем под ним, и в окружении столь же молодецкато сидевших на конях детей боярских он въехал на площадь, и то ли оттого, что одет был по-царски и боярская шуба его и шапка, шитые золотой нитью, еще издали выдавали в нем высокородство, соединенное с немеренным будто, несместным богатством («А все из царской казны», — как позднее в ответах Курбскому писал Иоанн), то ли оттого, что держался с царственной гордостью, глядя только поверх голов и не замечая или не желая никого замечать вокруг, — люди, словно перед царем, торопливо снимали перед ним шапки, и, чтобы еще более придать своей персоне величия, князь придержал коня и швырнул в толпу несколько горстей приготовленных им для этого монет. Затем, приказав детям боярским отогнать от подворья зевак, осмотрел валявшиеся на снегу окоченелые от мороза трупы. Издали, примолкнув, толпа наблюдала за ним; безмолвствовали за спиной и дети боярские, и даже кони под ними, словно осознавая трагичность минуты, замерли в напряженном спокойствии. Глухо, безлюдно, казалось, было в великокняжеском дворце, и столь же глухо, безлюдно в соборах Успения и Благовещения, как будто не только никто из свящи-

телей, но и никто из бояр не смел появиться на площади, и упоенному успехом Шуйскому, несомненно, должно было казаться, что ни при Иоанновом Дворе, ни в державе вообще не было уже силы, которая способна была бы противостоять ему. Распорядившись, чтобы заиндевелые трупы стаскивали к Москве-реке и спускали их там под лед, он еще постоял несколько, пока не началось сие страшное (заметание следов, как мы бы сказали теперь) дело, и затем нехотя, тем же неспешным игривым наметом направился к своему подворью.

Несмотря на мороз, который, казалось, чем выше поднималось солнце и полнее разгорался день, тем злее, колючее хватал за нос, щеки, уши, во дворе Шуйских и за воротами, на улице, было полно народу; ратники, дети боярские, житые новгородцы — все были, как и сам первобоярин князь Шуйский, под впечатлением успешно завершеного ночного дела и не хотели расходиться. На черном дворе забивали и освеживали скотину, под разведенными кострами кипели чаны, и мясники в окровенелых фартуках то и дело подходили к кострам, чтобы погреть руки; за стенку по желобку стекала, дымясь испариной, теплая телячья кровь, и стая собак, с визгом и лаем накидываясь друг на друга, слизывала ее. Костры горели и во дворе, и за воротами; жгли то ли старое сено, то ли солому, чадившую белым едучим дымом, и отовсюду, как в ратных станах после победной сечи, слышались оживленные голоса, сыпались шуточки, как если бы и в самом деле благо жизни только в том и состояло, чтобы отдаться этим бездумным минутам торжества, не заботясь ни о чем. Не желали упускать своего и новгородцы. Они сновали меж груженных саней, стоявших и у ворот, и дальше вдоль дороги готовыми к выезду, и двором, где разливалось питье и подавались яства, и по их раскрасневшимся лицам нетрудно было понять, что они довольны делом, на которое были приглашены, и что готовы и впредь держать сторону своего заступника, как они называли князя, на коне под красной попоной подъезжавшего к ним. Сани новгородцев были полны награбленного; лошаденки их в хомутах и под дугой, лишь с расслабленными супоньями и чрессельниками жевали овес, взятый из митрополичьих амбаров и амбаров Бельского, и вид этого обоза и

житых новгородских мужиков, кинувшихся с поклоном к по-царски подъехавшему князю, напоминал скорее нечто будничное, связанное с неспешной крестьянской жизнью, чем с только что отшумевшим разбоем; княжеским самоуправством и дележом власти. Первобоярин князь Иван Шуйский придержал коня, поблагодарил житых новгородцев за усердие, затем точно так же поблагодарил ратников и детей боярских, что толклись во дворе, и, спешившись и опережаемый дворовыми холопами, кинувшимися распахнуть перед ним дверь, вошел в палаты, где давно уже ждали его князья-родичи от всех ветвей этого могущественного старинного рода, князья Кубенские, Палецкий и верные им бояре, дети боярские, приглашенные каждый по своим заслугам за сей пиршеский хозяйский стол.

Полагаю, что люди и тогда, и теперь, подобным образом захватывающие власть, не думают или, вернее, не способны всерьез задуматься над последствиями своих деяний. Временщик, до каких бы высот значимости ни добирался — кровавым ли, бескровным ли путем, то есть путем интриг и оговоров, — всегда остается лишь временщиком, и приходит день, когда ему не перед Божьим, нет, а перед судом земным, царским, иногда и судом народа выпадает держать ответ; и тогда тот же палаческий топор, что безжалостно сек головы противников, — тот же топор, но с еще большей жестокостью опускается на шеи тех, кому не хотелось жить в добре и мире, как живут или по крайней мере должны жить все люди, а хотелось больше, больше, чем уже имелось у них, обрести богатств, славы и власти. Никому в сводчатой палате Шуйских, кто сидел теперь за пиршеским столом, глаголя о справедливости, кичась силой и искренне полагая, что и Государь всея Руси Иоанн, будто век ему находиться в малолетстве, ни в чем не указ им, и в голову не приходило оглянуться на свое будущее, тем более на будущее народа; народу предстояло лишь еще более разориться от наместников, которых разошлют по волостям сии brave победители (ведь суть временщиков — грабь, сколько успеешь); бояр же и князей ждали заточение и казнь. Уже через несколько недель первобоярина князя Ивана Шуйского, как и предшественника его первобоярина князя Василия Васильевича настигнет случайная смерть — приляжет после заутре-

ни и завтрака на часок отдохнуть да так и не встанет и в тот же день (для чего бы спешить?) будет предан земле; еще более страшная участь была уже, в сущности, уготована и боярину князю Андрею Шуйскому, и Кубенским, и Палецкому, но — не будем забегать вперед; первобоярин князь Иван, посаженный во главе стола, произнес здравицу в честь своего могущественного клана, не забыв упомянуть и о правах на великокняжеский престол, затем провозглашена была здравица в честь самого князя, и, так как содеянное все же требовалось узаконить, сразу после застолья все сели на коней и поехали к архиепископу Макарию, чтобы, получив благословение, вместе с ним отправиться к Государю.

СХLIII

Всю рождественскую неделю новгородский архиепископ Макарий был гостем митрополита Иоасафа, помогал ему в торжественных богослужениях, но в ночь со второго на третье января, как совершиться перевороту, попросил отпустить его в кремлевский Чудов монастырь, где он намеревался, уединившись на день, другой в келье и предавшись молитвам, пообщаться с Богом и еще более укрепиться в вере и благочестии. Подобное желание не вызвало ни у кого ни сомнений, ни подозрений, тем более что и сам Иоасаф любил прибегать к затворничеству, когда испытывал потребность сообразоваться с обстоятельствами жизни и обдумать свои замыслы и дела. К тому же тогдашний настоятель Чудова монастыря Афанасий, будущий царский духовник, митрополит и Первосвяtitель всея Руси (он примет сей высóкий сан после первосвяtitельства Макария), — Афанасий был близко знаком с новгородским архиепископом, придерживался одинаковых с ним взглядов на церковные и монастырские порядки, восхищался его Четвями и даже, сколько мог помогал в составлении их и рад был теперь принять у себя столь чтившегося в тогдашнем святительском мире иерарха. Макарий явился сразу же после обедни и сразу же пожелал удалиться в келью, чем не столько удивил, сколько огорчил Афанасия, так как стол в трапезной был уже накрыт, а чудовский

настоятель не был еще так стар, чтобы пренебрегать чревоугодием. Но просьба есть просьба, дело житейское, как сказали бы в миру, и столь же приложимо к бытию церковному или монастырскому; тяга к уединению есть потребность души в общении с Богом, искушение сие свято, и никто не вправе чинить человеку препятствие на этом пути. Афанасий отвел гостя в теплую, скромно, но уютно обставленную келью, в которой можно было и от души помолиться, и прилечь, если от бденных изнеможений захочется отдохнуть, и, продолжая удивляться молчаливости и задумчивости новгородского архиепископа, но не позволяя себе ничего дурного подумать о нем, перекрестился и, поклонившись, удалился к себе. Он тоже не пошел в трапезную, а усеченно, как сказал келарю (и в знак солидарности с Макарием, как мы бы решили теперь), но исходя все же из своих потребностей, велел принести в келью хлеб и сочиво (из нескольких, заметим, блюд), и затем в том получасовом забытьи, в каком тогда уже любил пребывать после обильного ли, не обильного ли принятия пищи, вновь принялся размышлять о странном, как ему показалось, поведении Макария. Мы почему-то полагаем, что служители церкви — люди не то чтобы исключительные (в том плане, что отдалены от всего мирского, без чего нет и не может быть для нас жизни), но, находясь в некоей постоянной будто бы святости, только и делают, что либо молитвенно стоят перед иконостасами, либо корпят над святыми писаниями, не позволяя себе хоть на что-нибудь отвлечься от своих богоугодных дел. Однако это не так. Все, что присуще человеку, присуще и святителю, в каком бы звании или сане ни пребывал, и чаще мирское, потому что в движении задевает служителя больше, чем церковное, то есть неизменное, статичное (из века в век!), и — за молитвенным шевелением губ, за аскетической угрюмостью и озабоченностью, если бы в эти минуты возможно было заглянуть в человеческую душу, часто скрываются не мысли о Боге, а мысли о земном, о тех насущных интересах народа, личности, о которых так ли, иначе ли обречен думать каждый из нас. Как человек наблюдательный и тогда уже близкий к придворной жизни, Афанасий хотя и не был осведомлен о заговоре, но, как и многие при Дворе, чувствовал, что готовилось что-то недо-

брое, должное завершиться не иначе как новыми опалами или кровью; придет ли это со стороны князей Бельских или со стороны князей Шуйских, что представлялось более вероятным, так как от государственных дел оттеснены были именно Шуйские, Афанасий не знал; по слухам, доходившим от монахов, ему известно было только, что накануне Рождества Христова со двора перво боярина князя Ивана Бельского в ночь, тайно, отправлены были на какое-то дело военные люди с обозом и что в самый уже день Рождества в кремлевских церквах и на площадях перед ними замечены были явившиеся для чего-то житые новгородские мужики; они словно что-то высматривали или выведывали, слоняясь с утра до вечера по Кремлю, и эти-то столь неопределенные, урывочные сведения, которые Афанасий пытался соединить в нечто более ясное, вразумительное, как раз и занимали его. Князья Шуйские, житые новгородцы и новгородский же архиепископ Макарий, — все это казалось ему не случайным. Шуйские и новгородцы всегда стояли заодно и, добавим, были в тязбах с Москвой и московским великокняжеским Домом, и обстоятельство это только подогревало интерес чудовского настоятеля. Но и Макарий был не в лучшем положении. До него доходили слухи (через Шуйских, несомненно, усердствовавших в этом), что Государь будто бы недоволен Иоасафом, что и за князем Иваном Бельским, забравшим много власти, открылись какие-то тяжкие «неправды» и что в самом скором времени следует ожидать соответствующих перемен при Дворе. Насколько правдивыми или ложными были эти сведения, трудно было предположить. Но когда в канун рождественских торжеств Шуйские дали понять Макарию, что желательно было бы, чтобы в эти дни он находился в Москве, новгородский архиепископ не мог не догадаться, для каких дел его приглашали. Но он не сразу решился на эту нелегкую тогда уже для него по зимней, метельной дороге поездку. Человек энциклопедических по тем временам знаний, как мы бы сказали о нем (работа его над Четьями уже шла к завершению), Макарий более чем кто-либо из тогдашних церковных деятелей был достоин и сана митрополита, и первосвятительства и вполне мог бы без интриг и домогательств занять сие высочайшее место; еще до поставления Иоасафа об

этом уже настойчиво поговаривали в святительском мире, но — время шло, новгородский архиепископ чувствовал, что стареет, что разговоры о нем могут так и остаться разговорами, если не подтолкнуть события и, полагая, что ожидаемый час настал (ведь Иоасаф, если Государь недоволен им, все равно будет низложен), велел закладывать сани в дорогу. Во всю неделю, пока шли праздничные богослужения, Макарий ни разу не виделся с Шуйскими; но затем к нему вдруг явился боярин от них и посоветовал в ночь со второго на третье января удалиться в Чудов монастырь. Подобный совет был, с одной стороны, унижительным, а с другой — дав согласие на одно, надо было давать и на другое, и как ни трудно было святительской душе его подчиниться мирской воле, но, не находя в этом своем поступке ничего, что в чужих глазах опорочило бы его, — после обедни и обеда у Иоасафа, поразмыслив, послушно отправился в кремлевский Чудов монастырь.

Утомленный более душой, чем физически, он стоял теперь посреди кельи, глядя на стол перед собой, высвеченный сизоватым оконным светом. На выскобленной ножом дощатой поверхности лежало несколько белых салфеток, стояли иконы и подсвечник со свежими, ни разу не зажигавшимися витыми свечами, и хотя Макарию по его душевному настрою было как будто безразлично, что чудовский настоятель приготовил для него (важна не форма, а содержание, как сказали бы мы, обратившись к новейшим философским понятиям), но, заметив эту утонченную предусмотрительность, невольно обернулся на дверь, как если бы Афанасий еще стоял там и можно было поблагодарить его; но возле двери никого не было, и Макарий услышал лишь, или, вернее, показалось, что услышал, удалявшиеся шаги чудовского настоятеля. «Господи, укрепи душу», — крестясь, проговорил Макарий, опять принимаясь разглядывать келью, в которой, он даже не знал пока, сколько дней и ночей придется ему провести, и только чувствовал по тем странным как будто бы сомнениям, начавшим одолевать его, что дни и ночи эту будут нелегкими и что вместо успокоения, столь необходимого теперь, чтобы устоять перед искушающим соблазном власти и, не уронив святости, принять, если окажется на то воля Господня, и сан

митрополита, и первосвятительство, — что вместо успокоения, всегда прежде в уединении приходившего к нему, ворвутся в душу мирские страсти и начнут разъедать ее. Чтобы отвлечься, он старался рассмотреть иконы, сразу же за подсвечником располагавшиеся на столе, но на них нельзя было ничего различить; лики, нимбы, глаза святых угодников, как и оклады и ризы, в которых заключены были угодники, — все, все являло собой лишь одно серое, слитое со стенами, полом и потолком, как серо, неопределенно, неясно было на душе, требовавшей покоя и не находившей его. Еще в Новгороде, когда только собирался в дорогу, Макарий почувствовал, что будто втягивается в какие-то мирские страсти, в которые ни по святительской убежденности, ни по сану не следовало бы ему втягиваться; теперь же, в келье, он не только чувствовал, но точно знал, во что (не по своей, конечно же, воле, как полагал) был втянут, и не столько порочная суть страстей, сколько необратимость произошедшего угнетали его. Не зажигая свечей, он прошел к жесткой, застланной грубым суконным холстом скамье и присел на нее.

CXLIV

Хотя жизнь мирская и жизнь святительская, казалось бы, несовместимы уже по самой своей заданности, но замечено, что человек как в миру, так и за церковными или монастырскими стенами остается одинаково человеком и, стремясь к миру божественному, к его недостижимой таинственности, стремится лишь к созданному воображением идеалу общественных отношений, при которых торжествовали бы только благочестие и порядок и не оставалось бы места насилию и злу; и не случайно потому, что все божественное состоит из очищенного от скверн, то есть возведенного в идеал земного, и еще более не случайно, что все таким образом очеловеченное небесное, словно по каналу обратной связи, в чем и могла бы состоять величайшая роль Церкви, подается людям как изначальный, незыблемый в благородных своих устоях мир вселенного бытия. Он светел (на первый взгляд, конечно же), ясен и прост; вот рай, вот ад и дорога к ним,

как дорога к бессмертию, — пребывать ли человеку в вечном блаженстве или в муках за содеянный и не искупленный в молитвах грех, тогда как в жизни земной, реальной все неустойчиво, подвержено непредсказуемым переменам и вместо святых угодников, хотя и безгласых, но столь понятных в своем значении, приходится сталкиваться с властителями живыми — от чиновника до царя, — каждый из которых со своим нравом и своими запросами славы и живота; да, жизнь земная требует постоянных усилий как физических, так и духовных, чтобы если не преуспевать, то хотя бы с достоинством и в достатке прожить в ней, в то время как в жизни небесной все благородно, стабильно, и надо лишь раз отречься от себя, от всего земного и предаться во власть Бога, как тотчас и душа, и плоть, достигнув желанного идеала, обретут умиротворение и покой. Так и сегодня полагают многие, тяготясь реальным и поддаваясь соблазну идеального, и, возможно, все на самом деле было бы и просто, и приемлемо, если бы не одно важное обстоятельство, о каком, когда речь заходит о канонах церковных, либо забывается, либо замалчивается, что ведь предлагаемый для подражания небесный идеал создан не на основах и потребностях народной жизни, да уж и вовсе не на интересах и потребностях личности, то есть интересах гражданских свобод и ограничений, а по образцу правителя и рабов и в угоду и поддержку незыблемости светской, да-да, именно светской власти. Понимал ли Макарий суть этой главной, отведенной Церкви обратной связи, когда, аккумулируясь в храмах и душах святителей, нисходят к людям не истины добра и процветания, но лишь истины смирения и послушания, сводящие на нет достоинство человека и обрекающие его на вечное невежество и тьму, или, ослепясь иерархическим достатком и благочестием, искренне полагал, что свет в вере, а тьма в неверии и что страсти земные, как и сама реальная жизнь, всего лишь суета сует, уводящая от мыслей и дел спасения, или же, не вдаваясь в подробности, как многие из подвижников нынешних, обратив дела святительские в средство к существованию, выполнял их со старанием и любовью, — ничто так не хранится за семью печатями, как тайна душ, унесенная патриархами ли, царями ли, простолюдинами ли в могилу. Но, однако, Макарий не все унес с собой в

небытие, и знаменитые его Четьи-Минеи (двенадцать книг, по числу месяцев в году) уже самим замыслом своим во многом приоткрывают тайну тайн его нравственных устремлений. Четьи эти говорят нам, что все святительские старания свои он употреблял лишь с одной и ясной ему целью, о которой нельзя сказать иначе, как о желании всеохватного церковного просвещения народа, будто недостаточно было для этого монастырей, церквей, соборов и храмов на Руси и проповедников в них, и как о стремлении установить в земной, реальной жизни тот же порядок вещей и дел, в веках наделено вселенское божественное начало. Лишь при неизменном смирении, когда каждая человеческая душа, словно копия с оригиналом, будет сверяться с каноном церковной жизни, — лишь при этом условии, Макарий понимал (инстинктивно ли, осознанно ли — другой вопрос), возможно будет до вечности продлевать и свое, и всякое иное иерархическое благополучие. Конечно, в сравнении с Иоанновым реформированием — введением опричнины — это выглядело прогрессом; во всех городах и весях державы, в каждой семье и для каждого человека всякий новый день должен был начинаться с определенной, предписанной Четьями молитвы, с чествования одного и того же для всех святого угодника, читать житие только означенного на этот день мученика-чудотворца, соответственно и есть, и пить, и работать — и так из месяца в месяц, из года в год, из поколения в поколение, строго, судьбоносно, с усердием; и немудрено, что труд сей, удостоившись царских похвал, получил признание и архиерейского собора. Правда, теперь, с отдаления, четко видны две стороны этого явления мирской и духовной российской жизни: с одной — шло приобщение народа к грамоте и чтению, а с другой — сковывалось творческое развитие личности и народа; но ведь не только в рай устилается благими намерениями дорога, и если Макарий и думал о будущем, то лишь в соответствии с тем идеалом, которому отдавал силы, волю и ум. Службы в соборе святой Софьи он перемежал с работой над Четьями и, выходя из одних стен, стен собора, и попадая в другие, стены кельи, где, обставившись свечами и обложившись писаниями греческого и отечественного образца, из коих как раз и складывались Четьи, он не то чтобы намеренно отстранялся от мирс-

ких дел и забот, то есть от состояния и нужд народной жизни, но принужденный силою обстоятельств к этому даже не подозревал, казалось, что есть еще и эта ипостась бытия, и что тот самый люд — деревенский, торговый, мастеровой, — для которого со столь тщательным отбором сплетал свои из церковной (божественной, небесной) нравственности сети, — люд этот нуждался не в путах, не в наручниках, хотя и преподносимых от имени Бога, или Спасителя, а в раскрепощении тех духовных и физических сил, которые привели бы державу к процветанию. Но архиепископ стоял выше понимания этого насущного, земного; он казался себе не столько даже духовником, сколько философом и, полагая, что великая цель не может быть достигнута без великих идеалов, искренне, как и сотни подобных до него, старался донести эти идеалы до народа, ложась и просыпаясь с одной лишь этой мыслью, что служит не только и не столько Церкви, сколько Отечеству. По работоспособности и увлеченности он выглядел подвижником и, как всякий убежденный теоретик, обвинял прежде всего жизнь, если что-либо не согласовывалось в ней с идеей. Мысль об очищении народа через страдания, заключавшая в себе, пожалуй, один из самых крупных, страшных и гибельных для человечества обманов (главное, для простолюдинов), — мысль эта, приемлемая для всех правителей всех эпох и, кстати, усиленно и ныне насаждаемая у нас для тех же, видимо, целей, была не просто основополагающей для Макария, но он принимал ее сердцем, душой и верил, что если и есть путь к спасению, то он пролегает лишь через страдания к покаянию и очищению. О его убежденности и благочестии распространялась молва, имя его обретало вес и значимость среди духовенства и среди прихожан новгородской епископии, и в нем незаметно и независимо будто от него разрасталось тщеславие, сознание величия оборачивалось желанием еще большего величия, взор начинал падать на Первосвятительский трон, и соблазн получить его, возникший еще в момент вручения Четей будущему самодержцу России, — соблазн этот и действия к осуществлению его, сколько бы теперь Макарий ни оправдывался и ни корил себя за оплошность и недосмотр, как раз и привели его в эту мрачную — свечей он все еще не зажигал — келью.

Но всякому или почти всякому человеку, тем более деятелю, хоть раз в жизни приходится сталкиваться с событием, после которого либо круто меняются его взгляды, либо столь же круто изменяется жизнь. Чаще всего подобные события возникают независимо от воли и желания попадающего в них; но случается и так, как теперь с Макарием, когда ситуация, в какой он оказался, была, в сущности, во многом подготовлена им самим для себя, и, несмотря на душевные мучения (мучения совести, как мы бы сказали), которым подвергался сейчас, — и взгляды, и жизнь, обретенные им после этих мучений не только не унижат его в его столь чтимой им святости, но, напротив, возвысят если и не до исторических, то по крайней мере истинно достойных сана митрополита и первосвятительства высот. Нет, он не просто сменит одну иерархическую одежду на другую, на ступень выше приближающую его к Богу, но — и мир воображенный, божественный, и мир реальный, земной, вдруг откроются ему совсем по-иному, в том извечном своем единстве, в каком только и протекает человеческая жизнь, и он, как и предшественник его Иоасаф, не просто отвернется от Шуйских (через год или почти через год), но, отмежевавшись от них, и на Государя будет смотреть не глазами духовного иерарха, прислуживающего трону, а глазами народа, забитого, нищего, погрязшего в бесправии, невежестве и беспросветной темноте. Более чем что-либо скажет об этом его скоропостижная смерть, наступившая почти в самый канун страшных Иоанновых перемен; пожалуй, он один сумеет во всей полноте постичь замысел самодержца — безразборно закабалить духовенство, бояр, народ; но до подобного прозрения надо было еще переступить через эту в келье Чудовской обители ночь, и в то время как Афанасий, гостеприимно предоставивший ему сей теплый кров, терзался догадками, вновь и вновь возвращаясь мыслью не столько к появлению новгородского архиепископа в монастыре, сколько странному его поведению, в то время как боярин князь Иван Шуйский с тремя сотнями детей боярских и ратников, с сыном, князем Петром, и Иваном Большим Шереметевым приближался к крепостным стенам и воротам Москвы, — Макарий, тяжелее всего переносивший неведение, ожидавшее его, как новичок, решившийся на уединение,

только взирал на сгущавшуюся в келье тьму и не знал, к чему приступить.

CXLV

Около полуночи, устав от молитв, архиепископ Макарий снова присел на скамью. На столе, в подсвечнике, ярко горели восковые витые свечи, и лики святых, обрамленные резными окладами, казалось, с каким-то вроде бы укором были обращены на Макария; он видел это и понимал, за что они укоряли его, и хрупкое, с трудом, в молитвах обретенное забытье вновь оборачивалось беспокойством, от которого некуда было деться. Несколько раз он приближался к окну и прислушивался, и хотя с глухого, черного двора, на который оно выходило, не было ничего слышно, Макарию казалось, будто он то ясно улавливал конский топот, и тогда с живостью, насколько позволяло воображение, вставала картина, как отряд вооруженных всадников во главе с боярином князем Иваном Шуйским мчится по укатанной полозьями зимней дороге к митрополичьим палатам, чтобы схватить Иоасафа, то вдруг вместо топота раздавались какие-то возбужденные голоса, крики, даже лязг скрещивающихся мечей, и архиепископа охватывало оцепенение; но затем и тоже вдруг все затихало, словно ни конского топота, ни людских голосов и вовсе не было, а всюду за окном лежала ночь, тихая, морозная, лунная (судя по освещенности окна и изморози на нем), способная покоем своим и таинственностью лишь предварить рождение утра и дня. От окна веяло стужей, местами стекла были покрыты не изморозью, а наледями; добротнo протопленная с вечера, но заметно уже остывшая печь все еще отдавала теплом, и Макарий, подходя к ней, то прислонялся грудью, то спиной к этому на исходе теплу, то грел руки, которые не столько от холода, сколько от все возраставшего беспокойства, словно бы обескровливаясь, не могли отогреться.

Нет, никто, видимо, не может ждать снисходительности от жизни, если пусть даже для Божественных целей отрывается от нее, и ни царские короны, ни одежды святителей не в силах спасти подобного чело-

века от душевных терзаний; действительность мстит каждому, кто осмеливается возвыситься против нее, и если чуть отстраненно посмотреть на Макария, то с ним происходило лишь то неизбежное, что рано или поздно должно было произойти и пробудить к земной, то есть во имя людей, деятельности. Привыкший мыслить и жить не в мире реальных ценностей, а в мире возвышенных, божественных, но несбыточных идеалов, где все-все выглядело четким, ясным, определенным и основательным, и более чем полагававший, что преходящее, то есть земное, может восприниматься только как соблазн, не достойный внимания в сравнении с вечностью, к которой всякий смирением должен готовить себя, он чувствовал теперь, что этот жизненный постулат рушился в нем и что, несмотря на всю свою предубежденность к мирским делам, невольно, как к теплой печке, тянулся теперь к ним, словно не в мире идеалов, нет, а в мире людских страстей таилась главная истина. Сознать это было и непривычно, и странно, и страшно; страшно тем, что не было ясности и что это земное, с чем пришлось столкнуться ему, не поддавалось или почти не поддавалось общению. Отдельно представляли князя Шуйские с их драматическим противоборством с Москвой и привязанностью к Новгороду, для которого, в сущности, ничего значительного, что вернуло бы горожанам свободы, не было сделано ими, да и в самом этом клане отдельно представляли князь Василий, невысказанной жестокостью (виселицами) оборонивший Смоленск и затем расправившийся с Иваном Бельским и дьяком Мишуриным, князь Иван, изгнавший Даниила, а теперь изгонявший Иоасафа, и князь Андрей, уже теперь подававший признаки еще большей жестокости, дерзости и цинизма, чем старшие родичи, — что, какие высшие соображения подвигают их на подобные деяния? Отдельно представлял Новгород с его безысходной, как покажет история, судьбой, отдельно — Москва с ее византийствующим великокняжеским домом, что для Макария, как для новгородского архиепископа, было немаловажно, отдельно — клан Бельских, претендовавший, хотя и тайно вроде бы на великокняжеский трон, отдельно — Иоасаф с его «поставлением» в митрополиты и на первосвятительство и выездами на осле к Государю и народу (ведь истинные

намерения Иоасафа, как это и бывает между современниками, не были известны Макарию), и отдельно — Государь в своем младенчестве и сиротстве, духовенство, бояре при нем, должные поддерживать его, но заботящиеся только о себе, о том своем благополучии, о котором по бренности и преходящей сути всего земного не следовало бы во спасение души даже вспоминать. Отдельно, словно нива, воспроизводящая жизнь, представляла людская масса, взирающая с надеждой на Государя, бояр, князя, тиуна, целовальника, старосту, на церковные маковки с крестами, венчающими их, на Бога; и отдельно все те годы святительского труда: службы, литургии, Четьи и опять службы, литургии и Четьи, — о которых, казалось, не иначе как с теплотой мог думать и вспоминать Макарий. Те людские страсти, что каждодневно кипели за пределами его архиепископских палат и что по привычке можно было бы назвать повседневностью, не то чтобы вовсе не затрагивали его, нет, но по своим убеждениям он не хотел вникать в них; люди приходят в мир и уходят из него, а божественное начало остается, ибо нетленно; иногда ему даже казалось, что он и себя ощущал в этой нетленности как праведник, церковными делами распинающий себя во имя наставления людей на путь смирения и добра. Но та архиепископская, окруженная блгагами и начиненная властью, без которой немислим ни один святительский сан, жизнь его, не менее, впрочем, приземленная (по удовлетворению насущных потребностей), чем любая мирская, — жизнь эта протекала по тем же законам бытия, по которым только и может протекать для всякого человека, взрываясь страстями и насыщаясь желаниями, в том числе и соображениями карьеры, как мы бы сказали теперь, получавшими, конечно же, свое, святительское оправдание. Он и теперь в утешение говорил себе, что не только от Шуйских, но и от Иоасафа было у него приглашение на рождественские торжества в Москву и что, главное, о приглашении Шуйских знали только он да эти означенные князья, тогда как о приглашении Иоасафа известно было и московскому духовенству, и, надо полагать, думным боярам и Государю; но подобная предполагаемая защищенность не успокаивала Макария, и он, как лошадь, приставленная к водозаборнику, шел по кругу этой открывавшейся перед ним мирской жизни.

Было за полночь, когда Макарий прилег. Ему хотелось, забывшись дремотой, отмежеваться от мыслей и чувств, обступавших его, но он не мог сделать этого; ведь душевные мучения происходят не оттого, что человек не знает причин, порождающих их, а оттого, что, зная, не находит сил даже себе открыться в них и устремляется в поиски обходных путей, которые дали бы оправдание. Более чем убежденный в том, что главным для человека является спасение души, ибо она и только она вечна, бессмертна, а плоть есть тлен, оболочка, посылаемая людям для земных испытаний, — когда теперь надо было приложить это важнейшее учение Церкви к себе, он кинулся спасать не душу, а плоть, и, чувствуя, что бессилен на какие-либо иные действия, чем это, на какое решился, как раз и отыскивал для оправдания тот обходной путь, когда бы ничто порочное не упало на его иерархическую чистоту. От жизни реальной он то обращался к святым писаниям и перебирал в памяти те апостольские истины, по которым совершенное им не считалось бы грехом или пороком (в конце концов человеческими поступками руководит Бог и воля и деяния Его не подлежат осуждению), то вновь возвращался в тот обывательский и церковный мир страстей, в котором жили все и жил он — куда более частной, чем святительской жизнью; и в этой частной жизни, то есть в буднях, в каких так ли, иначе ли протекает и жизнь простолюдинов, и жизнь царей, и, несмотря на святительские одежды, протекала и его, архиепископская, — в этих буднях, если повнимательней приглядеться к ним, человек каждодневно, не замечая ничего за собой, печется более о спасении плоти, чем о спасении души, ибо бессмертие бессмертием, рай раем, а без поддержания плоти нет жизни вообще, а значит, по понятиям простолюдинов, нет и бессмертия; Макарий в этом смысле не был да и не мог быть исключением, более того, преступал сей христианский канон не только в житейских мелочах, что, в общем-то, привычно и не должно быть наказано, но и по меркам церковных и государственных интересов, как было, к примеру, после известной расправы над жителями новгородцами, когда принародно на площади перед собором святой Софьи благословил зачинщика и исполнителя этих палаческих дел князя Овчину-Телепнева-Оболенского. Макарий не любил вспоми-

нать об этом; он одновременно и чувствовал вину, и не признавал ее, потому что силою или, вернее, угрозою применить силу был доставлен в собор, а когда сказали, что временщик прибыл, что и свита его, и обоз (несколько подвод с колодами, снятыми с замученных¹ и повешенных новгородцев), и горожане, жавшиеся у оград и возле паперти, все в сборе и пора выходить, — медлил и не решался на сие антицерковное лихо. Он чувствовал, что все то пережитое теперь вновь должно было повториться с ним, и воображение переносило его в то жаркое (во всех отношениях и для него, и для новгородцев) лето, когда, выйдя из собора святой Софьи, он увидел пред собой молодого, красивого, белокудрого временщика в доспехах и почти царском одеянии, стоявшего на площади. Князя-временщика окружали столь же по-богачески одетые бояре, прибывшие с ним, и дети боярские. Сразу за свитой дворцовые холопы держали коней, покрытых яркими попонами и под седлами, отделанными бронзой и серебром, и от всей этой свиты, как и от князя-временщика, веяло какой-то страшной, разбойной, необузданной властью, словно на площадь перед собором вступили не просто висельщики, а победители, взявшие город «на щит». Макарию подали крест, чтобы осенить им «победителей», и на этом моменте, когда надо было приступать к действию, воображенная картина вдруг словно замирала, рука архиепископа повисала в воздухе, и он так и стоял в неподвижности, держа перед собой крест, словно перед пропастью, в которую приговорено было ему прыгать. В действительности же он и благословил князя-временщика, и, войдя с ним в собор, отслужил торжественную литургию; но теперь, когда все лишь повторялось перед глазами, — теперь он колебался, как если бы прошлое можно было вернуть и переиначить; но ни вернуть, ни переиначить его было нельзя, и Макарий, крестясь, поднимался со скамьи и шел к иконам, расположенным за горевшими свечами на столе, чтобы, молясь, забыться перед ними.

CXLVI

Когда заговорщики во главе с первобоярином князем Иваном Шуйским подъехали к воротам кремлевского Чудова монастыря, архиепископ Макарий,

отслуживший вместе с чудовской братией и заутреню, и обедню и знавший уже (правда, без тех важных подробностей дела, которые касались Государя, поднятого среди ночи с постели, и избиения Иоасафа жителями новгородцами) о произошедших событиях, сидел в обительской трапезной и, угощаясь подававшимся ему медовым настоем, разговаривал с Афанасием об Иоасафе — в той неторопливой манере, в какой только и надлежало по сану вести его. Деликатность затрагивавшегося вопроса заставляла и чудовского настоятеля держаться с настороженностью. Хотя, как уже говорились, он не был посвящен в детали переворота, но, полагая по своей природной догадливости, что перед ним уже не новгородский архиепископ, а будущий митрополит и Первосвятитель всея Руси, — с достоинством, присущим лишь священникам, сознающим за собой вековую силу канонов, угодничал не внешним заискиванием, не услужением зримым, а услужением нравственным, то есть той глубокой душевной почтительностью, в которой не то чтобы трудно, но невозможно бывает уловить лесть или обман. Он поспешно встал, едва князья Шуйские Иван и Андрей и князь Палецкий (только их и велено было пропустить в обитель) вошли в трапезную, но Макарий не двинулся с места; лишь чуть повернув голову, он взглянул на князя Ивана и двух других князей, стоявших за его спиной, и в красных от бессоницы глазах его было не одобрение, какое ожидали увидеть князья, пришедшие за благословением, а тот тяжелейший вопрос жизни, какой, втягиваясь в интригу, беззаконие, ложь, люди обычно задают себе и от ответа на который либо решается их судьба, либо исход дела, за которое предлагают им взяться. Но ночное молитвенное бдение не прошло для Макария даром. Он словно бы вновь, как и в то жаркое лето на площади перед собором святой Софьи, стоял перед выбором, как поступить: отказать ли в благословении, возвысившись духом и распрощавшись с надеждой на первосвятительство, а может, и с самой жизнью (ведь от Шуйских архиепископ знал, что можно было ожидать от сих вельможных господ), или, закрыв глаза и смирившись, принять, по существу, не из рук Господа, не от святителей, а от этих именующих себя князьями убийц и митрополичий посох, и сан; и не

века, не годы, не дни, а лишь считанные мгновенья, как и тогда, в Новгороде, отводились ему, чтобы определиться, что предпочтительнее — духовное самоубийство и телесное здравие или величие духа (бессмертие) и физическое небытие, и в то время как вся предшествовавшая этим мгновеньям святительская жизнь говорила, что вечен дух и что следует блюсти достоинство духа, чтобы обрести спасение, то естественная сила жизни, дающаяся каждому от рождения, из которой следует, что и дух, и плоть едины и что мыслью о вечном рае нельзя подменить чуда земного бытия, — сила эта или, вернее, страх перед небытием как раз и подталкивал Макария взять крест и, словно бы бросив им требуемый кусок живности, благословить их. Макарий медлил, но князья-заговорщики не желали ждать, пока новгородский архиепископ примет решение. Первобоярин князь Иван Шуйский, поправив, будто в знак предупреждения, висевший на боку меч, шагнул вперед и, как послушник, склонил перед Макарием голову, так что тому ничего не оставалось, как только приступить к действию. Но будущий Первосвятитель продолжал медлить. Словно за согласием, он обернулся на чудовского настоятеля, но глаза Афанасия были опущены; поняв, видимо, что происходит, он положил единственно возможное для себя — держаться безучастно, в стороне, как будто в этой беспозиционной позиции только и заключено было его спасение; но он, в сущности, предавал главную заповедь Церкви точно так же, как и Макарий, угрозой расправы принуждаемый к этому, и когда поднял голову и открыл глаза, Макарий уже довершал противное его душе и Богу дело. Он осенил крестом князей-заговорщиков, произнес нужные слова, дал им поцеловать руку, а когда князья, удовлетворенные этой процедурой, предложили будущему митрополиту и Первосвятителю всея Руси поехать с благословением к Государю, чтобы «успокоить» его сиротскую душу, Макарий попросил чудовского настоятеля заложить сани и велел ему тоже собираться для поездки в великокняжеский дворец. Святители пошли облачиться, оставив князей-заговорщиков в трапезной, и от двери уже, когда выходили, было слышно, как каждый из них, крестясь, достаточно внятным шепотом, чтобы быть услышанным Богом, произнес: «Господи, прости и помилуй!» Вот так,

незримо, в обительской трапезной были решены первосвятительская участь Макария и первосвятительская же и не без содействия новгородского владыки участь Афанасия, а вместе с ними и участь Иоасафа, уморенного голодом в келье Кириллова Белозерского монастыря, и участь князя Ивана Бельского, которого посланные Андреем Шуйским люди умертвили в тюрьме на Белоозере, потому что «живой он был страшен им», как писали современники событий; брату же, князю Дмитрию Бельскому, сообщено было, что умер от болезни и без мук, прах его затем доставили в Москву и предали земле в фамильной княжеской церкви рядом с младшим братом, князем Симеоном.

Но будущее — свое ли, державы ли — всегда отдалено и неясно, тогда как страстями сиюминутными определяются судьбы людей и движется история. Упоенные успехом у духовенства и еще более захмелевшие от поданного в трапезной питья князья Шуйские, Кубенские, Палецкий, окруженные толпой столь же восторженных ратников и детей боярских, были уже на конях, когда будущий Первосвятитель всея Руси архиепископ Макарий и будущий царский духовник и затем тоже митрополит и Первосвятитель чудовский настоятель Афанасий, сопровождаемые келарем и чернецами, угоднически суетившимися возле них, выйдя из монастыря, усаживались в сани. Холодно, хотя и ярко светило закатное январское солнце, и все вокруг — избы, кони, люди — было опущено игольчатой изморозью, словно кто-то гигантским волшебством своим, снимав с икон посеребренные оклады и ризы, заключил в них весь этот открывавшийся святительским взорам заснеженный, стылый кремлевский (городской по тем временам) мир. Макарий молчал, лицо его было бледо; молчал и Афанасий; они сидели рядом, как затем и останутся в истории — преступившие главнейшую церковную заповедь, но подвигнутые как раз этим некупным грехом на деяния разумные, может быть, даже славные по меркам тех лет; не в затворнических молитвенных бдениях, не в монастырских усердиях и не у церковных алтарей и иконостасов придет к ним то действительное прозрение, какое — это только мнится святителям, что оно есть у них; ведь понять и принять воображенное, то есть тот доведенный до божественного совершенства

мир человеческих отношений, в каком, как это многим кажется и теперь, могли бы в достатке и благочестии жить личности и народы, и понять реальное, что составляет истинную суть человеческого бытия, суть народной жизни с ее тяготами, беззащитностью и чистой, будто слеза ребенка, обманной слезой власти, денно и ночью пекущейся якобы о благе людей, — нет, понять и принять реальное, что окружает нас, и действовать в пользу добра в нем требует куда большего подвижничества и больших усилий, чем только иноческая или архиепископская святость. В конце концов бессмертна не душа, а бессмертно дело, оставляемое человеком, и единственной мерой ему может служить лишь понятие — гражданин отечества. Разумеется, ни Макарий, ни Афанасий не думали так, как думаем мы теперь (и что, возможно, да и наверняка, тоже не является истиной в последней инстанции), однако ни тот, ни другой не приняли опричнины, и хотя из одного лишь этого факта неправоммерно выводить всеобъемлющее заключение, но и нельзя не увидеть тех гражданских начал, которые столь решительно проявятся затем в архиепископе Гермогене и митрополите Филиппе. Между тем святители еще продолжали усаживаться в санях, и принесенным тулупом монахи укутывали им ноги, когда первобоярин князь Иван Шуйский, словно воевода, бросающий полк в бой, крикнул: «Айда, пошел!» — и, горяча и подстегивая коня, боковой иноходью выехал на дорогу. За ним кавалькадой двинулись и сани, и ратники, и дети боярские, из-под конских копыт полетели комки снега, визгливо запели полозья по жесткой, прикатанной колее, кучер-чернец глубже нахлобучил колпак, чтобы не сбило ветром, и от этой странной (с духовными иерархами в санях) конной лавины, с гиком и посвистом помчавшейся по улице, шарахался и жался к обочинам народ, ходивший посмотреть на разграбленные митрополичьи палаты и подворье князя Ивана Бельского. От подворья все еще продолжали убирать трупы. Раздетых почти донага (не пропадать же доспехам и всякому иному добру подо льдом), их, словно комли на лесоповале, стаскивали лошадьми к Москве-реке и баграми топили в проруби, и вокруг этой проруби и по всему пути, по которому волокли несчастных защитников опального князя, толклись люди. То ли оттого, что первобоярину

князю Ивану Шуйскому еще раз захотелось полюбоваться на это победное «торжество», каким, видимо, зрелище сие мнилось ему, то ли просто из необходимости уступить дорогу и переждать, пока проволокут трупы, он придержал коня, и вся следовавшая за ним кавалькада тоже остановилась. За кучером и упряжкой Макарий не сразу рассмотрел, что было впереди, и откачнулся, когда прямо перед глазами словно бы выросла фигура мужичка-ратника с лошадьё, которую он вел под уездцы. За лошадьё, подхваченный под мышки, волочился на веревках полуобнаженный, заиндевелый на морозе труп. Он был весь настолько в снегу, что нельзя было разглядеть ран на нем. Уже как будто бы миновав сани, заиндевелый мертвец неожиданно соскользнул с обочины и прямыми и твердыми, как жерди, ногами ударился о них. Макарий вздрогнул и отвернулся. Он хотел что-то произнести, но не смог, сани дернулись, и с возгласами «к Государю, к Государю» кавалькада опять на рысях покатила к великокняжескому дворцу.

СХХLVII

Почти четверть века отделяло теперь Иоанна от всех этих событий — боярских усобиц или засилья, как мог бы сказать он, и что куда точнее, чем понятие «боярское правление» отразило бы суть происходившего, — но по живости, с какой вспоминал о них (если, допустим, перенести их на экран), можно заключить лишь одно, что не все в жизни подвластно времени и тлену; отпадают детали, как лепестки с цветка, но остаются плод и семя, чтобы в лицах иных, но в той же сути повториться на новом витке истории; и в этом смысле Коломенский царский дворец, в котором оттепель уже вторую неделю удерживала отрешенного будто бы от престола и бежавшего, «куда Бог укажет», с казной и всем нажитым монаршим скарбом Государя, — Коломенский царский дворец представлял собой то скопище кремлевских тайн, о которых ни тогда, ни позднее неведомо было народу, как во многом остается неведомым и теперь, и в которых если и хотел разобраться Иоанн, то отнюдь не для того, чтобы восстановить справедливость и дать послабление жи-

вущему в державе люду. Его не интересовал весь объем жизни, не интересовали те духовные порывы, то есть те личности, чей гражданский ум мог бы принести истинные блага и оздоровление (talанты и гении именно потому, что таланты и гении, всегда гибнут первыми); но если бы и захотел в единстве и противостоянии народа и власти взглянуть на державу, не смог бы сделать этого уже в силу тех причин, что интриги дворцовых будней, как они втягивали, ослепляли и оглупляли правителей всех рангов и направлений, оставляя лишь, как отдушину, возможность зашоренно взирать на свой царский путь, — втягивали, ослепляли и оглупляли Иоанна, цель мучительных поисков которого сводилась теперь к тому, чтобы, во-первых, укрепиться в безграничности своей власти и самоуправстве и, во-вторых, предстать незапятнанным и перед современниками, и перед историей. «Ужо вам!» — если и не произносилось, то мнилось за всеми его ночными терзаниями. Он пока еще не мог точно сказать, кому грозил, боярам ли, которые, как считают многие историки, только и заслужили подобной участи, народу ли, который, содера трудами своими себя, царский дом, державу, словно бы мешал ему жить (разумеется, такое отношение к русскому народу со стороны европейских правителей еще можно понять, но когда свой, отечественный?..) или за всем тем ужасом который Иоанн уготовливал державе, сокрыто было нечто третье, о чем можно только гадать и что и поныне тяжким бременем лежит на наших плечах, наперед определив и нашу судьбу, и судьбу детей, внуков и правнуков, — все глухо, безответно, мрачно, затянато плотной, непроницаемой пеленой, и разве лишь будущим поколениям с их обновленным сознанием и возрожденным национальным достоинством удастся найти ответ на сей извечный вопрос русских людей. Но — Иоанну нужны были иные, свои ответы. Что было ему до страданий митрополита Даниила, митрополита Иоасафа, до унижений и страданий заточенных и уморенных голодом дядей своих, дмитровского удельного князя Юрия и старицкого удельного князя Андрея, до вздернутых на виселицы житых новгородцев и пущенных в нищету их семей, до князя Ивана Бельского, задушенного в темнице, до дьяка Мишурина, обезглавленного перед воротами тюрьмы,

до мамки боярыни Аграфены Челядниной, до жизни россиян вообще, без конца ограбляемых великокняжескими и княжескими наместниками и их тиунами? Все и все под Богом — кому нищенствовать, кому процветать, кому власть, а на кого — пожизненная кабала; что свыше дано, то справедливо и вечно; помрут, народятся, помрут еще, еще и народятся — таково свойство простого люда, и стоит ли терзать из-за этого царскую душу? Обостренное внимание Иоанна сосредоточивалось лишь на тех событиях, в которых ущемлялись, или предполагалось, что могли быть ущемлены, его великокняжеские по тому времени интересы, и он вновь и вновь то видел себя заслоненным мамкой боярыней Аграфеной, когда обрызганный мишуриной кровью первобоярин князь Василий Васильевич Шуйский явился в детскую с явной угрозой расправиться и с ним, малолетним великокняжеским отроком, то в минуту, когда в поисках заступничества ворвался среди ночи в спальню к нему Иоасаф, а затем бояре и дети боярские, гнавшиеся за митрополитом; сцена эта казалась теперь Иоанну особенно унижительной и, как раскаленный железный прут, приложенный к груди, нестерпимо жгла душу. «На моих ли руках кровь еси?» — восклицал он, сверля глазами непроглядную темноту спальни, в которой, он чувствовал, знал, верил, что был или, точнее, прятался вошедший сюда Сильвестр. Видение являлось теперь Иоанну не только в гостиной, но и в спальне, так велико было желание увидеть иерея и нравственно, истиной, да-да, истиной, казавшейся самодержцу неопровержимой, уличить в неправдах его.

Все притеснения и унижения, какие приходилось Иоанну терпеть от бояр в свое малолетство, он связывал с именами князей Шуйских — Василием Васильевичем, Иваном Васильевичем и Андреем Михайловичем; он помнил, как под предводительством первобоярина князя Андрея, вставшего после смерти князя Ивана во главе клана, советники и подручные его князь Шкурлятев, князь Пронские, Кубенские, Палецкий и Алексей Басманов, только-только начавший тогда являться при Дворе, взволновавшись, как отмечали современники тех событий, «в присутствии Великого Князя и митрополита, в столовой избе Государя на совете схватили Воронцова, били его по щекам, обо-

рвали платье и хотели убить до смерти» только за то, что сей князь «успел овладеть» расположением Иоанна и представлялся опасным для Шуйских. Ни на слезные просьбы Иоанна, ни на молитвенные увещания митрополита Макария не обращали внимания, и осознание тогдашнего своего бессилия, перенесенное теперь в спальню Коломенского дворца, нервно поднимало его с постели. Еще сильнее, чем прежде, он чувствовал, что избиение и ссылка князя Воронцова с сыном (да не в Коломну, как просил, а подальше от Москвы, в Кострому) — это было той последней точкой боярского самоуправства, тем пределом, после которого надо было предпринимать что-то, чтобы остановить сие страшное, как позднее писал в ответе Курбскому, злобство. Но — что мог предпринять Иоанн, чем ответить боярам? Известно, что возможности человеческого воображения прямо пропорциональны восприятию мира, какой окружает его (что в одинаковой степени следует отнести и к поступкам, или, если снизойти до народного понимания; с кем поведешься, от того и наберешься), так что если Иоанн и мог чем-либо ответить на самоуправство и злодеяния Шуйских, то разве лишь своим, царским и оттого еще более жестоким самоуправством. 29 декабря 1543 года, как раз ровно за три года до своего венчания на трон и принятия царского титула, он велел на глазах у всех в думе, на совете схватить князя Андрея Шуйского и передать псарям для измывательства и казни. Иоанн действовал столь решительно, что не успели думные бояре сообразить, что, собственно, происходит (к потасовкам, устраивавшимся, правда, Шуйскими, они были привычны), как первобоярина с заломленными за спину руками поволокли во двор, срывая с него его боярские одежды и избивая его; затем до слуха думных бояр донесся собачий лай и первобытно ликующие вопли псарей, травивших князя собаками, а спустя четверть часа полуголый, искусанный и истерзанный до неузнаваемости труп князя Андрея Шуйского волокли за ноги через площадь мимо собора Успения и великокняжеского дворца к Москве-реке. Видимо, по заранее данному Иоанном распоряжению его тоже должны были затолкать в прорубь под лед, чтобы на себе испытал, как мнилось, наверное, устроителям этой расправы, что безжалостно уготавливал другим;

и правых, и неправых — Москва-река принимала всех, как безропотно, могильно готова была принять и тело этого в мученических истязаниях почившего потомка некогда великих тверских и суздальских князей, но (и тоже по распоряжению Иоанна) царские псары и холопы, тащившие труп, вдруг посреди площади остановились и расступились, открыв словно бы на обозрение обрызганные кровью и уже не кровоточившие останки князя Андрея. Мимо этих останков ведомые Иоанном и духовенством должны были пройти думные и не думные бояре, князья и весь прочий вельможный и не вельможный придворный люд, коему зрелищем сим давалось понять, что нет больше безвластия на Руси, что отныне не бояре за спиной малолетнего Государя будут править державой, но что явился наконец на престоле тот самый Тит широкого ума, как было пророчески оглашено накануне рождения Иоанна, который, еще не возложив на себя царский венец, уже зловеще подавал знак своего будущего тиранства; он не побледнел, не дрогнул лицом, когда подошел к истерзанному телу князя, и не выказал того победного торжества, того мстительного злорадства, какое впервые тогда возвышенно познавалось им, а лишь, постоая в угрожающем молчании, с тем же угрожающим молчанием удалился во дворец.

CLXVIII

Не разумом народа, как принято считать, а своевольством правителей направляется и движется мир. Иерархи, когда им нужно и выгодно это, боготворят спокойствие в стране, когда невыгодно — развязывают войны и планируют революции. История не знает революций снизу, тем более народных; снизу являются только бунты — беспощадные и бессмысленные, как сказал поэт, когда толпы обездоленных и униженных, истощив терпение, идут отомстить правителям за свой тысячелетний обман. Сверху же совершается лишь хорошо спланированный захват власти. Но для народа, хоть сверху, хоть снизу, итог один — вновь бесправие и кабала. Великая Французская революция, провозгласившая целью своей свободу, равенство, братство народам, принесла стране лишь хаос, разорение и ти-

ранство, так что народ в конце концов вынужден был вновь поставить над собой короля. Получив свободу действий, ревнители братства и равенства с такой стремительностью кинулись обогащаться, то есть реквизировать, скупать для себя на отобранные у народа же деньги земли, замки, дворцы, что никакие гильотины не смогли остановить их от этой страсти к обогащению (да и то сказать, на казнь отправлялись главным образом не прежние землевладельцы, промышленники и бароны, которые могли откупиться и откупались, а те не захваченные еще сей страшной болезнью — обогащенчеством, — которые желанием огласить правду мешали всеобщему и неохватному грабежу); эта французская «сверху» более чем зеркально отразилась затем в революции русской, спланированной уже для глобального захвата власти и насаждения повсюду коммунистического режима, то есть опричнины, как сказал бы Иоанн, поднявшись из гроба и обнаружив, что у него есть столь «великие» последователи; как и после его новшества, так и после революции сверху: властолюбцам-обманщикам, поднявшим народ на кровь, — богатство, слава, царская жизнь, исполнителям же, то есть пролившему кровь люду, — нищета, бесправие, геноцид. Да ведь и перестройка названа — революция сверху; по крайней мере впервые и с откровенностью оповещено об этом народу, хотя нераскрытая до конца правда — чем она лучше прямой, откровенной лжи? И все же — Иоанн был первопроходцем в планировании державных (сверху!) переустройств. Один в ночной тишине Коломенского дворца он уготавливал россиянам тот особый, зловещий путь развития, когда в обществе должны неизменно противостоят друг другу две силы — крепостные и крепостники, свернуть с которого у нас и поныне не достает ни ума, ни мужества, ни сил; как стало уже привычным ему, еще не брезжил рассвет, он сидел в спальне, на постели, свесив к полу босые ноги, и хотя мысленный взгляд его был как будто бы обращен в прошлое, но это лишь народ не извлекает уроков из своей истории, а самодержцы — только тем и возводят свое бессмертное древо. Колокольный благовест к заутрене, однако, застал Иоанна уже одетым, готовым к выходу, и, несмотря на бессонную ночь, когда появился на крыльце, выглядел по-царски прибодренным и свежим; про-

нзительно обведя взглядом толпу вельможных холопов, ожидавших, чтобы сопроводить его к церкви, Иоанн, мысленно бросив им: «К псарям! Всех, всех к псарям!» — опустил глаза, чтобы торжествующий блеск не выдал его, и тем же, как это по крайней мере казалось ему, твердым шагом, каким отходил от истерзанного тела князя Андрея Шуйского, направился к церкви Вознесения.

«ПРИЗВАНИЕ РЮРИКОВИЧЕЙ, ИЛИ ТЫСЯЧЕЛЕТНЯЯ ЗАГАДКА РОССИИ»

Предлагаю фрагменты из новой исторической работы, которая, в сущности, уже завершена, хотя еще и не снята с письменного стола. Буду рад, если у кого-то возникнет к ней гражданский или читательский интерес.

I

Отшумели, отпылили, улеглись прахом века, являлись и уходили с исторической сцены великие и невеликие личности и народы, возникали и рушились цивилизации, то есть те физические нравственные здания жизни, которые не по естественным законам природы (хотя и из потребностей бытия), но единственно по воле, вернее, хищническому произволу ума возводились людьми, чтобы за мнимую толику удобств для себя уничтожать все или почти все живое вокруг, и за мгновения величия и славы обирать и топить в крови себе подобных, как если бы величие и слава и в самом деле могли обретаться лишь мерой убийств, насилий и грабежей; с древнейших времен и поныне не было на земле ни дня, ни часа, чтобы не лилась человеческая кровь и чтобы первозданные (по тем временам) просторы нашей голубой, как ныне говорят, планеты не оглашались страдальческими воплями; воинское, то есть разбойное ремесло считалось тогда, как, впрочем, считается и теперь, доблестью, всепожирающими волнами накатывались нашествия, степь гудела от топота воинствующих орд, мечами, огнем стирались с лица земли селения, города; трупы детей, женщин, ратников пухли на пепелищах, и континенты, словно обглоданные кости, бросались к ногам поколений, чтобы возрожденная человеческая общность на них вновь и вновь становилась на круг разврата и самоуничтоже-

ния. Такова картина прошлого — безрадостная, как бы ни хотелось нам видеть ее иной, да и настоящее и будущее — разве что расцвечено другими, более яркими и привлекательными красками, хотя по стержневой сути своей, если с правителей и народа сбросить украшающие их одежды, — по стержневой сути жизнь остается неизменной, как если бы времена варварства, войн и страданий и впрямь ничему не научили и не могли научить нас. Я не историк, не философ и не лавры ученого влекут меня к этому труду, который представляется не простым и не легким; ведь ни одной из тех важных проблем человеческого общения, вокруг которых полыхали страсти и проливалась кровь, не кануло вместе с веками и тысячелетиями в Лету, а, напротив, многократно усложненные (и словно в насмешку над всеми философскими и пасторскими нравоучениями), они продолжают щедро подаваться на стол жизни доверчивому в простоте и наивности и давно уже загнанному в угол человечеству. Но у народов России, кроме того, есть своя вековая проблема, заключенная в понятиях бесправия и нищеты, и чтобы постичь сей феномен неистошимых бедствий из столетия в столетие, как стихия обрушивающихся на нас (кстати, подобное происходит не только с нами), необходимо сегодня по-иному посмотреть на общечеловеческую и на отечественную историю.

II

Есть разные версии и предположения о том, какие племена и народности населяли в древности будущее неохватное пространство России. Одни утверждают, что неведомые нам предки славян, имевшие высочайшую культуру и давшие миру, прежде всего младенческой Греции и еще более младенческому Риму, многих и ныне все еще почитаемых или, вернее, исторически чтимых богов, населив ими знаменитый Олимп и придав им человеческий характер и облик, что предки эти, гонимые какими-то, может быть, климатически-

ми, как полагают, неудобствами жизни, откочевали в Индию, а затем, но уже в половинном составе, вернулись на свои прежние земли, к берегам Балтии, растеряв в этом многовековом «южном» походе все или почти все, что составляло стержень их изначального бытия; другие исследователи, напротив, считают, что предки наши двигались с юга на север, от Средиземноморья к Дунаю, Днепру и дальше, теснимые более сильными племенами, стремившимися поработить их, и в подтверждение приводят достаточно распространенные, но не бесспорные, разумеется, доводы, что, дескать, славяне, во-первых, никогда не умели создать своей государственности (сказано, как припечатано, и вот уже тенью тупости и невежества заслонена целая огромная ветвь человеческой общности) и, во-вторых, признают только два крайних состояния жизни: либо отчаянно и победоносно биться с врагом внешним (ведь в самом имени их заложено понятие славы), либо смиренно переносить притеснения властей или пускаться в бега в поисках свободы — на окраины, в пустоши, на чужие земли. Что тут достоверно более, а что менее и какова изначальная причина, послужившая основой для подобных измышлений, трудно сказать; во всяком случае, каждая выдвигаемая (и не только относительно славян) историческая версия имеет свои обоснования, против которых непросто бывает найти сколько-нибудь серьезное возражение, да и вряд ли, думаю, стоит искать его; ведь нам сегодня важно все, что в той или иной степени проливает свет на деяния ушедших эпох, и хотя принято считать, что истины — абсолютной, имеется в виду — достичь нельзя, что к ней можно только стремиться или приблизиться (в зависимости от силы убедительности логических построений), но всякий даже полушаг, сделанный к ней, неоценим в сравнении с пагубным топтанием возле одной и той же, пусть даже жрецами от науки или оракулами от властей возведенной грядки. Надо полагать, что ведь не только у народов Ближнего Востока, как подсказывает здравый рассудок, не только у древних греков и римлян была богатейшая

поучительная история, названная, конечно же, не вчера и не сегодня зарей человечества; так ли, иначе ли, но всем нациям пришлось пройти подобный исторический путь, и потому, мне кажется, в высшей степени несправедливо и непозволительно противопоставлять друг другу здравствующие ныне народы, возводя одних на пьедесталы величия и славы и размещая других по нисходящим к подножию нишам; не изначальной некоей одаренностью и уж, конечно, не божественным происхождением отдельных личностей и народов, в чем и сегодня кое-кто все еще пытается убедить нас, определялись судьбы людских сообществ, но жесточайшей (в рамках избранного природой закона движения) борьбой за стрежневое господство в мире вещей и духа, и в борьбе этой, как, впрочем, и в нынешних схватках личностей, народов и государств за право повелевать державами и планетой, применялось и применяется самое немилосердное средство — уничтожение исторических корней поработанных или просто ослабевших народов, дабы лишенное памяти каждое новое поколение этих народов, вступая в жизнь, начинало с нуля и не имело бы представления ни о каком ином пути, чем тот, который с высот власти со снисходительностью будет предложен ему.

Ананьев Анатолий Андреевич

А 64 Лики бессмертной власти. Царь Иоанн Грозный. — Роман. — М.: Изд-во «Новости», 1993. — 624 с.

ISBN 5-7020-0723-9

Новый роман известного российского писателя Анатолия Ананьева посвящен одной из сложнейших эпох в российской истории и не менее сложной и противоречивой фигуре, стоящей в центре эпохи, — царю Ивану Грозному

Структура романа многопланова и весьма созвучна проблемам, волнующим сегодня наше общество. Вечные проблемы — власть и общество, власть и нравственность, власть и религия, человек в мире — писатель рассматривает в романе через систему сложных взаимоотношений и размышлений исторических реальных персонажей

Художественная особенность этого романа — господство внутренних монологов персонажей, они — главный двигатель развития содержания. Философские проблемы бытия, религиозные аспекты отношения человека с миром, с людьми, с Богом, нравственные представления и образ жизни и мысли, «менталитет», как мы сейчас говорим, персонажей — все это отличает роман от обычных исторических хроник, где описание событий, действий героев составляет основу сюжета.

Эта книга не проста для чтения, но ее безусловно будут читать люди, размышляющие сегодня о судьбах России, о ее прошлом, настоящем и будущем.

Анатолий Ананьев родился в 1925 году. Автор романов «Танки идут ромбом» (1963), «Версты любви» (1971), «Годы без войны» (1985) «Скрижали и колокола» (1988). Главный редактор журнала «Октябрь».

4700000000

А

067(02) — 93

Без объявл.

Анатолий Ананьев
ЛИКИ БЕССМЕРТНОЙ ВЛАСТИ.
ЦАРЬ ИОАНН ГРОЗНЫЙ

Заведующий редакцией *Л. Д. Соболев*
Редакторы *Е. В. Клокова, Т. А. Шабалина*
Художественный редактор *А. И. Хисиминдинов*
Корректор *Т. А. Шабалина*
Технолог *В. И. Руденко*
Технический редактор *Л. А. Крюкова, Е. А. Дронова*

ИБ 10787

Подписано в печать 18.11.92. Формат издания 84 × 108/32.
Гарнитура Таймс. Офсетная печать.
Усл. печ. л. 32,76. Уч.-изд. л. 35,92. Тираж 50 000 экз.
Заказ № 1080. Изд. № 9071.

Издательство «Новости»
107082, Москва, Б. Почтовая ул., 7.

Типография Издательства «Новости»
107005, Москва, ул. Ф. Энгельса, 46.

ЛИКИ БЕССМЕРТНОЙ ВЛАСТИ

Жизнь — это гильотина, работающая в веках и приводимая в движение не столько естественными законами природы, сколько произволом человеческого разума. Отсекаются головы личностям, народам, державам, уходят в небытие социальные системы, рушатся цивилизации, меняются отношения людей, но одно остается неизменным — ложь; ложь в политике, ложь социальная и ложь духовная; и предстаёт она не в очевидных одеждах зла, не в подпаленных огнем ада платьях, а в позолоченных костюмах искренности, сердоболия, мнимой душевности, в костюмах обещанных свобод и демократии. Только она, ложь, позволяет взлетать и падать ножу гильотины, и только потому, что у современников нет тех нравственных «дозиметров», с помощью которых, как дозы радиоактивного облучения, измерялись бы дозы лжи и правды. Можно углубиться в историю и на основании всего пути развития человечества делать выводы; но можно (так как все в жизни повторяется) взглянуть лишь, к примеру, на эпоху Сталина или на опричнину Грозного, как все сказанное выше с живостью обретет плоть и кровь. Но обреченность — не стезя для человечества; лишь усвоенные уроки истории помогут распознавать ложь и открыть дорогу к совершенству и благополучию.